

Андрей Платонов СОЧИНЕНИЯ

Андрей Платонов

**Российская академия наук
Институт мировой литературы им. А.М. Горького**

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

СОЧИНЕНИЯ

Научное издание

Главный редактор Н.В. Корниенко

Редакционная коллегия:

Е.В. АНТОНОВА, Т.М. ГОРЯЕВА, А.Б. КУДЕЛИН, А.М. МАРТЫНЕНКО,
Д.С. МОСКОВСКАЯ, Т.А. НИКОНОВА, В.В. ПОЛОНСКИЙ, Н.Н. СКАТОВ,
Т.С. ЦАРЬКОВА, Р. ЧАНДЛЕР, Е.Д. ШУБИНА

Москва
ИМЛИ РАН
2021

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

СОЧИНЕНИЯ

Том третий

1927–1929

ЧЕВЕНГУР

РОМАН

Москва
ИМЛИ РАН
2021

ББК 83.3

Подготовка текста и комментарии
Н.В. Корниенко, Е.А. Папковой

Редактор тома
Н.В. Корниенко

ISBN 978-5-9208-0648-2 (т. 3)
ISBN 978-5-9208-0146-8 (т. 1, кн. 1)
ISBN 978-5-9208-0660-4

© Мартыненко А.М., наследник. Все тексты
А.П. Платонова, 2021
© Исследовательский коллектив, подготовка
текста и комментарии, 2021
© ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2021

ЧЕБЕНГУР

РОМАН

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он жил просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он существовал на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволок, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Пальч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься — неведомо для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож курил и спокойно глядел дальше — в бога он от частых богослужений не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет не тронутым руками.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, что на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, овощ и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляны, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак — один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затопили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатъевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатъевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатъевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатъевна простирала юбку на свет и говорила:

— Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношёная-переношёная, прибавь хоть платочек, ай утюжок подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаясь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и привык из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более; до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что — и ожидал: что выйдет, в конце концов, из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он совсем не был одержим жизнью — и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общепольное деяние. Родившись, он удивился, и так прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего

нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело! Куда ж тут, братцы, до всего дознаться...

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий — или он сам был вконец бестолковый. Действительно, иногда Захар Павлович попробовал ему рассказывать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, но бобыль еще более удивлялся и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

— Да неужто? Скажи на милость! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек дело не милое, а просто — жара.

— Жара?! — удивился бобыль. — Ишь ты, ведьма какая!

У бобыля только переводилось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума, он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место были уставлены предметами технического искусства Захара Павловича — полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений — все целиком из дерева. Странно, что ни одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, тыквы или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

— Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам — я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умиравшего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

— Умру, ей-богу умру, Захар Палыч, — испугался солгать бобыль. — Нутрё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю кровь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

— Как ты думаешь, бояться мне, аль нет?

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями...

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была

плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился», — подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков и тихо опухал.

Сквозь сонный безветренный дождь что-то глухо и грустно запело — так далеко, что там, где пело, наверно, не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля, и дождь, и голод, и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали, раскрячавшись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь — и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да принаравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело, и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце и лес пел всюю гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников — дождь уснул в почве, его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, взьерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия — сколько их в нем уместилось — и пошел вдаль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны; хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет — она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав

себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, — которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, — и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иваныч попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частокле крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своей смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца; где сейчас этот мальчик? — наверно, умер первым в эти голодные годы, как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Саш, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Попрощайся с отцом — он мертвый на веки веков! Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо, в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович, при всей своей скорби, помнил о дальнейшем.

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то! — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. — Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами:

— И то будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать, да штаны трепать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату.

Мальчик вспомнил про удочку, которую сделал ему отец, а он закинул ее в озеро и там позабыл. Теперь, должно быть, уже поймалась рыба и ее можно съесть, чтобы чужие люди не ругали за ихнюю еду.

— Теть, у меня рыба поймалась в воде, — сказал Саша. — Дай я пойду достану ее и буду есть, чтоб тебе меня не кормить.

Мавра Фетисовна нечаянно сморщила лицо, высморкала нос в кончик головного платка и не пустила руку мальчика.

Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной, открывшейся в груди совести, он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слышал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики, и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман и того, кто там поет, а в мембрану вдета штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слишком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал

секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти починок Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что гудят за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угодыями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую теперь уже не разгребали куры, потому что их поели. Хаты стояли, полные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернуться. Дворовые колодцы сохли, туда свободно, переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленели рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелуги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посуше, потому что сквозь него тщились пролезть множество бледных травинки. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, в тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол-подголосок начал звонить

и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы священников у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделавшись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чутяь время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вождеделение, тогда он бил часы и опять затихал.

— Живой еще, дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович. — Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.

Сторож на эту глупость ответил:

— Как так — зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвернется: долго без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не понимавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

— Ну пой, — сказал Захар Павлович и вышел вон из села. На отшибе съезжилась хатка без двора, видно, кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой, и внутри ее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича — из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух, — он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький жилой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и наконец подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многолетнего вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещение платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр похрипел горлом, как бы желая смеяться; в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра — ребята от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочой, а дверь чулана приперли рогачом. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище, значит — главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой, — он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся, — отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал.

— Годятся — могилы огораживать! Мои ребята говели постом — все могилы на кладбище специально обгадили.

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук прилиwała к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича, он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал

видеть сны: будто умирает его отец-шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он ожил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», — потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!»

Единственно, что радовало Захара Павловича, это сидеть на крыше и смотреть вдаль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и с размаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я: человек как человек, — спокойно сказал столяр, сев на свое место, — но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что, того и гляди, они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила — чертова: и где он себе ряшку налопал, сам не пойму — с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценочек. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. — Ого! Откроешь тормозной кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром — один разбато́м в трубу клокочет! Ух, едрит твою мать!.. Налей! Огурца зря не купил: колбаса желудок запаковывает...

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступает на паровозную работу — куда ж тут ему справиться после деревянных сковородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что заков? — заметил машинист скорбь Захара Павловича. — Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может, в обтирочки возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась отрыжка.

— Но, дьявол: колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, нищесброд, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, — снова обратился машинист к Захару Павловичу, — но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть шупать! Паровоз ни-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, это — барышня... Женщина уж не годится — с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что женщин можно любить особо и издали, он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах, — непонятно и скучно. Имел когда-то и Захар Павлович жену — она его любила, а он ее не обижал, — но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек, если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

— Как там пар?

— Семь атмосфер, — ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.

— Вода?

— Нормальный уровень.

— Топка?

— Сифоню.

— Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя стоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы

выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захар Павловича и мучился: холуй, наврное, — где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, — разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! Боже мой, боже мой, — молча, но сердечно сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, чувствую, дрожу весь и скучаю, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо на паровоз хочет!

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, — сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря. — Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

— Мотюшка! — с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. — Что ты наделал, сволочь проклятая? Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул, и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну, что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека.

— А? Ты заметил, да? Он же, он же — лесоруб, а не слесарь! Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну что ты будешь делать? Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой с какой! Господи боже мой!.. Ну пойди, пойди сюда — поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все, точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, — ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам. — Попробуй завтра топку чистить — приди вовремя. Но не знаю, не обещаю — попробуем, посмотрим... Это слишком серьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а — топка!.. Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на заре, за три часа до начала работы, пришел к депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспийские, Закавказские, Уссурийские железные дороги. Особые странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда знакомый, — и он решил навеки удержаться в нем.

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Наблюдая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишачей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч, только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года, и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой:

— Ешь, ешь, родимый, — говорила она, — у нас не возьмешь, у других не схватишь...

Проخور Абрамович давно оробел от нужды и детей и ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый, — и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился как сонный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенно. Богу Проخور Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочее — в нем не продолжались, потому что жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Проخور Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Проخور Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда — туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногам отраднo.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это заметила вся деревня, и, если тетка Марья ходила порожня, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Паруешь, Марь Матвевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А то что же! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положения.

— Ну, ничего, — успокаивали ее. — Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего же зря-то жить! — смелела Марья. — Лишь бы хлеб был...

— Это-то хоть верно, — соглашались мужики. — Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то — ведьма: ты свою пору знаешь...

Проخور Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша, — ответила Мавра Фетисовна, — я рожу, я и с сумой для них пойду — не ты ведь!

Проход Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзли. Мавра Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась, — сказал у ее кровати Проход Абрамович. — Ну, и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно, эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулаками...

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склешенных собак, — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвевших страданий и синие толстые жилы с оочечневшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела.

— Что, Саш, загляделся? — спросил Проход Абрамович у ослабевшего приемыша. — Два братца тебе родилось, отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Проход Абрамович и сам знал счет:

— Пускай живут — на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет — не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода, — для спокойствия решил Проход Абрамович. — Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и взаправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели, подарив по десяти пудов с десятины. Старшему сыну Прохода Абрамовича было лет одиннадцать, и почти столько же приемышу: кто-то один должен идти побирать, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Проход Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна. — Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девчонку сна-

рядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до Рождества не хватит, а хлеба со Спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего, — отвечал Саша.

Семилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец. — Вот ты подрастешь, сам побираешься.

— Я не пойду, — отказался Прошка, — я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту, украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь, и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгаёт палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Саш, не спишь? — спросил Прохор Абрамович. — Спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только по второму разу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович выводил приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно, сторож в церкви звонил часы, и от грустного гула колокола мальчик заволновался. Прохор Абрамович наклонился к сироте.

— Саша, ты погляди туда. Вон, видишь, дорога из деревни на гору пошла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре, — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе встречается город, и там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку — приходи домой отдыхать. Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одиноким воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, — думал про них Прохор Абрамович, — кто им кинет чего!»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, — а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом, — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водой сознания, ждалась полная давящая обида, он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нишей сумой.

— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

— Куда ж у него палка делась? — гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

— Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, — поздно упрекал себя Прохор Абрамович. — С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пускай — как-нибудь...

На высоте перелома дороги на ту, невидимую сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля были важными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно, и все — маленькое, грустное и укрытое землей и деревьями от ветра. Поэтому он поскорее пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «Ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается — белый свет не семейная изба».

Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покое, если придется умирать, — но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

— Все мы хамы и негодяи! — правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скукал целые сутки, занявшись ненужным делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приемыше. У нее умерло восемь человек детей — и по каждом она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уже вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-гляддел и заревновал родителей:

— Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. — Он как большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться — всю его теплоту из

него выдули дорожные ветры. В своем забытии он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озеро в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу, и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче — все мужики ею роют.

— Тебя все едино прогонят со двора, — сообщил про будущее Прошка. — Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется — теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!

Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.

— Я землянку вырою и буду тут жить, — сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да — без всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи, — успокоился Прошка. — А к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

— Лежень, — сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. — Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас — корми теперь!

— Вот остаток от чертей-то! — поругался сверху Прохор Абрамович. — Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота — у ней весь живот в рубцах и морщинах, — но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец напоминает мамке живот, а потом живот пухнет и рожаются дети-нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:

— А ты не ложись на мать — лежи рядом и спи. Вон у бабки у Парашки ни одного малого нету — ей дед Федот не мял живота...

Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего, тогда Прохор Абрамович взял веник и

хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

— Не больно, не больно, все равно не больно! — говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

— Тогда прогони Сашку, чтобы лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом — ливни, в ветер — песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича — труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, — от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

— Прош, а Прош! — позвал Прохор Абрамович.

— Чего тебе? — угрюмо сказал Прошка. — Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...

— Прош, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух, аль худой. Чтой-то я давно не встречал ее, либо захворала она?!

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

— Мне бы отцом-то быть, а тебе — Прошкой, — оскорбил отца Прошка. — Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял — все одно голода жди.

Надев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:

— Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожди были. Вот она и промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.

— Озимья вымерзли, она чуяла, — негромко сказал отец.

— Все детенки матерей сосуть, хлеба ничуть не едят, — возразил Прошка. — А мать пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей... Будет у ней пузо, ты тогда с печки не слезешь: скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодовать неохота: нарожал нас с мамкой...

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, похожий — против Прошки — на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает — не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя, и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице — стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребячишки наблюдали горизонты, чтобы вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота — полудевушка Настя пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, — поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.

— Ничего, — довольствовался сам собою Кондаев. — Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет — я ж сухой бык...

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела — живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была

пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советувал уходить на заработки.

— Город как крепость, — говорил Кондаев. — Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор — какой же тебе урожай! Ты опомнись!

— А ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти ход.

— Я калека, — сообщал Кондаев. — Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял — прибыльное дело!

— Да пожалуй, что так и придется, — нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибками, разной травкой, а там — видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в запекающую сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же — не болела ли у него поясница, чтобы переменялась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего

без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

— Прощк! — позвал горбатый. — Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прощка понял, что ничего не капнуло — только показалось.

— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — медленно обиделся Прощка, когда разочаровался в капле. — Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки петуха пощупай!

Прощка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прощку горстью сухого праха. Но Прощка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша, — Кондаев ударил его с навеса суставами пальцев своей худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый — под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь, — и сразу стало тихо: звон белого солнца остыл и замер вдалеке — на тонущих лугах. На лугах стоял горбатый и мочился на маленькое солнце, гаснущее уже само по себе. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прощки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей, пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал — она от страха залетела на уличное дерево, Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой, походкой непричастного человека. Прощка сказал правду: Кондаев любил щупать кур и мог это делать долго, пока курица не начинала от ужаса и боли гадить ему в руку, а иногда бывало, что курица преждевременно выпускала жидкое яйцо; если кругом было малоллюдно, Кондаев глотал из своей горсти недозревшее яйцо, а курице отрывал голову.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

— Петр Федорович, пощупай нашего петушка, ради бога!

Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада — в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно, и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать ей что-то надоедало внутри.

— Тошнит меня! Трудно мне, Прохор Абрамыч!.. Ступай за бабкой...

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла во двор лоханку и что-то выплеснула под плетень. Туда побежала собака и съела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не вовремя. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла — наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своею песнью двор, травы и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, — и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, не похожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже, наверное, слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка — с мешком Саши, с каким сироту посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

— Сашка! — прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. — Беги сюда скорее, дармод!

Саша был около.

— Чего тебе?

— На, держи — тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок — ходи и не сымай, что наберешь — сам ешь, нам не носи.

— А вы тут одни жить останетесь? — спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

— А то нет? Знамо, одни! — сказал Прошка. — Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! А теперь ты нам

никак не нужен — ты одна обуза, мамка ведь тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку. Прошка постоял один и вышел за ворота — напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел — он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

— Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то — ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

— Ну никак нету дождей! — пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. — Ну никак: хоть ты тут ляжь и рашибишь об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил — в нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо — всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие, — то, во что превратился посредством труда человек и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилях, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был — машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая — в одиночестве. Захар Павлович подумал — на что похоже небо? И вспомнил

про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов — то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись непрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

— Сколько верст — неизвестно, потому что далеке! — говорил Захар Павлович. — Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если б бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну как — бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, — ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, — и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича: топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, — но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей: люди здесь ни при чем — наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй — только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов вырождаются в ржавчину, — тогда их останется передать работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других — Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машин инструментами.

— Господин наставник! — обратился раз Захар Павлович, осмелев ради любви к делу. — Позвольте спросить: отчего человек — так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито — он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

— Серый черт, — говорил для себя наставник, — тоже понадобились ему механизмы: господи боже мой!

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета — в смуглое будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то осwireпевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:

— Ты вот поработал и поумнел! Но человек — чушь!.. Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.

— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну по пище, жилищу они кое-как хлопочут, — ну а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может...

— А у человека что? — не понимал Захар Павлович.

— А у человека есть машины! Понял? Человек — начало для всякого механизма, а птицы — сами себе конец...

Захар Павлович думал с наставником одинаково, отставая лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих — и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича — природа, не тронутая человеком, казалась малопрелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении, — в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия — особенно металлические, — наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые и по размеру, и по смыслу больше мастеровых.

И выходило действительно так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и дол-

говечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки — под резьбу. Ему говорили, что нету такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастерам одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей, Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был вовремя предупрежден одним случайным кочегаром, — иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспособлять для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпенья, но ему сказали:

— Эй, Три Осьмушки Под Резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки Под Резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Трех Осьмушек Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что вырастет и поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе — какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки — в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была стеснительная тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал

дыхание ветер, но больше действовала тихая, равнодушная жизнь — речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении — они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему — какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равновесия в природе беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, — но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась: ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничто к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким далеким, что почти бессмертным. Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая, растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накапливалась, а будущее впереди тоже росло и простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание — побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безымянной безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись — о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, 18 лет и 3-х месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах — за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие, они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение — для какого счастья они живут — тоже не приходило в голову нищим. Какая вера-надежда-любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах — ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден, — понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку. Мальчик был телом худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

— Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

— Дядь, дай копейку, — сказал он, — иль докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак.

— Ты небось жулик и охальник, — без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

— Не, я не жулик, я — побирушка, — ответил мальчик, утрамбовывая корки в мешке. — У меня мать-отец есть, только они от голода скрылись.

— А куда же ты пуд харчей запаковал?

— Домой собираюсь навеститься. Вдруг мать с ребятишками пришла — чего тогда им есть?

— А ты сам-то чей?

— Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те — все жулики, а меня отец порол.

— А отец твой чей?

— Отец тоже от моей матери родился — из пуза. Пузо намнут, а нахлебники, как из пропасти, рожаются. А ты ходи и побирайся на них!

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.

— Уморился небось? — спросил Захар Павлович.

— Ну да, уморился, — согласился мальчик. — Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Бреешь-бреешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

— Небось отец тебя любит?

— Ничего он не любит — он лежень. Я мать больше люблю, у нее кровь из нутра льется. Я рубашку ей раз стирал, когда она хворала.

— А отец твой кто?

— Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

— Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

— А ты нито дядя Захарка?

— Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время — это движение горя и такой же осязаемый предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишнего звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смиренные, но без резкого ума, — таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошку взволновал прохожий — особенно своими губами.

— Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал — где она находится.

Прошка это сразу почувал и сказал вслед послушнику:

— Пошел, а куда пошел — сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти-нахлебники!

Захар Павлович немного смущался раннего разума Прошки — сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

— Прош? — спросил Захар Павлович. — А куда девался маленький мальчик — рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

— Сашка, что ль? — догадался Прошка. — Он вперед всех из деревни ушел! Это такой сатаноид — житья от него не было! Украд последнюю коврежку хлеба и скрылся на ночь. Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

— А где отец твой?

— Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А заместо народа крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил навестаться еще, когда будет в городе.

— Ты бы мне картуз отдал! — сказал Прошка. — Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришлось на лохматую голову как раз, но Прошка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

— Ну, прощай: иди с богом, — сказал Захар Павлович.

— Тебе хорошо говорить — ты всегда с хлебом, — упрекнул Прошка. — А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать, — денег у него больше не было.

— Намедни я Сашку в городе встретил, — проговорил Прошка. — Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты небось мамке его подкинул — теперь давай денег за Сашку! — кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи, — ответил Захар Павлович.

— А что дашь? — заранее спросил Прошка.

— Получка будет — рублевку дам.

— Ладно, — сказал Прошка. — Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомукает.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешком по железной дороге — по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего

ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум — это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закруглении линии — один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обычно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки — он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то свербило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов, — одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять — что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день — третий после встречи Прошки — Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобиль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию — и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

— Что бы наделал Прошка в моих летах в разуме? — обсуждал свое положение Захар Павлович. — Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы.

Тот теплый туман любви к машинам, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: я, говорит, серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе — чернорабочая сила, шлак из-под бабы!

Захар Павлович от душевного смущенья действительно терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал

это лучше всех — он верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной натуры станет одной денежной нуждой, — тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаянии, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаянию. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше: на тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь.

Саша взял непривычные деньги, вышел во двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесь, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.

— Ты опять плачешь, гундосый черт? — не прерывая работы, спросил Прошка. — Пойди поройся, а я чаю попить сбегаю: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...»

Прошка сначала послушал — думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:

— Захар Палыч, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

— А?! — испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он теперь был и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра. Они возмужали настолько, что не зна-

ли места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, а они говорили ему: чего ты, дед, огня боишься — что сгорит, то не сгниет; тебя бы, старого, сжечь надо — в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

— Сашка, — сказал он. — Пойдем я тебя отведу, чтобы ты больше мне не навязывался.

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу — жену Дарью Степановну. Ему легче было полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухменная суета была несчастьем Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать: во-первых — сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых: мир заволакивался какой-то равнодушной грезой — наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

— Саш, тебя ничего не мучает?

— Нет, — говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

— Как ты думаешь, — продолжал свои сомнения Захар Павлович, — всем обязательно нужно жить или нет?

— Всем, — отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

— А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

— Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

— Ага! — доверчиво говорил Захар Павлович. — Так и напечатано?

— Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал:

— Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло; но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами; он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

— Я так же, как он, — часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал задушевым голосом: стоит себе! — и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: им тоже скучно! — и переставал скучать.

Когда Саше надоело ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

— Я так же, как он, — видел ветер Саша, — я работаю хоть один день, а он и ночь — ему еще хуже.

Поезда начали ходить очень часто — это наступила война. Мастеровые остались к войне равнодушны — их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша однообразно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отца-рыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще почувствовать, пропустив внутрь своего тела. Себя самого, как самостоятельный твердый предмет, Саша не сознавал — он всегда воображал что-нибудь чувством, — и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет, зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни — слабости хилых дворовых трав и случайному ночному прожогу, кашляющему от своей бесприютности, чтобы его услышали

и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безмянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше — он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

— Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война — это нарочно властью выдуманно: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

— Так, — отвечал Захар Павлович и возбуждался. — Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я б враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху — царь и его служащие — едва ли дураки. Значит, война — это не серьезное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы — перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и оттуда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

— Черти! — ясно сказал наставник. — Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась.

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

— Ну вот, ну вот! — поощрил наставник. — Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда вдавленные, уже мертвые волосы. Никто не помнил своей обиды против наставника, несмотря на то, что ему и сейчас болт был дороже и удобней человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, — как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок, и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко взгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блестела ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

— Чего плачете? — с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал — у одного Захара Павловича из выгаращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага. — Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было!

Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал — прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случалось с ним, но очень давно, и где — нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной, испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась:

— Плачет чего-то, а Гараська опять, скотина, котел сжег... Ну, чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...

— Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

— Просуньте меня поглубже в трубу, — прошептал он опухшими детскими губами, ясно сознавая, что через девять месяцев снова родится. — Иван Сергееч, позови Три Осьмушки Под Резьбу — пусть он, голубчик, контргачкой меня зажмет...

Посилки принесли поздно. Не к чему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

— Несите человека домой, — сказали мастеровые врачу.

— Никак нельзя, — ответил врач. — Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы — при перегонке холодного паровоза, сцепленного с горячим пятисаженным стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил Службы движения и эксплуатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

— Ну и помрем, только и делов, — ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши — в ту пору его ранней жизни — в каждом дне была своя, безымянная прелесть, не повторявшаяся в будущем, образ машиниста-наставника ушел для него в сон воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозарастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели, наравне с детством, и он горовал о наставнике всю остальную жизнь.

Больше ничто не тронуло Захара Павловича в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгой — если б там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, вроде машин и изделий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровно необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не пошептала, а самому про весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить

смирно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин — на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама — тоже не своевольное, а безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу на глаз:

— Поедешь? Ну, поезжай! Ишь как дышла свои разработал — должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал.

— Колосники затекают — уголь плохой, — грустно говорил паровоз. — Тяжело подъемы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездят, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов опять-таки теперь два цепляют, а раньше один, — люди в разлуке живут и письма пишут.

— Ага, — задумчиво беседовал Захар Павлович и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки. — А ты особо не тужись — тяни спрехвала.

— Нельзя, — с кротостью разумной силы отвечал паровоз. — Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут — ждут писем и раненых родных. Посмотри мне в сальник — туго затянули, поршневою скалку нагрею на ходу.

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

— Действительно, затянули, сволочи, — разве ж так можно!

— Чего ты там возишься? — спрашивал дежурный механик, выходя из конторы. — Тебя очень просили копаться там? Скажи — да или нет?

— Нет, — укрощенно говорил Захар Павлович. — Мне показалось, туго затянули...

Механик не сердился.

— Ну, и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни затяни — все равно на ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

— Дело не в затяжке — там шток посредине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?

— Да я видел, — вздыхал Захар Павлович. — Но я ведь обтирщик — сам знаешь, — мне не верят.

— Вот именно! — густым голосом сочувствовал паровоз и погружался в тьму своих охлажденных сил.

— Я ж и говорю! — поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал — раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

— Я мучился, а он читает — только и всего! — завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

— Все пишет, — говорила она. — А чего пишет?

— А ты спи, — советовал Захар Павлович. — Закрой глаза кожей — и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась — действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещающая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем — ни веры в бога, ни другого умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только хотел услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его не закрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слов песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное — горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

— Вот это — я! — громко сказал Александр.

— Кто — ты? — спросил неспавший Захар Павлович.

Саша сразу смолк, объятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

— Чтец ты, и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно...

Захар Павлович зевнул и мирно сказал:

— Не мучайся, Саш, — ты и так слабый...

«И этот в воде из любопытства утонет, — прошептал для себя Захар Павлович под одеялом. — А я на подушке задохнусь. Одно и то же».

Ночь продолжалась тихо — из сеней было слышно, как кашляют сцепщики на станции. Кончался февраль, уже обнажались бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей, как равный человек.

— Вчера котел взорвался у паровоза серии Ще, — говорил Захар Павлович.

Саша это уже знал.

— Вот тебе и наука, — огорчился по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович. — Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к черту!.. Никто ничего серьезного не знает — живое против ума прет..

Саша не понимал разницы между умом и телом, и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум — это слабосудная сила, а машины изобретены сердечной догадкой человека — отдельно от ума.

Со станции иногда доносился шум эшелонов. Гремели чайники, и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

— Кочуют! — прислушивался Захар Павлович. — До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

— Революция легче, чем война, — объяснял он Саше. — На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так..

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он, ради безошибочности, отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет.

До самого октября месяца он насмеялся, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закутить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

— Да угомонись ты, идол бешеный! — ворочалась в одиночестве старуха. — Вот пешеход-то!.. И что теперь будет — ни хлеба, ни одежды!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут — без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей сигаркой, поддакивая дальней стрельбе.

— Неужели это так? — спрашивал себя Захар Павлович, и уходил закуривать новую сигарку.

— Ложись, леший! — советовала жена.

— Саша, ты не спишь? — волновался Захар Павлович. — Там дураки власть берут, — может, хоть жизнь поумнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум — он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие и не в нем цель человека, а в усердном исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так! — резонно удивлялся Захар Павлович. — Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем — это был бы конец света.

— Его-то нам и надо! — сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что? — спросил он Захара Павловича.

— Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

— Социализм, что ль? — не понял человек. — Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

— Тогда пиши нас, — обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжек и по одному, вполонину напечатанному, листу.

— Программа, устав, резолюция, анкета, — сказал он. — Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

— А устно нельзя?

— Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

— А мы являться будем.

— Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело — по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия — наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

— Ты запишись, Саш, для пробы, — сказал Захар Павлович. — А я годок обожду.

— Для пробы не записываем, — отказал человек. — Или навсегда и полностью наш, или — стучите в другие двери.

— Ну, всерьез, — согласился Захар Павлович.

— А это другое дело, — не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

— Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошёл бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

— Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном. «Нет, не могу, — сказал он в трубку. — Сюда приходят представители массы, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

— Что, ну? — вспомнил он. — Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

— Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

— Ну, товарищ рабочий, — спокойно сказал член партии, — если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы Советская власть.

«А может, что-нибудь лучшее было бы!» — подумал Захар Павлович, но что — сам себе не мог доказать.

— В Москве нет беднейших крестьян, — вслух усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился, он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович

загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду, — вспомнил он про свои изделия. — Ее я сроду не делал».

— Дай мне товарища Перекорова, — сказал по проволоке партийный человек. — Перекоров? Вот что. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку, — ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился.

— Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, — я много передумал...

— А что же надо? — озадачился собеседник.

— Имущество надо унизить, — открыл Захар Павлович. — А людей оставить без призора — к лучшему обойдется, ей-богу, правда!

— Так это анархия!

— Какая тебе анархия — просто себе сдельная жизнь.

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой.

— Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

— Обождем, — сказал Захар Павлович. — Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

— Неужели это так? — говорил на обратной дороге Захар Павлович. — Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке, — он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил все — разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться.

— Саш, — сказал он, — ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

— Ты не помнишь Федьку Беспалова? — продолжал Захар Павлович. — Слесарь у нас такой был — теперь он умер. Бывало, пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается.

Что ж ты, сукин сын? — ругают его. А он: да мне дюже нужно — все равно за это не прогонят.

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

— Хоть они и большевики и великомученики своей идеи, — напутствовал Захар Павлович. — Но тебе надо глядеть и глядеть. Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, — тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разгигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

— А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку — и дымом по ветру! В шлак, а шлак — кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности и в волнении ушел на кухню закуривать. Затем он вернулся и робко обнял своего приемного сына.

— Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция — это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в Политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро учење Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны — в степной город Урочев.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви. О ней Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предупредительные слова.

— Ты ведь, Саш, уже взрослый мальчик — сам все знаешь... Главное, не надо этим делом нарочно заниматься — это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле, хотя нарочно вообразил себя голым.

Когда подали сборный эшелон и Александр пролез в вагон, Захар Павлович попросил его с платформы:

— Напиши мне когда-нибудь письмо. Что жив, мол, и здоров — только и всего...

— Да я больше напишу, — ответил Саша, только сейчас заметив, какой старый и сиротливый человек — Захар Павлович.

Вокзальный колокол звонил уже раз пять, и все по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу на показывался.

Захар Павлович истомился и пошел домой. До дома он шел долго, всю дорогу забывая закурить и мучаясь от этой мелкой досады. Дома он сел за угольный столик, где всегда сидел Саша, и начал по складам читать алгебру, ничего не понимая, но постепенно находя себе утешение.

Город Урочев, пока ехал туда Дванов, был завоеван казаками, но отряд учителя Нехворайко сумел их выжить из города. Всюду вокруг Урочева было сухое место, а один подступ, что с реки, занят болотами; здесь казаки несли слабую бдительность, рассчитывая на непроходимость. Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые.

Дванов сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего воша кипит на людях кашей, но решили драться до голой земли.

Машинист из депо, предревкома, сказал Дванову:

— Революция — риск: не выйдет — почву вывернем и глину оставим, пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло!

Особого дела Дванову не дали, сказали только: живи тут с нами, всем будет лучше, а там поглядим, о чем ты больше тоскуешь.

Ровесники Дванова сидели в клубе на базарной площади и усердно читали революционные сочинения. Вокруг читателей висели красные лозунги, а в окна было видно опасное пространство полей. Читатели и лозунги были беззащитны, — прямо из степи можно достать пулей склоненную над книжкой голову молодого коммуниста.

Пока Дванов приучался к степной воюющей революции и уже начинал любить здешних товарищей, из губернии пришло письмо с приказом о возвращении. Александр пошел из города молча и пешком. Вокзал находился в четырех верстах, но как доехать до губернии, Дванов не знал: говорили, что казаки заняли линию. С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку, — оказывается, несли остывшее тело погибшего Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках. Дванову жалко стало

Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции.

Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру жаль было тот одинокий Урочев, точно без него он стал еще более беззащитным.

На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. Как и каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по нем и звали его.

Десять или более безымянных людей сидели на полу и надеялись на поезд, который их увезет в лучшее место. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Дванов вышел наружу, разглядел на пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из восьми платформ с повозками и артиллерией и двух классных вагонов. Сзади были прицеплены еще две платформы — с углем.

Командир отряда пустил Дванова в классный вагон, просмотрев его документы.

— Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ! — заявил командир. — А дальше нам поезд не нужен: мы выходим на позицию.

Дванов согласился ехать и до Разгуляева, а там он будет ближе к дому.

Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они две недели сражались под Балашовом и тяжело устали. Двое выспались и сидели у окна, напевая песню от скуки войны. Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком», а политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев, тосковавших в дальних дорогах и от одиночества исписавших стены и лавки химическими карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Дванов в задумчивом унынии читал эти изречения — он и дома прочитывал новый календарь за год вперед.

«Наша надежда стоит на якоре на дне морском», — писал неизвестный военный странник и подписывал место размышления: «Джанкой, 18 сентября, 1918».

Смерклось — и поезд тронулся без отходного свистка. Дванов задремал в горячем вагоне, а проснулся уже во тьме. Его разбудил скрежет тормозных колодок и еще какой-то постоянный звук. Окно вспыхнуло светом мгновения, и низко прогрел воздух снаряд. Он разорвался недалеко, светло показав жнивье и смирное ночное поле. Дванов очнулся и встал.

Поезд робко прекратил движение. Комиссар пошел наружу, и Дванов с ним. Линию явно обстреливали казаки — их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала перелет.

Прохладно и грустно было тою ночью, долго шли двое людей до паровоза. Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка, над манометром.

— Что стали? — спросил комиссар.

— Боюсь за путь, товарищ политком: обстреливают, а мы без огней идем — нарвемся на крушение! — тихо ответил сверху машинист.

— Ерунда: видишь — они перелет делают! — сказал комиссар. — Только дуй побыстрей без шума!

— Ну, ладно! — согласился машинист. — У меня помощник один — не управится, дайте солдата для топки!

Дванов догадался и влез на паровоз для помощи. Шрапнель разорвалась впереди паровоза и осветила весь состав. Побледневший машинист повел ручкой регулятора и крикнул Дванову и помощнику:

— Держи пар!

Александр усердно начал совать дрова в топку. Паровоз пошел с клокочущей скоростью. Впереди лежала помертвевшая тьма, и, быть может, в ней находился разобранный путь. На закруглениях машину швыряло так, что Дванов думал о сходе с рельсов. Машина резко и часто отсекала пар, и слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза. Под паровозом иногда грохотали малые мосты, и вверх таинственным светом вспыхивали облака, отражая выбегающий огонь из открытой топки. Дванов быстро вспотел и удивлялся, чего механик так гонит поезд, раз казачью батарею давно проехали. Но испуганный машинист без конца требовал пара, сам помогая кормить топку, и ни разу не отвел регулятора с его крайней точки.

Александр выглянул из паровоза. В степи давно настала тишина, нарушаемая лишь ходом поезда. Спереди бежали туманные огни: наверное, станция.

— Чего он так гонит? — спросил Дванов у помощника про машиниста.

— Не знаю, — угромо ответил тот.

— Так мы же обязательно сами наделаем крушение! — произнес Дванов, а сам не знал, что ему делать.

Паровоз трепетал от напряжения и размахивал всем корпусом, ища возможности выброситься под откос от душасей его силы и неизрасходованной скорости. Иногда Дванову казалось, что паровоз уже сорвался с рельсов, а вагоны еще не успели, и он гибнет в тихом прахе мягкой почвы, и Александр хватался за грудь, чтобы удержать сердце от страха.

Когда поезд проскакивал стрелки и скрещения безвестной станции, Дванов видел, как колеса выбивали огонь на крестовинах.

Потом паровоз опять тонул в темную глушь будущего пути и в ярость полного хода машины. Закругления валили с ног паровозную

бригаду, а вагоны сзади не поспевали отбивать такт на скреплениях рельсов и проскакивали их с воем колес.

Помощнику, видно, надоела работа, и он сказал механику:

— Иван Палыч! Скоро Шкарино, давайте остановимся — воды возьмем!

Машинист слышал, но промолчал: Дванов догадался, что он забыл от утомления думать, и осторожно открыл нижний кран тендера. Этим он хотел спустить остаток воды и заставить машиниста прекратить ненужный бег. Но он сам закрыл регулятор и отошел от окна. Лицо его было спокойное, и он полез за табаком. Дванов тоже успокоился и завернул кран тендера. Машинист улыбнулся и сказал ему:

— Зачем ты это делал? За нами белый броневи́к с Марьинского разъезда все время шел — вот я и уходил!

Дванов не понимал:

— А теперь он что? Почему же вы после батареи не сдали хода, когда мы еще не доехали до Марьинского разъезда?..

— Теперь бронепоезд отстал — можно потише, — ответил машинист. — Залезь на дрова, погляди назад!

Александр влез на горку дров. Скорость все еще была велика, и ветер охлаждал тело Дванова. Сзади было совсем темно, и только поскрипывали спешащие вслед вагоны.

— А до Марьина почему вы спешили? — опять допытывался Дванов.

— Нас же заметила батарея — она могла переменить прицел, — надо было подальше уйти! — объяснил машинист, но Дванов предположил, что он испугался.

В Шкарино поезд остановился. Пришел комиссар и удивился рассказу механика. На Шкарино было пусто, из колонки в паровоз медленно текла последняя вода. Подошел какой-то местный человек и глухо, против ночного ветра, сообщил, что на Поворино казачьи разъезды — эшелон не проедет.

— Нам до Разгуляя только! — ответил комиссар.

— А-а! — сказал человек и ушел в темное станционное здание. Александр пошел за ним в помещение. В зале для публики было пусто и скучно. Покинутость, забвение и долгая тоска встретили его в этом опасном доме гражданской войны. Неведомый одинокий человек, говоривший с комиссаром, прилег в углу на уцелевшую лавку и начал укрываться скудной одеждой. Кто он и зачем сюда попал — Александра сильно и душевно интересовало. Сколько раз он встречал — и прежде, и потом — таких сторонних, безвестных людей, живущих по своим одиноким законам, но никогда не налегала душа подойти и спросить их, — или пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни. Может быть,

было бы лучше тогда Дванову подойти к тому человеку в шкаринском вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи.

— Машинист — трус, бронепоезда не было! — сказал потом Дванов комиссару.

— Черт с ним — довезет как-нибудь! — спокойно и устало ответил комиссар и, отвернувшись, пошел к своему вагону, с печалью говоря себе на ходу:— Эх, Дуня, моя Дуня, чем ты детей моих кормишь теперь?..

Александр тоже пошел в вагон, не понимая еще — за что мучаются так люди: один лежит в пустом вокзале, другой тоскует по жене.

В вагоне Дванов лег спать, но проснулся еще до рассвета, почувствовав прохладу опасности. Поезд стоял в мокрой степи, красноармейцы храпели и чесали во сне свои тела — слышен был наслаждающийся скрежет ногтей по закоснелой коже. Комиссар тоже спал, лицо его сморщилось — вероятно, он мучился перед сном воспоминаниями о покинутой семье и так уснул с горем на лице. Неунявшийся ветер гнул поздние былинки в остывшей степи, и целина от вчерашнего дождя превратилась в тягучую грязь. Командир лежал против комиссара и тоже спал; его книжка была открыта на описании Рафаэля; Дванов посмотрел в страницу — там Рафаэль назывался живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря. Но Дванов не смог вообразить то время: дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей.

Комиссар открыл глаза.

— Что: стоим, что ли?

— Стоим!

— Что за черт — сто верст едем сутки! — рассердился комиссар, и Дванов опять пошел с ним к паровозу.

Паровоз стоял покинутый — ни машиниста, ни помощника не было. Впереди него — в пяти саженьях — лежали неумело разобранные рельсы.

Комиссар посерьезнел:

— Сами они ушли или побили их — сам черт не поймет! Как же мы теперь поедим?

— Конечно, сами ушли! — сказал Александр.

Паровоз стоял еще горячий, и Дванов решил сам, не спеша, повести состав. Комиссар согласился, дал Дванову в помощь двух красноармейцев, а другим велел собрать путь.

Часа через три эшелон тронулся. Дванов сам глядел за всем — и за топкой, и за водой, и на путь — и чего-то волновался. Большая машина шла покорно, а Дванов ее особо не гнал. Постепенно он осмелел и поехал быстрее, но строго тормозя на уклонах и закруглениях. Красно-

армейцам-помощникам он рассказал, в чем дело, и они довольно хорошо держали пар нужного давления.

Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный; около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд; разъезд Дванов проехал тихо, осматривая стрелки, и понесся дальше. Сквозь туманы выбиралось солнце и медленно грело сырую остывшую землю. Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же садились над своей пищей — осыпавшимися, пропавшими зернами.

Начался затяжной прямой уклон. Дванов закрыл пар и поехал по инерции с растущей скоростью.

Чистый путь виден далеко — до самого перехода уклона в подъем, в степной впадине. Дванов успокоился и слез с сиденья, чтобы посмотреть, как работают его помощники, и поговорить с ними. Минут через пять он вернулся к окну и выглянул. Далеко завиднелся семафор — вероятно, это и будет Разгуляй; за семафором он разглядел дым паровоза, но не удивился — Разгуляй был в советских руках; про это было известно еще в Урочеве. Там стоял какой-то штаб и держалось правильное сообщение с большой узловым станцией Лиски.

Паровозный дым на Разгуляе обратился в облако, и Дванов увидел трубу паровоза и его переднюю часть. «Вероятно, он прибыл с Лисок», — подумал Александр. Но паровоз ехал к семафору — на урочевский эшелон. «Сейчас он остановится, заходит за стрелку», — следил Дванов за тем паровозом. Но быстрая отсечка пара из трубы показывала работу машины: паровоз с хорошей скоростью шел навстречу. Дванов высунулся весь из окна и зорко следил. Паровоз прошел семафор — он вел тяжелый товарный или воинский состав по однопутной дороге в лоб паровозу Дванова. Сейчас Дванов шел под уклон, тот паровоз — тоже под уклон, и встретиться должны в степной впадине — на разломе профиля дороги. Александр догадался, что это дело гадкое, — и потянул рукоять двойной сирены; красноармейцы заметили встречный поезд и начали волноваться от испуга.

— Сейчас замедлю ход, и вы тогда прыгайте! — сказал им Дванов: все равно они были бесполезны. Вестингауз не действовал — это Александр знал еще вчера, при старом машинисте. Оставался обратный ход: контрпар. Встречный поезд тоже обнаружил урочевский эшелон и давал беспрерывный тревожный гудок. Дванов зацепил колечко свистка за вентиль, чтобы не прекращать тревожного сигнала, и начал переводить реверсивную муфту на задний ход.

Руки его охладели, и он еле осилил тугой червячный вал. Затем Дванов открыл весь пар и прислонился к котлу от вянущего утомления; он не видел, когда спрыгнули красноармейцы, но обрадовался, что их больше нет. Эшелон медленно пополз назад, паровоз его взял с пробук-

совкой, ударив водой в трубу. Дванов хотел уйти с паровоза, но потом вспомнил, что порвал крышки у цилиндров от слишком резкого открытия контрпара. Цилиндры парили — сальники были пробиты, но крышки уцелели. Встречный паровоз приближался очень ходко: синий дым стлался от трения тормозных колодок из-под его колес, но вес поезда был слишком велик, чтобы один паровоз смог задавить его скорость. Машинист резко и торопливо давал по три свистка, прося у бригады ручных тормозов, — Дванов понимал и смотрел на все, как посторонний. Его медленное размышление помогло ему в тот час — он испугался уйти со своего паровоза, потому что его бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. Кроме того, Захар Павлович, тем более отец Дванова никогда не оставили бы горячий целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр.

Дванов схватился за подоконник, чтобы выдержать удар, и в последний раз выглянул на противника. С того поезда сыпались как попало люди, уродуясь и спасаясь; Дванов заметил, что и с паровоза тоже брякнулся под откос человек — машинист или помощник. Дванов посмотрел назад — на свой поезд, — никто не показывался: наверное, все спали.

Александр зажмурился и боялся грома от толчка. Потом мгновенно, на оживших ногах, вылетел из будки, чтобы прыгать, и схватился за поручни сходной лесенки; только тут Дванов почувствовал свое помогающее сознание: котел обязательно взорвется от удара, и он будет размозжен, как враг машины. Близко бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротой. Земля была недостижима и уходила, как живая; Дванов вспомнил детское видение и детское чувство: мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами.

Теплая тишина тьмы заслонила зрение Дванова.

— Дай мне еще сказать!.. — сказал Дванов, и пропал в обступившей его тесноте.

Очнулся он вдалеке и один; старая сухая трава щекотала ему шею, и природа показалась очень шумной. Оба паровоза резали сиренами и предохранительными клапанами: от сотрясения у них сбились пружины. Паровоз Дванова стоял на рельсах правильно, только рама согнулась, посинев от мгновенного напряжения и нагрева. Разгуляевский паровоз перекосялся и врезался колесами в балласт. Внутрь переднего вагона урочевского поезда вошли два следующих, расклинив его стенки. Из разгуляевского состава корпуса двух вагонов были выжаты и сброшены на траву, а колесные скаты их лежали на тендере паровоза.

К Дванову подошел комиссар:

— Жив?

— Ничего. А почему это случилось?

— Черт его знает! Их машинист говорит, что тормоза у него отказали и он проскочил Разгуляй! Мы его арестовали, бродягу! А ты чего смотрел?

Дванов испугался:

— Я давал обратный ход — позови комиссию, пусть осмотрит, как стоит управление...

— Чего там комиссию! Человек сорок уложили у нас и у них — можно бы целый белый город взять с такими потерями! А тут казаки, говорят, шляются рядом — плохо нам будет!..

Вскоре с Разгуляя пришел вспомогательный поезд с рабочими и инструментами. Про Дванова все забыли, и он двинулся пешком на Лиски.

Но на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела, лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму, — Дванов даже обратил внимание на свет дня: действует ли он, раз человек так чернеет.

Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться, что он мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью жизни, и Дванов отступил от него, но человек начал опадать и светлеть — он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества.

Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленным вином выходила кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь:

— Перестань, собака, ведь я же ослабну!

Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась; красноармеец свалился навзничь и тихо сказал — с такой искренностью, когда не ждут ответа:

— Ох, и скучно мне — нету никого со мной!

Дванов близко подошел к красноармейцу, и он сознательно попросил его:

— Закрой мне зрение! — и глядел, не моргая, засыхающими глазами, без всякой дрожи век.

— А что? — спросил Александр и забеспокоился от стыда.

— Режет... — объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал.

В его умерших глазах явственно прошли отражения облачного неба, — как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни, и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью.

Станцию Разгуляй Дванов обошел, чтобы его не остановили там для проверки, и скрылся в безлюдье, где люди живут без помощи.

Железнодорожные будки всегда привлекали Дванова своими задумчивыми жителями — он думал, что путевые сторожа спокойны и умны в своем уединении. Дванов заходил в путевые дома пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением, и способен был навсегда остаться с ними, чтобы разделить участь их жизни.

Ночевал Дванов тоже в будке, но не в комнате, а в сенцах, потому что в комнате рожала женщина и всю ночь громко тосковала. Муж ее бродил без сна, шагая через Дванова, и говорил себе с удивлением:

— В такое время... В такое время...

Он боялся, что в беде революции быстро погибнет его нарождающийся ребенок. Четырехлетний мальчик просыпался от громкой тревоги матери, пил воду, выходил мочиться и глядел на все, как посторонний житель, — понимая, но не оправдывая. Наконец, Дванов неожиданно забылся и проснулся в тусклом свете утра, когда по крыше мягко шелестел скучный долгий дождь.

Из комнаты вышел довольный хозяин и прямо сказал:

— Мальчик родился!

— Это очень хорошо, — сказал ему Александр и поднялся с подстилки. — Человек будет!

Отец рожденного обиделся:

— Да, коров будет стеречь — много нас, людей!

Дванов вышел на дождь, чтобы уходить дальше. Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Александр махнул ему дважды рукой на прощанье, но он испугался и слез с окна; так Дванов его больше и не увидел, и не увидит никогда.

— До свиданья! — сказал Дванов дому и месту своего ночлега, и пошел на Лиски.

Через версту он встретил бодрую старушку с узелком.

— Она уже родила! — сказал ей Дванов, чтобы она не спешила.

— Родила?! — быстро удивилась старушка. — Знать, недоносок, батюшка, был — вот страсть-то! Кого ж бог послал?

— Мальчик, — довольно заявил Александр, как будто участвовал в происшествии.

— Мальчик! Непочетник родителям будет! — решила старуха. — Ох, и тяжело рожать, батюшка: хоть бы мужик один родил на свете, тогда б он в ножки жене и теще поклонился!..

Старуха сразу перешла на длинный разговор, ненужный Дванову, и он окоротил ее:

— Ну, бабушка, прощай! Мы с тобой не родим — чего нам ссориться!

— Прощай, дорогой! Помни мать свою — не будь непочетником!

Дванов обещал ей почитать родителей и обрадовал старушку своим уважением.

Долог был тот путь Александра домой. Он шел среди серой грусти облачного дня и глядел в осеннюю землю. Иногда на небе обнажалось солнце, оно прилегало своим светом к траве, песку, мертвой глине и обменивалось с ними чувствами без всякого сознания. Дванову нравилась эта безмолвная дружба солнца и поощрение светом земли.

В Лисках он влез в поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. Матросы задержали поезд, чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп, а после того эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть! Мы очень ее любим!» Потом китайцы сытыми легли спать. А ночью матрос Концов, которому не спалось от думы, просунул дуло винтовки в дверной просвет и начал стрелять в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов; Концов боялся, что он защищает людей и умрет за них задаром, поэтому заранее приобретал себе чувство обязанности воевать за пострадавших от его руки. После стрельбы Концов сразу и удовлетворенно уснул и спал четыреста верст, когда уже Александр давно оставил вагон, утром второго дня.

Дванов отворил калитку своего двора и обрадовался старому дереву, росшему у сени. Дерево было изранено, порублено, в него втыкали топор для отдыха, когда кололи дрова, но оно было еще живо и берегло зеленую страсть листвы на больных ветках.

— Пришел, Саш? — спросил Захар Павлович. — Это хорошо, что ты пришел, а то я здесь один остался. Ночью без тебя мне спать было неохота, все лежишь — и слушаешь, не идешь ли ты! Я и дверь для тебя не запираю, чтобы ты сразу вошел...

Первые дни дома Александр зяб и грелся на печке, а Захар Павлович сидел внизу и, сидя, дремал.

— Саш, ты, может быть, чего-нибудь хочешь? — спрашивал время от времени Захар Павлович.

— Нет, я ничего не хочу, — отвечал Александр.

— А я думал, может, ты съел бы чего-нибудь.

Скоро Дванов уже не мог расслышать вопросов Захара Павловича и не видел, как тот плакал по ночам, уткнувшись лицом в печурку, где грелись чулки Александра. Дванов заболел тифом, который повторялся, не покидая тела больного восемь месяцев, а затем тиф перешел в воспа-

ление легких. Александр лежал в забвении своей жизни, и лишь изредка он слышал в зимние ночи паровозные гудки и вспоминал их; иногда до равнодушного ума больного доносился гул далекой артиллерии, а потом ему опять было жарко и шумно в тесноте своего тела. В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший, он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он может полететь, как летят сухие, легкие трупики пауков.

Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним.

Дванов вышел из дома новым летом; воздух он ощутил тяжелым, как воду, солнце — шумящим от горения огня и весь мир свежим, едким, опьяняющим для его слабости. Жизнь снова заблестела перед Двановым — он напрягся телом, и мысль его всходила фантазией.

Через забор на Александра глядела знакомая девочка — Соня Мандрова, она не понимала, отчего Саша не умер, раз был гроб.

— Ты не умер? — спросила она.

— Нет, — сказал ей Александр. — А ты тоже жива?

— Я тоже жива. Мы с тобой будем вместе жить. Тебе хорошо теперь?

— Хорошо. А тебе?

— Мне тоже хорошо. А отчего ты такой худой? Это в тебе смерть была, а ты ее не пустил?

— А ты хотела, чтобы я умер? — спросил Александр.

— А я не знаю, — ответила Соня. — Я видела, что людей много, они умирают, а остаются.

Дванов позвал ее к себе на двор; босая Соня перелезла через забор и притронулась к Александру, позабыв его за зиму. Дванов ей рассказал, что он видел в своих снах во время болезни и как ему было скучно в темноте сна: нигде не было людей, и он узнал теперь, что их мало на свете; когда он шел по полю близ войны, то ему тоже редко попадались дома.

— Я тебе нечаянно говорила, что — не знаю, — сказала Соня. — Если б ты умер, я бы долго заплакала. Пускай бы ты уехал далеко, но я думала бы зато, что ты живешь целый...

Александр посмотрел на нее с удивлением. Соня уже выросла за этот год, хотя и ела мало; ее волосы потемнели, тело приобрело остроту, и при ней становилось стыдно.

— Ты еще не знаешь, Саш, я теперь учусь на курсах!..

— А чему там учат?

— Всему, чего мы не знаем. Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся, ведь — правда?

— Разве ты вонючее тесто?

— Ага. А потом не буду и другие не будут, потому что я стану учительницей детей и они начнут с малолетства умнеть. Тогда их не будут обижать вонючим тестом.

Дванов потрогал ее за одну руку, чтобы вновь привыкнуть к ней, а Соня дала ему и вторую руку.

— Ты так лучше поздоровеешь, — сказала она. — Ты холодный, а я горячая. Ты чувствуешь?

— Соня, ты приходи вечером к нам, — произнес Александр. — А то мне надоело одному.

Соня вечером пришла, и Саша ей рисовал, а она ему указывала, как надо рисовать лучше. Захар Павлович потихоньку вынес гроб и расколот его на топку. «Теперь надо детскую качалку сделать, — думал он. — Где бы это рессорного железа достать помягче!.. У нас ведь нету — у нас есть для паровозов. Может, у Саши будут ребятишки от Сони, а я их буду беречь. Соня скоро подрастет — и пусть существует, она тоже сиротка».

После того как Соня ушла, Дванов из боязни сразу лег спать до утра, чтобы увидеть новый день и не запомнить ночи. Однако он лежал и видел ночь открытыми глазами; окрепшая, взволнованная жизнь не хотела забываться в нем. Дванов представил себе тьму над тундрой, и люди, изгнанные с теплых мест земного шара, пришли туда жить. Те люди сделали маленькую железную дорогу, чтобы возить лес на устройство жилищ, заменяющих потерянный летний климат. Дванов вообразил себя машинистом той лесовозной дороги, которая возит бревна на постройку новых городов, и он мысленно проделывал всю работу машиниста — проезжал безлюдные перегоны, брал воду на станциях, свистел среди пурги, тормозил, разговаривал с помощником и, наконец, заснул у станции назначения, что была на берегу Ледовитого океана. Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и вдаль терпеливо уходила пустая дорога. Дванов завидовал всему этому — он хотел бы деревья, воздух и дорогу забрать и вместить в себя, чтобы не успеть умереть под их защитой. И еще что-то хотел вспомнить Дванов, но это усилие было тяжелее воспоминания, и его мысль исчезла от поворота сознания во сне, как птица с тронувшегося колеса.

Ночью поднялся ветер и остудил весь город. Во многих домах начался холод, а дети спасались от него тем, что грелись у горячих тел ти-

фозных матерей. У жены предгубисполкома Шумилина тоже был тиф, и двое детей прижались к ней с обеих сторон, чтобы спать в тепле; сам же Шумилин жег примус на столе для освещения, потому что лампы не имелось, а электричество погасло, и чертил ветряной двигатель, который будет тянуть за веревку плуг и пахать землю под хлеб. В губернии наступило безлошадье, и невозможно было ждать, пока народится и войдет в тяговую силу лошадиный молодец, — стало быть, нужно искать научный выход.

Закончив чертеж, Шумилин лег на диван и сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имевшей необходимых вещей, и смиренно заснул.

Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии уже что-нибудь придумали, может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды. Жена глядела на мужа белыми, выгоревшими от тифа глазами, и Шумилин вновь спрятался под пальто.

— Надо, — шептал он себе для успокоения, — надо поскорее начинать социализм, а то она умрет.

Дети тоже проснулись, но не вставали с теплоты постели и старались опять заснуть, чтобы не хотеть есть.

Тихо собравшись, Шумилин пошел служить; жене он обещал быть дома поскорей, но он это обещал ежедневно, а являлся всегда в ночное время.

Мимо губисполкома шли люди, их одежда была в глине, точно они жили в лощинных деревьях, а теперь двигались вдаль, не очистившись.

— Вы куда? — спросил этих бредущих Шумилин.

— Мы-то? — произнес один старик, начавший от безнадежности жизни уменьшаться в росте. — Мы куда попало идем, где нас окоротят. Поверни нас, мы назад пойдем.

— Тогда идите лучше вперед, — сказал им Шумилин; в кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастьи стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа. Из окна губисполкома были видны босые, неселяные поля; иногда там показывался одинокий человек и пристально всматривался в город, опершись подбородком на дорожную палку, а потом уходил куда-то в балку, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то надеялся.

Шумилин сказал по телефону секретарю губкома о своем беспокойстве: по полям и по городу ходят люди, чего-то они думают и хотят, а мы ими руководим из комнаты; не пора ли послать в губернию этичного, научного парня, пусть он поглядит — нет ли там социалистических эле-

ментов жизни: ведь массы тоже своего желают, может, они как-нибудь самодельно живут, тем более что к помощи они еще не привыкли; надо найти точку посередине нужды и по ней сразу ударить, — нам же некогда!

— Что ж, пошли! — согласился секретарь. — Я тебе такого подыщу, а ты его снабди указаниями.

— Давай его сегодня же, — попросил Шумилин. — Командируй его ко мне домой.

Секретарь дал распоряжение вниз по своему учреждению и забыл о дальнейшем. Конторщик орготдела не мог уже спустить приказ секретаря в глубину губкомовского аппарата и начал размышлять сам: кого бы это послать осматривать губернию? Никого не было — все коммунисты уже действовали; числился лишь какой-то Дванов, вызванный из Урочева для ремонта городского водопровода, но к его личному делу был подложен документ о болезни. «Если он не умер, то пошлю его», — решил конторщик и пошел сообщать секретарю губкома о Дванове.

— Он не выдающийся член партии, — сказал конторщик. — У нас выдаваться не на чем было. Вот будут большие дела, и люди на них проявятся, товарищ секретарь.

— Ладно, — ответил секретарь. — Пусть ребята дело выдумывают и растут на нем.

Вечером Дванов получил бумагу: немедленно явиться к предгубисполкома, чтобы побеседовать о намечающемся самозарождении социализма среди масс. Дванов встал и пошел на отвыкших ногах; Соня возвращалась со своих курсов с тетрадкой и лопухом; лопух она сорвала за то, что у него была белая исподняя кожа, по ночам его зачесывал ветер и освещала луна. Соня смотрела из окна на этот лопух, когда ей не спалось от молодости, а теперь зашла на пустошь и сорвала его. Дома она уже имела много растений, и больше всего среди них было бессмертников, что росли на солдатских могилах.

— Саша, — сказала Соня. — Нас скоро повезут в деревни — учить детство грамоте, а я хочу служить в цветочном магазине.

Александр на это ей ответил:

— Цветы и так любят почти все, а чужих детей редко кто, только — родители.

Соня не могла сообразить, она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать. И она отошла от Александра в обиде.

Где жил Шумилин, Дванов точно не знал. Сначала он вошел на двор того приблизительного дома, где должен был жить Шумилин. На дворе стояла хата, и в ней находился дворник; уже смеркалось, дворник лег спать с женой на полати, на чистой скатерти был оставлен хлеб для нечаянного гостя. Дванов вошел в хату, как в деревню, — там пахло

соломой и молоком, тою хозяйственной сытой теплотой, в которой произошло зачатъе всего русского сельского народа, и дворник-хозяин, должно быть, шептался с женой о своих дворовых заботах.

Дворник числился тогда санитаром двора, чтобы не унижать его достоинства; на просьбу Дванова указать Шумилина, санитар надел валенки и накинул на белье шинель.

— Пойду постужусь для казны, а ты, Поля, не спи пока.

Шумилин в то время кормил большую жену мятой картошкой с блюдечка, женщина слабо жевала пищу и жалела одной рукой приютившегося у ее тела трехлетнего сына.

Дванов сказал, что ему надо.

— Погоди, я жену докормлю, — попросил Шумилин и, докормив, указал: — Вот сам видишь, товарищ Дванов, что нам нужно: днем я служу, а вечером бабу с руки кормлю. Нам необходимо как-нибудь иначе научиться жить...

— Так — тоже ничего, — ответил Дванов. — Когда я болел и Захар Павлович кормил меня из рук, я это любил.

— Чего ты любил? — не понял Шумилин.

— Когда люди питаются из рук в рот.

— Ага, ну люби, — не почувствовав, сказал Шумилин, и дальше он захотел, чтобы Дванов пошел пешком по губернии и оглядел — как там люди живут; наверное, беднота уже скопилась сама по себе и устроилась по-социальному.

— Мы здесь служим, — огорченно высказывался Шумилин, — а массы живут. Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится — им защиты, кроме товарищества, нет. Ты бы пошел и глянул туда.

Дванов вспомнил различных людей, бродивших по полям и спавших в пустых помещениях фронта; может быть, и на самом деле те люди скопились где-нибудь в овраге, скрытом от ветра и государства, и живут, довольные своей дружбой. Дванов согласился искать коммунизм среди самодеятельности населения.

— Соня, — сказал он утром на другой день. — Я ухожу, до свидания!

Девушка влезла на забор, она умывалась на дворе.

— А я уезжаю, Саш. Меня опять Клуша гонит. Лучше буду в деревне жить сама.

Дванов знал, что Соня жила у знакомой тетки Клуши, а родителей у нее не было. Но куда же она едет в деревню одна? Оказалось, Соню с подругами выпускали с курсов досрочно, потому что в деревне собирались банды из неграмотных людей и туда посылались учительницы наравне с отрядами Красной Армии.

— Мы с тобой увидимся теперь после революции, — произнес Дванов.

— Мы увидимся, — подтвердила Соня. — Поцелуй меня в щеку, а я тебя в лоб — я видела, что так люди всегда прощаются, а мне не с кем попрощаться.

Дванов тронул губами ее щеку и сам почувствовал сухой венчик Социниных уст на своем лбу; Соня отвернулась и гладила забор мучившейся неуверенной рукой.

Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил запах увядшей травы, исходивший от ее волос. Здесь девушка обернулась и снова ожила.

Захар Павлович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданом и не моргал, чтобы не накапливать слез.

Дванов шел по губернии, по дорогам уездов и волостей. Он держался ближе к поселениям, поэтому ему приходилось идти по долинам рек и по балкам. Выходя на водоразделы, Дванов уже не видел ни одной деревни, нигде не шел дым из печной трубы, и редко возделывался хлеб на этой степной высоте; здесь росла чуждая трава и сплошной бурьян давал приют и пищу птицам и насекомым.

С водоразделов Россия казалась Дванову ненаселенной, но зато в глубинах лощин и на берегах маловодных протоков всюду жили деревни, — было видно, что люди селились по следам воды, они существовали невольниками водоемов. Сначала Дванов ничего не увидел в губернии, она ему показалась вся одинаковой, как видение скудного воображения; но в один вечер он не имел ночлега и нашел его только в теплом бурьяне на высоте водораздела.

Дванов лег и покопал пальцами почву под собой: земля оказалась вполне тучной, однако ее не пахали, и Александр подумал, что тут безлошадье, а сам уснул. На заре он проснулся от тяжести другого тела и вынул револьвер.

— Не пугайся, — сказал ему привалившийся человек. — Я озяб во сне, вижу, ты лежишь, — давай теперь обхватимся для тепла и будем спать.

Дванов обхватил его, и оба согрелись. Утром, не выпуская человека, Александр спросил его шепотом:

— Отчего тут не пахнут? Ведь земля здесь черная! Лошадей, что ль, нету?

— Погоди, — ответил хриповатым, махорочным голосом пригревшийся пешеход. — Я бы сказал тебе, да у меня ум без хлеба не обраща-

ется. Раньше были люди, а теперь стали рты. Понял ты мое слово?

— Нет, а чего? — потерялся Дванов. — Всю ночь грелся со мной, а сейчас обижаешься!..

Пешеход встал на ноги.

— Вчера же был вечер, субъект-человек! А горе человека идет по ходу солнца; вечером оно садится в него, а утром выходит оттуда. Ведь я вечером стыл, а не утром.

У Дванова было среди карманного сора немного хлебной мякоти.

— Поешь, — отдал он хлеб, — пусть твой ум обращается в живот, а я без тебя узнаю, чего хочу.

В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев.

— Пускай сажаются, — согласился председатель совета. — Все одно, им конец там будет, там питья нету, и она дальняя. Мы и сами той земли почти сроду не касались... А была б там вода, так мы б из себя дали высосать, а ту залежь с довольством содержали...

Нынче Дванов шел еще более в даль губернии и не знал, где остановится. Он думал о времени, когда заблестит вода на сухих, возвышенных водоразделах, то будет социализмом.

Вскоре перед ним открылась узкая долина какой-то древней, давно сохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка — огромное стадо жадных дворов, сбившихся на тесном водопое.

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для стариков.

Эти камни Дванов вспомнил уже после, когда сидел в Петропавловском сельсовете. Он зашел туда, чтобы ему дали ночлег на приближающуюся ночь и чтобы написать письмо Шумилину. Дванов не знал, как начинаются письма, и сообщал Шумилину, что у природы нет особого дара, она берет терпением: из Финляндии через равнины и тоскливую долготу времени в Петропавловку приполз валун на языке ледника. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в степи социализм. Это ближе, чем притащить валун из Финляндии.

Пока Дванов писал, около его стола чего-то дожидался крестьянин со своенравным лицом и психической, самодельно подстриженной бородкой.

— Все стараетесь! — сказал этот человек, уверенный во всеобщем заблуждении.

— Стараемся! — понял его Дванов. — Надо же вас на чистую воду в степь выводить!

Крестьянин сладострастно почесал бородку.

— Ишь ты какой! Стало быть, теперь самые умные люди явились! А то без вас не догадались бы, как сытно харчиться!

— Нет, не догадались бы! — равнодушно вздохнул Дванов.

— Эй, мешаный, уходи отсюда! — крикнул председатель Совета с другого стола. — Ты же бог, чего ты с нами знаешься!

Оказывается, этот человек считал себя богом, и все знал. По своему убеждению, он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость — надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали.

Когда секретарь Совета повел Дванова на постой, то бог стоял на пороге и зяб.

— Бог, — сказал секретарь, — доведи товарища до Кузи Поганкина, скажи, что из Совета — ихняя очередь!

Дванов пошел с богом.

Встретился нестарый мужик и сказал богу:

— Здравствуй, Никанорыч, — тебе б пора Лениным стать, будя богом-то!

Но бог стерпел и не ответил на приветствие. Только когда отошли подальше, бог вздохнул:

— Ну, и держава!

— Что, — спросил Дванов, — бога не держит?

— Нет, — просто сознался бог. — Очами видят, руками щупают, а не верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай тоскуют до корней, покуда кора не заголится.

У хаты Поганкина бог остановил Дванова и без прощания повернул назад.

Дванов не отпустил его:

— Постой, что ж ты теперь думаешь делать?

Бог сумрачно глянул в деревенское пространство, где он был одиноким человеком.

— Вот объявлю в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и поверят.

Бог духовно сосредоточился и молчал минуту.

— А в другую ночь раздам обратно — и большевистская слава по чину будет моей.

Дванов проводил бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, — без шапки, в одном пиджаке и босой; пищей его была глина, а надеждой — мечта.

Поганкин встретил Дванова неласково — он скучал от бедности. Дети его за годы голода постарели и, как большие, думали только о до-

быче хлеба. Две девочки походили уже на баб: они носили длинные материны юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали. Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин, действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения. Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными существами.

Когда смерклось, двенадцатилетняя Варя умело сварила похлебку из картофельных шкурок и ложки пшена.

— Папашка, слезай ужинать! — позвала Варя. — Мамка, кликни ребят на дворе: чего они стынут там, шуты синие!

Дванов застеснялся: что из этой Вари дальше будет?

— А ты отвернись, — обратилась Варя к Дванову. — На всех вас не наготовишься: своих куча!

Варя подоткнула волосы и оправила кофту и юбку, как будто под ними было что-то неприличное.

Пришли два мальчика — сопливые, привыкшие к голоду и все-таки счастливые от детства. Они не знали, что происходит революция, и считали картофельные шкурки вечной едой.

— Я вам скоко раз наказывала раньше приходите! — закричала Варя на братьев. — У, идолы кромешные! Сейчас же снимайте одежду — негде ее брать!

Мальчишки скинули свои ветхие овчинки, но под овчинками не было ни штанов, ни рубашек. Тогда они голые залезли на лавку у стола и сели на корточки. Наверное, к такому сбережению одежды дети были приучены сестрой. Варя собрала овчинные гуни в одно место и начала раздавать ложки.

— За папашкой следите — чаще не хватайте! — приказала Варя братьям порядок еды, а сама села в уголок и подперла щеку ладошей: ведь хозяйки едят после.

Мальчишки зорко наблюдали за отцом: как он вынет ложку из чашки, так они враз совались туда и моментально глотали похлебку. Потом опять дежурили с пустыми ложками, — ожидая отца.

— Я вас, я вас! — грозилась Варя, когда ее братья норовили залезть ложками в чашку одновременно с отцом.

— Варька, отец гущу одну таскает — не вели ему! — сказал один мальчик, приученный сестрой к твердой справедливости.

Сам Поганкин тоже побаивался Варю, потому что стал таскать ложки пожиже.

За окном, на небе, непохожем на землю, зрели влекущие звезды. Дванов нашел Полярную звезду и подумал, сколько времени ей приходится терпеть свое существование; ему тоже надо еще долго терпеть.

— Завтра либо бандиты опять поскачут! — жуя, сказал Поганкин, и хлопнул ложкой по лбу одного мальчика: тот выгасил сразу кусок картошки.

— Отчего бандиты? — хотел узнать Дванов.

— На дворе вызвездило — дорога поусадистой пойдет! У нас тут как грязь — так мир, как дорога провянет — так война начинается!

Поганкин положил ложку и хотел рыгнуть, но у него не вышло.

— Теперича хватай! — разрешил он детям. Те полезли на захват остатков в чашке.

— От такого довольствия цельный год не икаю! — серьезно сообщил Дванову Поганкин. — А бывало, пообедаешь, так до самой вечерни от икоты родителей поминаешь! Вкус был!

Дванов укладывался, чтобы уснуть и поскорее достигнуть завтрашнего дня. Завтра он пойдет к железной дороге, чтобы возвратиться домой.

— Наверное, скучно вам живется? — спросил Дванов, уже успокаиваясь для сна.

Поганкин согласился:

— Да то, ништ, весело! В деревне везде скучно. Оттого и народ-то лишний плодится, что скучно. Ништ, стал бы каждый женщину мучить, ежели б другое занятие было?

— А вы бы переселялись на верхние жирные земли! — догадался Дванов. — Там можно жить с достатком, от этого веселей будет.

Поганкин задумался.

— Куды там — разве стронешься с таким карогодом?.. Ребята, идите отпузырьтесь на ночь...

— А чего же? — испытывал Дванов. — А то у вас отнимут ту землю обратно.

— Это как же? Аль распоряжение вышло?

— Вышло, — сказал Дванов. — Что ж зря пропадает лучшая земля? Целая революция шла из-за земли, вам ее дали, а она почти не рожает. Теперь ее пришлым поселенцам будут отдавать — те верхом на нее сядут... Нароют колодцев, заведут на суходолах хутора — земля и разродится. А вы только в гости ездите в степь...

Поганкин весь озаботился; Дванов нашел его страх.

— Земля-то там уж дюже хороша! — позавидовал Поганкин своей собственности. — Что хошь родит. Нюжли советская власть по усердию судит?

— Конечно, — улыбался Дванов в темноте. — Ведь поселенцы придут такие же крестьяне. Но раз они лучше владеют землей, то им ее и отдадут. Советская власть урожаем любит.

— Это-то хоть верно, — загорюнился Поганкин. — Ей тогда удобней разверсткой крыть!

— Разверстку скоро запретят, — выдумывал Дванов. — Как война догорит, так ее и не будет.

— Да мужики тоже так говорят, — соглашался Поганкин. — Ай кто стерпит муку такую нестерпимую! Ни в одной державе так не полагается... Либó, правда, в степь-то уйти полезней?

— Уходи, конечно, — налегал Дванов. — Набери хозяев десять и трагайся...

После Поганкин долго разговаривал с Варей и с болящей женой о переселении — Дванов им дал целую душевную мечту.

Утром Дванов ел в сельсовете пшеничную кашу и снова видел бога. Бог отказался от каши: что мне делать с нею, — сказал он, — если съем, то навсегда, все равно, не наемся.

В подводе совет Дванову отказал, и бог указал ему дорогу на слободу Каверино, откуда до железной дороги двадцать верст.

— Попомни меня, — сказал бог и опечалился взором. — Вот мы навсегда расходимся, и как это грустно — никто не поймет. Из двух человек остается по одному! Но упомни, что один человек растет от дружбы другого, а я расту из одной глины своей души.

— Поэтому ты есть бог? — спросил Дванов.

Бог печально смотрел на него, как на неверующего в факт.

Дванов заключил, что этот бог умен, только живет наоборот; но русский — это человек двухстороннего действия: он может жить и так и обратно, и в обоих случаях останется цел.

Затем настал долгий дождь, и Дванов вышел на нагорную дорогу лишь под вечер. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно, что река умирала: ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотами стояла уже ночная тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели в глушь гнезда, насекомые замерли в щелях омертвелой осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот.

Но Дванову слышались в воздухе невнятные строфы летней песни, и он хотел в них возвратить слова. Он знал волнение повторенной, умноженной на окружающее сочувствие жизни. Но строфы песни рассеивались и рвались слабым ветром в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина. Он слышал движение, непохожее на его чувство сознания.

В этом затухающем, наклонившемся мире Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах, но, если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы, как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Лишь слова обращают текущее чувство в мысль, поэтому размышляющий человек беседует.

Но беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими людьми — забава.

— Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону, — закончил Дванов.

Он сделал головою полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать.

— Природа все-таки деловое событие. Эти воспетые пригорки и ручейки не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей. Они станут доходными, и это лучше. Из земли и воды кормятся люди, а с ними мне придется жить.

Дальше Дванов начал уставать и шел, ощущая скуку внутри всего тела. Скука утомления сушила его внутренности, трение тела совершалось ту же — без влаги мысленной фантазии.

В виду дымов села Каверино, дорога пошла над оврагом. В овраге воздух сгушался в тьму. Там существовали какие-то мочливые трясины и, быть может, ютились странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости.

Бог слободы Петропавловки имел себе живые подобия в этих всеях губернии.

Из глубины оврага послышалось сопенье усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине.

Молодой отважный голос запел впереди конного отряда. Но слова и напев песни были родом издали отсюда.

Есть в далекой стране,
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца по-своему и другим напевом:

Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет совет
Серпом-молотом...

Одинокий певец продолжал вразлад с отрядом:

Вот мой меч и душа,
А там счастье мое...

Отряд покрыл припевом конец куплета:

Эх, яблочко
Задушевное,
Ты в паек попадешь —
Будешь прелое...
Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в совет попадешь
С номером-печатью...

Люди враз засвистали и кончили песню напропалую:

Их, яблочко,
Ты держи свободу:
Ни советам, ни царям,
А всему народу...

Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием в овраге.

— Эй, верхний человек! — крикнули Дванову из отряда. — Слазь к безначальному народу!

Дванов оставался на месте.

— Ходи быстро! — звучно сказал один густым голосом, вероятно, тот, что запевал. — А то считай до половины — и садись на мушку!

Дванов подумал, что Соня едва ли уцелеет в такой жизни, и решил не хранить себя:

— Выезжайте сами сюда — тут суше! Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия!

Отряд внизу остановился.

— Никитók, делай его насквозь! — приказал густой голос.

Никитók приложил винтовку, но сначала, за счет бога, разрядил свой угнетенный дух:

— По мошонке Иисуса Христа, по ребру богородицы и по всему христианскому поколению — пли!

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы. Дванов знал, что он ранен в правую ногу — туда впилась железная птица и шевелилась колкими остьями крыльев.

В овраге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало не страшно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом, травой дорог и тишиной жизни.

— Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя.

Дванов услышал. Он сжал ногу коня обеими руками, нога превратилась в благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она стала ему нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос, сердце его поднялось к горлу, он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспамятстве матери: семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время — и в наваждении Дванов глубоко возобладал Соной. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом.

Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб: тёпел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

— Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!

Никита не был похож на свою руку — это уловил Дванов, — он закричал тонким паршивым голосом, без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке:

— Ай ты цел? Я тебя не расклину, а разошью: зачем тебе сразу помирать, — ай ты не человек? — помучайся, полежи — спрехвала по-мрешь прочней!

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка:

— Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано — кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия!

— Мать жизни, свободы и порядка! — сказал лежащий Дванов. — Как ваша фамилия?

Вождь засмеялся:

— А тебе сейчас не все равно? — Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского. Не этот ли всадник сочинил ту книгу?

— Вы писатель! Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась.

— Да пусть он сам обнажается! Что я сдохлым буду возиться — его тогда не повернешь! — соскучился ждать Никита. — Одежда на нем в талию, всю порвешь, и прибýtка не останется.

Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога заостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал.

— Тут, что ль, я тебя тронул? — спросил Никита, бережно взяв ногу.

— Тут, — сказал Дванов.

— Ну, ничего — кость цела, а рану салом затынет, ты парень не старый. Родители-то у тебя останутся?

— Останутся, — ответил Дванов.

— Пушай остаются, — говорил Никита. — Поскучают и забудут. Родителям только теперь и поскучаться! Ты коммунист, что ль?

— Коммунист.

— Дело твое: всякому царства хочется!

Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты опраивляли коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом — наступила очередная ночь. Дванов жалел, что теперь не повторится видение Сони, а об остальной жизни не вспоминал.

— Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь.

Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита сразу же их клал в свой мешок.

— Я уже сказал, что да, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.

— А сами-то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее? — допытывался вождь. — Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта.

— Нет, — заявил Дванов. — Идею там я забыл, но зато она выдумана интересно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло для чтения хорошо.

Вождь от внимательного удивления поднялся на седле:

— Это любопытно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.

— А одёжа? — огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

— Смотри не испорть мне его на ветру! Это большевистский интеллигент — редкий тип.

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она снова чувствует выстрел и железные остья внутри.

Овраг шел внутрь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было: все ментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Специальный был мужик!

Дванов представил себе этого специального большевика и сказал Никите:

— Скоро и вас расстреливать будут — совсем с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.

Никита не обиделся:

— А ты скачи, скачи, знай! Балакать тебе время не пришло. Я, брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.

— Я глядеть не буду, — успокоил Дванов Никиту. — А замечу, так не осужу.

— Да и я не осуждаю, — смирился Никита. — Дело житейское. Мне товар дорог.

До Лиманного хутора добрали часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывал грудь к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводить лошадей, а Дванова забыли одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:

— Девайся, куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.

Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немощи в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселились и легли спать. Дванов дополз до сарая и залез там в просяную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело.

С этим утешением он снова уснул. Никита утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что не улыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным, либо глаза, либо рот.

Соня Мандрова приехала на подводе в деревню Волошино и стала жить в школе учительницей. Ее звали также принимать рождающихся

детей, сидеть на посиделках, лечить раны, и она делала это, как умела, не обижая никого. В ней все нуждались в этой небольшой приовражной деревне, а Соня чувствовала себя важной и счастливой от утешения горя и болезней населения. Но по ночам она оставалась и ждала письмо от Дванова. Она дала свой адрес Захару Павловичу и всем знакомым, чтобы те не забыли написать Саше, где она живет. Захар Павлович обещал так сделать и подарил ей фотографию Дванова:

— Все равно, — сказал он, — ты карточку назад ко мне принесешь, когда его супругой станешь и будешь жить со мной.

— Принесу, — говорила ему Соня.

Она глядела на небо из окна школы и видела звезды над тишиной ночи. Там было такое безмолвие, что в степи, казалось, находилась одна пустота и не хватало воздуха для дыхания; поэтому падали звезды вниз. Соня думала о письме, — сумеют ли его безопасно провезти по полям; письмо обратилось для нее в питающую идею жизни; что бы ни делала Соня, она верила, что письмо где-то идет к ней, оно в скрытом виде хранит для нее одной необходимость дальнейшего существования и веселой надежды, — и с тем большей бережливостью и усердием Соня трудилась ради уменьшения несчастья деревенских людей. Она знала, что в письме все это окупится.

Но письма тогда читали посторонние люди. Двановское письмо Шумилину прочитано было еще в Петропавловке. Первым читал почтарь, затем все его знакомые, интересующиеся чтением: учитель, дьякон, вдова лавочника, сын псаломщика и еще кое-кто. Библиотеки тогда не работали, книг не продавали, а люди были несчастны и требовали душевного утешения. Поэтому хата почтаря стала библиотекой. Особо интересные письма адресату совсем не шли, а оставлялись для перечитывания и постоянного удовольствия.

Казенные пакеты почтарь сразу откладывал — все вперед знали их смысл. Больше всего читатели поучались письмами, проходившими через Петропавловку транзитом: неизвестные люди писали печально и интересно.

Прочитанные письма почтарь заклеивал папкой и отправлял дальше по маршруту.

Соня еще не знала этого, иначе бы она пошла пешком сквозь все деревенские почты. Сквозь угловую печь она слышала храпящий сон сторожа, который служил в школе не за жалованье, а ради вечности имущества. Он хотел бы, чтобы школу не посещали дети: они корябают столы и мажут стены. Сторож предвидел, что без его забот учительница умрет, а школа растащится мужиками для дворовых нужд. Соне было легче спать, когда она слышала живущего недалеко человека, и она осторожно, обтирая ноги о постилку, ложилась в свою белеющую

холодом постель. Где-то, обращаясь пастью в тьму степи, брехали верные собаки.

Соня свернулась, чтобы чувствовать свое тело и греться им, и начала засыпать. Ее темные волосы таинственно распустились по подушке, а рот открылся от внимания к сновиденью. Она видела, как вырастали черные раны на ее теле, и, проснувшись, она быстро и без памяти проверила тело рукой.

В дверь школы грубо стучала палка. Сторож уже стронулся со своего сонного места и возился со щеколдой и задвижкой в сенях. Он ругал беспокойного человека наружи:

— Чего ты кнутовищем-то содишь? Тут женщина отдыхает, а доска дюймовая! Ну, чего тебе?

— А что здесь находится? — спросил снаружи спокойный голос.

— Здесь — училище, — ответил сторож. — А ты думал, постоянный двор?

— Значит, здесь одна учительница живет?

— А где же ей по должности надо находиться? — удивлялся сторож. — И зачем она тебе? Разве я тебя допущу до нее? Охальник какой!

— Покажи нам ее...

— Ежели они захочут — так поглядишь.

— Пусти — кто там? — крикнула Соня и выбежала из своей комнаты в сени.

Двое сошли с коней — Мрачинский и Дванов.

Соня отступилась от них. Перед ней стоял Саша, обросший, грязный и печальный.

Мрачинский глядел на Софью Александровну снисходительно: ее жалкое тело не стоило его внимания и усилий.

— С вами еще есть кто-нибудь? — спросила Соня, не чувствуя пока своего счастья. — Зовите, Саш, своих товарищей, у меня есть сахар, и вы будете чай пить.

Дванов кликнул с крыльца и вернулся. Пришел Никита и еще один человек — малого роста, худой и с глазами без внимательности в них, хотя он уже на пороге увидел женщину и сразу почувствовал влечение к ней — не ради обладания, а для защиты угнетенной женской слабости. Звали его Степан Копенкин.

Копенкин всем поклонился, с напряженным достоинством опустив свою голову, и предложил Соне конфетку-барбариску, которую он возил месяца два в кармане неизвестно для кого.

— Никита, — сказал Копенкин редко говорящим, угрожающим голосом. — Свари кипятку на кухне, проведи эту операцию с Петрушей. Пошуй у себя меду — ты всякую дрянь грабишь: удить я тебя буду в тылу, гаду такую!

— Откуда вы знаете, что сторожа зовут Петром? — с робостью и удивлением спросила Соня.

Копенкин привстал от искреннего уважения:

— Я его, товарищ, лично арестовал в имени Бушинского за сопротивление ревнароду при уничтожении отъявленного имущества!

Дванов обратился к испуганной этими людьми Соне:

— Ты знаешь, это кто? Он командир полевых большевиков, он меня спас от убийства вон тем человеком! — Дванов показал на Мрачинского. — Тот человек говорит об анархии, а сам боялся продолжения моей жизни.

Дванов смеялся, он не огорчался на прошлое.

— Такую сволочь я терплю до первого сражения, — заявил Копенкин про Мрачинского. — Понимаете, Сашу Дванова я застал голым, раненым на одном хуторе, где этот сыч с отрядом кур воровал! Оказываются, они ищут безвластия! Чего? — спрашиваю я. — Анархии, говорят. Ах, чума вас возьми: все будут без власти, а они с винтовками! Сплошь — чушь! У меня было пять человек, а у них тридцать: и то я их взял. Они же подворные воры, а не воины! Оставил в плену его и Никитку, а остальных распустил под честное слово о трудолюбии. Вот погляжу, как он кинется на бандитов, так ли, как на Сашу, иль потише. Тогда я его сложу и вычту.

Мрачинский чистил щепочкой ногти. Он хранил скромность несправедливо побежденного.

— А где же остальные члены войска товарища Копенкина? — спросила Соня у Дванова.

— Их Копенкин отпустил к женам на двое суток, он считает, что военные поражения происходят от потери солдатами жен. Он хочет завести семейные армии.

Никита принес мед в пивной бутылке, а сторож — самовар. Мед пах керосином, но все-таки его съели начисто.

— Механик, сукин сын! — осердился Копенкин на Никиту. — Мед в бутылку ворует: ты больше его мимо пролил. Не мог корчажку найти!

И вдруг Копенкин воодушевленно переменялся. Он поднял чашку с чаем и сказал всем:

— Товарищи! Давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!

— Отлично! — сказал Мрачинский.

— Всех угробим! — поддакнул Никита и перелил стакан в блюдце. — Женщин ранить до смерти недопустимо.

Соня сидела в испуге.

Чай был выпит. Копенкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней пальцем. Здесь он заметил Мрачинского и вспомнил, что он ему не нравится.

— Ты иди пока на кухню, друг, а через час лошадей попоишь... Петрушка, — крикнул Копенкин сторожу. — Покарауй их! Ты тоже ступай туда, — сказал он Никите. — Не хлестай кипятком до дна, он может понадобиться. Что ты в жаркой стране, что ль?

Никита сразу проглотил воду и перестал жажда. Копенкин сумрачно задумался. Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства, кроме того, нельзя было представить его происхождения — был ли он из батраков или из профессоров, — черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его заволакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища.

Но воспоминания делали Копенкина снова неподвижным. Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург: у обеих была чернота волос и жалостность в теле; это Копенкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний.

Чувства о Розе Люксембург так взволновали Копенкина, что он опечалился глазами, полными скорбных слез. Он неутомимо шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты.

— Моя любовь теперь сверкает на сабле и в винтовке, но не в бедном сердце! — объявил Копенкин и обнажил шашку. — Врагов Розы, бедняков и женщин я буду косить, как бурьян!

Пришел Никита с корчажкой молока. Копенкин махал шашкой.

— У нас дневного довольствия нету, а он летошних мух пугает! — тихо, но недовольно упрекнул Никита. Потом громко доложил: — Товарищ Копенкин, я тебе на обед жидких харчей принес. Чего бы хошь доставил, да ты опять браниться будешь. Тут мельник барана вчерашний день заколол — дозволяй военную долю забрать! Нам же полагается походная норьма.

— Полагается? — спросил Копенкин. — Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене! Больше нормы не бери!

— Тогда контрреволюция будет! — подтвердил Никита со справедливостью в голосе. — Я казенную норьму знаю: кость не возьму.

— Не буди население, завтра питание возьмешь, — сказал Копенкин.

— Завтра, товарищ Копенкин, они спрячут, — предвидел Никита, но не пошел, так как Копенкин не любил входить в рассуждения и мог внезапно действовать.

Уже было позднее время. Копенкин поклонился Соне, желая ей мирного сна, и все четверо перешли спать к Петру на кухню. Пять че-

ловек легло в ряд на солому, и скоро лицо Дванова побледнело ото сна; он уткнулся головой в живот Копенкину и затих, а Копенкин, спавший с саблей и в полном обмундировании, положил на него руку для защиты.

Выждав время всеобщего сна, Никита встал и осмотрел сначала Копенкина.

— Ишь, сопит, дьявол! А ведь добрый мужик!

И вышел искать какую-либо курицу на утренний завтрак. Дванов заметался в беспокойстве — он испугался во сне, что у него останавливается сердце, и сел на полу в пробуждении.

— А где же социализм-то? — вспомнил Дванов и поглядел в тьму комнаты, ища свою вещь; ему представилось, что он его уже нашел, но утратил во сне среди этих чужих людей. В испуге будущего наказания Дванов без шапки и в чулках вышел наружу, увидел опасную, безответную ночь и побежал через деревню в свою даль.

Так он бежал по серой, светящей земле, пока не увидел утро и дым паровоза на степном вокзале. Там стоял поезд перед отправкой по расписанию.

Дванов, не опомнясь, полез через платформу в душившей его толпе. Сзади него оказался усердный человек, тоже хотевший ехать. Он так ломил толпу, что на нем рвалась одежда от трения, но все, кто был впереди него — и Дванов среди них, — нечаянно попали на тормозную площадку товарного вагона. Тот человек вынужден был посадить передних, чтобы попасть самому. Теперь он смеялся от успеха и читал вслух маленький плакат на стене площадки:

«Советский транспорт — это путь для паровоза истории».

Читатель вполне согласился с плакатом: он представил себе хороший паровоз со звездой впереди, едущий порожняком по рельсам неизвестно куда; дешевки же возят паровозы сработанные, а не паровозы истории; едущих сейчас плакат не касался.

Дванов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и бессмысленно пережить дорогу до того, что он потерял или забыл увидеть на прежнем пути.

Через два дня Александр вспомнил, зачем он живет и куда послан. Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в поступках, ни в страдании, — он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба это — видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подьезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажет-

ся иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара, швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.

Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым не был.

Он существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое имелось налицо, но чего-то малого и главного недоставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется — так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.

Это евнух души человека. Вот чему он был свидетелем.

Первый час Дванов ехал молча. Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя боится свои тщетные надежды, а вождь из массы и ее надежд извлекает пользу и наслаждение власти. Тормозная площадка вагона, где уместились человек двадцать, признала своим вождем того человека, который втиснул всех на площадку, чтобы влезть на нее самому. Этот вождь ничего не знал, но обо всем сообщал. Поэтому люди ему верили — они хотели достать где-то по пуду муки, и вот им нужно заранее знать, что они достанут, дабы иметь силы мучиться. Вождь говорил, что все непременно муку обменяют: он уже был там, куда люди едут. Он знает эту богатую слободу, где мужики едят кур и пшеничные пышки. Там скоро будет престольный праздник и всех мешочников обязательно угостят.

— В избах тепло, как в бане, — обнадеживал вождь. — Бараньего жиру наешься и лежи себе спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашонки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы — ешь до тех пор, пока в скулях судорога не пойдет. А пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сала в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!

Люди слушали вождя в испуге опасной радости.

— Господи, да неужели ж вернется когда старое время? — почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший свое недоедание мучительно и страстно, как женщина погибающего ребенка. — Нет, тому, что было, больше не вековать!.. Ух, выпил бы я сейчас хоть рюмочку — все бы грехи царю простил!

— Что, отец, аль так хочется? — спросил вождь.

— И не говори, милый! Чего я только не пил? Тут тебе и лак, и политура, за деколон большие деньги платил. Все понапрасну: корябает, а души не радуется! А помнишь, бывало, водка — санитарно готовилась, стерва! Прозрачна, чисто воздух божий — ни соринки, ни запаха, как

женская слеза. Бутылочка вся аккуратная, ярлык правильный — искусная вещь! Хватишь сотку — сразу тебе кажется и равенство, и братство. Была жизнь!

Все слушатели вздохнули с искренним сожалением о том, что ушло и не остановилось. Поля были освещены утренним небом, и степные грустные виды природы просились в душу, но их туда не пускали, и они расточались ходом поезда, оставаясь без взгляда назад.

В жалобах и мечтах ехали люди в то позабытое утро и не замечали, что один молодой человек стоит среди них, уснув на ногах. Он ехал без вещей и мешка: вероятно, имел другую посуду для хлеба — или просто скрывался. Вождь хотел у него по обычаю проверить документы и спросил — куда он едет. Дванов не спал и ответил — одну станцию.

— Сейчас будет твоя остановка, — сообщил вождь. — Зря место занимал на короткое расстояние: пешком бы дошел.

Станция освещалась керосиновым фонарем, хотя день уже настал, а под фонарем стоял дежурный помощник начальника. Пассажиры побежали с чайниками, пугаясь всякого шороха паровоза, чтобы не остаться на этой станции навсегда, но они могли бы управиться без спешки: поезд остался на этой станции на день и еще ночевать.

Дванов продремал весь день близ железной дороги, а на ночь пошел в просторную хату около станции, где давался любому человеку ночной приют за какую-нибудь плату. На полу постылой хаты народ лежал ярусами. Все помещение озарялось открытой затопленной печкой. У печки сидел мужик с мертвой черной бородой и следил за действием огня. От вздохов и храпа стоял такой шум, точно здесь не спали, а работали. При тогдашней озабоченной жизни и сон являлся трудом. За деревянной перегородкой была другая комната — меньше и темней. Там стояла русская печка, на ней бодрствовали только два голых человека и чинили свою одежду. Дванов обрадовался простору на печке и полез туда. Голые люди подвинулись. Но на печке была такая жара, что можно печь картошки.

— Здесь, молодой человек, не уснете, — сказал один голый. — Тут только вшей сушить.

Дванов все-таки прилег. Ему показалось, что он с кем-то вдвоем: он видел одновременно и ночлежную хату, и самого себя, лежащего на печке. Он отодвинулся, чтобы дать место своему спутнику, и, обняв его, забылся.

Двое голых починили одежду. Один сказал: «Поздно, вон малый уж спит», — и оба слезли на пол искать места в ушельях спящих тел. У мужика с черной бородой печка потухла; он встал, потянулся руками и сказал: «Эй, горе мое скучное!» А потом вышел наружу и больше не возвращался.

В хате начало холодать. Вышла кошка и побрела по лежащим людям, трогая веселой лапкой распущенные бороды.

Кто-то не понял кошки и сказал со сна:

— Проходи, девочка, сами не емши.

Вдруг среди пола сразу поднялся и сел опухший парень в клочьях ранней бороды.

— Мама, мамка! Дай отрез, старая карга! Дай мне отрез, я тебе говорю...Надень чугуна на него!

Кошка сделала спинку дугой и ожидала от парня опасности.

Соседний старик хотя и спал, но ум у него работал от старости сквозь сон.

— Ляжь, ляжь, шальной, — сказал старик. — Чего ты на народе пугаешься? Спи с богом.

Парень повалился без сознания обратно.

Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю дневную теплоту, начиналась предрассветная тяга воздуха в высоту. В окна была видна росистая, изменившаяся трава, будто рощи лунных долин. Вдалеке неустанно гудел какой-то срочный поезд — его стискивали тяжелые пространства, и он, вопя, бежал по глухой щели выемки.

Раздался резкий звук чьей-то спящей жизни, и Дванов очнулся. Он вспомнил про сундук, в котором вез булки для Сони; в том сундуке была масса сытных булок. Теперь сундука на печке не оказывалось. Тогда Дванов осторожно слез на пол и пошел искать сундук внизу. Он весь трепетал от испуга утратить сундук, все его душевные силы превратились в тоску о сундуке. Дванов стал на четвереньки и начал ощупывать сонных людей, предполагая, что они спрятали под собою сундук. Спящие ворочались, и под ними был лишь голый пол. Сундука нигде не обнаруживалось. Дванов ужаснулся своей потере и заплакал от обиды. Он снова крался по спящим, трогал их сумки и даже заглядывал в печь. Многим он отдал ноги, другим оцарапал подошвой щеку или стронул с места всего человека. Семеро проснулись и сели.

— Ну, чего ты, дьявол, ищешь? — с тихим ожесточением спросил благообразный мужик. — Чего ты сеял тут, бессонный сатаноид?

— Ляпни его валенком, Степан, к тебе он ближе! — предложил другой человек, спавший в шапке на кирпиче.

— Вы не видели сундука моего? — обратился Дванов к угрожающим людям. — Он был замкнут, вчера принес, а сейчас нету.

Подслеповатый, но тем более чуткий мужик пощупал свою сумку и сказал:

— Ишь ты гусь какой! Сун-ду-ук! Да аль он был у тебя? Ты вчерась порожний прибыл: я не зажмуривши сидел. А теперь сундука захотел!..

— Да дай ты ему, Степан, хоть раз: у тебя лапа посыттей моего! — попросил человек в шапке. — Уважь, пожалуйста: всех граждан перебудил, сучий зверь! Теперь сиди наяву до завтра.

Дванов потерянно стоял среди всех и ожидал помощи.

Из другой комнаты, от русской печки, раздался чей-то устоявшийся голос:

— Выкиньте сейчас же этого ходока на двор! А то я встану, тогда всех перебрякаю. Дайте покой хоть в ночное время советскому человеку.

— А, да чего тут с ним разговаривать! — крикнул лобастый парень у двери и вскочил на ноги. Он схватил Дванова поперек, как павший ствол, и выволок его наружу.

— Остынь тут! — сказал парень и ушел в теплоту хаты, прихлопнув дверь.

Дванов пошел по улице. Строй звезд нес свой стерегущий труд над ним. Небо от них чуть светлело по ту сторону мира, а внизу стояла прохладная чистота.

Выбравшись из поселка, Дванов хотел побежать, но упал. Он забыл про свою рану на ноге, а оттуда все время сочилась кровь и густая влага; в отверстие раны уходила сила тела и сознания, и Дванову хотелось дремать. Теперь он понял свою слабость, освежил рану водой из лужи, перевернул повязку навзничь и бережно пошел дальше. Впереди его наставал новый, лучший день; свет с востока сегодня походил на вспугнутую стаю белых птиц, мчавшихся по небу с кипящей скоростью в смутную высоту.

Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане, лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы.

Никита сидел в кухне Волошинской школы и ел тело курицы, а Копенкин и другие боевые люди спали на полу. Раньше всех проснулась Соня; она подошла к двери и позвала Дванова. Но Никита ей ответил, что Дванов тут и не ночевал, он, наверно, отправился вперед по своему делу новой жизни, раз он коммунист. Тогда Соня босиком вошла в помещение сторожа Петра.

— Что ж вы лежите и спите тут, — сказала она, — а Саши нет!

Копенкин открыл сначала один глаз, а второй у него открылся, когда он уже был на ногах и в шапке.

— Петруша, — обратился он, — ты вари свою воду на всех, а я отбуду на полдня!.. Что ж вы ночью не сказали мне, товарищ? — упрекнул

Соню Копенкин. — Человек он молодой: свободная вещь — погаснет в полях, и рана есть на нем. Идет он где-нибудь сейчас, и ветер выбивает у него слезы из глаз на лицо...

Копенкин пошел на двор к своему коню. Конь обладал грузной комплекцией и легче способен возить бревна, чем человека. Привыкнув к хозяину и гражданской войне, конь питался молодыми плетнями, соломой крыш и был доволен малым. Однако, чтобы достаточно наесться, конь съедал по осммушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь.

— Здорово, Пролетарская Сила! — приветствовал Копенкин сопевшего от перенасыщения грубым кормом коня. — Поедем на могилу Розы!

Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы, и лошадь так привыкла к слову «Роза», что признавала его за понукание вперед. После звуков «Розы» конь сразу начинал шевелить ногами, будь тут хоть топь, хоть чаща, хоть пучины снежных сугробов.

— Роза, моя Роза! — время от времени бормотал Копенкин в пути — и конь напрягался толстым телом.

— Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружают землю и попадут на родину Розы.

Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней. Горячая тоска сосредоточенно скоплась в нем, и не случался подвиг, чтобы утомить одинокое тело Копенкина.

— Роза! — жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали.

Пролетарская Сила уставала обыкновенно не от дороги, а от тяжести своего веса. Конь вырос в луговой долине реки Битюга и капал иногда смачной слюной от воспоминания сладкого разнотравия своей родины.

— Опять жевать захотел? — замечал с седла Копенкин. — На будущий год пушу тебя в бурьян на месяц на побывку, а потом поедем сразу на могилу...

Лошадь чувствовала благодарность и с усердием вдавливала попутную траву в ее земную основу. Копенкин особо не направлял коня,

если дорога неожиданно расходилась надвое. Пролетарская Сила самостоятельно предпочитала одну дорогу другой и всегда выходила туда, где нуждались в вооруженной руке Копенкина. Копенкин же действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня; он считал общую жизнь умней своей головы.

Бандит Грошиков долго охотился за Копенкиным и никак не мог встретиться с ним — именно потому, что Копенкин сам не знал, куда он пойдет, а Грошиков тем более.

Проехав верст пять от Волошина, Копенкин добрался до хутора в пять дворов. Он оголил саблю и ее концом по очереди постучал во все хаты.

Из хат выскакивали безумные бабы, давно приготовившиеся преставиться смерти.

— Чего тебе, родимый: у нас белые ушли, а красные не таятся!

— Выходи на улицу всем семейством — и сейчас же! — густо командовал Копенкин.

Вышли в конце концов семь баб и два старика, — детей они не вывели, а мужей схоронили по закутам.

Копенкин осмотрел народ и приказал:

— Разойдись по дымам! Займись мирным трудом!

Дванова, определенно, не было на этом хуторе.

— Едем поближе к Розе, Пролетарская Сила, — снова обратился к коню Копенкин, Пролетарская Сила начала осиливать почву дальше.

— Роза! — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет.

В шапке Копенкина был зашит плакат с изображением Розы Люксембург. На плакате она нарисована красками так красиво, что любой женщине с ней не сравняться. Копенкин верил в точность плаката и, чтобы не растрогаться, боялся его расшивать.

До вечера ехал Копенкин по пустым местам и озирали впадины — не спит ли там уморившийся Дванов. Но везде было тихое безлюдие. Под вечер Копенкин достиг длинного села под названием Малое и начал подворно проверять население, ища Дванова среди сельских семейств. На конце села наступила ночь; тогда Копенкин съехал в овраг и прекратил шаг Пролетарской Силы. И оба — человек и конь — умолкли в покое на всю ночь.

Утром Копенкин дал Пролетарской Силе время наесться и снова отправился на ней, куда ему нужно было. Дорога шла по песчаным наносам, но Копенкин долго не останавливал коня.

От трудности движения пот на Пролетарской Силе выступил пузырями. Это случилось в полдень, на околице малодворной деревни. Копенкин въехал в ту деревню и назначил коню передышку.

По лопухам лезла женщина в сытой шубке и в полушалке.

— Ты кто? — остановил ее Копенкин.

— Я-то? Да я повитуха.

— Разве здесь рожаются люди?

Повитуха привыкла к общительности и любила разговаривать с мужчинами.

— Да то будто нет! Мужик-то с войны валом навалился, а бабам страсть наступила...

— Ты вот что, баба: нынче сюда один малый без шапки прискакал — жена у него никак не разродится, — он тебя, должно, ищет, а ты пробежи-ка по хатам да попроси, он здесь где-нибудь. Потом мне придешь скажешь! Слыхала?!

— Худошавенький такой? В сатинетовой рубашке? — узнавала повитуха.

Копенкин вспоминал-вспоминал и не мог сказать. Все люди для него имели лишь два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские; дальше Копенкин не глядывался.

— Он! — согласился Копенкин. — В сатинетовой рубашке и в штанах.

— Дак я тебе сейчас его приведу — он у Феклуши сидит, она ему картошки варила...

— Веди его ко мне, баба, я тебе пролетарское спасибо скажу! — проговорил Копенкин и погладил Пролетарскую Силу. Лошадь стояла, как машина, — огромная, трепещущая, обтянутая узлами мускулов; на таком коне только целину пахать да деревья выкорчевывать.

Повитуха пошла к Феклуше.

Феклуша стирала свое вдовье добро, оголив налитые розовые руки.

Повитуха перекрестилась и спросила:

— А где же постоялец твой? Его там верховой спрашивает.

— Спит он, — сказала Феклуша. — Малый и так еле живой, будить не буду.

Дванов свесил с печки правую руку, и по ней была видна глубокая и редкая мера его дыхания.

Повитуха вернулась к Копенкину, и он сам дошел пешком до Феклуши.

— Буди гостя! — однозначно приказал Копенкин.

Феклуша подергала Дванова за руку. Тот быстро заговорил от сонного испуга и показался лицом.

— Едем, товарищ Дванов! — попросил Копенкин. — Тебя учительница велела доставить.

Дванов проснулся и вспомнил:

— Нет, я отсюда никуда не поеду. Уезжай обратно.

— Дело твое, — сказал Копенкин. — Раз ты жив, то это отлично.

Назад Копенкин ехал до самой темноты, но зато по более ближней дороге. Уже ночью он заметил мельницу и освещенные окна школы.

Петр-сторож и Мрачинский играли в шашки в комнате Сони, а сама учительница сидела в кухне у стола и горевала головой на ладони.

— Он не хочет ехать, — доложил Копенкин. — У бабы-бобылки на печке лежит.

— Ну и пусть лежит, — отреклась от Дванова Соня. — Он все думает, что я девочка, а я тоже чувствую отчего-то печаль.

Копенкин пошел к лошадям. Члены его отряда еще не вернулись от жен, а Мрачинский и Никита жили без дела, наевшись народных харчей.

«Так мы все деревни в войну проедем, — заключил про себя Копенкин. — Никакой тыловой базы не останется: разве доедешь тогда до Розы Люксембург».

Мрачинский и Никита суетились без пользы на дворе, показывая Копенкину свою готовность к любому усердию. Мрачинский находился на старом навозе и утрамбовывал его ногами.

— Ступайте в горницу, — сказал им Копенкин, медленно размышляя. — А завтра я вас обоих на волю отпущу. Чего я буду таскать за собой расстроенных людей? Какие вы враги — вы нахлебники! Вы теперь знаете, что я — есть, и все.

Дванов в то затянувшееся для его жизни время сидел в уюте жилища и следил, как его хозяйка вешала белье на линии бечевки у печки. Коний жир горел в черепушке языками ада из уездных картин; по улице шли деревенские люди в брошенные места окрестностей. Гражданская война лежала там осколками народного достояния — мертвыми лошадьми, повозками, зипунами бандитов и подушками. Подушки заменяли бандитам седла; оттого в бандитских отрядах была команда: по перинам! Отвечая этому, красноармейские командиры кричали на лету коней, мчавшихся вслед бандам:

— Даешь подушки бабам!

Поселок Средние Болтаи по ночам выходил на лога и перелески и бродил по следам минувших сражений, ища хозяйственных вещей. Многим перепало кое-что: этот промысел разборки гражданской войны существовал неубыточно. Напрасно висели приказы военкомата о

возвращении найденного воинского снаряжения: орудия войны разымались по деталям и превращались в механизмы мирных занятий — к пулемету с водяным охлаждением пристраивался чугунок, и получалась самогонная система, походные кухни вмазывались в деревенские бани, некоторые части трехдюймовок шли шерстобитам, а из замков пушек делали палбрицы для мельничных поставов. Дванов видел на одном дворе женскую рубашку, сшитую из английского флага. Эта рубашка сохла на русском ветру и уже имела прорвы и следы носки ее женщиной.

Хозяйка Фекла Степановна кончила работу.

— Чтой-то ты такой задумчивый, парень? — спросила она. — Есть хочешь или скучно тебе?

— Так, — сказал Дванов. — У тебя в хате тихо, и я отдыхаю.

— Отдохни. Тебе спешить некуда, ты еще молодой — жизнь тебе останется...

Фекла Степановна зазевала, закрывая рот большой работающей рукой:

— А я... век свой прожила. Мужика у меня убили на царской войне, жить нечем, и сну будешь рада.

Фекла Степановна разделась при Дванове, зная, что она никому не нужная.

— Потуши огонь, — сказала босая Фекла Степановна, — а то завтра встать не с чем будет.

Дванов дунул в черепок. Фекла Степановна залезла на печку.

— И ты тогда полезай сюда... Теперь не такое время — на срамоту мою сам не поглядишь.

Дванов знал, что, не будь этого человека в хате, он бы сразу убежал отсюда вновь к Соне либо искать поскорее социализм вдальеке. Фекла Степановна защитила Дванова тем, что приучила его к своей простоте женщины, точно она была сестрой скончавшейся матери Дванова, которой он не помнил и не мог любить.

Когда Фекла Степановна уснула, Дванову стало трудно быть одному. Целый день они почти не разговаривали, но Дванов не чувствовал одиночества: все-таки Фекла Степановна как-то думала о нем, и Дванов тоже непрерывно ощущал ее, избавляясь этим от своей забывающейся сосредоточенности. Теперь его нет в сознании Феклы Степановны, и Дванов почувствовал тягость своего будущего сна, когда и сам он всех забудет; его разум вытеснится теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным грустным наблюдателем.

Старая вера называла это изгнанное слабое сознание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего на холод из душевной тьмы живущего человека.

Где-то, в своей устающей тишине, Дванов скучал о Соне и не знал, что ему нужно делать; он бы хотел взять ее с собой на руки и уйти вперед свежим и свободным для других и лучших впечатлений. Свет за окном прекращался, и воздух в хате сперся без сквозного ветра.

На улице шуршали по земле люди, возвращаясь с трудов по разоружению войны. Иногда они волокли тяжести и спаживали траву до почвы.

Дванов тихо забрался на печь. Фекла Степановна скреблась под мышками и ворочалась.

— Ложишься? — в безучастном сне спросила она. — А то чего же: спи себе.

От жарких печных кирпичей Дванов еще более разволновался и смог уснуть, только утомившись от тепла и растеряв себя в бреду. Маленькие вещи — коробки, черепки, валенки, кофты — обратились в грузные предметы огромного объема и валились на Дванова: он их обязан был пропускать внутрь себя, они входили туго и натягивали кожу. Больше всего Дванов боялся, что лопнет кожа. Страшны были не ожившие удушающие вещи, а то, что разорвется кожа и сам захлебнешься сухой горячей шерстью валенка, застрявшей в швах кожи.

Фекла Степановна положила руку на лицо Дванова. Дванову почудился запах увядшей травы, он вспомнил прощание с жалкой, босой полудевушкой у забора и зажал руку Феклы Степановны. Успокаиваясь и укрываясь от тоски, он перехватывал руку выше и прислонился к Фекле Степановне.

— Что ты, малый, мечешься? — почувяла она. — Забудься и спи.

Дванов не ответил. Его сердце застучало, как твердое, и громко обрадовалось своей свободе внутри. Сторож жизни Дванова сидел в своем помещении, он не радовался и не горевал, а нес нужную службу.

Опытными руками Дванов ласкал Феклу Степановну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении.

— Чего ты? — близким шумным голосом прошептала Фекла Степановна. — Это у всех одинаковое.

— Вы — сестры, — сказал Дванов с нежностью ясного воспоминания, с необходимостью сделать благо для Сони через ее сестру.

Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения: он все время внимательно слушал высокую точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но — уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал — он плачет один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления.

Ровная бледность ночи в хате показалась Дванову мутной, глаза его заволакивались. Вещи стояли маленькими на своих местах, Дванов ничего не хотел и уснул здоровым.

До самого утра не мог Дванов отдохнуть. Он проснулся поздно, когда Фекла Степановна разводила огонь под таганом на загнетке, но снова уснул. Он чувствовал такое утомление, словно вчера ему была нанесена истошающая рана.

Около полудня у окна остановилась Пролетарская Сила. С ее спины вторично сошел Копенкин, ради нахождения друга.

Копенкин постучал ножами по стеклу.

— Хозяйка, пошли-ка гостя своего ко мне.

Фекла Степановна потрясла голову Дванова:

— Малый, очухайся, тебя конный кличет!

Дванов еле просыпался и видел сплошной голубой туман.

В хату вошел Копенкин с курткой и шапкой.

— Ты что, товарищ Дванов, навеки, что ль, здесь пригроздился? Вот тебе прислала учительница — твоё натальное добро.

— Я тут останусь навсегда, — сказал Дванов.

Копенкин наклонил голову, не имея в ней мысли себе на помощь.

— Тогда я поеду. Прощай, товарищ Дванов.

Дванов увидел в верхнюю половину окна, как поехал Копенкин в глубь равнины, в далекую сторону. Пролетарская Сила уносила отсюда пожилого воина на то место, где жил живой враг коммунизма, и Копенкин все более скрывался от Дванова — убогий, далекий и счастливый.

Дванов прыгнул с печи и лишь на улице вспомнил, что надо потом поберечь раненую ногу, а теперь пусть она так перетерпит.

— Чего ж ты ко мне прибежал? — спросил его ехавший шагом Копенкин. — Я ведь помру скоро, а ты один на лошади останешься!..

И он поднял Дванова снизу и посадил его на зад Пролетарской Силы.

— Держись за мой живот руками. Будем вместе ехать и существовать.

До самого вечера шагала вперед Пролетарская Сила, а вечером Дванов и Копенкин стали на ночлег у лесного сторожа на границе леса и степи.

— У тебя никто из разных людей не был? — спросил Копенкин у сторожа.

Но в его сторожке много ночевало дорожных людей, и сторож сказал:

— Да мало ли народу теперь за харчами ездит — аль упомнишь всех! Я — человек публичный, мне каждую морду помнить — мочи нет!

— А чего-то у тебя на дворе гарью пахнет? — вспомнил воздух Копенкин.

Сторож и Копенкин вышли на двор.

— А ты слышишь, — примечал сторож, — трава позванивает, а ветра нету.

— Нету, — прислушивался Копенкин.

— Это, проходящие сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять какой-то гарью понесло.

— Не чую, — нюхал Копенкин.

— У тебя нос заложило. Это воздух от беспроводных знаков подгорает.

— Махай палкой! — давал мгновенный приказ Копенкин. — Пугай ихний шум — пускай они ничего не разберут.

Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привыкшую руку не сводило в суставе плеча.

— Достаточно, — отменял Копенкин. — Теперь у них смутно получилось.

После победы Копенкин удовлетворился; он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом. Замолчавший лесной сторож дал Копенкину и Дванову по ломтю хорошего хлеба и сел в отдалении. На вкус хлеба Копенкин не обратил внимания, — он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближнему направлению, не отдаваясь своему телу.

— За что ты нас кормишь, может быть, мы вредные люди? — спросил Дванов у сторожа.

— А ты б не ел! — упрекнул Копенкин. — Хлеб сам родится в земле, мужик только щекочет ее сохой, как баба коровье вымя! Это неполный труд. Верно, хозяин?

— Да должно, так, — поддакнул накормивший их человек. — Ваша власть, вам видней.

— Дурак ты, кулацкий кум, — вмиг рассердился Копенкин. — Наша власть не страх, а народная задумчивость.

Сторож согласился, что теперь — задумчивость. Перед сном Дванов и Копенкин говорили о завтрашнем дне.

— Как ты думаешь, — спрашивал Дванов, — скоро мы расселим деревни по-советски?

Копенкин революцией был навеки убежден, что любой враг податлив.

— Да то долго! Мы — враз: скажем, что иначе суходольная земля хохлам отойдет... А то просто вооруженной рукой проведем трудгужповинность на перевозку построек: раз сказано, земля — социализм, то пускай то и будет.

— Сначала надо воду завести в степях, — соображал Дванов. — Там по этой части сухое место, наши водоразделы — это отродье закаспийской пустыни.

— А мы водопровод туда проведем, — быстро утешил товарища Копенкин. — Оборудуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух — цветущее дело!

Здесь Дванов уже забылся; Копенкин подложил под его раненую ногу травяной мякоти и тоже успокоился до утра.

А утром они оставили дом на лесной опушке и взяли направление на степной край.

По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.

— Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.

— Я, земляк, кóтма качусь, — объяснил встречный. — Ноги джуже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.

Копенкин что-то усомнился:

— Так ты иди нормально и стройно.

— Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать — тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе...

— Это что там за деревня видна? — спросил Копенкин.

— Там-то? — странник обернулся помертвелым лицом: он не знал, что покрыл за свою жизнь расстояние до луны. — Там, пожалуй, будут Ханские Дворики... А пес их знает: по всей степи деревни живут.

Копенкин постарался дальше вникнуть в этого человека:

— Стало быть, ты джуже жену свою любишь...

Пешеход взглянул на всадников глазами, отуманенными дальней дорогой.

— Конечно, уважаю. Когда она рожала, я с горя даже на крышу лазил...

В Ханских Двориках пахло пищей, но это курили из хлеба самогон. В связи с этим тайным производством, по улице понеслась какая-то распущенная баба. Она вскакивала в каждую хату и сразу выметывалась оттуда.

— Хронт ворочается! — предупреждала она мужиков, а сама жутко оглядывалась на вооруженную силу Копенкина и Дванова.

Крестьяне лили в огонь воду — из изб полз чад; самогонное месиво наспех выносили в свиные корыта, и свиньи, наевшись, метались потом в бреду по деревне.

— Где тут совет, честный человек? — обратился Копенкин к хромому гражданину.

Хромой гражданин шел медленным важным шагом, облеченный неизвестным достоинством.

— Ты говоришь — я честный? Ногу отняли, а теперь честным называете?.. Нету тут сельсовета, а я полномочный волревкома, бедняцкая

карающая власть и сила. Ты не гляди, что я хром, — я здесь самый умный человек: все могу!

— Слушай меня, товарищ полномочный! — сказал Копенкин с грозой в голосе. — Вот тебе главный командированный губисполкома! — Дванов сошел с коня и подал уполномоченному руку. — Он делает социализм в губернии, в боевом порядке революционной совести и трудгужловинности. Что у вас есть?

Уполномоченный ничего не испугался:

— У нас ума много, а хлеба нету.

Дванов изловил его:

— Зато самогон стелется над отнятой у помещиков землей.

Уполномоченный серьезно обиделся.

— Ты, товарищ, зря не говори! Я официальный приказ подписал вчерашний день: сегодня у нас сельский молебен в честь избавления от царизма. Народу мною дано своеволие на одни сутки — нынче что хошь делай: я хожу без противодействия, а революция отдыхает... Чуешь?

— Кто ж тебе такое своевластие дал? — нахмурился Копенкин с коня.

— Да я ж тут все одно что Ленин! — разъяснил хромой очевидность. — Нынче кулаки угощают бедноту — по моим квитанциям, а я проверяю исполнение сего.

— Проверил? — спросил Дванов.

— Подворно и на выбор: все идет чином. Крепость — свыше довоенной, безлошадные довольны.

— А чего тогда баба бегаёт с испуга? — узнавал Копенкин про недоброе.

Хромой сам этим серьезно возмущился:

— Советской сознательности еще нету. Боятся товарищей гостей встречать, лучше в лопухи добро прольют и государственной беднотой притворяются. Я-то знаю все ихние похоронки, весь смысл жизни у них вижу...

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя — в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища — удовлетворяют ли они их, — имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозвется Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли

двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом: по-уличному Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком — были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными.

— Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся.

— Сделаем, — отвечали оба, — только утверди и дай справку.

— Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому.

— Нам хотя бы устно, — просили заявители.

Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни, можно ли уничтожить ночь для повышения урожая, об организации ежедневного трудового счастья, что такое душа — жалобнее сердце или ум в голове, — и о многом другом мучился Достоевский, не давая покоя семье по ночам.

В доме Достоевского имелась библиотека книг, но он уже знал их наизусть, они его не утешали, и Достоевский думал лично сам.

Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным.

— Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма. — Он даже привел газетный лозунг:

Гони березку в рост,
Иначе съест ее коза Европы!

Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть.

— Так за кем же дело, товарищи? — воодушевленно воскликнул Достоевский. — Давайте начнем тогда сейчас же: можно к новому году поспеть сделать социализм! Летом прискачут белые козы, а кора уже застарееет на советской березе.

Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял.

— Нет, товарищ Достоевский. Социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?

— У нас многодворье: триста сорок дворов, да на отшибе пятнадцать хозяев живут, — сообщил Достоевский.

— Вот и хорошо. Вам надо разбиться артелей на пять, на шесть, — придумывал Дванов. — Объяви немедленно трудовинность — пусть пока колодцы на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?

Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину, и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района, но это шло в нем долго: он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается.

— Колодезники-то есть, — говорил Достоевский. — Примерно, Франц Меринг: он ногами воду чувствует. Побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: рой, ребята, тутошнее место на шесть сажён. Вода потом гуртом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили.

Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками на бедняцкой безымянной земле, но и оттуда люди разбредутся куда-то странниками и воинами, и станет человек как редкость. Достоевский уже все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и теплом, чтобы совесть и нетерпение взошли силой внутри его тела — от временного отсутствия социализма наяву.

Копенкин слушал-слушал и обиделся:

— Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома — закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа!

Дванов завлекал Достоевского дальше:

— Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет. А еще — усилится обмен влаги, небо станет голубей и прозрачней.

Достоевский обрадовался: он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что — бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский; и вот — он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости; чистоплотные красивые девушки приносят ему вкусную пищу — борщ и

свинину, но уносят ее целой обратно: Достоевский не может очнуться от своей обязанности.

Девушки влюбляются в Достоевского, но они поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности.

Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывая эпоху надвое:

— Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? — Это я по социализму скучал.

— По нем, — утвердительно сказал Копенкин. — Всякому охота Розу любить.

Достоевский обратил внимание на Розу, но полностью не понял — лишь догадался, что Роза, наверно, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг.

— Совершенно правильно, товарищ! — с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье уже было открыто. — Но все-таки я вот похудел от руководства революцией в своем районе.

— Понятно: ты здесь всем текущим событиям затычка, — поддерживал Копенкин достоинство Достоевского.

Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть той ночью; он ворочался и протяжно бормотал мелочи своих размышлений.

— Ты что? — услышал звуки Достоевского незаснувший Копенкин. — Тебе от скуки скуля сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально.

Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю — для встречи внезапно напавшего врага.

— Я ради советской власти тебя тронул! — объяснил Достоевский.

— Тогда чего же ты раньше не разбудил? — строго спросил Копенкин.

— Скотского поголовья у нас нету, — сразу заговорил Достоевский: он за половину ночи успел додумать дело социализма до самой жизни. — Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить?.. Замучился я от волнений...

Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.

— Саша! — сказал он Дванову. — Ты не спи зря: скажи этому элементу, что он советских законов не знает.

Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.

— Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин! Над чем думает. Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Кряк — и готово!

Копенкин сейчас же снова заснул: он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции; Роза Люксембург заранее

и за всех продумала все — теперь остались одни подвиги вооруженной руки, ради сокрушения видимого и невидимого врага.

Утром Достоевский пошел в обход Ханских Двориков, объявляя подворно объединенный приказ волревкома и губисполкома — о революционном дележе скота без всякого изъятия.

И скот выводили к церкви на площадь, под плач всего имущего народа. Но и бедняки страдали от вида ноющих хозяев и жалостных старух, а некоторые из неимущих тоже плакали, хотя их ожидала доля.

Женщины целовали коров, мужики особо ласково и некрепко держали своих лошадей, ободряя их, как сыновей на войну, а сами решали — заплакать им или так обойтись.

Один крестьянин, человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом и девичьим голосом, привел своего рысака не только без упрека, а со словами утешения для всех тоскующих однодеревенцев:

— Дядя Митрий, чего ты? — высоко говорил он грустному старику. — Да пралич ее завозьми совсем: что ты с жизнью, что ль, без остатка расстаешься? Ишь ты, скорбь какая — лошадь заберут, — да сатана с ней, еще заведем. Собери скорбя свои обратно!

Достоевский знал этого крестьянина: старый дезертир. Он в малолетстве прибыл откуда-то без справки и документа — и не мог быть призванным ни на одну войну: не имел официального года рождения и имени, а формально вовсе не существовал; чтобы обозначить его как-нибудь, для житейского удобства соседи прозвали дезертира Недоделанным, а в списках бывшего сельсовета он не значился. Был один секретарь, который ниже всех фамилий написал: «Прочие — 1; пол: сомнительный». Но следующий секретарь не понял такой записи и прибавил одну лишнюю голову к крупнорогатому скоту, а «прочих» вычеркнул абсолютно. Так и жил Недоделанный общественной утечкой, как просо с воза на землю.

Однако недавно Достоевский чернилами вписал его в гражданский список — под названием «уклоняющегося середняка без лично присвоенной фамилии», и тем прочно закрепил его существование: как бы родил Недоделанного для советской пользы.

Степная жизнь шла в старину по следам скота, и в народе остался страх умереть с голоду без скота, поэтому люди плакали больше из предрассудка, чем из страха убытка.

Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам.

Копенкин проверил его:

— Не ошибись: революционное-то чувство сейчас в тебе полностью?

Гордый властью Достоевский показал рукой от живота до шеи. Способ дележа он придумал простой и ясный: самые бедные получали

самых лучших лошадей и коров; но так как скота было мало, то середнякам уже ничего не пришлось, лишь некоторым перепало по овце.

Когда дело благополучно подбивалось к концу, вышел тот же Недоделанный и обратился хрипатым голосом:

— Федор Михалыч, товарищ Достоевский, наше дело, конечно, нелепое, но ты не обижайся, что я тебе сейчас скажу. Ты только не обижайся!

— Говори, гражданин Недоделанный, говори честно и бесстрашно! — открыто и почтительно для всех разрешил Достоевский.

Недоделанный повернулся к горюющему народу. Горевали даже бедняки, испуганно державшие даровых лошадей, а многие из них тайком поотдавали скот обратно имущим.

— Раз так, то слухай меня весь скоп! Я вот по-дурацки спрошу: а чего будет делать, к примеру, Петька Рыжов с моим рысаком? У него же весь корм в соломенной крыше, на усадьбе жердины в запасе нету, а в пузе полкартошки парится с третьего дня. А во-вторых, ты не обижайся, Федор Михалыч, — твое дело революция — нам известно, — а во-вторых, как потом с приплодом быть? Теперча мы бедняки: стало быть, лошадные для нас сосунов будут жеребить? А ну-ка спроси, Федор Михалыч, похотят ли бедняки-лошадники жеребят и телок нам питать?

Народ окаменел от такого здравого смысла.

Недоделанный учел молчание и продолжал:

— По-моему, годов через пять выше куры скота ни у кого не будет. Кому ж охота маток телить для соседа? Да и нынешний-то скот, не доживя веку, подохнет. У того же Петьки мой рысак первым ляжет — человек сроду лошадь не видал, а кроме кольев у него кормов нету! Ты вот утешь меня, Федор Михалыч, — только обиды в себе на меня не томи!

Достоевский его сразу утешил:

— Верно, Недоделанный, ни к чему дележ!

Копенкин вырвался на чистоту посреди круга людей.

— Как так ни к чему? Ты что, бандитскую сторону берешь? Так я тебя враз доделаю! Граждане, — с утрашением и дрожью сказал всем Копенкин. — Того, что недоделанный кулак сейчас говорил, — ничего не будет. Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет! Вследствие же отвода рысака от Рыжова предлагаю его передать уполномоченному губисполкома — товарищу Дванову. А теперь — расходитесь, товарищи бедняки, для борьбы с разрухой!

Бедняки неуверенно тронулись с коровами и лошадьми, разувшись их водить.

Недоделанный, обомлевши, глядел на Копенкина — его мучила уже не утрата рысака, а любопытство.

— А дозволейте мне слово спросить, товарищ из губернии? — на-
смелился наконец Недоделанный детским голосом.

— Власти тебе не дано, так спрашивай тогда! — сжалился Копен-
кин.

Недоделанный вежливо и внимательно спросил:

— А что такое социализм, что там будет и откуда туда добро при-
бавится?

Копенкин объяснил без усилия:

— Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, то ничего
не поймешь.

Вечером Дванов и Копенкин хотели уезжать, но Достоевский про-
сил остаться до утра, чтобы окончательно узнать — с чего начинать и
чем кончать социализм в степи.

Копенкин скучал от долгой остановки и решил ехать в ночь.

— Уж все тебе сказали, — инструктировал он Достоевского. —
Скот есть. Классовые массы на ногах. Теперь объявляй трудгужповин-
ность — рой в степи колодцы и пруды, а с весны вези постройки. Гляди,
чтоб к лету социализм из травы виднелся! Я к тебе наведаюсь!

— Тогда выходит, что одни бедняки и будут работать — у них ведь
лошади, а зажиточные будут жить без толку! — опять сомневался До-
стоевский.

— Ну и что ж? — не удивился Копенкин. — Социализм и должен
произойти из чистых бедняцких рук, а кулаки в борьбе погибнут.

— Это верно, — удовлетворился Достоевский.

Ночью Дванов и Копенкин уехали, еще раз пристрожив Достоев-
ского насчет срока устройства социализма.

Рысак Недоделанного шагал рядом с Пролетарской Силой. Обоим
всадникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, влекущую их
вдаль из тесноты населения. У каждого, даже от суточной оседлости, в
сердце скопьялась сила тоски; поэтому Дванов и Копенкин боялись по-
толков хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю
кровь из сердца.

Уездная широкая дорога пошла навстречу двум всадникам, пере-
ведшим коней на степную рысь.

А над ними было высокое стояние ночных облаков, полуосвещен-
ных давно зашедшим солнцем, и опустошенный дневным ветром воз-
дух больше не шевелился. От свежести и безмолвия поникшего про-
странства Дванов ослаб, он начал засыпать на рысаке.

— Встретится жильё — давай там подремлем до рассвета, — ска-
зал Дванов.

Копенкин показал на недалекую полосу леса, лежавшего на про-
сторной земле черной тишиной и уютом.

— Там будет кордон.

Еще только въехав в чащу сосредоточенных грустных деревьев, путники услышали скучающие голоса кордонных собак, стерегущих во тьме уединенный кров человека.

Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи.

Его отец-лесничий оставил ему библиотеку из дешевых книг самых последних, нечитаемых и забытых сочинителей. Он говорил сыну, что решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах.

Отец лесного надзирателя сравнивал плохие книги с нерожденными детьми, погибающими в утробе матери от несоответствия своего слишком неясного тела грубости мира, проникающего даже в материнское лоно.

— Если бы десять таких детей уцелело, они сделали бы человека торжественным и высоким существом, — завещал отец сыну. — Но рождается самое смутное в уме и нечувствительное в сердце, что переносит резкий воздух природы и борьбу за сырую пищу.

Лесной надзиратель читал сегодня произведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второстепенные люди», и надзиратель сквозь скуку сухого слова отыскивал то, что ему нужно было. Надзиратель считал, что скучных и бессмысленных книг нет, если читатель бдительно ищет в них смысл жизни. Скучные книги происходят от скучного читателя, ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не уместность сочинителя.

«Откуда вы? — думал надзиратель про большевиков. — Вы, наверное, когда-то уже были, ничего не происходит без подобия чему-нибудь, без воровства существовавшего».

Двое маленьких детей и располневшая жена спали мирно и безотчетно. Поглядывая на них, надзиратель возбуждал свою мысль, призывая ее на стражу для этих трех драгоценных существ. Он хотел открыть будущее, чтобы заблаговременно разобраться в нем и не дать погибнуть своим ближайшим родственникам.

Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему — он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше.

«Люди, — учил Арсаков, — очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание — это самообу-

чение из чуждых происшествий. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия».

Собаки взвыли голосами тревоги, и надзиратель, взяв винтовку, вышел встречать поздних гостей.

Сквозь строй преданных собак и мужающих щенков надзиратель провел лошадей с Двановым и Копенкиным.

Через полчаса трое людей стояло вокруг лампы в бревенчатом, надышанном жизнью доме. Надзиратель поставил гостям хлеб и молоко.

Он насторожился и заранее приготовился ко всему плохому от ночных людей. Но общее лицо Дванова и его часто останавливающиеся глаза успокаивали надзирателя.

Поев, Копенкин взял раскрытую книгу и с усилием прочитал, что писал Арсаков.

— Как ты думаешь? — подал Копенкин книгу Дванову.

Дванов прочел.

— Капиталистическая теория: живи и не шевелись.

— Я тоже так думаю! — сказал Копенкин, отстраняя порочную книгу прочь. — Ты скажи, куда нам лес девать в социализме? — с огорченной задумчивостью вздохнул Копенкин.

— Скажите, товарищ, сколько лес дает дохода на десятину? — спросил Дванов надзирателя.

— Разно бывает, — затруднился надзиратель. — Какой смотря лес, какого возраста и состояния — здесь много обстоятельств...

— Ну а в среднем?

— В среднем...Рублей десять — пятнадцать надо считать.

— Только? А рожь, наверно, больше?

Надзиратель начал пугаться и старался не ошибиться.

— Рожь несколько больше...Двадцать — тридцать рублей выйдет у мужика чистого дохода на десятину. Я думаю, не меньше.

У Копенкина на лице появилась ярость обманутого человека.

— Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту! Эти деревья только у озимого хлеба место отнимают...

Надзиратель затих и следил чуткими глазами за волнующимся Копенкиным. Дванов высчитывал карандашом на книжке Арсакова убыток от лесоводства. Он еще спросил у надзирателя, сколько десятин в лесничестве, — и подвел итог.

— Тысяч десять мужики в год теряют от этого леса, — спокойно сообщил Дванов. — Рожь, пожалуй, будет выгоднее.

— Конечно, выгодней! — воскликнул Копенкин. — Сам лесник тебе сказал. Вырубить надо наголо всю эту гущу и засеять рожью. Пиши приказ, товарищ Дванов!

Дванов вспомнил, что он давно не сносился с Шумилиным. Хотя Шумилин не осудит его за прямые действия, согласные с очевидной революционной пользой.

Надзиратель осмелился немного возразить:

— Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развились в последнее время и не надо больше рубить такие твердые растения.

— Ну тем лучше, — враждебно отозвался Копенкин. — Мы идем по следу народа, а не впереди его. Народ, значит, сам чувствует, что рожь полезней деревьев. Пиши, Саша, ордер на рубку леса.

Дванов написал длинный приказ-обращение для всех крестьян-бедняков Верхне-Мотнинской волости. В приказе, от имени губисполкома, предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Биттермановского лесничества. Этим, говорилось в приказе, сразу проложатся два пути в социализм. С одной стороны, бедняки получат лес — для постройки новых советских городов на высокой степи, а с другой — освободится земля для посевов ржи и прочих культур, более выгодных, чем долго растущее дерево. Копенкин прочитал приказ.

— Отлично! — оценил он. — Дай-ка и я подпишусь внизу, чтобы страшнее было: меня здесь многие помнят — я ведь вооруженный человек.

И подписался полным званием:

«Командир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург Верхне-Мотнинского района Степан Ефимович Копенкин».

— Отвезешь завтрашний день в ближние деревни, а другие сами узнают, — вручил Копенкин бумагу лесному надзирателю.

— А что мне после леса делать? — спросил распоряжений надзиратель.

Копенкин указал:

— Да тоже — землю паши и кормись! Небось в год-то столько жалованья получал, что целый хутор съедал! Теперь поживи, как масса.

Уже поздно. Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом. До революции Копенкин ничего внимательно не ощущал — леса, люди и гонимые ветром пространства не волновали его, и он не вмешивался в них. Теперь наступила перемена. Копенкин слушал ровный гул зимней ночи и хотел, чтобы она благополучно прошла над советской землей.

Не одна любовь к срубленной Розе существовала в сердце Копенкина — она лишь лежала в своем теплом гнезде, но это гнездо было

свито из зелени забот о советских гражданах, трудной жалости ко всем обветшалым от нищеты и яростных подвигов против ежеминутно встречающихся врагов бедных.

Ночь допевала свои последние часы над лесным Биттермановским массивом. Дванов и Копенкин спали на полу, потягивая во сне ноги, уставшие от коней.

Дванову снилось, что он маленький мальчик и в детской радости жмет грудь матери, как, видел он, другие жмут, но глаз поднять на ее лицо боится и не может. Свой страх он сознавал неясно и пугался на шее матери увидеть другое лицо — такое же любимое, но не родное.

Копенкину ничего не снилось, потому что у него все сбывалось наяву.

В этот час, быть может, само счастье искало своих счастливых, а счастливые отдыхали от дневных социальных забот, не помня своего родства со счастьем.

На другой день Дванов и Копенкин отправились с рассветом солнца вдаль и после полудня приехали на заседание правления коммуны «Дружба бедняка», что живет на юге Новоселовского уезда. Коммуна заняла бывшее имение Карякина и теперь обсуждала приспособления построек под нужды семи членов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Копенкина: оставить коммуне самое необходимое — один дом, сарай и ригу, остальные два дома и прочие службы отдать в разбор соседней деревне, чтобы лишнее имущество коммуны не угнетало окружающих крестьян.

Затем писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере.

Все взрослые члены коммуны — семь мужчин, пять женщин и четыре девки — занимали в коммуне определенные должности.

Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты целый день обслуживанием самих себя; названия же должностей изменились в сторону большего уважения к труду, как то: была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер — он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее — в одной и той же личности), заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения — и другие обслуживающие должности.

Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин:

— Ну а как же вы пашете-то?

Председатель ответил, не останавливаясь подписывать:

— В этом году не пахали.

— Почему так?

— Нельзя было внутреннего порядка нарушать: пришлось бы всех от должностей отнять — какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом — в имении хлеб еще был...

— Ну тогда так, раз хлеб был, — оставил сомнения Копенкин.

— Был, был, — сказал председатель, — мы его на учет сразу и взяли — для общественной сытости.

— Это, товарищ, правильно.

— Без сомнения: у нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была: великое дело — коммуна! Усложнение жизни!

Копенкин и здесь согласился — он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело — держать дорогу в социализм чистой; для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание. Смучило Копенкина только одно — усложнение жизни, про которое упомянул председатель. Он даже посоветовался с Двановым: не ликвидировать ли коммуны «Дружба бедняка» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает. Но Дванов отсоветовал: пусть, говорит, это они от радости усложняют, из увлечения умственным трудом — раньше они голыми руками работали и без смысла в голове; пусть теперь радуются своему разуму.

— Ну, ладно, — понял Копенкин, — тогда им надо получше усложнять. Следует в полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь... неясное.

Дванов и Копенкин остались в коммуны на сутки, чтобы их кони успели напиться кормом для долгой дороги.

С утра свежего солнечного дня началось обычное общее собрание коммуны. Собрания назначались через день, чтобы вовремя уследить за текущими событиями. В повестку дня вносилось два пункта: «текущий момент» и «текущие дела». Перед собранием Копенкин попросил слова, ему его с радостью дали и даже внесли предложение не ограничивать времени оратору.

— Говори безгранично, до вечера времени много, — сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам

останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.

Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны «Дружба бедняка» — усложнение жизни, в целях создания запутанности дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, — объяснял Копенкин, — тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, — поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, — а потому я предлагаю созывать общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания, — мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне...

Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением.

— Президиум предлагает принять единогласно, — заключил председатель опытным голосом.

— Отлично, — сказал стоявший впереди всех член коммуны — начальник живой тяги, веривший в ум незнакомых людей. Все подняли руки — одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку.

— Вот и не годится! — громко объявил Копенкин.

— А что? — обеспокоился председатель.

Копенкин махнул на собрание досадной рукой:

— Пускай хоть одна девка всегда будет голосовать напротив...

— А для чего, товарищ Копенкин?

— Чудаки: для того же самого усложнения...

— Понял — верно! — обрадовался председатель и предложил собранию выделить заведующую птицей и рожью Маланью Отвершкову — для постоянного голосования всем напротив.

Затем Дванов доложил о текущем моменте. Он принял во внимание ту смертельную опасность, которая грозит коммунам, расселенным в безлюдной враждебной степи, от бродящих бандитов. Эти люди, — говорил Дванов про бандитов, — хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно — после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней.

— Красочно говорит, — похвалил Дванова тот же начальник живой тяги.

— Вникай молча, — тихо посоветовал ему председатель.

— Ваша коммуна, — продолжал Дванов, — должна перехитрить бандитов, чтобы они не поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтобы не было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, скажем, бандит с отрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни сутки в должности, скажем, охотника на волков. Уверяю граждан, что ни один бандит внезапно на вас руки не поднимет, потому что сразу вас не поймет. А потом вы либо откупайтесь от них, если бандитов больше вас, либо берите их в плен понемногу, когда они удивятся и в недоумении будут ездить по усадьбе с покойным оружием. Правильно я говорю?

— Да почти что, — согласился все тот же разговорчивый начальник живой тяги.

— Единогласно, что ль, и при одной против? — провозгласил председатель. Но вышло сложнее: Маланья Отвершкова, конечно, голосовала против, но, кроме нее, заведующий удобрением почвы — рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом — воздержался.

— Ты что? — озадачился председатель.

— Воздержусь для усложнения! — выдумал тот.

Тогда его, по предложению председателя, назначили постоянно воздерживаться.

Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше — в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно убивая членов советской власти по всему району. Но председатель коммуны упросил их остаться на вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции, который секретарь советовал поставить среди двора, а Маланья Отвершкова, напротив, в саду. Заведующий же удобрением почвы воздерживался и ничего не говорил.

— По-твоему, нигде не ставить, что ль? — спрашивал председатель воздержавшегося.

— Воздерживаюсь от высказывания своего мнения, — последовательно отвечал заведующий удобрением.

— Но большинство — за, придется ставить, — озабоченно рассуждал председатель. — Главное, фигуру надо придумать.

Дванов нарисовал на бумаге фигуру.



Он подал изображение председателю и объяснил:

— Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства.

Председатель показал фигуру всему собранию:

— Тут и вечность и бесконечность, значит — все, умней не придумаешь: предлагаю принять.

Приняли при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить среди усадьбы на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру.

— Тут мы организовали хорошо, — говорил утром Дванов Копенкину. Они двигались по глинистой дороге под облаками среднего лета в дальнюю долину Черной Калитвы. — У них теперь пойдет усиленное усложнение, и они к весне обязательно, для усложнения, начнут пахать землю и перестанут съедать остатки имения.

— Ясно придумано, — счастливо сказал Копенкин.

— Конечно, ясно. Иногда здоровому человеку, притворяющемуся для сложности больным, нужно только говорить, что он недостаточно болен, и убеждать его в этом дальше, и он, наконец, сам выздоровеет.

— Понятно, тогда ему здоровье покажется свежим усложнением и упущенной редкостью, — правильно сообразил Копенкин, а про себя подумал, какое хорошее и неясное слово: усложнение, как — текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя.

— Как такие слова называются, которые непонятны? — скромно спросил Копенкин. — Тернии, иль нет?

— Термины, — кратко ответил Дванов. Он в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна.

Однажды, среди равномерности степи, он увидел далекую толпу куда-то бредущих людей, и при виде их множества в нем встала сила радости, будто он имел взаимное прикосновение к тем недостижимым людям.

Копенкин ехал поникшим от однообразного воспоминания о Розе Люксембург. Вдруг в нем нечаянно прояснилась догадка соб-

ственной неутешимости, но сейчас же бред продолжающейся жизни облек своею теплотой его внезапный разум, и он снова предвидел, что вскоре доедет до другой страны и там поцелует мягкое платье Розы, хранящееся у ее родных, а Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию. Копенкин ощущал даже запах платья Розы, запах умирающей травы, соединенный со скрытым теплом остатков жизни. Он не знал, что подобно Розе Люксембург в памяти Дванова пахла Соня Мандрова.

Раз Копенкин долго стоял перед портретом Люксембург в одном волостном ревкоме. Он глядел на волосы Розы и воображал их таинственным садом; затем он присмотрелся к ее розовым щекам и подумал о пламенной революционной крови, которая снизу подмывает эти щеки и все ее задумчивое, но рвущееся к будущему лицо.

Копенкин стоял перед портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не разбушевало до слез. В ту же ночь он со страстью изрубил кулака, по наущению которого, месяц назад, мужики распоролли агенту по продразверстке живот и набили туда проса. Агент потом долго валялся на площади у церкви, пока куры не выклевали из его живота просо по зернышку.

В первый раз тогда Копенкин рассек кулака с яростью. Обыкновенно он убивал не так, как жил, а равнодушно, но насмерть, словно в нем действовала сила расчета и хозяйства. Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его личной ярости, и убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет просо. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения.

Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием, как будто советы существовали исстари и небо совершенно соответствовало им. В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до революции и небо, и все пространства были иными — не такими милыми.

Как конец миру, вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека. Конные путешественники ехали в глухую глубину своей родины. Изредка дорога огибала вершину балки — и тогда в далекой низине была видна несчастная деревня. В Дванове поднималась жалость к неизвестному одинокому поселению, и он хотел свернуть в него, чтобы немедленно начать там счастье взаимной жизни, но Копенкин не соглашался: он говорил, что необходимо прежде разделаться с Черной Калитвой, а уж потом сюда вернемся.

День продолжался унылым и безлюдным, ни один бандит не попался вооруженным всадникам.

— Притаились! — восклицал про бандитов Копенкин и чувствовал в себе давящую тягостную силу. — Мы б вас шпокнули для общей безопасности. По закутам, гады, сидят — говядину трескают...

К дороге подошла в упор березовая аллея, еще не вырубленная, но уже прореженная мужиками. Наверно, аллея шла из имения, расположенного в стороне от дороги. Аллея кончалась двумя каменными устоями. На одном устое висела рукописная газета, а на другом жестяная вывеска с полусмытой атмосферными осадками надписью:

«Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам».

Рукописная газета была наполовину оборвана какой-то вражеской рукой и все время заголялась ветром. Дванов придержал газету и прочитал ее сполна и вслух, чтобы слышал Копенкин.

Газета называлась «Беднятское Благо», будучи органом Велико-местного сельсовета и уполрайревкома по обеспечению безопасности в юго-восточной зоне Посошанской волости.

В газете осталась лишь статья о «Задачах Всемирной Революции» и половина заметки «Храните снег на полях — поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в середине сошла со своего смысла: «Пашите снег, — говорилось там, — и нам не будут страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтов».

Каких «зарвавшихся Кронштадтов»? Это взволновало и озадачило Дванова.

— Пишут всегда для страха и угнетения масс, — не разбираясь, сказал Копенкин. — Письменные знаки тоже выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдуует, а неграмотный на него рукой работает.

Дванов улыбнулся:

— Чушь, товарищ Копенкин! Революция — это букварь для народа.

— Не заблуждай меня, товарищ Дванов. У нас же все решается по большинству, а почти все неграмотные, и выйдет когда-нибудь, что неграмотные постановят отучить грамотных от букв — для всеобщего равенства... Тем больше, что отучить редких от грамоты сподручней, чем выучить всех сначала. Дьявол их выучит! Ты их выучишь, а они все забудут...

— Давай заедем к товарищу Пашинцеву, — задумался Дванов. — Надо мне в губернию отчет послать. Давно ничего не знаю, что там делается...

— И знать нечего: идет революция своим шагом...

По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдившая до бесприютного вида. Колонны главного дома, в живой форме точных женских ног, важно держали перекладину, на которую опиралось одно небо. Дом

стоял отступя несколько саженей и имел особую колоннаду в виде согбенных, неподвижно трудящихся гигантов. Копенкин не понял значения уединенных колонн и посчитал их остатками революционной расправы с недвижимым имуществом.

В одну колонну была втравлена медная гравюра с именем помещика-архитектора и его профилем. Ниже гравюры был латинский стих, данный рельефом по колонне:

Вселенная — бегущая женщина:
Ноги ее вращают землю,
Тело трепещет в эфире,
А в глазах начинаются звезды.

Дванов грустно вздохнул среди тишины феодализма и снова оглядел колоннаду — шесть стройных ног трех целомудренных женщин. В него вошли покой и надежда, как всегда бывало от вида отдаленно-необходимого искусства.

Ему жалко было одного, что эти ноги, полные напряжения юности, — чужие; но хорошо было, что та девушка, которую носили эти ноги, обращала свою жизнь в обаяние, а не в размножение, что она хотя и питалась жизнью, но жизнь для нее была лишь сырьем, а не смыслом, — и это сырье переработалось во что-то другое, где безобразно-живое обратилось в бесчувственно-прекрасное.

Копенкин тоже посерьезнел перед колоннами: он уважал величественное, если оно было бессмысленно и красиво. Если же в величественном был смысл, например, — в большой машине, Копенкин считал его орудием угнетения масс и презирал с жестокостью души. Перед бессельным же, как эта колоннада, он стоял с жалостью к себе и ненавистью к царизму. Копенкин полагал виноватым царизм, что он сам не волнуется сейчас от громадных женских ног, и только по печальному лицу Дванова видит, что ему тоже надо опечалиться.

— Хорошо бы и нам построить что-нибудь всемирное и замечательное, мимо всех забот! — с тоской сказал Дванов.

— Сразу не построишь, — усомнился Копенкин. — Нам буржуазия весь свет загоразивала. Мы теперь еще выше и отличное столбы сложим, а не срамные лыдки.

Налево, как могилы на погосте, лежали в зарослях трав и кустов остатки служб и малых домов. Колонны сторожили пустой погребенный мир. Декоративные благородные деревья держали свои тонкие туловища над этой ровной гибелью.

— Но мы сделаем еще лучше — и на всей площади мира, не по одним закоулкам! — показал Дванов рукой на все, но почувствовал себя

в глубине: — смотри! — что-то неподкупное, не берегущее себя предупредило его изнутри.

— Конечно, построим: факт и лозунг, — подтвердил Копенкин от своей воодушевленной надежды. — Наше дело неутомимое.

Копенкин напал на след огромных человеческих ног и тронул по ним коня.

— Во что же обут здешний житель? — немало удивлялся Копенкин и обнажил шашку: вдруг выйдет великан — хранитель старого строя. У помещиков были такие откормленные дядьки, — подойдет и даст лапой без предупреждения — сухожилия лопнут.

Копенкину нравились сухожилия, — он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать их.

Всадники доехали до массивной вечной двери, ведшей в полуподвал разрушенного дома. Нечеловеческие следы уходили туда; даже заметно было, что истукан топтался у двери, мучая землю до оголения.

— Кто ж тут есть? — поражался Копенкин. — Не иначе — лютый человек. Сейчас ахнет на нас — готовься, товарищ Дванов!

Сам Копенкин даже повеселел: он ощущал тот тревожный восторг, который имеют дети в ночном лесу: их страх делится пополам со сбывающимся любопытством.

Дванов крикнул:

— Товарищ Пашинцев!.. Кто тут есть?

Никого, и трава без ветра молчит, а день уже меркнет.

— Товарищ Пашинцев!

— Э! — отдаленно и огромно раздалось из сырых звучных недр земли.

— Выйди сюда, односельчанин! — громко приказал Копенкин.

— Э! — мрачно и гулко отозвалось из утробы подвала. Но в этом звуке не слышалось ни страха, ни желания выйти. Отвечавший, вероятно, откликнулся лежа.

Копенкин и Дванов подождали, а потом рассердились.

— Да выходи, тебе говорят! — зашумел Копенкин.

— Не хочу, — медленно отвечал неизвестный человек. — Ступай в центральный дом — там хлеб и самогон на кухне.

Копенкин слез с коня и погромел саблей о дверь.

— Выходи — гранату метну!

Тот человек помолчал — может быть, с интересом ожидая гранаты и того, что потом получится.

Но затем ответил:

— Бросай, шкода. У меня тут их целый склад: сам от детонации обратно в мать полезешь!

И опять замолк. У Копенкина не было гранаты.

— Да бросай же, гада! — с покоем в голосе попросил неведомый из своей глубины. — Дай мне свою артиллерию проверить: должно, мои бомбы заржавели и отмокли — ни за что не взорвутся, дьяволы!

— Воо! — странно промолвил Копенкин. — Ну, тогда выйди и прими пакет от товарища Троцкого.

Человек помолчал и подумал.

— Да какой он мне товарищ, раз надо всеми командует! Мне коменданты революции не товарищи. Ты лучше брось бомбу — дай поинтересоваться!

Копенкин выбил ногою вросший в почву кирпич и с маху бросил его в дверь. Дверь взвыла железом и снова осталась в покое.

— Не разорвалась, идол, в ней вещество окоченело! — определил Копенкин порок.

— И мои молчат! — серьезно ответил неизвестный человек. — Да ты шайбу-то опустил? Дай я марку выйду погляжу.

Зазвучало мерное колыхание металла — кто-то шел действительно железной поступью. Копенкин ожидал его с вложенной саблей — любопытство в нем одолело осторожность. Дванов не слез со своего рысака.

Неведомый гремел уже близко, но не ускорял постепенного шага, очевидно, одолевая тяжесть своих сил.

Дверь открылась сразу — она не была замкнута.

Копенкин затих от зрелища и отступил на два шага — он ожидал ужаса или мгновенной разгадки, но человек уже объявился, а свою загадочность сохранил.

Из разверзшейся двери выступил небольшой человек, весь запакованный в латы и панцирь, в шлеме и с тяжелым мечом, обутый в мощные металлические сапоги — с голенищами, сочлененными каждое из трех бронзовых труб, давившими траву до смерти.

Лицо человека — особенно лоб и подбородок — было защищено отворотами каски, а сверх всего имелась опущенная решетка. Все вместе защищало воина от любых ударов противника.

Но сам человек был мал ростом и не особо страшен.

— Где твоя граната? — хрипло и тонко спросил представший; голос его гулко гремел только издали, отражаясь на металлических вещах и пустоте его жилища, а в натуре оказался жалким звуком.

— Ах ты, гадина! — без злобы, но и без уважения воскликнул Копенкин, пристально интересуясь рыцарем.

Дванов открыто засмеялся — он сразу сообразил, чью непомерную одежду присвоил этот человек. Но засмеялся он оттого, что заметил на старинной каске красноармейскую звезду, посаженную на болт и прижатую гайкой.

— Чему радуетесь, сволочи? — хладнокровно спросил рыцарь, не находя дефективной гранаты. Нагнуться рыцарь никак не мог, и только слабо шевелил травы мечом, непрерывно борясь с тяжестью доспехов.

— Не ищи, чумовой, несчастного дела! — серьезно сказал Копенкин, возвращаясь к своим нормальным чувствам. — Веди на ночлег. Есть у тебя сено?

Жилище рыцаря помещалось в полуподвальном этаже усадебной службы. Там имелась одна зала, освещенная получерным светом коптильника. В дальнем углу лежали горой рыцарские доспехи и холодное оружие, а в другом — среднем месте — пирамидка ручных гранат. Еще в зале стоял стол, у стола одна табуретка, а на столе бутылка с неизвестным напитком, а может быть — отравой. К бутылке хлебом была приклеена бумага с надписью чернильным карандашом лозунга:

«Смерть буржуям!»

— Ослобони меня на ночь! — попросил рыцарь. Копенкин долго разнуздывал его от бессмертной одежды, вдумываясь в ее умные части. Наконец рыцарь распался, и из бронзовой кожурой явился обыкновенный товарищ Пашинцев — бурого цвета человек, лет тридцати семи, и без одного непримиримого глаза, а другой остался еще более внимательным.

— Давайте выпьем по стаканчику! — сказал Пашинцев.

Но Копенкина и в старое время не брала водка: он ее не пил сознательно, как бесцельный для чувства напиток.

Дванов тоже не понимал вина, и Пашинцев выпил в одиночестве. Он взял бутылку — с надписью «Смерть буржуям!» — и перелил ее непосредственно в горло.

— Язва! — сказал он, опорожнив посуду, и сел с подобранным лицом.

— Что, приятно? — спросил Копенкин.

— Свекольная настойка, — объяснил Пашинцев. — Одна незамужняя девка чистоплотными руками варит, — беспорочный напиток — очень духовит, батюшка...

— Да кто ж ты такой? — с досадой интересовался Копенкин.

— Я — личный человек, — осведомлял Пашинцев Копенкина. — Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошла армия, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника... Да будь ты...

Пашинцев кратко сформулировал рукой весь текущий момент.

Дванов перестал думать и медленно слушал рассуждающего.

— Ты помнишь восемнадцатый и девятнадцатый год? — со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в

нем яростные воспоминания: среди рассказа он молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала.

— Теперь уж ничего не будет, — с ненавистью убеждал Пашинцев моргавшего Копенкина. — Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека... Возьми меня — разве ты сроду узнаешь, что тут дышит? — Пашинцев ударил себя по низкому черепу, где мозг должен быть сжатым, чтобы поместиться уму. — Да тут, брат, всем пространствам место найдется! Так же и у каждого. А надо мной властвовать хотят! Как ты все это в целости поймешь? Говори — обман или нет?

— Обман, — с простой душою согласился Копенкин.

— Вот! — удовлетворенно закончил Пашинцев. — И я теперь горю отдельно от всего костра!

Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда.

— Чего тебе надо? — говорил Пашинцев, доходя до самозабвения от радости чувствовать дружелюбного человека. — Живи тут. Ешь, пей, я яблок пять кадушек намочил, два мешка махорки засушил. Будем меж деревьями друзьями жить, на траве песни петь. Народу ко мне ходит тысячи — вся нищета в моей коммуне радуется: народу же кроме нет легкого пристанища. В деревне — за ним советы наблюдают, комиссары-стражники людей сторожат, упродком хлеб в животе ищет, а ко мне никто из казенных не покажется...

— Бояться тебя, — заключил Копенкин, — ты же весь в железе ходишь, спишь на бомбе...

— Определенно бояться, — согласился Пашинцев. — Ко мне, было, хотели присоединиться и имение на учет взять, а я вышел к комиссару во всей сбруе, взметнул бомбу: даешь коммуну! А в другой раз приехали разверстку брать. Я комиссару и говорю: пей, ешь, сукин сын, но если что лишнее возьмешь — вонь от тебя останется. Выпил комиссар чашку самогону и уехал: спасибо, говорит, товарищ Пашинцев. Дал я ему горсть подсолнухов, ткнул вон той чугунной головешкой в спину и отправил в казенные районы...

— А теперь как же? — спросил Копенкин.

— Да никак: живу безо всякого руководства, отлично выходит. Объявил тут ревзаповедник, чтоб власть не косилась, и храню революцию в нетронутой геройской категории...

Дванов разобрал на стене надписи углем, выведенные дрожащей, не писчей рукой. Дванов взял коптильник в руку и прочел стальные скрижали ревзаповедника.

— Почитай, почитай, — охотно советовал ему Пашинцев. — Другой раз молчишь, молчишь — намолчишься и начнешь на стене разговаривать: если долго без людей, мне мутно бывает...

Дванов читал стихи на стене:

Буржуя нету, так будет труд —
Опять у мужика гужа на шее.
Поверь, крестьянин трудовой,
Цветочкам полевым сдобней живется!
Так брось пахать и сеять, жать,
Пускай вся почва родит самосевом.
А ты ж живи и веселись —
Не дважды кряду происходит жизнь;
Со всей коммуною святой за руки честные возьмись
И громко грянь на уши всем:
Довольно грустно бедовать,
Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды,
Земля задаром даст нам пропитанье.

В дверь постучал кто-то ровным хозяйским стуком.

— Э! — отозвался Пашинцев, уже испаривший из себя самогон и поэтому замолкший.

— Максим Степаныч, — раздалось снаружи, — дозвожь на оглоблю жердину в опушке сыскать: хряпнула на полпути, хоть зимуй у тебя.

— Нельзя, — отказал Пашинцев. — До каких пор я буду приучать вас? Я же вывесил приказ на амбаре: земля — самодельная и, стало быть, ничья! Если б ты без спросу брал, тогда б я тебе позволил...

Человек снаружи похрипел от радости.

— Ну, тогда спасибо. Жердь я не трону — раз она прошенная, я что-нибудь иное себе подарю.

Пашинцев свободно сказал:

— Никогда не спрашивай, рабская психология, а дари себе все сам. Родился-то ты не от своей силы, а даром — и живи без счета.

— Это — точно, Максим Степаныч, — совершенно серьезно подтвердил проситель за дверью. — Что самовольно схватишь, тем и жив. Если б не именье — полсела бы у нас помёрло. Пятый год добро отсюда возим: большевики люди справедливые! Спасибо тебе, Максим Степанович.

Пашинцев сразу рассердился:

— Опять ты — спасибо! Ничего не бери, серый черт!

— Эт к чему же, Максим Степаныч? За что ж я тогда три года на позиции кровь проливал? Мы с кумом на паре за чугунным чаном приехали, а ты говоришь — не смей...

— Вот — отечество! — сказал Пашинцев себе и Копенкину, а потом обратился к двери: — Так ведь ты за оглоблей приехал? Теперь говоришь — чан!

Проситель не удивился.

— Да хуть что-нибудь...Иной раз курицу одну везешь, а глядь — на дороге вал железный лежит, а один не осилишь, так он по-хамски и валяется. Оттого и в хозяйстве у нас везде разруха...

— Раз ты на паре, — кончил разговор Пашинцев, — то увези бабью ногу из белых столбов...В хозяйстве ей место найдется.

— Можно, — удовлетворился проситель. — Мы ее буксиром спровхвала потащим — кафель из нее колоть будем.

Проситель ушел предварительно осматривать колонну — для более сподручного похищения ее.

В начале ночи Дванов предложил Пашинцеву устроить лучше — не имение перетаскивать в деревню, а деревню переселить в имение.

— Труда меньше, — говорил Дванов. — К тому же имение на высоком месте стоит — здесь земля урожайней.

Пашинцев на это никак не согласился.

— Сюда с весны вся губернская босота сходится — самый чистый пролетариат. Куда ж им тогда деваться? Нет, я здесь кулацкого засилья не допущу!

Дванов подумал, что, действительно, мужики с босяками не сживутся. С другой стороны, жирная земля пропадает зря — население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева: вероятно, из лебеды и крапивы щи варит.

— Вот что, — неожиданно для себя догадался Дванов. — Ты обменяй деревню на имение: имение мужикам отдай, а в деревне ревзаповедник сделай. Тебе же все равно — важны люди, а не место. Народ в овраге томится, а ты один на бугре!..

Пашинцев со счастливым удивлением посмотрел на Дванова.

— Вот это отлично! Так и сделаю. Завтра же еду на деревню мужиков поднимать!

— Поедут? — спросил Копенкин.

— В одни сутки все тут будут! — с яростным убеждением воскликнул Пашинцев, и даже двинулся телом от нетерпения.

— Да я прямо сейчас поеду! — передумал Пашинцев. Он теперь и Дванова полюбил. Сначала Дванов ему не вполне понравился: сидит и молчит, наверное, все программы, уставы и тезисы наизусть знает — таких умных Пашинцев не любил. Он видел в жизни, что глупые

и несчастные добрее умных и более способны изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашинцев верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее ученых буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их отличная судьба.

Пашинцева успокоил Копенкин, сказав, что нечего спешить — победа за нами, все едино, обеспечена.

Пашинцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время он любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет погожий день и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую неуместную траву — васильки, донник и ветрянку. Эта трава была красивей невзрачных хлебов — ее цветы походили на печальные предсмертные глаза детей, они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава живет и терпеливей квелых хлебов — после баб она снова рожалась в неисчислимом и бессмертном количестве.

— Вот так же и беднота! — сравнивал Пашинцев, сожалея, что выпил всю «Смерть буржуям!». — В нас мочи больше, и мы сердечней прочих элементов...

Пашинцев не мог укротить себя в эту ночь. Надев кольчугу на рубашку, он вышел куда-то на усадьбу. Там его охватила ночная прохлада, но он не остыл. Наоборот, звездное небо и сознание своего низкого роста под тем небом увлекли его на большое чувство и немедленный подвиг. Пашинцев застыдил себя перед силой громадного ночного мира и, не обдумывая, захотел сразу поднять свое достоинство.

В главном доме жило немного окончательно бесприютного и нигде не зарегистрированного народа — четыре окна мерцали светом открытой топившейся печки, там варили пищу в камине. Пашинцев постучал в окно кулаком, не жалея покоя обитателей.

Вышла лохматая девушка в высоких валенках.

— Чего тебе, Максим Степаныч? Что ты ночную тревогу подымаешь?

Пашинцев подошел к ней и восполнил своим чувством вдохновенной симпатии все ее ясные недостатки.

— Груня, — сказал он, — дай я тебя поцелую, голубка незамужняя! Бомбы мои ссохлись и не рвутся — хотел сейчас колонны ими подсесть, да нечем. Дай я тебя обниму по-товарищески.

Груня далась:

— Что-то с тобой случилось — ты будто человек сурьезный был... Да сними железо с себя, всю мякоть мне натревожишь...

Но Пашинцев кратко поцеловал ее в темные сухие корки губ и пошел обратно. Ему стало легче и не так досадно под нависшим могущественным небом. Все большое по объему и отличное по качеству

в Пашинцеве возбуждало не созерцательное наслаждение, а воинское чувство — стремление превзойти большое и отличное в силе и важности.

— Вы что? — спросил без всякого основания Пашинцев у приезжих — для разряжения своих удовлетворенных чувств.

— Спать пора, — зевнул Копенкин. — Ты наше правило взял на заметку — сажаешь мужиков на емкую землю: что ж с тобой нам напрасно гоститься?

— Мужиков завтра поташу — без всякого саботажа! — определил Пашинцев. — А вы погостите — для укрепления связей! Завтра Грунька обед вам сварит... Того, что у меня тут, — нигде не найдете. Обдумываю, как бы Ленина вызвать сюда — все ж таки вождь!

Копенкин осматрел Пашинцева — Ленина хочет человек! — и напомнил ему:

— Смотрел я без тебя твои бомбы — они все порченые: как же ты господствуешь?

Пашинцев не стал возражать:

— Конечно — порченые: я их сам разрядил! Но народ не чувствует — я его одной политикой и беру — хожу в железе, ночью на бомбах... Понял маневр малыми силами в обход противника? Ну, и не сказывай, когда вспомнишь меня.

Копильник погас. Пашинцев объяснил положение:

— Ну, ребята, ложись как попало — ничего не видно, и постели у меня нету... Я для людей — грустный член...

— Блажной ты, а не грустный, — точнее сказал Копенкин, укладываясь кое-как.

Пашинцев без обиды ответил:

— Здесь, брат, коммуна новой жизни — не городок: перин нету.

Под утро мир оскудел в своем звездном величии и серым светом заменил мерцающее сияние. Ночь ушла, как блестящая кавалерия, на землю вступила пехота трудного походного дня.

Пашинцев принес, на удивление Копенкина, жареной баранины. А потом два всадника выехали с ревзаповедника по южной дороге — в долину Черной Калитвы. Под белой колоннадой стоял Пашинцев в рыцарском жестком снаряжении и глядел вслед своим единомышленникам.

И опять ехали двое людей на конях, и солнце всходило над скудостью страны.

Дванов опустил голову, его сознание уменьшалось от однообразного движения по ровному месту. И то, что Дванов ощущал сейчас как

свое сердце, было постоянно содрогающейся плотиной от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства — вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питающего, но и тормозящего его сознание, — и мог быть счастливым.

— Тронем на рысь, товарищ Копенкин! — сказал Дванов, переполнившись силой нетерпения к своему будущему, ожидающему его за этой дорогой. В нем встала детская радость вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разбирать будильники, чтобы посмотреть, что там есть. Над его сердцем трепетал тот мгновенный пугающий свет, какой бывает летними спертыми ночами в полях. Может быть, это жила в нем отвлеченная любовь молодости, превратившаяся в часть тела, либо продолжающаяся сила рождения. Но за счет ее Дванов мог добавочно и внезапно видеть неясные явления, бесследно плавающие в озере чувств. Он оглядел Копенкина, ехавшего со спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живую гражданкой Роза Люксембург.

Дорога пошла в многоверстный уклон. Казалось, если разогнаться по нем, можно оторваться и полететь.

Вдали замерли преждевременные сумерки над темной и грустной долиной.

— Калитва! — показал Копенкин — и обрадовался, как будто уже доехал до нее вплотную. Всадники уже хотели пить и плевали вниз одними белыми полусухими слюнями.

Дванов загляделся в бедный ландшафт впереди. И земля и небо были до утомления несчастны: здесь люди жили отдельно и не действовали, как гаснут дрова, не сложенные в костер.

— Вот оно — сырье для социализма! — изучал Дванов страну. — Ни одного сооружения — только тоска природы-сироты!

В виду слободы Старой Калитвы всадникам встретился человек с мешком. Он снял шапку и поклонился конным людям — по старой памяти, что все люди — братья. Дванов и Копенкин тоже ответили поклоном, и всем троиц стало хорошо.

«Товарищи грабить поехали, пропасти на них нет!» — про себя решил человек с мешком, отошедши достаточно далеко.

На околице слободы стояли два сторожевых мужика: один с обрезом, другой с колом из плетня.

— Вы — какие? — служебно спросили они подъехавших Дванова и Копенкина.

Копенкин задержал коня, туго соображая о значении такого военного поста.

— Мы — международные! — припомнил Копенкин звание Розы Люксембург: международный революционер.

Постовые задумались.

— Евреи, што ль?

Копенкин хладнокровно обнажил саблю: с такой медленностью, что сторожевые мужики не поверили угрозе.

— Я тебя кончу на месте за такое слово, — произнес Копенкин. — Ты знаешь, кто я? На документы...

Копенкин полез в карман, но документов и никакой бумаги у него не было никогда: он нащупал одни хлебные крошки и прочий сор.

— Адъютант полка! — отнесся Копенкин к Дванову. — Покажите дозору наши грамотки...

Дванов вынул конверт, в котором он сам не знал, что находилось, но возил его всюду третий год, и бросил охране. Постовые с жадностью схватили конверт, обрадовавшись редкому исполнению долга службы.

Копенкин пригнулся и свободным движением мастера вышиб саблей обрез из рук постового, ничуть не ранив его; Копенкин имел в себе дарование революции.

Постовой выправил дернутую руку:

— Чего ты, идол, мы тоже не красные...

Копенкин переменялся:

— Много войска у вас? Кто такие?

Мужики думали и так и иначе, а отвечали честно:

— Голов сто, а ружей всего штук двадцать... У нас Тимофей Плотников гостит с Исподних Хуторов. Вчерашний день продотряд от нас с жертвами отступил...

Копенкин показал им на дорогу, по которой приехал:

— Ступайте маршем туда — встретите полк, ведите его ко мне. Где штаб Плотникова?

— У церкви, на старостином дворе, — сказали крестьяне и печально посмотрели на родное село, желая отойти от событий.

— Ну, идите бодро! — приказал Копенкин и ударил коня ножнами. За плетнем низко сидела баба, уже готовая умереть. То, зачем она вышла, остановилось в ней на полпути.

— Капаешь, старуха? — заметил ее Копенкин.

Баба была не старуха, а миловидная пожилая женщина.

— А ты уж покапал, идол неумытый! — до корня осерчала баба и встала с растопыренной юбкой и злостным лицом.

Другие в Чевентуре

(Из повести)

Новая глава

1932/11

262

Постройки в Чевентуре достигают некоей прочности, но в стенах
храни человеческого, которые они верой своим чувствам и
что передо мной от случившихся или пережитых
интересов, и старшей об настойчивости настойчивости настойчивости
и старшей об настойчивости настойчивости настойчивости

Зато в

последствии трудно пришлось пролетариям пережить такую
плотные обжитые постройки, потому что нижние этажи домов, воз-
веденные без фундамента, уже дали свое коренное прорастание в
глубокую почву. Поэтому городская площадь - после переделки
домов при Чепурном и социализме, похожа была на навалу: дере-
вянные домы пролетарии с корням и корни волокли не сматывал. И Че-
пурный в те трудные дни субботников жалел, что изменил с неждан-
ленным класс всевозможной смелости: она бы, та все-таки, могла
сдвинуть проросшие дома, вместо достаточного изнуренного проле-
тарията. Но в первые дни социализма в Чевентуре Чепурный не
знал, что пролетариату потребуется непоколебимая чернораба-
чая сила. В самый же первый день социализма Чепурный проснувшись
настойчиво обнадёженным рамье его вставили смелым и общи-
видом колотого, готового Чевентура, что попрощай Прокофия сей-
же идти куда-нибудь и звать бедных в Чевентур.

- Ступай, Прова, - тихо обратился Чепурный, - к тебе родные
и скоро заскучаешь без товарищества.

Прокофий подтвердил мнение Чепурного:

- Ясно, товарищ Чепурный, надо ехать: социализм - массовое
дело... А мне никого не звать?

- Если всяких прочих, - закончил свое указание Чепурный. -
Возьми себе Пирова и веди по дороге в долину - увидишь бедного,
веди его к нам в товарищи.

- А прочего? - спросил Прокофий.

- И прочего ведь. Социализм у нас факт.

- Всякий факт без поддержки масс имеет свое неустойчивость,
товарищ Чепурный.

Чепурный это понял.

- А я-и тебе и говорю, что нам скучно блуждать, когда я сам чувствую.
социализм. Чего ты мне доказываешь?

В. Ред. журнал
Всего на повести, курс ее
что разучивший обороте

X) Здесь описывается некоторый образ первоначального коммунизма
в Чевентуре, восторженно-идеологич. там позднее, пометил в себе
прочных и организационных причин. И.И.

Конь Копенкина, теряя свою грузность, сразу понес свирепым карьером, высоко забрасывая передние ноги.

— Товарищ Дванов, гляди на меня — и не отставай! — крикнул Копенкин, сверкая в воздухе готовой шашкой.

Пролетарская Сила тяжело молотила землю; Дванов слышал дребезг стекол в хатах. Но на улицах не было никого, даже собаки не бросились на всадников.

Миная улицы и перекрестки огромного села, Копенкин держал направление на церковь. Но Калитва селилась семейными кустами четыреста лет: иные улицы были перепружены неожиданными поперечными хатами, а иные замкнулись наглухо новыми дворами и сворачивали в поле узкими летними проездами.

Копенкин и Дванов попали в переплет закоулков и завертелись на месте. Тогда Копенкин отворил одни ворота и понесся в обход улиц гумнами. Деревенские собаки сначала осторожно и одиноко залаяли, а потом перекинулись голосами и, возбужденные собственным множеством, взвыли все враз — от околицы до околицы.

Копенкин крикнул:

— Ну, товарищ Дванов, теперь крой напролет...

Дванов понял, что нужно проскакать село и выброситься в степь по ту сторону. И не угадал: выбравшись на широкую улицу, Копенкин поскакал прямо по ней в глубь села.

Кузницы стояли запертыми, а избы молчали, как брошенные. Попался лишь один старик, ладивший что-то у плетня, но он не обернулся на них, вероятно, привыкнув ко всякой смуте.

Дванов услышал слабый гул — он подумал, что это раскачивают язык колокола на церкви и чуть касаются им по металлу.

Улица повернула и показала толпу народа у кирпичного грязного дома, в каких помещались раньше казенные винные лавки.

Народ шумел одним грузным усадистым голосом; до Дванова доходил лишь безмолвный гул.

Копенкин обернул сжатое похуевшее лицо:

— Стреляй, Дванов! Теперь — все будет наше!

Дванов выстрелил два раза куда-то в церковь и почувствовал, что он кричит вслед за Копенкиным, уже вдохновлявшим себя взмахами сабли. Толпа крестьян колыхнулась ровной волной, осветилась обращенными назад чужими лицами и начала пускать из себя потоки бегущих людей. Другие затоптались на месте, хватая на помощь соседей. Эти топтавшиеся были опасней бегущих: они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться храбрым.

Дванов вдохнул мирный запах деревни — соломенной гари и горячего молока, — от этого запаха у Дванова заболел живот: сейчас он не

смог бы съесть даже щепотки соли. Он испугался погибнуть в больших теплых руках деревни, задохнуться в овчинном воздухе смиренных людей, побеждающих врага не яростью, а навалом.

Но Копенкин почему-то обрадовался толпе и уже надеялся на свою победу.

Вдруг из окон хаты, у которой метались люди, вспыхнул спешащий залп из разнокалиберных ружей — все звуки отдельных выстрелов были разные.

Копенкин пришел в самозабвение, которое запирает чувство жизни в темное место и не дает ему вмешиваться в смертные дела. Левой рукой Копенкин ударил из нагана в хату, громя оконное стекло.

Дванов очутился у порога. Ему осталось сойти с коня и вбежать в дом. Он выстрелил в дверь — дверь медленно открылась от толчка пули, и Дванов побежал внутрь. В сенях пахло лекарством и печалью неизвестного беззащитного человека. В чулане лежал раненный в прежних боях крестьянин. Дванов не сознал его и ворвался через кухню в горницу. В комнате стоял в рост рыжеватый мужик, подняв правую здоровую руку над головой, а левая с наганом была опущена — из нее редко капала кровь, как влага с листьев после дождя, ведя скучный счет этому человеку.

Окно горницы было выбито, а Копенкина не было.

— Бросай оружие! — сказал Дванов.

Бандит прошептал что-то с испугу.

— Ну! — озлился Дванов. — Пулей с рукой вышибу!

Крестьянин бросил револьвер в свою кровь и поглядел вниз: он пожалел, что пришлось вымочить оружие, а не отдать его сухим — тогда бы его скорей простили.

Дванов не знал, что делать с раненым пленником и где Копенкин. Он отдышался и сел в плюшевое кулацкое кресло. Мужик стоял перед ним, не владея обвисшими руками. Дванов удивился, что он не похож на бандита, а был обыкновенным мужиком и едва ли богатым.

— Сядь! — сказал ему Дванов.

Крестьянин не сел.

— Ты кулак?

— Нет, мы тут последние люди, — вразумительно ответил мужик правду. — Кулак не воюя: у него хлеба много — весь не отберут...

Дванов поверил и испугался: он вспомнил в своем воображении деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом.

— Ты бы стрелял в меня правой рукой: ведь одну левую ранили.

Бандит глядел на Дванова и медленно думал — не для своего спасения, а вспоминая всю истину.

— Я левша. Выскочить не успел, а говорят — полк наступает, мне таково обидно стало одному помирать...

Дванов заволновался: он мог думать при всех положениях. Этот крестьянин подсказывал ему какую-то тщету и скорбь революции, выше ее молодого ума, — Дванов уже чувствовал тревогу бедных деревень, но написать ее словами не сумел бы.

«Глупость! — молча колебался Дванов. — Расстрелять его, как придет Копенкин... Трава растет, тоже разрушает почву: революция — насильная штука и сила природы...Сволочь ты!» — сразу и без последовательности изменилось сознание Дванова.

— Уходи домой! — приказал он бандиту. Тот пошел к дверям задом, глядя на наган в руке Дванова заворуженными окаменелыми глазами. Дванов догадался и нарочно не прятал револьвера, чтобы не шевельнуться и не испугать человека.

— Стой! — окликнул Дванов.

Крестьянин покорно приготовился.

— Были у вас белые офицеры? Кто такой Плотников?

Бандит ослаб и мучительно старался перетерпеть себя.

— Не, никого не было, — боясь солгать, тихо отвечал крестьянин. — Каюсь тебе, милый человек: никого...Плотников — с наших присёлков мужик...

Дванов видел, что бандит от страха не врет.

— Да ты не бойся! Иди себе спокойно ко двору.

Бандит пошел, поверив Дванову.

В окне задребезжали остатки стекла: степным ходом подскакала Пролетарская Сила Копенкина.

— Ты куда идешь? Ты кто такой? — услышал Дванов голос Копенкина. Не слушая ответа, Копенкин водворил пленного бандита в чулан.

— Ты знаешь, товарищ Дванов, я, было, самого ихнего Плотникова не словил, — сообщил Копенкин, kloкоча возбужденной грудью. — Двое их стервецов ускакали — ну, кони их хороши! На моем пахать надо, а я на нем воюю...Хотя на нем мне счастье — сознательная скотина!.. Ну, что ж, надо сход собирать...

Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. Дванов вышел на крыльцо в ожидании собрания крестьян. Вдалеке выскакивали на середину улицы дети и, поглядев в сторону Дванова, убегали опять. Никто не шел на гулкий срочный призыв Копенкина.

Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание с возгласом. Дванов заслушался, забывая значение набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение. В революции тоже действуют эти страсти — не одной литой верой движутся люди, но также и дребезжащим сомнением.

К крыльцу подошел черноволосый мужик в фартуке и без шапки, наверно — кузнец.

— Вы что тут народ беспокоите? — прямо спросил он. — Езжайте себе, други-товарищи, дальше. Есть у нас дураков десять — вот вся ваша опора тут...

Дванов так же прямо попросил его сказать, чем он обижен на советскую власть.

— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злобно ответил кузнец. — Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужичу от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?

Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.

— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски — за кем хоть пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди... Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла...

Кузнец перестал говорить, сообразив, что перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты: как будто ничего человек, а действует против простого народа.

Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца: есть примерно десять процентов чудаков в народе, которые на любое дело пойдут — и в революцию, и в скит на богомолье.

Пришел Копенкин, тот на все упреки кузнеца отвечал ясно:

— Сволочь ты, дядя! Мы живем теперь все вровень, а ты хочешь так: рабочий не жри, а ты чтоб самогон из хлеба курил!

— Вровень, да не гладко! — мстил кузнец. — Кляп ты понимаешь в ровной жизни! Я сам, как женился, думаю над этим делом: получается, что всегда чудаки над нами командовали, а сам народ никогда власть не принимал: у него, друг, посерьезней дела были — дураков задаром кормил...

Кузнец похотел умным голосом и свертел сигарку.

— А если б разверстку отменили? — поставил вопрос Дванов.

Кузнец было повеселел, но опять нахмурился:

— Не может быть! Вы еще хуже, другое придумаете — пускай уж старая беда живет, — тем более мужики уж приучились хлеб хоронить...

— Ему ништо нипочем: сволочь-человек! — оценил Копенкин собеседника.

К дому стал подбираться народ: пришли человек восемь и сели в сторонке. Дванов подошел к ним — это оказались уцелевшие члены ячейки Калитвы.

— Начинай речь! — насмеялся кузнец. — Все чудачки в сборе, не хватает малость...

Кузнец помолчал, а потом опять охотно заговорил:

— Вот ты меня послушай. У нас людей пять тысяч, и малых и больших. Ты запомни. А теперь я тебе погадаю: возьми ты десятую часть от возмужалых, и когда в ячейке столько будет — тогда и кончится вся революция.

— Почему? — не понял расчета Дванов.

Кузнец пристрастно объяснил:

— Тогда все чудачки к власти отойдут, а народ сам по себе заживет — обоим сторонам удовольствие...

Копенкин предложил собранию, не теряя минуты, гнаться за Плотниковым, чтобы ликвидировать его, пока он новой живой банды не набрал. Дванов выяснил у деревенских коммунистов, что в Калитве Плотников хотел объявить мобилизацию, но у него ничего не вышло; тогда два дня шли сходы, где Плотников уговаривал всех идти добровольцами. И сегодня шел такой же сход, когда напали Дванов и Копенкин. Сам Плотников до точности знает крестьян, мужик верный своим односельчанам, лихой и оттого враждебный всему остальному свету. Мужики его уважают вместо скончавшегося попа.

Во время схода прибежала баба и крикнула:

— Мужики, красные на околице — целый полк на лошадях скачет сюда!

А когда Копенкин с Двановым показались на улице, все подумали, что это — полк.

— Едем, Дванов! — соскучился слушать Копенкин. — Куда та дорога ведет? Кто с нами поедет?

Коммунисты смутились:

— Та дорога на деревню Черновку... Мы, товарищи, все безлошадные...

Копенкин махнул на них отрекающейся рукой.

Кузнец бдительно поглядел на Копенкика и сам подошел к нему:

— Ну, прощай, что ль! — и протянул обширную руку.

— Прощай хоть ты, — ответил подачей ладони Копенкин. — Помни меня — начнешь шевелиться: назад вернись, а кончу тебя!

Кузнец не побоялся:

— Попомни, попомни: моя фамилия Сотых. Я тут один такой. Когда дело к рассудку пойдет — я сам буду верхом с кочережкой. И коня найду: а то они, видишь ты, безлошадные, сукины дети...

Слобода Калитва жила на спуске степи к долине. Сама же долина реки Черной Калитвы представляла сплошную чашу болотных зарослей.

Пока люди спорили и утрамбовывались меж собой, шла вековая работа природы: река застарела, девственный травостой ее долины затянулся смертельной жидкостью болот, через которую прорывались лишь жесткие острецы камыша.

Мертвое руно долины ныне слушало лишь безучастные песни ветра. В конце лета здесь всегда идет непосильная борьба ослабшего речного потока с овражными выносами песка, своею мелкой перхотью навсегда отрезающего реку от далекого моря.

— Вот, товарищ Дванов, погляди налево, — указал на синеву поймы Копенкин. — Я тут бывал с отцом еще мальчишкой: незабвенное место было. На версту хорошей травянистой вонью несло, а теперь тут и вода гниет...

Дванов редко встречал в степи такие длинные таинственные страны долин. Отчего, умирая, реки останавливают свою воду и покрывают непроходимой мочажиной травяные прибрежные покровы? Наверно, вся придолинная страна беднеет от смерти рек. Копенкин рассказал Дванову, сколько скота и птицы было раньше у крестьян в здешних местах, когда река была свежая и живая.

Смеркающаяся вечерняя дорога шла по окраине погибшей долины. До Черновки от Калитвы было всего шесть верст, но Черновку всадники заметили, когда уже въехали на чье-то гумно. В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала.

Копенкин пошел узнавать, чья власть в деревне, а Дванов остался с лошадьми на околице.

Наставала ночь — мутная и скучная; таких ночей боятся дети, познавшие в первый раз сонные кошмары: они тогда не засыпают и следят за матерью, чтобы она тоже не спала и хранила их от ужаса.

Но взрослые люди — сироты, и Дванов стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь и прохладное озеро неба над собой.

Он прохаживался и возвращался обратно, слушая тьму и считая медленное время.

— Я насилу нашел тебя, — издали сказал невидимый Копенкин. — Соскучился? Сейчас молочка попьешь.

Копенкин ничего не узнал — чья в деревне власть и здесь ли Плотников. Зато достал где-то корчажку молока и ломоть необходимого хлеба.

Поев, Копенкин и Дванов поехали к сельсовету. Копенкин отыскал избу с вывеской совета, но там было пусто, ветхо и чернильница стояла без чернил — Копенкин залезал в нее пальцем, проверяя, функционирует ли местная власть.

Утром пришли четыре пожилых мужика и начали жаловаться: все власти их оставили, жить стало жутко.

— Нам бы хоть кто-нибудь, — просили крестьяне. — А то мы тут на отшибе живем — сосед соседа задушит. Разве ж можно без власти: ветер без начала не подует, а мы без причины живем.

Властей в Черновке было много, но все рассеялись. Советская власть тоже распалась сама собой: крестьянин, избранный председателем, перестал действовать: почету, говорит, мало — все меня знают, без почета власти не бывает. И перестал ходить в сельсовет на занятия. Черновцы ездили в Калитву, чтобы привезти в председатели незнакомого человека, которого поэтому все бы уважали. Но и так не вышло: в Калитве сказали, что нет инструкций на переселение председателей из чужих мест — выбирайте достойных из своего общества.

— А раз у нас нету достойных! — загрустили черновцы. — Мы все вровень и под стать: один вор, другой лодырь, а у третьего баба лихая — портки спрятала... Как же нам теперь быть-то?

— Скучно вам жить? — сочувственно спросил Дванов.

— Полная закупорка! По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся: обидели нас!

В окна совета пахло навозной сыростью и теплом пахотной земли; этот старинный воздух деревни напоминал о покое и размножении, и говорившие постепенно умолкли. Дванов вышел наружу посмотреть лошадей. Его там обрадовал отошальный нуждающийся воробей, работавший клювом в сытном лошадином кале. Воробьев Дванов не видал полгода и ни разу не вспомнил, где они приютились на свете. Много хорошего прошло мимо узкого бедного ума Дванова, даже собственная жизнь часто обтекает его ум, как речка вокруг камня. Воробей перелетел на плетень. Из совета вышли крестьяне, скорбящие о власти. Воробей оторвался от плетня и на лету проговорил свою бедняцкую серую песню.

Один из крестьян подошел к Дванову — рябой и неевший, из тех, кто никогда сразу не скажет, что ему нужно, но поведет речь издали о средних предметах, сосредоточенно пробуя характер собеседника: допускает ли тот попросить облегчения. С ним можно проговорить всю ночь — о том, что покачнулось на земле православие, а на самом деле ему нужен был лес на постройку. Хотя хлысты он уже себе нарезал в бывшей казенной даче, а снова попросить лес хочет для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее самовольство.

Подошедший к Дванову мужик чем-то походил на отбывшего воробья — лицом и повадкой: смотреть на свою жизнь как на преступное занятие и ежеминутно ждать карающей власти.

Дванов попросил сказать сразу и наголо — что требуется крестьянину. Но Копенкин услышал Дванова сквозь одинарную раму и преду-

предил, что так мужик сроду ничего не покажет: ты, говорит, товарищ Дванов, веди беседу шагом.

Мужики засмеялись и поняли — перед ними не опасные, ненужные люди.

Заговорил рябой. Он был бобыль и должен, по общественному приговору, соблюдать чужие интересы.

Понемногу беседа добралась до калитвенских угодий, смежных с черновскими. Затем прошли спорный перелесок и остановились на власти.

— Нам хоть власть, хоть и не надо, — объяснял с обеих сторон рябой. — С середины посмотреть — концов не видать, с конца начать — долго. Вот ты и подумай тут...

Дванов поторопил:

— Если есть у вас враги, то вам нужна советская власть.

Но рябой знал, в чем дело:

— Врагов-то хоть и нет, да ведь кругом просторно — прискачут: чужая копейка вору дороже своего рубля... Оно все одинако осталось — и трава растет, и погода меняется, а все ж таки ревность нас берет: а вдруг да мы льготы какие упустим без власти! Сказывают, разверстку теперь не берут, а мы все сеять боимся... И прочие легкости народу пошли — разберут по ртам, а нам не достанется!

Дванов вскинулся: как разверстку не берут — кто сказал? Но рябой и сам не знал: не то он действительно это слышал, не то от своего сердца нечаянно выдумал. Объяснил только вообще — проходил дезертир без документов и, поев каши у рябого, сообщил, что нет теперь никакой разверстки — к Ленину в кремлевскую башню мужики ходили: три ночи сидели и выдумали послабление.

Дванов сразу загрустил, ушел в совет и не возвратился. Мужики разошлись по дворам, привыкнув к бестолковым ходатайствам.

— Послушай меня, товарищ Копенкин! — взволнованно обратился Дванов. Копенкин больше всего боялся чужого несчастья и мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика обиженной его вдовы. Он загодя опечалился и приоткрыл рот для лучшего слуха.

— Товарищ Копенкин! — сказал Дванов. — Знаешь что: мне охота съездить в город... Обожди меня здесь — я быстро возвращусь... Сядь временно председателем совета, чтобы не скучно было, — крестьяне согласятся. Ты видишь, они какие...

— Да что ж тут такого? — обрадовался Копенкин. — Поезжай себе, пожалуйста, я тебя хоть целый год ждать буду... А председателем я устроюсь — здешний район надо покорять.

Вечером Дванов и Копенкин поцеловались среди дороги, и обоим стало бессмысленно стыдно. Дванов уезжал в ночь к железной дороге.

Копенкин долго стоял на улице, уже не видя друга; потом вернулся в сельсовет и заплакал в пустом помещении. Всю ночь он пролежал молча и без сна, с беспомощным сердцем. Деревня вокруг не шевелилась, не давала знать о себе ни одним живым звуком, будто навсегда отеклась от своей досадной волокущейся судьбы. Лишь изредка шелестели голые ветлы на пустом сельсоветском дворе, пропуская время к весне.

Копенкин наблюдал, как волновалась темнота за окном. Иногда сквозь нее пробегал бледный вянувший свет, пахнувший сыростью и скукой нового нелюдимого дня. Быть может, наставало утро, а может, это — мертвый блуждающий луч луны.

В длинной тишине ночи Копенкин незаметно терял напряжение своих чувств, словно охлаждаясь одиночеством. Постепенно в его сознании происходил слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу. Нежное влечение, дававшее сердцу прозрачную веселую силу надежды, теперь не тронулось в Копенкине.

Удивленный и грустный, он обволакивался небесною ночью и многолетней усталостью. Во сне он не видел себя и, если б увидел, испугался: на лавке спал старый, истощенный человек, с глубокими мученическими морщинами на чужом лице, — человек, всю жизнь не сделавший себе никакого блага. Не существует перехода от ясного сознания к сновидению — во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле. Второй раз увидел Копенкин свою давно умершую мать — в первый раз она снилась ему перед женитьбой: мать уходила по грязной полевой дороге; спина ее была так худа, что сквозь сальную кофту, пропахшую щами и детьми, проступали кости ребер и позвоночника; мать уходила нагнувшись, ни в чем не упрекая сына. Копенкин знал, что там, куда она пошла, у нее ничего нет, и побежал в обход по балке, чтобы построить ей курень. Где-то под лесом живали в теплое время огородники и бахчеводы, и Копенкин думал поставить курень матери именно там, чтобы мать нашла себе в лесу другого отца и нового сына.

Сегодня мать приснилась Копенкину с обыкновенным горящим лицом — она утирала себе концом платочка, чтобы не пачкать его весь, сморщенные слезницы глаз и говорила — маленькая и иссохшая перед выросшим сыном:

— Опять себе шлюшку нашел, Степушка. Опять мать оставил одну — людям на обиду. Бог с тобой.

Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови и окаянно отступившим от матери.

Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза было одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее

живут в одной его жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза — продолжение его детства и матери, а не обида старушки.

И Копенкин зашелся сердцем, что мать ругает Розу.

— Мама, она тоже умерла, как и ты, — сказал Копенкин, жалея беспомощность материнского зла.

Старуха отняла платок — она и не плакала.

— И-и, сынок, ты их только слушай! — заплетничала мать. — Она тебе и скажет, и повернется — все под стать, а женишься — спать не с кем: кости да кожа, а на шее рожа. Вот она, присуха твоя, поступочкой идет: у, подлая, обвела малого!..

По улице шла Роза — маленькая, живая, настоящая, с черными грустными глазами, как на картине в сельсовете. Копенкин забыл мать и прошиб стекло — для лучшего наблюдения Розы. За стеклом была деревенская летняя улица — пустая и скучная, как во всех деревнях в засуху и жару, а Розы не было. Из переулка вылетела курица и побежала по колее, растопырив пылящие крылья. Вслед за ней вышли оглядывающиеся люди, а потом другие люди понесли некрашенный дешевый гроб, в каких хоронят на общественные средства безвестных людей, не помнящих родства.

В гробу лежала Роза — с лицом в желтых пятнах, что бывает у неблагоприятных рожениц. В черноте ее волос вековала неженская седина, а глаза засосались под лоб в усталом отречении ото всех живых. Ей никого не нужно, и мужикам, которые ее несли, она тоже была не мила. Носильщики трудились только из общественной повинности, в порядке подворной очереди.

Копенкин вглядывался и не верил: в гробу лежала не та, которую он знал, — у той было зрение и ресницы. Чем ближе подносили Розу, тем больше темнело ее старинное лицо, не видевшее ничего, кроме ближних сел и нужды.

— Вы мать мою хороните! — крикнул Копенкин.

— Нет, она немужняя жена! — без всякой грусти сказал мужик и поправил полотенце на плече, — Она, видишь ты, не могла в другом селе помереть, а аккурат у нас скончалась: не все ей равно было.

Мужик считал свой труд. Это Копенкин сразу понял и успокоил подневольных людей:

— Как засыпете ее, — приходите — я поднесу.

— Можно, — ответил тот же крестьянин. — На сухую хоронить грешно. Теперь она раба божья, а все одно неподъемная, аж плечи режет.

Копенкин лежал на лавке и ждал возвращения мужиков с кладбища. Откуда-то дуло холодом. Копенкин встал, чтобы заложить разбитое стекло, но все окна были невредимы. Дуло от утреннего ветра, а на дворе давно ржал непоеный конь Пролетарская Сила. Копенкин оправил на

себе одежду, икнул и вышел на воздух. Журавль колодца у соседей нагибался за водой; молодая баба за плетнем ласкала корову, чтобы лучше ее выдоить, и нежно говорила грудным голосом:

— Машка, Машенька, ну, не топырься, не гнушайся — свят прилипнет, грех отлипнет...

С левой стороны кричал, оправляя с порога нужду, босой человек своему невидимому сыну:

— Васька, веди кобылу поить!

— Сам пей, она поеная!

— Васька, пшено иди толки, а то ступкой по башке шкрыкну.

— Я вчерась толок: все я да я — сам натолкешь!

Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица, и сколько ни прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь — делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня.

Копенкин улыбнулся воробью, сумевшему в своей тщетной крошечной жизни найти громадное обещание. Ясно, что он отогревался в прохладное утро не зернышком, а неизвестной людям мечтой. Копенкин тоже жил не хлебом и не благосостоянием, а безотчетной надеждой.

— Так лучше, — сказал он, не отлучаясь взором от работавшего воробья. — Ишь ты: маленький, а какой цопенький... Если б человек таким был, весь свет бы давно расцвел...

Рябой вчерашний мужик пришел с утра. Копенкин завлек его в разговор, потом пошел к нему завтракать и за столом вдруг спросил:

— А есть у вас такой мужик — Плотников?

Рябой нацелился на Копенкина думающим глазом, ища подоплеки вопроса:

— Плотников я и есть. А что тебе? У нас во всей деревне только три фамилии и действуют, что Плотниковы, Ганушкины да Цельновы. Тебе которого Плотникова надо?

Копенкин нашел:

— Того самого, у которого рыжий жеребец — ловкий да статный такой, на ездку ужимистый... Знаешь?

— А, так то Ванька, а я Федор! Он меня не касается... Жеребец-то его третьего дня охромел... Он дюже надобен-то тебе? Тогда я сейчас пойду кликну его...

Рябой Федор ушел: Копенкин вынул наган и положил на стол. Больная баба Федора онемело глядела на Копенкина с печки, начиная все быстрее и быстрее икать от страха.

— Кто-то тебя распоминался так? — участливо спросил Копенкии. Баба скоротилась в улыбку, чтоб разжалобить гостя, но сказать ничего не сумела.

Федор пришел с Плотниковым скоро. Плотниковым оказался тот самый босой мужик, который утром кричал на Васью с порога. Теперь он надел валенки, а в руках вежливо мял ветхую шапку, справленную еще до женитьбы. Плотников имел наружность без всяких отличий: чтоб его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз был редкий — карий: цвет воровства и потайных умыслов. Копенкин угрюмо исследовал бандита. Плотников не сробел, или нарочно особый оборот нашел:

— Чего уставился — своих ищешь?

Копенкин сразу положил ему конец:

— Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на советскую власть подымать? Говори прямо — будешь или нет?

Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление о своих незаконных действиях.

— Не, боле никогда не буду — напрямки говорю.

Копенкин помолчал для суровости.

— Ну, попомни меня. Я тебе не суд, а расправа: узнаю — с корнем в момент вырву, до самой матерной матери твоей докопаюсь — на месте угроблю... Ступай теперь ко двору и считай меня на свете...

Когда Плотников ушел, рябой ахнул и заикнулся от уважения.

— Вот это, вот это — справедливо! Стало быть, ты власть!

Копенкин уже полюбил рябого Федора за его хозяйственное желание власти: тем более и Дванов говорил, что советская власть — это царство множества природных невзрачных людей.

— Какая тебе власть? — сказал Копенкин. — Мы природная сила.

Дванову городские дома показались слишком большими: его глазомер привык к хатам и степям.

Над городом сияло солнце, и птицы, успевшие размножиться, пели среди строений и на телефонных столбах. Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы; ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом.

Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала — на базе губпродкома — висела сырая вывеска, с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано:

«Продажа всего всем гражданам. Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соленья».

Под вывеской малыми буквами была приписана фирма: «Ардулянц, Ромм, Колесников и К°».

Дванов решил, что это — нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое: прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов продбаз и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов.

— Это тебе не губраспред! — сочувственно сказал какой-то созерцатель торговли.

Дванов ненавистно оглянулся на него. Человек не смутился такого взгляда, а, напротив, торжественно улыбнулся: что, дескать, следишь, я радуюсь законному факту!

Целая толпа людей стояла помимо покупателей: это были просто наблюдатели, живо заинтересованные отрядным происшествием. Их имелось больше покупателей, и они тоже косвенно участвовали в торговле. Иной подходил к хлебу, отминал кусочек и брал его в рот. Приказчик без возражения ожидал дальнейшего. Любитель торговли долго жевал крошку хлеба, всячески регулируя ее языком и глубоко задумавшись; потом сообщал приказчику оценку:

— Горчит! Знаешь — чуть-чуть! На дрожжах ставите?

— На закваске, — говорил приказчик.

— Ага — вот: это и чувствуется. Но и то уж — размол не пайковый и пропечен по-хозяйски: говорить нечего!

Человек отходил к мясу, ласково щупал его и долго принохивался.

— Что, отрубить, что ль? — спрашивал торговец.

— Я гляжу, не конина ли? — исследовал человек. — Да нет, жил мало, и пены не видать. А то, знаешь, от конины вместо навару пена бывает: мой желудок ее не принимает, я человек болящий...

Торговец, спуская обиду, смело хватал мясо:

— Какая тебе конина?! Это белое черкасское мясо — тут один филей. Видишь, как нежно парует — на зубах рассыпаться будет. Его, как творог, сырым можно кушать.

Удовлетворенный человек отходил к толпе наблюдателей и детально докладывал о своих открытиях.

Наблюдатели, не оставляя постов, сочувственно разбирали все функции торговли. Двое не вытерпели, и пошли помогать приказчикам — они сдували пыль с прилавков, обметали пером весы для пущей точности и упорядочивали разновески. Один из этих двоих добровольцев нарезал бумажек, написал на них названия товаров, затем приделал бумажки к проволочным ножкам, а ножки воткнул в соответствующие товары; над каждым товаром получилась маленькая вывесочка, каковая сразу приводила покупателя в ясное понимание вещей. В ящик пшена доброволец вонзил — «просо», в говядину — «парное мясо от коровы» и так далее, соответственно более нормальному толкованию товаров.

Его друзья любовались такой заботой. Это были родоначальники улучшателей государственных служб, опередившие свое время. Покупатели входили, читали — и верили надписанному товару больше.

Одна старушка вошла в лавку и долго оглядывала помещение. Голова ее дрожала от старости, усиленной голодом, сдерживающие центры ослабли — и из носа и глаз точилась произвольная влага. Старушка подошла к приказчику и протянула ему карточку, зашитую на прорехах суровыми нитками.

— Не надо, бабушка, так отпустим, — заявил приказчик. — Чем ты питалась, когда твои дети мёрли?

— Ай дождались? — тронулась чувством старуха.

— Дождались: Ленин взял, Ленин и дал.

Старуха шепнула:

— Он, батюшка, — и заплакала так обильно, словно ей жить при такой хорошей жизни еще лет сорок. Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма.

Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. До самого его дома больше лавок не встретилось, но пирожки и пышки продавали на каждом углу. Люди покупали, ели и говорили о еде. Город сытно пировал. Теперь все люди знали, что хлеб растет трудно, растение живет сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает потом мучительной работы; люди привыкли теперь глядеть на небо и сочувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз и вода на полях не застывала ледяной коркой: это вредно озимым. Люди обучились многим неизвестным ранее вещам — их профессия расширилась, чувство жизни стало общественным. Поэтому они нынче смаковали пышки, увеличивая посредством этих пышек не только свою сытость, но и уважение к безымянному труду: наслаждение получалось двойное. Поэтому люди, принимая пищу, держали подо ртом руку горстью, чтобы в нее падали крошки, — затем эти крошки также съедались.

По бульварам шли толпы, созерцая новую для них самих жизнь. Вчера многие ели мясо и ощущали непривычный напор сил. Было воскресенье — день почти душный: тепло летнего неба охлаждал лишь бредущий ветер из дальних полей. Иногда около зданий сидели нищие и сознательно ругали советскую власть, хотя им прохожие подавали деньги, как признак облегчения жизни: за последние четыре года в городе пропали нищие и голуби.

Дванов пересекал сквер, смущаясь массы людей, — он уже привык к степной воздушной свободе. Ровно с ним шла некоторое время девушка, похожая на Соню, — такое же слабое милое лицо, чуть жмурающееся от впечатлений. Но глаза этой девушки были более темными, чем у Сони, и замедленными, точно имели нерешенную заботу, но они глядели полуприкрытыми и скрывали свою тоску. «При социализме Соня станет уже Софьей Александровной, — подумал Дванов. — Время пройдет».

Захар Павлович сидел в сенях и чистил ваксой детские развалившиеся башмаки Александра, чтоб они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал, его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. И Дванов, держа за тело Захара Павловича, думал: что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями?

Вечером Дванов пошел к Шумилину; рядом с ним многие шагали к возлюбленным — люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали — жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь.

Шумилин ел обед и посадил есть Дванова.

Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему: часы всегда трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал — он чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов.

— Пище вариться некогда, — сказал Шумилин. — Пора уж на партсобрание идти... Ты пойдешь, иль умней всех стал?

Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется.

— Слышал, слышал, — проговорил Шумилин. — Тебя послали, чудака, поглядеть просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно, — у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...

Дванов покраснел от обиды и совести.

— Они не огарки, товарищ Шумилин... Они еще три революции сделают без слова, если нужно...

Шумилин не стал разговаривать; значит, его бумаги были вернее людей. И так они молча шли, стесняясь друг друга.

Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу Фуфаеву, что здесь две атмосферы давления.

— Если б всю партию собрать в эту залу, — рассуждал Гопнер, — смело можно электрическую станцию пустить — на одном партийном дыхании, будь я проклят!

Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился оттяжкой начала собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было говорить дома и он радовался многолюдству.

— Ты все ходишь и думаешь, — смиренно и тонко сказал Фуфаев и вздохнул своею грудью, как костяным бугром, отчего у него все рубашки давно полопались и он носил их заштопанными. — А уж пора бы нам всем молча и широко трудиться.

Гопнер удивлялся, за что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени. Сам Фуфаев никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила.

Не знала она малого — за что даются пайки и ордена. Но муж ей сказал: «За службу, Поля, — так и быть должно». Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в казенных домах.

Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. Несмотря на свои забытые военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал губутилем и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать; это оказалось ему на руку: последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы, заходя на задние двory и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь хлам для государственной утилизации. С Гопнером он тоже сошелся на широкой почве утилизации. Фуфаев всех спрашивал одинаково серьезно:

— Товарищ, наше государство не так богато — нет ли у тебя чего-нибудь негодного — для утиля?

— Чего, например? — спрашивал любой товарищ.

Фуфаев не затруднялся:

— Чего-нибудь съеденного, сырого, либо мочалочки какой-нибудь, либо еще какого-нибудь... не наглядного продукта...

— У тебя, Фуфаев, жара в голове! — озадачивался товарищ. — Откуда теперь тебе мочалочка? Я сам в бане хворостинной парюсь...

Но изредка Фуфаеву все же подавались деловые советы, например — утилизировать дореволюционные архивы на отопление детских приютов, систематично выкашивать бурьян на глухих улицах, чтобы затем, на готовых кормах, завести обширное козье молочное хозяйство — для снабжения дешевым молоком инвалидов гражданской войны и неимущих.

По ночам Фуфаев видел во сне разнообразные утильматериалы, в форме отвлеченных массивов безымянного старья. Просыпался он в ужасе от своей ответственной службы, так как был честным человеком. Гопнер однажды предложил ему не беспокоиться сверх сил, лучше, — сказал он, — приказать циркулярно жителям старого мира сторожить, не отлучаясь, свой хлам — на случай, если он понадобится революции; но он не понадобится — новый мир будет строиться из вечного материала, который никогда не придет в бросовое состояние.

После этого Фуфаев несколько успокоился и его реже мучили массивные сновидения.

Шумилин знал и Фуфаева и Гопнера, а Дванов одного Гопнера.

— Здравствуйте, Федор Федорович, — сказал Дванов Гопнеру. — Как вы поживаете?

— Регулярно, — ответил Гопнер. — Только хлеб свободно продают, будь он проклят!

Шумилин говорил с Фуфаевым. Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи больранным красноармейцам. Фуфаев соглашался, уже привыкнув после фронта к глухим должностям. Многие командиры тоже служили по собесам, профсоюзам, страхкассам и прочим учреждениям, не имевшим тяжелого веса в судьбе революции; когда такие учреждения упрекали, что они влекутся на хвосте революции, тогда учреждения переходили с хвоста и садились на шею революции.

Военные люди почему-то уважали любую службу — и, во имя железной дисциплины, всегда были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией.

Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему:

— Тебе что, паек был велик — вольная торговля тебе не нравится?

— Нипочем не нравится, — сразу и серьезно заявил Гопнер. — А ты думаешь, пища с революцией сживется? Да сроду нет — вот будь я проклят!

— А какая же свобода у голодного? — с умственным презрением улыбнулся Шумилин.

Гопнер повысил свой воодушевленный тон:

— А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество — никакого человека не появится! Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе... Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили?

— А ты читал историю? — усомнился Шумилин.

— А я догадываюсь! — подморгнул Гопнер.

— Что ж ты догадался?

— А то, что хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека — дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать...

В зале зазвонили о начале собрания.

— Пойдем порассуждаем маленько, — сказал Гопнер Дванову. — Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты: говорю и сам своего почета не понимаю!

В повестке дня стоял единственный вопрос — новая экономическая политика. Гопнер сразу задумался над ним — он не любил политики и экономии, считая, что расчет удобен в машине, а в жизни живут одни разности и единственные числа.

Секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, плохо признавал собрания — он видел в них формальность, потому что рабочий человек все равно не успевает думать с быстротой речи: мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью. Поэтому секретарь обыкновенно сокращал ораторов:

— Сжимайся, сжимайся, товарищ, на твою болтовню продотряды хлеб добывают — ты помни это!

А иногда просто обращался к собранию:

— Товарищи, понял ли кто-нибудь и что-нибудь? Я ничего не понял. Нам важно знать, — уже сердито отчеканивал секретарь, — что нам делать по выходе отсюда из дверей. А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях. А я говорю — когда революция, тогда нет объективных условий...

— Правильно! — покрывало собрание. Все равно, если б было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему.

Нынче секретарь губкома сидел с печальным лицом; он был уже пожилым человеком и втайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой-читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчете-

ты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря; беря их на дом, он не приносил их обратно, а управляющему делами потом говорил: «Товарищ Молельников, знаешь, их сынишка сжег в лежанке, когда я спал. Проснулся, а в печке пепел. Давай попробуем копий не посылать — посмотрим, будет контрреволюция или нет?»

— Давай, — соглашался Молельников. — Бумагой, ясная вещь, ничего не сделаешь — там одни понятия написаны: ими губернию держать — все равно как за хвост кобылу.

Молельников был из мужиков и так скучал от своих занятий в губкоме, что завел на его дворе огородные грядки и выходил на них во время службы, чтобы потрудиться.

Сегодня секретарь губкома был отчасти доволен: новую экономическую политику он представлял как революцию, пущенную вперед самотеком — за счет желания самого пролетариата. А раньше революция шла на тяговых усилиях аппаратов и учреждений, точно госаппарат на самом деле есть машина для постройки социализма. С этого секретарь и начал свою речь.

Дванов сидел между Гопнером и Фуфаевым, а впереди него непрерывно бормотал незнакомый человек, думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались.

Партийные люди не походили друг на друга — в каждом лице было что-то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами. Из тысячи можно отличить такое лицо — откровенное, омраченное постоянным напряжением и немного недоверчивое. Белые в свое время безошибочно угадывали таких особенных самодельных людей и уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением.

Газ дыханий уже образовал под потолком зала как бы мутное местное небо. Там горел матовый электрический свет, чуть пульсируя в своей силе, — вероятно, на электрической станции не было цельного приводного ремня на динамо, и старый, изношенный ремень бил шивкой по шкиву, меняя в динамо напряжение. Это было понятно для половины присутствующих. Чем дальше шла революция, тем все более усталые машины и изделия оказывали ей сопротивление — они уже изработали все свои сроки и держались на одном подстегивающем мастерстве слесарей и машинистов.

Неизвестный Дванову партиец вятно бормотал впереди, наклонив голову и не слушая оратора.

Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы — речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испыты-

вал болезненное неудобство, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Он с беспокойством присмотрелся к Гопнеру, пожилому и сухожильному человеку, почти целиком съеденному сорокалетней работой; его нос, скуля и ушные мочки так туго обтянулись кожей, что человека, смотревшего на Гопнера, забирал нервный зуд. Когда Гопнер раздевался в бане, он, наверное, походил на мальчика, но на самом деле Гопнер был стоек, силен и терпелив, как редкий. Долгая работа жадно съедала, и съела, тело Гопнера — осталось то, что и в могиле долго лежит: кость да волос; жизнь его, утрачивая всякие вождения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера поздней страстью голого ума.

Дванов вспомнил про свои прежние встречи с ним. Когда-то они много беседовали о шлюзовании реки Польного Айдара, на которой стоял их город, и курили махорку из кисета Гопнера; говорили они не столько ради общественного блага, сколько от своего избыточного воодушевления, не принимавшегося людьми в свою пользу.

Оратор говорил сейчас мелкими простыми словами, в каждом звуке которых было движение смысла; в речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный.

Один партиец, соседний Дванову, равнодушно сообщил в залу:

— Обтирочных концов нету — лопухи заготавливаем!..

Электричество припогасло до красного огня — это по инерции еще вращалась динамо-машина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло.

— Вот тебе раз! — сказал кто-то во мраке. В тишине было слышно, как громко ехала телега по мостовой и плакал ребенок в далекой комнате сторожа.

Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота — о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал: подожди, сказал он Фуфаеву, если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет.

Электричество загорелось: на электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин.

— Свободная торговля для советской власти, — продолжал докладчик, — все равно что подножный корм, которым залепится наша разруха хоть на самых срамных местах...

— Понял? — тихо спросил Фуфаев у Гопнера. — Надо буржуазию в местный оборот взять — она тоже утильный предмет...

— Во-во! — расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости.

Оратор приостановился:

— Ты что там, Гопнер, зверем гудишь? Ты не спеши соглашаться — для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю, а советуюсь с вами — я не самый умный...

— Ты — такой же! — громко, но доброжелательно определил Гопнер. — Дурей нас будешь — другого поставим, будь мы прокляты!

Собрание удовлетворенно засмеялось. В те времена не было определенного кадра знаменитых людей, зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение.

— А ты слова топи на нитку и на нет своди, — еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места.

С потолка капала грязь. Из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа — напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь.

Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула.

— Мне дурно, Саш! — сказал он Дванову и пошел с рукой у рта. Дванов вышел за ним. Наружи Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену.

— Ты ступай дальше, Саш, — говорил Гопнер, стыдясь чего-то. — Я сейчас обойдусь.

Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного.

Гопнер вытер реденькие усы красным платком.

— Сколько лет натошак жил — ничего не было, — смущался Гопнер. — А сегодня три лепешки подряд съел, и отвык...

Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Против горсовета находилась конюшня пожарной команды, а каланча сгорела два года назад. Дежурный пожарный ходил теперь по крыше горсовета и наблюдал оттуда город. Ему там было скучно — он пел песни и громыхал по железу сапогами. Дванов и Гопнер слышали затем, как пожарный затих — вероятно, речь из зала дошла и до него.

Секретарь губкома говорил сейчас о том, что на продрабату посылались обреченные товарищи, а наше красное знамя чаще всего шло на обшивку гробов.

Пожарный недослышал и запел свою песню:

Лапти по полю шагали,
Люди их пустыми провожали...

— Чего он там поет, будь он проклят? — сказал Гопнер и прислушался. — Обо всем поет — лишь бы не думать... Все равно водопровод не работает: зачем-то пожарные есть!

Пожарный в это время глядел на город, освещенный одними звездами, и предполагал: что бы было, если б весь город сразу загорелся? — Пошла бы потом голая земля из-под города мужикам на землеустройство, а пожарная команда превратилась бы в сельскую дружину, а в дружине бы служба спокойней была.

Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать втемную — сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверно, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать.

— Скажи пожалуйста! — убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. — Без него не знали: торговля, товарообмен да налог! Да оно так и было: и торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скачал, и получался налог! Верно я говорю, иль я дурак?..

Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражения:

— Нет — ты дурак! Неужели ты думаешь, что Ленин — глупей тебя: скажи пожалуйста!

Человек явно мучился. Пожарный на крыше снова запел, не чувствуя, что под ним происходит.

— Какая-то новая экономическая политика! — тихо удивлялся человек. — Дали просто уличное название коммунизму! И я по-уличному японцем называюсь — надо терпеть!

Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них:

— Скажите мне, пожалуйста: вот у меня коммунизм стихией прет — могу я его политикой остановить, иль не надо?

— Не надо, — сказал Дванов.

— Ну, а раз не надо — о чем же сомнение? — сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, — шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, — со слабым носом на японском лице.

Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании.

— Откуда ты такой явился? — спросил Гопнер.

— Из коммунизма. Слышал такой пункт? — ответил прибывший человек.

— Деревня, что ль, такая в память будущего есть?

Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.

— Какая тебе деревня, — беспартийный ты, что ль? Пункт есть такой — целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был, пока что, председателем ревкома.

— Чевенгур от Новоселовска недалеко? — спросил Дванов.

— Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец.

— Чему ж конец-то? — недоверчиво спрашивал Гопнер.

— Да всей всемирной истории — на что она нам нужна?

Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Пожарный мерно гремел по откосу крыши, озирая город сонными глазами. Петь он перестал, а скоро и совсем затих — должно быть, ушел на чердак спать. Но в эту ночь нерадивого пожарного застигло начальство. Перед тремя собеседниками остановился формальный человек и начал кричать с мостовой на крышу:

— Распов! Наблюдатель! К вам обращается инспектор пожарной охраны. Есть там кто на вышке?

На крыше была чистая тишина.

— Распов!

Инспектор отчаялся и сам полез на крышу.

Ночь тихо шумела молодыми листьями, воздухом и скребущимся ростом трав в почве. Дванов закрывал глаза, и ему казалось, что где-то ровно и длительно ноет вода, уходящая в подземную воронку. Председатель Чевенгурского уисполкома затягивал носом табак и норовил чихнуть. Собрание чего-то утихло: наверно, там думали.

— Сколько звезд интересных на небе, — сказал он, — но нет к ним никаких сообщений.

Инспектор пожарной охраны привел с крыши дежурного наблюдателя. Тот шел на расправу покорными ногами, уже остывшими ото сна.

— Поидете на месяц на принудительные работы, — хладнокровно сказал инспектор.

— Поведут, так пойду, — согласился виновный. — Мне безразлично: паек там одинаковый, а работают по кодексу.

Гопнер поднялся уходить домой — у него был недуг во всем теле. Чевенгурский председатель последний раз понюхал табаку и откровенно заявил:

— Эх, ребята, хорошо сейчас в Чевенгуре!

Дванов заскучал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодровавшем в темноте степей.

Копенкин стоял в этот час на крыльце Черновского сельсовета и тихо шептал стих о Розе, который он сам сочинил в текущие дни. Над

ним висели звезды, готовые капнуть на голову, а за последним плетнем околицы простиралась социалистическая земля — родина будущих, неизвестных народов. Пролетарская Сила и рысак Дванова равномерно жевали сено, надеясь во всем остальном на храбрость и разум человека.

Дванов тоже встал и протянул руку председателю Чевенгура:

— Как ваша фамилия?

Человек из Чевенгура не мог сразу опомниться от волнующих его собственных мыслей.

— Поедем, товарищ, работать ко мне, — сказал он. — Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под нею громадный трудовой район — и весь в коммунизме, как рыба в озере! Одного у нас нету: славы...

Гопнер живо остановил хвостуна:

— Какая луна, будь ты проклят? Неделю назад ей последняя четверть была...

— Это я от увлечения сказал, — сознался чевенгурец. — У нас без луны еще лучше. У нас лампы горят с абажурами.

Три человека тронулись вместе по улице — под озабоченные восклицания каких-то птичек в палисадниках, почуявших свет на востоке. Бывает хорошо изредка пропускать ночи без сна — в них открывалась Дванову невидимая половина прохладного безветренного мира.

Дванову понравилось слово Чевенгур. Оно походило на влекущий гул неизвестной страны, хотя Дванов и ранее слышал про этот небольшой уезд. Узнав, что чевенгурец поедет через Калитву, Дванов попросил его навестить в Черновке Копенкина и сказать ему, чтобы он не ждал его, Дванова, а ехал бы дальше своей дорогой. Дванов хотел снова учиться и кончить Политехникум.

— Заехать не трудно, — согласился чевенгурец. — После коммунизма мне интересно поглядеть на разрозненных людей.

— Болтает черт его знает что! — возмутился Гопнер. — Везде разруха, а у него одного — свет под абажуром.

Дванов прислонил бумагу к забору и написал Копенкину письмо.

«Дорогой товарищ Копенкин! Ничего особенного нет. Политика теперь другая, но правильная. Отдай моего рысака любому бедняку, а сам поезжай...»

Дванов остановился: куда мог поехать и надолго поместиться Копенкин?

— Как ваша фамилия? — спросил Дванов у чевенгурца.

— Моя-то — Чепурный. Но ты пиши — японец; весь район ориентируется на японца.

«...поезжай к японцу. Он говорит, что у него есть социализм. Если правда, то напиши мне, а я уж не вернусь, хотя мне хочется не расста-

ваться с тобой. Я сам еще не знаю, что лучше всего для меня. Я не забуду ни тебя, ни Розу Люксембург. Твой сподвижник Александр Дванов».

Чепурный взял бумажку и тут же прочитал ее.

— Сумбур написал, — сказал он. — В тебе слабое чувство ума.

И они попросились и разошлись в свои стороны: Гопнер и Дванов — на край города, а японец — на постоялый двор.

— Ну как? — спросил у Дванова дома Захар Павлович.

Александр рассказал ему про новую экономическую политику.

— Погибшее дело! — лежа в кровати, заключил отец. — Что к сроку не успеет, то и посеяно зря. Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают... Попам тоже до рая добраться сатана мешал...

Гопнер когда дошел до квартиры, то у него прошли все боли.

«Чего-то мне хочется? — думал он. — Отцу моему хотелось бога увидеть наяву, а мне хочется какого-то пустого места, будь оно проклято, — чтобы сделать все сначала, в зависимости от своего ума...»

Гопнеру хотелось не столько радости, сколько точности.

Японец же ни о чем не тужил: в его городе Чевенгуре и благо жизни, и точность истины, и скорбь существования происходили сами собой по мере надобности. На постоялом дворе он дал есть траву своей лошади и лег подремать в телегу.

«Возьму-ка я у этого Копенкина рысака в упряжку, — наперед решил он. — Зачем его отдавать любому бедняку, когда бедняку и так громадные льготы: скажи пожалуйста!»

Утром постоялый двор набился телегами крестьян, приехавших на базар. Они привезли понемногу — кто пуд пшена, кто пять корчажек молока: чтобы не жалко было, если отнимут. На заставе, однако, их не встретил заградительный отряд, поэтому они ждали облавы в городе. Облава чего-то не появлялась, и мужики сидели в тоске на своем товаре.

— Не отбирают теперь? — спросил у крестьян Чепурный.

— Что-то не тронули: не то радоваться, не то горевать.

— А что?

— Да кабы хуже чего не пришло — лучше б отбирали пускай! Эта власть все равно жить задаром не даст.

«Ишь ты где у него сосет! — догадался Чепурный. — Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю эту подворную буржуазную заразу!»

— Дай закурить! — попросил тот же пожилой крестьянин.

Чепурный исподволь посмотрел на него чужими глазами.

— Сам домовладелец, а у неимущего побираешься...

Мужик понял, но скрыл обиду.

— Да ведь по разверстке, товарищ, все отобрали: кабы не она, я б себе сам в мешочек насыпал.

— Ты насыпешь! — усомнился Чепурный. — Ты высыпешь — это да!

Крестьянин увидел валяющуюся чеку, слез с телеги и положил ее за голенище.

— Когда как, — ровным голосом сообщил он. — Товарищ Ленин, пишут в газетах, учет полюбил: стало быть, из недобрых рук можно и в мешок набрать, если из них наземь сыплется.

— А ты тоже с мешком живешь? — напрямик спрашивал Чепурный.

— Не иначе. Поел — и рот завязал. А из тебя сыплется, да никто не подбирает. Мы сами, земляк, знатные, — зачем ты человека понапрасну обижает?

Японец, обученный в Чевенгуре большому уму, замолчал. Несмотря на звание председателя ревкома, Чепурный этим званием не пользовался. Иногда, когда он, бывало, сидел в канцелярии, ему приходила в голову жалостная мысль, что в деревнях живут люди, сплошь похожие друг на друга, которые сами не знают, как им продолжать жизнь, и если не трогать их, то они вымрут; поэтому весь уезд будто бы нуждался в его умных заботах. Объезжая же площадь уезда, японец убедился в личном уме каждого гражданина и давно упразднил административную помощь населению. Пожилой собеседник снова утвердил Чепурного в том простом чувстве, что живой человек обучен своей судьбе еще в животе матери и не требует надзора.

При выезде с постоялого двора японца окоротил сподручный хозяина и попросил денег за постой. У японца денег не было и быть не могло — в Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости; жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека.

Отдать за постой японцу было нечем.

— Бери что хочешь, — сказал сподручному чевенгурец. — Я голый коммунист.

Тот самый мужик, что имел мысли против японца, подошел на слух этого разговора.

— А сколько по таксе с него полагается? — спросил он.

— Миллион, если в горнице не спал, — определил сподручный.

Крестьянин отвернулся и снял у себя с горла, из-под рубашки, кожаную мошонку.

— Вот на тебе, малый, и отпусти человека, — подал деньги бывший собеседник японца.

— Мое дело — служба, — извинился сподручный. — И душу вышибу, а даром со двора никого не пушу.

— Резон, — спокойно согласился с ним крестьянин. — Здесь не степь, а заведение: людям и скоту одинаковый покой.

За городом японец почувствовал себя свободней и умней. Снова пред ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил, ему нравился ровный, покаты́й против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода.

Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляры, таблицы, вопросы для составления планов и прочий государственный матерьял из губернии, японец всегда говорил одно — поли-тика! — и задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Вскоре секретарь перестал читать, управляясь со всем объемом дел без руководства японца.

Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом — чья она была: неизвестно. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка, привел на двор, запряг и поехал. Что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца: о ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в Чевенгурском уезде имел сытый отменный вид и круглые обхваты тела.

Дорога заволокла японца надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть, хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем — все ясно, оставалось действовать: как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей, но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадей. Уморившись бежать, японец прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Японец оглянулся на телегу — ему она показалась плохой и неправильно устроенной: слишком тяжела на ходу.

— Тпру, — сказал он коню, и враз отпряг телегу. — Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить: скажи пожалуйста! — и, оставив сбрую, японец поехал верхом на освобожденном коне; телега опустила оглобли и легла ждать произвола первого проезжего крестьянина.

«Во мне и в лошади сейчас кровь течет! — бесцельно думал японец на скаку, лишенный собственных усилий. — Придется копенкинского рысака в поводу держать — на пристяжку некуда».

Под вечер японец достиг какой-то маленькой степной деревушки — настолько безлюдной, словно здесь люди давно сложили свои кости. Вечернее небо виднелось продолжением степи — и конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт, как на страшную участь своих усталых ног.

Японец постучал в чью-то мирную хату. С заднего хода вышел старик и выглянул из-за плетня.

— Отопри ворота, — сказал японец. — Хлеб и сено водятся у тебя?

Старик безбоязненно молчал, изучая всадника чуткими, привычными глазами. Японец сам перелез через плетень и открыл ворота. Оголодавший конь сейчас же начал объедать под сараем присмирившую на ночь травку. Старик, видимо, оплошал от самовольства гостя и сел на поваленный дубок, как чужой человек. В избе японца никто не встретил; там пахло чистотою сухой старости, которая уже не потеет и не пачкает вещей следами взволнованного тела. Японец нашел на полке кусок хлеба, испеченного из просяной шелухи и крошеной травы, оставил половину старику, а остальное с усилием съел.

В начале ночи старик пришел в избу. Японец собирал крошки нюхательного табака в кармане, чтобы понюхать и не скучать до сна.

— Там конь твой мечется, — сказал старик. — Так я дал ему малость отавы... С прошлого года осталась охапка — пускай поест..

Старик говорил недумаящим, рассеянным голосом, будто у него была своя тягость на душе. Японец насторожился.

— Далеко, отец, от вас до Калитвы?

— Далёко не далёко, — отвечал старик, — а тебе туда ехать ближе, чем тут оставаться...

Чевенгурец быстро оглядел хату и заметил рогач у загнетки — револьвера он с собой не взял, считая революцию уже тишиной.

— Кто ж у вас здесь? Нито бандиты?

— Два зайца от своей смерти волка сгрызут, милый человек! Народ дюже печальный пошел, а наша деревня при дороге — ее всякому грабить сподручно... Вот мужики и сидят с семействами по логам да по дальним закорякам, а кто проявится сюда, в том и жизнь запрещают...

Ночь низко опустила зазолоченное тучами безвыходное небо. Японец выехал из деревни в безопасную степную тьму, и конь пошел вдаль, сам себе нюхая дорогу. Из земли густыми облаками испарялась тучная теплота, и чевенгурец, надыхавшись, уснул, обняв за шею бредущую лошадь. Тот, к кому он ехал, сидел в эту ночь за столом Черновского сельсовета. На столе горела лампа, освещающая за окнами огромную тьму. Копенкин говорил с тремя мужиками о том, что социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли.

— То нам с малолетства известно, Степан Ефимыч, — соглашались крестьяне: они рады были побалакать, потому что им не хотелось спать. — Сам ты не здешний, а нужду нашу сразу заметил, и кто тебя надоумил? Только что нам будет за то, раз мы этот социализм даром для советской власти заготовим? Ведь туда трудов немало надобно положить — как ты скажешь?

Копенкин горевал, что нет с ним Дванова — тот бы им социализм мысленно доказал.

— Как что будет? — самостоятельно объяснял Копенкин. — У тебя же у первого навсегда в душе покойно станет. А сейчас у тебя там что?

— Там-то? — собеседник останавливался на своем слове и смотрел себе на грудь, стараясь разглядеть, что у него есть внутри. — Там у меня, Степан Ефимыч, одна печаль и черное место...

— Ну вот — сам видишь, — указывал Копенкин.

— Прошлый год я бабу от холеры схоронил, — кончал печальный гражданин, — а в нынешнюю весну корову продотряд съел... Две недели в моей хате солдаты жили — всю воду из колодца выпили. Мужики-то помнят...

— Еще бы! — подтверждали двое свидетелей.

Лошадь Копенкина — Пролетарская Сила — отъелась и вздулась телом за эти недели, что она стояла без походов. По ночам она рычала от стоячей силы и степной тоски. Мужики днем приходили на двор сельсовета и обхаживали Пролетарскую Силу по нескольку раз. Пролетарская Сила угрюмо смотрела на своих зрителей, поднимала голову и мрачно зевала. Крестьяне почтительно отступали перед горюющим зверем, а потом говорили Копенкину.

— Ну и конь у тебя, Степан Ефимыч! Цены ему нет — это Драбан Ивановыч!

Копенкин давно знал цену своему коню:

— Классовая скотина: по сознанию он революционной вас!

Иногда Пролетарская Сила принималась разрушать сарай, в котором она стояла без дела. Тогда — выходил на крыльцо Копенкин и кратко приказывал:

— Брось, бродяга!

Конь затихал.

Рысак Дванова от близости Пролетарской Силы весь запаршивел, оброс длинной шерстью и начал вздрагивать даже от внезапной ласточки.

— Этот конь свойских рук просит, — рассуждали посетители сельсовета. — Иначе он весь сам собой опорочится.

У Копенкина по должности предсельсовета прямых обязанностей не встретилось. Приходили в сельсовет ежедневно разговаривать мужики; Копенкин слушал эти разговоры, но почти не отвечал на них и лишь стоял на страже революционной деревни от набегов бандитов, но бандиты как будто умолкли. На сходе он раз навсегда объявил:

— Дала вам советская власть благо — пользуйтесь им без остатка врагам. Вы сами — люди и товарищи, я вам не умник, и в совет с дворовой злобой не появляйтесь. Мое дело краткое — пресекать в корне любые поползновения...

Крестьяне уважали Копенкина день ото дня больше, потому что он не поминал ни про разверстку, ни про трудгужповинность, а бумажки из волревкома складывал в пачку до приезда Дванова. Грамотные мужики почитывали эти бумажки и советовали Копенкину истребить их без исполнения:

— Теперь власть на любом месте может организоваться, и никто ей не упрек, — говорили они, — читал новый закон, Степан Ефимыч?

— Нет, а что? — отвечал Копенкин.

— Самим Лениным объявлен, как же! Власть теперь местная сила, а не верхняя!

— Тогда волость нам недействительна, — делал вывод Копенкин. — Эти бумажки по закону надо бросить.

— Вполне законно. — поддакивали присутствующие. — Давай-ка мы их по порциям разделим на раскурку.

Копенкину нравился новый закон, и он интересовался, можно ли советскую власть учредить в открытом месте — без построек.

— Можно, — отвечали думающие собеседники. — Лишь бы бедность поблизости была, а где-нибудь подальше — белая гвардия...

Копенкин успокаивался. В нынешнюю ночь разговоры кончились в полночь: в лампе догорел керосин.

— Мало из волости керосину дают, — сожалели уходящие, ненаговорившиеся мужики. — Плохо служит нам государство. Чернил, вон, цельный пузырь прислали, а они и не понадобились. Лучше б керосин слали либо — постное масло.

Копенкин вышел на двор поглядеть на ночь — он любил эту стихию и всегда наблюдал ее перед сном. Пролетарская Сила, почуяв друга, тихо засопела. Копенкин услышал лошадь, — и маленькая женщина снова представилась ему, как безвозвратное сожаление.

Где-то одиноко лежала она сейчас — под темным волнением весенней ночи, а в чулане валялись ее пустые башмаки, в которых она ходила, когда была теплой и живой.

— Роза! — сказал Копенкин своим вторым маленьким голосом.

Конь заржал в сарае, словно увидел путь, и хрястнул ногой по перекладине запора: он собирался вырваться на весеннее бездорожье и броситься наискосок к германскому кладбищу — лучшей земле Копенкина; та спертая тревога, которая томилась в Копенкине под заботами предсельсоветской бдительности и товарищеской преданностью Дванову, сейчас тихо обнажилась наружу. Конь, зная, что Копенкин близок, начал бушевать в сарае, сваливая на стены и запоры тяжесть громадных чувств, будто именно он любил Розу Люксембург, а не Копенкин.

Копенкина взяла ревность.

— Брось ты, бродяга, — сказал он коню, ощущая в себе теплую волну позора. Конь проворчал и утих, переведя свои страсти во внутренний клекот груди.

По небу страшно неслись рваные черные облака — остатки далеко-го проливного дождя. Вверху был, наверное, мрачный ночной вихрь, а внизу было смиренно и бесшумно, даже слышалось, как ворочались куры у соседей и скрипели плетни от движения мелких безвредных гадов.

Копенкин уперся рукой в глинобитную стену, и в нем опустилось сердце, потеряв свою твердую волю.

— Роза! Роза моя, Роза! — прошептал он себе, чтобы не слышала лошадь. Но конь глядел одним глазом сквозь щель и дышал на доски так сухо и горячо, что дерево рассыхалось. Заметив наклоненного обессилевшего Копенкина, конь дакнул мордой и грудью в столбовой упор и завалил всю постройку на свой зад. От неожиданного нервного ужаса Пролетарская Сила заревела по-верблюжьки и, взметнув крупом все гнетущее устройство сарая, выбросилась к Копенкину, готовая мчаться, глотать воздух с пеною рта и чують невидимые дороги.

Копенкин сразу высох лицом, и в груди его прошел ветер. Не снарядив коня, он вскочил на него — и обрадовался. Пролетарская Сила с размаху понеслась наружу из деревни; не умея от тяжести тела прыгать, лошадь валила передними ногами гуменные плетни и огорожи, а затем переступала через них по своему направлению. Копенкин повеселел, словно ему до свидания с Розой Люксембург остались одни сутки езды.

— Славно ехать! — вслух сказал Копенкин, дыша сыростью поздней ночи и принюхиваясь к запахам прорастающих сквозь землю трав.

Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил уйти в открытое пространство. От скорости Копенкин чувствовал, как всплывает к горлу и уменьшается в весе его сердце. Еще бы немного быстрее, и Копенкин запел бы от своего облегченного счастья, но Пролетарская Сила слишком комплектна для долгой скачки и скоро пошла обычным емким шагом. Была ли дорога под конем или нет — не видно; лишь край земли засвежел светом, и Пролетарская Сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца. По сторонам, из дальних лощин, поднимался сырой холодный пар, и оттуда же восходил тихими столбами печной дым проголодавшихся деревень. Копенкину нравились и пар, и дым, и неизвестные выпавшие люди.

— Отрада жизни! — говорил он себе, а холод лез ему за шею раздражающими хлебными крошками. Посреди полосы света стоял далекий отчетливый человек и чесал рукой голову.

— Нашел место почесаться! — осудил человека Копенкин. — Должно быть, есть у него там занятие, что стоит на заре среди поля и не спит. Доеду, возьму — и документы спрошу, напугаю черта!

Но Копенкина ожидало разочарование — чesавшийся в свете зари человек не имел и признаков карманов или каких-либо прорех, где бы могли храниться необходимые ему документы. Копенкин добрался до него через полчаса, когда уже свет солнца шумел по всему небу. Человек сидел на просохшем бугорке и тщательно выбирал ногтями грязь из расщелин тела, словно на земле не было воды для купанья.

«Организуй вот такого дьявола!» — проговорил про себя Копенкин и не стал проверять документы, вспомнив, что и у него самого, кроме портрета Розы Люксембург, зашитого в шапке, тоже не было никакого бланка.

Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла и не шевелилась лошадь. Ноги ее были слишком короткими, чтобы Копенкин поверил, что лошадь была живой и настоящей, а к ее шее немощно прильнул какой-то маленький человек. С зудящим восторгом храбрости Копенкин крикнул: «Роза!» — и Пролетарская Сила мягко и быстро понесла свое полное тело по грязи. То место, где неподвижно стояла коротконогая лошадь, оказалось некогда полноводным, но теперь исчезнувшим прудом — и лошадь утонула ногами в илистом наносе. Человек на той лошади глубоко спал, беззаветно обхватив шею своего коня, как тело преданной и чуткой подруги. Лошадь, действительно, не спала и доверчиво глядела на Копенкина, не ожидая для себя худшего. Спящий человек дышал неровно и радостно посмеивался глубиной горла — он, вероятно, сейчас участвовал в своих счастливых снах. Копенкин рассмотрел всего человека в целом и не почувствовал в нем своего врага: его шинель была слишком длинной, а лицо, даже во сне, готовым на революционный подвиг и на нежность всемирного сожительства. Сама личность спящего не имела особой красоты, лишь сердцебиение в жилах на худой шее заставляло думать о нем как о добром, неимущем и жалостном человеке. Копенкин снял со спящего шапку и поглядел ей вовнутрь — там имелась засаленная потом старинная нашивка: «Г.-Г. Брейер, Лодзь».

Копенкин надел шапку обратно на спящую голову, которая сама не знала, изделие какого капиталиста она носит.

— Эй, — обратился Копенкин к спящему, который перестал улыбаться и сделался более серьезным. — Чего ж ты свою буржуазную шапку не сменишь?

Человек и сам постепенно просыпался, наспех завершая увлекательные сны, в которых ему снились овраги близ места его родины, и в тех оврагах ютились люди в счастливой тесноте — знакомые люди спящего, умершие в бедности труда.

— Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку вмах заготовят, — сказал проснувшийся. — Сними веревкой мерку с твоей головы.

— А ты кто? — с хладнокровным равнодушием спросил Копенкин, давно привыкший к массам людей.

— Да я отсюда теперь близко живу — чевенгурский японец, член партии. Заехал сюда к товарищу Копенкину — рысака отобрать, да вот и коня заморил, и сам на ходу заснул.

— Какой ты, черт, член партии! — понял Копенкин. — Тебе чужой рысак нужен, а не коммунизм.

— Неправда, неправда, товарищ, — обиделся японец. — Разве бы я посмел рысака вперед коммунизма брать? Коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало.

Копенкин посмотрел на восходящее солнце: такой громадный жаркий шар и так легко плывет на полдень, — значит, вообще все в жизни не так трудно и не так бедственно.

— Значит, ты уже управился с коммунизмом?

— Ого: скажи пожалуйста! — воскликнул с оскорблением японец.

— Значит, только шапок да рысаков у вас не хватает, а остальное — в избытке?

Японец не мог скрыть своей яростной любви к Чевенгuru: он снял с себя шапку и бросил ее в грязь, затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре части.

— Нет, товарищ, Чевенгур не собирает имущества, а уничтожает его. Там живет общий и отличный человек, и, заметь себе, без всякого комода в горнице — вполне обаятельно друг для друга. А с рысаком — это я так: побывал в городе и получил в горсовете предрассудок, а на постоялом дворе — чужую вошь, что же ты тут будешь делать-то: скажи, пожалуйста!

— Покажь мне тогда Чевенгур, — сказал Копенкин. — Есть там памятник товарищу Розе Люксембург? Небось не догадались, холуи?

— Ну, как же, понятно, есть: в одном сельском населенном пункте из самородного камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам... Их-то вне очереди выдумали: если еще кто помрет — тоже не упустим...

— А как ты думаешь, — спросил Копенкин, — был товарищ Либкнехт для Розы что мужик для женщины, или мне так только думается?

— Это тебе так только думается, — успокоил Копенкина японец. — Они же сознательные люди! Им некогда: когда думают — то не любят. Что это: я, что ль, или ты — скажи мне, пожалуйста!

Копенкину Роза Люксембург стала еще милее, и сердце в нем ударилось неутомимым влечением к социализму.

— Говори, что есть в твоём Чевенгуре — социализм на водоразделах или просто последовательные шаги к нему? — Копенкин спраши-

вал уже иным голосом, как спрашивает сын после пяти лет безмолвной разлуки у встречного брата: жива ли еще его мать? — и верит, что уже мертва старушка.

Японец, живя в социализме, давно отвык от бедственного беспокройства за беззащитных и любимых: он в Чевенгуре демобилизовал общество, одновременно с царской армией, потому что никто не хотел расходовать своего тела на общее невидимое благо, каждый хотел видеть свою жизнь возвращенной от близких товарищеских людей.

Японец спокойно понюхал табаку и только потом огорчился.

— Что ты меня водоразделом упрекаешь? А лощины кому пошли — по-твоему, помещикам? У нас в Чевенгуре сплошь социализм: любая кочка — международное имущество! У нас высокое превосходство жизни!

— А скот чей? — спрашивал Копенкин, жалея всею накопленной силой тела, что не ему с Двановым досталось учредить светлый мир по краям дороги к Розе, а вот именно этому малорослому человеку.

— Скот мы тоже скоро распустим по природе, — ответил чевенгурец, — он тоже почти человек: просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей человеком тоже быть охота!

Копенкин погладил Пролетарскую Силу, чувствуя ее равенство себе. Он и раньше это знал, только в нем не было такой силы мысли, как у чевенгурца, поэтому у Копенкина многие чувства оставались невысказанными и превращались в томление.

Из-за перелома степи, на урезе неба и земли, показались телеги и поехали поперек взора Копенкина, увозя на себе маленьких деревенских людей мимо облаков. Телеги пылили: значит, там не было дождя.

— Тогда едем в твой край! — сказал Копенкин. — Поглядим на факты!

— Едем, — согласился японец. — Соскучился я по своей Клабздюше!

— Это кто такая — супруга, что ль, твоя?

— У нас супруг нету: одни сподвижницы остались.

Туманы, словно сны, погибали под острым зрением солнца. И там, где ночью было страшно, лежали освещенными и бедными простые пространства. Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с которой сползло одеяло. По степной реке, из которой пили воду блуждающие люди, в тихом бреду еще висела мгла, и рыбы, ожидая света, плавали с выпученными глазами по самому верху воды.

До Чевенгура отсюда оставалось еще верст пять, но уже открывались воздушные виды на чевенгурские непаханные уголья, на сырость

той уездной речки, на все печальные низкие места, где живут тамошние люди. По сырой ложине шел нищий Фирс; он слышал на последних ночлегах, что в степях обнажилось свободное место, где живут прохожие люди и всех харчуют своим продуктом.

Всю свою дорогу, всю жизнь Фирс шел по воде или по сырой земле. Ему нравилась текущая вода, она его возбуждала и чего-то от него требовала. Но Фирс не знал, чего надо воде и зачем она ему нужна, он только выбирал места, где воды было погуще с землей, и обмакал туда свои лапти, а на ночлеге долго выжимал портянки, чтобы попробовать воду пальцами и снова проследить ее слабеющее течение. Близ ручьев и перепадов он садился и слушал живые потоки, совершенно успокаиваясь и сам готовый лечь в воду и принять участие в полевом безымянном ручье. Сегодня он заночевал на берегу речного русла и слушал всю ночь поющую воду, а утром сполз вниз и приник своим телом к увлекающей влаге, достигнув своего покоя прежде Чевенгура.

Немного дальше Фирса, среди затихшей равнины, в утренней пронзительной чистоте был виден малый город. От едкой свежести воздуха и противостояния солнца у пожилого человека, смотревшего на тот город, слезились добрые глаза; добрыми были не только глаза, но и все мягкое, теплое, чистоплотное от рождения лицо. Он был уже в возрасте, имел почти белую бородку, в которой никогда не водилось гнид, живших у всех стариков, и шел средним шагом к полезной цели своей жизни. Кто ходил рядом с этим стариком, тот знал, насколько он был душист и умилен, насколько приятно было вести с ним честные спокойные собеседования. Жена его звала батюшкой, говорила шепотом, и начало благообразной кротости никогда не преходило между супругами. Может быть, поэтому у них не рожались дети и в горницах стояла вечная просушенная тишина. Только изредка слышался мирный голос супруги: Алексей Алексеевич, батюшка, иди дар божий кушать, не мучай меня.

Алексей Алексеевич кушал так аккуратно, что у него до пятидесяти лет не испортились зубы и изо рта пахло не гнилью, а одной теплотой дыхания. В молодости, когда его ровесники обнимали девушек и, действуя той же бессонной силой молодости, выкорчевывали по ночам пригородные рощи, Алексей Алексеевич додумался личным усердием, что пищу следует жевать как возможно дольше — и с тех пор жевал ее до полного растворения во рту, на что ушла одна четверть всей дневной жизни Алексея Алексеевича. До революции Алексей Алексеевич состоял членом правления кредитного товарищества и гласным городской думы в своем заштатном городе, находящемся ныне на границе Чевенгурского уезда.

Сейчас Алексей Алексеевич шел в Чевенгур и наблюдал уездный центр с окрестных высот. Он сам чувствовал тот постоянный запах

свежего ситного хлеба, который непрерывно исходил с поверхности его чистого тела, и прожевывал слюну от тихой радости пребывания в жизни.

Старый город, несмотря на ранний час, уже находился в беспокойстве. Там виднелись люди, бродившие вокруг города по полянам и курстарникам, иные вдвоем, иные одиноко, но все без узлов и имущества. Из десяти колоколен Чевенгура ни одна не звонила, лишь слышалось волнение населения под тихим солнцем пахотных равнин. Одновременно с тем в городе шевелились дома — их, наверное, волокли куда-то невидимые отсюда люди. Небольшой сад на глазах Алексея Алексеевича вдруг наклонился и стройно пошел вдаль — его тоже переселяли с корнем в лучшее место.

В ста саженьях от Чевенгура Алексей Алексеевич присел, чтобы почиститься перед вступлением в город. Он не понимал науки советской жизни, его влекла лишь одна отрасль — кооперация, о которой он прочитал в газете «Беднота». До сих пор он жил в молчании и, не прижимаясь ни к какому делу, терял душевный покой; поэтому часто бывало, что от внезапного раздражения Алексей Алексеевич тушил неугасимые лампадки в красном углу своего дома, отчего жена ложилась на перину и звучно плакала. Прочитав о кооперации, Алексей Алексеевич подошел к иконе Николая Мирликийского и зажег лампаду своими ласковыми пшеничными руками. Отныне он нашел свое святое дело и чистый путь дальнейшей жизни. Он почувствовал Ленина как своего умершего отца, который некогда, когда маленький Алексей Алексеевич пугался далекого пожара и не понимал страшного происшествия, говорил сыну: «А ты, Алеша, прижмись ко мне поближе!» Алеша прижимался к отцу, тоже пахнувшему ситным хлебом, успокаивался и начинал сонно улыбаться. «Ну вот, видишь, — говорил отец. — А ты чего-то боялся!» Алеша засыпал, не отпуская отца, а утром видел огонь в печке, разведенный матерью для пирогов с капустой.

Изучив статью о кооперации, Алексей Алексеевич прижался душой к советской власти и принял ее теплое народное добро. Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в божье государство житейского довольства и содружества. До этого Алексей Алексеевич лишь боялся социализма, а теперь, когда социализм назвался кооперацией, Алексей Алексеевич сердечно полюбил его. В детстве он долго не любил бога, страшась Саваофа, но когда мать ему сказала: а куда же я, сынок, после смерти денусь? — тогда Алеша полюбил и бога, чтобы он защищал после смерти его мать, потому что он признал бога заместителем отца.

В Чевенгур Алексей Алексеевич пришел искать кооперацию — спасение людей от бедности и от взаимной душевной лютости.

В Чевенгуре, как видно было с ближнего места, работала неизвестная сила человеческого разума, но Алексей Алексеевич заранее прощал разум, поскольку он двигался во имя кооперативного единения людей и деловой любви между ними. В первую очередь Алексей Алексеевич хотел достать кооперативный устав, а затем пойти в уисполком и братски побеседовать с председателем, товарищем японцем, об организации кооперативной сети.

Но предварительно Алексей Алексеевич задумался над Чевенгуром, подверженным убыточным расходам революции. Летняя пыль поднималась с трудолюбивой земли в высоту зноя. А небо над садами, над уездными малыми храмами и недвижимым городским имуществом покоилось трогательным воспоминанием Алексея Алексеевича, но каким — не всем дано постигнуть. И Алексей Алексеевич стоял сейчас в полном сознании самого себя, чувствуя теплоту неба, словно детство и кожу матери, и так же, как было давно, что ушло в погребенную вечную память, — из солнечной середины неба сочилось питание всем людям, как кровь из материнской пуповины.

Это солнце веками освещало бы благосостояние Чевенгура — его яблочные сады, железные крыши, под которыми жители выкармливали своих детей, и горячие вычищенные купола церквей, робко зовущие человека из тени деревьев в пустоту круглой вечности.

Деревья росли почти по всем улицам Чевенгура и отдавали свои ветки на посохи странникам, бредущим сквозь Чевенгур без ночевки. По чевенгурским дворам процветало множество трав, а трава давала приют, пищу и смысл жизни целым пучинам насекомых в низинах атмосферы, так что Чевенгур был населен людьми лишь частично — гораздо гуще в нем жили маленькие взволнованные существа, но с этим старые чевенгурцы не считались в своем уме.

Считались они с более крупными происшествиями, например — с летней жарой, бурями и вторым пришествием бога. Если летом было жарко, чевенгурцы предупреждали по соседству, что теперь и зима не настанет и скоро дома начнут загораться сами по себе; подростки же, по указанию отцов, носили из колодцев воду и обливали ею снаружи дома, чтобы отсрочить пожары. Ночью, после жары, часто начинался дождь. «То духота, то дождь, — удивлялись чевенгурцы, — сроду этого не было!» Если в зимнее время поднималась метель, чевенгурцы уже вперед знали, что завтра им придется лазать через трубу — снег завалит дома неминуемо, хотя у каждого наготове стояла в комнате лопата. «Разве тут откопаешься лопатой! — сомневался где-нибудь в горнице старик. — Ишь буран воеет какой — над нашими местами такого и быть не должно. Дядя Никанор постарше меня — восемьдесят лет, как курить начал, — а такой чумовой зимы не помнит! Теперь уж жди чего-нибудь!»

В осенние ночные бури чевенгурцы ложились спать на полу, чтобы покоиться более устойчиво и быть ближе к земле и могиле. Втайне каждый чевенгурец верил, что начавшаяся буря или жара могут превратиться во второе пришествие бога, но никому не хотелось преждевременно оставлять свой дом и умирать раньше дожития своих лет, — поэтому чевенгурцы отдыхали и пили чай после жары, бури и мороза.

— Кончилось, слава тебе господи! — счастливой рукой крестились чевенгурцы в конце затихшего происшествия. — Мы ждали Иисуса Христа, а он мимо прошел: на все его святая воля!

Если старики в Чевенгуре жили без памяти, то прочие и вовсе не понимали, как же им жить, когда ежеминутно может наступить второе пришествие и люди будут разбиты на два разряда и обращены в голые, неимущие души.

Алексей Алексеевич некогда проживал в Чевенгуре и отлично знал его необеспеченную душевную участь. Японец, когда он пришел пешком с вокзала — за семьдесят верст — властвовать над городом и уездом, думал, что Чевенгур существует на средства бандитизма, потому что никто ничего явно не делал, но всякий ел хлеб и пил чай. Поэтому японец издал анкету для обязательного заполнения — с одним вопросом: «Ради чего и за счет какого производства вещества вы живете в государстве трудящихся?»

Почти все население Чевенгура ответило одинаково: первым придумал ответ церковный певчий Лобочихин, а у него списали соседи и устно передали дальним.

«Живем ради бога, а не самих себя», — написали чевенгурцы.

Японец не мог наглядно уяснить себе божьей жизни и сразу учредил комиссию из сорока человек для подворного суточного обследования города. Были анкеты и более ясного смысла, в них занятиями назывались: ключевая служба в тюрьме, ожидание истины жизни, нетерпение к богу, смертельное старчество, чтение вслух странникам и сочувствие советской власти. Чепурный изучил анкеты и начал мучиться от сложности гражданских занятий, но вовремя вспомнил лозунг Ленина: «Дьявольски трудное дело управлять государством», — и вполне успокоился. Рано утром к японцу пришли сорок человек, попили в сенцах воды от дальней ходьбы и объявили: товарищ Чепурный, они врут — они ничем не занимаются, а лежат лежа и спят.

Японец понял:

— Чудаки — ночь же была! А вы мне что-нибудь про ихнюю идеологию расскажите, пожалуйста!

— Ее у них нету, — сказал председатель комиссии. — Они сплошь ждут конца света...

— А ты им не говорил, что конец света сейчас был бы контрреволюционным шагом? — спросил японец, привыкший всякое мероприятие предварительно сличать с революцией.

Председатель испугался:

— Нет, товарищ Чепурный! Я думал, что второе пришествие им полезно, а нам тоже будет хорошо...

— Это как же? — строго испытывал японец.

— Определенно, полезно. Для нас оно недействительно, а мелкая буржуазия после второго пришествия подлежит изъятию...

— Верно, сукин сын! — охваченный пониманием, воскликнул японец. — Как я сам не догадался: я же умней тебя!

Один из сорока человек здесь скромно выдвинулся и попросил:

— Товарищ Чепурный, разрешите?

— А ты кто такой? — Чепурный не видел в Чевенгуре этого лица, помня внешность всех остальных людей наизусть.

— Я, товарищ Чепурный, председатель ликвидационного комитета по делам земства Чевенгурского уезда в старых границах, моя фамилия — Полюбезьев. В комиссию я выдвинут своим комитетом — со мной есть копия протокола распорядительного заседания комитета.

Алексей Алексеевич Полюбезьев поклонился и протянул японцу руку.

— Есть такой комитет? — удивленно спросил Чепурный, не чувствуя руки Алексея Алексеевича.

— Есть! — сказал кто-то из массы комиссии.

— Упразднить сегодня же явочным порядком! Поглядеть, нет ли еще чего из остатков империи — и тоже сегодня уничтожить! — распорядился Чепурный и обратился к Полюбезьеву: — Говори, гражданин, пожалуйста!

Алексей Алексеевич объяснил с большой точностью и тщательностью городское производство вещества, чем еще больше затемнил ясную голову японца, обладавшего громадной, хотя и неупорядоченной памятью; он вбирал в себя жизнь кусками, — в голове его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея для Чепурного ни связи, ни живого смысла. Он помнил плетни в Тамбовской губернии, фамилии и лица нищих, дзот артиллерийского огня на фронте, знал буквально учение Ленина, но все эти ясные воспоминания плавали в уме японца стихийно и никакого полезного понятия не составляли. Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь и по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут. И поэтому они меняли рабочую плоть на пищу, отчего в течение долголетия произошел Чевенгур,

показала: думка: муть; до того раба моя
показала: раба моя по показу: раба
показала: раба моя по показу: раба
а потом ~~взяла~~ ^{ушла} ~~на~~ ^{ушла}
старилась ~~на~~ ^{березе} ~~на~~ ^{ушла} ~~на~~ ^{ушла} ~~на~~ ^{ушла}
дура.

Туда она явилась на третий день
после ухода с Василием, потому что ~~она~~
~~в~~ ~~одной~~ ~~стороне~~ ~~мужин~~, а ~~восставши~~ ~~забав~~
дорогу и блуждала по велике, пока ее не
привлек к себе человек Карпуз, идущий
с ~~одним~~ ^{познанием} ~~барыни~~ ~~также~~ ~~в~~ ~~Пелевну~~. ~~Спрашив~~
~~был~~ ~~Захар~~ ~~Павлов~~, он не ~~задолго~~ ~~и~~ ~~собо~~
~~возвращает~~ ~~Варова~~ ~~и~~ ~~сам~~ ~~привал~~, ~~чтобы~~
уведомить его ~~дальше~~ ~~отсюда~~ ~~дальше~~.

~~В~~ ~~Пелевну~~ ~~Карпуз~~ ~~и~~ ~~Захар~~ ~~Павлов~~
~~никого~~ ~~из~~ ~~людей~~ ~~не~~ ~~нашли~~, ~~в~~ ~~городе~~ ~~был~~
~~много~~ ~~и~~ ~~судно~~; ~~только~~ ~~в~~ ~~одном~~ ~~месте~~, ~~близ~~
~~известного~~ ~~дома~~, ~~сидели~~ ~~Трошка~~ ~~и~~ ~~пьяны~~,
~~среди~~ ~~всех~~ ~~дворовых~~ ~~ему~~ ~~интересна~~.

— Но ~~перо~~ ~~не~~ ~~было~~ ~~Трошке~~, ~~мысль~~, ~~а~~ ~~ничего~~
~~не~~ ~~жаловался~~ — ~~о~~ ~~доме~~ ~~Захара~~ ~~Павлова~~ — ~~ка~~
~~таким~~ ~~я~~ ~~тебе~~ ~~тебя~~ ~~приведу~~ ~~дом~~ — ~~приведу~~
~~мне~~ ~~Витку~~ ~~Сашу~~.

— ~~Варом~~ ~~приведу~~, — ~~обещал~~ ~~Трошка~~ ~~после~~
~~ушел~~ ~~Трошка~~, ~~и~~ ~~пошел~~ ~~искать~~ ~~Варова~~.

Конец.

а в нем незрело население. С тех пор прохожие рабочие ушли, а город остался, надеясь на бога.

— А ты тоже рабочее тело на пустяк пищи менял? — спросил японец.

— Нет, — сказал Алексей Алексеевич, — я человек служащий, мое дело — мысль на бумаге.

— Во мне сейчас стонуло одно талантливое чувство, — произнес далее Чепурный. — Нет вот у меня секретаря, что мог бы меня сразу записывать!.. В первую очередь необходимо ликвидировать плоть нетрудовых элементов!..

С тех пор Алексей Алексеевич не видел японца, и что случилось в Чевенгуре — не знал. Земский комитет был, конечно, срочно и навсегда упразднен, а члены его разошлись по своим родственникам. Нынче Полюбезьев хотел свидания с Чепурным на другую тему, — теперь он в социализме, благодаря объявленной Лениным кооперации, почувствовал живую святость и желал советской власти добра. Ни одного знакомого человека Алексею Алексеевичу не встретилось — ходили какие-то худые люди и думали о чем-то будущем. На самой околице Чевенгура человек двадцать тихо передвигали деревянный дом, а два всадника с радостью наблюдали работу.

Одного всадника Полюбезьев узнал:

— Товарищ Чепурный! Разрешите вызвать вас на краткое собеседование.

— Полюбезьев! — узнал Алексея Алексеевича японец, помнивший все конкретное. — Говори, пожалуйста, что тебе причитается.

— Мне о кооперации хочется вкратце сказать... Читали, товарищ Чепурный, про нравственный путь к социализму в газете обездоленных под тем же названием, а именно «Беднота»?

Чепурный ничего не читал.

— Какая кооперация? Какой тебе путь, когда мы дошли? Что ты, дорогой гражданин! Это вы тут жили ради бога на рабочей дороге. Теперь, братец ты мой, путей нету — люди доехали.

— Куда? — покорно спросил Алексей Алексеевич, утрачивая кооперативную надежду в сердце.

— Как куда? — в коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?

— Нет, товарищ Чепурный.

— А вот надо читать, дорогой товарищ: история уж кончилась, а ты и не заметил.

Алексей Алексеевич смолк без вопроса и пошел вдале, где росли старые травы, жили прежние люди и ждала мужа жена-старушка. Там, может быть, грустно и трудно живется, но там Алексей Алексеевич родился, рос и плакал иногда в молодых летах. Он вспомнил свою домаш-

ную мебель, свой ветхий двор, супругу и был рад, что они тоже не знали Карла Маркса и поэтому не расстанутся со своим мужем и хозяином.

Копенкин не успел прочитать Карла Маркса и смутился перед образованностью японца.

— А что? — спросил Копенкин. — У вас здесь обязательно читают Карла Маркса?

Японец прекратил беспокойство Копенкина:

— Да это я человека попугал. Я и сам его сроду не читал. Так, слышал кое-что на митингах — вот и агитирую. Да и не нужно читать: это, знаешь, раньше люди читали да писали, а жить — ни черта не жили, все для других людей путей искали: вот, брат, жулики были!

— Почему это нынче в городе дома передвигают и сады на руках носят? — разглядывал Копенкин.

— А сегодня субботник, — объяснил японец. — Люди в Чевенгур прибыли пешим ходом и усердствуют, чтоб жить в товарищеской тесноте.

У японца не было определенного местожительства, как и у всех чевенгурцев. Благодаря таким условиям, Чепурный и Копенкин остановились в одном кирпичном доме, который участники субботника не могли стронуть с места. В кухне спали на сумках два человека, похожие на странников, а третий искусственно жарил картошку, употребляя вместо постного масла воду из холодного чайника.

— Товарищ Пиюся! — обратился к этому человеку Чепурный.

— Тебе чего?

— Ты не знаешь, где теперь товарищ Прокофий находится?

Пиюся не спешил отвечать на такой мелкий вопрос и боролся с горевшей картошкой.

— С бабой твоей где-нибудь находится, — сказал он.

— Ты оставайся здесь, — сказал Копенкину японец, — а я пойду Клабздюшу поищу: дюже женщина милая!

Копенкин разнузданно от одежды, постелил ее на пол и лег полуголым, а неотлучное оружие сложил горкой рядом с собой. Хотя в Чевенгуре было тепло и пахло товарищеским духом, Копенкин, быть может, от утомления, чувствовал себя печальным и сердце его тянуло ехать куда-то дальше. Пока что он не заметил в Чевенгуре явного и очевидного социализма — той трогательной, но твердой и нравоучительной красоты среди природы, где бы могла родиться вторая, маленькая Роза Люксембург, либо научно воскреснуть первая, погибшая в германской буржуазной земле. Копенкин уже спрашивал Чепурного — что же делать в Чевенгуре? И тот ответил: ничего, у нас нет нужды и занятий — будешь себе внутренне жить! У нас в Чевенгуре хорошо — мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда!

Копенкин видел, что он глупей японца, и безответно молчал. Еще раньше того, в дороге — он робко поинтересовался: чем бы занималась у них Роза Люксембург? Японец на это особого ничего не сообщил, сказал только: вот приедем в Чевенгур, спроси у нашего Прокофия — он все может ясно выражать, а я только даю ему руководящее революционное предчувствие! Ты думаешь: я своими словами с тобой разговаривал? Нет, меня Прокофий научил!

Пиюся изжарил наконец картошку на воде и стал будить двоих спящих странников. Копенкин тоже поднялся поесть немного, чтобы при полном желудке, после еды, скорей уснуть и перестать печалиться.

— Правда, что хорошо в Чевенгуре люди живут? — спросил он у Пиюся.

— Не жалуются! — не спеша ответил тот.

— А где ж тут есть социализм?

— Тебе на новый глаз видней, — неохотно объяснял Пиюся. — Японец говорит, что мы от привычки ни свободы, ни блага не видим — мы-то ведь здешние, два года тут живем.

— А раньше кто тут жил?

— Раньше буржуи жили. Для них мы с японцем второе пришествие организовали.

— Да ведь теперь — наука, разве это мыслимо?

— А то нет?

— Да как же так? Говори круглей!

— А что я тебе — сочинитель, что ль? Был просто внезапный случай, по распоряженью обычайки.

— Чрезвычайки?

— Ну да.

— Ага, — смутно понял Копенкин. — Это вполне правильно.

Пролетарская Сила, привязанная на дворе к плетневой огороже, тихо ворчала на обступивших ее людей; многие хотели оседлать незнакомую мощную лошадь и окружить на ней Чевенгур по межевой дороге. Но Пролетарская Сила угрюмо отстраняла желающих — зубами, мордой и ногами.

— Ведь ты ж теперь народная скотина! — с миром уговаривал ее худой чевенгурец. — Чего ж ты бушуешь?

Копенкин услышал грустный голос своего коня и вышел к нему.

— Отстранитесь, — сказал он всем свободным людям. — Не видите, лупачи, конь свое сердце имеет!

— Видим, — убежденно ответил один чевенгурец. — Мы живем по-товарищески, а твой конь — буржуй.

Копенкин, забыв уважение к присутствующим угнетенным, защитил пролетарскую честь коня.

— Врешь, бродяга, на моей лошади революция пять лет ездила, а ты сам на революции верхом сидишь!

Копенкин дальше уже не мог выговорить своей досады — он невнятно чувствовал, что эти люди гораздо умнее его, но как-то одиноко становилось Копенкину от такого чужого ума. Он вспомнил Дванова, исполняющего жизнь вперед разума и пользы, — и заскучал о нем.

Синий воздух над Чевенгуром стоял высокой тоскою, и дорога до друга лежала свыше сил коня.

Охваченный грустью, подозрением и тревожным гневом, Копенкин решил сейчас же, на сыром месте, проверить революцию в Чевенгуре. «Не тут ли находится резерв бандитизма? — ревниво ощущал Копенкин. — Я им сейчас коммунизм втугачку покажу, окопавшимся гадам!»

Копенкин попил воды в кухне и целиком снарядился. «Ишь сволочи, даже конь против них волнуется! — с негодованием соображал Копенкин. — Они думают, коммунизм это ум и польза, а тела в нем нету, — просто себе пустяк и завоевание!»

Лошадь Копенкина всегда была готова для боевой срочной работы и с гулкой страстью скопленных сил приняла Копенкина на свою просторную товарищескую спину.

— Скачи впереди, показывай мне совет! — погрозился Копенкин неизвестному уличному прохожему. Тот попробовал объяснить свое положение, но Копенкин вынул саблю — и человек побежал вровень с Пролетарской Силой. Иногда проводник оборачивался и кричал попреки, что в Чевенгуре человек не трудится и не бегаёт, а все налоги и повинности несет солнце.

«Может, здесь живут одни отпускники из команды выздоравливающих? — молча сомневался Копенкин. — Либо в царскую войну здесь были лазареты!..»

— Неужели солнце должно наперед коня бежать, а ты лежать пойдешь? — спросил Копенкин у бегущего.

Чевенгурец ухватился за стремя, чтобы успокоить свое частое дыхание и ответить.

— У нас, товарищ, тут покой человеку: спешили одни буржуи, им жрать и угнетать надо было. А мы кушаем да дружим... Вот тебе совет.

Копенкин медленно прочитал громадную малиновую вывеску над воротами кладбища.

«Совет социального человечества Чевенбургского освобожденного района».

Сам же совет помещался в церкви. Копенкин проехал по кладбищенской дорожке к паперти храма.

«Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз упокою вы» — написано было дугой над входом в церковь. И слова те тронули Копенкина, хотя он помнил, чей это лозунг.

«Где же мой покой? — подумал он и увидел в своем сердце усталость. — Да нет, никогда ты людей не успокоишь: ты же не класс, а личность. Нынче б ты эсером был, а я б тебя расходовал».

Пролетарская Сила, не сгибаясь, прошла в помещение прохладного храма, и всадник въехал в церковь с удивлением возвращенного детства, словно он очутился на родине в бабушкином чулане. Копенкин и раньше встречал детские забытые места в тех уездах, где он жил, странствовал и воевал. Когда-то он молился в такой же церкви в своем селе, но из церкви он приходил домой — в близость и тесноту матери; и не церкви, не голоса птиц, теперь умерших ровесниц его детства, не страшные старики, бредущие летом в тайный Киев, — может быть, не это было детством, а то волнение ребенка, когда у него есть живая мать и летний воздух пахнет ее подолом; в то восходящее время действительно все старики — загадочные люди, потому что у них умерли матери, а они живут и не плачут.

В тот день, когда Копенкин въехал в церковь, революция была еще беднее веры и не могла покрыть икон красной мануфактурой: бог Саваоф, нарисованный под куполом, глядел на амвон, где происходили заседания ревкома. Сейчас на амвоне, за столом бодрого красного цвета, сидели трое: председатель Чевенгурского уика — Чепурный, молодой человек и одна женщина — с веселым внимательным лицом, словно она была коммунисткой будущего. Молодой человек доказывал Чепурному, имея на столе для справок задачник Евтушевского, что силы солнца определенно хватит на всех и Солнце в двенадцать раз больше Земли.

— Ты, Прокофий, не думай — думать буду я, а ты формулируй! — указывал Чепурный.

— Ты почувствуй сам, товарищ Чепурный: зачем шевелиться человеку, когда это не по науке? — без остановки объяснял молодой человек. — Если всех людей собрать для общего удара — и то они против силы солнца как единоличник против коммуны-артели! Бесплезное дело — тебе говорю!

Чепурный для сосредоточенности прикрыл глаза.

— Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь! Ты поласкай в алтаре Клавдюшу, а я дай предчувствием займусь — так ли оно, или иначе!

Копенкин осадил увесистый шаг своего коня и заявил о своем намерении — с нетерпением и немедленно прощупать весь Чевенгур — нет ли в нем скрытого контрреволюционного очага.

— Очень вы тут мудры, — закончил Копенкин. — А в уме постоянно находится хитрость для угнетения тихого человека.

Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника: черные непрозрачные глаза, на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и постыдный нос, — у честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и более родственные.

— А ты, малый, жулик! — открыл правду Копенкин. — Покажь документ!

— Пожалуйста, товарищ! — вполне доброжелательно согласился молодой человек.

Копенкин взял книжечки и бумажки. В них значилось: Прокофий Дванов, член партии с августа семнадцатого года.

— Сашу знаешь? — спросил Копенкин, временно прощая ему за фамилию друга угнетающее лицо.

— Знал, когда мал был, — ответил молодой человек, улыбаясь от лишнего ума.

— Пускай тогда японец даст мне чистый бланок — надобно сюда Сашу позвать. Тут нужно ум умом засекать, чтоб искры коммунизма посыпались...

— А у нас почта отменена, товарищ, — объяснил японец. — Люди в куче живут и лично видятся — зачем им почта, скажи пожалуйста! Здесь, брат, пролетарии уже вплотную соединены!

Копенкин не очень сожалел о почте, потому что получил в жизни два письма, а писал только однажды, когда узнал на империалистическом фронте, что жена его мертва и нужно было издали поплакать о ней с родными.

— А шагом никто в губернию не пойдет? — спросил Копенкин у японца.

— Есть таковой ходок, — вспомнил японец.

— Кто это, Чепурный? — оживела милая обоим чевенгурцам женщина — взаправду милая: Копенкин даже ощутил, что, если б он парнем был, он такую обнял и держал бы долгое время неподвижно. Из этой женщины исходил медленный и прохладный душевный покой.

— А Мишка Луй! — напомнил японец. — Он едкий на дорогу! Только пошлешь в губернию, а он в Москве очутится — либо в Харькове, и приходит тоже, когда время года кончится — либо цветы взойдут, либо снег ляжет...

— У меня он пойдет короче — я ему задание дам, — сказал Копенкин.

— Пускай идет, — разрешил японец. — Для него дорога не труд — одно развитие жизни!

— Чепурный, — обратилась женщина. — Дай Лую муки на мену, он мне полушалонок принесет.

— Дадим, Клавдия Парфеновна, непременно дадим, используем момент, — успокоил ее Прокофий.

Копенкин писал Дванову печатными буквами: «Дорогой товарищ и друг Саша! Здесь коммунизм, и обратно, — нужно, чтоб ты скорей прибыл на место. Работает тут одно летнее солнце, а люди лишь только нелюбовно дружат; однако бабы полушалки вымогают, хотя они приятные, чем ясно вредят. Твой брат или семейная родня мне близко не симпатичен. Впрочем, живу как дубьект, думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают. Событий нету — говорят, это наука и история, но неизвестно. С революц. почтением Копенкин. Приезжай ради общей идейности».

— Чего-то мне все думается, чудится да представляется, — трудно моему сердцу! — мучительно высказывался японец в темный воздух храма. — Не то у нас коммунизм исправен, не то нет! Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтоб он мне лично всю правду сформулировал!

— Надо бы, товарищ Чепурный! — подтвердил Прокофий. — Товарищ Ленин тебе лозунг даст, ты его возьмешь и привезешь. А так неммыслимо — думать в одну мою голову: авангард тоже устает! И, кроме того, преимуществ мне не полагается!

— А моего сердца ты не считаешь, скажи по правде? — обиделся японец.

Прокофий, видимо, ценил свою силу разума и не терял надежного спокойствия.

— Чувство же, товарищ Чепурный, это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего...

— Так я же мучаюсь, а ты соображаешь — что хуже?

— Товарищ Чепурный, я с тобой тоже в Москву поеду, — заявила женщина. — Я никогда центра не видала — там, люди говорят, удивительно что такое!

— Достукались! — вымолвил Копенкин. — Ты ее, Чепурный, прямо к Ленину веди: вот, мол, тебе, товарищ Ленин, доделанная до коммунизма баба! Сволочи вы!

— А что? — обострился японец. — По-твоему, у нас не так?

— Ну да, не так!

— А как же, товарищ Копенкин? У меня уж чувства утомились.

— А я знаю? Мое дело — устранять враждебные силы. Когда все устранию — тогда оно само получится, что надо.

Прокофий курил и ни разу не перебил Копенкина, думая о приспособлении к революции этой неорганизованной вооруженной силы.

— Клавдия Парфеновна, пойдемте пройтись и пошалить немного, — с четкой вежливостью предложил Прокофий женщине. — А то вы ослабнете!

Когда эта пара отошла к паперти, Копенкин указал на ушедших японцу.

— Буржуазия — имей в виду!

— Ну?

— Ей-богу!

— Куда ж теперь нам деваться-то? Либо их вычесть из Чевенгура?

— Да ты паники на шею не сажай! Спускай себе коммунизм из идеи в тело — вооруженной рукой! Дай вот Саша Дванов придет — он вам покажет!

— Должно быть, умный человек? — оробел японец.

— У него, товарищ, кровь в голове думает, а у твоего Прокофия — кость, — гордо и раздельно объяснил Копенкин. — Понятно тебе хоть раз?.. На бланок — отправляй в ход товарища Луя.

Японец при напряжении мысли ничего не мог выдумать — вспоминал одни забвенные бесполезные события, не дающие никакого чувства истины. То его разуму были видны костелы в лесу, пройденные маршем в царскую войну, то сидела девочка-сиротка на канаве и ела купыри; но когда эта девочка, бесполезно хранимая в душе японца, была встречена в жизни — теперь навеки неизвестно; и жива ли она в общем — тоже немислимо сказать; быть может, та девочка была Клавдюшей — тогда она действительно отлично хороша, и с ней грустно разлучаться.

— Чего глядишь, как болящий? — спросил Копенкин.

— Так, товарищ Копенкин, — с печальной усталостью произнес японец. — Во мне вся жизнь облаками несется!

— А надо, чтоб она тучей шла, — оттого тебе, я вижу, и неможется, — сочувственно упрекнул Копенкин. — Пойдем отсюда на свежее место: здесь сырым богом каким-то воняет.

— Пойдем. Бери своего коня, — облегченно сказал японец. — На открытом месте я буду сильнее.

Выйдя наружу, Копенкин показал японцу надпись на храме-ревкомме: «Приидите ко мне все труждающиеся».

— Перемажь по-советски!

— Некому фразу выдумать, товарищ Копенкин.

— А Прокофию дай!

— Не так он углублен — не осилит; подлежащее знает, а сказуемое позабыл. Я твоего Дванова секретарем возьму, а Прокофий пускай свободно шалит... А скажи, пожалуйста, чем тебе та фраза не мила — целиком против капитализма говорит...

Копенкин жутко нахмурился.

— По-твоему, бог тебе единолично все массы успокоит? Это буржуазный подход, товарищ Чепурный. Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется!

Чепурный глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею. Начинался тихий вечер, он походил на душевное сомнение японца, на предчувствие, которое не способно истощиться мыслью и успокоиться. Японец не знал, что существует всеобщая истина и смысл жизни — он видел слишком много разнообразных людей, чтобы они могли следовать одному закону. Некогда Прокофий предложил Чепурному ввести в Чевенгуре науку и просвещение, но японец отклонил такие попытки без всякой надежды. «Что ты, — сказал он Прокофию, — иль не знаешь — какая наука? Она же всей буржуазии даст обратный поворот: любой капиталист станет ученым и будет порошком организмы солить, а ты считайся с ним! И потом наука только развивается, а чем кончится — неизвестно».

Чепурный на фронтах сильно болел и на память изучил медицину, поэтому после выздоровления он сразу выдержал экзамен на ротного фельдшера, но к докторам относился как к умственным эксплуататорам.

— Как ты думаешь? — спросил он у Копенкина. — Твой Дванов науку у нас не введет?

— Он мне про то не сказывал: его дело один коммунизм.

— А то я боюсь, — сознался японец, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. — Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум такое же имущество, как и дом, а стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых...

— Так ты вооружи дураков, — нашел выход Копенкин. — Пускай тогда умный полезет к нему с порошком! Вот я — ты думаешь, что? — я тоже, брат, дурак, однако живу вполне свободно.

По улицам Чевенгура слабо проходили люди. Некоторые из них сегодня передвигали дома, другие перетаскивали на руках сады. И вот они шли отдыхать, разговаривать и доживать день в кругу товарищей. Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были не обязательными, — по наущению японца Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение — за счет нарочной людской работы — идет в костер классово войны, ибо создаются лишние вредные предметы. Однако каждую субботу люди в Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную систему жизни в Чевенгуре.

— Так это не труд — это субботники! — объяснил японец. — Прокофий тут правильно меня понял и дал великую фразу.

— Он что — твой отгадчик, что ль? — не доверяя Прокофию, поинтересовался Копенкин.

— Да нет, так он: своей узкой мыслью мои великие чувства ослабляет. Но парень словесный, без него я бы жил в немых мучениях... А в субботниках никакого производства имущества нету, — разве я допущу? — просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства. Какое же тебе тут угнетение, скажи пожалуйста!

— Нету, — искренне согласился Копенкин.

В сарае, выгашенном на середину улицы, Чепурный и Копенкин решили заночевать.

— Ты бы к своей Клавдюше шел, — посоветовал Копенкин. — Женщину огорчаешь!

— Ее Прокофий в неизвестное место увел: пусть порадуется — все мы одинаковые пролетарии. Мне Прокофий объяснил, что я не лучше его.

— Так ты же сам говорил, что у тебя великое чувство, а такой человек для женщины туже!

Японец озадачился: действительно, выходит так! Но у него болело сердце, и он сегодня мог думать.

— У меня, товарищ Копенкин, то великое чувство в груди болит, а не в молодых местах.

— Ага, — сказал Копенкин, — ну, тогда отдыхай со мной: я тоже на сердце плох!

Пролетарская Сила прожевала траву, которую ей накопил Копенкин на городской площади, и в полночь тоже прилегла на пол сарая. Лошадь спала, как некоторые дети — с полуоткрытыми глазами и с сонной кротостью глядела ими на Копенкина, который сейчас не имел сознания и лишь стонал от грустного, почерневшего чувства забвения.

Коммунизм Чевенгура был беззащитен в эти степные темные часы, потому что люди заращивали силою сна усталость от дневной внутренней жизни и на время прекратили свои убеждения.

Чевенгур просыпался поздно; его жители отдыхали от веков угнетения — и не могли отдохнуть. Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны и главной профессией сделала душу.

Чевенгурский пешеход Луй шел в губернию полным шагом, имея при себе письмо Дванова, а на втором месте — сухари и берестяной жбанчик воды, которая нагревалась на теле. Он тронулся, когда встали

только муравьи да куры, а солнце заголило небо еще не до самых последних мест. От ходьбы и увлекающей свежести воздуха, Луя оставили всякие сомнения мысли и вождения; его растрчивала дорога и освобождала от излишней вредной жизни. Еще в юности он своими силами додумался — отчего летит камень: потому что он от радости движения делается легче воздуха. Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли. Он сколько раз говорил японцу, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости.

— На кого похож человек — на коня или на дерево: объявите мне по совести? — спрашивал он в ревкоме, тоскуя от коротких уличных дорог.

— На высшее! — выдумал Прокофий. — На открытый океан, дорогой товарищ, и на гармонию схем!

Луй не видел, кроме рек и озер, другой воды, гармонии же знал только двухрядки.

— А, пожалуй, на коня человек больше схож, — заявил Чепурный, вспоминая знакомых лошадей.

— Понимаю, — продолжая чувства японца, сказал Прокофий. — У коня есть грудь с сердцем и благородное лицо с глазами, но у дерева того нет!

— Вот именно, Прош! — обрадовался Чепурный.

— Я ж и говорю! — подтвердил Прокофий.

— Совершенно верно! — заключительно одобрил японец.

Луй удовлетворился и предложил ревкому немедленно стронуть Чевенгур в даль. «Надо, чтобы человека ветром поливало, — убеждал Луй, — иначе он тебе опять угнетением слабосильного займется, либо само собою все усохнет, затоскует — знаешь как? А в дороге дружбы никому не миновать — и коммунизму делов хватит!»

Японец заставил Прокофия четко записать предложение Луя, а затем это предложение обсуждалось на заседании ревкома. Японец, чуя коренную правду Луя, однако, не давал Прокофию своих руководящих предчувствий, и заседание тяжело трудилось весь весенний день. Тогда Прокофий выдумал формальный отвод делу Луя: «Ввиду грядущей эпохи войн и революций, считать движение людей неотложным признаком коммунизма, а именно: броситься всем населением уезда на капитализм, когда у него всецело созреет кризис, и впредь не останавливать победного пути, закаляя людей в чувстве товарищества на дорогах всего земного шара; пока же коммунизм следует ограничивать завоеванной у буржуазии площадью, чтоб нам было чем управлять».

— Нет, товарищи, — не согласился рассудительный Луй. — На оседлости коммунизм никак не состоится: нет ему ни врага, ни радости!

Прокофий наблюдал внимательно слушающего японца, не разгадывая его колеблющихся чувств.

— Товарищ Чепурный, — попробовал решить Прокофий. — Ведь освобождение рабочих — дело самих рабочих! Пусть Луй уходит и постепенно освобождается! При чем тут мы?

— Правильно! — резко заключил японец. — Ходи, Луй: движение — дело массы, мы у нее под ногами не мешаемся!

— Ну, спасибо, — поклонился ревкому Луй и ушел искать необходимости куда-нибудь отправиться из Чевенгура.

Заметив однажды Копенкина на толстом коне, Луй сразу засовестился, потому что Копенкин куда-то едет, а он, Луй, живет на неподвижном месте; и Луй еще больше и подальше захотел уйти из города, а до отхода задумал сделать Копенкину что-нибудь сочувственное, но нечем было — в Чевенгуре нет вещей для подарков: можно только попоить лошадь Копенкина, Копенкин же строго не подпускал к ней посторонних и поил ее лично. И нынче Луй жалел, что много домов и веществ на свете, не хватает только тех самых, которые обозначают дружество людей.

После губернии Луй решил не возвращаться в Чевенгур и добраться до самого Петрограда, а там — поступить во флот и отправиться в плавание, всюду наблюдая землю, моря и людей как сплошное питание своей братской души. На водоразделе, откуда были видны чевенгурские долины, Луй оглянулся на город и на утренний свет:

— Прощай, коммунизм и товарищи! Жив буду — всякого из вас припомню!

Копенкин разминал Пролетарскую Силу за чертою города и заметил Луя на высоком месте.

«Должно быть, бродяга, на Харьков поворачивает, — про себя решил Копенкин. — Упущу я с ними золотые дни революции!» — и пустил коня степным маршем в город, чтобы окончательно, и сегодня же, проверить весь коммунизм и принять свои меры.

От передвижки домов — улицы в Чевенгуре исчезли, — все постройки стояли не на месте, а на ходу; Пролетарская Сила, привыкшая к прямым плавным дорогам, волновалась и потела от частых поворотов.

Около одного перекошенного заблудившегося амбара лежали под одним тулупом юноша и девушка — судя по туловищу, Клавдюша. Копенкин осторожно обвел коня вокруг спящих: он стеснялся молодости и уважал ее, как царство великого будущего. За ту же молодость, украшенную равнодушием к девушкам, он некогда с уважением полюбил Александра Дванова, своего спутника по ходу революции.

Где-то, в гуще домов, протяжно засвистел человек. Копенкин чутко настроился. Свист прекратился.

— Копенкин! Товарищ Копенкин, идем купаться! — невдалеке кричал Чепурный.

— Свисти — я на твой звук поеду! — низко и оглушительно ответил Копенкин.

Японец начал бурно свистеть, а Копенкин продолжал красться к нему на коне в ущельях смешанного города. Чепурный стоял на крыльце сарая в шинели, надетой на голое тело, и босой. Два его пальца были во рту — для силы свиста, а глаза глядели в солнечную вышину, где разыгрывалась солнечная жара.

Заперев Пролетарскую Силу в сарай, Копенкин пошел за босым японцем, который сегодня был счастлив, как окончательно побратавшийся со всеми людьми человек. По дороге до реки встретилось множество пробудившихся чевенгурцев — людей обычных, как и всюду, только бедных по виду и нездешних по лицу.

— День летом велик: чем они будут заниматься? — спросил Копенкин.

— Ты про ихнее усердие спрашиваешь? — неточно понял Чепурный.

— Хотя бы так.

— А душа-то человека — она и есть основная профессия. А продукт ее — дружба и товарищество! Чем тебе не занятие, скажи пожалуйста!

Копенкин немного задумался о прежней угнетенной жизни.

— Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, — печально сказал он. — Как бы не пришлось горя организовать: коммунизм должен быть едок, малость отравы — это для вкуса хорошо.

Японец почувствовал во рту свежую соль — и сразу понял Копенкина.

— Пожалуй, верно. Надо нам теперь нарочно горе организовать. Давай с завтрашнего дня займемся, товарищ Копенкин!

— Я не буду: мое дело — другое. Пускай Дванов вперед приедет — он тебе все поймет.

— А мы это Прокофию поручим!

— Брось ты своего Прокофия! Парень размножаться с твоей Клавдией хочет, а ты его вовлекаешь!

— И то, пожалуй, так — обождем твоего сподвижника!

О берег реки Чевенгурки волновалась неутомимая вода; с воды шел воздух, пахнувший возбуждением и свободой. Два товарища начали обнажаться навстречу воде. Чепурный скинул шинель и сразу очутился голым и жалким, но зато от его тела пошел теплый запах какого-то давно заросшего, спекшегося материнства, еле памятного Копенкину.

Солнце с индивидуальной внимательностью осветило худую спину японца, залезая во все потные щели и ущербы кожи, чтобы умерт-

вить там своим жаром невидимых тварей, от каких постоянно зудит тело. Копенкин с почтением посмотрел на солнце: несколько лет назад оно согревало Розу Люксембург и теперь помогает жить траве на ее могиле.

Копенкин давно не находился в реке и долго дрожал от холода, пока не притерпелся. Японец же смело плавал, открывал глаза в воде и доставал со дна различные кости, крупные камни и лошадиные головы. С середины реки, куда не доплыть неумелому Копенкину, японец кричал песни и все более делался разговорчивым. Копенкин окунался на неглубоком месте, щупал воду и думал: тоже течет себе куда-то — где ей хорошо!

Возвратился японец совсем веселым и счастливым.

— Знаешь, Копенкин, когда я в воде — мне кажется, что я до точности правду знаю... А как заберусь в ревком: все мне чего-то чудится да представляется...

— А ты занимайся на берегу.

— Тогда губернские тезисы дождь намочит, дурной ты человек!

Копенкин не знал, что такое тезис, — помнил откуда-то это слово, но совершенно бесчувственно.

— Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалея, — успокоительно сказал Копенкин. — Все равно ведь хлеб вырастет.

Японец усиленно посчитал в уме и помог уму пальцами.

— Значит, ты три тезиса объявляешь?

— Ни одного не надо, — отвергнул Копенкин. — На бумаге надо одни песни на память писать.

— Как же так? Солнце тебе — раз тезис; вода — два, а почва — три.

— А ветер ты забыл?

— С ветром — четыре. Вот и все. Пожалуй, это правильно... Только знаешь, если мы в губернию на тезисы отвечать не будем, что у нас все хорошо, то оттуда у нас весь коммунизм ликвидируют.

— Нипочем, — отрек такое предположение Копенкин. — Там же такие, как и мы!

— Такие-то такие, только пишут непонятно и все, знаешь, просят побольше учитывать да потверже руководить... А чего в Чевенгуре учитывать и за какое место людьми руководить?

— Да а мы-то где ж будем?! — удивился Копенкин. — Разве ж мы позволим гаду пролезть! У нас сзади Ленин живет!

Японец рассеянно пробрался в камыш и нарвал бледных, ночного немощного света цветов. Это он сделал для Клавдюши, которой мало владел, но тем более питал к ней озабоченную нежность.

После цветов японец и Копенкин оделись и направились берегом реки — по влажному травяному покрову. Чевенгур отсюда казался те-

плым краем — видны были освещенные солнцем босые люди, наслаждающиеся воздухом и свободой с непокрытыми головами.

— Нынче хорошо, — отвлеченно проговорил японец. — Вся теплота человека наружи! — и показал рукой на город и на всех людей в нем. Потом Чепурный вложил два пальца в рот, свистнул и в бреду горячей внутренней жизни снова полез в воду, не снимая шинели; его томила какая-то черная радость избыточного тела — и японец бросился сквозь камыш в чистую реку, чтобы там изжить свои неясные, тоскующие страсти.

— Он думает, весь свет на волю коммунизма отпустил: радуется, бродяга! — осудил поступок японца Копенкин. — А мне ничего здесь не видится!

В камышах стояла лодка, и в ней молча сидел голый человек; он задумчиво рассматривал тот берег реки, хотя мог бы туда доплыть на лодке. Копенкин увидел его слабое ребристое тело и болящий глаз.

— Ты Пашинцев, или нет? — спросил Копенкин.

— Да а то кто же! — сразу ответил тот.

— Но тогда зачем ты оставил пост в ревзаповеднике?

Пашинцев грустно опустил свою укрошенную голову.

— Я оттуда низко удален, товарищ!

— А ты бы бомбами...

— Рано их разрядил, оказалось: и вот зато теперь скитаюсь без почта, как драматический псих.

Копенкин ощутил презрение к дальним белым негодьям, ликвидировавшим ревзаповедник, и ответную силу мужества в самом себе.

— Не горюй, товарищ Пашинцев; белых мы, не сходя с коня, порасходуем, а ревзаповедник на сыром месте посадим. Что ж у тебя осталось нынче?

Пашинцев поднял со дна лодки нагрудную рыцарскую кольчугу.

— Мало, — определил Копенкин. — Одну грудь только обороняет.

— Да голова — черт с ней, — не ценил Пашинцев. — Сердце мне дороже всего... Есть кой-что и на башку и в руку — Пашинцев показал вдобавок еще небольшой доспех — лобовое забрало с привинченной навеки красной звездой — и последнюю пустую гранату.

— Ну, это вполне тебе хватит, — сообщил Копенкин. — Но ты скажи, куда заповедник твой девался, — неужели ты так ослаб, что его мужики свободно окулачили?

Пашинцев имел скучное настроение и еле говорил от скорби.

— Так там же, тебе говорят, широкую организацию совхоза назначили — чего ты меня шарить по голому телу?

Копенкин еще раз оглядел голое тело Пашинцева.

— Тогда — одевайся: пойдем вместе Чевенгур обследовать — тут тоже фактов не хватает, а люди сон видят.

Но Пашинцев не мог быть спутником Копенкина — у него, кроме нагрудной кольчуги и забрала, не оказалось одежды.

— Иди так, — ободрил его Копенкин. — Что, ты думаешь, люди живого тела не видали? Ишь ты, прелесть какая — то же самое и в гроб кладут!

— Нет, ты понимаешь, какой корень зла вышел? — разговаривая, перебирал Пашинцев свою металлическую одежду. — Из ревзаповедника меня отпустили исправным: хоть и опасным, но живым и одетым. А в селе — свои же мужики видят, идет какой-то прошлый человек и, главное, пораженный армией — так всю одежду с меня скостили, — бросили вслед два предмета, чтобы я на зорях в кольчуге грелся, а бомбу я при себе удержал.

— Аль на тебя целая армия наступала? — удивился Копенкин.

— Да а то как же? Сто человек конницы вышло против одного человека. Да в резерве три дюйма стояли наготове. И то я сутки не сдавался — пугал всю армию пустыми бомбами, да Грунька — девка там одна — доказала, сукушка.

— Ага, — поверил Копенкин. — Ну, пойдем, — давай мне твои железки в одну руку.

Пашинцев вылез из лодки и пошел по верным следам Копенкина в прибрежном песке.

— Ты не бойся, — успокаивал Копенкин голого товарища. — Ты же не сам обнажился — тебя полубелые обидели.

Пашинцев догадался, что он идет разутым-раздетым ради бедноты — коммунизма, и поэтому не стеснялся будущих встречных женщин.

Первой встретилась Клавдюша; наспех оглядев тело Пашинцева, она закрыла платком глаза, как татарка.

«Ужасно вялый мужчина, — подумала она, — весь в родинках, да чистый — шершавости в нем нет!» — и сказала вслух:

— Здесь, граждане, ведь не фронт — голым ходить не вполне прилично.

Копенкин попросил Пашинцева не обращать внимания на такую жабу — она буржуйка и вечно квохчет: то ей полушалок нужен, то Москва, а теперь от нее голому пролетарию прохода нет. Все же Пашинцев несколько засовестился и надел кольчугу и лобовое забрало, оставив большинство тела наружи.

— Так лучше, — определил он. — Подумают, что это форма новой политики!

— Чего ж тебе? — посмотрел Копенкин. — Ты теперь почти одет, только от железа тебе прохладно будет!

— Оно от тела нагреется, — кровь же льется внутри!

— И во мне льется! — почувствовал Копенкин.

Но железо кольчуги не холодило тела Пашинцева — в Чевенгуре было тепло. Люди сидели рядами в переулках, между сдвинутыми домами, и говорили друг с другом негромкие речи; и от людей тоже шло тепло и дыхание — не только от лучей солнца. Пашинцев и Копенкин проходили в сплошной духоте — теснота домов, солнечный жар и человеческий волнующий запах делали жизнь похожей на сон под ватным одеялом.

— Мне чего-то дремлетя, а тебе? — спросил у Пашинцева Копенкин.

— А мне, в общем, так себе! — не разбирая себя, ответил Пашинцев.

Около кирпичного постоянного дома, где Копенкин останавливался в первый раз по прибытии, одиноко посиживал Пиюся и неопределенно глядел на все.

— Слушай, товарищ Пиюся! — обратился Копенкин. — Мне требуется пройти разведкой весь Чевенгур — проводи ты нас по маршруту!

— Можно, — не вставая с места, согласился Пиюся.

Пашинцев вошел в дом и поднял с полу старую солдатскую шинель — образца 14-го года. Эта шинель была на большой рост и сразу успокоила все тело Пашинцева.

— Ты теперь прямо как гражданин одет! — оценил Копенкин. — Зато на себя меньше похож.

Три человека отправились вдаль — среди теплоты чевенгурских строений. Посреди дорог и на пустых местах печально стояли увядшие сады: их уже несколько раз пересаживали, таская на плечах, и они обессили, несмотря на солнце и дожди.

— Вот тебе факт! — указал Копенкин на смолкнувшие деревья. — Себе, дьяволы, коммунизм устроили, а дереву не надо!

Редкие пришлые дети, которые иногда виднелись на прогалинах, были толстыми от воздуха, свободы и отсутствия ежедневного воспитания. Взрослые же люди жили в Чевенгуре неизвестно как: Копенкин не мог еще заметить в них новых чувств; издалека они казались ему отпускниками из империализма, но что у них внутри и что между собой — тому нет фактов; хорошее же настроение Копенкин считал лишь теплым испарением крови в теле человека, не означающим коммунизма.

Близ кладбища, где помещался ревком, находился длинный провал осевшей земли.

— Буржуи лежат, — сказал Пиюся. — Мы с японцем из них добавочно души вышибали.

Копенкин с удовлетворением попробовал ногой осевшую почву могилы.

— Стало быть, ты должен был так! — сказал он.

— Этого нельзя миновать, — оправдал факт Пиюся, — нам жить необходимость пришла...

Пашинцева же обидело то, что могила лежала неутрамбованной — надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад, тогда бы деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма; но Пиюся и сам считал трамбовку серьезной мерой, выполнить же ее не успел потому, что губерния срочно сместила его из председателей чрезвычайки; на это он почти не обиделся, так как знал, что для службы в советских учреждениях нужны образованные люди, непохожие на него, и буржуазия там приносила пользу. Благодаря такому сознанию, Пиюся, после своего устранения из должности революционера, раз навсегда признал революцию умнее себя — и затих в массе чевенгурского коллектива. Больше всего Пиюся пугался канцелярий и написанных бумаг — при виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно ослабевая всем телом, чувствовал могущество черной магии мысли и письменности. Во времена Пиюся сама чевенгурская чрезвычайка помещалась на городской поляне; вместо записей расправ с капиталом Пиюся ввел их всенародную очевидность и предлагал убивать пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось. Нынче же, когда в Чевенгуре имелось окончательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению японца, закрыта навсегда и на ее поляну передвинуты дома.

Копенкин стоял в размышлении над общей могилой буржуазии — без деревьев, без холма и без памяти. Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память. Одно не совсем нравилось Копенкину — могила буржуазии не прочно утрамбована.

— Ты говоришь: душу добавочно из буржуев вышибали? — усомнился Копенкин. — А тебя за то аннулировали, — стало быть, били буржуев не сплошь и не насмерть! Даже землю трамбовкой не забили!

Здесь Копенкин резко ошибался. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа.

У японца, после краткой жизни в Чевенгуре, начало болеть сердце от присутствия в городе густой мелкой буржуазии. И тут он начал мучиться всем телом — для коммунизма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущими людьми; а надо было немедленно определить коммунизм на живую базу, но жилье спокон века занято странными людьми, от которых пахло воском. Японец нарочно уходил в поле и глядел на свежие открытые места — не начаты ли коммунизм именно там? Но отказывался, так как тогда должны пропасть для пролетариата и деревенской бедноты чевенгурские здания и

утварь, созданные угнетенными руками. Он знал и видел, насколько чевенгурскую буржуазию томит ожидание второго пришествия, и лично ничего не имел против него. Пробыв председателем ревкома месяца два, японец замучился — буржуазия живет, коммунизма нет, а в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательных наступательных переходных ступеней, в которых японец чувством подозревал обман масс. Сначала он назначил комиссию, и та комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия, но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил оставить буржуазную мелочь, чтоб всемирной революции было чем заняться. А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю.

— Очисти мне город от гнетущего элемента! — приказал Чепурный.

— Можно, — послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился японец.

— Ты понимаешь — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю. — Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прямо некрасиво!

Пиюся был знаком с буржуазией лично: он помнил чевенгурские улицы и ясно представлял себе наружность каждого домовладельца: Щекотова, Комягина, Пихлера, Знобилина, Щапова, Завын-Дувайло, Перекрутченко, Сюсюкалова и всех их соседей. Кроме того, Пиюся знал их способ жизни и пропитания и согласен был убить любого из них вручную, даже без применения оружия. Со дня своего назначения председателем чрезвычайки, он не имел душевного покоя и все время раздражался: ведь ежедневно мелкая буржуазия ела советский хлеб, жила в его домах (Пиюся до этого работал двадцать лет каменным кладчиком) и находилась поперек революции тихой стервой. Самые пожилые щербатые личности буржуев превращали кроткого Пиюсю в уличного бойца: при встречах со Щаповым, Знобилиным и Завын-Дувайло — Пиюся не один раз бил их кулаками, а те молча утирались, переносили обиду и надеялись на будущее; другие буржуи Пиюсе не попадались, заходить же к ним нарочно в дома Пиюся не хотел, так как от частых раздражений у него становилось душно на душе.

Однако секретарь уика Прокофий Дванов не согласился подворно и явочным порядком истребить буржуазию. Он сказал, что это надо сделать более теоретично.

— Ну, как же — сформулирую! — предложил ему Чепурный.

Прокофий в размышлении закинул назад свои эсеровские задумчивые волосы.

— На основе ихнего же предрассудка! — постепенно формулировал Прокофий.

— Чувствую! — не понимая, собирался думать японец.

— На основе второго пришествия! — с точностью выразился Прокофий. — Они его сами хотят, пускай и получают — мы будем не виноваты.

Чепурный, напротив, принял обвинение.

— Как так не виноваты, скажи пожалуйста! Раз мы — революция, то мы кругом виноваты! А если ты формулируешь для своего прощения, то пошел прочь!

Прокофий, как всякий умный человек, имел хладнокровие.

— Совершенно необходимо, товарищ Чепурный, объявить официально второе пришествие. И на его базе очистить город для пролетарской оседлости.

— Ну, а мы-то будем тут действовать? — спросил Чепурный.

— В общем — да! Только нужно потом домашнее имущество распределить, чтобы оно больше нас не угнетало.

— Имущество возьми себе, — указал Чепурный. — Пролетариат сам руки целыми имеет. Чего ты в такой час по буржуазным сундукам тоскуешь, скажи пожалуйста. Пиши приказ.

Прокофий кратко сформулировал будущее для чевенгурской буржуазии и передал исписанную бумагу Пиюсе; тот должен по памяти прибавить к приказу фамильный список имущих.

Чепурный прочитал, что советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства.

В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь.

Часом явки буржуазии на соборную площадь назначалась полночь на четверг, а основанием приказа считался бюллетень метеорологического губбюро.

Прокофия давно увлекала внушительная темная сложность губернских бумаг, и он с улыбкой сладострастия перелагал их слог для уездного масштаба.

Пиюся ничего не понял в приказе, а японец понюхал табак и поинтересовался одним, почему Прокофий назначил второе пришествие на четверг, а не на сегодня — в понедельник.

— В среду пост — они тише приготовятся? — объяснил Прокофий. — А затем сегодня и завтра ожидается пасмурная погода, — у меня же сводки о погоде есть!

Тракия на-стар. (по исполнен и материал)

1) Иже Рим. (по слова слова переня
в 7-го автор "и автор овет КК
пу интерпретация" - исполнен, исполнен
и-во и исполнен исполнен

2) Полезет - с Кем уезд
Проложит за песни. -
один или с Пирсеи?
Давно и исполнен один,
мил с нов картинки

3) Князь видет
Амзе с песни и Возмож.
Возмож уезд.
Кому она ушла?
(Она возмож уезд ранше,
или Проложит песни
за песни.)

4) Князь хотит в один
уезд - не оно, или в уезд
"в Возмож картинки"

Мил

Записка А.П. Платонова.
Автограф. ИМЛИ

— Напрасная льгота, — упрекнул японец, но на ускорении второго пришествия особо не настаивал.

Прокофий же, совместно с Клавдьюшей, обошел все дома имущих граждан и попутно реквизировал у них негромоздкие ручные предметы: браслеты, шелковые платки, золотые царские медали, девичью пудру и прочее. Клавдюша складывала вещи в свой сундучок, а Прокофий устно обещал буржуям дальнейшую просрочку жизни, лишь бы увеличился доход республики; буржуи стояли посреди пола и покорно благодарили. Вплоть до ночи на четверг Прокофий не мог освободиться и жалел, что не назначил второго пришествия в ночь на субботу.

Чепурный не боялся, что у Прокофия очутилось много добра: к пролетарию оно не пристанет, потому что платки и пудра изведутся на голове бесследно для сознания.

В ночь на четверг соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел худых чекистов. По списку не явилось только трое буржуев — двое из них были задавлены собственными домами, а третий умер от старости лет. Пиюся сейчас же послал двух чекистов проверить — отчего обвалились дома, а сам занялся установкой буржуев в строгий ряд. Буржуи принесли с собой узелки и сундучки — с мылом, полотенцами, бельем, белыми пышками и семейной поминальной книжкой. Пиюся все это просмотрел у каждого, обратив пристальное внимание на поминальную книжку.

— Прочти, — попросил он одного чекиста. Тот прочитал:

«О упокоении рабов божьих: Евдокии, Марфы, Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех сродственников.

О здравии — Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, Петра, Иоанна, Анастасии со чадами и всех сродственников и болящего Андрея».

— Со чадами? — переспросил Пиюся.

— С ними! — подтвердил чекист.

За чертой красноармейцев стояли жены буржуев и рыдали в ночном воздухе.

— Устрани этих приспешниц! — приказал Пиюся. — Тут сочады не нужны!

— Их бы тоже надо кончить, товарищ Пиюся! — посоветовал чекист.

— Зачем, голова? Главный член у них отрублен!

Пришли два чекиста с проверки обвалившихся домов и объяснили: дома рухнули с потолков, потому что потолки были загружены солью и мукой сверх всякого веса; мука же и соль буржуям требовались в запас — для питания во время прохождения второго пришествия, дабы благополучно переждать его, а затем остаться жить.

— Ах, вы так! — сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. — Кóцай их, ребята! — И сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя — Завын-Дувайло. Из головы буржуя вышел тихий пар, а затем проступило наружу волос материнское сырое вещество, похожее на свечной воск, но Дувайло не упал, а сел на свой домашний узел.

— Баба, обмотай мне горло свивальником! — с терпением произнес Завын-Дувайло. — У меня там вся душа течет! — И свалился с узла на землю, обняв ее раскинутыми руками и ногами, как хозяин хозяйку.

Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям — и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до повреждения позвонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше чувства раны, чтобы пуля попала в случайное место и там заросла живым мясом.

Раненый купец Щапов лежал на земле с оскудевшим телом и просил наклонившегося чекиста:

— Милый человек, дай мне подышать — не мучай меня. Позови мне женщину проститься! Либо дай поскорее руку — не уходи далеко, мне жутко одному.

Чекист хотел дать ему свою руку:

— Подержись — ты теперь свое отзвонил!

Щапов не дождался руки и ухватил себе на помощь лопух, чтобы поручить ему свою недожитую жизнь; он не освободил растения до самой потери своей тоски по женщине, с которой хотел проститься, а потом руки его сами упали, больше не нуждаясь в дружбе. Чекист понял и заволновался: с пулей внутри, буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество.

Пиюся тронул Завын-Дувайло:

— Где у тебя душа течет — в горле? Я ее сейчас вышибу оттуда!

Пиюся взял шею Завына левой рукой, поудобней зажал ее и упер ниже затылка дуло нагана. Но шея у Завына все время чесалась, и он тер ее о суконный воротник пиджака.

— Да не чешись ты, дурной: обожди, я сейчас тебя царапну!

Дувайло еще жил и не боялся:

— А ты возьми-ка голову мою между ног, да зажми, чтоб я криком закричал, а то там моя баба стоит и меня не слышит!

Пиюся дал ему кулаком в щеку, чтоб ощутить тело этого буржуя в последний раз, и Дувайло прокричал жалующимся голосом: — Машенька, бьют! — Пиюся подождал, пока Дувайло растянет и полностью произнесет слова, а затем дважды прострелил его шею и разжал у себя во рту нагретые сухие десны.

Прокофий выследил издали такое одиночное убийство и упрекнул Пиюсю:

— Коммунисты сзади не убивают, товарищ Пиюся!

Пиюся от обиды сразу нашел свой ум:

— Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство!.. Вот — и помалкивай, а то я тебя тоже на небо пошлю! Всякая б...дь хочет красным знаменем заткнуться — тогда у ней, дескать, пустое место сразу честью зарастет... Я тебя пулей сквозь знамя найду!

Явившийся Чепурный остановил этот разговор:

— В чем дело, скажите пожалуйста? Буржуи на земле еще дышат, а вы коммунизм в словах ищите!

Японец и Пиюся пошли лично обследовать мертвых буржуев; погибшие лежали кустами — по трое, по пятеро, и больше, — видимо, стараясь сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного расставания.

Чепурный пробовал тыльной частью руки горло буржуев, как пробуют механики температуру подшипников, и ему казалось, что все буржуи еще живы.

— Я в Дувайле добавочно из шеи душу вышиб! — сказал Пиюся.

— И правильно: душа же в горле! — вспомнил Чепурный. — Ты думаешь, почему кадеты нас за горло вешают? — от того самого, чтоб душу веревкой сжечь: тогда умираешь действительно полностью! А то все будешь копать: убить ведь человека трудно!

Пиюся и Чепурный прошупали всех буржуев и не убедились в их окончательной смерти: некоторые как будто вздохали, а другие имели чуть прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать жить за счет Пиюси и прочих пролетариев; тогда японец и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни: они подзарядили наганы и каждому лежащему имущему человеку — в последовательном порядке — прострелили сбоку горло — через желёзки.

— Теперь наше дело покойнее! — отделившись, высказался Чепурный. — Бедней мертвеца нет пролетария на свете.

— Теперь уж прочно, — удовлетворился Пиюся. — Надо пойти красноармейцев отпустить.

Красноармейцы были отпущены, а чекисты оставлены для подготовки общей могилы бывшему буржуазному населению Чевенгура. К утренней заре чекисты отделались и свалили в яму всех мертвецов с их узелками. Жены убитых не смели подойти близко и ожидали вдалеке конца земляных работ. Когда чекисты, во избежание холма, разбросали лишнюю землю на освещенной зарею пустой площади, а затем воткнули лопаты и закурили, — жены мертвых начали наступать на них изо всех улиц Чевенгура.

— Плачьте! — сказали им чекисты, и пошли спать от утомления.

Жены легли на глиняные комья ровной, бесследной могилы и хотели тосковать, но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось — и жены мертвых не могли больше заплакать.

Узнав, как было в Чевенгуре, Копенкин решил пока никого не карать, а дотерпеться до прибытия Александра Дванова, тем более что пешеход Луй идет сейчас своей дорогой.

Луй действительно прошел в эти дни много земли и чувствовал себя целым, сытым и счастливым. Когда ему хотелось есть, он заходил в хату и говорил хозяйке: «Баба, ощидай мне куренка, я человек уставший». Если баба скупилась на курицу, то Луй с ней прощался и уходил степью по своему пути, ужиная купырями, которые выросли от солнца, а не от жалкого дворового усердия человека. Луй никогда не побирался и не воровал; если же долго не выходило случая покушать, то он знал, что когда-нибудь все равно наестся, и не болел от голода.

Нынче Луй ночевал в яме кирпичного сарая; до губернского города ему осталось всего сорок верст мощеной дороги. Луй считал это за пустык и долго прохлаждался после сна. Он лежал и думал — как ему закурить. Табак был, а бумаги нет; документы он уже искурил давно — единственной бумагой осталось письмо Копенкина Дванову. Луй вынул письмо, разглядел его и прочитал два раза, чтобы запомнить наизусть, а затем сделал из письма десять пустых сигарок.

— Расскажу ему письмо своим голосом — так же складно получится! — рассудительно предпочел Луй и подтвердил самому себе: — Конечно, так же! А то как же?

Закурив, Луй вышел на шоссе и тронулся на город по боковой мякоти мостовой. В высоте и мутном тумане расстояния — на водоразделе между двумя чистыми реками — виден был старый город — с башнями, балконами, храмами и длинными домами училищ, судов и присутствий; Луй знал, что в том городе давно жили люди и другим мешали жить. В стороне от города — на его опушке — дымили четыре трубы завода сельскохозяйственных машин и орудий, чтобы помогать солнцу производить хлеб. Лую понравился далекий дым труб и гудок бегущего паровоза — в глухоте рождающих тихие травы полей.

Луй обогнул бы губернию и не занес бы письма, если б губернский город не стоял на пути в Петроград и на берег Балтийского моря: с того берега — от холода пустых равнин революции — уходили корабли в темноту морей, чтобы завоевать впоследствии теплые буржуазные страны.

Гопнер в этот час спускался с городской горы к реке Польному Айдару и видел мощеную дорогу, проложенную сквозь степь в продовольственные слободы. По этой же дороге шел невидимый отсюда Луй и воображал балтийский флот в холодном море. Гопнер перешел мост и сел на другом берегу ловить рыбу. Он нанизал на крючок живого мучающегося червя, бросил леску и засмотрелся в тихое пошевеливание утекающей реки; прохлада воды и запах сырых трав возбуждали в Гопнере дыхание и мысль; он слушал молву реки и думал о мирной жизни, о счастье за горизонтом земли, куда плывут реки, а его не берут, и постепенно опускал сухую голову во влажные травы, переходя из своего мысленного покоя в сон. На крючок удочки попала небольшая рыбка — молодой подлещик; четыре часа рвался подлещик скрыться в глубокие свободные воды, и кровь его губ, с вонзенным крючком, смешалась с кровавым соком червя; подлещик устал метаться и для своей силы проглотил кусочек червя, а затем снова стал дергать за режущее едкое железо, чтобы вынуть из себя крючок вместе с хрящом губы.

Луй с высоты мощеной дамбы увидел, как спит на берегу худой усталый человек, а у ног его само собой шевелится удилище. Луй подошел к человеку и вытащил удочку с подлещиком; подлещик затих в руке пешехода, открыл жабры и начал кончаться от испуганного утомления.

— Товарищ, — сказал спящему Луй. — Получай рыбу! Спит на целом свете!

Гопнер открыл налившиеся питательной кровью глаза и соображал о появившемся человеке. Пешеход присел закурить и поглядеть на постройку противоположного города.

— Чего-то я во сне долго рассматривал, так и не докончил, — заговорил Гопнер. — Проснулся, а ты стоишь, как исполнение желаний.

Гопнер почесал свое голодное обросшее горло и почувствовал уныние: во сне погибли его хорошие размышления, и даже река не могла напомнить о них.

— Эх, будь ты проклят — разбудил, — раздражился Гопнер, — опять мне будет скучно!

— Река течет, ветер дует, рыба плывет, — протяжно и спокойно начал Луй, — а ты сидишь и ржавеешь от горя! Ты двинься куда-нибудь, в тебя ветер надышит думу — и ты узнаешь что-нибудь.

Гопнер не ответил: чего отвечать каждому прохожему, что он понимает в коммунизме, крестьянский отходник?

— Ты не слышал, в каком дворе товарищ Александр Дванов живет? — спросил Луй про свое попутное дело.

Гопнер взял у пришедшего рыбу из рук и бросил ее в воду, — может, отдышится! — объяснил он.

— Теперь не отживет! — усомнился Луй. — Надо бы мне того товарища в глаза повидать...

— Чего тебе его видать, когда я его увижу! — неопределенно сказал Гопнер. — Уважаешь, что ль, его?

— За одно прозвание не уважают, а делов его я не знаю! Наши товарищи говорили, что в Чевенгуре он немедленно необходим...

— А что там за дело?

— Там товарищ Копенкин написал, что коммунизм и обратно...

Гопнер изучающе поглядел на Луя, как на машину, требующую капитального ремонта; он понял, что капитализм сделал в подобных людях измождение ума.

— У вас же нет квалификации и сознания, будь вы прокляты! — произнес Гопнер. — Какой же может сделаться коммунизм?

— Ничего у нас нету, — оправдался Луй, — одних людей только и осталось иметь, поэтому и вышло товарищество.

Гопнер почувствовал в себе прилив отдохнувших сил и высказался после краткого размышления:

— Это умно, будь я проклят, но только не прочно: сделано без всякого запаса сечения! Понял ты меня, или ты сам бежишь от коммунизма?

Луй знал, что вокруг Чевенгура коммунизма нет — есть переходная ступень, и он глядел на город на горе как на ступень.

— Ты на ступени живешь, — сказал он Гопнеру, — тебе и кажется — я бегу. А я иду себе пешком, а потом на флоте поплыву в буржуазные государства, буду их к будущему готовить. Коммунизм ведь теперь в теле у меня — от него не денешься.

Гопнер пощупал руку Луя и разглядел ее на свет солнца: рука была большая, жилистая, покрытая незаживающими метами бывшего труда — этими родинками всех угнетенных.

«Может быть, и правда! — подумал Гопнер о Чевенгуре. — Летают же аэропланы тяжелее воздуха, будь они прокляты!»

Луй еще раз наказал передать Дванову устное письмо Копенкина, чтоб Дванов ехал в Чевенгур без задержки, иначе там коммунизм может ослабнуть. Гопнер обнадежил его и указал улицу, где он живет.

— Ступай туда и покажись моей бабе, пускай она тебя накормит-напоит, а я сейчас разуюсь и пойду на перекат на хлыста голавликов попробовать: они, проклятые, к вечеру на жучка пойдут...

Луй уже привык быстро расставаться с людьми, потому что постоянно встречал других — и лучших; всюду он замечал над собою свет солнцестояния, от которого земля накапливала растения для пищи и рождала людей для товарищества.

Гопнер решил вслед пешеходу, что тот похож на садовое дерево; в теле Луя действительно не было единства строя и организованности, —

была какая-то неувязка членов и конечностей, которые выросли изнутри него с распушенностью ветвей и вязкой крепостью древесины.

Луй скрылся на мосту, а Гопнер лег еще немного отдохнуть — он был в отпуске и наслаждался жизнью раз в год. Но голавлей ему сегодня половить уже не удалось, потому что вскоре начался ветер, из-за городских башен вышли бугры туч, и Гопнеру пришлось идти на квартиру. Но ему скучно было сидеть в комнате с женой, поэтому Гопнера всегда влекло в гости к товарищам, больше всего к Саше и Захару Павловичу. И он зашел по пути домой в знакомый деревянный дом.

Захар Павлович лежал, а Саша читал книгу, сжимая над ней сухие руки, отвыкшие от людей.

— Слыхали? — сказал им Гопнер, давая понять, что он не зря явился. — В Чевенгуре организовался полный коммунизм!

Захар Павлович перестал равномерно сопеть носом: он замедлил свой сон и прислушался. Александр молчал и смотрел на Гопнера с доверчивым волнением.

— Чего глядишь? — сказал Гопнер. — Летают же кое-как аэропланы, а они, проклятые, тяжелее воздуха! Почему ж не сорганизоваться коммунизму?

— А того козла, что революцию, как капусту, всегда с краев ест, — куда они дели? — спросил отец.

— Это объективные условия, — объяснил Александр. — Отец говорит про козла отпущения грехов.

— Они съели того козла отпущения! — словно очевидец, сообщил Гопнер. — Теперь сами будут виноваты в жизни.

За стеной из дюймовых досок сразу заплакал человек, расходясь слезами все более громко. Пивная посуда дрожала на его столе, по которому он стучал оскорбленной головой; там жил одинокий комсомолец, работавший истопником в железнодорожном депо — без всякого продвижения к высшим должностям. Комсомолец немного порыдал, затем затих и высморкался.

— Всякая сволочь на автомобилях катается, на толстых артистках женится, а я все так себе живу! — выговаривал комсомолец свое грустное озлобление. — Завтра же пойду в райком — пускай и меня в контору берут: я всю политграмоту знаю, я могу цельным масштабом руководить! А они меня истопником сделали, да еще четвертый разряд положили... Человека, сволочи, не видят...

Захар Павлович вышел на двор — прохладиться и посмотреть на дождь: окладной он или из временной тучи. Дождь был окладной — на всю ночь, либо на сутки; шумели дворовые деревья, обрабатываемые ветром и дождем, и брехали сторожевые собаки на обгороженных дворах.

— Ветер какой дует, дождь идет! — проговорил Захар Павлович. — А сына опять скоро не будет со мной.

В комнате Гопнер звал Александра в Чевенгур: мы там, — доказывал Гопнер, — смерим весь коммунизм, снимем с него точный чертеж и приедем обратно в губернию; тогда уже будет легко сделать коммунизм на всей шестой части земного круга, раз в Чевенгуре дадут шаблон в руки.

Дванов молча думал о Копенкине и его устном письме: «коммунизм и обратно».

Захар Павлович слушал-слушал и сказал:

— Смотрите, ребята: рабочий человек — очень слабый дурак, а коммунизм далеко не пустяк. В вашем Чевенгуре целое отношение людей нужно — неужели там враз с этим справились?

— А чего ж? — убежденно спорил Гопнер. — Власть на местах избрела нечаянно что-нибудь умное — вот и вышло, будь оно проклято! Что ж тут особенного-то?

Захар Павлович все же немало сомневался:

— Так-то оно так, да только человек тебе не гладкий матерьял. Паровоз от дурака не поедет, а мы и при царе жили. Понял ты меня теперь?

— Понял-то я понял, — соображал Гопнер, — но кругом ничего такого не вижу.

— Ты не видишь, а я вот вижу, — тянул его недоумение Захар Павлович. — Из железа я тебе что хочешь сделаю, а из человека коммуниста — никак!

— Кто их там делал, они сами, проклятые, сделались! — возражал Гопнер.

Захар Павлович здесь соглашался.

— А это другая вещь! Я хотел сказать, что местная власть там ни при чем, потому что поумнеть можно на изделиях, а власть — там уже умнейшие люди: там от ума отвыкают! Если б человек не терпел, а сразу лопался от беды, как чугуна, тогда б и власть отличная была!

— Тогда б, отец, власти не было, — сказал Александр.

— Можно и так! — подтвердил Захар Павлович.

Было слышно, как тягостно уснул комсомолец за стеной, не совсем отделившись от своего остервенения. «Сволочи, — уже примиренно вздыхал он и молча пропускал что-то главное во сне. — Сами двое на постели спят, а мне — одному на кирпичной лежанке!.. Дай на мякоти полежать, товарищ секретарь, а то убиваюсь на черной работе... Сколько лет взносы плачу — дай пройти в долю!.. В чем дело?..»

Ночь шумела потоками охлажденного дождя; Александр слышал падение тяжелых капель, бивших по уличным озерам и ручьям; одно его утешало в этой бесприютной сырости погоды — воспоминание о сказке

про пузырь, соломинку и лапоть, которые некогда втроем благополучно одолели такую же ненадежную, такую же непроходимую природу.

«Он ведь пузырь, она ведь не женщина, а соломинка, и товарищ их — брошенный лапоть, а они дружно прошли по пашням и лужам, со счастьем детства, с чувством личного подобия безвестному лаптю, — воображал про себя Дванов. — У меня тоже есть товарищи — пузыри и соломинки, только я их зачем-то бросил, я хуже лаптя...»

Ночь пахла далеким травостоем степей, на другой стороне улицы стояло служебное учреждение, где сейчас томились дела революции, а днем шел переучет военнообязанных. Гопнер разулся и остался ночевать, хотя знал, что утром ему достанется от жены: где, скажет, ночевал — небось помоложе себе нашел?! — и ляпнет поленом по ключице. Разве бабы понимают товарищество: они весь коммунизм деревянными пилами на мелкобуржуазные части распилят!

— Эх, будь ты проклято, много ли мужику надо! — вздыхал Гопнер. — А вот нет спокойной регулировки!

— Чего ты бурчишь? — спросил Захар Павлович.

— Я про семейство говорю: у моей бабы на пуд живого мяса — пять пудов мелкобуржуазной идеологии. Вот контрвес какой висит!

Дождь на улице идти переставал, пузыри умолкли, и земля запахла вымытыми травами, чистотой холодной воды и свежестью открытых дорог. Дванов ложился спать с сожалением, ему казалось, что он прожил сегодняшний день зря, он совестился про себя этой внезапно наступившей скуки жизни. Вчера ему было лучше, хотя вчера приехала из деревни Соня, взяла в узелок остаток своих вещей на старой квартире и ушла неизвестно куда. Саше она постучала в окно, попрощалась рукой, а он вышел на улицу, но ее уже было нигде не видно. И вчера Саша до вечера думал о ней, и тем существовал, а нынче он забыл, чем ему надо жить, и не мог спать.

Гопнер уже уснул, но дыхание его было так слабо и жалко во сне, что Дванов подошел к нему и боялся, как бы не кончилась жизнь в человеке. Дванов положил свалившуюся руку Гопнера на его грудь и вновь прислушался к сложной и нежной жизни спящего. Видно было, насколько хрупок, незащищен и доверчив этот человек, а все-таки его тоже, наверное, кто-нибудь бил, мучил, обманывал и ненавидел; а он и так еле жив, и его дыхание во сне почти замирает. Никто не смотрит на спящих людей, но только у них бывают настоящие любимые лица; наяву же лицо у человека искажается памятью, чувством и нуждой.

Дванов успокоил разбрасывающиеся руки Гопнера, близко и с любопытством нежности рассмотрел Захара Павловича, тоже глубоко забывшегося во сне, а потом прислушался к утихающему ветру и лег до завтрашнего дня. Отец жил во сне здраво и разумно — подобно жизни

днем, и лицо его мало поэтому менялось ночью; если он видел сны, то полезные и близкие к пробуждению, а не те, от которых потом бывает стыдно и скучно.

Дванов сжался до полного ощущения своего тела — и затих. И постепенно, как рассеивающееся утомление, вставал перед Двановым его детский день — не в глубине заросших лет, а в глубине при- тихшего, трудного, себя самого мучающего тела. Сквозь сумрачную вечернюю осень падал дождь, будто редкие слезы, на деревенское кладбище родины; колыхалась веревка от ветра, за которую ночью церковный сторож отбивает часы, не лазая на колокольню; низко над деревьями проходят истощенные мятые тучи, похожие на сельских женщин после родов. Маленький мальчик Саша стоит под шумящими последними листьями над могилой родного отца. Глинистый холм расползся от дождей, его затрамбовывают на нет прохожие, и на него падают листья, такие же мертвые, как и погребенный отец. Саша стоит с пустой сумкой и с палочкой, подаренной Прохором Абрамовичем на дальнюю дорогу.

Не понимая расставания с отцом, мальчик пробует землю могилы, как некогда он щупал смертную рубашку отца, и ему кажется, что дождь пахнет потом — привычной жизнью в теплых объятиях отца на берегу озера Мутево; та жизнь, обещанная навеки, теперь не возвращается, и мальчик не знает — нарочно это или надо плакать. Маленький Саша, вместо себя, оставляет отцу палку — он зарывает ее в холм могилы и кладет сверху недавно умершие листья, чтоб отец знал, как скучно Саше идти одному и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда — за палкой и за отцом.

Дванову стало тягостно, и он заплакал во сне, что до сих пор еще не взял свою палку от отца. Но сам отец ехал в лодке и улыбался испугу заждавшегося сына. Его лодка-душегубка качалась от чего попало — от ветра и от дыхания гребца, — и особое, всегда трудное лицо отца выражало кроткую, но жадную жалость к половине света, остальную же половину мира он не знал, мысленно трудился над ней, быть может, ненавидел ее... Сходя с лодки, отец гладил мелкую воду, брал за верх траву, без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний мир как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим, не видимым никому, единственным врагом.

— Зачем ты плачешь, шкалик? — сказал отец. — Твоя палка разрослась деревом, и теперь — вон какая, разве ты ее вытащишь!..

— А как же я пойду в Чевенгур? — спросил мальчик. — Так мне будет скучно.

Отец сел в траву и молча посмотрел на тот берег озера. В этот раз он не обнимал сына.

— Не скучай, — сказал отец. — И мне тут, мальчик, скучно лежать. Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать...

Саша придвинулся к отцу и лег ему на колени, потому что ему не хотелось уходить в Чевенгур. Отец и сам заплакал от расставания, а потом так сжал сына в своем горе, что мальчик зарыдал, чувствуя себя одиноким навеки. Он еще долго держался за рубашку отца; уже солнце вышло поверх леса, за которым вдалеке жил чужой Чевенгур, и лесные птицы прилетели на озеро пить воду, а отец все сидел и сидел, наблюдая озеро и восходящий лишний день, мальчик же заснул у него на коленях; тогда отец повернул лицо сына к солнцу, чтобы на нем высохли слезы, но свет защекотал мальчику закрытое зрение, и он проснулся.

Гопнер прилаживал к ноге рваные портянки, а Захар Павлович насыпал в кيسет табак, собираясь на работу. Над домами, как поверх леса, выходило солнце, и свет его упирался в заплаканное лицо Дванова. Захар Павлович завязал табак, взял кусок хлеба и две картошки и сказал: «Ну, я пошел — оставайтесь с богом». Дванов посмотрел на колени Захара Павловича и на мух, летавших, как лесные птицы.

— Ты что ж, пойдешь в Чевенгур? — спросил Гопнер.

— Пойду. А ты?

— А чем я хуже тебя? Я тоже пойду...

— А как же с работой? Уволишься?

— Да, а то что ж? Возьму расчет — и все: сейчас коммунизм дороже трудовой дисциплины, будь она проклята. Иль я, по-твоему, не член партии, что ль?

Дванов спросил еще Гопнера про жену — чем она будет кормиться без него. Тут Гопнер задумался, но легко и недолго.

— Да она семечками пропитается — много ли ей надо?.. У нас с ней не любовь, а так — один факт. Пролетариат ведь тоже родился не от любви, а от факта.

Гопнер сказал не то, что его действительно обнадежило для направления в Чевенгур. Ему хотелось идти не ради того, чтобы жена семечками питалась, а для того, чтобы по мерке Чевенгура как можно скорее во всей губернии организовать коммунизм; тогда коммунизм наверное и сытно обеспечит жену на старости лет, наравне с прочими ненужными людьми, а пока она как-нибудь перетерпит. Если же остаться работать навсегда, то этому занятию не будет ни конца, ни улучшения. Гопнер работает без отказа уже двадцать пять лет, однако это не ведет к личной пользе жизни — продолжается одно и то же, только зря портится время. Ни питание, ни одежда, ни душевное счастье — ничто не размножается, значит — людям теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм. Кроме того, жена может прийти к тому же Захару Павловичу, и он не откажет пролетарской женщине в куске хлеба. Смирные трудящиеся тоже

необходимы: они непрерывно работают в то время, когда коммунизм еще бесполезен, но уже требует хлеба, семейных несчастий и добавочного утешения женщин.

Одни сутки Копенкин прожил в Чевенгуре обнадеженным, а потом устал от постоя в этом городе, не чувствуя в нем коммунизма; оказывается, Чепурный нисколько не знал вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья, и он уходил для сосредоточенности в дальние дуга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать коммунизм. После двух суток лугового безлюдья и созерцания контрреволюционной благодати природы, Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу: думал — громадная книга, в ней все написано; и даже удивился, что мир устроен редко — степей больше, чем домов и людей, — однако уже есть о мире и о людях столько выдуманых слов.

Однако он организовал чтение той книги вслух: Прокофий ему читал, а Чепурный положил голову и слушал внимательным умом, время от времени наливая квасу Прокофию, чтобы у теще не ослабевал голос. После чтения японец ничего не понял, но ему полегчало.

— Формулируй, Прош, — мирно сказал он, — я что-то чувствую.

Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто:

— Я полагаю, товарищ Чепурный, одно...

— Ты не полагай, ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи.

— Я полагаю, — рассудочно округлял Прокофий, — одно: раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может.

— А они есть — выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата... Как же быть, скажи пожалуйста!

— А я полагаю, поскольку их быть, по Карлу Марксу, не может, постольку же их быть и не должно.

— А они живут и косвенно нас угнетают — как же так?

Прокофий снова напрягся привычной головой, отыскивая теперь лишь организационную форму.

Японец его предупредил, чтобы он по науке думать не старался, — наука еще не кончена, а только развивается: неспелую рожь не косят.

— Я мыслю и полагаю, товарищ Чепурный, в таком последовательном порядке, — нашел исход Прокофий.

— Да ты мысли скорей, а то я волнуясь!

— Я исхожу так: необходимо остатки населения вывести из Чевенгура сколько возможно далеко, чтоб они заблудились...

— Это не ясно: им пастухи дорогу покажут...

Прокофий не прекращал своего слова.

— Всем устранимым с базы коммунизма выдается вперед недельный пак — это сделает ликвидком эвакупункта...

— Ты напомни мне — я завтра тот ликвидком сокращу.

— Возьму на заметку, товарищ Чепурный. Затем — всему среднему запасному остатку буржуазии объявляется смертная казнь, и тут же она прощается...

— Вот это так?!

— Прощается под знаком вечного изгнания из Чевенгура и с прочих баз коммунизма. Если же остатки появятся в Чевенгуре, то смертная казнь на них возвращается в двадцать четыре часа.

— Это, Прош, вполне приемлемо! Пиши, пожалуйста, постановление с правой стороны бумаги.

Чепурный с затяжкой понюхал табаку и продолжительное ощущал его вкус. Теперь ему стало хорошо: класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть. Японец взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густо напечатанные страницы: писал-писал человек, сожалел Чепурный, а мы все сделали, а потом прочитали, — лучше бы и не писал!

Чтобы не напрасно книга была прочитана, японец оставил на ней письменный след поперек заглавия: «Исполнено в Чевенгуре вплоть до эвакуации класса остаточной сволочи. Про этих не нашлось у Маркса головы для сочинения, а опасность от них неизбежна впереди. Но мы дали свои меры». Затем японец бережно положил книгу на подоконник, с удовлетворением чувствуя ее прошедшее дело.

Прокофий написал постановление, и они разошлись. Прокофий пошел искать Клавдюшу, а Чепурный — осмотреть город перед наступлением в нем коммунизма. Близ домов — на завалинках, на лежачих дубках и на разных случайных сидениях — грелись чуждые люди: старушки, сорокалетние молодцы расстрелянных хозяев в синих картузах, небольшие юноши, воспитанные на предрассудках, утомленные сокращением служащие и прочие сторонники одного сословия. Завидев бредущего японца, сидельцы тихо поднимались и, не стучая калиткой, медленно скрывались внутрь усадьбы, стараясь глухо пропасть. На всех воротах почти круглый год оставались нарисованные мелом надмогильные кресты, ежегодно изображаемые в ночь под крещение: в этом году еще не было сильного бокового дождя, чтобы смыть меловые кресты. «Надо завтра пройтись тут с мокрой тряпкой, — отмечал в уме Чепурный, — это же явный позор».

На краю города открылась мощная глубокая степь.

Густой жизненный воздух успокоительно питал затихшие вечерние травы, и лишь в потухающей дали ехал на телеге какой-то беспокойный человек и пылил в пустоте горизонта. Солнце еще не зашло, но его можно теперь разглядывать глазами — неутомимый круглый жар; его красной силы должно хватить на вечный коммунизм и на полное прекращение междоусобной суеты людей, которая означает смертную необходимость есть, тогда как целое небесное светило помимо людей работает над ращением пищи. Надо отступиться одному от другого, чтобы заполнить это междоусобное место, освещенное солнцем, вещью дружбы. Японец безмолвно наблюдал солнце, степь и Чевенгур и чутко ощущал волнение близкого коммунизма. Чепурный боялся своего поднимавшегося настроения, которое густой силой закупоривает головную мысль и делает трудным внутреннее переживание. Прокофия сейчас находить долго, а он бы мог сформулировать, и стало бы внятно на душе.

— Что такое мне трудно, это же коммунизм настает! — в темноте своего волнения тихо отыскивал Чепурный.

Солнце ушло и отпустило из воздуха влагу для трав. Природа стала синей и покойной, очистившись от солнечной шумной работы для общего товарищества утомившейся жизни. Сломленный ногою японца стебель положил свою умирающую голову на листовное плечо живого соседа; японец отставил ногу и принял — из глуши степных далеких мест пахло грустью расстояния и тоской отсутствия человека.

От последних плетней Чевенгура начинался бурьян, сплошной гущей уходивший в залежи неземлеустроенной степи; ногам японца было уютно в теплоте пыльных лопухов, по-братски росших среди прочих самовольных трав. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся пространств, в которых японец чувствовал залегшее бесчеловечие. Если б не бурьян, не братские терпеливые травы, похожие на несчастных людей, степь была бы неприемлемой; но ветер несет по бурьяну семя его размножения, а человек с давлением в сердце идет по траве к коммунизму. Японец хотел уходить отдыхать от своих чувств, но подождал человека, который шел издали в Чевенгур по пояс в бурьяне. Сразу видно было, что это идет не остаток сволочи, а угнетенный: он брел в Чевенгур как на врага, не веря в ночлег и бурча на ходу. Шаг странника был неровен, ноги от усталости всей жизни расползались врозь, и японец думал: вот идет товарищ, обожду и обнимусь с ним от грусти — мне ведь жутко быть одному в сочельник коммунизма!

Японец пощупал лопух — он тоже хочет коммунизма: весь бурьян есть дружба живущих растений. Зато цветы и палисадники и еще клумбочки, те — явно сволочная рассада, их надо не забыть выкосить и затоптать навеки в Чевенгуре: пусть на улицах растет отпущенная трава, которая, наравне с пролетариатом, терпит и жару жизни, и смерть сне-

гов. Невдалеке бурьян погнулся и кротко прошуршал, словно от движения постороннего тела.

— Я вас люблю, Клавдюша, и хочу вас есть, а вы все слишком отвлечены! — мучительно сказал голос Прокофия, не ожидая ухода Чепурного.

Японец услышал, но не огорчился: вот же идет человек, у него тоже нет Клавдюши!

Человек был уже близко, с черной бородой и преданными чему-то глазами. Он ступал сквозь чащи бурьяна горячими, пыльными сапогами, из которых должен был выходить запах пота.

Японец жалобно прислонился к плетню; он испуганно видел, что человек с черной бородой ему очень мил и дорог — не появись он сейчас, Чепурный бы заплакал от горя в пустом и постном Чевенгуре; японец втайне не верил, что Клавдюша может ходить на двор и иметь страсть к размножению, — слишком он уважал ее за товарищеское утешение всех одиноких коммунистов в Чевенгуре; а она взяла и легла с Прокофием в бурьян, а между тем весь город притаился в ожидании коммунизма и самому Чепурному от грусти потребовалась дружба; если б он мог сейчас обнять Клавдюшу, он бы свободно подождал потом коммунизма еще двое-трое суток, а так жить он больше не может — его товарищескому чувству не в кого упираться; хотя никто не в силах сформулировать твердый и вечный смысл жизни, однако про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей, когда бедствие жизни поровну и мелко разделено между обнявшимися мучениками.

Пешеход остановился перед Чепурным.

— Стоишь — своих ожидаешь?

— Своих! — со счастьем согласился японец.

— Теперь все чужие — не дождешься! А может, родственников смотришь?

— Нет — товарищей.

— Жди, — сказал прохожий, и стал заново обосновывать сумку с харчами на своей спине. — Нету теперь товарищей. Все дураки, которые были кой-как, нынче стали жить нормально: сам хожу и вижу.

Кузнец Сотых уже привык к разочарованию, ему было одинаково жить, что в слободе Калитве, что в чужом городе, — и он равнодушно бросил на целое лето кузню в слободе и пошел наниматься на строительный сезон арматурщиком, так как арматурные каркасы похожи на плетни и ему поэтому знакомы.

— Видишь ты, — говорил Сотых, не сознавая, что он рад встреченному человеку, — товарищи — люди хорошие, только они дураки и долго не живут. Где ж теперь тебе товарищ найдется? Самый хороший —

убит в могилу: он для бедноты очень двигаться старался, — а который утерпел, тот нынче без толку ходит... Лишний же элемент — тот покой власти надо всеми держит, того ты никак не дождешься!

Сотых управился с сумкой и сделал шаг, чтобы идти дальше, но японец осторожно притронулся к нему и заплакал от волнения и стыда своей беззащитной дружбы.

Кузнец сначала промолчал, испытывая притворство японца, а потом и сам перестал поддерживать свое ограждение от других людей и весь облегченно ослаб.

— Значит, ты от хороших убитых товарищей остался, раз плачешь! Пойдем в обнимку на ночевку — будем с тобой долго думать. А зря не плачь — люди не песни: от песни я вот всегда заплачу, на своей свадьбе и то плакал...

Чевенгур рано затворялся, чтобы спать и не чувствовать опасности. И никто, даже японец со своим слушающим чувством, не знал, что на некоторых дворах идет тихая беседа жителей. Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и шептались про лето господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освеженной страданиями земли, — такие беседы были необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну коммунизма; забытые запасы накопленной вековой душевности помогали старым чевенгурцам нести остатки своей жизни с полным достоинством терпения и надежды. Но зато горе было Чепурному и его редким товарищам — ни в книгах, ни в сказках, нигде коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было вспомнить для утешения в опасный час; Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма; московские и губернские плакаты изображали гидру контрреволюции и поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни, но нигде не было той трогательной картины будущего, ради которого следует отрубить голову гидре и везти груженные поезда. Чепурный должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее, вышибая души из затихших тел буржуев и обнимая пешехода-кузнеца на дороге.

До первой чистой зари лежали на соломе в нежилом сарае Чепурный и Сотых — в умственных поисках коммунизма и его душевности. Японец был рад любому человеку-пролетарию, что бы он ни говорил: верно или нет. Ему хорошо было не спать и долго слышать формулировку своим чувствам, заглушенным их излишней силой; от этого наступает внутренний покой, и напоследок засыпаешь. Сотых тоже не спал, но много раз замолкал и начинал дремать, а дремота восстанавливала в нем силы, он просыпался, кратко говорил и, уставая, вновь закатывался

в полузабвение. Во время его дремоты японец выпрямлял ему ноги и складывал руки на покой, чтобы он лучше отдыхал.

— Не гладь меня, не стыди человека, — отзывается Сотых в теплой глуши сарая. — Мне и так с тобой чего-то хорошо.

Под самый сон дверь сарая засветилась щелями и с прохладного двора запахло дымным навозом; Сотых привстал и поглядел на новый день одурелыми от неровного сна глазами.

— Ты чего? Ляжь на правый бок и забудься, — произнес Чепурный, жалея, что так скоро прошло время.

— Ну никак ты мне спать не даешь, — упрекнул Сотых. — У нас в слободе такой актив есть: мужикам покою не дает; ты тоже актив, идол тебя вдарь!

— А чего ж мне делать, раз у меня сна нету, скажи пожалуйста!

Сотых пригладил волосы на голове и раскудрявил бороду, будто собираясь в опрятном виде преставиться во сне смерти.

— Сна у тебя нету от упущений, революция-то помаленьку распускается. Ты приляжь ко мне ближе и спи, а утром собери остатки красных и — грянь, а то опять народ пешком куда-то пошел...

— Соберу срочным порядком, — сам себе сформулировал Чепурный и уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее набраться сил во сне. Зато у Сотых уже перебилась сон, и он не мог забыться. «Уже рассвело, — видел утро Сотых. — Мне почти пора итти; лучше потом, когда будет жара, в логу полежу. Ишь ты, человек какой спит — хочется ему коммунизма, и шабаш: весь народ за одного себя считает!»

Сотых поправил Чепурному свалившуюся голову, прикрыл худое тело шинелью и встал уходить отсюда навсегда.

— Прощай, сарай! — сказал он в дверях ночному помещению. — Живи, не гори!

Сука, спавшая со щенятами в глубине сарая, ушла куда-то кормиться, и щенки ее разбрелись в тоске по матери; один толстый щенок пригрелся к шее Чепурного и начал лизать ее поверх желёзок жадным младенческим языком. Сперва Чепурный только улыбался — щенок его щекотал, а потом начал просыпаться от раздражающего холода остывающих слюней.

Прохожего товарища не было; но Чепурный отдохнул и не стал горевать по нем; надо скорей коммунизм кончать, — обнадеживал себя японец, — тогда и этот товарищ в Чевенгур возвратится.

Спустя час японец собрал в уисполкоме всех чевенгурских большевиков — одиннадцать человек — и сказал им одно и то же, что всегда говорил: надо, ребята, поскорей коммунизм делать, а то ему исторический момент пройдет, — пускай Прокофий нам сформулирует!

Андрей Платонов

Человек

роман

Во всех случаях

рукопись должна быть

сохранена

до всего срока авторства

Лист-обложка
рукописи романа с записью А.П. Платонова.
ИМЛИ

Прокофий, имевший все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формулировал всю революцию, как хотел — в зависимости от настроения Клавдюши и объективной обстановки.

Объективная же обстановка и тормоз мысли заключались для Прокофия в темном, но связном и безошибочном чувстве японца. Как только Прокофий начинал наизусть сообщать сочинение Маркса, чтобы доказать поступательную медленность революции и долгий покой советской власти, Чепурный чутко худел от внимания и с корнем отвергал рассрочку коммунизма.

— Ты, Прош, не думай сильнее Карла Маркса: он же от осторожности выдумывал, что хуже, а раз мы сейчас коммунизм можем поставить, то Марксу тем лучше...

— Я от Маркса отступить не могу, товарищ Чепурный, — со скромным духовным подчинением говорил Прокофий, — раз у него напечатано, то нам идти надо теоретически буквально.

Пиюся молча вздыхал от тяжести своей темноты. Другие большевики тоже никогда не спорили с Прокофием: для них все слова были бредом одного человека, а не массовым делом.

— Это, Прош, все прилично, что ты говоришь, — тактично и мягко отвергал Чепурный, — только скажи мне, пожалуйста, не уморимся ли мы сами от долгого хода революционности? — и я же первый, может, изгажусь и сотрусь от сохранения власти: долго ведь нельзя быть лучше всех!

— Как хотите, товарищ Чепурный! — с твердой кротостью соглашался Прокофий.

Японец быстро понимал и терпел в себе бушующие чувства.

— Да не как я хочу, товарищ Дванов, а как вы все хотите, как Ленин хочет, и как Маркс думал день и ночь!.. Давайте дело делать — очищать Чевенгур от остатков буржуев...

— Отлично, — сказал Прокофий, — проект обязательного постановления я уже заготовил...

— Не постановления, а приказа, — поправил, чтобы было тверже, Чепурный, — постановлять будем затем, а сейчас надо класть.

— Опубликуем как приказ, — вновь согласился Прокофий. — Кладите резолюцию, товарищ Чепурный.

— Не буду, — отказался японец, — словом тебе сказал и — конец.

Но остатки чевенгурской буржуазии не послушались словесной резолюции — приказа, приклеенного мукой к заборам, ставням и плетням. Коренные жители Чевенгура думали, что вот-вот и все кончится; не может же долго продолжаться то, чего никогда не было. Чепурный прождал ухода остатков буржуазии двадцать четыре часа и пошел с Пиусей выгонять людей из домов. Пиюся входил в любой

очередной дом, отыскивал самого возмужалого буржуя и молча удалял его по скуле.

— Читал приказ?

— Читал, товарищ, — смиренно отвечал буржуй. — Проверьте мои документы — я не буржуй, а бывший советский служащий, я подлежу приему в учреждения по первому требованию...

Чепурный брал его бумажку:

«Дано сие тов. Прокопенко Р.Т. в том, что он сего числа сокращен из должности зам. коменданта запасной хлебофуражной базы Эвакопункта и по советскому состоянию и движению образов мыслей принадлежит к революционно-благонадежным элементам.

За Нач. Эвакопункта П. Дванов».

— Чего там? — ожидал Пиюся.

Чепурный разорвал бумажку.

— Выселяй его. Мы всю буржуазию удостоверили.

— Да как же так, товарищи? — сбивал Прокопенко на милость. — Ведь у меня удостоверение на руках — я советский служащий, я даже с белыми не уходил, а все уходили...

— Уйдешь ты куда — у тебя свой дом здесь! — разъяснил Пиюся Прокопенке его поведение, и дал ему, любя, по уху.

— Займись, в общем, сделай мне город пустым, — окончательно посоветовал Чепурный Пиюсе, а сам ушел, чтобы больше не волноваться и успеть подготовиться к коммунизму. Но не сразу далось Пиюсе изгнание буржуев. Сначала он работал в одиночку — сам бил остатки имущих, сам устанавливал им норму вещей и еды, которую остаткам буржуев разрешалось взять в путь, и сам же упаковывал вещи в узлы; но к вечеру Пиюся настолько утомился, что уже не бил жителей в очередных дворах, а только молча паковал им вещи. «Так я весь разложусь!» — испугался Пиюся и пошел искать себе подручных коммунистов.

Однако и целый отряд большевиков не мог управиться с остаточными капиталистами в двадцать четыре часа. Некоторые капиталисты просили, чтобы их наняла советская власть себе в батраки — без пайка и без жалованья, а другие умоляли позволить им жить в прошлых храмах и хотя бы издали сочувствовать Советской власти.

— Нет и нет, — отвергал Пиюся, — вы теперь не люди, и природа вся переменялась...

Многие полубуржуи плакали на полу, прощаясь со своими предметами и останками. Подушки лежали на постелях теплыми горами, емкие сундуки стояли неразлучными родственниками рыдающих капиталистов, и, выходя наружу, каждый полубуржуй уносил на себе многолетний запах своего домоводства, давно проникший через легкие в кровь и превратившийся в часть тела. Не все знали, что запах есть пыль соб-

ственных вещей, но каждый этим запахом освежал через дыхание свою кровь. Пиюся не давал застаиваться горю полубуржуев на одном месте: он выкидывал узлы с нормой первой необходимости на улицу, а затем хватал поперек тоскующих людей с равнодушием мастера, бракующего человечество, и молча сажал их на узлы, как на острова последнего убежища; полубуржуи на ветру переставали горевать и шупали узлы — все ли в них Пиюся положил, что им полагалось. Выселив к позднему вечеру весь класс остаточной сволочи, Пиюся сел с товарищами покурить. Начался тонкий, едкий дождь — ветер стих в изнеможении и молча лег под дождь. Полубуржуи сидели на узлах непрерывными длинными рядами и ожидали какого-то явления.

Явился Чепурный и приказал своим нетерпеливым голосом, чтобы все сейчас же навеки пропали из Чевенгура, потому что коммунизму ждать некогда и новый класс бездействует в ожидании жилищ и общего имущества. Остатки капитализма прослушали Чепурного, но продолжали сидеть в тишине и дожде.

— Товарищ Пиюся, — сдержанно сказал Чепурный. — Скажи пожалуйста, что это за блажь такая? Пускай они хоронятся, пока мы их не убиваем, — нам от них революцию пустить некуда...

— Я сейчас, товарищ Чепурный, — конкретно сообразил Пиюся и вынул револьвер.

— Скрывайся прочь! — сказал он наиболее близкому полубуржуе; тот наклонился на свои обездоленные руки и продолжительно заплакал — без всякого заунывного начала. Пиюся запустил горячую пулю в его узел — и полубуржуи поднялся на сразу окрепшие ноги сквозь дым выстрела, а Пиюся схватил левой рукой узел и откинул его вдаль.

— Так пойдешь, — определил он. — Тебе пролетариат вещи подарил, значит, бежать надо было с ними, а теперь мы их назад берем.

Подручные Пиюся поспешно начали обстреливать узлы и корзины старого чевенгурского населения, — и полубуржуи медленно, без страха, тронулись в спокойные окрестности Чевенгура.

В городе осталось одиннадцать человек жителей, десять из них спали, а один ходил по заглохшим улицам и мучился. Двенадцатой была Клавдюша, но она хранилась в особом доме, как сырье общей радости, отдельно от опасной массовой жизни. Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения. Грустная летняя тьма покрывала тихий и пустой, страшный Чевенгур. С осторожным сердцем Чепурный затворил распахнутые ворота в доме бывшего Завына-Дувайло и думал, куда же делись собаки в городе; на дворах были только исконные лопухи и добрая лебеда, а внутри домов в первый раз за долгие века никто не вздыхал во сне. Иногда Чепурный входил в горницу, садился в сохранившееся кресло и нюхал табак, чтобы хоть чем-нибудь пошевелиться и прозвуч-

чать для самого себя. В шкафах кое-где лежали стопочками домашние пышки, а в одном доме имелась бутылка церковного вина — висанта. Чепурный поглубже вжал пробку в бутылку, чтобы вино не потеряло вкуса до прибытия пролетариата, а на пышки накинул полотенце, чтобы они не пылились. Особенно хорошо всюду были снаряжены постели, — белье лежало свежим и холодным, подушки обещали покой любой голове; Чепурный прилег на одну кровать, чтобы испробовать, но ему сразу стало стыдно и скучно так удобно лежать, словно он получил кровать в обмен за революционную неудобную душу. Несмотря на пустые обставленные дома, никто из десяти человек чевенгурских большевиков не пошел искать себе приятного ночлега, а легли все вместе на полу в общем кирпичном доме, забронированном еще в семнадцатом году для беспризорной тогда революции. Чепурный и сам считал своим домом только то кирпичное здание, но не эти теплые уютные горницы.

Над всем Чевенгуром находилась беззащитная печаль — будто на дворе в доме отца, откуда недавно вынесли гроб с матерью, и по ней тоскуют, наравне с мальчиком-сиротой, заборы, лопухи и брошенные сени. И вот мальчик опирается головой в забор, гладит рукой шершавые доски и плачет в темноте погасшего мира, а отец утирает свои слезы и говорит, что — ничего, все будет потом хорошо и привыкнется. Чепурный мог формулировать свои чувства только благодаря воспоминаниям, а в будущее шел с темным ожидающим сердцем, лишь ощущая края революции и тем не сбиваясь со своего хода. Но в нынешнюю ночь ни одно воспоминание не помогало Чепурному определить положение Чевенгура. Дома стоят потухшими — их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные; даже коров нигде не было, — жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян, а свою мертвую судьбу отдала одиннадцати людям — десять из них спали, а один бродил со скорбью неясной опасности.

Чепурный сел наземь у плетня и двумя пальцами мягко попробовал росший репеек: он тоже живой и теперь будет жить при коммунизме. Что-то долго никак не рассветало, а уж должна быть пора новому дню. Чепурный затих и начал бояться — взойдет ли солнце утром и наступит ли утро когда-нибудь, — ведь нет уже старого мира!

Вечерние тучи немощно, истощенно висели на неподвижном месте, вся их влажная упавшая сила была употреблена степным бурьяном на свой рост и размножение; ветер спустился вниз вместе с дождем и надолго лег где-то в тесноте трав. В своем детстве Чепурный помнил такие пустые остановившиеся ночи, когда было так скучно и тесно в теле, а спать не хотелось, и маленький японец лежал на печке в душной тишине хаты с открытыми глазами; от живота до шеи он чувствовал в себе тогда какой-то сухой узкий ручей, который все время шевелил

сердце и приносил в детский ум тоску жизни; от свербящего беспокойства маленький Чепурный ворочался на печке, злился и плакал, будто его сквозь середину тела щекотал червь. Такая же душная, сухая тревога волновала Чепурного в эту чевенгурскую ночь, быть может потушившую мир навеки.

— Ведь завтра хорошо будет, если солнце взойдет, — успокаивал себя Чепурный. — Чего я горюю от коммунизма, как полубуржуй!..

Полубуржуи сейчас, наверное, притаились в степи или шли дальше от Чевенгура медленным шагом; они, как все взрослые люди, не сознавали той тревоги неуверенности, какую имели в себе дети и члены партии, — для полубуржуев будущая жизнь была лишь несчастной, но не опасной и не загадочной, а Чепурный сидел и боялся завтрашнего дня, потому что в этот первый день будет как-то неловко и жутко, словно то, что всегда было девичеством, созрело для замужества и завтра все люди должны жениться.

Чепурный от стыда сжал руками лицо и надолго присмирел, терпя свой бессмысленный срам.

Где-то, в середине Чевенгура, закричал петух, и мимо японца тихо прошла собака, бросившая хозяйский двор.

— Жучок, Жучок! — с радостью позвал собаку Чепурный. — Пойди сюда, пожалуйста!

Жучок покорно подошел и понюхал протянутую человеческую руку, рука пахла добротой и соломой.

— Тебе хорошо, Жучок? А мне — нет!

В шерсти Жучка запутались репы, а его зад был испачкан унавоженной лошаадьми грязью — это была уездная верная собака, сторож русских зим и ночей, обывательница среднего имущего двора.

Чепурный повел собаку в дом и покормил ее белыми пышками — собака ела их с трепетом опасности, так как эта еда попалась ей в первый раз от рождения. Японец заметил испуг собаки и нашел ей еще кусочек домашнего пирога с яичной начинкой, но собака не стала есть пирог, а лишь нюхала его и внимательно ходила кругом, не доверяя дару жизни; Чепурный подождал, пока Жучок обойдется и съест пирог, а затем взял и проглотил его сам — для доказательства собаке. Жучок обрадовался избавлению от отравы и начал мести хвостом пыль на полу.

— Ты, должно быть, бедняцкая, а не буржуйская собака! — любил Жучка японец. — Ты сроду крупчатки не ела — теперь живи в Чевенгуре.

На дворе закричали еще два петуха. «Значит, три птицы у нас есть, — подсчитал Чепурный, — и одна голова скотины».

Выйдя из горницы дома, Чепурный сразу озяб на воздухе и увидел другой Чевенгур: открытый прохладный город, освещенный серым све-

том еще далекого солнца; в его домах было жить не страшно, а по его улицам можно ходить, потому что травы росли по-прежнему и тропинки лежали в целости. Свет утра расцветал в пространстве и разьедал вянущие ветхие тучи.

— Значит, солнце будет нашим! — и Чепурный жадно показал на восток.

Две безымянные птицы низко пронеслись над японцем и сели на забор, потряхивая хвостиками.

— И вы с нами?! — приветствовал птиц Чепурный и бросил им из кармана горсть сора и табака. — Кушайте, пожалуйста!

Японец теперь уже хотел спать и ничего не стыдился. Он шел к кирпичному общему дому, где лежали десять товарищей, но его встретили четыре воробья и перелетели из-за предрассудка осторожности на плетень.

— На вас я надеялся! — сказал воробьям Чепурный. — Вы наша кровная птица, только бояться теперь ничего не следует — буржуев нету: живите, пожалуйста!

В кирпичном доме горел огонь: двое спали, а восьмеро лежали и молча глядели в высоту над собой; лица их были унылы и закрыты темной задумчивостью.

— Чего ж вы не спите? — спросил восьмерых Чепурный. — Завтра у нас первый день, — уже солнце встало, птицы к нам летят, а вы лежите от испуга зря...

Японец лег на солому, подкутал под себя шинель и смолк в теплоте и забвении. За окном уже подымалась роса навстречу обнаженному солнцу, не изменившему чевенгурским большевикам и восходящему над ними. Не спавший всю ночь Пиюся встал с отлегнувшим сердцем и усердно помылся и почистился, ради первого дня коммунизма. Лампа горела желтым загробным светом, Пиюся с удовольствием уничтожения потушил ее и вспомнил, что Чевенгур никто не сторожит — капиталисты могут явочно вселиться, и опять придется жечь круглую ночь лампу, чтобы полубуржуи знали, что коммунисты сидят вооруженные и без сна. Пиюся залез на крышу и присел к железу от яростного света кипящей против солнца росы; тогда Пиюся посмотрел и на солнце — глазами гордости и сочувствующей собственности.

— Дави, чтоб из камней теперь росло, — с глухим возбуждением прошептал Пиюся: для крика у него не хватило слов — он не доверял своим знаниям. — Дави! — еще раз радостно сжал свои кулаки Пиюся — в помощь давлению солнечного света в глину, в камни и в Чевенгур.

Но и без Пиюси солнце упиралось в землю сухо и твердо — и земля первая, в слабости изнеможения, потекла соком трав, сыростью суглин-

ков и заволновалась всею волосистой расширенной степью, а солнце только накалялось и каменело от напряженного сухого терпения.

У Пиюси от едкости солнца зачесались десна под зубами: «Раньше оно так никогда не всходило, — сравнил в свою пользу Пиюся, — у меня сейчас смелость корябается в спине, как от духовой музыки».

Пиюся глянул в остальную даль — куда пойдет солнце: не помешает ли что-нибудь его ходу — и сделал шаг назад от оскорбления: вблизи околицы Чевенгура стояли табором вчерашние полубуржуи; у них горели костры, паслись козы, и бабы в дождевых лунках стирали белье. Сами же полубуржуи и сокращенные чего-то копались, вероятно — рыли землянки, а трое приказчиков из нижнего белья и простынь приспособивали палатку, работая голыми на свежем воздухе — лишь бы сделать жилье и имущество.

Пиюся сразу обратил внимание — откуда у полубуржуев столько мануфактурного матерьялу, ведь он же сам отпускал его по довольно жесткой норме! Пиюся жалостными глазами поглядел на солнце, как на отнятое добро, затем почесал ногтями худые жилы на шее и сказал вверх с робостью уважения:

— Погоди, не траться напрасно на чужих!

Отвыкшие от жен и сестер, от чистоты и сытного питания чевенгурские большевики жили самодельно — умывались, вместо мыла, с песком, утирались рукавами и лопухами, сами щупали кур и разыскивали яйца по закутам, а основной суп заваривали с утра в железной кадудшке неизвестного назначения, и всякий, кто проходил мимо костра, в котором грелась кадудшка, совал туда разной близкорастущей травки — крапивы, укропу, лебеды и прочей съедобной зелени; туда же бросалось несколько кур и телячий зад, если вовремя попадался телок, — и суп варился до поздней ночи, пока большевики не отделаются от революции для принятия пищи и пока в супную посуду не нападают жучки, бабочки и комарики. Тогда большевики ели — однажды в сутки — и чутко отдыхали.

Пиюся прошел мимо кадудшки, в которой уже заварили суп, и ничего туда не сунул.

Он открыл чулан, взял грузное промявшееся ведро с пулеметными лентами и попросил товарища Кирея, допивавшего куриные яйца, катить за ним вслед пулемет. Кирей в мирные дни ходил на озеро охотиться из пулемета — и почти всегда приносил по одной чайке, а если нет, то хоть цаплю; пробовал он бить из пулемета и рыб в воде, но мало попадал. Кирей не спрашивал Пиюсю, куда они идут, ему заранее была охота постреляться во что попало, лишь бы не в живой пролетариат.

— Пиюсь, хочешь, я тебе сейчас воробья с неба смажу! — напрашивался Кирей.

— Я те смажу! — отвергал огорченный Пиюся. — Это ты позавчера курей лупил на огороде?

— Все одно их есть хочется...

— Одно, да не равно: курей надо руками душить. Раз ты пулю напрасно выпускаешь, то лишний буржуй жить остается...

— Ну, я, Пиюсь, больше того не допущу.

В таборе полубуржуев костры уже погасли, — значит, завтрак у них поспел и сегодня они не обойдутся без горячей пищи.

— Видишь ты тот вчерашний народ? — показал Кирею Пиюся на полубуржуев, сидевших вокруг потухших костров маленькими коллективами.

— Во! Куда ж они теперь от меня денутся?

— А ты пули гадил на курей! Ставь машину поскорей в упор, а то японец проснется — у него опять душа заболит от этих остатков...

Кирей живыми руками наладил пулемет и дал его патронной ленте ход на месте. Водя держатель пулемета, Кирей еще поспевал, в такт быстроходной отсечке пуль, моментально освобождать руки и хлопать ими свои щеки, рот и колена — для аккомпанемента. Пули в такое время теряли цель и начинали вонзаться вблизи, расшвыривая землю и корчуя траву.

— Не теряй противника, глазомер держи! — говорил лежавший без делов Пиюся. — Не спеши, ствола не грей!

Но Кирей, для сочетания работы пулемета со своим телом, не мог не поддакивать ему руками и ногами.

Японец начал ворочаться на полу в кирпичном доме; хотя он и не проснулся еще, но сердце его уже потеряло свою точность дыхания от ровного биения недалекого пулемета. Спавший рядом с ним товарищ Жеев тоже расслышал звук пулемета и решил не просыпаться, потому что это Кирей где-то близко охотится на птицу в суп. Жеев прикрыл себе и японцу голову шинелью и этим приглушил звук пулемета. Чепурный от духоты под шинелью еще больше начал ворочаться, пока не скинул шинель совсем, а когда освободил себе дыхание, то проснулся, так как было что-то слишком тихо и опасно. Солнце уже высоко взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм.

В комнату вошел Кирей и поставил на пол ведро с пустыми лентами.

— В чулан тащи! — говорил снаружи Пиюся, закатывавший в сени пулемет. — Чего ты там греметь пошел, людей будить!

— Да оно же теперь легкое стало, товарищ Пиюся! — сказал Кирей и унес ведро на его постоянное место — в чулан.

Постройки в Чевенгуре имели вековую прочность, под стать жизни тамошнего человека, который был настолько верен своим чувствам и интересам, что переутомлялся от служения им и старился от накопления имущества. Зато впоследствии трудно пришлось пролетариям перемещать вручную такие плотные обжитые постройки, потому что нижние венцы домов, положенные без фундамента, уже дали свое корневое прорастание в глубокую почву. Поэтому городская площадь — после передвижки домов при Чепурном и социализме — похожа была на пахоту: деревянные дома пролетарии рвали с корнем и корни волокли не считаясь. И Чепурный в те трудные дни субботников жалел, что изгнал с истреблением класс остаточной сволочи: она бы, та сволочь, и могла сдвинуть проросшие дома, вместо достаточно измученного пролетариата. Но в первые дни социализма в Чевенгуре Чепурный не знал, что пролетариату потребуется вспомогательная чернорабочая сила. В самый же первый день социализма Чепурный проснулся настолько обнадеженным раньше его вставшим солнцем и общим видом целого готового Чевенгура, что попросил Прокофия сейчас же идти куда-нибудь и звать бедных в Чевенгур.

— Ступай, Прощ, — тихо обратился Чепурный, — а то мы редкие и скоро заскучаем без товарищества.

Прокофий подтвердил мнение Чепурного:

— Ясно, товарищ Чепурный, надо звать: социализм — массовое дело... А еще никого не звать?

— Зови всяких прочих, — закончил свое указание Чепурный. — Возьми себе Пиюсю и вали по дороге вдаль — увидишь бедного, веди его к нам в товарищи.

— А прочего? — спросил Прокофий.

— И прочего веди. Социализм у нас факт.

— Всякий факт без поддержки масс имеет свою неустойчивость, товарищ Чепурный.

Чепурный это понял:

— А я ж тебе и говорю, что нам скучно будет, — разве это социализм? Чего ты мне доказываешь, когда я сам чувствую!

Прокофий на это не возразил и сейчас же пошел отыскивать себе транспорт, чтобы ехать за пролетариатом. К полудню он отыскал в окружающих степях бродячую лошадь и запряг ее посредством Пиюси в фазтон. К вечеру, положив в экипаж довольствия на две недели, Прокофий двинулся в остальную страну — за околицу Чевенгура; сам он сидел внутри фазтона и рассматривал карту генерального межевания — куда ему ехать, а Пиюся правил отвыкшей ездить лошадью. Девять большевиков шли за фазтоном и смотрели, как он едет, потому что это было в первый раз при социализме и колеса могли бы не послушаться.

— Прощ, — крикнул на прощание Чепурный. — Ты там гляди умней, — веди нам точный элемент, а мы город удержим.

— Ого! — обиделся Прокофий. — Что я: пролетариата не видал?

Пожилый большевик Жеев, потолстевший благодаря гражданской войне, подошел к фэзтону и поцеловал Прокофия в его засохшие губы.

— Проща, — сказал он, — не забудь и женчин отыскать, хоть бы нищенок. Они, брат, для нежности нам надобны, а то видишь — я тебя поцеловал.

— Это пока отставить, — определил Чепурный. — В женщине ты уважаешь не товарища, а окружающую стихию... Веди, Прощ, не по желанию, а по социальному признаку. Если баба будет товарищем — зови ее, пожалуйста, а если обратно, то гони прочь в степь!

Жеев не стал подтверждать своего желания, так как все равно социализм сбился и женщины в нем обнаружатся, хотя бы как тайные товарищи. Но Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее, но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое; для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда, — тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков. Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую; классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком, — тогда как буржуя и женские признаки женщины создала природа помимо сил пролетария и большевика. Отсюда же Чепурный, скупно заботясь о целостности и сохранности советского Чевенгура, считал полезным и тот косвенный факт, что город расположен в ровной скудной степи, небо над Чевенгуром тоже похоже на степь — и нигде не заметно красивых природных сил, отвлекающих людей от коммунизма и от уединенного интереса друг к другу.

Вечером того же дня, когда Прокофий и Пиюся отбыли за пролетариатом, Чепурный и Жеев обошли город по околице, поправили на ходу колья в плетнях, поскольку и плетни теперь надо беречь, побеседовали в ночной глуши об уме Ленина — и тем ограничились на сегодняшний день. Укладываясь спать, Жеев посоветовал Чепурному расставить зав-

тра какие-либо символы в городе, а также помыть полы в домах для приближающегося пролетариата, чтоб было прилично.

Чепурный согласился мыть полы и расставить символы на высоких деревьях — он даже рад был этому занятию, потому что вместе с ночью к нему подходило душевное волнение. Наверное, уже весь мир, вся буржуазная стихия знала, что в Чевенгуре появился коммунизм, и теперь тем более окружающая опасность близка. В темноте степей и оврагов может послышаться топот белых армий, либо медленный шорох босых бандитских отрядов — и тогда не видать больше Чепурному ни травы, ни пустых домов в Чевенгуре, ни товарищеского солнца над этим первоначальным городом, уже готовым, с чистыми полами и посвежевшим воздухом, встретить неизвестный, бесприютный пролетариат, который сейчас где-то бредет без уважения людей и без значения собственной жизни. Одно успокаивало и возбуждало Чепурного: есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, как определял по карте Прокофий, называемое Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет. Чего он сейчас там пишет? Ведь уже есть Чевенгур, и Ленину пора не писать, а влиться обратно в пролетариат и жить. Чепурный отстал от Жеева и прилег в уютной траве чевенгурской непроезжей улицы. Он знал, что Ленин сейчас думает о Чевенгуре и о чевенгурских большевиках, хотя ему неизвестны фамилии чевенгурских товарищей. Ленин, наверное, пишет Чепурному письмо, чтобы он не спал, сторожил коммунизм в Чевенгуре и привлекал к себе чувство и жизнь всего низового безымянного народа, — чтобы Чепурный ничего не боялся, потому что долгое время истории кончилось, и бедность и горе размножились настолько, что кроме них ничего не осталось, — чтобы Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его, Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни. А затем Ленин шлет поклон и приказывает упрочиться коммунизму в Чевенгуре навеки.

Здесь Чепурный встал, покойный и отдохнувший, лишь слегка сожалел об отсутствии какого-нибудь буржуа или просто лишнего бойца, чтобы сейчас же послать его пешком к Ленину в его Кремль с депешей из Чевенгура.

— Вот где, наверное, уже старый коммунизм — в Кремле, — завидовал Чепурный. — Там же Ленин...А вдруг меня и в Кремле японцем зовут — это же буржуазия меня так прозвала, а теперь послать правильную фамилию не с кем...

В кирпичном доме горела лампа, и восемь большевиков не спали, ожидая какой-нибудь опасности. Чепурный пришел и сказал им:

— Надо, товарищи, что-нибудь самим думать — Прокофия теперь на вас нет...Город стоит открытый, идей нигде не написано — кто и

зачем тут живет, прохожим товарищам будет неизвестно. То же и с полями — их надо вымыть, Жеев правильно заметил эту разруху, а дома ветром продуть, а то идешь — и везде еще пахнет буржуазией... Надо нам, товарищи, теперь думать, иначе зачем мы здесь, скажи пожалуйста!

Каждый чевенгурский большевик застыдился и старался думать. Кирей стал слушать шум в своей голове и ожидать оттуда думы, пока у него от усердия и прилива крови не закипела сера в ушах. Тогда Кирей подошел к Чепурному поближе и с тихой совестью сообщил:

— Товарищ Чепурный, у меня от ума гной из ушей выходит, а дума никак...

Чепурный вместо думы дал другое прямое поручение Кирею:

— Ты ступай и ходи кругом города — не слышать ли чего: может, там кто-нибудь бродит, может, так стоит и боится. Ты его сразу не кончай, а тащи живым сюда — мы его тут проверим.

— Это я могу, — согласился Кирей. — Ночь велика, весь город выволокут в степь, пока мы думаем...

— Так оно и будет, — забеспокоился Чепурный. — А без города нам с тобой не жизнь, а опять одна идея и война.

Кирей пошел на воздух сторожить коммунизм, а остальные большевики сидели, думали и слышали, как сосет фитиль керосин в лампе. Настолько же тихо было и снаружи — в гулкой пустоте ночного мрака и завоеванного имущества долго раздавались бредущие умолкающие шаги Кирея.

Один Жеев сидел не зря — он выдумал символ, слышанный однажды на военном митинге в боевой степи. Жеев сказал, чтобы дали ему чистой материи, а он напишет на ней то, от чего прохожие пролетарии обрадуются и не минуют Чевенгура. Чепурный сам пошел в бывший дом буржуа и принес оттуда чистое полотно.

Жеев расправил полотно против света и одобрил его.

— Жалко, — сказал Жеев про полотно. — Сколько тут усердия и чистых женских рук положено. Хорошо бы и большевицким бабам научиться делать такое ласковое добро.

Жеев лег на живот и начал рисовать на полотне буквы печным углем. Все стояли вокруг Жеева и сочувствовали ему, потому что Жеев сразу должен выразить революцию, чтобы всем полегчало.

И Жеев, торопимый общим терпением, усердно пробираясь сквозь собственную память, написал символ:

«Товарищи бедные. Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего — друг друга. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог».

Чепурный одобрил символ первым.

— Верно, — сказал он, — и я то же чувствовал: имущество ведь одна только текущая польза, а товарищи — необходимость, без них ничего не победишь и сам стервой станешь.

И все восемь человек понесли полотно сквозь пустой город — вешать на шест близ битой дороги, где могут появиться люди. Чепурный работать не торопился — он боялся, что все лягут спать, а он один останется тосковать и тревожиться в эту вторую коммунистическую ночь; среди товарищей его душа расточалась суетой, и от такого расхода внутренних сил было менее страшно. Когда нашли и приладили два шеста, то подул полуночный ветер — это обрадовало Чепурного: раз буржуев нет, а ветер дует по-прежнему и шесты качаются, значит, буржуазия окончательно не природная сила.

Кирей должен беспрерывно ходить вокруг города, но его не было слышно, и восемь большевиков стояли, обдуваемые ночным ветром, слушали шум в степи и не расставались, чтобы сторожить друг друга от резкой ночной опасности, которая могла внезапно раздаться из волнующей тьмы. Жеев не мог ожидать врага так долго, не убив его; он один пошел в степь — в глубокую разведку, а семь человек остались ждать его в резерве, чтобы не бросать города на одного Кирея. Семеро большевиков прилегли для тепла на землю и прислушались к окружающей ночи, быть может, укрывающей врагов уютом своего мрака. Чепурный первый расслышал какой-то тихий скрежет — не то далеко, не то близко; что-то двигалось и угрожало Чевенгуру; но движение той таинственной принадлежности было очень медленное, — может быть, от тяжести и силы, а может — от порчи и усталости. Чепурный встал на ноги, и все встали с ним. Раздраженный сжатый огонь мгновенно осветил неизвестное облачное пространство, будто погасла заря над чьим-то сновидением, — и удар выстрела пронесся ветром над пригибающимися травами. Чепурный и шестеро с ним побежали вперед привычной цепью. Выстрел не повторялся, и, пробежав настолько, пока сердце, перечувствовав войну и революцию, не распухло до горла, Чепурный оглянулся на покинутый Чевенгур. В Чевенгуре горел огонь.

— Товарищи, стойте все сразу! — закричал Чепурный. — Нас обошли... Жеев, Кеша, давайте все сюда! Пиюся, бей всех напролом! — куда ты уехал? Ты видишь, я ослаб от коммунизма...

Чепурный не мог подняться с земли от тяжести налившегося кровью, занявшего все тело сердца; он лежат с наганом, худой и заболевший; шестеро большевиков стояли над ним с оружием и следили за степью, Чевенгуром и за упавшим товарищем.

— Не расставаться! — сказал Кеша. — Берите японца на руки, и тронемся на Чевенгур — там наша власть, чего ради кидать бессемейного человека...

Большевики пошли на Чевенгур. Чепурного они несли недолго, потому что у него сердце скоро опало и стало на свое маленькое место. В Чевенгуре горел чей-то покойный домашний огонь, а в степи ничего не скрежетало. Большевики молча двигались своим военно-степным шагом, пока не увидели траву, освещенную огнем через окно, и тень той травы на прохожей середине улицы. Большевики без команды стали в ряд, грудью против самосветящегося окна врага, подняли оружие и дали залп через стекло внутрь жилища. Домашний огонь потух, и в провал рамы из среды образовавшейся тьмы жилища выставилось светлое лицо Кирея; он глядел один на семерых, гадая про себя — кто это такие, стреляющие в Чевенгуре кроме него, ночного сторожа коммунизма.

Чепурный освоился с собой и обратился к Кирею:

— Чего ты керосин жгешь молча в пустом городе, когда в степи бандит ликует? Чего ты город сиротой бросаешь, когда завтра пролетариат сюда маршем войдет? — скажи мне, пожалуйста!

Кирей одумался и ответил:

— Я, товарищ Чепурный, спал и видел во сне весь Чевенгур, как с дерева, — кругом голо, а в городе безлюдно... А если шагом ходить, то видно мало и ветер как бандит тебе в уши наговаривает, хоть стреляй по нем, если б тело его было...

— А зачем газ жег, отсталая твоя голова? — спрашивал Чепурный. — Чем пролетариат будет освещаться, когда нагрянет? Ведь пролетарий чтение любит, партийная твоя душа, а ты керосин его пожег!

— Я в темноте без музыки уснуть не могу, товарищ Чепурный, — открылся Кирей. — Я спать люблю на веселом месте, где огонь горит... Мне хоть муха, а пусть жужжит...

— Ну, ступай и ходи без сна по околице, — сказал Чепурный, — а мы Жеева пойдем выручать... Целого товарища бросили из-за твоего сигнала...

Выйдя на конец Чевенгура, семеро товарищей легли на степь и послушали — не скрежетет ли что вдалеке и не шагает ли обратно Жеев, или он уже мертвым лежит до утра. Кирей дошел после и сказал всем лежащим:

— Вы легли, а там человек погибает, я бы сам за ним побег, да город стерегу...

Кеша отозвался Кирею, что нельзя пролетариат променять на одного Жеева — здесь банды могут город сжечь, если все погонятся спасать одну личность Жеева.

— Город я потушу, — пообещал Кирей, — тут колодцы есть. А Жеев, может, уж без души лежит. Чего ж вам пролетария ждать, когда его нет, а Жеев был?

Чепурный и Кеша вскочили и без сожаления о Чевенгуре бросились в степную продолжающуюся ночь, и остальные пять товарищей не отставали от них.

Кирей зашел за плетень, подстелил под голову лопух и лег слушать врага до утра.

Облака немного осели на края земли, небо прояснилось посредине — и Кирей глядел на звезду, она на него, чтоб было нескучно. Все большевики вышли из Чевенгура, один Кирей лежал, окруженный степью, как империей, и думал: живу я, и живу, — а чего живу? — А наверно, чтоб было мне строго хорошо — вся же революция обо мне заботится, поневоле выйдет приятно... Сейчас только плохо; Прошка говорил — это прогресс покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в пустоте... Чего звезда: горит и горит? Ей-то чего надо? Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там наука вместо бога держит... Хоть бы утро наставало, лежишь тут один и держишь весь коммунизм — выйди я сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет, а может, и останется где-нибудь... Не то этот коммунизм — дома, не то одни большевики!

На шею Кирея что-то капнуло и сразу высохло.

— Капает, — чувствовал Кирей. — А откуда капает, когда туч нету? Стало быть, там что-нибудь скопится и летит куда попало. Ну, капай в рот, — и Кирей открыл гортань, но туда ничего больше не падало. — Тогда капай возле, — сказал Кирей, показывая небу на соседний лопух, — а меня не трожь, дай мне покой, я сегодня от жизни чего-то устал...

Кирей знал, что враг должен где-нибудь быть, но не чувствовал его в бедной непаханой степи, тем более — в очищенном пролетарском городе, — и уснул со спокойствием прочного победителя.

Чепурный же, наоборот, боялся сна в эти первые пролетарские ночи и рад был идти сейчас даже на врага, лишь бы не мучиться стыдом и страхом перед наступившим коммунизмом, а действовать дальше со всеми товарищами. И Чепурный шел ночью степью в глухоту отчужденного пространства, изнемогая от своего бессознательного сердца, чтобы настичь усталого бездомного врага и лишить его остуженное ветром тело последней теплоты.

— Стреляет, гад, в общей тишине, — бормотал и сердился Чепурный. — Не дает нам жизни начать!

Глаза большевиков, привыкшие за гражданскую войну к полуночной тьме, заметили вдалеке черное постороннее тело, словно лежал на земле длинный отесанный камень, либо плита. Степь была здесь ровная, как озерная вода, и постороннее тело не принадлежало местной земле. Чепурный и все шествовавшие большевики сдержали шаг, определяя расстояние до того неподвижного чужого предмета. Но расстояние было

неизвестным, то черное тело лежало словно за пропастью — ночной бурьян превращал мрак во влекущуюся волну и тем уничтожал точность глазомера. Тогда большевики побежали вперед, держа постоянные револьверы в руках.

Черное правильное тело заскрежетало — и по звуку было слышно, что оно близко, потому что дробились мелкие меловые камни и шуршала верхняя земляная корка. Большевики стали на месте от любопытства и опустили револьверы.

— Это упавшая звезда — теперь ясно! — сказал Чепурный, не чуя горения своего сердца от долгого спешного хода. — Мы возьмем ее в Чевенгур и обгешем на пять концов! Это не враг, это к нам наука прилетела в коммунизм...

Чепурный сел от радости, что к коммунизму и звезды влекутся. Тело упавшей звезды перестало скрежетать и двигаться.

— Теперь жди любого блага, — объяснял всем Чепурный. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда опустятся, и птицы могут заговорить, как отжившие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!

Чепурный лег на землю, забыл про ночь, опасность и пустой Чевенгур и вспомнил то, чего он никогда не вспоминал, — жену. Но под ним была степь, а не жена, и Чепурный встал на ноги.

— А может, это какая-нибудь помощь или машина Интернационала, — проговорил Кеша. — Может, это чугунный кругляк, чтоб давить самокатом буржуев... Раз мы здесь воюем, то Интернационал тот о нас помнит...

Петр Варфоломеевич Вековой, наиболее пожилой большевик, снял соломенную шляпу с головы и ясно видел неизвестное тело, только не мог вспомнить, что это такое. От привычки пастушьей жизни он мог ночью узнавать птиц на лету и видел породу дерева за несколько верст; его чувства находились как бы впереди его тела и давали знать ему о любых событиях без тесного приближения к ним.

— Не иначе это бак с сахарного завода, — произнес Вековой, пока без доверия к самому себе. — Бак и есть, от него же камушки хрустели; это кутевские мужики его волокли, да не доволокли... Тяжесть сильней жадности оказалась — его бы катить надо, а они волокли...

Земля опять захрустела — бак тихо начал поворачиваться и катиться в сторону большевиков. Обманутый Чепурный первым добежал до движущегося бака и выстрелил в него с десяти шагов, отчего железная ржавь обдала ему лицо. Но бак катился на Чепурного и прочих навалом — и большевики начали отступать от него медленным шагом. Отчего двигался бак — неизвестно, потому что он скрежетал по сухой почве своим весом и не давал догадке Чепурного сосредоточиться на нем, а

ночь, склонившаяся к утру, лишила степь последней слабости того света, что раньше исходил от редких зенитных звезд.

Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и совсем стих в покое. Чепурный, не думая, хотел что-то сказать и не мог этого успеть, услышав песню, начатую усталым грустным голосом женщины:

Приснилась мне в озере рыбка,
Что рыбкой я была...
Плыла я далёко-далёко,
Была я жива и мала...

И песня никак не кончилась, хотя большевики были согласны ее слушать дальше и стояли еще долгое время в жадном ожидании голоса и песни. Песня не продолжалась, и бак не шевелился — наверное, существо, поющее внутри железа, утомилось и легло вниз, забыв слова и музыку.

— Слушаете? — сразу спросил Жеев, еще не показавшись из-за бака: иначе бы его могли убить, как внезапного врага.

— Слушаем, — ответил Чепурный. — А еще она петь не будет?

— Нет, — сообщил Жеев. — Она три раза уже пела. Я их уже который час пасу хожу. Они там толкают внутри, а бак поворачивается. Раз стрелял в бак, да это напрасно.

— А кто же там такой? — спросил Кеша.

— Неизвестно, — объяснил Жеев. — Какая-нибудь полоумная буржуйка с братом — до вас они там целовались, а потом брат ее отчего-то умер, и она одна запела...

— То-то она рыбкой захотела быть, — догадался Чепурный. — Ей, стало быть, жить охота сначала! Скажи пожалуйста!

— Это непременно, — подтвердил Жеев.

— Что ж нам теперь делать? — рассуждал со всеми товарищами Чепурный. — У нее голос трогательный, а в Чевенгуре искусства нету... Либо ее выгнать, чтоб она отживела?

— Нет, — отверг Жеев. — Она слишком теперь слабосильная и еще — полоумная... Питать ее тоже нечем — она буржуйка. Будь бы она баба, а то так — одно дыханье пережитка... Нам нужно сочувствие, а не искусство.

— Как будем? — спросил Чепурный всех. Все молчали, ибо взять буржуйку или бросить ее — не имело никакой полезной разницы.

— Тогда — бак в лог, и тронемся обратно — мыть полы, — разрешил загадку Чепурный. — А то Прокофий теперь далеко уехал. Завтра может пролетариат явиться.

Восьмеро большевиков уперлись руками в бак и покатали его прочь, в обратную от Чевенгура даль, где через версту начиналось понижение земли, кончавшееся обрывом оврага. Во все время движения бака, внутри его каталась какая-то мягкая начинка, но большевики спешили, давали баку ускорение и не прислушивались к замолкшей полоумной буржуйке. Скоро бак пошел своим ходом — начался степной уклон к оврагу, и большевики остановились от своей работы.

— Это котел с сахарного завода, — оправдал свою память Вековой, — а я все думал, что это такое за машина!

— Ага, — сказал Чепурный. — Стало быть, это был котел, ну, пускай вертится — без него обойдемся...

— А я думал, это так себе, мертвый кругляк, — произнес Кеша. — А это, оказывается, котел!

— Котел, — сказал Вековой. — Клепаная вещь.

Котел еще катился по степи и не только не затихал от расстояния, но еще больше скрежетал и гудел, потому что скорость его нарастала быстрее покинутого пространства. Чепурный присел наземь, подслушивая конец котлу. Гул его вращения вдруг сделался неслышным — это котел полетел по воздуху с обрыва оврага на его дно и преткнулся через полминуты мирным тупым ударом в потухший овражный песок, будто котел поймали чьи-то живые руки и сохранили его.

Чевенгурцы успокоились и начали возвращаться обратно по степи, которая уже посерела от приближения света будущего дня.

Кирей спал по-прежнему у последнего плетня Чевенгура, положив голову на лопух и сам же обняв себе шею — за отсутствием второго человека. Мимо Кирея прошли люди, а Кирей их не слышал, обращенный сном в глубину своей жизни, откуда ему в тело шел греющий свет детства и покоя.

Чепурный и Жеев остались в крайних домах и начали в них мыть полы холодной колодезной водой. Другие шесть чевенгурцев прошли дальше, чтобы выбрать для убранства более лучшие дома. В темноте горниц работать было неудобно, от имущества исходил какой-то сонный дух забвения, и во многих кроватях лежали возвратившиеся кошки буржуев; тех кошек большевики выкидывали вон и заново перетряхивали постели, удивляясь сложному белью, ненужному для уставшего человека.

До света чевенгурцы управились только с восемнадцатью домами, а их в Чевенгуре было гораздо больше. Затем они сели покурить и сидя заснули, прислонившись головой либо к кровати, либо к комоду, либо просто нагнувшись обросшей головой до вымытого пола. Большевики в первый раз отдыхали в домах мертвого классового врага и не обращали на это внимания.

Кирей проснулся в Чевенгуре одиноким — он не знал, что ночью все товарищи возвратились. В кирпичном доме тоже не оказалось никого — значит, Чепурный либо далеко погнался за бандитами, либо умер от ран со всеми сподвижниками где-нибудь в неизвестной траве.

Кирей впрягся в пулемет и повез его на ту же околицу, где он сегодня ночевал. Солнце уже высоко взошло и освещало всю порожнюю степь, где не было пока никакого противника. Но Кирей знал, что ему доверено хранить Чевенгур и весь коммунизм в нем целыми; для этого он немедленно установил пулемет, чтобы держать в городе пролетарскую власть, а сам лег возле и стал приглядываться вокруг. Полежав, сколько мог, Кирей захотел съесть курицу, которую он видел вчера на улице; однако бросить пулемет без призора недопустимо, это все равно что передать вооружение коммунизма в руки белого противника, — и Кирей полежал еще некоторое время, чтобы успеть выдумать такую охрану Чевенгура, при которой можно уйти на охоту за курицей.

«Хоть бы курица сама ко мне пришла, — думал Кирей. — Все равно я ее ведь съем... И верно Прошка говорит — жизнь кругом не организована. Хотя у нас теперь коммунизм: курица сама должна прийти...»

Кирей поглядел вдоль улицы — не идет ли к нему курица. Курица не шла, а брела собака; она скучала и не знала, кого ей уважать в безлюдном Чевенгуре; люди думали, что она охраняла имущество, но собака покинула имущество, раз ушли из дома люди, и вот теперь брела вдаль — без заботы, но и без чувства счастья. Кирей подозвал ту собаку и обобрал ее шерсть от репьев. Собака молча ожидала своей дальнейшей участи, глядя на Кирея пригорюнившимися глазами. Кирей привязал собаку ремнем к пулемету и спокойно ушел охотиться за курицей, потому что в Чевенгуре никаких звуков нет — и Кирей всюду услышит голос собаки, когда в степи покажется враг или неизвестный человек. Собака села у пулемета и пошевелила хвостом, обещая этим свою бдительность и усердие.

Кирей до полудня искал свою курицу, и собака все время молчала перед пустой степью. В полдень из ближнего дома вышел Чепурный и сменил собаку у пулемета, пока не пришел Кирей с курицей.

И еще два дня чевенгурцы мыли полы и держали открытыми окна и двери домов, чтобы полы сохли, а буржуазный устоявшийся воздух освежался ветром степи. На третий день пришел пешком в Чевенгур опрятный человек с палочкой, не убитый Киреем лишь ради старости, и спросил у Чепурного: кто он такой?

— Я член партии большевиков, — сообщил Чепурный. — А здесь коммунизм.

Человек посмотрел на Чевенгур и произнес:

— Я вижу. А я инструктор птицеводства из Почепского узо. Мы в Почепском уезде хотим развести плимутроков, так я сюда пришел к хозяевам — не дадут ли они нам петушка да пару курочек на племя... У меня есть казенная бумага о повсеместном содействии моему заданию. Без яйца наш уезд не подымется...

Чепурный хотел бы дать этому человеку петушка и двух курочек, — все ж советская власть просит, — но не видел этой птицы на чевенгурских дворах и спросил Кирея, есть ли живые куры в Чевенгуре.

— Больше курей тут нету, — сказал Кирей. — Была намедни одна, так я ее всю скушал, а были бы, так я и не горевал бы...

Человек из Почепа подумал.

— Ну, тогда извиняюсь... Теперь напишите мне на обороте мандата, что командировку я выполнил — кур в Чевенгуре нет.

Чепурный прислонил бумажку к кирпичу и дал на ней доказательство: «Человек был и ушел, курей кету, они истрачены на довольствие ревотряда. Предчевревкома Чепурный».

— Число поставьте, — попросил командированный из Почепа. — Такого-то месяца и числа: без даты времени ревизия опорочит документ.

Но Чепурный не знал сегодняшнего месяца и числа — в Чевенгуре он забыл считать прожитое время, знал только, что идет лето и пятый день коммунизма, и написал: «летом 5 ком.».

— Ага-с, — поблагодарил куровод. — Этого достаточно, лишь бы знак был. Благодарю вас.

— Вали, — сказал Чепурный. — Кирей, проводи его до края, чтоб он тут не остался.

Вечером Чепурный сел на завалинок и стал ожидать захода солнца. Все чевенгурцы возвратились к кирпичному дому, убрав на сегодня сорок домов к прибытию пролетариата. Чтобы наесться, чевенгурцы ели полугодовалые пироги и квашеную капусту, заготовленные чевенгурской буржуазией сверх потребности своего класса, надеясь на бессрочную жизнь. Невдалеке от Чепурного сверчок, житель покоя и оседлости, запел свою скрежещущую песнь. Над рекой Чевенгуркой поднялась теплота вечера, точно утомленный и протяжный вздох трудящейся земли перед наступающею тьмою покоя.

«Теперь скоро сюда надвинутся массы, — тихо подумал Чепурный. — Вот-вот, и зашумит Чевенгур коммунизмом, тогда для любой нечаянной души тут найдется утешение в общей обоюдности...»

Жеев во время вечера постоянно ходил по огородам и полянам Чевенгура и рассматривал места под ногами, наблюдая всякую мелочь жизни внизу и ей сожалея. Перед сном Жеев любил потоскосьваться об интересной будущей жизни и погоревать о родителях, которые давно скончались, не дождавшись своего счастья и революции. Степь стала

Тут все легкие олупки у старых провинциальных городов. Люди приходят жить прямо к природе. Появляется человек — суровый и до грусти изможденный лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Лебон издался, от сковородки до будильника, не началось на своем наку рука этого человека. Не отбивался он даже по-кишиневски подметки, лить колючую дробь и штанинать поддельные мелочи для продажи на сельских старинных ярмарках. Сам же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он был просто в природе, помещая инструмент в мешке, а зимой пользовался как подушкой — более для сохранения инструмента, чем для удобства. От раннего солнца, он спускался вниз, что клет себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он сидел на досках летнего заработка, ухаживая церковному сторожу за каварширу тем, кто звонил ночью часы. Это ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, — кроме всяких издалей. Поэтому и людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зябле вечера он иногда делал и лучшие вещи: бани из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, юбки бумажные, деревянные и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, — например, давали ему на кинду лозе обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

церковному сторожу не появились такие беспилотные заводы.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Пеллеч! Подня все историч! день стоишь, а ты с земли деревянной исцелешься — неважно для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него, что лесной дух для ителя леса — его не слышали. Сторож сидел и спокойно издался дальше — и боги он от исполн богослужения не верил, но знал неверное, что ничего у Захара Павловича не видят: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все,

Машинопись романа с авторской правкой.

ИМЛИ

невидимой, и горела только точка огня в кирпичном доме как единственная защита от врага и сомнений. Жеев пошел туда по умолкшей, ослабевшей от тьмы траве и увидел на завалинке бессонного Чепурного.

— Сидишь, — сказал Жеев. — Дай и я посижу — помолчу.

Все большевики-чевенгурцы уже лежали на соломе на полу, бормоча и улыбаясь в беспамятных сновидениях. Один Кеша ходил для охраны вокруг Чевенгура и кашлял в степи.

— Отчего-то на войне и в революции всегда люди видят сны, — произнес Жеев. — А в мирное время того нет: спят себе все, как колчущки.

Чепурный и сам видел постоянные сны, и поэтому не знал — откуда они происходят и волнуют его ум. Прокофий бы объяснил, но его сейчас нет, нужного человека.

— Когда птица линяет, то я слышал, как она поет во сне, — вспомнил Чепурный. — Голова у нее под крылом, кругом пух — ничего не видно, а смирный голос раздается...

— А что такое коммунизм, товарищ Чепурный? — спросил Жеев. — Кирей говорил мне — коммунизм был на одном острове в море, а Кеша — что будто коммунизм умные люди выдумали...

Чепурный хотел подумать про коммунизм, но не стал, чтобы дожидаться Прокофия и самому у него спросить. Но вдруг он вспомнил, что в Чевенгуре уже находится коммунизм, и сказал:

— Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи пожалуйста, — когда надо чувствовать и обнаруживать на месте! Коммунизм же обоюдное чувство масс; вот Прокофий приведет бедных — и коммунизм у нас усилится, — тогда его сразу заметишь...

— А определенно неизвестно? — допытывался своего Жеев.

— Что я тебе, масса, что ли? — обиделся Чепурный. — Ленин и то знать про коммунизм не должен, потому что это дело сразу всего пролетариата, а не в одиночку... Умней пролетариата быть не привыкнешь...

Кеша больше не кашлял в степи — он услышал вдалеке грудной гул голосов и притаился в бурьяне, чтобы точнее угадать прохожих. Но скоро гул стих, и лишь раздавалось еле слышное волнение людей на одном месте — без всякого звука шагов, словно люди те имели мягкие босые ноги. Кеша пошел было вдаль — сквозь чевенгурский бурьян, где братски росли пшеница, лебеда и крапива, — но скоро возвратился и решил дожидаться света завтрашнего дня; из бурьяна шел пар жизни трав и колосьев — там жила рожь и кущи лебеды без вреда друг для друга, близко обнимая и храня одно другое, — их никто не сеял, им никто не мешал, но настанет осень — и пролетариат положит себе во щи крапиву, а рожь соберет вместе с пшеницей и лебедой для зимнего

питания; поглуше в степи самостоятельно росли подсолнухи, гречиха и просо, а по чевенгурским огородам — всякий овощ и картофель. Чевенгурская буржуазия уже три года ничего не сеяла и не сажала, надеясь на светопреставление, но растения размножились от своих родителей и установили меж собой особое равенство пшеницы и крапивы: на каждый колос пшеницы — три корня крапивы. Чепурный, наблюдая заросшую степь, всегда говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатация. Благодаря этому, чевенгурцы видели, что природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимущему едоку все питательное и необходимое; в свое время Чевенгурский ревком взял на заметку покорность побежденной природы и решил ей в будущем поставить памятник — в виде дерева, растущего из дикой почвы, обнявшего человека двумя суковатыми руками под общим солнцем.

Кеша сорвал колос и начал сосать сырое мякушко его тощих незрелых зерен, а затем выбросил изо рта, забыв вкус пищи: по заросшему чевенгурскому тракту мягко зашелестела повозка, и голос Пиюси командовал лошастью, а голос Прошки пел песню:

Шумит волна на озере,
Лежит рыбак на дне,
И ходит слабым шагом
Сирота во сне...

Кеша добежал до фаэтона Прокофия и увидел, что они с Пиусей ехали порожние — без всякого пролетариата.

Чепурный сейчас же поднял на ноги всех задремавших большевиков, чтобы торжественно встретить явившийся пролетариат и организовать митинг, но Прокофий сказал ему, что пролетариат утомился и лег спать до рассвета на степном кургане с подветренной стороны.

— Что он, с оркестром сюда идет и со своим вождем, или так? — спросил Чепурный.

— Завтра, товарищ Чепурный, ты сам его кругом увидишь, — сообщил Прокофий, — а меня не беспокоит: мы с Пашкой Пиусей верстыщу проехали — степное море видали и ели белугу... Я тебе потом все доложу и сформулирую.

— Так ты, Прош, спи, а я к пролетариату схожу, — с робостью сказал Чепурный.

Но Прокофий не согласился.

— Не трожь его, он и так мученый... Скоро солнце взойдет, и он сойдет с кургана в Чевенгур...

Всю остальную ночь Чепурный просидел в бессонном ожидании — он потушил лампу, чтобы не волновать спавших на кургане расходом ихнего керосина, и вынул знамя Чевревкома из чулана. Кроме того, Чепурный вычистил звезду на своем головном уборе и пустил в ход давно остановившиеся бесхозьяйственные стенные часы. Вполне приготовившись, Чепурный положил голову на руки и стал не думать, чтобы скорее прошло ночное время. И время прошло скоро, потому что время это ум, а не чувство, и потому что Чепурный ничего не думал в уме. Солома, на которой спали чевенгурцы, слегка увлажнилась от прохладной росы — это распускалось утро. Тогда Чепурный взял в руку знамя и пошел на тот край Чевенгура, против которого был курган, где спал пеший пролетариат.

Часа два стоял Чепурный со знаменем у плетня, ожидая рассвета и пробуждения пролетариата; он видел, как свет солнца разъедал туманную мглу над землей, как осветился голый курган, обдутый ветрами, обмытый водами, с обнаженной скучной почвой, — и вспоминал забытое зрелище, похожее на этот бедный курган, изглоданный природой за то, что он выдавался на равнине. На склоне кургана лежал народ и грел кости на первом солнце, и люди были подобны черным ветхим костям из рассыпавшегося скелета чьей-то огромной и погибшей жизни. Иные пролетарии сидели, иные лежали и прижимали к себе своих родственников или соседей, чтобы скорее согреться. Худой старик стоял в одних штанах и царапал себе ребра, а подросток сидел под его ногами и неподвижно наблюдал Чевенгур, не веря, что там приготовлен ему дом для ночлега навсегда. Два коричневых человека лежа искали друг у друга в голове, подобно женщинам, но они не смотрели в волосы, а ловили вшей на ощупь. Ни один пролетарий почему-то не спешил в Чевенгур, наверное, не зная, что здесь им приготовлен коммунизм, покой и общее имущество. Половина людей была одета лишь до середины тела, а другая половина имела одно верхнее сплошное платье в виде шинели либо рядна, а под шинелью и рядом было одно сухое обжитое тело, притерпевшееся к погоде, странствию и к любой нужде.

Равнодушно обитал пролетариат на том чевенгурском кургане и не обращал своих глаз на человека, который одиноко стоял на краю города со знаменем братства в руках. Над пустынной неприютностью степи всходило вчерашнее утомленное солнце, и свет его был пуст, словно над чужой забвенной страной, где нет никого, кроме брошенных людей на кургане, жмущихся друг к другу не от любви и родственности, а из-за недостатка одежды. Не ожидая ни помощи, ни дружбы, заранее чувствуя мученье в неизвестном городе, пролетариат на кургане не вставал на ноги, а еле шевелился ослабевшими силами. Редкие дети, облокотившись на спящих, сидели среди пролетариата, как зрелые люди, — они

одни думали, когда взрослые спали и болели. Старик перестал чесать ребра и снова лег на поясницу, прижав к своему боку мальчика, чтобы остуженный ветер не дул ему в кожу и кости. Чепурный заметил, что только один человек ел — он ссыпал что-то из горсти в рот, а потом жевал и бил кулаком по своей голове, лечя себя от боли в ней. «Где я видел все это таким же?» — вспоминал Чепурный. Тогда тоже, когда видел Чепурный в первый раз, поднималось солнце во сне тумана, дул ветер сквозь степь и на черном, уничтожаемом стихиями кургане лежали равнодушные несуществующие люди, которым надо было помочь, потому что те люди — пролетариат, и которым нельзя помочь, потому что они довольствовались единственным и малым утешением — бесцельным чувством привязанности один к другому; благодаря этой привязанности пролетарии ходили по земле и спали в степях целыми отрядами. Чепурный в прошлое время тоже ходил с людьми на заработки, жил в сараях, окруженный товарищами и застрахованный их сочувствием от неминуемых бедствий, но никогда не сознавал своей пользы в такой взаимно-неразлучной жизни. Теперь он видел своими глазами степь и солнце, между которыми находились люди на кургане, но они не владели ни солнцем, ни землею, — и Чепурный почувствовал, что взамен степи, домов, пищи и одежды, которые приобрели для себя буржуи, пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку надо что-нибудь иметь; когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силы на заботу о том имуществе, а когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне.

В гораздо более раннее время своей жизни — нельзя вспомнить когда: год назад или в детстве — Чепурный видел этот курган, этих забредших сюда классовых бедняков и это самое прохладное солнце, не работающее для степного малолюдства. Так уже было однажды, но когда — нельзя было узнать в своем слабом уме; лишь Прокофий смог бы отгадать воспоминание Чепурного, и то — едва ли: потому что все это, видимое нынче, Чепурный знал давно, но давно этого не могло быть, раз сама революция началась недавно. И Чепурный, вместо Прокофия, попробовал себе сформулировать воспоминание; он чувствовал сейчас тревогу и волнение за тот приникший к кургану пролетариат и постепенно думал, что нынешний день пройдет — он уже был когда-то и миновал; значит, напрасно сейчас горевать — все равно этот день кончится, как прожит и забыт тот, прежний день. «Но такой курган, тем более с пещим пролетариатом, без революции не заметишь! — соображал Чепурный. — Хотя — я и мать хоронил дважды: шел за гробом, плакал и вспоминал — раз я уже ходил за этим гробом, целовал эти заглохшие губы мертвой, и выжил — выживу и теперь; и тогда мне стало легче горевать во второй раз по одному горю. Что это такое, скажи пожалуйста?»

«Это кажется, что вспоминаешь, а того и не было никогда, — здраво формулировал Чепурный благодаря отсутствию Прокофия. — Трудно мне, вот и помогает внутри благочестивая стихия: ничего, дескать, это уж было, и теперь не умрешь — шагай по своему же следу. А следа нет и быть не может — живешь всегда вперед и в темноту... Чего это из нашей организации нет никого? Может, пролетариат оттого и не поднимается с кургана, что ждет почета к себе?»

Из кирпичного дома вышел Кирей. Чепурный крикнул ему, чтоб он звал сюда всю организацию, так как явились массы и уже пора. Организация, по требованию Кирея, проснулась и пришла к Чепурному.

— Кого ты нам привел? — спросил Чепурный у Прокофия. — Раз на том кургане пролетариат, то почему он не занимает своего города, скажи пожалуйста?

— Там пролетариат и прочие, — сказал Прокофий.

Чепурный озаботился.

— Какие прочие? Опять слой остаточной сволочи?

— Что я — гад, или член? — уже обиделся тут Прокофий. — Прочие и есть прочие — никто. Это еще хуже пролетариата.

— Кто ж они? Был же у них классовый отец, скажи пожалуйста! Не в бурьяне же ты их собрал, а в социальном месте.

— Они — безотцовщина, — объяснил Прокофий. — Они нигде не жили, они бредут.

— Куда бредут? — с уважением спросил Чепурный: ко всему неизвестному и опасному он питал достойные чувства. — Куда бредут? Может, их окоротить надо?

Прокофий удивился такому бессознательному вопросу:

— Как куда бредут? Ясно — в коммунизм, у нас им полный окорот.

— Тогда иди и кличь их скорее сюда. Город, мол, ваш и прибран по-хозяйски, а у плетня стоит авангард и желает пролетариату счастья и — этого... скажи: всего мира, все равно он ихний.

— А если они от мира откажутся? — заранее спросил Прокофий. — Может, им одного Чевенгура пока вполне достаточно...

— А мир тогда кому? — запутался в теории Чепурный.

— А мир нам, как базу.

— Сволочь ты: так мы же авангард — мы ихние, а они — не наши... Авангард ведь не человек, он мертвая защита на живом теле: пролетариат — вот кто тебе человек! Иди скорее, полугад!

Прокофий сумел быстро организовать на кургане имевшихся там пролетариев и прочих. Людей на кургане оказалось много, больше, чем видел Чепурный, — человек сто или двести, и все — разные на вид, хотя по необходимости одинаковые — сплошной пролетариат.

Люди начали сходиться с голого кургана на Чевенгур. Чепурный всегда с трогательностью чувствовал пролетариат и знал, что он есть на свете в виде неутомимой дружной силы, помогающей солнцу кормить кадры буржуазии, потому что солнца хватает только для сытости, но не для жадности; он догадывался, что тот шум в пустом месте, который раздавался в ушах Чепурного на степных ночлегах, есть гул угнетенного труда мирового рабочего класса, день и ночь движущегося вперед на добычу пищи, имущества и покоя для своих личных врагов, размножающихся от трудовых пролетарских веществ; Чепурный, благодаря Прокофию, имел в себе убедительную теорию о трудящихся, которые есть звери в отношении неорганизованной природы и герои будущего; но сам для себя Чепурный открыл одну успокоительную тайну, что пролетариат не любит вид природы, а уничтожает ее посредством труда, — это буржуазия живет для природы: и размножается, — а рабочий человек живет для товарищей: и делает революцию. Неизвестно одно — нужен ли труд при социализме, или для пропитания достаточно одного природного самотека? Здесь Чепурный больше соглашался с Прокофием, — с тем, что солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм, всякая же работа и усердие изобретены эксплуататорами, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась ненормальная прибавка.

Чепурный ожидал в Чевенгур сплоченных героев будущего, а увидел людей, идущих не поступью, а своим шагом, увидел нигде не встречавшихся ему товарищей — людей без выдающейся классовой наружности и без революционного достоинства, — это были какие-то безымянные прочие, живущие без всякого значения, без гордости и отдельно от приближающегося всемирного торжества; даже возраст прочих был неуловим — одно было видно, что они — бедные, имеющие лишь произвольно выросшее тело и чужие всем; оттого прочие шли тесным отрядом и глядели больше друг на друга, чем на Чевенгур и на его партийный авангард.

Один прочий поймал муху на голой спине переднего старика и с жестокостью убил ее оземь, а затем погладил спину старика, чтобы не осталось царапины или следа прикосновения, — и Чепурный смутно изменился в своем удивленном чувстве к прочим. Быть может, они, эти пролетарии и прочие, служили друг для друга единственным имуществом и достоянием жизни, вот почему они так бережно глядели один на другого, плохо замечая Чевенгур и тщательно охраняя товарищей от мух, как буржуазия хранила собственные дома и скотину.

Спустившиеся с кургана уже подошли к Чевентуру. Чепурный, не умея выразительно формулировать свои мысли, попросил о том Прокофия, и Прокофий охотно сказал подошедшим пролетариям:

— Товарищи неимущие граждане! Город Чевенгур вам хотя и дается, но не для хищничества обнищавших, а для пользы всего завоеванного имущества и организации широкого братского семейства ради целостности города. Теперь мы неизбежно братья и семейство, поскольку наше хозяйство социально объединено в один двор. Поэтому живите здесь честно — во главе ревкома!

Чепурный спросил у Жеева, отчего он выдумал ту надпись на холстине, что повешена как символ на том краю города.

— Я про нее не думал, — сообщил Жеев, — я ее по памяти сообразил, а не сам... Слышал где-нибудь, голова ведь разное держит...

— Обожди! — сказал Чепурный Прокофию и лично обратился к пешим беднякам, стоявшим массой вокруг чевенгурцев:

— Товарищи!.. Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть отец, а многие мы — с начала жизни определенная безотцовщина. Мы — не братья, мы товарищи, — ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества... А затем — вы зря не пришли с того края города, там висит наш символ и там сказано неизвестно кем, — но все равно писано, и мы так желаем: лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга, — а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь скорее всего! Я кончил и передаю вам привет от Чевенгурского ревкома...

Пролетариат с кургана и прочие тронулись и пошли в глубь города, ничего не выразив и не воспользовавшись речью Чепурного для развития своей сознательности; их сил хватало для жизни только в текущий момент, они жили без всякого излишка, потому что в природе и во времени не было причин ни для их рождения, ни для их счастья — наоборот, мать каждого из них первая заплакала, нечаянно оплодотворенная прохожим и потерянном отцом; после рождения они оказались в мире прочими и ошибочными — для них ничего не было приготовлено, меньше чем для былинки, имеющей свой корешок, свое место и свое даровое питание в общей почве.

Прочие же заранее были рождены без дара: ума и щедрости чувств в них не могло быть, потому что родители зачали их не избытком тела, а своею ночною тоской и слабостью грустных сил, — это было взаимное забвение двоих спрятавшихся, тайно живущих на свете людей, — если бы они жили слишком явно и счастливо, их бы уничтожили действительные люди, которые числятся в государственном населении и ночуют на своих дворах. Ума в прочих не должно существовать — ум и оживленное чувство могли быть только в тех людях, у которых имелся свободный запас тела и теплота покоя над головой, но у родителей прочих были лишь остатки тела, истертого трудом и протравленного едким

горем, а ум и сердечно-чувствительная заунывность исчезли как высшие признаки, за недостатком отдыха и нежно-питательных веществ. И прочие появились из глубины своих матерей среди круглой беды, потому что матери их ушли от них так скоро, как только могли их поднять ноги после слабости родов, чтобы не успеть увидеть своего ребенка и нечаянно не полюбить его навсегда. Оставшийся маленький прочий должен был самостоятельно делать из себя будущего человека, не надеясь ни на кого, не ощущая ничего, кроме своих теплящихся внутренностей; кругом был внешний мир, а прочий ребенок лежал посреди него и плакал, сопротивляясь этим первому горю, которое останется незабвенным на всю жизнь, — навеки утраченной теплоте матери.

Оседлые, надежно-государственные люди, проживающие в уюте классовой солидарности, телесных привычек и в накоплении спокойствия, — те создали вокруг себя подобие материнской утробы и посредством этого росли и улучшались, словно в покинутом детстве; прочие же сразу ощущали мир в холоде, в траве, смоченной следами матери, и в одиночестве, за отсутствием охраняющих продолжающихся материнских сил. Ранняя жизнь, равно и пройденное пространство земли, соответственное прожитой, осиленной жизни, вспоминались прочими как нечто чуждое исчезнувшей матери и некогда мучавшее ее. Но чем же была их жизнь и те редконаселенные дороги, в образе которых мир длился в сознании прочих? Никто из прочих не видел своего отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по утраченному покою, — тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в опустошающую грусть. С матери после своего рождения ребенок ничего не требует — он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не обижались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, подрастая, ребенок ожидает отца, он уже до конца насыщается природными силами и чувствами матери — все равно, будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, — ребенок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и его первым другом-товарищем, после неотвязной теплоты матери, после стеснения жизни ее ласковыми руками, — является отец. Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашел своего отца и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и живущего; поэтому отец превращался во врага и ненавистника матери, — всюду отсутствующего, всегда обрекающего бессильного сына на риск жизни без помощи — и оттого без удачи. И жизнь прочих была безотцовщиной, — она продолжалась на пустой земле без того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей детям в наследство — для замены себя. У прочих не хватало среди белого света только одного — отца, и старик, чесавший ребра на кургане, пел впоследствии песню в Чевенгуре, сам волнуясь от нее:

Кто отопрет мне двери,
Чужие птицы, звери?!
И где ты, мой родитель,
Увы — не знаю я!..

Почти каждый из тех, чье пришествие приветствовала чевенгурская большевистская организация, сделал из себя человека личными силами, окруженный неистовством имущих людей и смертью бедности, — это были сплошь самодельные люди; неувидительна трава на лугу, где ее много и она живет плотной самозащитой и место под нею влажное, — так можно выжить и вырасти без особой страсти и надобности; но странно и редко, когда в голую глину или в странствующий песок падают семена из безымянного бурьяна, движимого бурей, и те семена дают следующую жизнь — одинокую, окруженную пустыми странами света и способную находить питание в минералах. У других людей имелось целое вооружение для укрепления и развития собственной драгоценной жизни, у прочих же было лишь единственное оружие, чтобы удержаться на земле, это остаток родительской теплоты в младенческом теле, но и этого прочему, безымянному человеку было достаточно, чтобы уцелеть, возмужать и пройти живым к своему будущему. Такая прошлая жизнь растратила силы пришедших в Чевенгур, и оттого они показались Чепурному немощными и непролетарскими элементами, словно они всю жизнь грелись и освещались не солнцем, а луной. Но, истратив все силы на удержание в себе той первоначальной родительской теплоты — против рвущего с корнем встречного ветра чужой, враждебной жизни, — и умножив в себе ту теплоту, за счет заработка у именного настоящего народа, прочие создали из себя самодельных людей неизвестного назначения; причем такое упражнение в терпении и во внутренних средствах тела сотворили в прочих ум, полный любопытства и сомнения, быстрое чувство, способное променять вечное блаженство на однородного товарища, потому что этот товарищ тоже не имел ни отца, ни имущества, но мог заставить забыть про то и другое, — и еще несли в себе прочие надежду, уверенную и удачную, но грустную, как утрата. Эта надежда имела свою точность в том, что если главное — сделаться живым и целым — удалось, то удастся все остальное и любое, хотя бы потребовалось довести весь мир до его последней могилы; но если главное исполнено и пережито, — и не было встречено самого нужного — не счастья, а необходимости, — то в оставшейся недожитой жизни найти некогда потерянное уже не успеешь, — либо то утраченное вовсе исчезло со света: многие прочие исходили все открытые и все непроходимые дороги и не нашли ничего.

Кажущаяся немощь прочих была равнодушием их силы, а слишком большой труд и мучение жизни сделали их лица нерусскими. Это

Чепурный заметил первым из чевенгурцев, не обратив внимания, что на пришедшем пролетариате и прочих висело настолько мало одежды, будто им были не страшны ни встречные женщины, ни холод ночей. Когда прибывший класс разошелся по чевенгурским усадьбам, Чепурный начал сомневаться.

— Какой же ты нам пролетариат доставил, скажи пожалуйста? — обратился он к Прокофию. — Это же одно сомнение, и они нерусские!

Прокофий взял знамя из рук Чепурного и прочел про себя стих Карла Маркса на нем.

— Ого — не пролетариат! — сказал он. — Это тебе класс первого сорта, ты его только вперед веди, он тебе и не пикнет. Это же интернациональные пролетарии: видишь, они не русские, не армяне, не татары, а — никто. Я тебе живой интернационал пригнал, а ты тоскуешь...

Чепурный что-то задумчиво почувствовал и тихо сообщил:

— Нам нужна железная поступь пролетарских батальонов — нам губком циркуляр про это прислал, а ты сюда прочих припер! Какая же тебе поступь у босого человека?

— Ничего, — успокоил Чепурного Прокофий, — пускай они босые, зато у них пятки так натрудились, что туда шурупы можно отверткой завинчивать. Они тебе весь мир во время всемирной революции босиком пройдут...

Пролетарии и прочие окончательно скрылись в чевенгурских домах и стали продолжать свою прошлую жизнь. Чепурный пошел разыскивать среди прочих худого старика, чтобы пригласить его на внеочередное заседание ревкома, в котором скопилось достаточно много организационных дел. Прокофий вполне с этим согласился и сел в кирпичном доме писать проекты резолюций.

Худой старик лежал на вымытом полу в бывшем доме Щапова, а около него сидел другой человек, которому можно дать от 20-ти до 60-ти лет, и распускал нитки на каких-то детских штанах, чтобы потом самому в них влезть.

— Товарищ, — обратился Чепурный к старику. — Ты бы шел в кирпичный дом. Там ревком, и ты там необходим.

— Дойду, — пообещал старик. — Как встану, так вас не миную, у меня нутрѣ заболело, как кончит болеть, то меня жди.

Прокофий в то время уже сидел за революционными бумагами из города и зажег лампу, несмотря на светлый день. Перед началом заседаний Чевенгурского ревкома всегда зажигалась лампа, и она горела до конца обсуждения всех вопросов — этим самым, по мнению Прокофия Дванова, создавался современный символ, что свет солнечной жизни на земле должен быть заменен искусственным светом человеческого ума.

На торжественное заседание ревкома прибыла вся основная большевистская организация Чевенгура, а некоторые из прибывших прочих присутствовали стоя, с совещательными голосами. Чепурный сидел рядом с Прокофием и был в общем доволен — все ж таки ревком сумел удержать город до заселения его пролетарской массой и теперь коммунизм в Чевенгуре упрочен навсегда. Не хватало только старика, по виду наиболее опытного пролетария, — должно быть, его внутренность все еще болела. Тогда Чепурный послал за стариком Жеева, чтобы тот сначала нашел где-нибудь в чулане какую-либо успокаивающую травяную настойку, дал бы ее старику, а затем осторожно привлек сюда самого старика.

Через полчаса Жеев явился вместе со стариком, сильно пободревшим от лопуховой настойки и оттого, что Жеев хорошо растер ему спину и живот.

— Садись, товарищ, — сказал Прокофий старику. — Видишь, о тебе целые социальные заботы проявили, при коммунизме скоро не помрешь!

— Давайте начинать, — определил Чепурный. — Раз коммунизм наступил, то нечего от него пролетариат на заседания отвлекать. Читай, Прош, циркуляры губернии и давай навстречу им наши формулировки.

— О предоставлении сводных сведений, — начал Прокофий, — по особой форме, приложенной к нашему циркуляру номер 438101, буква А, буква Сэ и еще Ч, о развитии нэпа по уезду и о степени, темпе и проявлении развязывания сил противоположных классов в связи с нэпом, а также о мерах против них и о внедрении нэпа в жесткое русло...

— Ну, а мы им что? — спросил Чепурный Прокофия.

— А я им табличку составлю, где все изложу нормально.

— Так мы же посторонние классы не развязывали, они сами пропали от коммунизма, — возразил Чепурный и обратился к старику: — Как ты смотришь, скажи пожалуйста?

— Так будет терпимо, — заключил старик.

— Так и формулируй: терпимо без классов, — указал Прокофию Чепурный. — Давай более важные вопросы.

Дальше Прокофий прочитал директиву о срочной организации потребительской кооперации, взамен усиления частной торговли, поскольку кооперация является добровольной открытой дорогой масс в социализм и далее.

— Это нас не касается, это для отсталых уездов, — отверг Чепурный, потому что он все время имел внутри себя главную мысль — про доделанный коммунизм в Чевенгуре. — Ну, а ты как бы это сформулировал? — спросил Чепурный мнение старика.

— Терпимо, — сформулировал тот.

Но Прокофий сообразил что-то иное.

— Товарищ Чепурный, — сказал он. — А может, нам вперед товаров для той кооперации попросить: пролетариат ведь надвинулся, для него надо пищу копить.

Чепурный удивленно возмущился.

— Так ведь степь же сама заросла чем попало — пойдй нарви купырей и пшеницы, и ешь. Ведь солнце же светит, почва дышит и дождя падают — чего ж тебе надо еще? Опять хочешь пролетариат в напрасное усердие загнать? Мы же далее социализма достигли, у нас лучше его.

— Я присоединяюсь, — согласился Прокофий. — Я на минуту нарочно забыл, что у нас организовался коммунизм. Я ведь ездил по другой площади, так оттуда до социализма далеко, и им надо сквозь кооперацию мучиться и проходить... Следующим пунктом у нас идет циркуляр о профсоюзах — о содействии своевременным членским взносам...

— Кому? — спросил Жеев.

— Им, — без спроса и без соображения ответил Кирей.

— Кому им? — не знал Чепурный.

— Не указано, — поискал в циркуляре Прокофий.

— Напиши, чтоб указали, кому и зачем те взносы, — привыкал формулировать Чепурный. — Может, это беспартийная бумага, а может — там богатые должности на эти взносы организуют, а должность, брат, не хуже имущества — борись тогда с ними опять, с остаточной сволочью, когда тут целый коммунизм лежит в каждой душе и каждому хранить его охота...

— Этот вопрос я пока замечу себе в уме — поскольку тут классовые неясности, — определил Прокофий.

— Складывай в ум, — подтвердил Жеев. — В уме всегда остальцы лежат, а что живое — то тратится, и того в ум не хватает.

— Отлично, — согласовал Прокофий, и пошел дальше. — Теперь есть предложение образовать плановую комиссию, чтобы она составила цифру и число всего прихода-расхода жизни-имущества до самого конца...

— Чего конца: всего света или одной буржуазии? — уточнял Чепурный.

— Не обозначено. Написано — «потребности, затраты, возможности и дотации на весь восстановительный период до его конца». А дальше предложено: «для сего организовать улан, в коем сосредоточить всю предпосылочную, согласовательную и регуляционно-сознательную работу, дабы из стихии какофонии капиталистического хозяйства получить гармонию симфонии объединенного высшего начала и рационального признака». Написано все четко, потому что это задание...

Здесь чевенгурский ревком опустил голову как один человек: из бумаги исходила стихия высшего ума, и чевенгурцы начали изнемогать от него, больше привыкнув к переживанию вместо предварительного соображения. Чепурный понюхал для своего возбуждения табаку и покорно попросил:

— Прощ, дай нам какую-нибудь справочку.

Старик уставился терпеливыми глазами на весь опечаленный чевенгурский народ, погоревал что-то про себя и ничего не произнес на помощь.

— У меня проект резолюции заготовлен: справочкой здесь не исчерпаешь, — сказал Прокофий и начал рыться в своем пуде бумаги, где было обозначено все, что позабыто чевенгурскими большевиками.

— А это для кого ж нужно: для них, или для здешних? — проговорил старик. — Я про то чтение по бумаге говорю: чья там забота в письме написана — про нас или про тамошних?

— Определенно, про нас, — объяснил Прокофий. — В наш адрес прислано для исполнения, а не для чтения вслух.

Чепурный оправился от изнеможения и поднял голову, в которой созрело решительное чувство.

— Видишь, товарищ, они хотят, чтоб умнейшие выдумали течение жизни раз навсегда и навеки и до того, пока под землю каждый ляжет, а прочим не выходить из плавности и терпеть внутри излишки...

— А для кого ж в этом нужда? — спросил старик и безучастно прикрыл глаза, которые у него испортились от впечатления обойденного мира.

— Для нас. А для кого ж, скажи пожалуйста? — волновался Чепурный.

— Так мы сами и проживем наилучше, — объяснил старик. — Эта грамотка не нам, а богатому. Когда богатые живы были, мы о них и заботились, а о бедном горевать никому не надо — он на порожном месте без всякой причины вырос. Бедный сам себе гораздо разумный человек — он другим без желанья целый свет, как игрушку, соорил, а себя он и во сне убережет, потому что — не себе, так другому, а каждый — дорог...

— Говоришь ты, старик, вполне терпимо, — заключил Чепурный. — Так, Прощ, и формулируй: пролетариат и прочие в его рядах сами своей собственной заботой организовали весь жилой мир, а потому, дескать, заботиться о первоначальных заботчиках стыд и позор, и нету в Чевенгуре умнейших кандидатов. Так, что ли, старик?

— Так будет терпимо, — оценил старик.

— Писец плотнику хату не поставит, — высказался Жеев.

— Пастух сам знает, когда ему молоко пить, — сообщил за себя Кирей.

— Пока человека не кончишь, он живет дуром, — дал свой устоявшийся голос Пиюся.

— Принято почти единогласно, — подсчитал Прокофий. — Переходим к текущим делам. Через восемь дней в губернии состоится партконференция, и туда зовут от нас делегата, который должен быть председателем местной власти...

— Поезжай, Чепурный, чего ж тут обсуждать, — сказал Жеев.

— Обсуждать нечего, раз предписано, — указал Прокофий.

Старик-прочий присел на корточки и, нарушая порядок дня, неопределенно спросил:

— А кто же вы-то будете?

— Мы — ревком, высший орган революции в уезде, — с точностью ответил Прокофий. — Нам даны ревнародом особые правомочия в пределах нашей революционной совести.

— Так, стало быть, вы тоже умнейшие, что бумагу пишут до смерти вперед?! — вслух догадался старик.

— Стало быть, так, — с полномочным достоинством подтвердил Прокофий.

— Ага, — благодарно произнес старик, — а я стоял-чуял, что вы добровольно сидите — дела вам сурьезного не дают.

— Нет-нет, — говорил Прокофий, — мы здесь всем городом и уездом беспрерывно руководим, вся забота за охрану революции возложена на нас. Понял, старик, отчего ты в Чевенгуре гражданином стал? От нас!

— От вас? — переспросил старик. — Тогда вам от нас спасибо.

— Не за что, — отверг благодарность Прокофий. — Революция — наша служба и обязанность. Ты только слушайся наших распоряжений, тогда — жив будешь и тебе будет отлично.

— Стой, товарищ Дванов, — не увеличивай своей должности вместо меня, — серьезно предупредил Чепурный. — Пожилой товарищ делает нам замечание по вопросу необходимого стыда для власти, а ты его затемняешь! Говори, товарищ прочий.

Старик сначала помолчал — во всяком прочем сначала происходила не мысль, а некоторое давление темной теплоты, а затем она кое-как выговаривалась, охлаждаясь от истечения.

— Я стою и гляжу, — сообщил старик, что видел. — Занятье у вас слабое, а людям вы говорите важно, будто сидите на бугре, а прочие — в логу. Сюда бы посадить людей болящих — переживших свои дожитки, которые уж по памяти живут: у вас же сторожевое, легкое дело. А вы люди еще твердые — вам бы надо потрудней жить...

— Ты что, председателем уезда хочешь стать? — впрямую спросил Прокофий.

— Боже избавь, — застыдился старик. — Я в сторожах-колотушечниках сроду не ходил. Я говорю — власть дело неумелое, в нее надо самых ненужных людей сажать, а вы же все годные.

— А что годным делать? — вел старика Прокофий, чтобы довести его до диалектики и в ней опозорить.

— А годным, стало быть, жить: в третье место не денешься.

— А для чего жить? — плавно поворачивал Прокофий.

— Для чего? — остановился старик — он не мог думать спешно. — Пускай для того, чтобы на живом кожа и ногти росли.

— А ногти для чего? — сужал старика Прокофий.

— А ногти же мертвые, — выходил старик из узкого места. — Они же растут изнутри, чтоб мертвое в середине человека не оставалось. Кожа и ногти всего человека обволакивают и берегут.

— От кого? — затруднял дальше Прокофий.

— Конечно — от буржуазии, — понял спор Чепурный. — Кожа и ногти — советская власть. Как ты сам себе не можешь сформулировать?

— А волос — что? — поинтересовался Кирей.

— Все равно что шерсть, — сказал старик, — режь железом, овце не больно.

— А я думаю, что зимой ей будет холодно, она умрет, — возразил Кирей. — Я одна, мальчишкой был, котенка остриг и в снег закопал — я не знал, человек он или нет. А потом у котенка был жар и он замучился.

— Я так в резолюции формулировать не могу, — заявил Прокофий. — Мы же — главный орган, а старик пришел из ненаселенных мест, ничего не знает и говорит, что мы — не главные, а какие-то ночные сторожа и нижняя квалификация, куда одних плохих людей надо девать, а хорошие пусть ходят по курганам и пустым районам. Эту резолюцию и на бумаге написать нельзя, потому что бумагу делают рабочие тоже благодаря правильному руководству власти.

— Ты постой обижаться, — остановил гнев Прокофия старик. — Люди живут, а иные работают в своей нужде, а ты сидишь и думаешь в комнате, будто они тебе известные и будто у них своего чувства нету в голове.

— Э, старик, — поймал наконец Прокофий. — Так вот что тебе надо! Да как же ты не поймешь, что нужна организация и сплочение раздробленных сил в одном определенном русле! Мы сидим не для одной мысли, а для сбора пролетарских сил и для их тесной организации.

Пожилой пролетарий ничем не убедился:

— Так раз ты их собираешь, — стало быть, они сами друг друга хотят! А я тебе и говорю, что твое дело верное, — значит, тут и всякий, у кого даже мочи нет, управится; в ночное время — и то твое дело не украдут.

— Либó ты хочешь, чтоб мы по ночам занимались? — совестливо спросил Чепурный.

— Пока вам охота — так лучше по ночам, — разрешил прочий-старик. — Днем пеший человек пойдет мимо, ему ничего — у него своя дорога, а вам от него будет срам: сидим, дескать, мы и обдумываем чужую жизнь вместо самого живого, а живой прошел мимо и, может, к нам не вернется...

Чепурный поник головой и почувствовал в себе жжение стыда: как я никогда не знал, что я от должности умней всего пролетариата? — смутно томился Чепурный. — Какой же я умный, когда — мне стыдно, и я боюсь пролетариата от уважения?

— Так и формулируй, — после молчания всего ревкома сказал Чепурный Прокофию. — Впредь назначать заседания ревкома по ночам, а кирпичный дом освободить под пролетариат.

Прокофий искал выхода.

— А какие основания будут, товарищ Чепурный? Они мне для мотивировки нужны.

— Основания тебе? Так и клади... Стыд и позор перед пролетариатом и прочими, живущими днем. Скажи, что маловажные дела, наравне с неприличием, уместней кончать в невидимое время...

— Ясно, — согласился Прокофий. — Ночью человек получает больше сосредоточенности. А куда ревком перевести?

— В любой сарай, — определил Чепурный. — Выбери, какой похуже.

— А я бы, товарищ Чепурный, предложил храм, — внес поправку Прокофий. — Так больше будет противоречия, а здание все равно для пролетариата неприлично.

— Формулировка подходящая, — заключил Чепурный. — Закреплай ее. Еще что есть в бумаге? Кончай скорее, пожалуйста!

Прокофий отложил все оставшиеся дела для личного решения и доложил лишь одно — наиболее маловажное и скорое для обсуждения.

— Еще есть организация массового производительного труда в форме субботников, для ликвидации разрухи и нужды рабочего класса, это должно воодушевлять массы вперед и означает собою великий почин.

— Чего — великий почин? — не расслышал Жеев.

— Понятно, почин коммунизма, — пояснил Чепурный, — отсталые районы его со всех концов начинают, а мы кончили.

— Покуда кончили, давай лучше не начинать, — сразу предложил Кирей.

— Кирюша! — заметил его Прокофий. — Тебя кооптировали, ты и сиди!

Старик-прочий все время видел на столе бугор бумаги: значит, много людей ее пишут — ведь рисуют буквы постепенно и на каждую идет ум, — один человек столько листов не испортит, если б один только писал, его бы можно легко убить, значит — не один думает за всех, а целая толика, тогда лучше откупиться от них дешевой ценой и уважить пока!

— Мы вам задаром тот труд поставим, — недовольно произнес старик, — мы его по дешевке подрядимся стронуть, только далее его не обсуждайте, это же одна обида.

— Товарищ Чепурный, у нас налицо воля пролетариата, — вывел следствие из слов старика Прокофий.

Но Чепурный только удивился:

— Какое тебе следствие, когда солнце без большевика обойдется! В нас же есть сознание правильного отношения к солнцу, а для труда у нас нужды нет! Сначала надо нужду организовать.

— Чего делать — найдем, — пообещал старик. — Людей у вас мало, а дворов много — может, — мы дома потесней перенесем, чтобы ближе жить друг к другу.

— И сады можно перетащить — они легче, — определил Кирей. — С садами воздух бывает густей, и они питательные.

Прокофий нашел в бумагах доказательство мысли старика: все, оказывается, уже было выдуманно вперед умнейшими людьми, непонятно расписавшимися внизу бумаги и оттого безвестными, осталось лишь плавно исполнять свою жизнь по чужому записанному смыслу.

— У нас есть отношение, — просматривал бумаги Прокофий, — на основании которого Чевенгур подлежит полной перепланировке и благоустройству. А вследствие того — дома переставить, а также обеспечить прогон свежего воздуха посредством садов, — определенно надлежит.

— Можно и по благому устройству, — согласился старик.

Весь Чевенгурский ревком как бы приостановился — чевенгурцы часто не знали, что им думать дальше, и они сидели в ожидании, а жизнь в них шла самотеком.

— Где начало, там и конец, товарищи, — сказал Чепурный, не зная, что он будет говорить потом. — Жилиял нас враг навстречу, а мы его жилияли из ревкома, а теперь вместо врага пролетариат настал, либо мы его жилиять должны, либо ревком не нужен!

Слова в Чевенгурском ревкоме произносились без направления к людям, точно слова были личной естественной надобностью оратора, и часто речи не имели ни слов, ни предложений, а заключали в себе одно удивленное сомнение, которое служило материалом не для резолюций, а для переживаний участников ревкома.

— Кто мы такие? — впервые думал об этом вслух Чепурный. — Мы — больше ничего, как товарищи угнетенным людям стран света. И нам не надо отрываться из теплого потока всего класса вперед, либо стоять кучей — как он хочет, а класс тот целый мир сделал, чего ж за него мучиться и думать, скажи пожалуйста? Это ему — такая обида, что он нас в остатки сволочи смело зачислит! Здесь мы и покончим заседание — теперь все понятно и у всех на душе тихо!

Старик-прочий временами болел ветрами и потоками — это произошло с ним от неравномерного питания: иногда долго не бывало пищи, тогда, при первом случае, приходилось ее есть впрок, но желудок благодаря этому утомлялся и начинал страдать извержениями. В такие дни старик отлучал себя ото всех людей и жил где-нибудь нелюдимо. С жадностью покушав в Чевенгуре, старик еле дождался конца заседания ревкома и сейчас же ушел в бурьян, лег там на живот и начал страдать, забыв обо всем, что ему было дорого и мило в обыкновенное время.

Чепурный вечером выехал в губернию, — на той же лошади, что ездила за пролетариатом. Он поехал один, в начале ночи, в тьму того мира, о котором давно забыл в Чевенгуре. Но, еле отъехав от околицы, Чепурный услышал звуки болезни старика и вынужден был обнаружить его, чтобы проверить причину таких сигналов в степи. Проверив, Чепурный поехал дальше, уже убежденный, что больной человек — это равнодушный контрреволюционер, но этого мало — следовало решить, куда девать при коммунизме страдальцев. Чепурный было задумался обо всех болящих при коммунизме, но потом вспомнил, что теперь за него должен думать весь пролетариат, и, освобожденный от мучительства ума, обеспеченный в будущей правде, задремал в одиноко гремевшей телеге с легким чувством своей жизни, немного тоскуя об уснувшем сейчас пролетариате в Чевенгуре. «Что нам делать еще с лошадьми, с коровами, с воробьями?» — уже во сне начинал думать Чепурный, но сейчас же отвергал эти загадки, чтобы покойно надеяться на силу ума всего класса, сумевшего выдумать не только имущество и все изделия на свете, но и буржуазию для охраны имущества; и не только революцию, но и партию для сбережения ее до коммунизма.

Мимо телеги проходили травы назад, словно возвращаясь в Чевенгур, а полусонный человек уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним из густой высоты, из вечного, но уже достижимого будущего, из того тихого строя, где звезды двигались, как товарищи, — не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция - это конец света. В будущем же мире игноренно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец - рыбац найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в Политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, ~~но всякий раз~~ ^{но всякий раз} наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро учебы Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны - в степной город ~~Урючев~~ ^{Урючев}.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви. О ней Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предостережительные слова.

- Ты, ведь, Саш, уже взрослый мальчик - сам все знаешь... Главное, не надо этим делом нарочно заниматься - это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целий империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле, ~~но всякий раз~~ ^{но всякий раз} воображал себя подлым

Когда подали оборный эшелон и Александр пролез в вагон, Захар Павлович подросил его с платформе:

- Напиши мне когда-нибудь письмо. Что жиг, мол, и адров - только и всего...

- Да я больше напишу, - ответил Саша, ~~только сейчас заметив, какой старый и сиротливый человек - Захар Павлович~~

Вокзальный колокол звонил уже пять, и все по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу не пока-

по машине

Урючев

Урючев

Короче по машинисту

Саша

Машинопись романа с авторской правкой.

ИМЛИ

Копенкин погружался в Чевенгур, как в сон, чувствуя его тихий коммунизм теплым покоем по всему телу, но не как личную высшую идею, уединенную в маленьком тревожном месте груди. Поэтому Копенкин хотел полной проверки коммунизма, чтобы он сразу возбудил в нем увлечение, поскольку его любила Роза Люксембург, а Копенкин уважает Розу.

— Товарищ Люксембург — это женщина! — объяснял Копенкин Пашинцеву. — Тут же люди живут раскинувшись, навзничь, через пузо у них нитки натянута, у иного в ухе серьга, — я думаю, для товарища Люксембург это неприлично, она бы здесь засовестилась и усомнилась, вроде меня! А ты?

Пашинцев Чевенгура нисколько не проверял — он уже знал всю его причину.

— Чего ей срамиться, — сказал он, — она тоже была баба с револьвером. Тут просто ревазповедник, какой был у меня, и ты его там видел, когда ночевал.

Копенкин вспомнил хутор Пашинцева, молчаливую босоту, ночевавшую в господском доме, и своего друга-товарища Александра Дванова, искавшего вместе с Копенкиным коммунизм среди простого и лучшего народа.

— У тебя был один приют заблудившемуся в эксплуатации человеку, — коммунизма у тебя не происходило. А тут он вырос от запустения — ходил кругом народ без жизни, пришел сюда и живет без движения.

Пашинцеву это было все равно: в Чевенгуре ему нравилось, он здесь жил для накопления сил и сбора отряда, чтобы грянуть впоследствии на свой ревазповедник и отнять революцию у командированных туда всеобщих организаторов. Всего больше Пашинцев лежал на воздухе, вздыхал и слушал редкие звуки из забытой чевенгурской степи.

Копенкин ходил по Чевенгуру один и проводил время в рассмотрении пролетариев и прочих, чтобы узнать — дорога ли им хоть отчасти Роза Люксембург, но они про нее совсем не слышали, словно Роза умерла напрасно и не для них.

Пролетарии и прочие, прибыв в Чевенгур, быстро доели пищевые остатки буржуазии и при Копенкине уже питались одной растительной добычей в степи. В отсутствие Чепурного, Прокофий организовал в Чевенгуре субботний труд, предписав всему пролетариату пересоставить город и его сады; но прочие двигали дома и носили сады не ради труда, а для оплаты покоя и ночлега в Чевенгуре и с тем, чтобы откупиться от власти и от Прошки. Чепурный, возвратившись из губернии, оставил распоряжение Прокофия на усмотрение пролетариата, надеясь, что пролетариат в заключение своих работ разберет дома, как следы своего

угнетения, на ненужные части, и будет жить в мире без всякого прикрытия, согревая друг друга лишь своим живым телом. Кроме того — неизвестно, настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло, поскольку солнце взошло в первый же день коммунизма и вся природа поэтому полностью на стороне Чевенгура.

Шло чевенгурское лето, время безнадежно уходило обратно жизни, но Чепурный, вместе с пролетариатом и прочими, остановился среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий и жил в покое своей радости, справедливо ожидая, что окончательное счастье жизни вырабатывается в никем отныне не тревожимом пролетариате. Это счастье жизни уже есть на свете, только оно скрыто внутри прочих людей, но и находясь внутри — оно все же вещество, и факт, и необходимость.

Один Копенкин ходил по Чевенгуру без счастья и без покойной надежды. Он бы давно нарушил чевенгурский порядок вооруженной рукой, если бы не ожидал Александра Дванова для оценки всего Чевенгура в целом. Но чем дальше уходило время терпения, тем больше трогал одинокое чувство Копенкина чевенгурский класс. Иногда Копенкину казалось, что чевенгурским пролетариям хуже, чем ему, но они все-таки смирнее его, быть может, потому, что втайне сильнее; у Копенкина было утешение в Розе Люксембург, а у пришлых чевенгурцев никакой радости не было впереди, и они ее не ожидали, довольствуясь тем, чем живут все неимущие люди, — взаимной жизнью с другими одинаковыми людьми, спутниками и товарищами своих пройденных дорог.

Он вспомнил однажды своего старшего брата, который каждый вечер уходил со двора к своей барышне, а младшие братья оставались одни в хате и скучали без него; тогда их утешал Копенкин, и они тоже постепенно утешались между собой, потому что это им было необходимо. Теперь Копенкин тоже равнодушен к Чевенгуру и хочет уехать к своей барышне — Розе Люксембург, а чевенгурцы не имеют барышни, и им придется остаться одним и утешаться между собой.

Прочие как бы заранее знали, что они останутся одни в Чевенгуре, и ничего не требовали ни от Копенкина, ни от ревкома — у тех были идеи и распоряжения, а у них имелась одна необходимость существования. Днем чевенгурцы бродили по степям, рвали растения, выкапывали корнеплоды и досыта питались сырыми продуктами природы, а по вечерам они ложились в траву на улице и молча засыпали. Копенкин тоже ложился среди людей, чтобы меньше тосковать и скорее проживалось время. Изредка он беседовал с худым стариком, Яковом Титычем, который, оказывается, знал все, о чем другие люди лишь думали или даже не сумели подумать; Копенкин же с точностью ничего не знал, потому что переживал свою жизнь, не охраняя ее бдительным и памятливым сознанием.

Яков Титыч любил вечерами лежать в траве, видеть звезды и сми-рять себя размышлением, что есть отдаленные светила, на них происхо-дит нелюдская неиспытанная жизнь, а ему она недостижима и не пред-назначена; Яков Титыч поворачивал голову, видел засыпающих соседей и грустил за них: «И вам тоже жить не дано», — а затем привставал, чтобы громко всех поздравить:

— Пускай не дано, зато вещество одинаковое, что я, что звезда, — человек не хам, он берет не по жадности, а по необходимости.

Копенкин тоже лежал и слышал подобные собеседования Якова Титыча со своей душой.

— Других постоянно жалко, — обращался к своему вниманию Яков Титыч, — взглянешь на грустное тело человека, и жалко его — оно замучается, умрет, и с ним скоро расстанешься, а себя никогда не жалко, только вспомнишь, как умрешь и над тобой заплачут, то жалко будет плачущих одних оставлять.

— Откуда, старик, у тебя смутное слово берется? — спросил Копен-кин. — Ты же классового человека не знаешь, а лежишь — говоришь...

Старик замолчал, и в Чевенгуре тоже было молчаливо.

Люди лежали навзничь, и вверху над ними медленно открывалась трудная, смутная ночь, — настолько тихая, что оттуда, казалось, иногда произносились слова и заснувшие вздыхали им в ответ.

— Чего ж молчишь, как темнота? — переспросил Копенкин. — О звезде горюешь? Звезды тоже — серебро и золото, не наша монета.

Яков Титыч своих слов не стыдился.

— Я не говорил, а думал, — сказал он. — Пока слово не скажешь, то умным не станешь, оттого что в молчании ума нету — есть одно му-ченье чувства...

— Стало быть, ты умный, раз говоришь, как митинг? — спросил Копенкин.

— Умный я стался не оттого...

— А отчего ж? Научи меня по-товарищески, — попросил Копен-кин.

— Умный я стался, что без родителей, без людей человека из себя сделал. Сколько живья и матерьялу я на себя добыл и пустил — сообра-зи своим умом вслух!

— Наверно, избыточно! — вслух подумал Копенкин.

Яков Титыч сначала вздохнул от своей скрытой совести, а потом открылся Копенкину:

— Истинно, что избыточно. На старости лет лежишь и думаешь, как после меня земля и люди целы? — сколько я делов поделал, сколько еды поел, сколько тягости изжил и дум передумал, будто весь свет на своих руках истратил, а другим одно мое жеваное осталось! А после

увидел, что и другие на меня похожи, и другие с малолетства носят свое трудное тело, и всем оно терпится.

— Отчего с малолетства? — не понимал Копенкин. — Сиротою, что ли, рос, или сам отец от тебя отказался?

— Без родителя, — сказал старик. — Вместо него к чужим людям пришлось привыкать и самому без утешения всю жизнь расти...

— А раз у тебя отца не было, чего ж ты людей на звезды ценишь? — удивлялся Копенкин. — Люди тебе должны быть дороже: кроме них, тебе некуда спрятаться, твой дом посреди их на ходу стоит... Если б ты был настоящим большевиком, то ты бы все знал, а так — ты одна пожилая круглая сирота.

В середине города из первоначальной тишины началось стеланье ребенка, и все неспавшие его услышали, — до того тихо находилась ночь на земле и сама земля была под тою ночью как в отсутствии. И вслед мучению ребенка раздалось еще два голоса — матери того ребенка и тревожное ржание Пролетарской Силы. Копенкин сейчас же поднялся на ноги и расхотел спать, а привычный к несчастью старик сказал:

— Маленький плачет, — не то мальчик, не то девочка!

— Маленькие плачут, а старенькие лежат, — сердито обвинил Копенкин и ушел попоить лошадь, и утешить плачущего.

Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих, сидела в темных сенях, держала коленями и руками своего ребенка и часто дышала на него теплом из своего рта, чтобы помочь ребенку своей силой. Ребенок лежал тихо и покорно, не пугаясь мучений болезни, зажимающих его в жаркую одинокую тесноту, и лишь изредка стелал, не столько жалуясь, сколько тоскуя.

— Что ты, что ты, мой милый! — говорила ему мать. — Ну, скажи мне, где у тебя болит, я тебя там согрею, я тебя туда поцелую.

Мальчик молчал и глядел на мать полуприкрытыми, позабывшими ее глазами, и сердце его, уединенное в темноте тела, билось с такой настойчивостью, яростью и надеждой, словно оно было отдельным существом от ребенка и его другом, иссушающим скоростью своей горячей жизни потоки гнойной смерти; и мать гладила грудь ребенка, желая помочь его скрытому одинокому сердцу и как бы ослабляя струну, на которой звучала сейчас тонкая жизнь ее ребенка, чтобы эта струна не затихла и отдохнула. Сама мать была не только чувствительна и нежна сейчас, но и умна и хладнокровна — она боялась, как бы ей чего не забыть, не опоздать с той помощью ребенку, которую она знает и умеет.

Она зорко вспоминала всю жизнь, свою и виденную чужую, чтобы выбрать из нее все то, что нужно сейчас для облегчения мальчика, — и без людей, без посуды, лекарств и белья, во встреченном, безымянном

для нее городе мать-нищая сумела помочь ребенку, кроме нежности, еще и лечением; вечером она очистила ребенку желудок теплой водой, нагрела его тело припарками, напоила сахарной водой для питания и решила не засыпать, пока мальчик еще будет жив.

Но он не переставал мучиться, руки матери потели от нагревающегося тела ребенка, и он сморщил лицо и застонал от обиды, что ему тяжело, а мать сидит над ним и ничего ему не дает. Тогда мать дала ему сосать грудь, хотя мальчику уже шел пятый год, и он с жадностью начал сосать тощее редкое молоко из давно опавшей груди.

— Ну, скажи мне что-нибудь, — просила мать. — Скажи, чего тебе хочется!

Ребенок открыл белые, постаревшие глаза, подождал, пока насосется молока, и сказал как мог:

— Я хочу спать и плавать в воде: я ведь был больной, а теперь уморился. Ты завтра разбуди меня, чтобы я не умер, а то я забуду и умру.

— Нет, мальчик, — сказала мать. — Я всегда буду сторожить тебя, я тебе завтра говядины попрошу.

— Ты держи меня, чтоб побирушки не украли, — говорил мальчик, ослабевая, — им ничего не подают, они и воруют... Мне так скучно с тобой, лучше б ты заблудилась!

Мать поглядела на уже забывшегося ребенка и пожалела его.

— Если тебе, милый ты мой, жить на свете не суждено, — шептала она, — то лучше умри во сне, только не надо мучиться, я не хочу, чтоб ты страдал, я хочу, чтоб тебе было всегда прохладно и легко...

Мальчик сначала забылся в прохладе покойного сна, а потом сразу вскрикнул, открыл глаза и увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам.

— Мать, — говорит он матери, — ты дура-побирушка, кто ж тебя будет кормить на старости лет? Я и так худой, а ты меня другим подаешь!

Но мать не слышит его, она смотрит ему в глаза, уже похожие на речные мертвые камешки, и сама кричит таким заунывным голосом, что он делается равнодушным, забыв, что мальчик уже меньше мучается.

— Я лечила его, я берегла его, я не виновата, — говорила мать, чтоб уберечь себя от будущих годов тоски.

Чепурный и Копенкин пришли первыми из чевенгурских людей.

— Ты чего? — спросил нищенку Чепурный.

— Я хочу, чтоб он еще пожил одну минуту, — сказала мать.

Копенкин наклонился и пощупал мальчика — он любил мертвых, потому что и Роза Люксембург была среди них.

— Зачем тебе минута? — произнес Копенкин. — Она пройдет, и он снова помрет, а ты опять завоеешь.

— Нет, — пообещала мать. — Я тогда плакать не буду, я не поспела запомнить его, какой он был живой.

— Это можно, — сказал Чепурный. — Я же сам долго болел и вышел фельдшером из капиталистической бойни.

— Да ведь он кончился, чего ты его беспокоишь? — спросил Копенкин.

— Ну и что ж такое, скажи пожалуйста! — с суровой надежностью сказал Чепурный. — Одну минуту пожить сумеет, раз матери хочется: жил-жил, а теперь забыл! Если б он уже заledenел либо его черви тронули, а то лежит горячий ребенок — он еще внутри весь живой, только снаружи помер.

Пока Чепурный помогал мальчику пожить еще одну минуту, Копенкин догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма — женщина только что принесла ребенка, а он умер.

— Брось копать, больше его не организуешь, — указывал Копенкин Чепурному. — Раз сердце не чуется, значит, человек скрылся.

Чепурный, однако, не оставлял своих фельдшерских занятий — он ласкал мальчику грудь, трогал горло под ушами, всасывал в себя воздух из рта ребенка и ожидал жизни скончавшегося.

— При чем тут сердце, — говорил Чепурный в забвении своего усердия и медицинской веры, — при чем тут сердце, скажи ты мне, пожалуйста? Душа же в горле, я ж тебе то доказывал!

— Пускай она в горле, — согласился Копенкин, — она идея и жизнь не стережет, она ее тратит. А ты живешь в Чевенгуре, ничего не трудишься и от этого говоришь, что сердце ни при чем: сердце всему человеку батрак, оно — рабочий человек, а вы все эксплуататоры, и у вас нету коммунизма...

Мать принесла горячей воды на помощь лечению Чепурного.

— Ты не мучайся, — сказал ей Чепурный. — За него теперь будет мучиться весь Чевенгур, ты только маленькой частью будешь горевать...

— Когда ж он вздохнет-то? — слушала мать.

Чепурный поднял ребенка на руки, прижал его к себе и поставил между своих коленей, чтобы он находился на ногах, как жил.

— Как вы это без ума все делаете! — огорченно упрекнула мать.

В сени вошли Прокофий, Жеев и Яков Титыч; они стали к сторонке и ничего не спросили, чтоб не мешать.

— Мой ум тут не действует, — объяснил Чепурный, — я действую по памяти. Он и без меня должен твою минуту пожить — здесь действует коммунизм и вся природа заодно. В другом месте он бы еще вчера у тебя умер. Это он лишние сутки от Чевенгура прожил — тебе говорю.

«Вполне возможно, вполне так», — подумал Копенкин и выглянул на двор — посмотреть, нет ли какого видимого сочувствия мертвому в воздухе, в Чевенгуре или в небесах над ним. Но там менялась погода и ветер шумел в бурьяне, а пролетарии вставали с остывающей земли и шли ночевать в дома.

«Там одно и то же, как и при империализме, — передумал Копенкин, — так же волнуется погода и не видно коммунизма, — может быть, мальчик нечаянно вздохнет — тогда так».

— Больше не мучайте его, — сказала мать Чепурному, когда тот влил в покорные уста ребенка четыре капли постного масла. — Пусть он отдохнет, я не хочу, чтоб его трогали, он говорил мне, что умирался.

Чепурный почесал мальчику спекшиеся волосы на голове, уже темнеющие, потому что раннее детство умершего кончилось. На крышу сенец закапал быстрый, успокаивающийся дождь, но внезапный ветер, размахнувшись над степью, оторвал дождь от земли и унес его с собой в дальнюю темноту, — и опять на дворе стало тихо, лишь запахло сыростью и глиной.

— Сейчас он вздохнет и глянет на нас, — сказал Чепурный.

Пятеро чевенгурцев склонились над отчужденным телом ребенка, чтобы сразу заметить его повторившуюся жизнь в Чевенгуре, так как она будет слишком коротка. Мальчик молча сидел на коленях у Чепурного, а мать сняла с него теплые чулочки и нюхала пот его ног. Прошла та минута, которую ребенок мог бы прожить, чтобы мать его запомнила и утешилась, а затем снова умереть; но мальчик не хотел дважды мучиться насмерть, он покоился прежним мертвым на руках Чепурного — и мать поняла.

— Я не хочу, чтоб он жил хоть одну минуту, — отказалась она, — ему опять надо будет умирать и мучиться, пусть он останется таким.

«Какой же это коммунизм? — окончательно усомнился Копенкин и вышел на двор, покрытый сырою ночью. — От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда — вдаль».

Копенкин почувствовал бодрость, спутницу дали и надежды; почти с печалью он глядел на Чевенгур, потому что с ним скоро предстоит расстаться навсегда; всем встречным людям и покидаемым селам и городам Копенкин всегда прощал: его несбывшиеся надежды искупались расставанием. Ночами Копенкин терял терпение — тьма и беззащитный сон людей увлекали его произвести глубокую разведку в главное буржуазное государство, потому что и над тем государством была тьма и капиталисты лежали голыми и бессознательными, — тут бы их и можно было кончить, а к рассвету объявить коммунизм. Копенкин пошел к своей лошади, оглядел и ощупал ее, чтобы знать наверное — может он

уехать на ней в любую нужную минуту или нет. Оказалось — может: Пролетарская Сила была столь же прочна и готова ехать вдаль и в будущее, как прошагала она свои дороги в минувшем времени.

На околице Чевенгура заиграла гармоника — у какого-то прочего была музыка, ему не спалось, и он утешал свое бессонное одиночество. Такую музыку Копенкин никогда не слышал — она почти выговаривала слова, лишь немного не договаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тоской.

— Лучше б музыка договаривала, что ей надо, — волновался Копенкин. — По звуку — это он меня к себе зовет, а подойдешь — он все равно не перестанет играть.

Однако Копенкин пошел на ночную музыку, чтобы до конца доглядеть чевенгурских людей и заметить в них — что такое коммунизм, которого Копенкин никак не чувствовал. Даже в открытом поле, где не могло быть организованности, и то Копенкину было лучше, чем в Чевенгуре; ездил он тогда с Сашей Двановым, и, когда начинал тосковать, Дванов тоже тосковал, и тоска их шла навстречу друг другу и, встретившись, останавливалась на полпути. В Чевенгуре же для тоски не было товарища навстречу, и она продолжалась в степь, затем в пустоту темного воздуха и кончалась на том, одиноком, свете. Играет человек, — слышал Копенкин, — нету здесь коммунизма, ему и не спится от своей скорби. При коммунизме он бы договорил музыку, она бы кончилась и он подошел ко мне. А то не договаривает — стыдно человеку.

Трудно было войти в Чевенгур и трудно выйти из него — дома стояли без улиц, в разброде и тесноте, словно люди прижались друг к другу посредством жилищ, а в ущельях между домов пророс бурьян, которого не могли затоптать люди, потому что они были босые. Из бурьяна поднялись четыре головы человека и сказали Копенкину:

— Обожди немного.

Это были Чепурный и с ним те, что находились близ умершего ребенка.

— Обожди, — попросил Чепурный. — Может, он без нас скорей оживет.

Копенкин тоже присел в бурьян, музыка остановилась и теперь было слышно, как бурчат ветры и потоки в животе Якова Титыча, отчего тот лишь вздыхал и терпел дальше.

— Отчего он умер? Ведь он после революции родился, — спросил Копенкин.

— Правда ведь, — отчего ж он тогда умер, Прош? — удивляясь, переспросил Чепурный.

Прокофий это знал.

— Все люди, товарищи, рождаются, проживают и кончаются от социальных условий, не иначе.

Копенкин здесь встал на ноги — ему все стало определенным. Чепурный тоже встал — он еще не знал, в чем беда, но ему уже вперед было грустно и совестно.

— Стало быть, ребенок от твоего коммунизма помер? — строго спросил Копенкин. — Ведь коммунизм у тебя социальное условие! Оттого его и нету! Ты мне теперь за все ответишь, капитальная душа! Ты целый город у революции на дороге взял...Пашинцев! — крикнул Копенкин в окружающий Чевенгур.

— А! — ответил Пашинцев из своего глухого места.

— Ты где?

— Вот он.

— Иди сюда наготове!

— Чего мне готовиться, я и так управлюсь!

Чепурный стоял не боялся, он мучился совестью, что от коммунизма умер самый маленький ребенок в Чевенгуре, и не мог себе сформулировать оправдания.

— Прощ, это верно? — тихо спросил он.

— Правильно, товарищ Чепурный, — ответил тот.

— Что же нам делать теперь? Значит, у нас капитализм? А может, ребенок уже прожил свою минуту? Куда ж коммунизм пропал, я же сам видел его, мы для него место опорожнили!..

— Вам надо пройти ночами вплоть до буржуазии, — посоветовал Копенкин. — И во время тьмы завоевать ее во сне...

— Там электрический ток горит, товарищ Копенин, — равнодушно сказал знающий Прокофий. — Буржуазия живет посменно — день и ночь, ей некогда.

Чепурный ушел к прохожей женщине — узнавать, не оживал ли от социальных условий покойный мальчик. Мать положила мальчика в горнице на кровать, сама легла с ним, обняла его и заснула. Чепурный стоял над ними обоими и чувствовал свое сомнение — будить женщину или не надо: Прокофий однажды говорил Чепурному, что при наличии горя в груди надо либо спать, либо есть что-либо вкусное. В Чевенгуре ничего не было вкусного, и женщина выбрала себе для утешения сон.

— Спишь? — тихо спросил женщину Чепурный. — Хочешь, мы тебе найдем что-нибудь вкусное? Тут в погребках от буржуазии еда осталась.

Женщина молча спала; ее мальчик привалился к ней, и рот его был открыт, будто ему заложило нос и он дышал ртом; Чепурный рассмотрел, что мальчик уже щербатый, — он успел прожить и проесть свои молочные зубы, а постоянные теперь опоздал отпустить.

— Спишь? — наклонился Чепурный. — Чего же ты все спишь?

— Нет, — открыла глаза прохожая женщина. — Я легла, и мне задремалось.

— С горя или так?

— Так, — без охоты и со сна говорила женщина; она держала свою правую руку под мальчиком и не глядела на него, потому что по привычке чувствовала его теплым и спящим. Затем нищенка приподнялась и накрыла свои оголенные ноги, в которых был запас полноты на случай рождения будущих детей. «Тоже ведь хорошая женщина, — видел Чепурный, — кто-нибудь по ней томился».

Ребенок оставил руку матери и лежал, как павший в гражданской битве — навзничь, с грустным лицом, отчего оно казалось пожилым и сознательным, и в бедной единственной рубашке своего класса, бредущего по земле в поисках даровой жизни. Мать знала, что ее ребенок перечувствовал смерть, и это его чувство смерти было мучительней ее горя разлуки, — однако мальчик никому не жаловался и лежал один, терпеливый и смиренный, готовый стынуть в могиле долгие зимы. Неизвестный человек стоял у их постели и ожидал чего-то для себя.

— Так и не вздохнул? Не может быть — здесь тебе не прошлое время!

— Нет, — ответила мать. — Я его во сне видела, он был там жив и мы шли с ним за руку по простому полю. Было тепло, мы сыты, я хочу взять его на руки, а он говорит: нет, мама, я ногами скорей дойду, давай с тобой думать, а то мы побирušки. А идти нам было некуда. Мы сели в ямку, и оба заплакали...

— Это ни к чему, — утешил Чепурный. — Мы бы твоему ребенку Чевенгур в наследство могли подарить, а он отказался и умер.

— Мы сидели и плакали в поле: зачем мы были живы, раз нам нельзя... А мальчик говорит мне: мама, я лучше сам умру, мне скучно ходить с тобой по длинной дороге: все, говорит, одно и то же да одно и то же. А я говорю ему: ну умри, может, и я тогда забудусь с тобой. Он прилегло ко мне, закрыл глаза, а сам дышит, лежит живым и не может. Мама, говорит, я никак. Ну, не надо, раз не можешь, пойдем опять ходить потихоньку, может, и нам где остановка будет.

— Это он сейчас у тебя живым был? На этой койке?

— Тут. Он лежит у меня на коленях и дышит, а умереть не может. Чепурному полегчало.

— Как же он умрет в Чевенгуре, скажи пожалуйста? Здесь для него условие завоевано... Я так и знал, что он немного подышит, только ты вот спала напрасно.

Мать посмотрела на Чепурного одинокими глазами.

— Чего-то тебе, мужик, другого надо: малый мой как помер, так и кончился.

— Ничего не надо, — поскорее ответил Чепурный. — Мне дорого, что он тебе хоть во сне живым приснился, — значит, он в тебе и в Чевенгуре еще немного пожил...

Женщина молчала от горя и своего размышления.

— Нет, — сказала она, — тебе не мой ребенок дорог, тебе твоя дума нужна! Ступай от меня ко двору, я привыкла одна оставаться; до утра еще долго мне с ним лежать, не трать мне время с ним!

Чепурный ушел из дома нищенки, довольный тем, что мальчик хоть во сне, хоть в уме матери пожил остатком своей души, а не умер в Чевенгуре сразу и навеки. Значит, в Чевенгуре есть коммунизм и он действует отдельно от людей. Где же он тогда помещается? И Чепурный, покинувший семейство прохожей женщины, не мог ясно почувствовать или увидеть коммунизм в ночном Чевенгуре, хотя коммунизм существовал уже официально. Но чем только люди живут неофициально? — удивлялся Чепурный. — Лежат в темноте с покойниками, и им хорошо! Напрасно.

— Ну, что? Ну, как? — спросили Чепурного оставшиеся наружи товарищи.

— Во сне дышал, но зато сам хотел умереть, а когда в поле был, то не мог, — ответил Чепурный.

— От этого он и умер, как прибыл в Чевенгур, — понял Жеев. — У нас ему стало свободно: что жизнь — что смерть.

— Вполне ясно, — определил Прокофий. — Если б он не умер, а сам одновременно желал скончаться, то разве это свобода строя?

— Да, скажи пожалуйста?! — отменяя все сомнения, вопросительно поддакнул Чепурный; сначала он не мог понять, что здесь подразумевается, но увидел общее удовлетворение событием с пришлым ребенком и тоже обрадовался. Один Копенкин не видел в этом просвета.

— Что ж баба та к вам не вышла, а с ребенком укрылась? — осудил всех чевенгурцев Копенкин. — Значит, ей там лучше, чем внутри вашего коммунизма.

Яков Титыч привык жить молча, переживая свои рассуждения в тишине чувства, но тоже мог сказать правильно, когда обижался, и действительно — сказал:

— Оттого она и осталась со своим малым, что между ними одна кровь и один ваш коммунизм. А уйди она от мертвого — и вам основы не будет.

Копенкин начал уважать старика-прочего и еще больше утвердил его правильные слова.

— У вас в Чевенгуре весь коммунизм сейчас в темном месте — близ бабы и мальчугана. Отчего во мне движется вперед коммунизм? —

Потому что у меня с Розой глубокое дело есть, — пускай она мертва на все сто процентов!

Прокофий считал происшествие со смертью формальностью и рассказывал тем временем Жееву — сколько он знал женщин с высшим, низшим и со средним образованием, — отдельно по каждой группе. А Жеев слушал и завидовал: он знал сплошь неграмотных, некультурных и покорных женщин.

— Она очаровательна была! — досказывал что-то Прокофий. — В ней имелось особое искусство личности — она была, понимаешь, женщиной, нисколько не бабой. Что-то, понимаешь, такое... вроде его...

— Наверно, вроде коммунизма, — робко подсказал Жеев.

— Приблизительно. Мне было убыточно, а хотелось. Просила она у меня хлеба и материи — год был кругом съеденный, — а я вез немного в свое семейство, — отец, мать, братья у меня сидели в деревне, — думаю, ну тебя — мать меня родила, а ты уничтожишь. И доехал себе покойно до самого двора — скучал по ней, зато добро привез и семейство накормил.

— Какое же у нее образование было? — спросил Жеев.

— Самое высшее. Она мне документы показывала — семь лет одну педагогию изучала, детей служащих в школах развивала.

Копенкин расслышал, что кто-то гремит в степи на телеге: может быть, это едет Саша Дванов.

— Чепурный, — обратился он. — Когда Саша прибудет, Прошку — прочь. Это — гад с полным успехом.

Чепурный согласился, как и раньше:

— Я тебе любого хорошего за лучшего отдам: бери, пожалуйста.

Телега прогремела невдалеке мимо Чевенгура, не заехав в него: значит, жили где-то люди, кроме коммунизма, и даже ездили куда-то.

Через час и самые неугомонные, самые бдительные чевенгурцы предались покою до нового свежего утра. Первым проснулся Кирей, спавший с пополудни прошлого дня, и он увидел, как выходила из Чевенгура женщина с тяжестью ребенка на руках. Кирей сам хотел выйти из Чевенгура, потому что ему скучно становилось жить без войны, лишь с одним завоеванием; раз войны не было, человек должен жить с родственниками, а родственники Кирея были далеко — на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти в конце земли, откуда начиналось небо, покрывавшее капитализм и коммунизм сплошным равнодушием. Кирей прошел дорогу от Владивостока до Петрограда пешком, очищая землю для Советской власти и ее идеи и теперь дошел до Чевенгура и спал, пока не отдохнул и не заскучал. Ночами Кирей смотрел на небо и думал о нем как о Тихом океане, а о звездах — как об огнях пароходов, плывущих на дальний запад, мимо его береговой родины. Яков Титыч

тоже затих; он нашел себе в Чевенгуре лапти, подшил их валенком и пел заунывные песни шершавым голосом — песни он назначал для одного себя, замещая ими для своей души движение вдаль, но и для движения уже приготовил лапти — одних песен для жизни было мало.

Кирей слушал песни старика и спрашивал его: о чем ты горюешь, Яков Титыч, жить тебе уже хватит!

Яков Титыч отказывался от своей старости, — он считал, что ему не пятьдесят лет, а двадцать пять, так как половину жизни он проспал и проболел — она не в счет, а в ущерб.

— Куда ж ты пойдешь, старик? — спрашивал Кирей. — Тут тебе скучно, а там будет трудно: с обеих сторон тесно.

— Промежду пойду, выйду на дорогу — и душа из меня вон выходит: идешь, всем чужой, себе не нужен: откуда во мне жизнь, туда она и пропадает назад.

— А в Чевенгуре ведь тоже приятно!

— Город порожний. Тут прохожему человеку покой; только здесь дома стоят без надобности, солнце горит без упора и человек живет безжалостно: кто пришел, кто ушел, скупости на людей нету, потому что имущество и еда дешевы.

Кирей старика не слушал, он видел, что тот лжет:

— Чепурный людей уважает, а товарищей любит вполне.

— Он любит от лишнего чувства, а не по нужде: его дело летучее... Завтра надо сыматься.

Кирей же совсем не знал, где ему лучшее место: здесь ли в Чевенгуре — в покое и пустой свободе, или в далеком и более трудном другом городе.

Следующие дни над Чевенгуром, как и с самого начала коммунизма, стояли сплошь солнечные, а ночами нарождалась новая луна. Ее никто не заметил и не учел, один Чепурный ей обрадовался, словно коммунизму и луна была необходима. Утром Чепурный купался, а днем сидел среди улицы на утерянном кем-то дереве и смотрел на людей и на город как на расцвет будущего, как на всеобщее вождение и на освобождение себя от умственной власти, — жаль, что Чепурный не мог выражаться.

Вокруг Чевенгура и внутри него бродили пролетарии и прочие, отыскивая готовое пропитание в природе и в бывших усадьбах буржуев, и они его находили, потому что оставались живыми до сих пор. Иногда иной прочий подходил к Чепурному и спрашивал:

— Что нам делать?

На что Чепурный лишь удивлялся:

— Чего ты у меня спрашиваешь? — твой смысл должен из тебя самостоятельно исходить! У нас не царство, а коммунизм.

Прочий стоял и думал, что же ему нужно делать.

— Из меня не исходит, — говорил он, — я уж надувался.

— А ты живи и накапливайся, — советовал Чепурный, — тогда из тебя что-нибудь выйдет.

— Во мне никому не денется, — покорно обещал прочий. — Я тебя спросил, отчего снаружи ничего нету: ты б нам заботу какую приказал!

Другой прочий приходил интересоваться советской звездой: почему она теперь главный знак на человеке, а не крест и не кружок? Такого Чепурный отсылал за справкой к Прокофию, а тот объяснял, что красная звезда обозначает пять материков земли, соединенных в одно руководство и окрашенных кровью жизни. Прочий слушал, а потом шел опять к Чепурному — за проверкой справки. Чепурный брал в руки звезду и сразу видел, что она — это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки. Прочий не знал, зачем человеку обниматься. И тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват, просто у него тело устроено для объятий, иначе руки и ноги некуда деть. «Крест — тоже человек, — вспоминал прочий, — но отчего он на одной ноге, у человека же две?» Чепурный про это догадывался: «Раньше люди одними руками хотели друг друга удерживать, а потом не удержали — и ноги расцепили и приготовили». Прочий этим довольствовался: «Так похоже», — говорил он и уходил жить.

Вечером пошел дождь — оттого что луна начала обмываться; от туч рано смерклось, Чепурный зашел в дом и лег в темноте отдохнуть и сосредоточиться. Попозже явился какой-то прочий и сказал Чепурному общее желание — звонить песни на церковных колоколах: тот человек, у которого была одна гармоника на весь город, ушел вместе с ней неизвестно куда, а оставшиеся уже привыкли к музыке и не могут ждать. Чепурный ответил, что это дело музыкантов, а не его. Скоро над Чевенгуром запел церковный благовест; звук колоколов смягчался льющимся дождем и походил на человеческий голос, поющий без дыхания. Под благовест и дождь к Чепурному пришел еще один человек, уже неразличимый в тишине наступившей тьмы.

— Чего выдумал? — спросил дремлющий Чепурный вошедшего.

— Кто тут коммунизм выдумал? — спросил старый голос прибывшего человека. — Покажи нам его на предмете.

— Ступай кликни Прокофия Дванова, либо прочего человека, коммунизм тебе все покажут!

Человек вышел, а Чепурный заснул — ему теперь хорошо спалось в Чевенгуре.

— Говорит, иди твоего Прошку найди, он все знает, — сказал человек своему товарищу, который ожидал его наружи, не скрывая головы от дождя.

— Пойдем искать, я его не видел двадцать лет, теперь он большой стал.

Пожилой человек пошагал шагов десять и передумал:

— Лучше завтра, Саш, его найдем, давай сначала искать харчей и ночлега.

— Давай, товарищ Гопнер, — сказал Саша.

Но когда они начали искать харчей и ночлега, то ничего не нашли: их, оказывается, искать было не нужно. Александр Дванов и Гопнер находились в коммунизме и Чевенгуре, где все двери отперты, потому что дома пустые, и все люди были рады новым людям, потому что чевенгурцы, вместо имущества, могли приобретать лишь одних друзей.

Звонарь заиграл на колоколах чевенгурской церкви пасхальную заутреню, — «Интернационала» он сыграть не мог, хотя и был по роду пролетарием, а звонарем — лишь по одной из прошлых профессий. Дождь выпал, в воздухе настала тишина, и земля пахла скопившейся в ней томительной жизнью. Колокольная музыка так же, как и воздух ночи, возбуждала чевенгурского человека отказаться от своего состояния и уйти вперед: и так как человек имел вместо имущества и идеалов лишь пустое тело, а впереди была одна революция, то и песня колоколов звала их к тревоге и желанию, а не к милости и миру. В Чевенгуре не было искусства, о чем уже тосковал однажды Чепурный, зато любой мелодический звук, даже направленный в вышину безответных звезд, свободно превращался в напоминание о революции, в совесть за свое и классовое несбывшееся торжество.

Звонарь утомился и лег спать на полу колокольной звонницы. Но в Копенкине чувство могло задерживаться долго — целыми годами; он ничего не мог передать из своих чувств другим людям, он мог тратить происходящую внутри себя жизнь только на тоску, утоляемую справедливыми делами. После колокольной музыки Копенкин не стал ожидать чего-то большего: он сел верхом на Пролетарскую Силу и занял Чевенгурский ревком, не встретя себе сопротивления. Ревком помещался в той же самой церкви, с которой звонили, — это было тем лучше. Копенкин дождался в церкви рассвета, а затем конфисковал все дела и бумаги ревкома; для этого он связал все дело-производство в один багаж и на верхней бумаге написал: «Действие впредь приокоротить. Передать на чтение прибылым пролетарским людям. Копенкин».

До полудня никто не являлся в ревком, и лошадь Копенкина ржала от жажды, но Копенкин, ради захвата Чевенгура, заставил ее страдать.

В полдень в храм явился Прокофий, на паперти он вынул из-за пазухи портфель и пошел с ним через учреждение заниматься в алтарь. Копенкин стоял на амвоне и дожидался его.

— Прибыл? — спросил он Прокофия. — Остановливайся на месте, жди меня.

Прокофий покорился, он знал, что в Чевенгуре отсутствует правильное государство и разумным элементам приходится жить в отсталом классе и лишь степенно подминать его под свое начало.

Копенкин изъял от Прокофия портфель и два дамских револьвера, а потом повел в притвор алтаря — сажать под арест.

— Товарищ Копенкин, разве ты можешь делать революцию? — спросил Прокофий.

— Могу. Ты же видишь, я ее делаю.

— А ты платил членские взносы? Покажи мне твой партбилет!

— Не дам. Тебе была дана власть, а ты бедный народ коммунизмом не обеспечил. Ступай в алтарь, сиди — ожидай.

Лошадь Копенкина зарычала от жажды, и Прокофий отступил от Копенкина в притвор алтаря. Копенкин нашел в шкафу просвирни сосуд с кутьей, просунул ее Прокофию, чтоб он мог питаться, а затем запер арестованного крестом, продев его через дверные ручки.

Прокофий смотрел на Копенкина через сквозные узоры двери и ничего не говорил.

— Там Саша приехал, по городу ходит и тебя ищет, — сказал вдруг Прокофий.

Копенкин почувствовал, что он от радости хочет есть, но усиленно сохранил спокойствие перед лицом врага.

— Если Саша приехал, то ты сейчас же выходи наружу: он сам знает, что с вами делать, — теперь ты не страшен.

Копенкин выдернул крест из дверных скоб, сел верхом на Пролетарскую Силу и сразу дал ход коню навскок — через паперть и притвор в Чевенгур.

Александр Дванов шел по улице и ничего еще не понимал — видел только, что в Чевенгуре хорошо. Солнце сияло над городом и степью, как единственный цвет среди бесплодного неба, и с раздраженным давлением перезревшей силы нагнетало в землю светлую жару своего цветения. Чепурный сопровождал Дванова, пытаясь ему объяснить коммунизм, и не мог. Заметив наконец солнце, он указал на него Дванову:

— Вон наша база горит и не сгорает.

— Где ваша база? — посмотрел Дванов на небо.

— Вонна. Мы людей не мучаем, мы от лишней силы солнца живем.

— Почему — лишней?

— А потому, что если б она была не лишняя, солнце бы ее вниз не спускало — и стало черным. А раз лишняя — давай ее нам, а мы между собой жизнью займемся! Понял ты меня?

— Я хочу сам увидеть, — сказал Дванов; он шел, усталый и доверчивый, он хотел видеть Чевенгур не для того, чтобы его проверить, а для того, чтобы лучше почувствовать его сбывшееся местное братство.

Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испутившее дух, как скошенная нива, — и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит, и труп его не был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не приглядывались — это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по делам своих забот. Дойдя с Гопнером до Чевенгура, Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях — опасности и бедствия: революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрылась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же, свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутево, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер — быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак с озера Мутево, и сын его снова переживал вечер. Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шел вперед со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, — он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, — так же, как рыбак с озера Мутево не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы зараз испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму — отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный — как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибли от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих.

Дванов вспомнил старого, еле живущего Захара Павловича. «Саша, — говорил, бывало, он, — сделай что-нибудь на свете, видишь — люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть».

И Дванов решил дойти до Чевенгура, чтобы узнать в нем коммунизм и возвратиться к Захару Павловичу для помощи ему и другим еле живущим. Но коммунизма в Чевенгуре не было наружи, он, наверное, скрылся в людях, — Дванов нигде его не видел, — в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. «Кончается моя молодость, — думал Дванов, — во мне тихо, и во всей истории проходит вечер». В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела.

— История грустна, потому что она время и знает, что ее забудут, — сказал Дванов Чепурному.

— Это верно, — удивился Чепурный. — Как я сам не заметил! Поэтому вечером и птицы не поют — одни сверчки; какая ж у них песня! Вот у нас тоже — постоянно сверчки поют, а птиц мало, — это у нас история кончилась! Скажи пожалуйста — мы примет не знали!

Копенкин настиг Дванова сзади; он загляделся на Сашу с жадностью своей дружбы к нему и забыл слезть с коня. Пролетарская Сила первая заржала на Дванова, тогда и Копенкин сошел на землю, Дванов стоял с угрюмым лицом — он стыдился своего излишнего чувства к Копенкину и боялся его выразить и ошибиться.

Копенкин тоже имел совесть для тайных отношений между товарищами, но его ободрил ржущий повеселевший конь.

— Саша, — сказал Копенкин. — Ты пришел теперь?.. Дай я тебя немного поцелую, чтоб поскорей не мучиться.

Поцеловавшись с Двановым, Копенкин обернулся к лошади и стал тихо разговаривать с ней. Пролетарская Сила смотрела на Копенкина хитро и недоверчиво, она знала, что он говорит с ней не вовремя, и не верила ему.

— Не гляди на меня, ты видишь, я растрогался! — тихо беседовал Копенкин. Но лошадь не сводила своего серьезного зора с Копенкина, и молчала. — Ты лошадь, а дура, — сказал ей Копенкин. — Ты пить хочешь, чего ж ты молчишь?

Лошадь вздохнула. «Теперь я пропал, — подумал Копенкин. — Эта гадина и то вздохнула от меня!»

— Саша, — обратился Копенкин, — сколько уж годов прошло, как скончалась товарищ Люксембург? Я сейчас стою и вспоминаю о ней — давно она была жива.

— Давно, — тихо произнес Дванов. Копенкин еле расслышал его голос и испуганно обернулся. Дванов молча плакал, не касаясь лица ру-

ками, и слезы его изредка капали на землю, — отвернуться ему от Чепурного и Копенкина было некуда.

— Ведь это лошадь можно простить, — упрекнул Чепурного Копенкин. — А ты человек — и уйти не можешь!

Копенкин обидел Чепурного напрасно: Чепурный все время стоял виноватым человеком, и хотел догадаться — чем помочь этим двум людям. «Неужели коммунизма им мало, что они в нем горюют?» — опечаленно соображал Чепурный.

— Ты так и будешь стоять? — спросил Копенкин. — Я у тебя нынче ревком отобрал, а ты меня наблюдаешь!

— Бери его, — с уважением ответил Чепурный. — Я его сам хотел закрыть — при таких людях на что нам власть!

Федор Федорович Гопнер выспался, обошел весь Чевенгур и, благодаря отсутствию улиц, заблудился в уездном городе. Адреса предревкома Чепурного никто из населения не знал, зато знали, где он сейчас находился, — и Гопнера довели до Чепурного и Дванова.

— Саша, — сказал Гопнер, — здесь я никакого ремесла не вижу, рабочему человеку нет смысла тут жить.

Чепурный сначала огорчился и находился в недоумении, но потом вспомнил, чем должны люди жить в Чевенгуре, и постарался успокоить Гопнера:

— Тут, товарищ Гопнер, у всех одна профессия — душа, а вместо ремесла мы назначили жизнь. Как скажешь, ничего так будет?

— Не то что ничего, а прямо гадко, — сразу ответил Копенкин.

— Ничего-то ничего, — сказал Гопнер. — Только чем тогда люди друг около друга держатся — неизвестно. Что ты их слюнями склеиваешь, иль одной диктатурой слепил?

Чепурный, как честный человек, уже начал сомневаться в полноте коммунизма Чевенгура, хотя должен быть прав, потому что он делал все по своему уму и согласно коллективного чувства чевенгурцев.

— Не трожь глупого человека, — сказал Гопнеру Копенкин. — Он здесь славу вместо добра организовал. Тут ребенок от его общих условий скончался.

— Кто ж у тебя рабочий класс? — спросил Гопнер.

— Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, — тихим голосом сообщил Чепурный. — Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится.

— Так ты думаешь — у тебя коммунизм завелся? — снова спросил Гопнер.

— Кроме его, ничего нет, товарищ Гопнер, — грустно разъяснил Чепурный, усиленно думая, как бы не ошибиться.

— Пока не чую, — сказал Гопнер.

Дванов смотрел на Чепурного с таким сочувствием, что ощущал боль в своем теле во время грустных, напрягающихся ответов Чепурного. «Ему трудно и неизвестно, — видел Дванов, — но он идет куда нужно и как умеет».

— Мы же не знаем коммунизма, — произнес Дванов, — поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не надо нам пытаться товарища Чепурного, мы ничего не знаем лучше его.

Яков Титыч подошел послушать; все поглядели на него и рассеянно замолчали, чтобы не обидеть Якова Титыча, — всем показалось, что Яков Титыч мог обидеться, раз говорили без него. Яков Титыч постоял-постоял и сказал:

— Народ гречишной каши себе сварить не может, крупы нигде нету... А я кузнецом был — хочу кузницу подальше на шлях перенести, буду работать на проезжих, может, на крупу заработаю.

— Поглуше в степь — гречиха сама растет, рви и кушай, — посоветовал Чепурный.

— Покуда дойдешь да покуда нарвешь, есть еще больше захочешь, — сомневался Яков Титыч, — способней будет вещь по-кузнечному сработать.

— Пускай кузницу тащит, не отвлекай от дела человека, — сказал Гопнер, и Яков Титыч пошел меж домов в кузницу. В горне кузницы давно уже вырос лопух, а под лопухом лежало куриное яйцо, наверное, последняя курица спряталась от Кирея сюда, чтобы снести, а последний петух где-нибудь умер в темноте сарая от мужской тоски. Солнце уже склонилось далеко за полдень, на земле запахло гарью, наступила та вечерняя тоска, когда каждому одинокому человеку хотелось идти к другу или просто в поле, чтобы думать и ходить среди утихших трав, успокаивая этим свою нарушенную за день жизнь. Но прочим в Чевенгуре некуда было пойти и некого к себе ждать — они жили неразлучно и еще днем успевали обойти все окрестные степи в поисках питательных растений, и никому негде было находиться в одиночестве. В кузнице Якова Титыча взяло какое-то томление — крыша нагрелась, всюду висела паутина, и многие пауки уже умерли, видны были их легкие трупки, которые в конце концов падали на землю и делались неузнаваемым прахом. Яков Титыч любил поднимать с дорог и с задних дворов какие-нибудь частички и смотреть на них: чем они раньше были? чье чувство обожало и хранило их? Может быть, это были кусочки людей, или тех же паучков, или безымянных земляных комариков, — и ничто не осталось в целостности, все некогда жившие твари, любимые своими детьми, истреблены на непохожие части, и не над чем заплакать тем, кто остался после них жить и дальше мучиться. «Пусть бы все умирало, — думал Яков Титыч, — но хотя бы мертвое тело оставалось целым, было бы

Алексей Максимович!

Благодарю Вас за письмо и за труд по плечению романа "Чевенгур". Хотя Вы сказали мне однажды, что благодарите не за это, т.к.

мы все делаем о
скую литературу

У многих людей е
но редко еще ест
и действий. Поэтому

такую, к сожалению
наиболее годят в.

"ответственность" в
Этой идее по существу

это его не без
Рукопись прос

тефнически трудно
дома и скансите

присутствует на
мне ~~отра...~~, когда

21/ix-29.

Адрес: Москва, 1
б. Мейерх.

Москва 12/ix, 29.

Глубоко уважаемый
Алексей Максимович!

Мне, приблизительно, тому
назад я отнес Вам рукопись
своего романа "Чевенгур".

Вы тогда уехали. Теперь я узнаю,
~~что~~ Вы возвратились.

Прошу Вас пролетать
рукопись и помочь тому, чтобы
она была напечатана, если
Вы найдете, что рукопись
заслуживает этого.

Уважающий Вас
Андрей Платонов.

Мой адрес: Москва, Варварка,
Лесковский пер., д. №13,
б. Мейерх. Ком. Ком. 4,
А. Платонову

Письма Платонова А.М. Горькому
от 12 и 21 сентября 1929 г.
Автограф. Архив А.М. Горького. ИМЛИ

чего держать и помнить, а то дуют ветры, течет вода, и все пропадает и расстается в прах. Это ж мука, а не жизнь. И кто умер, тот умер ни за что, и теперь не найдешь никого, кто жил когда, все они — одна потеря».

Вечером пролетарии и прочие собрались вместе, чтобы развеселить и занять друг друга на сон грядущий. Никто из прочих не имел семейства, потому что каждый жил раньше с таким трудом и сосредоточием всех сил, что ни в ком не оставалось телесного излишка на размножение. Для семейства нужно иметь семя и силу собственности, а люди изнемогали от поддержания жизни в одном своем теле; время же, необходимое для любви, они тратили на сон. Но в Чевенгуре они почувствовали покой, достаток пищи, а от товарищей вместо довольства — тоску. Раньше товарищи были дороги от горя, они были нужны для тепла во время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи — один не достанет, другой принесет, — товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества и не с кем удовлетворять и расходовать постоянно скапливающуюся душу. В Чевенгуре имущество было, был дикий хлеб в степях, и рос овощ в огородах, посредством зарождения от прошлогодних остатков плодов в почве, — горя пищи, мучений ночлега на пустой земле — в Чевенгуре не было, и прочие заскучали: они оскудели друг для друга и смотрели один на одного без интереса — они стали бесполезны самим себе, между ними не было теперь никакого вещества пользы. Прочий, по прозванию Карпий, сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейства: любая гадина на своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем — нечаянно. Что за пропасть такая подо мной!»

Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась.

— Возьми меня, Карпий, — сказала она, — я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой — жить себе в заботах, как в орешках, и горюшка будет мало, сама себе станешь незаметной! А то живешь тут, и все как сама перед собой торчишь!

— Ты хамка, — отказал Карпий Агапке. — Я люблю женщин дальних.

— А помнишь, ты одна грелся со мной, — напомнила Агапка, — небось тогда я тебе дальней была, что в большое нутрѐ поближе лез!

Карпий от правды не отказывался, он лишь поправил время события:

— То было до революции.

Яков Титыч сказал, что в Чевенгуре сейчас находится коммунизм, всем дана блажь: раньше простой народ внутри туловища ничего не имел, а теперь кушает все, что растет на земле, — чего еще хотеть? Пора

жить и над чем-нибудь задумываться: в степях много красноармейцев умерло от войны, они согласились умереть затем, чтобы будущие люди стали лучше их, а мы — будущие, а плохие — уже хотим жен, уже скучаем, пора нам начать в Чевенгуре труд и ремесло! Завтра надо кузницу выносить вон из города — сюда никто не заезжает.

Прочие не слушали и побрели вразброд, чувствуя, что каждому чего-то хочется, только неизвестно — чего. Редкие из пришлых чевенгурцев бывали временно женаты, они помнили и другим говорили, что семейство это милое дело, потому что при семье уже ничего не хочется и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в будущем — для детей; кроме того, детей бывает жалко и от них становишься добрей, терпеливей и равнодушной ко всей происходящей жизни.

Солнце стало громадное и красное и скрылось за окраиной земли, оставив на небе свой остывающий жар; в детстве любой прочий человек думал, что это его отец ушел от него вдаль и печет себе картошки к ужину на большом костре. Единственный труженик в Чевенгуре успокоился на всю ночь; вместо солнца — светила коммунизма, тепла и товарищества, на небе постепенно засияла луна — светило одиноких, светило бродяг, бредущих зря. Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими, словно они лежали на том свете, где жизнь задумчива, бледна и бесчувственна, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве. В глубину наступившей ночи, из коммунизма — в неизвестность уходили несколько человек; в Чевенгур они пришли вместе, а разошлись одинокими: некоторые шли искать себе жен, чтобы возвратиться для жизни в Чевенгур, иные же отоцали от растительной чевенгурской пищи и пошли в другие места есть мясо, а один изо всех ушедших в ту ночь — мальчик по возрасту — хотел найти где-нибудь на свете своих родителей, и тоже ушел.

Яков Титыч увидел, как многие люди молча скрылись из Чевенгура, и тогда он явился к Прокофию.

— Езжай за женами народу, — сказал Яков Титыч, — народ их захотел. Ты нас привел, веди теперь женщин, народ отдохнул — без них, говорит, дальше нетерпимо.

Прокофий хотел сказать, что жены — тоже трудящиеся и им нет запрета жить в Чевенгуре, а стало быть, пусть сам пролетариат ведет себе за руки жен из других населенных мест, но вспомнил, что Чепурный желает женщин худых и изнемогших, чтобы они не отвлекали людей от взаимного коммунизма, и Прокофий ответил Якову Титычу:

— Разведете вы тут семейства и нарожаете мелкую буржуазию.

— Чего же ее бояться, раз она мелкая! — слегка удивился Яков Титыч. — Мелкая — дело слабое.

Пришел Копенкин и с ним Дванов, а Гопнер и Чепурный остались наружи; Гопнер хотел изучить город: из чего он сделан и что в нем находится.

— Саша! — сказал Прокофий; он хотел обрадоваться, но сразу не мог. — Ты к нам жить пришел? А я тебя долго помнил, а потом начал забывать. Сначала вспомню, а потом думаю, нет, ты уже умер, и опять забываю.

— А я тебя помнил, — ответил Дванов. — Чем больше жил, тем все больше тебя помнил, и Прохора Абрамовича помню, и Петра Федоровича Кондаева, и всю деревню. Целы там они?

Прокофий любил свою родню, но теперь вся родня его умерла, больше любить некого, и он опустил голову, работавшую для многих и почти никем не любимую.

— Все умерли, Саш, теперь будущее настанет..

Дванов взял Прокофия за потную лихорадочную руку и, заметив в нем совестливый стыд за детское прошлое, поцеловал его в сухие огорченные губы.

— Будем вместе жить, Прош. Ты не волнуйся. Вот Копенкин стоит, скоро Гопнер с Чепурным придут...Здесь у вас хорошо — тихо, отовсюду далеко, везде трава растет, я тут никогда не был.

Копенкин вздохнул про себя, не зная, что надо ему думать и говорить. Яков Титыч был ни при чем и еще раз напомнил об общем деле:

— Что ж скажешь? Самим жен искать, иль ты сам их гуртом приведешь? Иные уж тронулись.

— Ступай собери народ, — сказал Прокофий, — я приду и там подумаю.

Яков Титыч вышел, и здесь Копенкин узнал, что ему надо сказать.

— Думать тебе за пролетариат нечего, он сам при уме...

— Я туда с Сашей пойду, — произнес Прокофий.

— С Сашей — тогда иди думай, — согласился Копенкин, — я думал, ты один пойдешь.

На улице было светло, среди пустыни неба, над степной пустотой земли светила луна своим покинутым, задушевым светом, почти поющим от сна и тишины. Тот свет проникал в чевенгурскую кузницу через ветхие щели дверей, в которых еще была копоть, осевшая там в более трудолюбивые времена. В кузницу шли люди, — Яков Титыч всех собирал в одно место и сам шагал сзади всех, высокий и огорченный, как пастух гонимых. Когда он поднимал голову на небо, он чувствовал, что дыхание ослабевает в его груди, будто освещенная легкая высота над ним сосала из него воздух, дабы сделать его легче, и он мог лететь туда. «Хорошо быть ангелом, — думал Яков Титыч, — если б они были. Человеку иногда скучно с одними людьми».

Двери кузницы открылись, и туда вошли люди, многие же остались наружи.

— Саша, — тихо сказал Прокофий Александру, — у меня нет своего двора в деревне, я хочу остаться в Чевенгуре, и жить надо со всеми, иначе из партии исключат, ты поддержи меня сейчас. И тебе ведь жить негде, давай тут всех в одно покорное семейство сорганизуем, сделаем изо всего города один двор.

Дванов видел, что Прокофий томится, и обещал ему помочь.

— Жен вези! — закричали Прокофию многие прочие. — Привел нас да бросил одних! Доставляй нам женщин сюда, аль мы нелюди! Нам одним тут жутко — не живешь, а думаешь! Про товарищество говоришь, а женщина человеку кровный товарищ, чего ж ее в город не поселяешь?

Прокофий поглядел на Дванова и начал говорить, что коммунизм есть забота не одного его, а всех существующих пролетариев; значит, пролетарии должны жить теперь своим умом, как то и было постановлено на последнем заседании Чевенбургского ревкома. Коммунизм же произойдет сам, если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, — больше нечему быть.

И Чепурный, стоявший вдалеке, вполне удовлетворился словами Прокофия, — это была точная формулировка его личных чувств.

— Что нам ум? — воскликнул один прочий. — Мы хотим жить по желанию!

— Живите, пожалуйста, — сразу согласился Чепурный. — Прокофий, езжай завтра женщин собирать!

Прокофий досказал еще немного про коммунизм: что он все равно в конце концов полностью наступит и лучше заранее его организовать, чтоб не мучиться; женщины же, прибыв в Чевенгур, заведут многодворье вместо одного Чевенгура, где живет ныне одна сиротская семья, где бродят люди, меняя ночлеги и привыкая друг к другу от неразлучности.

— Ты говоришь: коммунизм настанет в конце концов! — с медленностью произнес Яков Титыч. — Стало быть, на самом коротке: где близко конец — там коротко! Стало быть, вся долгота жизни будет проходить без коммунизма, а зачем тогда нам хотеть его всем туловищем? Лучше жить на ошибке, раз она длинная, а правда короткая! Ты человека имей в виду!

Лунное забвение простиралось от одинокого Чевенгура до самой глубокой вышины, и там ничего не было, оттого и лунный свет так тосковал в пустоте. Дванов смотрел туда, и ему хотелось закрыть сейчас глаза, чтобы открыть их завтра, когда встанет солнце и мир будет снова тесен и тепл.

— Пролетарская мысль! — определил вдруг Чепурный слово Якова Титыча; Чепурный радовался, что пролетариат теперь сам думает головой и за него не надо ни думать, ни заботиться.

— Саша! — растерянно сказал Прокофий, и все его стали слушать. — Старик верно говорит! Ты помнишь — мы с тобой побирались. Ты просил есть, и тебе не давали, а я не просил, я лгал и вымажживал, и всегда ел соленое и курил папиросы.

Прокофий было остановился от своей осторожности, но потом заметил, что прочие открыли рты от искреннего внимания, и не побоялся Чепурного сказать дальше:

— Отчего нам так хорошо, а неудобно? Оттого, как правильно высказался здесь один товарищ, — оттого, что всякая правда должна быть немного и лишь в самом конце концов, а мы ее, весь коммунизм, сейчас устроили, и нам от нее не совсем приятно! Отчего у нас все правильно, буржуев нет, кругом солидарность и справедливость, а пролетариат тоскует и жениться захотел?

Здесь Прокофий испугался развития мысли и замолчал. За него досказал Дванов:

— Ты хочешь посоветовать, чтоб товарищи пожертвовали правдой — все равно она будет жить мало и в конце, — а занялись бы другим счастьем, которое будет жить долго, до самой настоящей правды!

— Да, ты это знаешь, — грустно проговорил Прокофий и вдруг весь заволновался. — Ты знаешь, как я любил свою семью и свой дом в нашей деревне! Из-за любви ко двору я тебя, как буржуя, выгнал помирать, а теперь я хочу здесь привыкнуть жить, хочу устроить для бедных, как для родных, и самому среди них успокоиться, — и никак не могу...

Гопнер слушал, но ничего не понимал; он спросил у Копенкина, но тот тоже не знал, чего здесь кому надо, кроме жен. «Вот видишь, — сообразил Гопнер, — когда люди не действуют — у них является лишний ум, и он хуже дурасти».

— Я тебе, Прощ, пойду лошадь заправлю, — пообещал Чепурный. — Завтра ты на заре трогайся, пожалуйста, пролетариат любви захотел: значит, в Чевенгуре он хочет все стихии покорить, это отличное дело!

Прочие разошлись ожидать жен — теперь им недолго осталось, — а Дванов и Прокофий вышли вместе за околицу. Над ними, как на том свете, бесплотно влеклась луна, уже наклонившаяся к своему заходу; ее существование было бесполезно — от него не жили растения, под луною молча спал человек; свет солнца, озарявший издали ночную сестру земли, имел в себе мутное, горячее и живое вещество, но до луны этот свет доходил уже процеженным сквозь мертвую долготу пространства, — все мутное и живое рассеивалось из него в пути, и оставался один истинный мертвый свет. Дванов и Прокофий ушли далеко, голоса их почти смолкли от дальности и оттого, что они говорили тихо. Копенкин видел ушедших, но смущался пойти за ними — оба

человека, показалось ему, говорили печально, и к ним стыдно сейчас подходить.

Дорогу под ногами Дванова и Прокофия скрыл мирный бурьян, захвативший землю под Чевенгуром не от жадности, а от необходимости своей жизни; два человека шли разрозненно, по колеям некогда проезжего тракта: каждый из них хотел почувствовать другого, чтобы помочь своей неясной блуждающей жизни, но они отвыкли друг от друга — им было неловко, и они не могли сразу говорить без стеснения. Прокофию было жалко отдавать Чевенгур в собственность жен пролетариев и прочих, — одной Клавдюше ему было ничего не жаль подарить, и он не знал почему. Он сомневался, нужно ли сейчас истратить, привести в ветхость и пагубность целый город и все имущество в нем — лишь для того, чтобы когда-нибудь, в конце, на короткое время, наступила убыточная правда; не лучше ли весь коммунизм и все счастье его держать в бережном запасе, — с тем чтобы изредка и по мере классовой надобности отпускать его массам частичными порциями, охраняя неиссякаемость имущества и счастья.

— Они будут довольны, — говорил убежденно и почти радуясь Прокофий. — Они привыкли к горю, им оно легко, дадим пока им мало, и они будут нас любить. Если же отдадим сразу все, как Чепурный, то они потом истратят все имущество и снова захотят, а дать будет нечего, и они нас сместят и убьют. Они же не знают, сколько чего у революции, весь список города у одного меня. А Чепурный хочет, чтоб сразу ничего не осталось и наступил конец, лишь бы тот конец был коммунизмом. А мы до конца никогда не допустим, мы будем давать счастье помаленьку, и опять его накоплять, и нам хватит его навсегда. Ты скажи, Саш, это верно так надо?

Дванов еще не знал, насколько это верно, но он хотел полностью почувствовать желания Прокофия, вообразить себя его телом и его жизнью, чтобы самому увидеть, почему по его будет верно. Дванов прикоснулся к Прокофию и сказал:

— Говори мне еще, я тоже хочу здесь жить.

Прокофий оглядел светлую, но неживую степь и Чевенгур позади, где луна блестела в оконных стеклах, а за окнами спали одинокие прочие, и в каждом из них лежала жизнь, о которой теперь необходимо было заботиться, чтобы она не вышла из тесноты тела и не превратилась в постороннее действие. Но Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека, а Прокофий знал почти точно, он сильно подозревал безмолвного человека.

Дванов вспоминал многие деревни и города, и многих людей в них, а Прокофий попутно памяти Александра указывал, что горе в русских деревнях — это есть не мука, а обычай, что выделенный сын из отцов-

ского двора больше уж никогда не является к отцу и не тоскует по нем, сын и отец были связаны нисколько не чувством, а имуществом; лишь редкая странная женщина не задушила нарочно хотя бы одного своего ребенка на своем веку, — и не совсем от бедности, а для того, чтобы еще можно свободно жить и любиться со своим мужиком.

— Вот сам видишь, Саш, — убедительно продолжал Прокофий, — что от удовлетворения желаний они опять повторяются и даже нового чего-то хочется. И каждый гражданин поскорее хочет исполнить свои чувства, чтобы меньше чувствовать себя от мученья. Но так на них не наготовишься — сегодня ему имущество давай, завтра жену, потом счастья круглые сутки, — это и история не управится. Лучше будет уменьшать постепенно человека, а он притерпится: ему так и так все равно страдать.

— Что же ты хочешь сделать, Прош?

— А я хочу прочих организовать. Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация — умнейшее дело: все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо — он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять.

— Зачем это нужно, Прош? Ведь тебе будет трудно, ты будешь самым несчастным, тебе будет страшно жить одному и отдельно, выше всех. Пролетариат живет друг другом, а чем же ты будешь жить?

Прокофий практически поглядел на Дванова: такой человек — напрасное существо, он не большевик, он побирушка с пустой сумкой, он сам — прочий, лучше б с Яковом Титычем было говорить: тот знает, по крайней мере, что человек все перетерпит, если давать ему новые, неизвестные мучения, — ему вовсе не больно: человек чувствует горе лишь по социальному обычаю, а не сам его внезапно выдумывает; Яков Титыч понял бы, что дело Прокофия вполне безопасное, а Дванов только излишне чувствует человека, но аккуратно измерить его не может.

И голоса двоих людей смолкли вдалеке от Чевенгура, в громадной лунной степи; Копенкин долго ожидал Дванова на околице, но так и не дождался, слег от утомления в ближний бурьян и уснул.

Проснулся он уже на заре — от грохота телеги: все звуки от чевенгурской тишины превращались в гром и тревогу. Это Чепурный ехал искать Прокофия в степь на готовой подводе, чтоб тот выезжал за женщинами. Прокофий же был совсем недалеко, он давно возвращался с Двановым в город.

— Каких пригонять? — спросил Прокофий у Чепурного, и сел в повозку.

— Не особых! — указал Чепурный. — Женщин, пожалуйста, но знаешь: еле-еле, лишь бы в них разница от мужика была, — без увлекательности, одну сырую стихию доставь!

— Понял, — сказал Прокофий и тронул лошадь в отъезд.

— Сумеешь? — спросил Чепурный.

Прокофий обернулся своим умным надежным лицом.

— Диво какое! Кого хочешь пригону, любых в одну массу сплочу, никто в одиночку скорбеть не останется.

И Чепурный успокоился: теперь пролетариат будет утешен, но вдруг он кинулся вслед поехавшему Прокофию и попросил его, уцепившись в задок телеги:

— И мне, Прош, привези: чего-то прелести захотелось! Я забыл, что я тоже пролетарий! Клавдюши ведь не вижу!

— Она к тетке в волость пошла, — сообщил Прокофий, — я ее доставлю обратным концом.

— А я того не знал, — произнес Чепурный и засунул в нос понюшку, чтобы чувствовать табак вместо горя разлуки с Клавдюшей.

Федор Федорович Гопнер уже выспался и наблюдал с колокольни чевенгурского храма тот город и то окружающее место, где, говорят, наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм — оставалось лишь жить и находиться здесь. Когда-то, в молодости лет, Гопнер работал на ремонте магистрали англо-индийского телеграфа, и там тоже местность была похожа на чевенгурскую степь. Давно было то время, и ни за что оттуда нельзя догадаться, что Гопнер будет жить при коммунизме, в одном смелом городе, который, быть может, Гопнер и проходил, возвращаясь с англо-индийского телеграфа, но не запомнил на пути: это жалко, лучше б было уже с тех пор ему остановиться навсегда в Чевенгуре, хотя — неизвестно: говорят только, что здесь хорошо живет простой человек, но Гопнер того пока не чувствует.

Внизу шли Дванов и Копенкин, не зная, где им отдохнуть, и сели у ограды кладбища.

— Саш! — крикнул сверху Гопнер. — Здесь похоже на англо-индийский телеграф — тоже далеко видно и чистое место!

— Англо-индийский? — спросил Дванов и представил себе ту даль и таинственность, где он проходит.

— Он, Саш, висит на чугунных опорах, а на них марки, идет себе проволока через степи, горы и жаркие страны!

У Дванова заболел живот: с ним всегда это повторялось, когда он думал о дальних, недостижимых краях, прозванных влекущими певучими именами — Индия, Океания, Таити и острова Уединения, что стоят среди синего океана, опираясь на его коралловое дно.

Яков Титыч тоже похаживал в то утро; на кладбище он являлся ежедневно, — оно одно походило на дубраву, а Яков Титыч любил слушать скучный звук дерева, страдающего от ветра. Гопнеру Яков Титыч понравился: худой старый человек, на ушах кожа посинела от натяжения, — то же самое, что у Гопнера.

— Тебе хорошо здесь или так себе? — спросил Гопнер; он уже слез с колокольни и сидел у ограды в куче людей.

— Терпимо, — сказал Яков Титыч.

— Ни в чем не нуждаешься?

— Так обхожусь.

Наступал свежий солнечный день, — долгий, как все дни в Чевенгуре; от такой долготы жизнь стала заметней, и Чепурный полагал, что революция выиграла время прочему человеку.

— Что же нам нынче делать? — спросил всех Гопнер, и все немного забеспокоились; один Яков Титыч стоял спокойно.

— Тут уняться нечем, — сказал он, — жди чего-нибудь.

Яков Титыч отошел на поляну и лег против солнца отогреться; последние ночи он спал в доме бывшего Зюзина, полюбив тот дом за то, что в нем жил одинокий таракан, и Яков Титыч кормил его кое-чем; таракан существовал безвестно, без всякой надежды, однако жил терпеливо и устойчиво, не проявляя мучений наружу, и за это Яков Титыч относился к нему бережно и даже втайне уподоблялся ему; но крыша и потолок в том доме обветшали и расстроились, сквозь них на тело Якова Титыча капала ночная роса, и он зяб от нее, но не мог переменить пристанища, сожалея таракана наравне с собой. Раньше Яков Титыч жил на голых местах, где не к чему было привыкнуть и привязаться, кроме такого же, как он, дорожного друга; привязываться же к живому предмету для Якова Титыча было необходимо, чтобы во внимании и снисхождении к нему найти свое терпение жить и чтобы из наблюдений узнавать, как надо жить легче и лучше; кроме того, в созерцании чужой жизни расточалась — из сочувствия — жизнь самого Якова Титыча, потому что ей некуда было деваться, он существовал в остатке и в излишке населения земли. В Чевенгуре прочие люди как явились, так потеряли товарищество друг к другу: они приобрели имущество и многочисленный домашний инвентарь, который они часто трогали своими руками и не знали, откуда это произошло, — ведь это слишком дорого стоит, чтобы можно было кому-либо подарить; прочие щупали вещи несмелыми руками, словно те вещи были омертвелой, пожертвованной жизнью их погибших отцов и их заблудившихся где-то в других степях братьев. Прибылые чевенгурцы строили некогда избы и рыли колодцы, но не здесь, а вдалеке отсюда — на сибирских колонизационных землях, где когда-то прошел их круговой путь существования.

В Чевенгуре Яков Титыч остался почти один, как после своего рождения, и, привыкнув ранее к людям, теперь имел таракана; живя ради него в худом доме, Яков Титыч просыпался по ночам от свежести капающей сквозь кровлю росы.

Федор Федорович Гопнер заметил Якова Титыча изо всей массы прочих, — он ему показался наиболее расстроенным человеком, живущим вдаль по одной инерции рождения; но расстройство Якова Титыча уже замертво в нем, он его не чувствовал, как неудобство состояния, и жил, чтобы забыться кое-чем: до Чевенгура он ходил с людьми и выдумывал себе разные думы, — что его отец и мать живы и он тихо идет к ним, и когда дойдет — тогда уж будет ему хорошо; либо брал другую думу, — что пешеход, идущий с ним рядом, есть его собственный человек и в нем находится все самое главное, пока недостающее в Якове Титыче, поэтому можно успокоиться и идти дальше с твердыми силами; нынче же Яков Титыч жил посредством таракана. А Гопнер как пришел в Чевенгур, так не знал, что ему делать, первые два дня он ходил и видел — город сметен субботниками в одну кучу, но жизнь в нем находится в разложении на мелочи, и каждая мелочь не знает, с чем ей сцепиться, чтобы удержаться. Но сам Гопнер пока не мог изобрести, что к чему надо подогнать в Чевенгуре, дабы в нем заработала жизнь и прогресс, и тогда Гопнер спросил у Дванова:

— Саш, пора бы нам начинать налаживать.

— Чего налаживать? — спросил Дванов.

— Как чего? А зачем тогда прибыли на место? — Весь детальный коммунизм.

Дванов не спеша постоял.

— Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит, здесь люди живут, — их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет.

Гопнер захотел себе все это представить с точностью, — он почесал себе ушную раковину, где от отдыха уже пропала синева кожи, и представил, что поскольку нет паровоза, постольку каждый человек должен иметь свою паровую машину жизни.

— Для чего ж это так? — почти удивился Гопнер.

— Наверно, чтоб было сильнее, — сказал в конце Дванов. — Иначе не стронешься.

Синий лист дерева легко упал близ Дванова, по краям он уже пожелтел, он отжил, умер и возвращался в покой земли; кончалось позднее лето, наступала осень — время густых рос и опустелых степных дорог. Дванов и Гопнер поглядели на небо — оно им показалось более высоким, потому что уже лишалось смутной силы солнца, делавшей небо туманным и низким. Дванов почувствовал тоску по прошедшему

времени: оно постоянно сбывается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее; и Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, — время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска.

Мимо Дванова пробежал босой возбужденный прочий, за ним несся Кирей с небольшой собакой на руках, потому что она не поспевала за скоростью Кирея; немного позади бежало еще пятеро прочих, еще не знающих, куда они бегут, — эти пятеро были людьми уже в годах, однако они стремились вперед со счастьем малолетства, и встречный ветер выдувал из их длинных слегшихся волос ночлежный сор и остья репьев. Сзади всех гулко проскакал на устоявшейся Пролетарской Силе Копенкин и махнул Дванову рукой на степь. По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек, все его туловище было окружено воздухом, только подошвы еле касались земной черты, — и к нему неслись чевенгурские люди. Но человек шел, шел и начал скрываться по ту сторону видимости, а чевенгурцы промчались половину степи, потом начали возвращаться — опять одни.

Чепурный прибежал уже после, весь взволнованный и тревожный.

— Чего там, говори, пожалуйста! — спрашивал он у грустно бредущих прочих.

— Там шел человек, — рассказывали прочие. — Мы думали, он к нам идет, а он скрылся.

Чепурный же стоял и не видел надобности в одном далеком человеке, когда есть близко множество людей и товарищей. И он сказал о таком недоуменном положении подъехавшему Копенкину.

— А ты думаешь, я знаю! — произнес Копенкин с высоты коня. — Я им все время вслед кричал: граждане, товарищи, дураки, куда вы скачете — остановись! А они бегут: наверно, как и я, интернационала захотели, — что им один город на всей земле!

Копенкин подождал, пока Чепурный подумает, и добавил:

— Я тоже скоро отбуду отсель. Человек куда-то пошел себе по степи, а ты тут сиди и существуй, — лишь бы твой коммунизм был, а его нет тут ни дьявола! Спроси у Саши, он тоже горюет.

Здесь Чепурный уже ясно почувствовал, что пролетариат Чевенгура желает интернационала, то есть дальних, туземных и инородных людей, дабы объединиться с ними, чтобы вся земная разноцветная жизнь росла в одном кусте. В старое время через Чевенгур проходили цыгане и какие-то уроды и арапы, их бы можно привлечь в Чевенгур, если бы они показались где-либо, но теперь их совсем и давно не видно. Значит, после доставки женщин, Прокофию придется поехать в южные рабские страны и оттуда переселить в Чевенгур угнетенных. А тем пролетариям,

которые не смогут от слабости и старости дойти пешком до Чевенгура, — тем послать помощь имуществом и даже отправить весь город чохом, если потребуется интернационалу, а самим можно жить в землянках и в теплых оврагах.

Прочие, вернувшись в город, иногда залезали на крыши домов и смотрели в степь — не идет ли оттуда к ним какой-нибудь человек, не едет ли Прошка с женами, не случится ли что-нибудь вдали. Но над бурьяном стоял один тихий и пустой воздух, а по заросшему тракту в Чевенгур сдувалась ветром бесприютная перекасти-поле, одинокая трава-странник. Дом Якова Титыча поставлен был как раз поперек бывшей столбовой дороги, и юго-восточный ветер нагнал на него целый сугроб перекасти-поля. Яков Титыч от времени до времени очищал дом от травяных куч, чтобы через окна шел свет и он мог считать проходящие дни. Кроме этой нужды, Яков Титыч вовсе не выходил днем наружу, а питательные растения собирал ночью в степи. У него опять начались ветры и потоки, и он жил с одним тараканом. Таракан же каждое утро подползал к оконному стеклу и глядел в освещенное теплое поле; его усики трепетали от волнения и одиночества — он видел горячую почву и на ней сытные горы пищи, а вокруг тех гор жировали мелкие существа, и каждое из них не чувствовало себя от своего множества.

Однажды к Якову Титычу зашел Чепурный, — Прокофия все не было и нет, Чепурный уже чувствовал горе об утраченном необходимом друге и не знал, куда ему деваться от долгого времени ожидания. Таракан по-прежнему сидел близ окна — был день, теплый и великий над большими пространствами, но уже воздух стал легче, чем летом, — он походил на мертвый дух. Таракан томился и глядел.

— Титыч, — сказал Чепурный. — Пусти ты его на солнце! Может, он тоже по коммунизму скучает, а сам думает, что до него далеко.

— А я как же без него? — спросил Яков Титыч.

— Ты к людям ступай. Видишь, я к тебе пришел.

— К людям я не могу, — сказал Яков Титыч. — Я порочный человек, мой порок кругом раздается.

Чепурный никогда не мог осудить классового человека, потому что сам был похож на него и не мог чувствовать больше.

— Что ж тебе порок, скажи пожалуйста? Сам коммунизм из порока капитала вышел, и у тебя что-нибудь выйдет от такого мучения. Ты вот о Прокофии подумай — пропал малый.

— Явится, — сказал Яков Титыч и лег на живот, ослабев от терпения боли внутри. — Шесть дней ушло, а баба любит время, она опасается.

Чепурный пошел от Якова Титыча дальше — он захотел поискать для болящего какой-нибудь легкой пищи. На кузнечном камне, на ко-

тором когда-то обтягивали колесные шины, сидел Гопнер, а около него лежал вниз лицом Дванов — он отдыхал в послеполуденном сне. Гопнер держал в руках картошку — и щупал и мял ее во всех деталях, словно изучая, как она сама сделалась; на самом же деле Гопнер томился и во время тоски всегда брал первые предметы и начинал трогать на них свое внимание, чтобы забыть про то, чего ему нужного недостает. Чепурный сказал Гопнеру про Якова Титыча, что тот болен и мучается один с тараканом.

— А ты зачем бросил его? — спросил Гопнер. — Ему надо жижку какую-либо сварить! Я немного погоды сам найду его, будь он проклят!

Чепурный тоже сначала хотел чего-нибудь сварить, но обнаружил, что недавно в Чевенгуре спички вышли, и не знал, как быть. Но Гопнер знал, как быть: нужно пустить без воды деревянный насос, который стоял над мелким колодезем в одном унесенном саду; насос в былое время качал воду для увлажнения почвы под яблонями, и его вращала ветряная мельница; это силовое устройство Гопнер однажды заметил, а теперь назначил водяному насосу добыть огонь посредством трения поршня всухую. Гопнер велел Чепурному обложить деревянный цилиндр насоса соломой и пустить ветряк, а самому ждать, пока цилиндр затлеет и солома от него вспыхнет.

Чепурный обрадовался и ушел, а Гопнер начал будить Дванова:

— Саш, вставай скорее, нам надо побеспокоиться. Худой старик кончается, городу нужен огонь... Саша! И так скучно, а ты спишь.

Дванов в усилении пошевелинулся и произнес как бы издали — из своего сна:

— Я скоро проснусь, пап, — спать тоже скучно... Я хочу жить наружи, мне тут тесно быть...

Гопнер повернул Дванова на спину, чтобы он дышал из воздуха, а не из земли, и проверил сердце Дванова, как оно бьется в сновидении. Сердце билось глубоко, поспешно и точно, — было страшно, что оно не выдержит своей скорости и точности и перестанет быть отсечкой переходящей жизни в Дванове — жизни, почти беззвучной во сне. Гопнер задумался над спящим человеком, — какая мирная берегущая сила звучит в его сердце? — будто погибший родитель Дванова навсегда или надолго зарядил его сердце своею надеждой, но надежда не может сбыться и бьется внутри человека: если она сбудется, человек умрет; если не сбудется — человек останется, но замучается, — и сердце бьется на своем безысходном месте среди человека. «Пусть лучше живет, — глядел на дыхание Дванова Гопнер, — а мучиться мы как-нибудь не дадим». Дванов лежал в траве Чевенгура, и, куда бы ни стремилась его жизнь, ее цели должны быть среди дворов и людей, потому что дальше ничего нет, кроме травы, поникшей в безлюдном пространстве, и кроме неба,

которое своим равнодушием обозначает уединенное сиротство людей на земле. Может быть, потому и бьется сердце, что оно боится остаться одиноким в этом отверстом и всюду одинаковом мире, — своим биением сердце связано с глубиной человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом, а смысл его не может быть далеким и непонятным — он должен быть тут же, невдалеке от груди, чтобы сердце могло биться, иначе оно утратит ощущение и замрет.

Гопнер скупыми глазами оглядел Чевенгур — пусть он плох, пусть дома в нем стоят непроходимой кучей, а люди живут молча, — все же в нем больше хочется жить, чем в далеком и пустом месте.

Дванов вытянул свое тело, потеплевшее ото сна и отдыха, и открыл глаза. Гопнер с серьезной заботой посмотрел на Дванова — он редко улыбался и в моменты сочувствия делался еще более угрюмым: он боялся потерять того, кому сочувствует, и этот его ужас был виден как угрюмость.

Чепурный в то время уже пустил мельницу и насос; поршень насоса, бегая в сухом деревянном цилиндре, начал визжать на весь Чевенгур — зато он добывал огонь для Якова Титыча. Гопнер с экономическим сладострастием труда слушал тот визг изнемогающей машины, и у него накоплялась слюна во рту от предчувствия блага для Якова Титыча, когда его желудку сварят горячую полезную пищу.

Уже целые месяцы прошли в Чевенгуре сплошной тишиной, и теперь в первый раз в нем заскрежетала трудящаяся машина.

Все чевенгурцы собрались вокруг машины и смотрели на ее усердие ради одного мучающегося человека; они удивлялись ее трудолюбивой заботе о слабом старике.

— Эх вы, убогие воины, — сказал Копенкин, первым прибывший для осмотра тревожного звука. — Ведь не иной кто, а пролетарий ее выдумал и поставил, и тоже для другого пролетария! Нечего было товарищу подарить, так он ветрогон и эту самосуйку сделал.

— А! — сказали все прочие. — Теперь нам видно.

Чепурный, не отходя от насоса, пробовал его жар, — цилиндр нагревался все более, но медленно. Тогда Чепурный велел чевенгурцам возлечь вокруг машины, чтобы на нее ниоткуда не дул прохладный воздух. И они лежали до вечера, пока ветер совсем утих, а цилиндр остыл, не вспыхнув пламенем.

— Свыше терпежа рук ни разу не обогрелся, — сказал Чепурный про насос. — Может, завтра с утра буря будет, тогда враз жару накачаем.

Вечером Копенкин нашел Дванова, он давно хотел его спросить, что в Чевенгуре — коммунизм или обратно, оставаться ему здесь или можно отбыть, — и теперь спросил.

— Коммунизм, — ответил Дванов.

— Чего ж я его никак не вижу? Иль он не разрастается? Я бы должен чувствовать грусть и счастье: у меня ведь сердце скоро ослабева-ет. Я даже музыки боюсь — ребята, бывало, заиграют на гармонии, а я сию и тоскую в слезах.

— Ты же сам коммунист, — сказал Дванов. — После буржуазии коммунизм происходит из коммунистов и бывает между ними. Где же ты ищешь его, товарищ Копенкин, когда в себе бережешь? В Чевенгуре коммунизму ничто не мешает, поэтому он сам рождается.

Копенкин пошел к лошади и выпустил ее в степь — пастись на ночь, так он никогда не поступал, храня коня при себе во всякий момент.

День окончился, — словно вышел из комнаты человек-собеседник, и ногам Дванова стало холодно. Он стоял один среди пустыря и ожидал увидеть кого-нибудь. Но никого не заметил, прочие рано ложились спать, им не терпелось поскорее дожидаться жен, и они желали поскорее истощать время во сне. Дванов пошел за черту города, где звезды светят дальше и тише, потому что они расположены не над городом, а над степью, уже опустошаемой осенью. В последнем доме разговаривали люди; тот дом с одной стороны завалила трава, будто ветер, наравне с солнцем, начал работать на Чевенгур и теперь гнал сюда траву, чтобы завалить ею на зиму дома и создать в них укрытое тепло.

Дванов вошел в дом. На полу вниз животом лежал Яков Титыч и переживал свою болезнь. На табуретке сидел Гопнер и извинялся, что сегодня дул слабый ветер и огня добыть было невозможно; завтра, надо ожидать, будет буря — солнце скрылось в дальние тучи, и там сверкали молнии последней летней грозы. Чепурный же стоял на ногах и молча волновался.

Яков Титыч не столько мучился, сколько скучал по жизни, которая ему была сейчас уже не мила, но он знал в уме, что она мила, и тихо томился по ней. Пришедших людей он стыдился за то, что не мог сейчас чувствовать к ним своего расположения: ему было теперь все равно, хотя бы их и не было на свете; и таракан его ушел с окна и жил где-то в покоех предметов, он почел за лучшее избрать забвение в тесноте теплых вещей вместо нагретой солнцем, но слишком просторной, страшной земли за стеклом.

— Ты, Яков Титыч, зря таракана полюбил, — сказал Чепурный. — Оттого ты и заболел. Если б ты жил в границе людей, на тебя бы от них социальные условия коммунизма действовали, а один ты, ясно, занемог: вся микробная гада на тебя бросилась, а то бы — на всех, и тебе досталось мало...

— Почему, товарищ Чепурный, нельзя таракана любить? — неуверенно спросил Дванов. — Может быть, можно. Может быть, кто не хочет иметь таракана, тот и товарища себе никогда не захочет.

Чепурный сразу и глубоко задумался — в это время у него словно приостанавливались все чувства, и он еще более ничего не понимал.

— Тогда пускай, пожалуйста, привлекает таракана, — сказал он, чтобы положиться на Дванова. — Таракан его тоже живет себе в Чевенгуре, — с утешением закончил Чепурный.

У Якова Титыча настолько сильно натянулась какая-то перепонка в желудке, что он от ужаса, что та перепонка лопнет, заранее застонал, — но перепонка ослабела обратно. Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, которые находились вокруг него, — он видел, что сейчас, когда ему так скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу, и люди стоят близ него — каждый со своим туловищем, и никто не знает, куда направить свое тело во время горя Якова Титыча; Чепурный чувствовал стыд больше других, он уже привык понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища живут отдельно — и беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди несколько не соединены; поэтому-то и Копенкин и Гопнер не могли заметить коммунизма — он не стал еще промежуточным веществом между туловищами пролетариев. И здесь Чепурный тоже вздохнул: хоть бы Дванов помог, а то прибыл в Чевенгур и молчит; или же сам пролетариат скорей входил бы в полную силу, поскольку ему не на кого теперь надеяться.

На дворе совсем погасло, ночь начала углубляться. Яков Титыч ожидал, что вот-вот все уйдут от него на ночлег и он один останется томиться.

Но Дванов не мог уйти от этого худого, занемогшего старика; он хотел лечь с ним рядом и лежать всю ночь, всю болезнь, как лежал некогда с отцом в своем детстве; но он не лег, он чувствовал стеснение и понимал, как бы ему было стыдно, если бы к нему самому кто-нибудь прилег, чтобы разделить болезнь и одинокую ночь. Чем больше Дванов думал, как поступить, тем незаметнее забывал свое желание остаться у Якова Титыча на ночь, точно ум поглощал чувствующую жизнь Дванова.

— Ты, Яков Титыч, живешь не организационно, — придумал причину болезни Чепурный.

— Чего ты там брешешь? — обиделся Яков Титыч. — Организуй меня за туловище, раз так. Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище как было, так и мучается... Иди отдыхать, скоро роса закапает.

— Я ей, будь она проклята, капну! — угрюмо сказал Гопнер, и вышел на двор. Он полез на крышу осматривать дырья, через которые проникала роса и остужала больного Якова Титыча.

Дванов тоже забрался на кровлю и держался за трубу; уже луна блестела холодом, влажные крыши светились безлюдной росой, а в степи было уныло и жутко — тому, кто там остался сейчас один. Гопнер ра-

зыскал в чулане молоток, принес из кузницы кровельные ножницы, два листа старого железа и начал чинить крышу. Дванов внизу резал железо, выпрямлял гвозди и подавал этот материал наверх, а Гопнер сидел на крыше и стучал на весь Чевенгур; это было в первый раз при коммунизме, чтобы в Чевенгуре застучал молоток и, вдобавок к солнцу, начал трудиться человек. Чепурный, ушедший послушать в степь, не едет ли Прокофий, быстро возвратился на звук молотка; другие чевенгурцы также не вытерпели и пришли удивленно поглядеть, как человек вдруг работает, и к чему.

— Не бойтесь, пожалуйста, — сказал всем Чепурный. — Он не для пользы и богатства застучал, ему нечего Якову Титычу подарить, он и начал крышу над его головой латать, — это пускай!

— Пускай, — ответили многие и простояли до полуночи, пока Гопнер не слез с крыши и не сказал: «Теперь не просочится». И все прочие с удовлетворением вздохнули, оттого что теперь на Якова Титыча ничто не просочится и ему можно спокойно болеть: чевенгурцы сразу почувствовали к Якову Титычу скупое отношение, поскольку пришлось латать целую крышу, чтобы он остался цел.

Остальную ночь чевенгурцы спали, их сон был спокоен и полон утешения — на конце Чевенгура стоял дом, заваленный сугробом перекасти-поля, и в нем лежал человек, который им стал нынче снова дорог, и они скучали по нем во сне; так бывает дорога игрушка младенцу, который спит и ждет утра, чтобы проснуться и быть с игрушкой, привязавшей его к счастью жизни.

Только двое не спали в Чевенгуре в ту ночь — Кирей и Чепурный; они оба жадно думали о завтрашнем дне, когда все встанут, Гопнер добудет огонь из насоса, курящие закурят толченые лопухи и снова будет хорошо. Лишенные семейств и труда, Кирей, Чепурный и все спящие чевенгурцы вынуждены были одушевлять близких людей и предметы, чтобы как-нибудь размножить и облегчать свою набирающуюся, спертую в теле жизнь. Сегодня они одушевили Якова Титыча, — и всем полегчало, все мирно заснуло от скупого сочувствия Якову Титычу, как от усталости. Под конец ночи и Кирей тихо забылся, и Чепурный, прошептав: «Яков Титыч уже спит, а я нет», — тоже прилег к земле ослабевшей головой.

Следующий день начался мелким дождем, солнце не показалось над Чевенгуром; люди проснулись, но не вышли из домов. В природе наступила осенняя смутность, почва надолго задремала под окладным тепеливым дождем.

Гопнер делал ящик на водяной насос, чтобы укрыть его от дождевой мелочи и все же добыть огонь. Четверо прочих стояли вокруг Гопнера и воображали, что они тоже участвуют в его труде.

А Копенкин расшил из шапки портрет Розы Люксембург и сел срисовывать с него картину — он захотел подарить картину Розы Люксембург Дванову, может быть, он тоже полюбит ее. Копенкин нашел картон и рисовал печным углем, сидя за кухонным столом; он высунул шевелящийся язык и ощущал особое покойное наслаждение, которого никогда не знал в прошлой жизни. Каждый взгляд на портрет Розы Копенкин сопровождал волнением и шепотом про себя: «Милый товарищ мой женщина», — и вздыхал в тишине чевенгурского коммунизма. По оконному стеклу плыли капли дождя, иногда проносился ветер и сразу осушал стекло, недалекий плетень стоял заунывным зрелищем, — Копенкин вздыхал дальше, мочил языком ладонь для сноровки и принимался очерчивать рот Розы; до ее глаз Копенкин дошел уже совсем растроганным, однако горе его было не мучительным, а лишь слабостью еле надеющегося сердца, — слабостью потому, что сила Копенкина уходила в тщательное искусство рисования. Сейчас он не мог бы вскочить на Пролетарскую Силу и мчаться по степным грязям в Германию на могилу Розы Люксембург, дабы поспеть увидеть земляной холм до размыва его осенними дождями, — сейчас Копенкин мог лишь изредка утереть свои глаза, уставшие от ветра войны и полей, рукавом шинели: он тратил свою скорбь на усердие труда, он незаметно хотел привлечь Дванова к красоте Розы Люксембург и сделать для него счастье, раз совестно сразу обнять и полюбить Дванова.

Двое прочих, и с ними Пашинцев, рубили шелугу по песчаному наносу на окраине Чевенгура. Несмотря на дождь, они не унимались и уже наложили немалый ворох дрожащих прутьев. Чепурный еще издали заметил это чуждое занятие, тем более что люди мокли и простывали ради хворостины, и пошел справиться.

— Чего вы делаете? — спросил он. — Зачем вы кущи губите и сами студитесь?

Но трое тружеников, поглощенные в самих себя, с жадностью пресекали топорами худую жизнь хворостин.

Чепурный сел во влажный песок.

— Ишь ты, ишь ты! — подговаривал он Пашинцеву под руку. — Рубит и режет, а зачем — скажи пожалуйста?

— Мы на топку, — сказал Пашинцев. — Надо зиму загодя ждать.

— Ага — тебе надо зиму ожидать! — с хитростью ума произнес Чепурный. — А того ты не учитываешь, что зимой снег бывает?!

— Когда нападает, то бывает, — согласился Пашинцев.

— А когда он не падает, скажи пожалуйста? — все более хитро упрекал Чепурный и затем перешел к прямому указанию: — Ведь снег укроет Чевенгур, и под снегом будет жить тепло. Зачем же тебе хворост и топка? Убеди меня, пожалуйста, — я ничего не чувствую!

143
ближними звездами, и предполагал: что бы было, если-о весь город сразу загорелся? Пошла бы потом голая земля навод города мужиками на землеустройство, а пожарная команда пригратилась бы в сельскую дружину, а в дружине бы служба спокойней была.

Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе вслух, не умея соображать молча. Он не мог думать вступную: сначала он должен свое умственное коленание передожить в слова, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверно, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их опущать.

— Скажи, пожалуйста! убедительно, говори себе и сам внимательно слушал человек. — Без него не жили, торговля, товарообмен, да налог! Да оно так и было: и торговля шла сквозь все отряды, и мужик развертку сам себе скинул, и подумался налог! Верно в говорю, или я дурной?

Человек иногда приостанавливался на ступеньках, и врал себе, воображал и т.д.

— Нет, ты дурак! Неужели ты думаешь, что Ленин гуляет тебе: скажи, пожалуйста!

Человек лишь мучился. Пожарный на крыше снова зашел, не чувствуя, что под ним происходит.

— Какая-то новая экономическая политика! Дали просто уличное название коммунизму. И в по-уличному японцев называют, надо терпеть!

Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них:

— Скажите мне пожалуйста: вот у меня коммунизм стальной прет, могу я его политикой остановить, или не надо?

— Не надо, сказал Дванов.

— Ну, а раз не надо о чем же сомнения? — сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щетку сабачью. Он был маленького роста, одетый в прозежду коммуниста — шинель с плеч солдата, дезертира царской войны — со штыком носом на усталом лице.

Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал впереди его на собрании.

— Откуда ты такой явился? — спросил Гопнер.

— Из коммунизма. Слышал такой пункт? — ответил бывший человек.

— Деревня, что-ль, такая в памяти будущего есть?

Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.

— Какая тебе деревня, беспартийный ты что-ль? Пункт есть такой — целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был, пока что, председателем ревкома.

— Чевенгур от Новоселовска не далеко? — спросил Дванов.

Типографский набор текста романа
с редакторской правкой.
ИМЛИ

— Мы не себе рубим, — убедил его Пашинцев, — мы кому-нибудь, кому потребуется. А мне сроду жара не нужна, я снегом хату завалю и буду там.

— Кому-нибудь?! — сомневающе сказал Чепурный — и удовлетворился. — Тогда руби больше. Я думал, вы себе рубите, а раз кому-нибудь, то это верно — это не труд, а помощь даром. Тогда руби! Только чего ж ты бос? На́ тебе хоть мои полусапожки — ты ж остудишься!

— Я остужусь?! — обиделся Пашинцев. — Если б я когда заболел, то ты бы давно умер.

Чепурный ходил и наблюдал по ошибке: он часто забывал, что в Чевенгуре больше нет ревкома и он — не председатель. Сейчас Чепурный вспомнил, что он не советская власть, и ушел от рубщиков хвороста со стыдом, он побоялся, как бы Пашинцев и двое прочих не подумали про него: вон самый умный и хороший пошел, богатым начальником бедноты коммунизма хочет стать! — И Чепурный присел за одним поперечным плетнем, чтобы про него сразу забыли и не успели ничего подумать. В ближнем сарае раздавались мелкие спешные удары по камню; Чепурный выдернул кол из плетня и дошел до того сарая, держа в руке кол и желая помочь им в работе трудящихся. В сарае на мельничном камне сидели Кирей и Жеев и долбили бороздки по лицу того камня. Оказалось, что Кирей с Жеевым захотели пустить ветряную мельницу и намелить из разных созревших зерен мягкой муки, а из этой муки они думали испечь нежные жамки для болящего Якова Титыча. После каждой бороздки оба человека задумывались: насека́ть им камень дальше или нет, и, не приходя к концу мысли, насекали дальше. Их брало одинаковое сомнение: для жернова нужна была палбрица, а сделать ее мог во всем Чевенгуре только один Яков Титыч — он работал в старину кузнецом. Но когда он сможет сделать палбрицу, тогда он уже выздоровеет и обойдется без жамок, — стало быть, сейчас не надо насека́ть камня, а тогда, когда поднимется Яков Титыч, если же он выздоровеет, то жамки не потребуются наравне с мельницей и палбрицей. И время от времени Кирей и Жеев останавливались для сомнения, а потом вновь работали на всякий случай, чтобы чувствовать в себе удовлетворение от заботы по Якову Титычу.

Чепурный смотрел-смотрел на них и тоже усомнился.

— Зря долбите, — осторожно выразил он свое мнение, — вы сейчас камень чувствуете, а не товарищей. Прокофий вот придет, он всем вслух прочитает, как труд рождает стерву противоречия наравне с капитализмом... На дворе дождь, в степи сырость, а малого нет и нет, все время хожу и помню о нем.

— Либо верно — зря? — доверился Чепурному Кирей. — Он и так выздоровеет — коммунизм сильнее жамки. Лучше пойду порошу из патронов товарищу Гопнеру дам, он скорей огонь сделает.

— Он без пороха сделает, — окоротил Кирея Чепурный. — Силы природы на все хватит: целые светила горят, неужели солома не загорится?.. Чуть солнце за тучи, вы и пошли трудиться вместо него! Надо жить уместней, теперь не капитал!

Но Кирей и Жеев не знали точно, отчего они сейчас трудились, и лишь почувствовали скучное время на дворе, когда поднялись с камня и оставили на нем свою заботу об Якове Титыче.

Дванов с Пиусей тоже сначала не знали, зачем они пошли на реку Чевенгурку. Дождь над степью и над долиной реки создавал особую тоскующую тишину в природе, будто мокрые одинокие поля хотели приблизиться к людям в Чевенгур. Дванов с молчаливым счастьем думал о Копенкине, Чепурном, Якове Титыче о всех прочих, что сейчас жили себе в Чевенгуре. Дванов думал об этих людях как о частях единственного социализма, окруженного дождем, степью и серым светом всего чужого мира.

— Пиусь, ты думаешь что-нибудь? — спросил Дванов.

— Думаю, — сказал сразу Пиуся и слегка смутился — он часто забывал думать и сейчас ничего не думал.

— Я тоже думаю, — удовлетворенно сообщил Дванов. Под думой он полагал не мысль, а наслаждение от постоянного воображения любимых предметов; такими предметами для него сейчас были чевенгурские люди — он представлял себе их голые жалкие туловища существом социализма, который они искали с Копенкиным в степи, и теперь нашли. Дванов чувствовал полную сытость своей души, он даже не хотел есть со вчерашнего утра и не помнил об еде; он сейчас боялся утратить свой душевный покойный достаток и желал найти другую второстепенную идею, чтобы ею жить и ее тратить, а главную идею оставить в нетронутном запасе — и лишь изредка возвращаться к ней для своего счастья.

— Пиусь, — обратился Дванов, — правда ведь, что Чевенгур у нас с тобой душевное имущество? Его надо беречь как можно поскупей и не трогать каждую минуту!

— Это можно! — с ясностью подтвердил Пиуся. — Пускай только тронет кто — сразу ляпну сердце прочь!

— В Чевенгуре тоже люди живут, им надо жить и кормиться, — все дальше и все успокоенней думал Дванов.

— Конечно, надо, — согласно полагал Пиуся. — Тем более что тут коммунизм, а народ худой! Разве в теле Якова Титыча удержится коммунизм, когда он тощий? Он сам в своем теле еле помещается!

Они подошли к заглохшей, давно задернелой балке; своим устьем эта балка обращалась в пойму реки Чевенгурки и там погашалась в долине. По широкому дну балки гноился ручей, питающийся живым родником в глубине овражного верховья; ручей имел прочную воду, которая

была цела даже в самые сухие годы, и по берегам ручья всегда росла свежая трава. Больше всего Дванову сейчас хотелось обеспечить пищу для всех чевенгурцев, чтобы они долго и безвредно для себя жили на свете и доставляли своим наличием в мире покой неприкосновенного счастья в душу и в думу Дванова; каждое тело в Чевенгуре должно твердо жить, потому что только в этом теле живет вещественным чувством коммунизм. Дванов в озабоченности остановился.

— Пиюсь, — сказал он, — давай плотину насыпем поперек ручья. Зачем здесь напрасно, мимо людей течет вода?

— Давай, — согласился Пиюся. — А кто воду будет пить?

— Земля летом, — объяснил Дванов; он решил устроить в долине балки искусственное орошение, чтобы будущим летом, по мере засухи и надобности, покрывать влагой долину и помогать расти питательным злакам и травам.

— Тут огороды будут хороши, — указал Пиюся. — Тут жирные места, — сюда со степей весной чернозем несет, а летом от жары одни трещины и сухие пауки.

Через час Дванов и Пиюся принесли лопаты и начали рыть канаву для отвода воды из ручья, чтобы можно было строить плотину на сухом месте. Дождь ничуть не переставал, и трудно было рвать лопатой задержанный промокший покров.

— Зато люди будут всегда сыты, — говорил Дванов, с усердием жадности работая лопатой.

— Еще бы! — отвечал Пиюся. — Жидкость — великое дело.

Теперь Дванов перестал бояться за утрату или повреждение главной своей думы — о сохранности людей в Чевенгуре: он нашел вторую, добавочную идею — орошение балки, — чтобы ею отвлекаться и ею помогать целости первой идеи в самом себе. Пока что Дванов еще боялся пользоваться людьми коммунизма, — он хотел жить тише и беречь коммунизм без ущерба, в виде его первоначальных людей.

В полдень Гопнер добыл огонь водяным насосом, в Чевенгуре раздался гул радости, и Дванов с Пиусей тоже побежали туда. Чепурный уже успел развести костер и варил на нем котелок супа для Якова Титыча, торжествуя от своего занятия и от гордости, что в Чевенгуре на сыром месте пролетарии сумели сделать огонь.

Дванов сказал Гопнеру о своем намерении делать оросительную плотину на ручье, дабы лучше росли огороды и злаки. Гопнер на это заметил, что без шпунта не обойтись, нужно найти в Чевенгуре сухое дерево и начинать делать шпунтовые сваи. И Дванов с Гопнером до вечера искали сухое дерево, пока не дошли до старого буржуазного кладбища, очутившегося уже вне Чевенгура благодаря сплочению города в тесноту от переноски домов на субботниках; на кладбище богатые семейства

ставили высокие дубовые кресты по своей усопшей родне, и кресты стояли десятки лет над могилами, как деревянное бессмертие умерших. Эти кресты Гопнер нашел годными для шпунта, если снять с них перекладыны и головки Иисуса Христа.

Поздно вечером Гопнер, Дванов, Пиюся и еще пятеро прочих взялись корчевать кресты; позже, покормив Якова Титыча, прибыл Чепурный и тоже принялся за корчевку, в помощь уже трудившимся для будущей сытости Чевенгура.

Неслышным шагом, среди звуков труда, со степи на кладбище вступили две цыганки; их никто не заметил, пока они не подошли к Чепурному и не остановились перед ним. Чепурный раскапывал корень креста и вдруг почуял, что чем-то пахнет сырым и теплым духом, который уже давно вынес ветер из Чевенгура; он перестал рыть и молча притаился — пусть неизвестное еще чем-нибудь обнаружится, но было тихо и пахло.

— Вы чего здесь? — вскочил Чепурный, не разглядев цыганок.

— А нас малый встретил да послал, — сказала одна цыганка. — Мы в жены пришли наниматься.

— Проша! — вспоминая, улыбнулся Чепурный. — Где он есть?

— А тамо, — ответили цыганки. — Он нас пощупал от болезни, да и погнал. А мы шли-шли, да и дошли, а вы могилы роете, а невест хороших у вас нету...

Чепурный со смущением осмотрел явившихся женщин. Одна была молода и, видимо, молчалива; ее маленькие, черные глаза выражали терпение мучительной жизни, остальное же лицо было покрыто утомленной, жидкой кожей; эта цыганка имела на теле красноармейскую шинель, а на голове фуражку кавалериста, и ее черные свежие волосы показывали, что она еще молода и могла бы быть хороша собой, но время ее жизни до сих пор проходило трудно и напрасно. Другая цыганка была стара и щербата, однако она глядела веселее молодой, потому что от долголетней привычки к горю ей казалась жизнь все легче и счастливей, — того горя, которое повторяется, старая женщина уже не чувствовала: оно от повторения становилось облегчением.

Благодаря нежному виду полузабытых женщин Чепурный растрогался. Он поглядел на Дванова, чтобы тот начинал говорить с прибывшими женами, но у Дванова были слезы волнения на глазах, и он стоял почти в испуге.

— А коммунизм выдержите? — спросил Чепурный у цыганок, слабея и напрягаясь от трогательности женщин. — Ведь тут Чевенгур, бабы, — вы глядите!

— Ты, красавец, не пугай! — с быстротой и привычкой к людям сказала старшая цыганка. — Мы не такое видали, а женского ничего не прожили — сюда принесли. А ты чего просишь-то? Твой малый ска-

зал — всякая живая баба тут невестой будет, — а ты уж — не выдержим! Что мы выдержали, того нам тут не держать — легче будет, жених!

Чепурный выслушал и сформулировал извинение:

— Конечно, выдержишь! Это я тебе на пробу сказал. Кто капитализм на своем животе перенес, для того коммунизм — слабость.

Гопнер неумоимо выкапывал кресты, словно две женщины вовсе не пришли в Чевенгур, и Дванов тоже нагнулся на работу, чтобы Гопнер не считал его интересующимся женщинами.

— Ступайте, бабы, в население, — сказал для цыганок Чепурный. — Берегите там людей своей заботой, видите — мы для них мучаемся.

Цыганки пошли к мужьям в Чевенгур.

Прочие сидели по домам, в сенцах и в сараях и делали руками кто что мог: одни стругали доски, другие с успокоившейся душой штопали мешки, чтобы набрать в них зерен из степных колосьев, третьи же ходили со двора на двор и спрашивали: «Иде дырья?» — в дырках стен и печей они искали клопов и там душили их. Каждый прочий заботился не для своей пользы, — прочий человек видел, как Гопнер чинил крышу над Яковом Титычем, и, желая утешения своей жизни, тоже начал считать своим благом какого-нибудь другого чевенгурца — и для него приступил к сбору зерен, или к очистке досок, а из досок, может быть, собьет какой-подарок или вещь. Те же, кто душил клопов, еще не нашли себе в определенном человеке единственного блага, от которого наступает душевный покой и хочется лишь трудиться для охраны выбранного человека от бедствий нужды, — те просто от растраты сил чувствовали свежесть своего устающего тела; однако они тоже немного утешались, что людей больше не будут кусать клопы; даже водяной насос и тот спешил работать, чтобы нагреть огня для Якова Титыча, хотя ветер и машина — не люди.

Прочий по имени Карчук доделал длинный ящик и лег спать, вполне удовлетворенный, хотя и не знал, для чего потребуется ящик Кирею, которого Карчук начал чувствовать своей душевной необходимостью.

А Кирей, устроив жернов, отправился подавить немного клопов, а потом тоже пошел на отдых, решив, что теперь бедному человеку стало гораздо лучше: паразит перестанет истощать его худое тело; кроме того, Кирей заметил, что прочие часто глядели на солнце — они им любовались за то, что оно их кормило, а сегодня все чевенгурцы обступили водяной насос, потому что его крутил ветер, и тоже любовались на ветер и деревянную машину; тогда Кирей почувствовал ревностный вопрос — почему при коммунизме люди любят солнце и природу, а его не замечают — и вечером еще раз пошел губить клопов по жилищам, чтобы трудиться не хуже природы и деревянной машины.

Только что Карчук, не додумав про свой ящик, задремал, как в дом вошли две цыганки. Карчук открыл глаза и безмолвно испугался.

— Здравствуй, жених! — сказала старая цыганка. — Корми нас, а потом спать клади: хлеб вместе и любовь пополам.

— Чего? — спросил полуглухой Карчук. — Мне не нужно, мне и так хорошо, я про товарища думаю...

— Зачем тебе товарищ? — заспорила пожилая цыганка, а молодая молча и совестливо стояла. — Ты свое тело со мной разделишь, вещей не жалко будет, товарища забудешь, — вот истинно тебе говорю!

Цыганка сняла платок и хотела сесть на ящик, что был готов для Кирея.

— Не трожь ящик! — закричал Карчук от страха порчи ящика. — Не тебе заготовлен!

Цыганка взяла платок с ящика и женски обиделась.

— Эх ты, несдобный! Нечего тебе клюкву хотеть, когда морщиться не умеешь...

Две женщины вышли и легли спать в чулане без брачного тепла.

Симон Сербинов ехал в трамвае по Москве. Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать, — очевидно, он действительно и глубоко разлагался. Несмотря на принадлежность к железной, хотя и оптимистической партии, Сербинов никак не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию; он чувствовал лишь энергию печали своей индивидуальности. Он любил женщин и будущее и не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти. Недавно Сербинов возвратился с обследования социалистического строительства в далеких открытых равнинах советской страны. Четыре месяца он медленно ездил в глубокой, природной тишине провинции. Сербинов сидел в уиках, помогая тамошним большевикам стронуть жизнь мужика с ее дворового корня, и читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях. Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше в глубь советов, чтобы добиться для партии точной правды из трудящейся жизни. Подобно некоторым, изможденным революционерам, Сербинов не любил рабочего или деревенского человека, — он предпочитал иметь их в массе, а не в отдельности. Поэтому Сербинов со счастьем культурного человека вновь ходил по родным очагам Москвы, рассматривал изящные предметы в магазинах, слушал бесшумный ход драгоценных автомобилей и дышал их отработанным газом, как возбуждающими духами.

Сербинов путешествовал по городу, словно по бальной зале, где присутствует ожидающая его дама, только она затеряна вдалеке, среди теплых молодых толп и не видит своего заинтересованного кавалера, а кавалер не может дойти до нее, потому что он имеет объективное сердце и встречает других достойных женщин, настолько исполненных нежности и недоступности, что делается непонятным, как рождаются дети на свете; но чем больше Сербинов встречал женщин и видел предметов, для изделия которых мастеру надо отвлечься от всего низкого и нечистоплотного в своем теле, тем более Сербинов тосковал. Его не радовала женская молодость, хотя он и сам был молод, — он заранее верил в недостижимость необходимого ему счастья. Вчера Сербинов был на симфоническом концерте; музыка пела о прекрасном человеке, она говорила о потерянной возможности, и отвыкший Сербинов ходил в антрактах в уборную, чтобы там переволноваться и вытереть глаза невидимо ото всех.

Пока Сербинов думал, он ничего не видел и механически ехал в трамвае. Перестав думать, он заметил совершенно молодую женщину, которая стояла близ него и глядела ему в лицо. Сербинов не застеснялся ее взора и сам посмотрел на нее, потому что женщина наблюдала его такими простыми и трогательными глазами, какие каждый может вынести на себе без смущения.

На женщине было надето хорошее летнее пальто и шерстяное чистое платье; одежда покрывала неизвестную уютную жизнь ее тела, — вероятно, рабочего тела, ибо женщина не имела ожиревших пышных форм, — она была даже изящна и совсем лишена обычной сладострастной привлекательности. Больше всего Сербинова трогало то, что женщина была чем-то счастлива и смотрела на него и вокруг себя глазами расположения и сочувствия. От этого Сербинов сейчас же нахмурился; счастливые были для него чужими, он их не любил и боялся. «Или я разлагаюсь, — с искренностью разгадывал сам себя Сербинов, — или счастливые бесполезны для несчастных».

Странно-счастливая женщина сошла на Театральной. Она была похожа на одинокое стойкое растение на чужой земле, не сознающее от своей доверчивости, что оно одиноко.

Сербинову сразу стало скучно в трамвае без нее; засаленная, обтертая чужими одеждами кондукторша записывала номера билетов в контрольный листок, провинциальные люди с мешками ехали на Казанский вокзал, жуя пищу на дальнюю дорогу, и электромотор равнодушно стонал под полом, запертый без подруги в теснинах металла и сцеплений. Сербинов соскочил с трамвая и испугался, что та женщина навсегда исчезла от него в этом многолюдном городе, где можно жить годами без встреч и одиноким. Но счастливые медлят жить; та женщина стояла у

Малого театра и держала руку горстью, куда газетчик постепенно складывал гривенники сдачи.

Сербинов подошел к ней, решившись от страха тоски на смелость.

— А я думал, что вас уже утратил, — сказал он. — Я шел и вас искал.

— Мало искали, — ответила женщина и пересчитала правильность денег.

Это Сербинову понравилось; он сам никогда не проверял сдачу, не уважая ни своего, ни чужого труда, которым добываются деньги, — здесь же в этой женщине он встретил неизвестную ему опрятность.

— Вы хотите немного походить со мной? — спросила женщина.

— Я вас прошу об этом, — без всяких оснований произнес Сербинов.

Доверчиво-счастливая женщина не обиделась и улыбнулась.

— Иногда встретишь человека, и он вдруг — хороший, — сказала женщина. — Потом его потеряешь на ходу, тогда поскучаешь и забудешь. Я вам показалась хорошей, — верно?

— Верно, — полностью согласился Сербинов. — Я бы долго скучал, сразу утратив вас.

— А теперь поскучаете недолго — раз я не сразу пропала!

В манере идти и во всем нраве этой женщины была редкая гордость открытого спокойствия, без всякой рабской нервности и сохранения себя пред другим человеком. Она шла, смеялась от своего настроения, говорила и молчала, — и не следила за своей жизнью, она не умела приспособить себя к симпатиям своего спутника. Сербинов пробовал ей понравиться — не выходило, женщина не менялась к нему; тогда Сербинов оставил надежду и с покорной тоской думал о времени, которое сейчас спешит и приближает его вечную разлуку с этой счастливой, одаренной какой-то освежающей жизнью женщиной, — ее любить нельзя, но и расстаться с ней слишком грустно. Сербинов вспомнил, сколько переживал вечную разлуку, сам ее не считая. Скольким товарищам и любимым людям он сказал однажды и легкомысленно «до свидания» и больше никогда их не видел на свете, и уже не сможет увидеть. Сербинов не знал, что нужно сделать для удовлетворения своего чувства уважения к этой женщине, тогда бы ему легче было попрощаться с ней.

— Между друзьями нет средств утолиться до равнодушия, хотя бы временного, — сказал Сербинов. — Дружба ведь не брак.

— Для товарищей можно работать, — ответила спутница Сербинова. — Когда уморишься, бывает легче, — даже одной можно жить; а для товарищей остается польза труда. Не себя же им отдавать, я хочу остаться целой...

Сербинов почувствовал в своей кратковременной подруге некую твердую структуру, — такую самостоятельную, словно эта женщина была неуязвима для людей или явилась конечным результатом неизвестного, умершего социального класса, силы которого уже не действовали в мире. Сербинов представил ее себе остатком аристократического племени; если бы все аристократы были такими, как она, то после них история ничего бы не произвела, — напротив, они бы сами сделали из истории нужную им судьбу. Вся Россия населена гибнущими и спасающимися людьми, — это давно заметил Сербинов. Многие русские люди с усердной охотой занимались тем, что уничтожали в себе способности и дарования жизни: одни пили водку, другие сидели с полумертвым умом среди дюжины своих детей, третьи уходили в поле и там что-то тщетно воображали своей фантазией. Но вот эта женщина не погубила себя, а сделала. И быть может, она потому и растрогала чувство Сербинова, что он себя сделать не мог и погибает, видя того прекрасного человека, о котором обещала музыка. Или это только тоска Сербинова, ощущение своей собственной уже недостижимой необходимости, а спутница станет его любовницей и он от нее устанет через неделю? Но тогда откуда же это трогательное лицо перед ним, защищенное своею гордостью, и эта замкнутость завершенной души, способной понять и безошибочно помочь другому человеку, но не требующая помощи себе?

Дальнейшая прогулка не имела смысла, она только докажет слабость Сербинова перед женщиной, и он сказал ей: до свидания, желая сохранить в своей спутнице достойную память о себе. Она тоже сказала: до свидания — и прибавила: «Если вам будет очень скучно, то приходите — мы увидимся».

— А вам бывает скучно? — спросил Сербинов, жалея, что попрощался с ней.

— Конечно, бывает. Но я сознаю, отчего мне скучно, и не мучаюсь.

Она сказала Сербинову, где проживает, и Сербинов отошел от нее. Он начал возвращаться назад. Он шел среди густого уличного народа и успокаивался, будто чужие люди защищали его своей теснотой. Затем Сербинов был в кино и снова слушал музыку на концерте. Он сознавал, отчего ему грустно, и — мучился. Ум ему нисколько не помогал, очевидно, он разлагался. Ночью Сербинов лежал в тишине прохладного гостиничного номера и молча следил за действием своего ума. Сербинов удивлялся, что ум при своем разложении выделяет истину, — и Сербинов не беспокоил его тоской памяти о встреченной женщине. Пред ним сплошным потоком путешествия проходила Советская Россия — его неминуемая, безжалостная к себе родина, слегка похожая на сегодняшнюю женщину-аристократку. Грустный, иронический ум Сербинова медлен-

но вспоминал ему бедных, неприспособленных людей, дуром приспособляющих социализм к порожним местам равнин и оврагов.

И что-то уже занимается на скучных полях забываемой России: люди, не любившие пахать землю под ржаной хлеб для своего хозяйства, с терпеливым страданием сажают сад истории для вечности и для своей неразлучности в будущем. Но садовники, как живописцы и певцы, не имеют прочного полезного ума, у них внезапно волнуется слабое сердце: еле зацветшие растения они от сомнения вырвали прочь и засеяли почву мелкими злаками бюрократизма; сад требует заботы и долгого ожидания плодов, а злак поспевает враз, и на его рашение не нужно ни труда, ни затраты души на терпение. И после снесенного сада революции его поляны были отданы под сплошной саморастущий злак, чтобы кормиться всем без мучения труда. Действительно, Сербинов видел, как мало люди работали, поскольку злак кормил всех даром. И так будет идти долго, пока злак не съест всю почву и люди не останутся на глине и на камне, или — пока отдохнувшие садовники не разведут снова прохладного сада на оскудевшей, иссушенной безлюдным ветром земле.

Сербинов уснул в обычной печали, со стесненным, заглушенным сердцем. Утром он сходил в комитет партии и получил командировку в далекую губернию, чтобы исследовать там факт сокращения посевной площади на 20 процентов; выезжать нужно было завтра. Остальной день Сербинов просидел на бульваре в ожидании вечера, и ожидание его оказалось утомляющим трудом, хотя сердце Сербинова билось покойно, без всякой надежды на счастье собственной женщины.

Вечером он пойдет ко вчерашней молодой знакомой. И он пошел к ней пешком, чтобы истратить ненужное время на дорогу и отдохнуть от ожидания.

Адрес ее был, вероятно, неточен. Сербинов попал на усадьбу, застроенную старыми домами пополам с новыми, и начал искать свою знакомую. Он ходил по многим лестницам, попадал на четвертые этажи и оттуда видел окраинную Москву-реку, где вода пахла мылом, а берега, насыженные голыми бедняками, походили на подступы к отхожему месту. Сербинов звонил в неизвестные квартиры, ему открывали пожилые люди, чувствовавшие себя жильцами, которым больше всего необходим покой, и удивлялись желанию Сербинова видиться с не проживающим, не прописанным здесь человеком. Тогда Сербинов вышел на улицу и начал плановый детальный обход всех жилых помещений, не в силах остаться на нынешний вечер одиноким; завтра ему будет легче — он поедет вплоть до пропавшей площади, на которой теоретически должен расти бурьян. Свою знакомую Сербинов нашел нечаянно — она сама спускалась навстречу ему по лестнице, иначе бы Сербинову пришлось

до нее обойти до двадцати ответственных съемщиков. Женщина провела Сербинова в свою комнату, а сама снова вышла из нее на время. Комната была порожняя, словно в ней человек не жил, а лишь размышлял. Назначение кровати обслуживали три ящика из-под кооперативных товаров, вместо стола находился подоконник, а одежда висела на стеновых гвоздях под покрытием бедной занавески. В окно виднелась все та же оплошавшая Москва-река, и по берегам ее продолжали задумчиво сидеть те же самые голые туловища, которые запомнил Сербинов еще в бытность свою на скучных лестницах этого дома. Закрытая дверь отделяла соседнюю комнату, — там посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверно, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии, по законам диалектического развития души, прийти к богохульству.

Женщина принесла угощенье для своего знакомого: пирожное, конфеты, кусок торта и полбутылки сладкого церковного вина — висанта. Неужели она такая наивная? Сербинов начал понемногу есть эти яства женского сладкого стола, касаясь ртом тех мест, где руки женщины держали пищу. Постепенно Сербинов поел все — и удовлетворился, а знакомая женщина говорила и смеялась, словно радуясь, что принесла в жертву пищу, вместо себя. Она ошиблась — Сербинов лишь любовался ею и чувствовал свою грусть скучного человека на свете; он уже не мог бы теперь спокойно жить, оставаться одиноким и самостоятельно довольствоваться жизнью. Эта женщина вызывала в нем тоску и стыд; если бы он вышел от нее наружу, на возбужденный воздух Москвы, ему бы стало легче. В первый раз в жизни Сербинов не имел собственной оценки противоположного человека и он не мог улыбнуться над ним, чтобы стать свободным и выйти прежним одиноким человеком. Над домами, над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна.

Под луной, как под потухшим солнцем, шуршали женщины и девушки — бесприютная любовь людей. Все было заранее благоустроено: любовь идет в виде факта, в виде определенного, ограниченного вещества, — чтобы ей возможно было свершиться и закончиться. Сербинов отказывал любви не только в идее, но даже в чувстве, он считал любовь одним округленным телом, об ней даже думать нельзя, потому что тело любимого человека создано для забвения дум и чувств, для безмолвного труда любви и смертельного утомления; утомление и есть единственное утешение в любви. Сербинов сидел с тем кратким счастьем жизни, которым нельзя пользоваться — оно все время уменьшается. И Симон ничем не пытался наслаждаться, он считал всемирную историю бесполезным бюрократическим учреждением, где от человека с точным усердием от-

нимается смысл и вес существования. Сербинов знал свое общее поражение в жизни и опустил взор на ноги хозяйки. Женщина ходила без чулок, и ее голые розовые ноги были наполнены теплотой крови, а легкая юбка покрывала остальную полноту тела, уже разгоревшегося напряжением зрелой сдержанной жизни, «Кто тебя, горячую, потушит? — обдумывал Сербинов. — Не я, конечно, я тебя не достоин, у меня в душе, как в уезде, глушь и страх». Он еще раз посмотрел на ее восходящие ноги и не мог ничего ясно понять; есть какая-то дорога от этих свежих женских ног до необходимости быть преданным и доверчивым к своему обычному, революционному делу, но та дорога слишком дальняя, и Сербинов заранее зевнул от усталости ума.

— Как вы живете? — спросил Симон. — И как вас зовут?

— Зовут меня Соней, а целиком — Софьей Александровной. Живу я очень хорошо — или работаю, или кого-нибудь ожидаю...

— При встречах бывают краткие радости, — сообщил для самого себя Сербинов. — Когда на улице застегиваешь последнюю пуговицу пальто — вздыхаешь и сожалеешь, что все напрасно миновало и надо опять увлекаться одним собой.

— Но ожидание людей — тоже радость, — сказала Софья Александровна, — и вместе с встречами радость бывает долгой... Я больше всего люблю ожидать людей, я ожидаю почти всегда...

Она положила руки на стол и затем перенесла их на свои возмужавшие колени, не сознавая лишних движений. Ее жизнь раздавалась кругом, как шум. Сербинов даже прикрыл глаза, чтобы не потеряться в этой чужой комнате, наполненной посторонним ему шумом и запахом. Руки Софьи Александровны были худые и старые против ее телосложения, а пальцы сморщены, как у прачки. И эти изувеченные руки несколько утешили Сербинова, он стал меньше ревновать ее, что она достанется другому человеку.

Угощение на столе уже кончилось; Сербинов пожалел, что поспешил его поесть, — теперь надо было уходить. Но уйти он не мог, он боялся, что есть люди лучше его, — из-за этого он и пришел к Софье Александровне. Еще в трамвае Сербинов заметил в ней то излишнее дарование жизни, которое взволновало и раздражило его.

— Софья Александровна, — обратился Сербинов. — Я хотел вам сказать, что завтра уезжаю...

— Ну и что ж такое! — удивилась Софья Александровна; ей явно не жалко было людей, она могла питаться своей собственной жизнью, чего никогда не умел делать Симон. Другие люди ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того, чего ей не хватало. Сербинов еще не знал, кто она, — наверное, несчастная дочка богатых родителей. Это оказалось ошибкой: Софья Александров-

на была чистильщицей машин на Трехгорной мануфактуре и родилась, брошенная матерью на месте рождения. Но все же она, быть может, любила кого-нибудь и сама рожала детей, — Сербинов наполовину спрашивал, наполовину догадывался.

— Любила, но не рожала, — отвечала Софья Александровна. — Людей хватает без моих детей... Если бы из меня мог вырасти цветок, его б я родила.

— Неужели вы любите цветы?! Это же не любовь, это обида, что вы сами перестали рождаться и расти...

— Пусть. Когда у меня есть цветы, я никуда не уйду и никого не ожидаю. Я с ними так себя чувствую, что хотела бы их рожать. Без этого как-то вся любовь не выходит...

— Без этого она не выйдет, — сказал Симон. Он начал иметь надежду на утоление своей ревности, он ожидал, что в конце концов Софья Александровна окажется таким же несчастным, замершим среди жизни человеком, каким был сам Сербинов. Он не любил успешных или счастливых людей, потому что они всегда уходят на свежие, далекие места жизни и оставляют круг своих близких одинокими. Уже многими друзьями Сербинов осиротел и некогда прицепил себя к большевикам — из страха остаться позади всех, но и это не помогло; друзья Сербинова продолжали полностью расходоваться помимо него, и Сербинов ничего не успевал скопить от их чувств для себя, как они уже оставляли его и проходили в свое будущее. Сербинов смеялся над ними, порочил скудость их намерений, говорил, что история давно кончилась, идет лишь межчеловеческая утрामбовка, а дома, уничтожаемый горем разлуки, не знающий, где его любят и ожидают, он закрывал дверь на ключ и садился поперек кровати, спиной к стене. Сербинов сидел молча и слушал прекрасный звон трамваев, которые везут людей друг к другу в гости, мимо теплых летних бульваров; и к Сербинову постепенно приходили слезы жалости к себе, — он следил, как слезы разъедали грязь на его щеках, и не зажигал электричества.

Позднее, когда стихали улицы и спали друзья и любовники, Сербинов успокаивался: в этот час уже многие были одинокими — кто спал, кто утомился от беседы или любви, и лежал один, — и Сербинов тоже соглашался быть одним. Иногда он доставал дневник и заносил туда под порядковыми номерами мысли и проклятья: «Человек — это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения»; «Странен бых, но смирихся зело: означает — странен бык, но смирился козой»; «История начата неудачником, который был подл и выдумал будущее, чтобы воспользоваться настоящим, — струнул всех с места, а сам остался сзади, на обжитой, нагретой оседлости»; «Я побочный продукт своей матери, наравне с ее

менструацией, — не имею поэтому возможности что-либо уважать. Боюсь хороших, — бросят они меня, плохого, боюсь озябнуть позади всех. Проклинаю текучее население, хочу общества и членства в нем!»; «И в обществе я буду не член, а стынущая конечность».

Сербинов с подозрительной ревностью следил за любым человеком: не лучше ли он его? Если лучше, то такого надо приостановить, иначе он опередит тебя и не станет равным другом. Софья Александровна тоже показалась ему лучшей, чем он сам, следовательно, потерянной для него, а Сербинов хотел бы копить людей, как деньги и средства жизни, — он даже завел усердный учет знакомых людей и постоянно вел по главной домашней книге особую роспись прибылям и убыткам.

Софью Александровну придется записать в убыток. Но Симон захотел уменьшить свой ущерб — одним способом, который он раньше не принимал в расчет в своем человеческом хозяйстве, и поэтому у него всегда получался в остатке дефицит. Что если обнять эту Софью Александровну, сделаться похожим на нежно-безумного человека, желающего именно на ней жениться? Тогда Симон мог бы развить в себе страсть, превозмочь это упрямое тело высшего человека, оставить в нем свой след, осуществить хотя бы кратко свою прочность с людьми, — и выйти наружу спокойным и обнадеженным, чтобы продолжать дальнейшую удачную добычу людей. Где-то с нервным треском неслись трамваи, в них находились люди, уезжающие вдаль от Сербинова. Симон подошел к Софье Александровне, приподнял ее под плечи и поставил перед собой в рост, при этом она оказалась тяжелой женщиной.

— Что вы? — без испуга, с внимательным напряжением произнесла Софья Александровна.

У Сербинова закатилось сердце от близости ее чуждого тела, нагретого недоступной встречной жизнью; Сербинова уже можно было рубить сейчас топором — он бы не узнал боли. Он задыхался, у него kloкотало в горле, он чувствовал слабый запах пота из-под мышек Софьи Александровны и хотел обсасывать ртом те жесткие волосы, испорченные потом.

— Я хочу вас слегка подержать, — сказал Симон. — Уважьте меня, я сейчас уйду.

Софья Александровна от стыда перед мучающимся человеком приподняла свои руки, чтобы Сербинову было удобнее поддерживать ее в своих слабых объятиях.

— Разве вам от этого легче? — спросила она, и ее поднятые руки отекали.

— А вам? — спросил Сербинов, слушая отвлекающий голос паровоза, поющий о труде и спокойствии среди летнего мира.

— Мне все равно.

Симон оставил ее.

— Уже пора идти, — сказал он равнодушно. — Где у вас уборная, я сегодня не умывался.

— Где входили — направо. Там есть мыло, а полотенца нет, я отда-ла его в стирку и утираюсь простыней.

— Давайте простыню, — согласился Сербинов.

Простыня пахла ею, Софьей Александровной. Видно, что она тща-тельно протиралась простыней по утрам, освежая запекшееся ото сна тело. Сербинов смочил уставшие горячие глаза — они у него всегда уставали первыми в теле. Лица он мыть не стал и поспешно свернул простыню в удобный комок, а затем засунул этот комок в боковой кар-ман пальто, что висело в коридоре против уборной; теряя человека, Сер-бинов желал сохранить о нем бесспорный документ.

— Простыню я повесил на калорифер сушиться, — сказал Серби-нов, — она от меня взмокла. Прощайте, я уйду...

— До свидания, — с приветом ответила Софья Александровна и не смогла отпустить человека без внимания. — Куда вы уезжаете? — спро-сила она. — Вы говорили, что уезжаете.

Сербинов сказал ей губернию, где исчезло 20 процентов посевной площади, туда он едет ее искать.

— Я там прожила всю жизнь, — сообщила Софья Александровна про ту губернию. — Там у меня был один славный товарищ. Увидите его — кланяйтесь ему.

— Что он за человек?

Сербинов думал о том, как он придет к себе в комнату и сядет за-писывать Софью Александровну в убыток своей души, в графу невоз-вратного имущества. Взойдет поздняя ночь над Москвой, а его многие любимые лягут спать и во сне увидят тишину социализма, — Сербинов же будет их записывать со счастьем полного прощения и ставить отмет-ки расхода над фамилиями утраченных друзей.

Софья Александровна достала маленькую фотографию из книжки.

— Он не был моим мужем, — сказала она про человека на фотогра-фии, — и я его не любила. Но без него мне стало скучно. Когда я жила в одном городе с ним, — я жила спокойней... Я всегда живу в одном городе, а люблю другой...

— А я ни один город не люблю, — произнес Сербинов. — Я люблю только, где всегда много людей на улицах.

Софья Александровна глядела на фотографию. Там был изображен человек лет двадцати пяти — с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на уставших сторожей; остальное же лицо его, отвернувшись, уже нельзя было запомнить; Сербинову показалось, что этот человек ду-

мает две мысли сразу, и в обеих не находит утешения, — поэтому такое лицо не имеет остановки в покое и не запоминается.

— Он неинтересный, — заметила равнодушные Сербинова Софья Александровна. — Зато с ним так легко водиться! Он чувствует свою веру, и другие от него успокаиваются. Если бы таких было много на свете, женщины редко выходили бы замуж...

— Где ж я его встречу? — спросил Сербинов. — Может, он умер уже?.. Почему — не выходили бы замуж?

— А зачем? Замужем будут объятия, ревность, кровь — я была один месяц замужем, и вы сами знаете. С ним, наверно, ничего не надо, к нему нужно лишь прислониться, и так же будет хорошо.

— Встречу такого, напишу вам открытку, — пообещал Сербинов, и пошел поскорее надевать пальто, чтобы унести в нем простыню.

С площадок лестницы Сербинов видел московскую ночь; на берегу реки уже никого не было, и вода лилась, как мертвое вещество. Симон шептал на ходу, что, если бы изувечить Софью Александровну, тогда бы она привлекла к себе его и он мог бы полюбить эту лестницу; каждый день он был бы рад ждать вечера, у него имелось бы место погашения своей опаздывающей жизни, — другой человек сидел бы против него, и Симон от него забывался.

Софья Александровна осталась одна — спать скучным сном до утренней работы. В шесть часов утра к ней заходил мальчик-газетчик, просовывал под дверь «Рабочую газету» и на всякий случай стучал: «Соня, тебе пора! Сегодня десять раз — тридцать копеек за тобой. Вставай, читай про факты!»

Вечером, после смены, Софья Александровна снова вымылась, но вытерлась уже наволочкой, и открыла окно в потухающую теплую Москву. В эти часы она всегда ожидала кого-нибудь, но никто к ней не приходил: иные были заняты на собраниях, другим было скучно сидеть и не целоваться с женщиной. Когда темнело, Софья Александровна ложилась животом на подоконник и дремала в своем ожидании. Внизу ехали телеги и автомобили и, притаившись, тихо благовестила осиротевшая церквушка. Уже много прошло пешеходов на глазах Софьи Александровны, и она провожала каждого с ожиданием, но все они миновали наружную дверь ее дома. Лишь один, постояв у подъезда, бросил на мостовую разожженную папиросу и вошел в дом. «Не ко мне», — решила Соня и притихла. Где-то, в глубине этажей, неуверенно шагал человек и часто останавливался для передышки или для раздумья. Шаги остановились около двери Софьи Александровны. «Шагай выше», — прошептала Соня. Но человек постучал к ней. Не помня пути от окна до двери, через маленький коридор, Софья Александровна открыла вход. Пришел Сербинов.

— Я не мог уехать, — сказал он. — Я о вас соскучился в самом себе.

Симон по-прежнему улыбался, но сейчас — более грустно, чем раньше. Он уже видел, что здесь ему не предстоит счастья, а позади остался гулкий номер гостиницы и в нем книга учета потерянных товарищей.

— Берите свою простыню у меня в пальто, — сказал Сербинов. — Она уже просохла, и вашего запаха в ней нет. Извините, что я на ней сегодня спал.

Софья Александровна понимала, что Сербинов утомлен, и молча, не рассчитывая, что она сама по себе может заинтересовать гостя, собирала ему угощение из своего ужина. Сербинов съел ее ужин, как должное, и, наевшись, еще больше почувствовал горе своего одиночества. Сил у него было много, но они не имели никакого направления и напрасно давили ему сердце.

— Что же вы не уехали? — спросила Софья Александровна. — Вам со вчерашнего дня стало скучнее?

— Я поеду бурьян в одной губернии искать. Раньше социализму угрожала вошь, теперь — бурьян. Поедьте со мной!

— Нет, — отказалась Софья Александровна. — Я ехать никуда не могу.

Сербинов хотел было улечься здесь спать, — больше нигде он не проспал бы в таком спокойствии. Он попробовал свою спину и левый бок — уже несколько месяцев, как что-то, ранее бывшее мягким и терпеливым, теперь превращалось в твердое и болящее: вероятно, это отживали хрящи молодости, мертвея в постоянную кость. Сегодня утром скончалась его забытая мать, — Симон даже не знал, где она проживает — где-то в последнем доме Москвы, откуда уже начинается волость. В тот час, когда Сербинов с тщательностью чистил зубы, освобождая рот от нагноений для поцелуев, или когда он ел ветчину, — его мать умерла. Теперь Симон не знал, для чего ему жить. Тот последний человек, для которого смерть самого Сербинова осталась бы навсегда безутешной, — этот человек скончался. Среди оставшихся живых у Симона не было никого, подобного матери: он мог ее не любить, он забыл ее адрес, но жил потому, что мать некогда и надолго загородила его своей нуждой в нем от других многих людей, которым Симон был вовсе не нужен. Теперь эта изгородь упала, — где-то на краю Москвы, почти в провинции, лежала в гробу старушка, сберегшая сына вместо себя, и в свежих досках ее гроба было больше живого, чем в ее засохшем теле. И Сербинов почувствовал свободу и легкость своей оставшейся жизни — его гибель ни у кого теперь не вызовет жалобы, после его смерти никто не умрет от горя, как обещала однажды и исполнила бы, если бы

пережила Симона, его мать. Оказывается, Симон жил оттого, что чувствовал жалость матери к себе и хранил ее покой своей целостью на свете; она же, его мать, служила Симону защитой, обманом ото всех чужих людей, — он признавал мир, благодаря матери, сочувствующим себе. И вот теперь — мать исчезла, и без нее все обнажилось, — жить стало необязательно, раз ни в ком из живущих не было по отношению к Симону смертельной необходимости. И Сербинов пришел к Софье Александровне, чтобы побыть с женщиной — мать его тоже была женщиной.

Посидев, Сербинов увидел, что Софья Александровна хочет спать, и попрощался с нею. О смерти матери Сербинов ничего не сказал, — он хотел это использовать как основательную причину для нового посещения Софьи Александровны. Домой Сербинов шел верст шесть, два раза над ним начинал капать редкий дождь, и кончался. На одном бульваре Сербинов почувствовал, что сейчас заплачет; в ожидании слез он сел на скамейку, наклонился и приспособил лицо, но заплакать не мог. Заплакал он позже — в ночной пивной, где играла музыка и танцевали, но не от матери, а от множества недостижимых для Сербинова артисток и людей.

И в третий раз Сербинов пришел к Софье Александровне в воскресенье. Она еще спала, и Симон ожидал в коридоре, пока она оденется.

Сербинов сказал через дверь, что вчера его мать закопали и он зашел за Софьей Александровной — пойти вместе на кладбище, чтобы посмотреть, где его мать будет находиться до самого конца света. Тогда Софья Александровна, не одетая, открыла ему свою комнату и, не умываясь, пошла с Сербиновым на кладбище. Там уже начиналась осень, на могилы похороненных людей падали умершие листья. Среди высоких трав и древесных кущ стояли притаившиеся кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки для объятий погибших. На ближнем к дорожке кресте была надпись чьей-то беззвучной жалобы:

Я живу и плачу,
а она умерла и молчит.

Могила матери Симона, занесенная свежим земным прахом, лежала в тесноте других могил и в уединении среди их ветхих бугров. Сербинов и Софья Александровна находились под старым деревом; его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра, — словно время стало слышным на своем ходу и уносилось над ними. Вдалеке изредка проходили люди, проводывая мертвых родственников, а вблизи никого не было. Рядом с Симоном ровно дышала Софья Александровна, она глядела на могилу и не понимала смерти, у нее не было кому умирать. Она хотела почувствовать горе и пожалеть Сербинова, но ей было

Чепур

Прокофий в размышлении закинул назад свои эсеровские задумчивые волосы.

— На основе ихнего же предрассудка! — постепенно формулировал Прокофий.

— Чувствую! — не понимая, собирался думать японца.

— На основе второго пришествия! — с точностью выпалился Прокофий. — Они его сами хотят, пускай и получают — мы не будем виноваты.

Чепурный, напротив, принял обвинение:

— Как так не виноваты, скажи пожалуйста! — Раз мы революция, то мы кругом виноваты! А если ты формулируешь для своего прощения, то пошел прочь!

Прокофий, как всякий умный человек, имел хладнокровие:

— Совершенно необходимо, товарищ Чепурный, объявить официально второе пришествие. И на его базе очистить город для пролетарской оседлости.

— Ну, а мы-то будем тут действовать? — спросил

Чепурный. — В общем — да! Только нужно потом домашнее имущество распределить, чтобы оно больше нас не угнетало.

— Имущество возьми себе, — указал Чепурный. — Пролетариат сам руки целыми имеет. Чего ты в такой час по буржуазным сундукам тоскуешь, скажи пожалуйста! Пиши приказ.

Прокофий кратко сформулировал будущее для чеховской буржуазии и передал исписанную бумагу Пиюсе; тот должен по памяти прибавить к приказу фамильный список имущих.

Чепурный прочитал, что советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами, на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые останутся внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства.

В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном, безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь.

Часом явки буржуазии на соборную площадь назначалась полночь в четверг, а основанием приказа считался билетень метеоэологического губбюро.

Прокофия давно увлекала внушительная темная сложность губернских бумаг и он с улыбкой сладострастия перелазил их слог для уездного масштаба.

Пиюсе ничего не понял в приказе, а японца понюхал та-

Типографский набор текста романа
с редакторской правкой.

ИМЛИ

только немного скучно от долгого шума влекущегося ветра и вида покинутых крестов. Сербинов стоял перед нею, как беспомощный крест, и Софья Александровна не знала, чем ему помочь в его бессмысленной тоске, чтобы ему было лучше.

Сербинов же стоял в страхе перед тысячами могил. В них лежали покойные люди, которые жили потому, что верили в вечную память и сожаление о себе после смерти, но о них забыли — кладбище было безлюдно, кресты замещали тех живых, которые должны приходить сюда, помнить и жалеть. Так будет и с ним, Симоном: последняя, кто ходила бы к нему, мертвому, под крест — теперь сама лежит в гробу под его ногами.

Сербинов прикоснулся рукой к плечу Софьи Александровны, чтобы она вспомнила его когда-нибудь после разлуки. Софья Александровна ничем не ответила ему. Тогда Симон обнял ее сзади и приложил свою голову к ее шее.

— Здесь нас увидят, — сказала Софья Александровна. — Пойдемте в другое место.

Они сошли на тропинку и пошли в глушь кладбища. Людей здесь было хотя и мало, но они не переводились: встречались какие-то зоркие старушки, из тишины зарослей неожиданно выступали могильщики с лопатами, и звонарь с колокольни наклонился и видел их. Иногда они попадали в более уютные заглохшие места, и там Сербинов прислонял Софью Александровну к дереву или просто держал почти на весу близ себя, а она нехотя глядела на него, но раздавался кашель или скрежет подножного гравия — и Сербинов вновь уводил Софью Александровну.

Постепенно они обошли кладбище по большому кругу — всюду без пристанища — и возвратились к могиле матери Симона. Они оба уже утомились; Симон чувствовал, как ослабело от ожидания его сердце и как нужно ему отдать свое горе и свое одиночество в другое, дружелюбное тело и, может быть, взять у Софьи Александровны то, что ей драгоценно, чтобы она всегда жалела о своей утрате, скрытой в Сербине, и поэтому помнила его.

— Зачем вам это надо сейчас? — спросила Софья Александровна. — Давайте лучше говорить.

Они сели на выступавшее из почвы корневище дерева и приложили ноги к могильной насыпи матери. Симон молчал, он не знал, как поделить свое горе с Софьей Александровной, не поделив прежде с нею самого себя: даже имущество в семействе делается общим лишь после взаимной любви супругов; всегда, пока жил Сербинов, он замечал, что обмен кровью и телом вызывает затем обмен прочими житейскими вещами, — наоборот не бывает, потому что лишь дорогое заставляет не жалеть дешевое. Сербинов был согласен и с тем, что так думает лишь его разложившийся ум.

— Что же мне говорить! — сказал он. — Мне сейчас трудно, горе во мне живет как вещество, и наши слова останутся отдельно от него.

Софья Александровна повернула к Симону свое вдруг опечаленное лицо, будто боясь страдания, — она или поняла, или ничего не сообразила. Симон угрюмо обнял ее и перенес с твердого корня на мягкий холм материнской могилы — ногами в нижние травы. Он забыл, есть ли на кладбище посторонние люди, или они уже все ушли, а Софья Александровна молча отвернулась от него в комья земли, в которых содержался мелкий прах чужих гробов, вынесенный лопатой из глубины.

Спустя время Сербинов нашел в своих карманных трущобах маленький уличный портрет худой старушки и спрятал его в размягченное головой Софьи Александровны место могилы, чтоб не вспоминать и не мучиться о матери.

Гопнер в Чевенгуре сделал для Якова Титыча оранжерею: старик уважал невольные цветы, он чувствовал от них тишину своей жизни. Но уже надо всем миром, и над Чевенгуром, светило вечернее, жмурящееся солнце средней осени, — и степные цветы Якова Титыча едва пахли от своего слабеющего дыхания. Яков Титыч призывал к себе самого молодого из прочих, тринадцатилетнего Егория, и сидел с ним под стеклянной крышей в кругу аромата. Ему жалко было умирать в Чевенгуре, но уже надо, потому что желудок перестал любить пищу и даже питье обращал в мучительный газ, но не от болезни желал умереть Яков Титыч, а от потери терпения к самому себе: он начал чувствовать свое тело, как постороннего, второго человека, с которым он скучает целых шестьдесят лет и на которого Яков Титыч стал иметь теперь неутомимую злобу. Сейчас он глядел в поле, где Пролетарская Сила пахала, а Копенкин ходил за ней вслед, — и еще больше хотел забыть себя, скрыться от тоски неотлучного присутствия с одним собой: он желал стать лошады, Копенкиным, любым одаренным предметом, лишь бы потерять из ума свою исчувствованную, присохшую коркой раны жизнь. Он пробовал руками Егория, и ему бывало легче, все же мальчик — это лучшая жизнь, и если нельзя ею жить, то можно хотя бы иметь при себе и думать о ней.

Босой Копенкин поднимал степь, успевшую стать целиной, силою боевого коня. Он пахал не для своей пищи, а для будущего счастья другого человека: для Александра Дванова. Копенкин видел, что Дванов отошал в Чевенгуре, — и тогда он собрал рожь по горстям, уцелевшую в чуланах от старого мира, и запряг Пролетарскую Силу в соху, чтобы запахать землю и посеять озимый хлеб для питания друга. Но Дванов

похудел не от голода, наоборот — в Чевенгуре ему редко хотелось есть, он похудел от счастья и заботы. Ему постоянно казалось, что чевенгурцы чем-то мучаются и живут между собой непрочно. И Дванов уделял им свое тело посредством труда: для того чтобы Копенкин прижился с ним в Чевенгуре, Александр писал ему ежедневно, по своему воображению, историю жизни Розы Люксембург, а для Кирея, который ходил теперь за Двановым с тоской своего дружелюбия и стерег его по ночам, чтобы он не скрылся вдруг из Чевенгура, — для Кирея он вытащил со дна реки небольшой ствол черного дерева, потому что Кирей захотел вырезать из него деревянное оружие. Чепурный же, совместно с Пашинцевым, беспрерывно рубил кустарник — он вспомнил, что зимы бывают малоснежными, а если так, то снег не утеплит домов, и тогда можно простудить все население коммунизма и оно умрет к весне. По ночам Чепурный тоже не имел покоя — он лежал на земле среди Чевенгура и подкладывал ветви в неугасимый костер, чтобы в городе не перевелся огонь. Гопнер и Дванов обещали вскоре сделать в Чевенгуре электричество, но все время утомлялись другими заботливыми делами. В ожидании электричества, Чепурный лежал под сырым небом осенней тьмы и дремлющим умом стерег тепло и свет для спящих прочих. Прочие же просыпались еще во мраке, и это их пробуждение было временем радости для Чепурного: по всему тихому Чевенгуру раздавалось скрипение дверей и гул ворот, босые отдохнувшие ноги шагали меж домов в поисках пищи и свидания с товарищами, гремели водяные ведра, и всюду рассветало. Здесь Чепурный с удовлетворением засыпал, а прочие сами берегли общий огонь.

Каждый из прочих отправлялся в степь или на реку и там рвал колося, копал корнеплоды, а в реке ловил шапкой на палке расплотившуюся рыбью мелочь. Сами прочие ели лишь изредка: они добывали корм для угощения друг друга, но пища уже редела в полях, и прочие ходили до вечера среди бурьяна в тоске своего и чужого голода. В начале сумерек прочие сходились на открытом заросшем месте и готовились кушать. Вдруг вставал Карчук — он целый день трудился и умаривался, а по вечерам любил быть среди простонародья.

— Граждане-друзья, — говорил Карчук своим довольным голосом. — У Юшки в груди кашель и невзгода — пускай он питается полегче: я ему травяных жамок целые тыщи нарвал и напустил в них молочного соку из цветочных ножек, — пусть Юшка смело кушает...

Юшка сидел на лопухе, имея четыре картошки.

— Я на тебя, Карчук, тоже свой принцип подниму, — отвечал Юшка. — Мне чего-то с утра было желательно тебя печеной картошкой удивить! Мне желательно, чтобы ты посытней на ночь угостился!

Вокруг поднималась ночная жуть. Безлюдное небо угрюмо холодало, не пуская наружу звезд, и ничто нигде не радовало. Прочий человек

ел и чувствовал себя хорошо: среди этой чужеродности природы, перед долгою осенних ночей, он запасся не менее как одним товарищем и считал его своим предметом, — и не только предметом, но и тем таинственным благом, на которое человек полагается лишь в своем воображении, но исцеляется в теле; уже тем, что другой необходимый человек живет целым на свете, уже того достаточно, чтобы он стал источником сердечного покоя и терпения для прочего человека — его высшим веществом и богатством его скудости. Посредством присутствия на свете второго, собственного человека — Чевенгур и ночная сырость делались вполне обитаемыми и уютными условиями для каждого одинокого прочего. «Пусть кушает, — думал Карчук, глядя на питающегося Юшку. — Потом в него от пищеварения кровь прибавится и ему интересней спать будет. А завтра проснется — сыт и в теле тепло: удобное дело!»

А Юшка, проглотив последнюю жидкость пищи, встал на ноги посреди круга людей.

— Товарищи, мы живем теперь тут, как население, и имеем свой принцип существования...И хотя ж мы низовая масса, хотя мы самая красная гуща, но нам кого-то не хватает и мы кого-то ждем!..

Прочие молчали и прикладывали головы к своему нижнему телу от усталости дневных забот о пище и друг о друге.

— У нас Прошка в убытке, — сказал Чепурный с грустью. — Нет его, милого, среди Чевенгура!..

— Пора б костер посылней организовать, — сказал Кирей. — Может, Прошка ночью явится, а у нас темное место!

— А чем его организовать? — не понял Карчук. — Костер надо жечь пышным способом! Как же ты его организуешь, когда хворостины без калибра выросли! — сожги их, вот тогда дым уж тебе организованно пойдет...

Но здесь прочие начали тихо дышать от наступления бессознательного сна, и они уже не слышали Карчука. Лишь Копенкин не хотел отдыха. «Чушь», — подумал он обо всем и пошел устраивать коня. Дванов и Пашинцев легли поближе спинами и, нагревши друг друга, не почувствовали, как потеряли ум до утра.

Через два дня в третий пришли две цыганки и без толку переночевали в чулане Карчука. Днем они тоже хотели пристроиться к чевенгурцам, но те трудились в разных местах города и бурьяна, и им было стыдно перед товарищами, вместо труда, любезно обходиться с женщинами. Кирей уже успел выловить всех клопов в Чевенгуре и сделать саблю из черного дерева, а во время появления цыганок он выкапывал пень — чтобы достать матерьял на трубку Гопнеру. Цыганки прошли мимо него и скрылись в тени пространства; Кирей почувствовал в себе слабость тела от грусти, словно он увидел конец своей жизни, но постепенно пре-

возмог эту тягость посредством траты тела на рытье земли. Через час цыганки еще раз показались — уже на высоте степи, — а затем сразу исчезли, как хвост отступающего обоза.

— Красавицы жизни, — сказал Пиюся, развешивавший сушиться по плетням вымытые гуни прочих.

— Солидное вещество, — определил цыганок Жеев.

— Только революции в ихнем теле не видать ничуть! — сообщил Копенкин; он третий день искал в гуще трав и на всех конских местах подкову, но находил одну мелочь, вроде нательных крестов, лаптей, каких-то сухожилий и сора буржуазной жизни.

— Красивости без сознательности на лице не бывает, — сказал Копенкин, найдя кружку, в которую до коммунизма собирались капиталы на устройство храмов. — Женщина без революции — одна полубаба, по таким я не тоскую... Уснуть от нее еще сумеешь, а далее-более — она уже не боевая вещь, она легче моего сердца.

Дванов выдергивал гвозди из сундуков в ближних сенцах для нужд всякого деревянного строительства; через дверь он видел, как ушли несчастные цыганки, и пожалел их: они бы могли стать в Чевенгуре женами и матерями, — люди, сжатые дружбой, теснящиеся меж собой в спешном труде, чтобы не рассеяться по жуткой, безродной земле, эти люди закрепились бы еще обменом тел, жертвенной прочностью глубокой крови. Дванов с удивлением посмотрел на дома и плетни — сколько в них скрыто теплоты рабочих рук, сколько напрасно охлаждено жизней, не добравшихся до встречного человека, в этих стенах, накатах и крышах! И Дванов на время перестал изыскивать гвозди, он захотел сохранить себя и прочих от расточения на труд, чтобы оставить внутри лучшие силы для Копенкина, Гопнера и для таких, как те цыганки, ушедшие из усердно занятого Чевенгура в степь и нищету. «Лучше я буду тосковать, чем работать с тщательностью, но упускать людей, — убедился Дванов. — В работе все здесь забылись и жить стало нетрудно, а зато счастье всегда в отсрочке...»

Осенняя прозрачная жара освещала умолкшие окрестности Чевенгура полумертвым блестящим светом, словно над землею не было воздуха, и к лицу иногда прилипала скучная паучья паутина; но травы уже наклонились к смертному праху, не принимая больше света и тепла, — значит, они жили не только солнцем, но и своим временем. На горизонте степи поднимались птицы и вновь опускались на более сытные места; Дванов следил за птицами с тою тоскою, с какой он смотрел на мух под потолком, живших в его детстве у Захара Павловича. Но вот птицы взлетели, и их застлала медленная пыль — тройка лошадей вывезла наружу экипаж и уездной рысью заторопилась в Чевенгур. Дванов влез на плетень от удивления перед ездой постороннего человека, и вдруг

раздался невдалеке мощный топот коня: это Копенкин на Пролетарской Силе оторвался от околицы Чевенгура и бросился на далекий экипаж — встречать друга или поражать врага. Дванов тоже вышел на край города, чтобы помочь Копенкину, если надо. Но Копенкин уже управился единолично, кучер вел под уздцы лошадей, ступавших тихим шагом, и фазтон был пуст сзади них; седок шествовал в отдалении, а Копенкин сопровождал его след верхом на коне. В одной руке у Копенкина была сабля, в другой же портфель на весу и дамский револьвер, прижатый к портфелю большим невымытым пальцем.

Ехавший по степи человек теперь шел пешком и безоружным, но лицо его не имело страха предсмертного терпения, а выражало улыбку любознательности.

— Вы кто? Вы зачем явились в Чевенгур? — спросил у него Дванов.

— Я приехал из центра искать бурьян. Думал, его нет, а он практически растет, — ответил Симон Сербинов. — А вы кто такие?

Двое людей стояли почти в упор друг перед другом. Копенкин бдительно наблюдал за Сербиновым, радуясь опасности; кучер вздыхал у лошадей и шептал про себя обиду — он уже рассчитывал на отъём лошадей здешними бродягами.

— Тут коммунизм, — объяснил Копенкин с коня. — А мы здесь товарищи, потому что раньше жили без средств жизни. А ты что за дубьек?

— Я тоже коммунист, — дал справку Сербинов, разглядывая Дванова и вспоминая встречу с ним по знакомству лица.

— Подкоммунивать пришел, — с разочарованием сказал Копенкин — ему не досталось опасности — и зашвырнул портфель вместе с брючным револьвером в окружающий бурьян. — Женский струмент нам негоден, — нам пушка была бы дорога, ты бы нам пушку приволок, тогда ты, ясно, большевик. А у тебя портфель велик, а револьвер мал — ты писарь, а не член партии... Едем, Саш, на свои дворы!

Дванов вскочил на удобный зад Пролетарской Силы, и они поскакали вдвоем с Копенкиным.

Кучер Сербинова повернул лошадей обратно в степь и влез на облучок, готовый спастись. Сербинов в размышлении прошел немного на Чевенгур, потом остановился: старые лопухи мирно доживали перед ним свой теплый летний век; вдалеке — в середине города — постукивал кто-то по дереву с разномерным усердием и пахло картофельной пищей из окраинного жилища. Оказалось, что и тут люди пребывают и кормятся своими ежедневными радостями и печалью. Чего нужно ему, Сербинову? — Неизвестно. И Сербинов пошел в Чевенгур, в незнакомое место. Кучер заметил равнодушие Сербинова к нему и, дав лоша-

дям предварительный тихий шаг, понесся потом от Чевенгура в чистоту степи.

В Чевенгуре Сербинова сейчас же обступили прочие — их кровно заинтересовал неизвестный, полностью одетый человек. Они смотрели и любовались Сербиновым, будто им подарили автомобиль и их ждет удовольствие. Кирей извлек из кармана Сербинова самопишущую ручку и тут же оторвал у нее головку, чтобы вышел мундштук для Гопнера. Карчук же подарил Кирею сербиновские очки.

— Будешь видеть дальше-больше, — сказал он Кирею.

— Зря я его сак и вояж откинул прочь, — огорчился Копенкин. — Лучше б из него мне было сделать Саше большевицкий картуз... Или нет — пускай валяется, я Саше свой подарю.

Ботинки Сербинова пошли на ноги Якова Титыча, — тот нуждался в легкой обуви, чтобы ходить по горнице, а пальто чевенгурцы пустили на пошивку Пашинцеву штанов, который с самого ревзоповедника жил без них. Вскоре Сербинов сел на стул, стоявший на улице, в одной жилетке и босой. Пиюся догадался принести ему две печеные картошки, а прочие начали молча доставлять кто что хотел: кто полушубок, кто валенки, Кирей же дал Сербинову мешок с настольной утварью.

— Бери, — сказал Кирей, — ты, должно, умный — тебе потребуется, а нам не нужно.

Сербинов взял и утварь. Позднее он отыскал в засыхающем травостое портфель и револьвер; из портфеля он вынул бумажную начинку, а самую кожу бросил. Среди бумаг хранилась его книга учета людей, которых он хотел иметь собственностью; эту книгу Симон жалел потерять, и вечером он сидел в полушубке и валенках — среди тишины утомившегося города — перед раскрытой книгой. На столе горел огарок свечи, добытый из запасов буржуазии Киреем, и в доме пахло сальным телом некогда жившего здесь чужого человека. От уединения и нового места у Сербинова всегда начиналась тоска и заболелал живот; он ничего не мог записать в свою книгу и лишь читал ее и видел, что все его прошлое пошло ему в ущерб: ни одного человека не осталось с ним на всю жизнь, ничья дружба не обратилась в надежную родственность. Сербинов сейчас один; о нем лишь помнит секретарь учреждения, что Сербинов находится в командировке, но должен прибыть обратно — и секретарь ожидает его для порядка службы. «Ему я необходим, — с чувством привязанности к секретарю вообразил Сербинов, — и он меня дождется, я не обману его памяти обо мне».

Александр Дванов пришел проверить Сербинова, который был уже наполовину счастлив, что о нем где-то заботится секретарь и, значит, Симон имеет в нем товарища. Только это и думал Сербинов и одним

этим утешался в ночном Чевенгуре: никакую другую идею он не мог ощущать, а неощутимым не мог успокаиваться.

— Что вам нужно в Чевенгуре? — спросил Дванов. — Я вам скажу сразу: здесь вы не выполните своей командировки.

Сербинов и не думал о ее выполнении, он опять вспоминал знакомое лицо Дванова, но не мог — и беспокоился.

— Правда, что у вас сократилась посевная площадь? — захотел узнать Сербинов для удовольствия секретаря, мало интересуясь посевом.

— Нет, — объяснил Дванов, — она выросла, даже город зарос травой.

— Это хорошо, — сказал Сербинов и почел командировку исполненной, в рапорте он потом напишет, что площадь даже приросла на один процент, но несколько не уменьшилась; он нигде не видел голой почвы — растениям даже тесно на ней.

Где-то в сыром воздухе ночи кашлял Копенкин, стареющий человек, которому не спится и он бродит один.

Дванов шел к Сербинову с подозрением, с расчетом упразднить из Чевенгура командированного, но, увидев его, он не знал, что дальше сказать. Дванов всегда вначале боялся человека, потому что он не имел таких истинных убеждений, от которых сознавал бы себя в превосходстве; наоборот, вид человека возбуждал в Дванове, вместо убеждений, чувства, и он начинал его излишне уважать.

Сербинов еще не знал, где он находится; от тишины уезда, от сытого воздуха окружающего травостоя у него начиналась тоска по Москве, и он захотел возвращения, решив завтра же уйти пешком из Чевенгура.

— У вас революция, или что? — спросил Сербинов у Дванова.

— У нас коммунизм. Вы слышите — там кашляет товарищ Копенкин, он коммунист.

Сербинов мало удивился — он всегда считал революцию лучше себя. Он только увидел свою жалость в этом городе и подумал, что он похож на камень в реке — революция уходит поверх его, а он остается на дне, тяжелым от своей привязанности к себе.

— Но горе или грусть у вас есть в Чевенгуре? — спросил Сербинов.

И Дванов ему сказал, что есть: горе или грусть это тоже тело человека.

Здесь Дванов прислонился лбом к столу: к вечеру он мучительно уставал не столько от действия, сколько оттого, что целый день с бережливостью и страхом следил за чевенгурскими людьми.

Сербинов открыл окно в воздух; все было тихо и темно, только из степи доносился долгий полночный звук, настолько мирный, что он не тревожил спокойствия ночи. Дванов перешел на кровать и уснул навзничь. Спеша за догорающей свечой, Сербинов написал письмо Софье

Александровне — он сообщил, что в Чевенгуре устроен собравшимися в одно место бродячими пролетариями коммунизм и среди них живет полуинтеллигент Дванов, наверно, забывший, зачем он прибыл в этот город. Сербинов глядел на спящего Дванова, на его изменившееся лицо от закрывшихся глаз и на вытянутые ноги в мертвом покое. Он похож, написал Сербинов, на фотографию вашего раннего возлюбленного, но трудно представить, что он вас любил. Затем Сербинов еще добавил, что у него в командировках болит желудок и он согласен бы, подобно полуинтеллигенту, забыть, зачем он приехал в Чевенгур, и остаться в нем существовать.

Свеча померкла, и Сербинов улегся на сундуке, боясь, что не сразу уснет. Но уснул он сразу, и новый день настал пред ним моментально, как для счастливого человека.

К тому времени в Чевенгуре уже много скопилось изделий, — Сербинов ходил и видел их, не понимая пользы тех изделий.

Еще утром Сербинов заметил на столе деревянную еловую сковороду, а в крышу был вделан, с прободением кровли, железный флаг, неспособный подчиняться ветру. Сам город сплотился в такую тесноту, что Сербинов подумал о действительном увеличении посевной площади за счет жилого места. Всюду, где можно было видеть, чевенгурцы с усердием трудились; они сидели в траве, стояли в сараях и сенях — и каждый работал, что ему нужно, — двое тесали древесный стол, один резал и гнул железо, снятое с кровли за недостатком материала, четверо же прислонились к плетню и плели лапти в запас, — тому, кто захочет быть странником.

Дванов проснулся раньше Сербинова и поспешил отыскать Гопнера. Два товарища сошлись в кузнице, и здесь их нашел Сербинов. Дванов выдумал изобретение: обращать солнечный свет в электричество. Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в Чевенгуре, а также собрал всякое мало-мальски толстое стекло. Из этого матерьяла Дванов и Гопнер поделали сложные призмы и рефлекторы, чтобы свет солнца, проходя через них, изменился и на заднем конце прибора стал электрическим током. Прибор уже был готов два дня назад, но электричества из него не произошло. Прочие приходили осматривать световую машину Дванова и, хотя она не могла работать, все-таки решили, как нашли нужным: считать машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и заготовили своим телесным трудом два товарища.

Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал, но — или степи опустели, или ночи стали безлюдны — еще никто не явился на свет глиняного маяка.

Пока Дванов и Гопнер добивались улучшения своего солнечного механизма, Сербинов пошел в середину города. Между домов идти было узко, а теперь здесь стало совсем непроходимо — сюда прочие вынесли для доделки свои последние изделия: деревянные колеса по две сажени поперек, железные пуговицы, глиняные памятники, похоже изображавшие любимых товарищей, в том числе Дванова, самовращающуюся машину, сделанную из сломанных будильников, печь-самогрейку, куда пошла начинка всех одеял и подушек Чевенгура, но в которой мог временно греться лишь один человек, наиболее озябший. И еще были предметы, пользы коих Сербинов вовсе не мог представить.

— Где у вас исполнительный комитет? — спросил Сербинов у озабоченного Карчука.

— Он был, а теперь нет — все уж исполнил, — объяснил Карчук. — Спроси у Чепурного — ты видишь: я товарищу Пашинцеву из бычачьей кости делаю меч.

— А отчего у вас город стоит на просторе, а построен тесно? — спрашивал Сербинов дальше.

Но Карчук отказался отвечать:

— Спроси у кого хочешь — ты видишь, я тружусь, значит, я думаю не о тебе, а об Пашинцеве, кому выйдет меч.

И Сербинов спросил другого человека, который принес глину из оврага в мешке для памятников и сам был монголец на лицо.

— Мы живем между собой без паузы, — объяснил Чепурный: глину носил он.

Сербинов засмеялся над ним и над деревянными двухсаженными колесами, а также над железными пуговицами. Сербинов стыдился своего смеха, а Чепурный стоял против него, глядел и не обижался.

— Вы трудно работаете, — сказал Сербинов, чтобы поскорее перестать улыбаться, — а я видел ваши труды, и они бесполезны.

Чепурный бдительно и серьезно осмотрел Сербинова, он увидел в нем отставшего от масс человека.

— Так мы ж работаем не для пользы, а друг для друга.

Сербинов теперь уже не смеялся — он не понимал.

— Как? — спросил он.

— А именно так, — подтвердил Чепурный. — А иначе как же, скажи пожалуйста? Ты, должно, беспартийный — это буржуазия хотела пользы труда, но не вышло: мучиться телом ради предмета терпенья нет. — Чепурный заметил угрюмость Сербинова и теперь улыбнулся. — Но это тебе безопасно, ты у нас обтерпишься.

Сербинов отошел дальше, не представляя ничего: выдумать он мог многое, а понять то, что стоит перед его зрением, не мог.

В обед Сербинова позвали кушать на поляну и дали на первое травяные щи, а на второе толченую кашу из овощей — этим Симон вполне напился. Он уже хотел отбывать из Чевенгура в Москву, но Чепурный и Дванов попросили его остаться до завтра: к завтраму они ему чего-нибудь сделают на память и на дорогу.

Сербинов остался, решив не заезжать в губернский город для доклада, а послать его письменно почтой, и написал после обеда в губком, что в Чевенгуре нет исполкома, а есть много счастливых, но бесполезных вещей; посевная площадь едва ли уменьшилась, она, наоборот, приросла за счет перепланированного, утеснившегося города, но опять-таки об этом некому сесть и заполнить сведения, потому что среди населения города не найдется ни одного осмысленного делопроизводителя. Своим выводом Сербинов поместил соображение, что Чевенгур, вероятно, захвачен неизвестной малой народностью или прохожими бродягами, которым незнакомо искусство информации, и единственным их сигналом в мир служит глиняный маяк, где по ночам горит солома наверху либо другое сухое вещество; среди бродяг есть один интеллигент и один квалифицированный мастеровой, но оба совершенно позабывшиеся. Практическое заключение Сербинов предлагал сделать самому губернскому центру.

Симон перечитал написанное — получилось умно, двусмысленно, враждебно и насмешливо над обоими — над губернией, и над Чевенгуром, — так всегда писал Сербинов про тех, которых не надеялся приобрести в товарищи. В Чевенгуре он сразу понял, что здесь все люди взаимно разобрали друг друга до его приезда и ему никого нет в остатке, поэтому Сербинов не мог забыть своей командировочной службы.

Чепурный после обеда опять таскал глину, и к нему обратился Сербинов — как нужно отправить два письма, где у них почта. Чепурный взял оба письма и сказал: «По своим скучаешь? Отправим до почтового места с пешим человеком. Я тоже скучаю по Прокофию, да не знаю нахождения».

Карчук закончил костяной меч для Пашинцева; он был бы рад и дальше не скучать, но ему не о ком было думать — не для кого больше трудиться, и он царапал ногтем землю, не чувствуя никакой идеи жизни.

— Карчук, — сказал Чепурный. — Пашинцева ты уважил, теперь скорбишь без товарища — отнеси, пожалуйста, в почтовый вагон письма товарища Сербинова, будешь идти и дорогой думать о нем...

Карчук тоскующе оглядел Сербинова.

— Может, завтра пойду, — сказал он, — я его пока не чувствую... А может, и к вечеру стронусь, если во мне тягость к приезжему будет.

Вечером почва отсырела и взошел туман. Чепурный разжег соломенный огонь на глиняной башне, чтобы его издали заметил пропавший

Прошка. Сербинов лежал, укрывшись какой-то постилкой, в пустом доме — он хотел уснуть и успокоиться в тишине провинции; ему представлялось, что не только пространство, но и время отделяет его от Москвы, — и он сжимал свое тело под постилкой, чувствуя свои ноги, свою грудь, как второго, и тоже жалкого, человека, согревая и лаская его.

Карчук вошел без спроса, словно житель пустыни или братства.

— Я трогаюсь, — сказал он. — Давай твои письма.

Сербинов отдал ему письма и попросил его:

— Посиди со мной. Ты же все равно из-за меня идешь на целую ночь.

— Нет, — отказался сидеть Карчук, — я буду думать о тебе один.

Боясь потерять письма, Карчук в каждую руку взял по письму, сжал их в две горсти и так пошел.

Над туманом земли было чистое небо, и там взошла луна; ее покорный свет ослабевал во влажной мгле тумана и озарял землю, как подводное дно. Последние люди тихо ходили в Чевенгуре, и кто-то начинал песню на глиняной башне, чтобы его слышали в степи, так как не надеялся на один свет костра. Сербинов закрыл лицо рукой, желая не видеть и спать, но под рукой открыл глаза и еще больше не спал: вдалеке заиграла гармоника веселую и боевую песню, судя по мелодии — вроде «Яблочка», но — гораздо искуснее и ошутительнее, какой-то неизвестный Сербинову большевистский фокстрот. Среди музыки скрипела повозка — значит, кто-то ехал, — и вдалеке раздались два лошадиных голоса: из Чевенгура ржала Пролетарская Сила, а из степей отвечала прибывающая подруга.

Симон вышел наружу. На глиняном маяке торжественным пламенем вспыхнула куча соломы и старых плетней; гармоника, находясь в надежных руках, тоже не уменьшала звуков, а нагнетала их все чаще и призывала население к жизни в одно место.

В фэзтоне ехал Прокофий и голый игрок на музыке, некогда выбывший из Чевенгура пешком за женой, а их везла ржущая худая лошадь. Позади того фэзтона шли босые бабы, человек десять или больше, по двое в ряд, и в первом ряду Клавдюша.

Чевенгурцы встретили своих будущих жен молча, они стояли под светом маяка, но не сделали ни шага навстречу и не сказали слова приветствия, потому что хотя пришедшие были людьми и товарищами, но одновременно — женщинами. Копенкин чувствовал к доставленным женщинам стыд и почтение, кроме того, он боялся наблюдать женщин — из совести перед Розой Люксембург, и ушел, чтобы угомонить ревущую Пролетарскую Силу.

Фэзтон остановился. Прочие мгновенно выпрягли лошадь и увезли на руках экипаж в глубь Чевенгура.

Прокофий окоротил музыку и дал знак женскому шествию больше никуда не спешить.

— Товарищи коммунизма! — обратился Прокофий в тишину небольшого народа. — Ваше мероприятие я выполнил — перед вами стоят будущие супруги, доставленные в Чевенгур маршевым порядком, а для Жеева я завлек специальную нищенку...

— Как же ты ее завлек? — спросил Жеев.

— Машинально, — объяснил Прокофий. — Музыкант, обернись к супругам со своим инструментом и сыграй им туш, чтоб они в Чевенгуре не тужили и любили большевиков.

Музыкант сыграл.

— Отлично, — одобрил Прокофий. — Клавдюша, разводи женщин на покой. Завтра мы им назначаем смотр и торжественный марш мимо городской организации: костер не дает представления лиц.

Клавдюша повела дремлющих женщин в темноту пустого города.

Чепурный обнял Прокофия кругом груди и произнес ему одному: «Проша, нам женщины теперь не срочно нужны, лишь бы ты явился. Хочешь, я тебе завтра любое сделаю и подарю».

— Подари Клавдюшу!

— Я б тебе, Проша, ее дал, да ты ее себе сам подарил. Бери, пожалуйста, еще чего-нибудь!

— Дай обдумать, — отсрочил Прокофий, — сейчас что-то у меня спросу нет и аппетита не чувствую... Здравствуй, Саша! — сказал он Дванову.

— Здравствуй, Прош! — ответил тем же Дванов. — Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?

— Они там живут от одного терпения, — сформулировал всем для утешения Прокофий, — они революцией не кормятся, у них организовалась контрреволюция, и над степью дуют уже вихри враждебные, одни мы остались с честью...

— Лишнее говоришь, товарищ, — сказал Сербинов. — Я оттуда, и я тоже революционер.

— Ну, стало быть, тем тебе там хуже было, — заключил Прокофий.

Сербинов не мог ответить. Костер на башне потух, и в эту ночь уже не был зажжен.

— Прош, — спросил Чепурный во мраке, — а кто тебе, скажи пожалуйста, музыку подарил?

— Один прохожий буржуй. Он мне музыку, а я ему существование продешевил: в Чевенгуре же нет удовольствия, кроме колокола, но то — религия.

— Тут, Прош, теперь есть удовольствие без колокола и без всякого посредства.

Прокофий залез в нижнее помещение башни и лег спать от утомления, Чепурный тоже склонился близ него.

— Дыши больше, нагревай воздух, — попросил его Прокофий. — Я чего-то остыл в порожних местах.

Чепурный приподнялся и долгое время часто дышал, потом снял с себя шинель, укутал ею Прокофия и, привалившись к нему, позабылся в отчуждении жизни.

Утром наступил погожий день; музыкант встал первым человеком и сыграл на гармонике предварительный марш, взволновавший всех отдохнувших прочих.

Жены сидели наготове, уже обутые и одетые Клавдюшей в то, что она нашла по закутам Чевенгура.

Прочие пришли позже и от смущения не глядели на тех, кого им назначено было любить. Тут же находились и Дванов, и Гопнер, и Сербинов, и самые первые завоеватели Чевенгура. Сербинов пришел, чтобы попросить о снаряжении ему экипажа для отъезда, но Копенкин отказался дать в езду Пролетарскую Силу: «Шинель дать могу, — сказал он, — себя предоставлю на сутки, что хочешь бери, но коня не проси, не серди меня, — на чем же я в Германию поеду?» Тогда Сербинов попросил другую лошадь, что привезла вчера Прокофия, и обратился к Чепурному. Тот возразил Сербинову тем, что уезжать не надо, может — он обживется здесь, потому что в Чевенгуре коммунизм и все равно скоро все люди явятся сюда: зачем же ехать к ним, когда они идут обратно?

Сербинов отошел от него. «Куда я стремлюсь? — думал он. — Та горячая часть моего тела, которая ушла в Софью Александровну, уже переварилась в ней и уничтожена вон, как любая бесследная пища...»

Чепурный начал громко высказываться, и Сербинов оставил себя, чтобы выслушать незнакомое слово.

— Прокофий — это забота против тягостей пролетариата, — произнес Чепурный посреди людей. — Вот он доставил нам женщин, по количеству хотя и в меру, но доза почти мала... А затем я обращусь к женскому составу, чтобы прозвучать им словом радости и ожидания! Пусть мне скажет кто-нибудь, пожалуйста, — почему мы уважаем природные условия? Потому что мы их едим. А почему мы призвали своим жестом женщин? Потому что природу мы уважаем за еду, а женщин за любовь. Здесь я объявляю благодарность вошедшим в Чевенгур женщинам, как товарищам специального устройства, и пусть они заодно с нами живут и питаются миром, а счастье имеют посредством товарищей-людей в Чевенгуре...

Женщины сразу испугались: прежние мужчины всегда начинали с ними дело прямо с конца, а эти терпят, говорят сначала речь, — и женщины подтянули мужские пальто и шинели, в которые были одеты

Клавдюшей, до носа, укрыв отверстие рта. Они боялись не любви — они не любили, а истязания, почти истребления своего тела этими сухими, терпеливыми мужчинами в солдатских шинелях, с испещренными трудной жизнью лицами. Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста — они меняли свое тело, свое место возраста и расцвета на пищу, и так как добыча пищи для них была всегда убыточной, то тело истратилось прежде смерти и задолго до нее; поэтому они были похожи на девочек и на старушек — на матерей и на младших, невывормленных сестер; от ласк мужей им стало бы больно и страшно — Прокофий их пробовал во время путешествия сжимать, забирая в фазтон для испытания, но они кричали от его любви, как от своей болезни.

Сейчас женщины сидели против взгляда чевенгурцев и гладили под одеждой морщины лишней кожи на изношенных костях. Одна лишь Клавдюша была достаточно удобной и пышной среди этих прихожанок Чевенгура, но к ней уже обладал симпатией Прокофий.

Яков Титыч наиболее задумчиво наблюдал женщин: одна из них казалась ему печальней всех, и она зябла под старой шинелью; сколько раз он собирался отдать полжизни, когда ее оставалось много, за то, чтобы найти себе настоящего кровного родственника среди чужих и прочих. И хотя прочие всюду были ему товарищами, но лишь по тесноте и горю жизни, а не по происхождению из одной утробы. Теперь жизни в Якове Титыче осталось не половина, а последний остаток, но он мог бы подарить за родственника волю и хлеб в Чевенгуре и выйти ради него снова в неизвестную дорогу странствия и нужды.

Яков Титыч подошел к выбранной им женщине и потрогал ее за лицо — ему подумалось, что она похожа снаружи на него.

— Ты чья? — спросил он. — Ты чем живешь на свете?

Женщина наклонила от него свою голову, Яков Титыч увидел ее шею ниже затылка — там шла глубокая впадина, и в ней водилась грязь бесприютности, а вся ее голова, когда женщина опять подняла ее, робко держалась на шее, точно на засыхающем стебле.

— Чья же ты, такая скудная?

— Ничья, — ответила женщина и, нахмурившись, стала перебирать пальцы, отчужденная от Якова Титыча.

— Пойдем ко двору, я тебе грязь из-за шеи и коросту соскребу, — еще раз сказал Яков Титыч.

— Не хочу, — отказалась женщина. — Дай немножко чего-нибудь, тогда встану.

Ей Прокофий обещал в дороге супружество, но она, как и ее подруги, мало знала, что это такое, — она лишь догадывалась, что ее тело будет мучить один человек вместо многих, поэтому попросила вперед мучений подарок: после ведь ничего не дарят, а гонят. Она еще более

сжалась под большой шинелью, храня под нею свое голое тело, служившее ей и жизнью, и средством к жизни, и единственной несбывшейся надеждой, — поверх кожи для женщины начинался чужой мир, и ничто из него ей не удавалось приобрести, даже одежды для теплоты и сбережения тела, как источника своей пищи и счастья других.

— Какие ж это, Прош, жены? — спрашивал и сомневался Чепурный. — Это восьмимесячные ублюдки, в них вещества не хватает.

— А тебе-то что? — возразил Прокофий. — Пускай им девятым месяцем служит коммунизм.

— И верно! — счастливо воскликнул Чепурный. — Они в Чевенгуре, как в теплом животе, скорей дозреют и уж тогда целиком родятся.

— Ну да! А тем более что прочему пролетарию особая сдобь не желательна; ему абы-абы от томления жизни избавиться! А чего ж тебе надо: все-таки тебе это женщины, люди с пустотой, поместиться есть где.

— Жен таких не бывает, — сказал Дванов. — Такие бывают матери, если кто их имеет.

— Или мелкие сестры, — определил Пашинцев. — У меня была одна такая ржавая сестренка, ела плохо, так и умерла от самой себя.

Чепурный слушал всех и по привычке собирался вынести решение, но сомневался и помнил про свой низкий ум.

— А чего у нас больше, мужей иль сирот? — спросил он, не думая про этот вопрос. — Пускай, я так формулирую, сначала все товарищи поцелуют по разу тех жалобных женщин — тогда будет понятней, чего из них сделать... Товарищ музыкант, отдай, пожалуйста, музыку Пиюсе, пусть он сыграет что-нибудь из нотной музыки.

Пиюся заиграл марш, где чувствовалось полковое движение: песен одиночества и вальсы он не уважал и совестился их играть.

Дванову досталось первым целовать всех женщин; при поцелуях он открывал рот и зажимал губы каждой женщины меж своими губами с жадностью нежности, а левой рукой он слегка обнимал очередную женщину, чтобы она стояла устойчиво и не отклонилась от него, пока Дванов не перестанет касаться ее.

Сербинову пришлось тоже перецеловать всех будущих жен, но последнему, хотя он и этим был доволен: Симон всегда чувствовал успокоение от присутствия второго, даже неизвестного человека, а после поцелуев жил с удовлетворением целые сутки. Теперь он уже не очень хотел уезжать, он сжимал свои руки от удовольствия и улыбался, невидимый среди движения людей и темпа музыкального марша.

— Ну как скажешь, товарищ Дванов? — интересовался дальнейшим Чепурный, вытирая рот. — Жены они или в матеря годятся? Пиюся, дай нам тишину для разговора!

Дванов и сам не знал — свою мать он не видел, а жены никогда не чувствовал. Он вспомнил сухую ветхость женских тел, которые он сейчас поддерживал для поцелуев, и как одна женщина сама прижалась к нему, слабая, словно веточка, пряча вниз привыкшее грустное лицо; близ нее Дванов задержался от воспоминания — женщина пахла молоком и потной рубахой, он поцеловал ее еще раз — в нагрудный край рубахи, как целовал в младенчестве в тело и в пот мертвого отца.

— Лучше пусть матерями, — сказал он.

— Кто здесь сирота — выбирай теперь себе мать! — объявил Чепурный. Сиротами были все, а женщин десять: никто не тронулся первым к женщинам для получения своей матери, каждый заранее дарил ее более нуждающемуся товарищу. Тогда Дванов понял, что и женщины — тоже сироты: пусть лучше они вперед выберут себе из чевенгурцев братьев или родителей, и так пусть останется.

Женщины сразу избрали себе самых пожилых прочих; с Яковом Титычем захотели жить даже две, и он обеих привлек. Ни одна женщина не верила в отцовство или братство чевенгурцев, поэтому они старались найти мужа, которому ничего не надо, кроме сна в теплоте. Лишь одна смуглая полудевочка подошла к Сербинову.

— Чего ты хочешь? — со страхом спросил он.

— Я хочу, чтобы из меня родился теплый комочек, и что с ним будет!

— Я не могу, я уеду отсюда навсегда.

Смуглая переменила Сербинова на Кирея.

— Ты — женщина ничего, — сказал ей Кирей. — Я тебе что хочешь подарю! Когда твой теплый комочек родится, то уж он не остынет.

Прокофий взял под руку Клавдюшу.

— Ну а мы что будем делать, гражданка Клобзд?

— Что ж, Прош, наше дело сознательное...

— И то, — определил Прокофий. Он поднял кусок скучной глины и бросил его куда-то в одиночество. — Чего-то мне все время серьезно на душе — не то пора семейство организовать, не то коммунизм перетерпеть... Ты сколько мне фонда накопила?

— Да сколько ж? Что теперь ходила продала, то и выручила, Прош: за две шубы да за серебро только цену дали, а остальное вскользь прошло.

— Ну, пускай: вечером ты мне отчет дашь, я хоть тебе и верю, а волнуюсь. А деньги так у тетки и содержишь?

— Да то где ж, Прош? Там им верное место. А когда ж ты меня в губернию повезешь? Обещал еще центр показать, а сам опять меня в это мешанство привел. Что я тут — одна среди нищенков: не с кем нового платья попытать! А показываться кому? Разве это уездное общество? Это прохожане на постое. С кем ты меня мучаешь?

Прокофий вздохнул: что ты будешь делать с такой особой, если у нее ум хуже женской прелести?

— Ступай, Клавдюша, обеспечивай пришлых баб, а я подумаю: один ум хорошо, а второй лишний.

Большевики и прочие уже разошлись с прежнего места, они снова начали трудиться над изделиями для тех товарищей, которых они чувствовали своей идеей. Один Копенкин не стал нынче работать, он угрюмо вычистил и обласкал коня, а потом смазал оружие гусиным салом из своего неприкосновенного запаса. После того он отыскал Пашинцева, шлифовавшего камни.

— Вась, — сказал Копенкин. — Чего ж ты сидишь и тратишься: ведь бабы пришли. Семен Сербов еще прежде них саки и вояжи вез в Чевенгур, Чего ж ты живешь и забываешь? Ведь буржуазия неминуемо грянет, где ж твои бомбы, товарищ Пашинцев? Где ж твоя революция и ее сохранный заповедник?

Пашинцев выдернул из ущербленного глаза засохшую дрянь и посредством силы ногтя запустил ее в плетень.

— То я чувю, Степан, и тебя приветствую! Оттого и гроблю в камень свою силу, что иначе тоскую и плачу в лопухи!.. Где ж это Пиюся, где ж его музыка висит на гвозде!

Пиюся собирал щавель по задним местам бывших дворов.

— Тебе опять звуков захотелось? — спросил он из-за сарая. — Без геройства соскучился?

— Пиюсь, сыграй нам с Копенкиным «Яблоко», дай нам настроечные жизни!

— Ну жди, сейчас дам.

Пиюся принес хроматический инструмент и с серьезным лицом профессионального артиста сыграл двум товарищам «Яблоко». Копенкин и Пашинцев взволнованно плакали, а Пиюся молча работал перед ними — сейчас он не жил, а трудился.

— Стой, не расстраивай меня! — попросил Пашинцев. — Дай мне унылости.

— Даю, — согласился Пиюся и заиграл протяжную мелодию. Пашинцев обсох лицом, вслушался в заунывные звуки и вскоре сам запел вслед музыке:

Ах, мой товарищ боевой,
Езжай вперед и песню пой,
Давно пора нам смерть встречать —
Ведь стыдно жить и грустно умирать...
Ах, мой товарищ, подтянись,
Две матери нам обещали жизнь,

Но мать сказала мне: постой,
Вперед врага в могиле упокой,
А сверху сам ложись...

— Будет тебе хрипеть, — окоротил певца Копенкин, сидевший без деятельности, — тебе бабы не досталось, так ты песней ее хочешь окружить. Вон одна ведьма сюда поспешает.

Подошла будущая жена Кирея — смуглая, как дочь печенег.

— Тебе чего? — спросил ее Копенкин.

— А так, ничего. Слушать хочу, у меня сердце от музыки болит.

— Тьфу ты, гадина! — И Копенкин встал с места для ухода.

Здесь явился Кирей, чтоб увести супругу обратно.

— Куда ты, Груша, убегаешь? Я тебе проса нарвал, идем зерна то-лочь, — вечером блины будем кушать, мне что-то мучного захотелось.

И они пошли вдвоем в тот чулан, где раньше Кирей лишь иногда ночевал, а теперь надолго приготовил приют для Груши и себя.

Копенкин же направился вдоль Чевенгура — он захотел глянуть в открытую степь, куда уже давно не выезжал, незаметно привыкнув к тесной суеде Чевенгура. Пролетарская Сила, покоившаяся в глуши одного амбара, услышала шаги Копенкина и заржала на друга тоскующей пастью. Копенкин взял ее с собой, и лошадь начала подпрыгивать рядом с ним от предчувствия степной езды. На околице Копенкин вскочил на коня, выхватил саблю, прокричал своей от молчавшейся грудью негодующий возглас и поскакал в осеннюю тишину степи, гулко, как по граниту. Лишь один Пашинцев видел разбег по степи Пролетарской Силы и ее исчезновение со всадником в отдаленной мгле, похожей на зарождающуюся ночь. Пашинцев только что залез на крышу, откуда он любил наблюдать пустоту полевого пространства и течение воздуха над ним. «Он теперь не вернется, — думал Пашинцев. — Пора и мне завоевать Чевенгур, чтоб Копенкину это понравилось».

Через три дня Копенкин возвратился, он въехал в город шагом на похуевшей лошади и сам дремал на ней.

— Берегите Чевенгур, — сказал он Дванову и двоим прочим, что стояли на его дороге, — дайте коню травы, а поить я сам встану, — и Копенкин, освободив лошадь, уснул на протоптанном, босом месте. Дванов повел лошадь в травостой, думая над устройством дешевой пролетарской пушки для сбережения Чевенгура. Травостой был тут же, Дванов отпустил Пролетарскую Силу, а сам остановился в гуще бурьяна: сейчас он ни о чем не думал, и старый сторож его ума хранил покой своего сокровища — он мог впустить лишь одного посетителя, одну бродящую где-то наружи мысль. Наружи ее не было: простиралась пустая, гложущая земля, и тающее солнце работало на небе как скучный

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ЧЕВЕНГУР

РОМАН

*

Экземпляр издана,
сделан из ураник,

Мене и сыну —
на вечную память.

В. П. Платонов. 1930

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Титульный лист несостоявшегося издания романа
с записями А.П. Платонова. *ИМЛИ*

искусственный предмет, а люди в Чевенгуре думали не о пушке, а друг о друге. Тогда сторож открыл заднюю дверь воспоминаний, и Дванов снова почувствовал в голове теплоту сознания; ночью он идет в деревню мальчиком, отец его ведет за руку, а Саша закрывает глаза — спит и просыпается на ходу. «Чего ты, Саш, ослаб так от долготы дня? — Иди тогда на руки, спи на плече», — и отец берет его наверх, на свое тело, и Саша засыпает близ горла отца. Отец несет в деревню рыбу на продажу, из его сумы с подлещиками пахнет сыростью и травой. В конце того дня прошел ливень, на дороге тяжелая грязь, холод и вода. Вдруг Саша просыпается и кричит, — по его маленькому лицу лезет тяжелый холод, а отец ругается на обогнавшего их мужика на кованой телеге, обдавшего отца и сына грязью с колес. «Отчего, пап, грязь дерется с колеса?» — «Колесо, Саш, крутится, а грязь беспокоится и мчится с него своим весом».

— Нужно колесо, — вслух определил Дванов. — Кованый деревянный диск, с него можно швырять в противника кирпичи, камни, мусор, — снарядов у нас нет. А вертеть будем конным приводом и помогать руками, — даже пыль можно отправлять и песок... Гопнер сейчас сидит на плотине опять, наверно, там есть просос...

— Я вас побеспокоил? — спросил медленно подошедший Сербинов.

— Нет, а что? Я собой не занимался.

Сербинов докуривал последнюю папиросу из московского запаса и боялся, что дальше будет курить.

— Вы ведь знали Софью Александровну?

— Знал, — ответил Дванов, — а вы тоже ее знали?

— Также знал.

Спавший близ пешеходной дороги Копенкин привстал на руках, кратко крикнул в бреду и опять засопел во сне, шевеля воздухом из носа умершие подножные былинки.

Дванов посмотрел на Копенкина и успокоился, что он спит.

— Я ее помнил до Чевенгура, а здесь забыл, — сказал Александр. — Где она живет теперь и отчего вам сказала про меня?

— Она в Москве, и там на фабрике. Вас она помнит, — у вас в Чевенгуре люди друг для друга как идеи, я заметил, — и вы для нее идея; от вас до нее все еще идет душевный покой, вы для нее действующая теплота...

— Вы не совсем правильно нас поняли. Хотя я все равно рад, что она жива, я тоже буду думать о ней.

— Думайте. По-вашему это ведь много значит: думать — это иметь или любить... О ней стоит думать, она сейчас одна и смотрит на Москву. Там теперь звонят трамваи и людей очень много, но не каждый хочет их приобретать.

Дванов никогда не видел Москвы, поэтому из нее он вообразил только одну Софью Александровну. И его сердце наполнилось стыдом и вязкой тягостью воспоминания: когда-то на него от Сони исходила теплота жизни и он мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека, и лишь теперь понимал ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме. Мимо с ветром промчался воробей и сел на плетень, воскликнув от ужаса. Копенкин приподнял голову и, оглядев белыми глазами позабытый мир, искренно заплакал; руки его немощно опирались в пыль и держали слабое от сонного волнения туловище. «Саша мой, Саша! Что ж ты никогда не сказал мне, что она мучается в могиле и рана ее болит? Чего ж я живу здесь и бросил ее одну в могильное мучение!..» Копенкин произнес слова с плачем жалобы на обиду, с нестерпимостью режущего внутри его тела горя. Косматый, пожилой и рыдающий, он попробовал вскочить на ноги, чтобы помчаться: «Где мой конь, гады? Где моя Пролетарская Сила? Вы отравили ее в своем сарае, вы обманули меня коммунизмом, я помру от вас». И Копенкин повалился обратно, возвратившись в сон.

Сербинов поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле. Дванов подошел к Копенкину, положил голову спящего на шапку и заметил его полуоткрытые, бегающие в сновидении глаза. «Зачем ты упрекаешь? — прошептал Александр. — А разве мой отец не мучается в озере на дне и не ждет меня? Я тоже помню».

Пролетарская Сила перестала кушать траву и осторожно пробралась к Копенкину, не топая ногами. Лошадь наклонила голову к лицу Копенкина и понюхала дыхание человека, потом она потрогала языком его неплотно прикрытые веки, и Копенкин, успокаиваясь, полностью закрыл глаза и замер в продолжающемся сне. Дванов привязал лошадь к плетню, близ Копенкина, и отправился вместе с Сербиновым на плотину к Гопнеру. У Сербинова уже не болел живот, он забывал, что Чевенгур есть чужое место его недельной командировки, — его тело привыкло к запаху этого города и разреженному воздуху степи. У одной крайней хаты стоял на земле глиняный памятник Прокофию, накрытый лопухом от дождей; в недавнее время о Прокофии думал Чепурный, а потом сделал ему памятник, которым вполне удовлетворил и закончил свое чувство к Прокофию. Теперь Чепурный заскучал о Карчуке, ушедшем с письмами Сербинова, и подготавливал матерьял для глиняного монумента скрывшемуся товарищу.

Памятник Прокофию был похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофия, и Чепурного одинаково хорошо. С воодушевленной нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник избран-

ному дорогому товарищу, и памятник вышел как сожительство, открыв честность искусства Чепурного.

Сербинов не знал стоимости другого искусства, он был глуп в московских разговорах среди общества, потому что сидел и наслаждался видом людей, не понимая и не слушая, что они говорят. Он остановился перед памятником, и Дванов вместе с ним.

— Его бы надо сделать из камня, а не глины, — сказал Сербинов, — иначе он растает от времени и погоды. Это ведь не искусство, это конец всемирной дореволюционной халтуры труда и искусства; в первый раз вижу вещь без лжи и эксплуатации.

Дванов ничего не сказал, он не знал, как иначе может быть. И они оба пошли в речную долину.

Гопнер плотниной не занимался, он сидел на берегу и делал из мелкого дерева оконную зимнюю раму для Якова Титыча. Тот боялся остудить зимой двух своих женщин — дочерей. Дванов и Сербинов подождали, пока Гопнер доделает раму, чтобы всем вместе начать строить деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура. Дванов сидел и слышал, что в городе стало тише, — кто получил себе мать или дочь, тот редко выходил из жилища и старался трудиться под одной крышей с родственницей, заготовляя неизвестные вещи. Неужели они в домах счастливей, чем на воздухе?

Дванов не мог этого знать, и от грусти неизвестности сделал лишнее движение. Он встал на ноги, сообразил и пошел искать материал для устройства стреляющего диска. До вечера он ходил среди уюта сараев и задних мест Чевенгура. В этом закоснении, в глуши малых полынных лесов тоже можно было бы как-то беззаветно существовать — в терпеливой заброшенности, на пользу дальним людям. Дванов находил различные мертвые вещи, вроде опорок, деревянных ящиков из-под дегтя, воробьев-покойников и еще кое-что; Дванов поднимал эти предметы, выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на прежние места, чтобы все было цело в Чевенгуре — до лучшего дня искупления в коммунизме. В гуще лебеды Дванов залез во что-то ногой и еле вырвался — он попал между спиц забытого с самой войны пушечного колеса. Оно по диаметру и прочности вполне подходило для изготовления из него метательной машины. Но катить его было трудно, колесо имело тяжесть больше веса Дванова, и Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего среди свежего воздуха с Клавдюшей. Колесо они доставили в кузницу, где Гопнер ощупал устройство колеса, одобрил его и остался ночевать в кузнице, близ того же колеса, чтобы на покое обдумать всю работу.

Прокофий избрал себе жилищем кирпичный большевистский дом, где прежде все жили и ночевали, не расставаясь. Теперь там был поря-

док, женское Клавдюшино убранство, и уже топилась через день печка для сухости воздуха. На потолке жили мухи, комнату окружали прочные стены, хранившие семейную тишину Прокофия, и пол был вымыт, как под воскресенье. Прокофий любил отдыхать на кровати и видеть пешее движение мух по теплому потолку, — так же бродили мухи в его деревенском детстве по потолку хаты отца и матери, и он лежал, успокаивался и придумывал идеи добычи средств для дальнейшей жизни и скрепления своего семейства. Нынче он привел Дванова, чтобы попоить его чаем с вареньем и покормить Клавдюшиными пышками.

— Видишь, Саш, мух на потолке, — указал Прокофий. — В нашей хате тоже жили мухи, ты помнишь или уже упустил из виду?

— Помню, — ответил Александр. — Я помню еще больше птиц на небе, они летали по небу, как мухи под потолком, — и теперь они летают над Чевенгуром, как над комнатой.

— Ну да: ты ведь жил на озере, а не в хате — кроме неба тебе не было покрытия, тебе птица вроде родной мухи была.

После чая Прокофий и Клавдюша легли в постель, угрелись и стихли, а Дванов спал на деревянном диване. Утром Александр показал Прокофию птиц над Чевенгуром, летавших в низком воздухе. Прокофий их заметил — они походили на быстроходных мух в утренней горнице природы; невдалеке шел Чепурный, босой и в шинели на голое тело, как отец Прокофия пришел с империалистской войны. Изредка дымились печные трубы, и оттуда пахло тем же, чем у матери в хате, когда она готовила утреннюю еду.

— Надо б, Саш, корм коммунизму на зиму готовить, — озаботился Прокофий.

— Это надо бы, Прош, начать делать, — согласился Дванов. — Только ведь ты одному себе варенье привез, а Копенкин годами одну холодную воду пьет.

— Как же себе? А тебя я угощал вчера, иль ты мало в стакан клал — не раскушал? Хочешь, я тебе сейчас в ложке принесу?

Дванов варенья не захотел, он спешил найти Копенкина, чтобы быть с ним в его грустное время.

— Саша! — крикнул Прокофий вслед. — Ты погляди на воробьев, они мечутся в этой среде, как тучные мухи!

Дванов не услышал, и Прокофий возвратился в комнату своего семейства, где летали мухи, а в окно он видел птиц над Чевенгуром. «Все едино, — решил он про мух и птиц. — Съезжу в буржуазию на пролетке, привезу две бочки варенья на весь коммунизм: пускай прочие чаю напьются и полежат под птичьим небом, как в горнице».

Оглядев еще раз небеса, Прокофий сосчитал, что небо покрывает более громадное имущество, чем потолок, — весь Чевенгур стоял под

небом, как мебель одной горницы в семействе прочих. И вдруг — прочие стронутся в свой путь, Чепурный умрет, а Чевенгур достанется Сашке? Здесь Прокофий заметил, что он прогадал, ему надо теперь же признать Чевенгур семейной горницей, чтобы стать в ней старшим братом и наследником всей мебели под чистым небом. Даже если осмотреть одних воробьев, и то они жирнее мух и их в Чевенгуре гуще. Прокофий оценочным взглядом обследовал свою квартиру и решил променять ее для выгоды на город.

— Клавдюш, а Клавдюш! — крикнул он жену. — Чего-то мне захотелось тебе нашу мебель подарить!

— А чего ж! Подари, — сказала Клавдюша. — Я ее, пока грязи нет, к тетке бы свезла!

— Вези загодя, — согласился Прокофий. — Только и сама там погости, пока я Чевенгур сполна не получу.

Клавдюша понимала, что ей вещи необходимы, но не соображала, зачем Прокофию нужно остаться одному для получения города, когда он и так ему почти что полагается, — и спросила об этом.

— Ты политической подкладки не имеешь, — ответил ей супруг. — Если я с тобой начну город получать, то ясно, подарю его одной тебе.

— Подари мне его, Прощ, я за ним на подводах из губернии приеду!

— Обожди спешить без ордера!.. А почему я тебе подарю? Потому что, скажут люди, он спит с ней, а не с нами, он с ней свое тело меняет, стало быть, и города ей не пожалеет... А когда тебя не будет, то все узнают, что я города себе не беру..

— Как не берешь? — обиделась Клавдюша. — Кому ж ты его оставляешь?

— Эх ты, бюро жизни! Ты слушай мою формулировку! Зачем же мне город, когда у меня нету семейства и все тело цело? А когда город заберу, то я его эвакуирую и тебя вызову депешей из другого пункта населения!.. Собирайся пока, а я пойду город опишу..

Прокофий взял бланк ревкома из сундука и пошел списывать свое будущее имущество.

Солнце, по своему усердию, работало на небе ради земной теплоты, но труд в Чевенгуре уменьшился. Кирей лежал в сенях на куче травы с женой — Грушей и придерживал ее при себе в дремлющем отдыхе.

— Ты чего, товарищ, подарков не даешь в коммунизм? — спросил Кирея Прокофий, когда пришел туда для описи инвентаря.

Кирей пробудился, а Груша, наоборот, закрыла глаза от срама брака.

— А чего мне коммунизм? У меня Груша теперь товарищ, я ей не поспеваю работать; у меня теперь такой расход жизни, что пишу не поспеваешь добывать...

После Прокофия Кирей приник к Груше пониже горла и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла. В любое время желания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни; кто иной подарил бы ему то, чего не жалела Груша, и что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота — о том, что он недодаст Груше пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые лучшие, самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь Груши. Выходя за пищей в степь, Кирей замечал, что небо над ним стало бледней, чем прежде, и редкие птицы глуше кричат, а в груди у него была и не проходила слабость духа. После сбора плодов и злаков Кирей возвращался к Груше в утомлении и отныне решался лишь думать о ней, считать ее своей идеей коммунизма и тем одним быть спокойно-счастливым. Но проходило время равнодушного отдыха, и Кирей чувствовал несчастье, бессмысленность жизни без вещества любви: мир снова расцветал вокруг него — небо превращалось в синюю тишину, воздух становился слышным, птицы пели над степью о своем исчезновении, — и все это Кирею казалось созданным выше его жизни, а после нового родства с Грушей весь свет опять представлялся туманным и жалобным, и ему Кирей уже не завидовал.

Другие прочие, что были годами моложе, те признали в женщинах матерей и лишь грелись с ними, потому что воздух в Чевенгуре остыл от осени; и этого существования с матерями им было достаточно — уж никто из них не уделял окружающим товарищам своего тела посредством труда на изделие подарков. По вечерам прочие водили женщин на далекие места реки и там мыли их, ибо женщины были так худы, что стыдились ходить в баню, которая, однако, была в Чевенгуре и ее можно бы истопить.

Прокофий обошел все присутствующее население и списал все мертвые вещи города в свою преждевременную собственность. Под конец он дошел до крайней кузницы и занес ее в бумагу под взглядами работавших там Гоннера и Дванова. Копенкин подходил издали с бревном поперек плеча, а сзади бревно поддерживал Сербинов — неумело и на восьмую веса, как интеллигент.

— Уйди прочь! — сказал Копенкин Прокофию, стоявшему на проходе в кузницу. — У людей тяжесть, а ты бумагу держишь.

Прокофий дал дорогу, но записал бревно в наличие и ушел с удовлетворением.

Копенкин свалил бревно и сел вздохнуть.

— Саш, когда ж у Прошки горе будет, чтоб он остановился среди места и заплакал?

Дванов посмотрел на Копенкика своими глазами, посветлевшими от усталости и любопытства.

— А разве ты не уберег бы его тогда от горя? Ведь его никто не привлекал к себе, и он позабыл нуждаться в людях и стал собирать имущество, вместо товарищей.

Копенкин одумался; он однажды видел в боевой степи, как плачет ненужный человек. Человек сидел на камне, в лицо ему дул ветер осенней погоды, и его не брали даже обозы Красной Армии, потому что тот человек потерял все свои документы; а сам человек имел рану в паху и плакал неизвестно отчего — не то оттого, что его оставляют, не то потому, что в паху стало пусто, а жизнь и голова сохранились полностью.

— Уберег бы, Саш, не могу собою владать перед горьким человеком... Я б его на коня взял с собою и увез в даль жизни...

— Значит, не надо ему горя желать, а то пожалеешь потом своего противника.

— И то, Саш, не буду, — сказал Копенкин. — Пускай находится среди коммунизма, он сам на людской состав перейдет.

Вечером в степи начался дождь и прошел краем мимо Чевенгура, оставив город сухим. Чепурный этому явлению не удивился, он знал, что природе давно известно о коммунизме в городе и она не мочит его в ненужное время. Однако целая группа прочих, вместе с Чепурным и Пиусей, пошла в степь осмотреть мокрое место, дабы убедиться. Копенкин же поверил дождю и никуда не пошел, а отдыхал с Двановым близ кузницы на плетне. Копенкин плохо знал пользу разговора и сейчас высказывал Дванову, что воздух и вода дешевые вещи, но необходимые; то же можно сказать о камнях — они также на что-нибудь нужны. Своими словами Копенкин говорил не смысл, а расположение к Дванову, во время же молчания томился.

— Товарищ Копенкин, — спросил Дванов, — кто тебе дороже — Чевенгур или Роза Люксембург?

— Роза, товарищ Дванов, — с испугом ответил Копенкин. — В ней коммунизма было побольше, чем в Чевенгуре, оттого ее и убила буржуазия, а город цел, хотя кругом его стихия...

У Дванова не было в запасе никакой неподвижной любви, он жил одним Чевенгуром — и боялся его истратить; он существовал одними ежедневными людьми — тем же Копенкиным, Гопнером, Пашинцевым, прочими, но постоянно тревожась, что в одно утро они скроются куда-нибудь или умрут постепенно. Дванов наклонился, сорвал былинку и оглядел ее робкое тело: можно и ее беречь, когда никого не останется.

Копенкин встал на ноги навстречу бегущему из степи человеку. Чепурный молча и без остановки промчался в глубь города. Копенкин схватил его за шинель и окоротил:

— Ты что спешишь без тревоги?

— Казаки! Кадеты на лошадях! Товарищ Копенкин, езжай бей, пожалуйста, а я — за винтовкой!

— Саш, посиди в кузне, — сказал Копенкин. — Я их один кончу, только ты не вылазь оттуда, а я — сейчас.

Четверо прочих, ходивших с Чепурным в степь, пробежали обратно, Пиюся же где-то залег одиночим образом в цепь — и его выстрел раздался огнем в померкшей тишине. Дванов побежал на выстрел с револьвером наружи, через краткий срок его обогнал Копенкин на Пролетарской Силе, которая спешила на тяжелом шагу, и вслед первым бойцам уже выступала с чевенгурской околицы сплошная вооруженная сила прочих и большевиков, — кому не хватило оружия, тот шел с плетневым колом или печной кочергой, и женщины вышли совместно со всеми. Сербинов бежал сзади Якова Титыча с дамским браунингом и искал, в кого стрелять. Чепурный выехал на лошади, что возила Прокофия, а сам Прокофий бежал следом и советовал Чепурному сначала организовать штаб и назначить командующего, иначе начнется гибель.

Чепурный на скаку разрядил вдаль всю обойму и старался нагнать Копенкина, но не мог. Копенкин перепрыгнул на коне через лежачего Пиюсю и не собирался стрелять в противника, а вынул саблю, чтобы ближе касаться врага.

Враги ехали по бывшей дороге. Они держали винтовки поперек, приподняв их руками, не готовясь стрелять, и торопили лошадей вперед. У них были команда и строй, поэтому они держались ровно и бесстрашно против первых выстрелов Чевенгура. Дванов понял их преимущество и, установив ноги в ложбинке, сшиб четвертой пулей командира отряда из своего нагана. Но противник опять не расстроился; он на ходу убрал командира куда-то внутрь построения и перевел коней на полную рысь. В этом спокойном наступлении была машинальная сила победы, но и в чевенгурцах была стихия защищающейся жизни; кроме того, на стороне Чевенгура существовал коммунизм. Это отлично знал Чепурный, и, остановив лошадь, он поднял винтовку и опустил наземь с коней троих из отряда противника. А Пиюся сумел из травы искалечить пулями ноги двоим лошадям, и они пали позади отряда, пытаясь ползти на животах и копя мордами пыль земли. Мимо Дванова пронесся в панцире и лобовом забрале Пашинцев — он вытянул в правой руке скорлупу ручной бомбы и стремился взять врага одним умственным страхом взрыва, так как в бомбе не имелось начинки, а другого оружия Пашинцев с собой не нес.

Отряд противника сразу, сам по себе, остановился на месте, как будто ехали всего двое всадников. И неизвестные Чевенгуру солдаты подняли по неслышной команде винтовки в упор приближающихся

прочих и большевиков, — и без выстрела продолжали стремиться на город.

Вечер стоял неподвижно над людьми, и ночь не темнела над ними. Машинальный враг гремел копытами по целине, он загораживал от прочих открытую степь — дорогу в будущие страны света, в исход из Чевенгура. Пашинцев закричал, чтобы буржуазия сдавалась, и сделал в пустой бомбе перевод на зажигание. Еще раз была произнесена в наступающем отряде неслышная команда — винтовки засветились и потухли, семеро прочих и Пашинцев были снесены с ног, и еще четверо чевенгурцев старались вытерпеть закипевшие раны и бежали убивать врага вручную.

Копенкин уже достиг отряда и вскинул Пролетарскую Силу передом, чтобы губить банду саблей и тяжестью коня. Пролетарская Сила опустила копыта на туловище встреченной лошади, и та присела с раздробленными ребрами, а Копенкин дал сабле воздушный разбег и помог ей всею живой силой своего тела, чтоб рассечь кавалериста прежде, чем запомнить его лицо. Сабля с дребезгом опустилась в седло чужого воина и с отжогом отозвалась в руке Копенкина; тогда он ухватил левой рукой молодую рыжую голову кавалериста, освободил ее на мгновение для своего размаха и тою же левой рукой сокрушил врага в темя, а человека сбросил с коня в землю. Чужая сабля ослепила Копенкину глаза; не зная, что делать, он схватил ее одной рукой, а другой отрубил руку нападавшего вместе с саблей и бросил ее в сторону вместе с грузом чужой, отбитой по локоть конечности. Тут Копенкин увидел Гопнера, тот бился в гуще лошадей наганом, держа его за дуло; от напряжения и худобы лица или от сеченых ран кожа на его скулях и близ ушей полопалась, оттуда выходила волнами кровь; Гопнер старался ее стереть, чтобы она не щекотала ему за шеей и не мешала драться. Копенкин дал ногой в живот всаднику справа, от которого нельзя проехать к Гопнеру, и только управился дать коню толчок для прыжка, иначе бы он задавил уже зарубленного Гопнера.

Копенкин вырвался из окружения чужих, а с другого бока на разезд противника напоролся Чепурный и несясь на плохой лошади сквозь мечущийся строй кавалеристов, пытаясь убивать их весом винтовки, где уже не было патронов. От ярости одного высокого взмаха пустой винтовкой Чепурный полетел долой с лошади, потому что не попал в наметенного врага, и скрылся в чаще конских топчущихся ног. Копенкин, пользуясь кратким покоем, пососал левую кровавую руку, которой он схватил лезвие сабли, а затем бросился убивать всех. Он пронизался без вреда через весь отряд противника, ничего не запомнив, и вновь повернул рычащую Пролетарскую Силу обратно, чтобы теперь все задержать на счету у памяти, иначе бой не даст утешения и в победе не будет чув-

ства усталого труда над смертью врага. Пятеро кавалеристов оторвались от состава разезда и рубили вдалеке сражающихся прочих, но прочие умели терпеливо и цепко защищаться — уже не первый враг загораживал им жизнь. Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей. Яков Титыч ударил одного коня горячей головешкой по заду так, что головешка зашипела от пота кожи под хвостом — и завизжавшая нервная кобыла унесла воина версты за две от Чевенгура.

— Ты чего огнем дерешься? — спросил другой подоспевший солдат на коне. — Я тебя сейчас убью!

— Убивай, — сказал Яков Титыч. — Телом вас не одолеешь, а железа у нас нету...

— Дай я разгонюсь, чтоб ты смерти не заметил.

— Разгоняйся. Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает.

Солдат отдалился, взял разбег на коне и срубил стоячего Якова Титыча. Сербинов метался с последней пулей, которую он оставил для себя, и, останавливаясь, с испугом проверял в механизме револьвера — цела ли она.

— Я ему говорил, что убью, и зарубил, — обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня. — Пускай лучше огнем не дерется!

Кавалерист не спешил воевать — он искал глазами, кого бы еще убить и кто был виноват. Сербинов поднял на него револьвер.

— Ты чего? — не поверил солдат. — Я ж тебя не трогаю!

Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова. Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдали и оттуда стремилось снова пробиться в жизнь. Сербинов следил за сердцем и не особо желал ему успеха: ведь Софья Александровна останется жить, пусть она хранит в себе след его тела и продолжает существование. Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей.

— Сам лез стрелять, — сказал кавалерист. — Если б ты первый не спешил, то и сейчас остался бы.

Дванов бежал с двумя наганами, другой он взял у убитого командира отряда. За ним гнались трое всадников, но их перехватили Кирей с Жеевым и отвлекли за собой.

— Ты куда? — остановил Дванова солдат, убивший Сербинова.

Дванов без ответа сшиб его с коня из обоих наганов, а сам бросился на помощь гибнущему где-то Копенкину. Вблизи уже было тихо —

сражение перешло в середину Чевенгура, и там топали лошадиные ноги.

— Груша! — позвал в наступившей тишине поля Кирей. Он лежал с рассеченной грудью и слабой жизнью.

— Ты что? — подбежал к нему Дванов. Кирей не мог сказать своего слова.

— Ну прощай, — нагнулся к нему Александр. — Давай поцелуемся, чтоб легче было.

Кирей открыл рот в ожидании, а Дванов обнял его губы своими.

— Груша-то жива, иль нет? — сумел произнести Кирей.

— Умерла, — сказал ему Дванов для облегчения.

— И я сейчас помру, мне скучно начинается, — еще раз превозмог сказать Кирей, и здесь умер, оставив обледенелые глаза открытыми наружу.

— Больше тебе смотреть нечего, — прошептал Александр; он затаил его взор веками и погладил горячую голову. — Прощай.

Копенкин вырвался из тесноты Чевенгура, в крови и без сабли, но живой и воюющий. За ним шли в угон четыре кавалериста на изнемогших лошадях. Двое приостановили коней и ударили по Копенкину из винтовок. Копенкин обернул Пролетарскую Силу и понесся, безоружный, на врага, желая сражаться в упор. Но Дванов заметил его ход на смерть и, присев для точности прицела на колено, начал сечь кавалеристов из своей пары наганов, по очереди из каждого. Копенкин наскочил уже на кавалеристов, опущенных под стремяна взволнованных лошадей; двое солдат выпали, а другие двое не успели выпростать ног, и их понесли раненые кони в степь, болтая мертвецами под собой.

— Ты жив, Саш? — увидел Копенкин. — А в городе чужое войско, а люди все кончились... Стой! Где-то у меня заболело...

Копенкин положил голову на гриву Пролетарской Силы.

— Сними меня, Саш, полежать внизу...

Дванов снял его на землю. Кровь первых ран уже засохла на рвотой и рубленой шинели Копенкина, а свежая и жидкая еще не успела сюда просочиться.

Копенкин лег навзничь на отдых.

— Отвернись от меня, Саш, ты видишь — я не могу существовать...

Дванов отвернулся.

— Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе... Я задержался в Чевенгуре и вот теперь кончаюсь, а Роза будет мучиться в земле одна...

Копенкин вдруг сел и еще раз прогремел боевым голосом:

— Нас ведь ожидают, товарищ Дванов! — и лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий.

Пролетарская Сила подняла его тело за шинель и понесла куда-то в свое родное место на степной, забытой свободе. Дванов шел за лошадью следом, пока в шинели не разорвались тесемки, и тогда Копенкин очутился полуголый, взрытый ранами больше, чем укрытый одеждой. Лошадь обнюхала скончавшегося и с жадностью начала вылизывать кровь и жидкость из провалов ран, чтобы поделить с павшим спутником его последнее достояние и уменьшить смертный гной. Дванов поднялся на Пролетарскую Силу и тронул ее в открытую степную ночь. Он ехал до утра, не торопя лошади; иногда Пролетарская Сила останавливалась, оглядывалась обратно и слушала, но Копенкин молчал в оставленной темноте; и лошадь сама начинала шагать вперед.

Днем Дванов узнал старую дорогу, которую видел в детстве, и стал держать по ней Пролетарскую Силу. Та дорога проходила через одну деревню, а затем миновала в версте озеро Мутево. И в этой деревне Дванов проехал свою родину на шагающем коне. Избы и дворы обновились, из печных труб шел дым — было время полудни, — и бурьян давно скосили с обземлевших крыш. Сторож церкви начал звонить часы, и звук знакомого колокола Дванов услышал как время детства; он придержал лошадь у колодезного стока, чтобы она попила и отдохнула. На завалинке ближней хаты сидел горбатый старик — Петр Федорович Кондаев. Он не узнал Дванова, а Александр не напомнил ему о себе. Петр Федорович ловил мух на солнечном пригреве и лушил их в руках со счастьем удовлетворения своей жизни, не думая от забвения о чужом всаднике.

Дванов не пожалел родину и оставил ее. Смирное поле потянулось безлюдной жатвой, с нижней земли пахло грустью ветхих трав, и оттуда начиналось безвыходное небо, делавшее весь мир пороженным местом.

Вода в озере Мутево слегка волновалась, обеспокоенная полуденным ветром, теперь уже стихшим вдальеке. Дванов подъехал к урезу воды; он в ней купался и из нее кормился в ранней жизни, она некогда успокоила его отца в своей глубине; и теперь последний и кровный товарищ Дванова томится по нем одинокие десятилетия в тесноте земли. Пролетарская Сила наклонила голову и топнула ногой — ей что-то мешало внизу; Дванов посмотрел и увидел удочку, которую приволокла лошадиная нога с берегового нагорья. На крючке удочки лежал прицепленным иссохший, сломанный скелет маленькой рыбы, и Дванов узнал, что это была его удочка, забытая здесь в детстве. Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и насторожился; ведь отец еще остался — его кости, его жившее вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, — вся родина жизни и дружелюбия. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов

понудил Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду — в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти, а Дванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца.

Пролетарская Сила слышала, как зашуршала подводная трава и к ее голове подошла донная муть; но лошадь разогнала ртом ту нечистую воду и попила немного из среднего светлого места, а потом вышла на сушь и отправилась бережливым шагом домой, на Чевенгур.

Туда она явилась на третьи сутки после ухода с Двановым, потому что долго лежала и спала в одной степной ложине, а выспавшись, забыла дорогу и блуждала по целине, пока ее не привлек к себе голосом Карчук, шедший с одним попутным стариком тоже в Чевенгур. Стариком был Захар Павлович, он не дождался к себе возвращения Дванова и сам прибыл, чтобы увести его отсюда домой.

В Чевенгуре Карчук и Захар Павлович никого из людей не нашли, в городе было пусто и скучно; только в одном месте, близ кирпичного дома, сидел Прошка и плакал, среди всего доставшегося ему имущества.

— Ты чего ж, Прош, плачешь, а никому не жалишься? — спросил Захар Павлович. — Хочешь, я тебе опять рублевку дам — приведи мне Сашу.

— Даром приведу, — пообещал Прокофий, и пошел искать Дванова.

<Лето 1927 – май 1929 г.>

ПЛАНЫ. РЕДАКЦИИ

КРАТКИЙ ПЛАН РОМАНА «ЗРЕЮЩАЯ ЗВЕЗДА»
(НАЗВАНИЕ — ПРОЕКТ: ВОЗМОЖНО ДРУГОЕ)

Размер романа — 15 автор. листов.

4 части; в каждой части по 5 глав.

Сущность сюжета:

Живет человек — ребенок. Рабочая слобода 1906–14 гг. Мощный паровозостроительный завод. Ребенок — сын мастерового. Изнутри, органически, мучительно — на протяжении ряда лет — показывается рост ребенка и превращение его в юношу. Дается жизнь большой группы мастеровых — заодно с отцом ребенка. В противоположность квазиреволюционному толкованию: жизнь рабочих и их детей совсем не проста и не прямолинейна: она полна мучительных интеллектуальных исканий выхода, ошибок, тревог, любви и высокой конкретной философии. Она качественно не хуже жизни высших интеллектуальных кругов тогдашнего человечества, но имеет своеобразие и резкую специфичность. Здесь мысли сильны и страстны как половая любовь, а не как спорт мозговых извилин. И т.д. Я постараюсь показать сложность и глубину рабочего человека, как существа с мускулистым мозгом и полнокровным сердцем. Я выступлю против схематизма и опроченства. Таких людей я лично знал — это и есть «массы».

Влияние тогдашнего труда на человека: отрицательное, уродующее весь организм и препятствующее росту и созреванию.

Наибольшей концентрации все эти человеческие силы, своеобразно измененные общественным состоянием, достигают в герое романа — пока ребенку, потом юноше. Тревожный рост. Чтение. Искания. Попытка самоубийства. Увлечение религией. Все идет в резких линиях: что задумано, то и делается: мысль становится сердечным чувством и поведением. В этом отличие рабочей психики от всякой иной. Юноша уходит в пещеру, где живет один. Потом в скит. Скит — раскольничий: религиозные анархисты. Типы русской равнины. Дореволюционная

стихийная Россия и ее утроба. У героя гибнет на заводской катастрофе отец, страстно любимый сыном. Юношу потрясает событие. Он возвращается в семью. Начинает работать на заводе. Труд душит его. Религия забыта — поиски нового действительного спасения. На заводе любят юношу; у него товарищи.

Война. Завод под прессом военной администрации. У группы юноши и его товарищей — душевный кризис. Среди товарищей есть анархисты, эсеры и социал-демократы. Все левые, решительные и крайние — от молодости.

Война продолжается и обратным ударом бьет по заводу и мастерам.

Сговор о взрыве силовой станции завода. Юноша полюбил одну девушку. Душевные силы расщепляются, и энергия к смерти в нем иссякает. Группа молодых террористов раскалывается. Два товарища юноши и сам он, разогретый вниманием любимой, решаются довести дело до конца.

Взрыв силовой станции удастся лишь частично, т.к. технически все дело продумал юноша — остроумно, но недостаточно хорошо для полного успеха.

Три друга бегут в скит, где раньше был юноша. Но в стране — ветер революции. Друзья не попадают в скит и мечутся по России. Страна — в 1917 г., между Февралем и Октябрем. Изложение будет идти с предельным сжатием — только о резком и живом.

Друзья возвращаются на завод. Девушка, которую любит герой романа, уехала за хлебом и безвестно исчезла. Юноша наливается энергией революций — и революция в нем органически переплетается с глубоко личным делом: отысканием девушки и будущей любовью. Это дает большую силу молодому человеку.

Октябрь — и дальше. Герой — большевик. В стране голод и разруха. Чуть брезжит заря технической эпохи. Юноша давно одержим интимным отношением к машинам и способностью к техническому творчеству.

Он поступает в Технический Вуз. Любовь зарастает, как рана.

Идет живое время. Герой романа — на последних курсах, почти инженер. Новые товарищи.

В стране — голод. Герой бросается в творческую строительную работу. Вновь, как болезнь, настигает его любовь — крутая, резкая, душная, граничащая с безумием. Герой работает. Постепенно идет в гору и получает высокий инженерный пост и большую работу. Мучительное сочетание любви и работы. Много эпизодов работы.

Творчество борется с сексуальностью на живых примерах. Человек и его любовь болеют. Строительство всасывает человека и излечивает его.

Новое ощущение жизни и мира. Любовь превращается в солнечное боевое чувство.

На местах гражданских побоищ строятся каналы и работают экскаваторы. Последние главы романа несут перерожденного человека по гулкой зреющей мудрой земле. Мир почти фантастичен. Но ничего незнакомого — это наши годы, наша земля, взятая с особой точки зрения.

Почти все. Главные линии. Сюжет я понимаю здесь как рост человека под влиянием внешних благоприятных условий. Человек и есть сюжет. Все остальное играет служебное значение.

В этой заметке не все понятно и последовательно. Но в романе все оправдывается. Вещи, о которых я буду писать, мне хорошо и опытно знакомы.

<1927>

СТРОИТЕЛИ СТРАНЫ

<1>

Сейчас я вспоминаю о скучной новохоперской степи, эти воспоминания во мне связаны с тоской по матери — в тот год я в первый раз надолго покинул ее.

Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города Новохоперска, боялся уединения в своей комнате и сидел больше во дворе. В моей комнате висели иконы хозяина, стоял старый комод — ровесник учредителям города, а дверь в любой момент могла наглухо закрыть жилище большевика: через окно тоже не было спасения: под ним лежал ворох колючей проволоки.

...Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи — комсомол в Новохоперске еще не образовался, — мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась душная бедная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображения Красной Армии в полной славе. А кругом города, в траве и оврагах, ютились белые соти, делая степь непроходимой и опасной. В городе стояли какие-то небольшие молодые части красноармейцев, сутками спавших от больших походов.

Я уже два раза писал в губернскую газету, которая командировала меня сюда, что в Новохоперске положение неважное. Но редактор был одновременно комендантом укрепленного района, и от занятости он не отвечал мне. Он мне в напутствие цитировал на память Глеба Успенского, советуя хорошенько провариться на самом дне, на огневой линии пролетарской революции и помочь там неграмотным преданным людям, которых губит не белая сила, а собственное невежество.

Конец военного и политического руководства этого человека достигал Новохоперских дробных фронтов, и я увидел здесь, что это

руководство никуда не годно, оно ведет нас к быстрому и сплошному поражению. Я вспомнил статьи редактора и коменданта — о прелесть зеленого губернского города, куда он приехал из Москвы, об общественно-политической постановке воспитания в детских домах, о культуре загнивающей буржуазии и философии Шпенглера. Подписывались статьи надуманной, выдающейся фамилией: Сталеметный. Официальные и боевые приказы подписывались той же фамилией, с прибавлением первой буквы: Ф. Очевидно, это был псевдоним, но давний и присохший к своему изобретателю...

Мне были ненавистны и странны такие претензии человека — на славу даже о своей фамилии.

Когда я прочел в конце боевого приказа, подписанного Ф. Сталеметным, фразу: «Красные бойцы, вечные славные трупы с Пер-Лашез ожидают смертельной мести общему врагу за свою гибель», — я понял, что Сталеметный не серьезный революционер, не практичный человек, а простой журналист, которому важен не действительный успех, а лишь бы его сочинения напечатали.

Он не знал, что непонятное не возбуждает мужества в тех отчаянных, самозабвенных людях, в которых революция стала почти телесным чувством. Красноармейцам нужнее всего в те времена были патроны и штаны, а комендант укрепрайона писал рецензии на имажинистские книжки... А красноармейцы воевали просто: бились насмерть с казаками с одним патроном в винтовке и двумя жилами в теле; один хутор — Мравые Лохани, казаки заняли прочно, и главный хутор был в семи верстах от города: хутор был окружен вязкими болотами и мочажинами, — тогда отряд учителя Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули в трясинах, и в одну ночь вышиб казаков в болото, где они все и остались, потому что их лошади были босые...

Я понимал, что белых вышибить легко: казаки приехали в Россию, как в колонию — награть и поскорее уехать домой. Это хорошо знали и все крестьяне. От этого же в партизанах была крепкая уверенность в победе — они чувствовали во враге не мужественного противника, а случайного и трусливого вора...

Я сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего вошь кипит на людях кашей, но решили драться до голой земли.

Машинист из депо, предревкома, сказал мне:

— Революция — риск: не выйдет — почву вывернем и глину оставим, пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло! <Далее утрачена часть листа.>

Я понял все не столько своим умом, сколько сравнением новохоперских предводителей партизанских отрядов и губернских руководителей, главным образом Сталеметного.

Москва послала Сталеметного создать в губернии укрепленную зону и уложить меж колючими проволоками денкинские армии. Наша губерния должна стать, по этому замыслу, заставой для белых войск, преграждающей их стремительный поток на Москву. Но Сталеметный не почувствовал смертельной опасности на равнинах губернии, не сумел помочь красным партизанам и регулярной армии вооружением и впоследствии уехал с женой из осажденного белыми губернского города. *<Далее утрачена часть листа.>*

Читатели и лозунги были беззащитны, — прямо из степи можно достать пулей склоненную над книжкой голову молодого коммуниста. Я тогда возненавидел степь — чужую, страшную и дымящуюся выстрелами, в которой собирались казаки и кулаки. *<Далее утрачена часть листа.>*

Через две недели после моего письма Сталеметному *<пришел>* ответ — я отзывался в губернию. Отзыв был подписан секретарем редакции, а не редактором — Сталеметным. Я ушел из города молча и пешком. Вокзал находился в четырех верстах, но как доехать до губернии, я не знал: говорили, что казаки заняли часть линии. С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку: оказывается, несли труп убитого Нехворайко, которого уничтожили вместе с отрядом кулаки в огромном селе Песках. Я сильно затосковал и заспешил на станцию. Наше гибельное время и неизбежную раннюю смерть я чувствовал тогда живо и грустно. Мне жаль было мечущихся бесприютных людей, объединенных и покинутых, над которыми страдает оркестр, а не мать, имена которых исчезают под безымянной травой на братских могилах. Я не верил, что борьба — людское вечное призвание; по молодости я мечтал о другой и мирной судьбе — о каком-то глубоком человеческом сознании, видящем события в мире прежде их появления, — о богатстве вселенной, которое удовлетворит всякую жадность жизни, и о каком-то абсолютно сердечном чувстве веры в значение человека, как завоевателя и спасителя бушующей природы.

Все это я обдумывал много раз — теперь меня интересовало превращение мыслей в событие. Старая мать, умершие братья и сестры, износившийся на работе отец также требовали оправдания их скучной мучительной жизни — они родились ведь. *<Далее утрачена часть листа.>*

На вокзале я почувствовал сосущее пространство. Как и каждого человека, меня влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по мне и звали меня. Наверное, человек действительно родственник всем забытым вещам, рассеянным в заросшем пространствами мире.

Человек двадцать безмянанных людей сидели на полу и надеялись на какой-то поезд. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Я вышел наружу, разглядел на пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из восьми платформ с повозками и артиллерией и двух классных вагонов. Сзади были прицеплены еще две платформы — с углем.

Командир отряда меня пустил в классный вагон, просмотрев мои документы.

— Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ! — заявил командир. — А дальше нам поезд не нужен: мы выходим на позицию.

Я согласился ехать и до Разгуляева, а там посмотрю.

Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они две недели дрались под Балашовом и тяжело устали. Двое выпалились и сидели у окна, напевая от скуки. Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком». А политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез массу красноармейцев, тосковавших в дальних дорогах и от тоски исписавших стены и лавки химическими карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Я в задумчивом унынии читал эти изречения — я и дома прочитывал новый календарь за год вперед.

«Наша надежда стоит на якоре на дне морском», — писал неизвестный путешественник и подписывал место размышления: «Джанкой, 18 Сентября, 1918».

«Революция — красивая сила, но боюсь за нее: солнце — начальник природы, а вдруг раз солнце — начальник природы, тогда у людей кто? — Х. Борщинненко, всемирный разведчик».

Смерклось — и поезд тронулся без предупредительного свистка. Меня начало укачивать на жестких старых рессорах вагона, и я задремал на последней надписи: «Люблю еврея, он отец всех людей. Каждый человек тоскует о своем Сионе».

Проснулся я во тьме. Меня разбудил скрежет тормозных колодок и еще что-то. Окно вспыхнуло светом магния, и низко провизжал снаряд. Он разорвался недалеко — показав жнивье и смиренное ночное поле. Я встал.

Наш поезд остановился и не знал, что делать. Комиссар пошел наружу, и я с ним. Линию явно обстреливали казаки — их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала перелет.

Прохладно и грустно было тою ночью, долго мы двое шли до паровоза. Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка, над манометром.

— Что стали? — спросил комиссар.

— Боюсь за путь, товарищ политком: обстреливают, а мы без огней идем — нарвемся на крушение! — тихо ответил сверху машинист.

— Ерунда: видишь — они перелет делают! — сказал комиссар. — Только дуй побыстрей и без шума!

— Ну, ладно! — согласился машинист. — У меня помощник один — не управится, дайте солдата для топки!

Я догадался и влез на паровоз для помощи. Шрапнель разорвалась впереди паровоза и осветила весь состав. Побледневший машинист повел ручкой регулятора и крикнул нам с помощником:

— Держи пар!

Мы усердно начали совать дрова в топку.

Паровоз пошел с нарастающей скоростью. Впереди лежала мертвая тяжелая тьма, и, быть может, в ней нас ждал разобранный путь. На закруглениях машину швыряло так, что я думал — мы соскочим с рельсов. Машина резко и часто отсекала пар, и слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза. Под нами иногда грохотали мостки, и вверху таинственным светом вспыхивали облака, отражая выбегающий огонь из открытой топки. Я быстро вспотел и удивлялся, чего мы гоним поезд, раз казачью батарею давно проехали. Но испуганный машинист без конца требовал от нас пара, и сам помогал кормить топку, и ни разу не отвел регулятора с его крайней точки.

Я выглянул с паровоза. В степи давно стояла тишина, лишь мы свирепствовали. Спереди на нас бежали какие-то огни: наверное, станция.

— Чего он так гонит? — спросил я у помощника про машиниста.

— Не знаю, — угрюмо ответил тот.

— Так мы же обязательно сами наделаем крушение! — громко заявил я, а сам не знал, что мне делать.

Паровоз трепетал от напряжения и размахивал всем корпусом, ища возможности выброситься под откос от душасей его силы и яростной скорости. Иногда мне казалось, что мы уже сорвались с рельсов и летим по месиву мягкой почвы, и я хватался за грудь, чтобы удержать сердце от страха.

Когда мы проскакивали стрелки и скрещения какой-то станции, я видел, как колеса выбивали огонь на крестовинах.

Потом мы опять утонули в темную глушь и в ярость полного хода. Закругления нас валили с ног и перекашивали весь паровоз, а вагоны сзади отбивали лихую чечетку.

Помощнику, видно, надоела работа, и он сказал механику:

— Иван Палыч! Скоро Шкарино, давайте остановимся — воды возьмем!

Машинист слышал, но промолчал. Я подумал, что он с ума сошел, и потихоньку открыл нижний кран тендера. Этим я хотел спустить воду

и заставить машиниста прекратить ненужный бег. Я тогда не хотел напрасно погибать и ожидал от жизни разгадку ее тайного явления и надеялся на страстную смелую силу начавшейся революции.

Машинист закрыл регулятор и отошел от окна. Лицо его было спокойное, и он полез за табаком. Я тоже успокоился и завернул кран тендера. Машинист улыбнулся и сказал мне:

— Зачем ты это делал? За нами белый броневик с Марьинского разъезда все время шел — вот я и уходил!

Я не понимал:

— А теперь он что?.. Почему же вы после батареи не сдали хода, когда мы еще не доехали до Марьинского разъезда?..

— Теперь бронепоезд отстал — можно потише, — ответил машинист. — Залезь на дрова, погляди назад!

Я влез на горку дров. Скорость все еще была велика, и ветер раскачивал мое тело. Сзади было совсем темно и только поскрипывали спешащие вслед вагоны.

— А до Марьина почему вы спешили? — опять допытывался я.

— Нас же заметила батарея — она могла переменить прицел — надо было подальше уйти! — объяснил машинист, но я понял, что он трус.

В Шкарино мы остановились. Пришел комиссар и удивился рассказу механика. На Шкарино было пусто, из колонки в паровоз шли остатки воды. Подошел какой-то местный человек и глухо, против ночного ветра, сообщил, что на Поворино казачьи разъезды — мы не проедем...

— Нам до Разгуляя только! — ответил комиссар.

— А-а! — сказал человек и ушел в темное станционное здание. Я пошел за ним в помещение. В зале для публики было пусто и скучно. Покинутость, забвение и одичалая тоска встретили меня в этом опасном доме гражданской войны. Неведомый одинокий человек, говоривший с комиссаром, прилег в углу на уцелевшую лавку и начал укрываться скудной одеждой. Кто он и зачем сюда попал — меня сильно и душевно интересовало. Сколько раз я встречал — и прежде, и потом — таких сторонних безвестных людей, живущих по своим одиноким законам, но никогда не налегала душа подойти и спросить их, — или пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни. Может быть, было бы лучше тогда мне подойти к тому человеку в шкаринском вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи.

— Машинист — трус, бронепоезда не было! — сразу сказал я комиссару.

— Черт с ним — довезет как-нибудь! — спокойно и устало ответил мне комиссар и, отвернувшись, пошел к своему вагону, с печалью го-

вора себе на ходу: — Эх, Дуня, моя Дуня, чем ты детей моих кормишь теперь?..

Я тоже пошел в вагон, не понимая — за что мучаются так люди: один лежит в пустом вокзале, другой тоскует по жене. Может быть, они сами виноваты в своем волнении в тихой природе? Но ветер шумел над моей головой и нагонял тучи, капающие дождем. В природе тоже шевелилось вечное горе, и ее растравленная душа искала себе какого-то утешения. Я понял, что в таком тревожном мире человек не может быть иным, как только несчастным и взволнованным.

— А революция? — вспомнил я в тамбуре вагона. — Удар по порочному кругу природы, — прошептал я себе ответ и почувствовал покой. — Удар по ветрам, ливням, душевной тоске, по семейной беде, по голодному горю, убийству, одиночеству, землетрясению, — по всем злостям и печалям, чтобы прямо, прочно и уверенно стояло тонкое тело человека на земле, чтобы грустное сердце и сильная мысль стали самой драгоценной и страшной силой в природе...

Я еще много шептал и думал уверенней о счастье революции и уснул в блаженном успокоении. Начинаясь осень 1919 года — утро нового века, заря тысячелетнего царства социализма, когда еще прохладно от опасности и больше помнишь вчерашний старый день.

Проснулся я до рассвета, еле отдохнув. Поезд стоял в мокрой степи, красноармейцы храпели и чесали во сне свои тела — слышен был остревенелый скрежет ногтей по грязной коже. Комиссар тоже спал, лицо его сморщилось — вероятно, он мучился перед сном воспоминаниями о покинутой семье, и так уснул с маской горя на лице. Неунявшийся ветер гнул поздние былинки в остывшей степи, и целина от вчерашнего дождя превратилась в тягучую грязь. Командир лежал против комиссара и тоже спал; его книжка была открыта на описании Рафаэля; я посмотрел в страницу — там Рафаэль назывался живым богом счастливого раннего человечества, расцветшего по солнечным берегам Средиземного моря. Я не поверил: дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у детей.

Комиссар открыл глаза:

— Что: стоим, что ли?

— Стоим!

— Что за черт — сто верст едем сутки! — рассердился комиссар, и мы опять пошли с ним к паровозу.

Паровоз стоял покинутый — ни машиниста, ни помощника не было. Впереди него — в пяти саженьях — лежали неумело разобранные рельсы.

Комиссар посерьезнел:

— Сами они ушли, или побили их — сам черт не поймет! Как же мы теперь поедem?

— Конечно, сами ушли! — сказал я.

Паровоз стоял еще горячий, и я решил сам полегоньку повести состав — я же ездил за помощника на паровозах. Комиссар согласился, дал мне в помощь двух красноармейцев, а другим велел собрать путь.

Часа через три мы тронулись. Я сам глядел за всем — и за топкой, и за водой, и на путь — и чего-то волновался. Большая машина шла покорно, а я ее особо не гнал. Постепенно я осмелел и поехал быстрее, но строго тормоза на уклонах и закруглениях. Красноармейцам-помощникам я рассказывал, в чем дело, и они довольно хорошо держали пар нужного давления.

Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный; около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд; разъезд я проехал тихо, осматривая стрелки, и понесся дальше. Сквозь туманы выбиралось солнце и медленно грело сырую остывшую землю. Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же садились над своей пищей — осыпавшимися семечками.

Начался затяжной прямой уклон. Я закрыл пар и поехал по инерции с растущей скоростью.

Чистый путь виден далеко — до самого перехода уклона в подъем, в степной впадине. Я успокоился и слез с сиденья, чтобы посмотреть, как работают мои помощники, и поговорить с ними. Минут через пять я вернулся к окну и выглянул. Далеко завиднелся семафор — вероятно, это и будет Разгуляй; за семафором я разглядел дым паровоза, но не удивился — Разгуляй был в советских руках, про это мы знали еще в Новохоперске. Там стоял какой-то штаб и держалось правильное сообщение с большой узловоей станцией Лиски.

Паровозный дым на Разгуляе вырос, и я увидел трубу паровоза и его переднюю часть. «Вероятно, он прибыл с Лисок», — подумал я. Но паровоз ехал к семафору — на нас. «Сейчас он остановится, заходит за стрелку», — следил я за тем паровозом. Но быстрая отсечка пара из трубы говорила другое: паровоз с хорошей скоростью шел навстречу нам. Я высунулся весь из окна и глядел. Паровоз прошел семафор — он вел большой товарный или воинский состав по однопутной дороге в лоб нашему эшелону. Мы шли под уклон, он тоже под уклон, и встретиться должны в степной впадине — на разломе профиля дороги. Я догадался, что дело плохо, — и натянул свисток; красноармейцы заметили встречный поезд и начали метаться от испуга.

— Сейчас замедлю ход, и вы тогда прыгайте! — сказал я им: все равно они были бесполезны. Вестингауз не действовал — это я знал еще вчера при старом машинисте. Оставался обратный ход: контрпар.

Встречный поезд тоже заметил нас и давал непрерывный тревожный гудок. Я зацепил колечко свистка за какой-то вентиль, чтобы не прекращать тревожного сигнала, и начал переводить реверсивную муфту на задний ход.

Руки мои оторопели, и я еле осилил тугой червячный вал. Затем я открыл весь пар. Паровоз вздрогнул, ударил водой в трубу и закрутил колеса в обратную сторону. Наш легкий состав сейчас же остановился, а потом пополз обратно. Паровоз как будто сам чувствовал опасность и бешено буксовал, спеша уйти от настигавшего тяжелого воинского состава. Я не заметил, когда спрыгнули красноармейцы, и весь сразу завял от утомления. Наш эшелон медленно пополз назад. Я собирался прыгать с паровоза, но потом вспомнил, что, наверное, я порвал крышки у цилиндров от слишком резкого открытия контрпара. Цилиндры парили — сальники были пробиты, но крышки уцелели. Встречный паровоз приближался очень ходко: синий дым стлался от трения тормозных колодок из-под его колес, но вес поезда был слишком велик, чтобы один паровоз смог задавить его скорость. Машинист резко и торопливо давал по три свистка, прося у бригады ручных тормозов, — я понимал и смотрел на все, как посторонний. Моя несмелость помогла мне в тот смертельный час — я испугался уйти со своего паровоза, потому что меня бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. Кроме того, разгуляевский паровоз был слишком близко — я бы не успел отбежать на совершенно обессилевших дрожащих ногах. Действительно, ноги мои настолько ослабли, как будто я весил тонну, и я сел на сиденье, мгновенно вспомнив умершего, самого любимого брата, который бы, наверно, тоже не побежал с паровоза.

Стыд перед умершим братом, — маленьким безруким калекой, не евшим в голод по шесть дней и умершим от нечаянной грибной отравы, оставил меня в будке паровоза — в пяти саженях от мчащейся на мое тело горы одичалого металла. Я схватился за подоконник, чтобы выдержать удар, и в последний раз выглянул на противника. С того поезда сыпались как попало люди, уродуясь и спасаясь; я заметил, что и с паровоза брякнулся под откос человек — машинист или помощник. Я посмотрел назад — на свой поезд, — никто не показывался: наверно, все спали.

Я зажмурился и боялся грома от толчка. Потом мгновенно, на оживших ногах, вылетел из будки, чтобы прыгать, и схватился за поручни сходной лесенки, только тут я почувствовал свое горячее сознание: котел обязательно взорвется от удара, и я буду размозжен как тварь. Ближе бежала подо мною крепкая прочная земля, которая ждала моей жизни, а через миг останется без меня сиротою. Земля была недостижима и уходила, как живая. Я вспомнил детское видение и детское чувство:

мать уходит на базар, я гонюсь на пухлых неумелых ногах, не догоняю и верю, что мать ушла на веки веков, и плачу неутешимыми слезами. Затем быстро мое зрение заслонила теплая темнота, и я подумал ясно в последний раз:

— Неужели это так легко? — и вздохнул бы облегченно, если бы чувствовал грудь.

Человек боится не смерти, не жизни, а мучений, страха и неизвестности. Лишь бы не было этих трех чувств, тогда вся жизнь переменится. А их у меня не было, когда я упал от удара паровозов лоб в лоб, когда я уже бессознательно понимал¹, что мой череп лопнул, а в руслах мозговых извилин засверкало безумие смерти и распада.

Очнулся я, наверное, скоро — старая сухая трава щекотала мою шею, и природа показалась очень шумной. Оба паровоза ревели сиренами и предохранительными клапанами: от сотрясения у них сбились пружины. Наш паровоз стоял на рельсах правильно, только рама согнулась и посинела от мгновенного напряжения и нагрева. Разгуляевский паровоз перекосялся и врезался колесами в балласт. Внутрь переднего вагона нашего поезда вошли два следующих, расклинив его стенки. Из разгуляевского состава два вагона были выжаты и сброшены на сторону, а колесные скаты их лежали на тендере паровоза.

Ко мне подошел комиссар:

— Жив?

— Ничего. Отчего это случилось?

— Черт его знает! Их машинист говорит, что тормоза у него отказали и он проскочил Разгуляй! Мы его арестовали, бродягу! А ты чего смотрел?

Я испугался:

— Я давал обратный ход — позови комиссию, пусть осмотрит, как стоит управление...

— Чего там комиссию! Человек сорок уложили у нас и у них — смазали рельсы кровью! А тут казаки, говорят, шляются рядом — плохо нам будет!..

Скоро с Разгуляя пришел вспомогательный поезд с рабочими и инструментами. Про меня все забыли, и я тронулся в одиночку на Лиски.

Недалеко лежал опрокинутый человек. Его тело вспухало с такой быстротой, что было видно движение роста; лицо же медленно темнело, как будто человека опускали в тьму, — я даже обратил внимание на свет дня: действует ли он, раз человек так чернеет.

Скоро человек возрос до того, что я стал бояться, что он лопнет и брызнет на меня своею внутренней жидкостью, но человек начал опа-

¹ *Запись на левом поле: ра<спад> по<следнего>. Запись зачеркнута.*

дать опухолями — он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества.

Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленным вином выходила кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь:

— Перестань, собака, ведь я же ослабну!

Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась; красноармеец свалился навзничь и тихо сказал — с такой искренностью, когда не ждут ответа:

— Ох, и скучно мне — нету никого со мной!

Я опять подумал, что смерть — не страх: ему вот скучно, а мне она явилась как теплая темнота.

Когда я подошел к красноармейцу, он ясно попросил меня:

— Закрой мне зрение! — и глядел, не моргая, засыхающими глазами.

— А что? — спросил я, и покраснел от стыда за свою жизнь и здоровье.

— Режет... — объяснил красноармеец и двинул скульями, чтобы закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал.

В его мертвых глазах явственно пошли отражения облачного неба, — как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни, и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью¹.

Станцию Разгуляй я обошел, чтобы меня не остановили там, и скрылся. Долго еще я слышал свист пара из паровоза и длинную мелодию тревожных сирен. Погибни и пропади я тогда в полевом пустыре — никогда общество меня бы не вспомнило, только мать считала бы дни, ждала письма и плакала. Я тогда стоял на душевном распутье — истории и личной жизни: мне сравнялось 19 лет и столько же было двадцатому веку, я родился ровесником своему столетию, растущему в такт возрасту человека — во мне молодость, острота личной судьбы, а в мире, одновременно, революция.

Железнодорожные будки всегда интересовали меня своими загадочными жителями, — я думал, что они счастливы в своем уединении. Я заходил в будки пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением, и не прочь был навсегда остаться с ними, чтобы из жалости и отречения разделить их участь.

¹ *Запись в конце листа: Смерть — последнее / <п>рис<пособление> жизни. Запись зачеркнута.*

Ночевал я тоже в будке, но не в комнате, а в сенцах, потому что в комнате рожала женщина и всю ночь громко тосковала. Муж ее бродил всю ночь, шагая через меня, и говорил себе с удивлением:

— В такое время... В такое время...

Он боялся, что в беде революции быстро погибнет его рождающийся ребенок. Четырехлетний мальчик просыпался от громкой тревоги матери, пил воду, выходил мочиться и глядел на все как потусторонний житель, — понимая, но не оправдывая. Наконец я неожиданно забылся и проснулся в тусклом свете утра, когда по крыше мягко шелестел скучный долгий дождь.

Из комнаты вышел довольный хозяин и прямо сказал:

— Мальчик родился!

— Это очень хорошо, — сказал я и поднялся с подстилки. — Человек будет!

Отец рожденного обиделся:

— Да, коров будет стеречь — много нас людей!

Я вышел на дождь, и решил уходить дальше. Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Я махнул ему дважды рукой, но он испугался и слез с окна; так я его больше и не увидел, и не увижу.

— До свиданья! — сказал я дому и месту своего ночлега, и пошел на Лиски.

Через версту я встретил бодрую старушку с узелком.

— Она уже родила! — сказал я ей, чтобы она не спешила.

— Родила?! — быстро удивилась старушка. — Знать, недоносок, батюшка, был — вот страсть-то! Кого ж бог послал?

— Мальчик, — довольно заявил я как участник происшествия.

— Мальчик! Непочетник родителям будет! — решила старуха. — Ох, и тяжело рожать, батюшка: хоть бы родил один мужик на свете, тогда б он в ножки жене и теще поклонился!..

Старуха сразу перешла на длинный разговор, ненужный мне, и я окоротил ее:

— Ну, бабушка, прощай! Мы с тобой не родим — чего нам ссориться!

— Прощай, дорогой! Помни мать свою — не будь непочетником!

¹ Я шел как раз к матери, значит, я почитал ее. Сначала дорога влекла меня, и я шел охотно, но потом пространство из нежного видения превратилось в тоскливый труд. Я сел в ложбинку, где не дуло, и подумал, что природа только в детстве, когда работает за тебя отец, кажется

¹ *Предваряющая запись: жили <?> / о мертвых / дикое отупени<е> / дикого отупени<я>. Запись зачеркнута.*

такой милой, а потом становится унылой работой на всю жизнь: она целиком сделана против человека. Надо работать, а не любоваться, — заключил я для своего успокоения, — и пошел к Лискам с сознательным аппетитом необходимости.

До Лисок я дошел к вечеру — в полной бессмысленности и в забвении всех полезных идей. Вокзальная человеческая суета убедила меня, что я никогда не доберусь до дома, хотя земля отсюда до него лежала без всякого перерыва.

Народ, растерявший свои деревни, не знал, где ему жить, и метался по железным дорогам. Из вокзалов ночью выгоняли, в поезда без революционных документов не сажали, разум без хлеба не шевелился, лицо каждого не привлекало начальского уважения, — и не от сложности души, а от бескормицы, многие выходили и ложились на рельсы худыми шеями; в ожидании поезда, они, наверное, лежали молча, деловито и без душевных противоречий. После находили мертвых мешочников и говорили, что они, черти, неумело цепляются за буфера: сами виноваты.

Лиски несколько раз бывали в белых руках, их плакаты без злобы сохранили красные. Большевики, как известно, до остервенения занятые люди, и впоследствии, годы спустя, когда живые дела уменьшились, они из честности глушили свою энергию в планах и бумагах. Один белогвардейский плакат я запомнил дословно, настолько он был странен по мысли.

«У крестьянина был живой бог — Христос, у большевиков он стал солнцем — председателем природы. У русского человека был царь, большевики превратили его в Ленина — председателя совнаркома. Не лейте кровь, русские люди, все останется по-старому, жизнь вечна, только будет хуже и беднее!»

Я пошел к коменданту. Его в комнате не было — сидел начальник станции. Вперед меня пришли мешочники и просились на какой-то матросский поезд из Ростова.

— А зачем и куда вам ехать? — хладнокровно спросил начальник.

— Хлеб везем, товарищ, по пуду на душу, — разрешите доехать! — говорил пожилой усталый человек.

Начальник едко сморщился — без звука прошла мысль по его лицу. Он обождал, когда мысль кончится, и совершенно вежливо, до оскорбления сочувственно, заявил:

— А вы бы, товарищи трудящиеся, прямо к товарищу Ленину обращались — он вам сразу хлеба отпустит. Он же теперь начальник народа — к нему и поезжайте: Москва, Кремль.

Начальник станции нагнул голову, чтобы скрыть веселое лицо от мрачных людей.

Пожилой усталый крестьянин подождал своих слов и ответил:

— К товарищу Ленину не доедешь...

Начальник не понял и сделал руками большую величину:

— Почему же? Транспорт — народное достояние...

Крестьянин закончил, не сбиваясь со спокойствия в голосе:

— Это верно, нам известно. Только на всех буржуев у нас рук не хватает: тебя непременно надо матросам показать, чтобы ты не гадил народу поперек...

Этот крестьянин ушел, а остальным начальник молча написал какие-то ордера на поезд.

— Вот-с, получайте! — объявил он просителям и обратился ко мне:

— Чем могу служить?

— Ничем, — сказал я. — Мне нужен комендант.

В полночь я выехал из Лисок в матросской теплушке. Матросов перебрасывали с Ростовского фронта на Царицын, который Врангель превратил в белогвардейский Верден.

Сначала матросы хотели задержать поезд, чтобы успеть избить коменданта вокзала за скверный суп, но потом разговорились и забыли. Поезд тронулся под гул несчастных людей, оставшихся на перроне на голодную страсть.

Матросы не жалели никакой материальной ценности — жгли печку в августовскую ночь, выкидывали недоеденное мясо большими кусками, стреляли в ночные тени на полях — и, может, там падал безымянный человек — и по-всякому хотели скрытно, бессознательно отомстить людям и миру за близкую утрату собственной жизни. Один матрос стрелял из нагана по светящимся окнам встреченных железнодорожных будок.

— Что ты, Концов, по бедноте чеканишь? Оставь хижины, бей по дворцам — по ученью Маркса! — добродушно уговаривал стрелка по будкам пожилой матрос, но сам почти сочувствовал ему.

Концов с темной яростью искал прицела в ночной степи и насмешливо отвечал:

— Я и по тем и по другим, Алмаев, прохаживаюсь, — чтоб защищать их, чертей, было не задаром!

Поезд шумел от песен, дикого забвения и с гремющей скоростью летел под затяжной уклон.

Я приютился в темноте угла и не давал о себе знать — меня свободно могли матросы выбросить, чтобы и я не жил, раз они едут умирать. Они не были пьяны, но пережили такое, что уже не давало им надежды на жизнь, а только подчеркнуло их смертельное обречение. Из разговора я понял, что этот эшелон — остаток матросской дивизии особого назначения. Она потеряла под Нахичеванью и Миллеровым три четверти людей — и теперь с маленьким пополнением перебрасывается на Цари-

цын, чтобы безусловно и экстренно ликвидировать там армию Врангеля. На отдых матросам дали время в пути.

На верхней полке теплушки шел рассказ о китайцах. Я прислушался и скоро понял спокойствие рассказчика.

— Помнишь Белую Калитву? Шлет начштаба отряд китайцев на позицию — держать какой-то хутор — и говорит: смотри, ходя, белой кавалерии много будет, бей крепче, а то вас всех порубают! А китайцы понимают и смеются: ничего, товарищ, — мы любим смерть! Понял: мы любим смерть.

На верхней полке все успокоились от такого разговора. Концов, наверное, слышал несколько слов и вспомнил про терпение китайцев, потому что перестал стрелять в поле. С мыслью о китайской любви к смерти половина вагона начала дремать. Я тоже закрыл глаза и удивлялся человеку — его душевной податливости: можно жить и без желания блага, а со страстью к смерти, можно найти и третье увлечение — не знаю какое: не благо и не смерть, — а жизнь все-таки останется и будет питаться даже из источника своей будущей гибели.

На рассвете проснулся старый Алмаев, а я спал еще меньше его и давно слушал ход поезда. Он забыл, что вчера сам же пустил меня в Лисках в вагон, и захотел бросить меня под откос. Пока мы с ним спорили, Алмаева обдул свежий ветер из незадвинутой двери, и он оставил меня, окончательно опомнившись от сонного бреда. Через десять минут он снова спал, а я видел в расщелину двери башни, храмы и темные утренние сады родного города на приречных холмах.

Через два часа я шел по длинным путям станции, где в загонах стояли пустые больные вагоны. Последние дни были теплые, и молодая свежая трава рождалась меж заброшенными рельсами. Очевидно, трава не чувствовала времени и легкомысленно рождалась накануне осени. Я возвратился с более легким телом и липким разумом, чем уехал. Я заметил мальчика, одиноко игравшего у нефтяных складов. Два месяца назад, перед моим отъездом, он был у меня — мы пускали змей, высоко взошедший, в воздух. Мальчик остался без меня таким же — в той же рубашке, у своего дома. Я как нигде не был, и почувствовал прежнюю простоту жизни, запах паровозной гари над травой и звучность сердца в своем теле.

На переезде грустно позванивал колокол, предупреждая о поезде, и маленький желтый старик-сторож выходил с зеленым свернутым флажком.

Иногда обнажалось солнце, прилегало к траве, песку, мертвой глине, и обмениваясь с ними чувствами без всякого имени и сознания. «Начальник природы» — вспомнил я лискинскую надпись про солнце, но солнце осталось ни на что не похожим, и имя это вышло глупым, как всякое название чувству. Закрыв глаза, можно назвать и объяснить весь

мир; открыв их, все делается непонятным, но живым и не требующим имени.

Я отворил калитку своего двора и обрадовался старому дереву, старше меня, росшему у сений. Дерево было изранено, порублено, в него втыкали топор для отдыха, когда кололи дрова, но оно было еще живо и берегло зеленую страсть листвы на больных ветках.

В комнате не было никого — ни матери, ни братьев с сестрами — они куда-то вышли, а отец был на работе. Я открыл книгу на своем столе, заложенную посредине два месяца назад, и прочел чьи-то переводные стихи:

— Пещеры, звезды, травы, недра,
Хотите ль вы, чтоб вас добыли? —
— Да! Но мы хотим и песни,
Достойной нашей смерти!

Я искал в продолжении стихотворения развития тронувшей меня мысли, но поэт не сказал, и я не догадался.

Первые дни дома я зяб и грелся на печке. А потом пришло забвение на восемь месяцев — три тифа подряд и воспаление легких. Помню редкие паровозные гудки в глухие зимние ночи, возню голодных детей на полу и свое сознание, выведенное болезнью, разучившееся соображать. Раненая революция металась своим лицом-фронтом где-то близко, я иногда слышал гул далекой артиллерии, но моя припотушенная жизнь ни к чему больше не обладала страстью привязанности. Я лежал в минуты сознания совершенно пустой и чувствовал только свою кожу. Мне казалось, что от ветра я бы полетел, как летят сухие легкие трупки пауков.

Перед Пасхой отец сделал мне гроб — прочный, прекрасный, как последний подарок сыну от мастера-отца. Меня отец хотел сохранить в таком гробу, — если не живым, то целым для памяти и любви¹. Гроб простоял четыре года, пока подрос до его размеров и умер мой младший брат, а мне не понадобился.

Я вышел из дома новым летом; воздух мне показался тяжелым, как вода, солнце — греющим, весь мир — свежим и бушующим, но ядовитым для моей слабости. Жизнь снова заблестела предо мною — я становился ту же телом, и мысль всходила фантазией.

¹ Предложение осталось недописанным, сверху вписывается возможный вариант окончания: говор<ил> что выкопает.

Мой друг и я стояли против католической церкви. Друг держал в руке букет цветов, а я нет. Ночные тучки, гонимые высоким неслышным ветром, летели под луной — или луна стремилась им навстречу.

Храм далекого времени был впаян в ночь резкой и точной фигурой — как мучительная и уже успокоившаяся мысль. Он хранил в своем покрове неизвестные мечты, несбывшиеся надежды и изящество мертвой мудрости. Я тогда был молод, влажен от впечатлений жизни и не мог полностью вместить прошлого. Но храм, освещаемый перемежающимся лунным светом, и беспокойную мятущуюся ночь я заметил.

— Хорошо!

Друг тоже согласился:

— Хорошо.

Свои цветы он нес невнимательно, как веник, и куда мы шли — мне было неясно. Друг говорил, что — к спиритам. Он скептик, скупец, марксистский обществовед, но поверил трепещущему столику при потушенных свечах — на прошлом посещении загадочных людей, совершенном им без меня.

— Конечно, это отчетливая ерунда! — смеялся мой друг. — Но, понимаешь, занятно!

Романтиков, совмещающих в себе с этим благородным чувством тайное обжорство и явную сухую скупость на дешевые вещи, я встречал; но прибавления к этому, в виде страсти к непрерывной, бестолковой и тревожной фантастике, еще не видел. Мой же друг имел все эти редкие и одновременно действующие чувства: для многих созерцание такого существа доставляло отвращение, а для некоторых — удовольствие.

В уборной на его квартире лежал череп человека — я не мог уловить таинственной связи между этим черепом и местом его помещения; но связь, конечно, была и, возможно, помогала пищеварению друга — столь сложна и неясственна природа человека.

Друг, кроме того, жил неряшливо: я однажды заметил, что он ночью ел пирожные под одеялом. Я попросил у него половинку, но он смолк и засопел, притворяясь спящим.

А сегодня он нес небрежно цветы каким-то интересным людям на спиритический сеанс. Я ходил тогда куда попало, потому что находился еще в том возрасте, когда каждый день чувствуется только кануном жизни, а не настоящей жизнью: ожидаешь и удивляешься, но серьезно не свершаешь ничего. Жизнь круто взбухает в сердце, но ни одна почка в тебе пока не лопается. Поэтому в молодости живет грузно, томительно и тревожно. Завтра можно сразу и одинаково — влюбиться, или покончить самоубийством, либо выдумать вечный двигатель. А пока что — ходишь и волнуешься.

Был недавно дождь. Наступила осень — вечер природы, работавшей все лето, — сумрачное время тишины и размышлений. Осень также есть лучшие дни для воспоминаний, и сила их бывает иногда так велика, что почти физически увлекаешься в свое прошлое, чувствуешь раннюю молодость и растущее тело. Наверно, потому, что осень есть время воспоминаний, — в сентябре бывает какой-то религиозный праздник, в который поправляют могилы матерей и родственников.

Мокрые камни блестели на мостовой от лунного света. Главная улица города, по которой мы шли сейчас, гудела от говора сотен гуляющих молодых людей — это будущие отцы и матери свежих поколений искали встреч. Я удивился одной своей мысли тогда: растения снесли свои плоды и умерли, но люди съели плоды и продолжают дело растений — размножение — осенью и даже зимой: летних полевых плодов хватит до самого конца будущего лета. Но в то время поспеют новые растения и также умрут, а живой труд любви не остановится и не остынет даже на снегу.

Не есть ли человек лишь заместитель растения, способный производить потомство и зимой, и этим сберегающий силу времени?

Мы перешли улицу и стали спускаться к далекой реке. Новая улица начиналась на высоте и постепенно спадала до самой речной воды. Мы еле удерживали ноги от разбега. Другу приходилось особенно плохо — он был высокого роста на длинных ногах. Скоро тормозить себя ему надоело, и он побежал. Я знал, что он не остановится, — и заспешил вслед.

Никто точно не знал, что такое мой сегодняшний друг и спутник — острый и благородный авантюрист, зачеркивающий общественные пороки своими прямыми поступками, или непосредственный, почти бессознательный, оригинальный гений.

Я тоже не знал, но он мне очень нравился. Я знал, что он поджег в одну зимнюю ночь телеграфный столб на улице, чтобы разогреть у такого костра бесприютного, свалившегося в снег человека. Знал, что он любил книги: не как мысли, а как вещи — ласкал переплеты, нюхал бумагу и узнавал их содержание по одному ощущению толщины и формата, не интересуясь подробным чтением.

— Скоро мы дойдем? — спросил я, сожалея, что пошел с ним в такую даль.

Друг ответил, что скоро: вон белый домик — напротив него ворота, мы в них войдем.

Были видны луга на той стороне реки, на поздней отаве блестела холодная безотрадная роса. Вода шумела в близкой реке, ледяная луна студила безлюдную улицу, и мне стало скучно от множества таких же дней и вечеров, которые ожидали мою будущую жизнь.

Мы вошли в ворота. На дворе, в подвале флигеля, гудел электрический мотор кустарной мельницы, которых много было в городе в тот голодный год. Владелец мельницы стоял на пороге и испуганно разглядывал наши темные фигуры: он предполагал, что мы агенты электрической станции, которые пришли штрафовать его за воровство энергии.

Но мы повернули в сени, успокоив мельника.

Друг открыл дверь куда-то в светлое помещение. Я чувствовал, что он несколько колебался перед дверью и начал беспечно и неуместно пошвистывать, чтобы нагнать в свое сознание храбрости.

Помещение оказалось кухней — просторной, чистой и семейной. Спириты, вероятно, жили сытно. Я улыбнулся этому, потому что и раньше интеллигентные богачи всегда занимались какими-нибудь пустяками, чтобы отвести от сердца социальные тревоги, связанные с легкой добычей денег. В кухне было пусто и прохладно. Электрическая лампа перешла на тощий голодный свет, потом опять вспыхнула всем световым белым полнокровием и застыла в ровном накале.

Мой товарищ что-то пробурчал и начал топтаться. На наших сапогах налипло много грязи, мы ими уже наследили в кухне — особенно друг. Его волновало это особенно, тем более что он был обут в странные полусапожки, каких и по заказу городские сапожники шить не могли. Я знал, что он стащил свою нынешнюю обувь с ног одного этнографического экспоната в музее, которым он заведовал недавно две недели, но не упрекал его за это. Беспокойство друга в том и состояло, что он боялся — как бы под грязью его красивые полусапожки не остались незамеченными в этом доме.

Из кухни дверь была открыта в следующую комнату. После нашего волнения на месте, там кто-то тонко чихнул и скрипнул кроватью. Я ожидал увидеть спиритическую мумию, а вышла молодая женщина. Друг все время не знал, куда ему деть несчастные цветы, и положил их на загнетку печи, когда вышла женщина. Лицо ее показалось мне скуластым, а кожа слишком молочно-белой. Позже я убедился, что все было наоборот.

— А, это вы — Гога! — сказала женщина таким хорошим и открытым голосом, что я пошевелинулся от какой-то мгновенной тоски. — А я ждала вас раньше — и задремала!

— Ну, ничего — вот мы явились! — сказал мой друг — Гога, попросту Геннадий, и с жестом крупного зверя поспешно вручил женщине цветы с загнетки, вместе с сажей. Та их взяла просто и поглядела на меня:

— А это... Знакомьте же нас, Гога, ну какой вы неловкий!

Геннадий пробормотал что-то вроде Ивана-Ильи-Порфирия, так что женщина не узнала моего имени, но пожала мою руку. Мне показалось даже, что пожатие вышло особенным — неясным обещанием

чего-то. Но это была простая молодость: наполнять собственными стесненными желаниями внешний хладнокровный мир.

Мы прошли втроем в следующую комнату. Там было приятно, но отовсюду — от вещей и воздуха — веяло девичьей грустью. На маленьком пианино лежали ноты. Я сейчас же, по своей исследовательской привычке, начал листовать их и остановился на романсе «Ты не спрашивай». В этом романсе меня потрясли некоторые слова: сейчас они мне кажутся слишком наивными и смешными, потому что давно умер во мне тот человек, которого могла печалить дорога и веселить ветер¹, который мог волноваться от дрожания русла Млечного Пути больше, чем от личного горя.

Вот слова романса, как остались они у меня:

Ты не спрашивай, что люблю тебя:
Знать моя весна розой вспыхнула.
Ты не спрашивай: не напрасно я
Для тебя, мой друг, душу вынула.
И легко так мне, и не верится,
Что люблю тебя сердцем радостным...

Много засохших цветов было наставлено и просто свалено в комнате — вещи, надобности в которых я никогда не мог себе представить. Их бескорыстно натаскал, наверное, один Геннадий, не ощущая благодарности от той, кому цветы назначались.

Я пожалел, что прибыл сюда — предстоял скучный вечер. Но уже через десять минут мне стало хорошо, а через час я совсем забылся от радости.

Геннадий потел от восторга здесь быть и все время говорил, нагнетаемый изнутри искренним сердечным вдохновением. Некрасивый, он блестел небольшими глазами — они казались большими от счастья и прекрасными от цвета мысли.

Девушка-хозяйка оказалась красавицей. Со мной не раз случалось, что я искаженно воспринимал людей: собственные текущие мысли занимают воображение и перекашивают видение внешнего мира. Поэтому в кухне мне девушка показалась так себе женщиной, а сейчас, когда я покойно сидел, она обернулась настоящей красавицей.

Геннадий ее вежливо называл — Софьей Александровной², я тоже. Точная филигранная красота делала Софью Александровну

¹ На правом поле строка умер во мне тот человек, которого могла печалить дорога отчеркнута и отмечена вопр. знаком.

² В автографе сначала Софья Владимировна (18 раз), в конце главы отчество героини меняется на Александровну.

старше своих лет — ее возраст я узнал позже, — вероятно, поэтому же она была и умней своей молодости. Меня всегда радовало и удивляло, когда человек говорит и знает что-нибудь не вообще, а специально и глубоко. Именно у Софьи Александровны слова никогда не выходили простой мелодией, когда слушаешь лишь музыку голоса, а рождали образ и логику. Все это было так редко и ценно, что я молча торжествовал. Мне казалось, что я вижу пример, когда целомудренная красота может превращаться в мысли, тонко и точно облегающие вещи, так что истина сама делается наружным предметом. Но Софья Александровна говорила мало — ей не давал этого делать Геннадий. Он спешил в юношеском увлечении — собою и ею — открыть и показать себя. Он, конечно, мечтал, но фантазии его были оригинальны; какое-то мучение было скрыто за словами Геннадия — он спешил превратить свою мучительную надежду в фантазию, а из фантазии посредством техники сделать мечту действительностью. Геннадий верил в возможность такого хода событий.

Он имел прицел для всех своих чувств и мыслей. Этим прицелом была Софья Александровна. Геннадий томился от своего влечения к ней и изживал себя в фантазии, в дикой вере, в надежде на беспредельную силу своего выросшего от внутренней страсти мозга.

— Вы знаете, — говорил Геннадий и заранее утверждал свою правду движениями обеих рук, — вы знаете, что современная наука почти всемогуща. Изобретения стали простым ремеслом — уже все можно сделать. Можно открыть микробов любви, можно их потом искусственно расплодить, заразить ими людей и так далее. Солнце горит без всякой страховки — возьмет и потухнет сегодня в полночь. И его можно стабилизировать в работе. И так далее...

Это «и так далее» было замечательным выражением Геннадия: его голова обременялась богатыми знаниями, догадками и мыслями, — он не мог заниматься ими подробно, и фразой «и так далее» отдавал их на съедение и разработку другим.

— Предположим, что женщина не любит мужчину, — продолжал Геннадий, — мужчина, если захочет, может тайно заразить ее бациллами любви — совершенно вещественными телами — и женщина его полюбит. Вот и все. Чтобы хлеб рос гуще, можно растравить любовными возбуждителями и почву. А затем электричество! Ведь все космические недра полны им, а мы уже коснулись тайны его зарождения... Вообще, мир вырос как-то невоспитанно, нелепо, как урод, — надо им попристальной заняться¹. Но вообще, я думаю, что самое интересное осталось в душе человека — природа выявлена достаточно, — а наука, техника

¹ *Сверху предложения запись: жест??? разрыв!!!*

стали скучным занятием — ведь все можно сделать, заранее можно угадать, что будет достигнут абсолютный успех человека во всей вселенной, и так далее. Наука так выросла, что стала бесспорной, надежной и безопасной, а потому и совершенно неинтересной... Мы слышим радио, потом будем видеть на расстояние, потом передадим энергию от машины к машине за тысячи и миллионы верст, полетим на звезды, превратим морской песок в сплошное золото, а воду в нектар и амброзию, добьемся вечности личной жизни — и так далее. Все это будет наверняка. Знание уже не имеет в своих принципах риска, оно идет обеспеченно и наверняка, а потому и скучно... Серьезно, Софья Александровна! В науке умерла какая-то тревога неудачи, опасность ошибки — осталась одна нажива. Мир перепружен наукой — ему некуда вытечь. Он всасывается человеком. Я знаю, и все мы знаем, что путь науки труден, и так далее. Но ведь самого-то страшного — ошибки в конечном выводе — не случается никогда: моторы, устроенные по законам термодинамики и сопротивления материалов, вращаются, а не стоят. Это все ясно. Но это же работа и ремесло, а не рискованное творчество... Одним словом, рай сытости и благоденствия не только близок, но мы стоим на его территории, только не хотим пользоваться им, чтобы не потерять последней прелести жизни — риска, тревоги и, так сказать, душевного очарования перед неизвестным...

Геннадий потрогал клавиши пианино, собирая воедино свою брызгающую мысль. А в России в этот вечер всем народом шла охота за хлебом. Вошь стала крупным зверем, пожирающим целую страну. Великая тоска жила в уцелевших душах простых людей: есть бог, или большевики справедливы — и его нет нигде; есть бог — тогда хорошо и покойно, и жену, от хорошего настроения, реже бьешь; нет бога — стой на своих ногах, обдумывай лично весь смысл вселенной и перешивай ее, неуклюжую, заново.

Я, бродивший по полям фронтов, видел, что народ в те времена голодал от двойной бескормицы — и без ржи, и без души. Большевики отравили сердце человека сомнением; над чувствами возшло какое-то жаркое солнце засушливого знания; народ выпал из своего сердечного такта, разозлился и начал мучиться. Вместо таинственной ночи религии, засияла пустая точка науки, осветив пустоту мира. Народ испугался и отчаялся. Тогда были, по-моему, спутаны две вещи — сердце и голова. Большевики хотели сердце заменить головой, но для головы любопытно знать, что мир наполнен эфиром, а для сердца и эфирный мир будет пуст и безнадежен — до самоубийства.

После я понял, что перед крупной операцией у человека всегда очищают желудок. Большевики тоже устроили народу предвоспительный понос, чтобы тело не нервничало и не сопротивлялось под

лезвием революции и имело пустые места для вложения новых органов.

Люди гибли в тот день — телесно и непосредственно. Они были беспомощны, как лапша, и трагически оправдывали насмешливое слово «масса». Геннадий же уверял, что мысль доработалась до конца мира, до скуки души, попутно подарив возможность всеобщего материального благоденствия: кто хочет есть — тот оставайся жить, кто хочет думать, действовать и любить — тот погибай.

Софья Александровна слушала с улыбкой поощрения, отчего она мне переставала нравиться.

— Но, Гога, — сказала она, — я вам не верю: или я глупа, или вы так замкнулись, что не видите жизни. Вы слишком оторвались, Гога: нельзя мыслью доказать мысль — вы попробуйте сделать что-нибудь. Ну, например, уничтожьте тиф в России...

Она мне вновь понравилась. Я хотел сказать Геннадию: если ты так легко можешь все, то заставь Софью Александровну полюбить тебя — ты же этого больше всего хочешь; ты ей немножко нравишься, но она тебя не полностью любит. Этого я, конечно, не сказал.

— Я больше вашего уважаю мир, — говорила Софья Александровна, — я верю, что он глубже и сокровеннее, чтобы его сразу можно весь достать простой человеческой наукой. И человек также не прост, — может, и есть микроб любви, но я не люблю от него любого человека — убежденно вам говорю... Я думаю, что и знание есть просто особое чувство человека, а не какая-то демоническая всемогущая сила над вселенной. Все в жизни гораздо гармоничнее и разнообразнее, чем кажется вашему странному воображению, Гога!..

Софья Александровна говорила медленно и спокойно — она думала во время слов.

Геннадий забыл, что любит ее, и, мне показалось, вспух лицом от досады.

— Нет, — ответил он Софье Александровне. — Человек изживает себя — он лег поперек природы, ее глушит, и сам окаменел. Возьмите так: оставьте человека одного — он с ума сойдет, ему обязательно нужно общество, книги, разговоры — изнутри у него ничего не растет, он собой не возбуждается. Вот вам доказательство засыхания человека. Человека нет самого по себе — он только функция посторонних сил, а разве это живое? Это отвратительное, — это механика, а живое обладает самодовольством... Ничего не выйдет и из революции...

— Почему? — спросил я. — Может быть, ты просто не видишь главного — у человека, как у биологически свежего существа, или еще почему-то, растет новый орган жизни — мозг, а все остальное в теле находится с мозгом в противоречии. Это самое страшное горе истории.

Зато оно и причина всей человеческой истории. По-моему, здесь находится главное противоречие и главное движение жизни...

Геннадий знал эти мысли и терпеливо улыбался.

— Брось, — ответил он. — Сплошная чушь. Что заставило человека изобрести мозг? Откуда видно, что он биологически свежее существо?

Я имел любимые думы и начал защищаться.

— Что? Ну пусть человек старое животное. Это неважно. А вообрази так — случилась на земле страшная естественная катастрофа, земля изменилась, старые органы тела оказались недействительными в новой обстановке — либо пропадай, либо переворачивай самого себя. Вот и вспыхнуло сознание, то есть новое чувство для сохранения жизни в разрушенном мире... А до той катастрофы человек не имел сознания и не был даже человеком, а был в раю своего полного совпадения с природой. Потом рай погиб — отсюда, наверно, пошла легенда о потерянном рае.

Геннадий и Софья Александровна смеялись.

— Где факты, где доказательства? — спрашивал меня Геннадий. — Одни слова и поэтические утешения о возвращении рая?

— А где факты тому, что ты доказываешь? — слегка рассвирепел я; затем я догадался, что мы нарочно, хотя бессознательно умничаем перед Софьей Александровной, чтобы доказать ей, что один из нас лучше другого, — поэтому я замолчал с краской стыда на лице.

— Доказательства? — спросил меня Геннадий. — Самое простое, что человек не может теперь жить одиноким, он находит себя только в обществе — себе подобных, чтобы там же растеривать себя. Понял? Какой же это человек? Чушь! Гайка от болта, которая одна бессмысленна и так далее...

Софья Александровна, видимо, перестала нас слушать, потому что глядела в окно — на свет где-то бредущей луны. Мы сразу это заметили и остыли.

— Слушайте, Гога! — сказала Софья Александровна. — А почему вы думаете, что революция напрасна?

Геннадий обрадовался вопросу — ответ, и вообще слово, для него значили то же, что пудра для женщины: он словами прихорашивался.

— Потому что революция, так сказать, формальное событие, существа истории она не изменит. Человек устал, выдохся настолько, что он не в силах менять вещи, он меняет только их имена... Ну, может, ставит и переворачивает их по-иному — вот и все... Ведь наука же близка к тому, что даст столько продуктов для жизни, что бедность и богатство потеряют смысл и сотрутся очертания классов. При чем тут социальная революция? Техника даст все и всем, безразлично от расстановки людей в обществе...

— Что вы говорите, Гога? — остановила Геннадия Софья Александровна. — Слишком большая вера у вас в науку, как будто не человек ее делает, а сама она из земли растет! Сначала человеку надо дать хорошую жизнь, а потом он выдумает такую сильную науку...

Геннадий передохнул и самодовольно пошел дальше:

— Я не в таком смысле против революции, в каком вы думаете, Софья Александровна! Я знаю, что просто люди не любят напрасно терять имущество. Они потеряли православие и сделают религией революцию. Революция войдет в душу человека и там погибнет, то есть станет созерцанием, а не живой силой, не событием, не средством улучшения жизни и так далее... Соборы ликвидированы, а прихожане остались. Так не бойтесь, они найдут себе приход и медленно съедят революцию. Сначала — невкусно, а потом ничего — притерпятся и скушают до чистого дна...

Я сидел спиной к окну и чувствовал сзади холод. На улице шла глубокая ночь — мне стало тревожно и хорошо. Софья Александровна сидела все такая же красивая, мне даже было стыдно перед ней, что между мною и ей такая разница. Она разговорилась с Геннадием о театре, о том, что в нашем городе играют замечательные артисты. Товарищ Луначарский даже написал в одном журнале, что наш город становится социалистическими Афинами. Москва тогда голодала и не привлекала артистов. Я был далек от искусства и не знал фамилий актеров, чтобы участвовать в беседе. Поэтому я задумался о другом. Мне показалось, что между лунным светом — я нарочно оглянулся в окно на ночь — и Софьей Александровной есть сходство.

В лунную ночь пространство полно особого гула; неизвестные печальные лучи отвлекают из человека последнюю надежду, и нетеплый свет горит как свеча над всеобщей смертью. Это видение земли, блестящей в мертвом лунном серебре, сопутствовало чувству моего отчаяния. Я хотел встать и схватить Софью Александровну, но у меня разорвалось бы сердце от ее тела. Недостижимость для меня Софьи Александровны делало ночь, мир и завтрашний день заранее грустными. Я испугался, что придется скоро уходить отсюда.

Геннадий махал своими громадными розовыми руками, созданными для добычи, и работал ртом, как инструментом разума. Рот, голова и желудок у Геннадия были огромны до бесформенности, но все это оборудование не имело некоей, так сказать, глупой точки, тормоза, чтобы сдерживать эти стихии охоты, аппетита и сознания и регулировать их. Мысль Геннадия была похожа на его аппетит — тяжелая, как еда, и быстрая, как алчность. Страсти и душевные силы постоянно разогревали большое тело Геннадия, и было очень странно, что он безобразен. Вероятно, душная тревожная мощь чувств и мыслей сама себя угнетала и

преждевременно изнашивала тело и порочила лицо. А может быть, безобразие внешности Геннадия указывало на великую неискренность, на отсутствие сердечной бескорыстной преданности своим идеям, годных для слов и для завоевания барышень, но не для осуществления.

Геннадий не верил, что мужики теряют бога с мучением, — он говорил, что они никогда не имели его внутри себя и представляли как страшного хозяина небесной площади. Я не соглашался, потому что человек не может вечно существовать на ветру сомнений и страха — он имеет в сердце страсть к очарованию.

Геннадий и Софья Владимировна продолжали говорить об искусстве, но в их словах был лишь холодный интерес: я видел, что это больше умственное увлечение теориями искусств, чем непосредственное обаяние прекрасных вещей. Я подкашливал и делал вид Геннадию, что пора уходить. Он замечал, говорил: сейчас-сейчас, и захлебывался в скорой речи.

Земля остыла за полночь настолько, что я чувствовал, как медленно холодел пол под ногами. Приближалось расставание — долгая прозрачная тоска вне этого дома.

— А когда вы приведете своего Дванова, Геннадий Степанович? — спросила Софья Александровна и встала, чтобы подать нам руку на прощанье.

— Приведу, Софья Александровна. В следующий раз он будет здесь, — ответил Геннадий.

— Ну, смотрите! — сказала Софья Александровна и кротко улыбнулась — мне показалось, с маленькой печалью: ей скучно было оставаться одной в прохладной комнате. Мы уходили. Я оглянулся на комнату и увидел, как <она> стала затягиваться той девичьей грустью, какую заметил при входе в нее. Даже вещи были расставлены с особой тоскливой неуверенностью — сама хозяйка знала, что скоро в ней все изменится и тогда вещи потребуется переставить по прочному порядку, а пока пусть стоят в смятении.

Луна стояла в зените ночи, погася звезды вокруг себя. Мы шли по грязи, по середине дороги, и рассуждали. Я боялся остаться один и долго провожал Геннадия. Мы кружили у его дома и не могли расстаться — наверное, одинаковое несчастье сцепило нас и мы искали утешения друг в друге. Наконец, мы оба захотели есть, значит, наше горе не так было велико. Мы засмеялись этому открытию, и Геннадий сказал мне на прощание:

— Знаешь, давай уедем втроем куда-нибудь... Ты понимаешь, стало все как-то недорого, ненужно и вообще гнусно... Я никогда не видел ни в ком ничего подобного, как в Софье Александровне, — ты понимаешь меня?.. Знаешь, устроим такой оазис, оседлость и начнем строить

инные социальные отношения — на принципе органического соответствия личностей...

— Давай, — соглашался я, лишь бы не потеряться от Софьи Александровны.

Я пошел один домой. Луна, как знак мирового разочарования, студила мое сердце. В белом лунном состоянии, в туманном глубоком серебре покоилось надо мною навсегда замерзшее небо. Мне подумалось, что если там любили, то были нелюбимы. На колокольне католической церкви тонко и не по-русски прозвонил поздний час. В церковном доме одно окно светилось — там пастор, быть может, сидел склоненным над старинной книгой и мечтал о всемирной религии, которая людям даст покой, а беспокойство предоставит богу. Окно светилось, значит, там был бессонный человек — одинокий, как и я.

Дома я зажег свою милую лампу и для собственного забвения сел продолжать свое сочинение о сне и целомудрии, как строителях будущего человека.

Засыпая под кашель проснувшихся за стеной соседей, я подумал про Дванова, которого назвала Софья Александровна, и вспомнил его.

III

Дванов шел открытым полем — без шапки, в расстегнутом пиджаке, поздней осенью. Заунывная природа радовала его больше, чем певучая горящая весна. Эта прохлада воздуха и скудость вялого мира вызывали в Дванове сосредоточенность жизни и работоспособность.

Вчера застрелился от голода и паскудных очередей хороший пятидесятилетний друг Дванова — Борис Викторович Веловский, последователь Л.Н. Толстого и делегат Всемирной Ассоциации Эсперантистов.

Дванов заходил сегодня к Веловскому и узнал, что он застрелился у своей кровати, окруженный полками с книгами, став на колени. Дуло револьвера Веловский вдел в ухо и умер в самый сонный час — в четыре часа утра — в голодном городе, с сердцем, наполненным ядом огорчения. Дванов видел револьвер Веловского — инструмент настолько старый, что им нельзя добить даже умирающего. Кровь из головы Веловского не вышла, пуля, говорят, осталась в мозгу. Но Дванов думал, что Веловский не выстрелил: его сердце замерло от холода револьверного дула или естественно остановилось от очевидной бессмыслицы беспрерывно биться.

«Душа — это пучина, человек сам не знает, какие звери в нем живут и чего они хотят», — думал Дванов на ходу. Веловский в последние дни собирал арбузные корки на улице и ими только питался, но это не

могло его убить. Он видел смысл жизни в общении с людьми, ничего не знал более ценного, чем человек, и радовался каждому посещению Дванова. Дванова Веловский очень любил: за молодость, за общее обоим убеждение, что мир — человеческий и природный — нуждается в душевном смысле и что этот смысл слабо мерцает в сознании человека — и больше нигде. Остальное — кошмар, ветер, нелепый гул тоскующей вселенной.

Сейчас Веловский в могиле, дочери его танцуют на домашних вечеринках, а Дванов думает о его беззащитной могиле, осыпаемой последними листьями и семенами бурьяна.

— Если жизнь такая, то надо жить иначе! — вслух сказал Дванов себе и шумному осеннему пространству.

Дома Дванов застал спящую семью: чтобы не хотеть есть, тогда ложились рано и радовались ночи. Мать сказала Дванову с постели:

— Саша, тебе там записка на подоконнике...

Дванов нашел записку:

«Александр. Второй раз тебя не застаю. Очень нужен. Завтра будь часов в семь на своем домашнем месте. Верни мне “Записки Алябьева”. Геннадий».

Потом Дванов лежал, жег последний керосин под упреки матери и думал о революции. По улице никто не шел, за стеной вздыхала старуха-домохозяйка. Ее положение было совсем скучным: для нее на небе был бог, на облаках ангелы, а люди стояли на плоской земле, плывущей на рыбе по неисповедимому пути. Она, конечно, видела паровозы, аэропланы, слышала о радио, чувствовала революцию — и душа ее смущалась; в темноте ее головы жестоко и медленно поворачивались сомнения, но в старости не бывает утешений против разочарований — мертвеющий мозг и сработанное сердце не могут выдумать новой идеи для покоя жизни. Старуха не могла даже спросить толком, что это такое — новое время, и почему так изменились люди; ведь женщины рожали себе подобных¹ детей, а вышли какие-то непонятные дьяволы, от которых бурлит земля и затихает церковный благовест. Что теперь думают молодые люди, знают ли они кротость, веселые праздники и целомудрие белых невест? Есть ли у нового поколения торжество в душе и надежда на вечное счастье, как бывало в старое время? Или им лучше месить грязь степных дорог, чтобы вести гражданскую войну?

Дванов думал за старушку — и не мог отвлечься. Это было его свойство: идти за одной мыслью, потом встретить другую мысль — пойти за ней, бросив первую, потом подняться над обеими и найти новое воодушевление; от этого Дванов никогда, так сказать, не возвращал-

¹ Слова себе подобных подчеркнуты, сверху поставлен вопр. знак.

ся домой — он не мог на верхних слоях своих размышлений вспомнить, с чего он начал, что подстилает снизу его теперешнюю мысль.

Сознание в Дванове жило не как логика, а как чувство и как зрелище. Если Дванова ничто не перебивало, он мог забыть про все внешнее и свободно плыть в потоке своего сознания — без возвращения, по девственному руслу, которое образовалось на ходу и без выбора места.

От этого Дванов жил малоподвижным человеком: он двигался внутри и там, на коротком замыкании, поглощалась его живая сила. Приводной ремень общественной пользы еще не был надет на Дванова, и он работал без запряжки, на холостом ходу.

Начав с революции, перейдя через старушку, Дванов вообразил Сибирь. Он мечтал отоплить ее климат с юга — через сквозные воздушные каналы в горах, чтобы превратить Сибирь в Советскую Америку. Чтобы окончательно утомить мозг и уснуть, Дванов вообразил себя машинистом лесовозной железной дороги в Сибири, которая возит бревна на постройку новых городов. Дванов мысленно проделывал всю работу машиниста — проезжал глухие перегоны, брал воду на станциях, свистел у закрытых семафоров, открывал регулятор, тормозил, разговаривал с помощником и, наконец, заснул у станции назначения.

Утром пришла с палочкой бабушка Дванова. Она хотела есть и с такой жадностью глядела, как дочь ее — мать Дванова — пекла ржаные лепешки.

Дочь имела своих голодных детей и не хотела давать лепешек своей матери — муки всего было фунта четыре. Но бабушка вытерла нечаянные слезы и получила одну лепешку. Под смакующее жеванье бабушки Дванов ушел из дома к другу Геннадью.

Квартира Геннадия походила на библиотеку. По всем четырем стенам — от пола до потолка — уместились книги. В иных книгах были мысли, а в иных — роскошь и бумага. В комнате пахло тленом, тишиной и скукой одиноких размышлений. Геннадий лежал на большой засаленной кушетке и ел без хлеба голое сало.

Друзья разговорились о Данте. Начал Геннадий.

— Какая тогда была полуденная солнечная эпоха!.. Ведь в первый раз тогда расцвело в человеке глубокое теплое чувство! Это замечательно! Чувство обнажилось настолько глубоко, что на дне его оказались мысль и поэзия!..

Дванов молча листовал книгу Данте и остановился на картине, где был изображен Данте, прижавший руку к сразу заболевшему сердцу, и три подруги, идущие ему навстречу. В двух женщинах была прелесть скрытых под южным платьем тел, а в третьей — Беатриче — было сумрачное обаяние девственной мысли, еще не тронутой язвами сомне-

ний. Тело Беатриче было сухим и строгим — его истощала или душа, или тоска по порочному чувству любви.

Дванов закрыл книгу и сказал:

— Это понятно, тогда была органическая эпоха, а теперь механическая. Теперь невозможна такая любовь.

Геннадий серьезно посмотрел на Дванова.

— А что, по-твоему, органическая эпоха?

Дванов подождал, пока к нему придут и мысли, а затем сообщил:

— Органическая эпоха... Ну, положим, так — события природы и жизни возбуждают в человеке только чувства, а не мысли. А потом, уже внутри, в глубине человека, эти чувства превращаются в сознание. Значит, сознание всегда является следствием чувства, а не следствием какого-нибудь внешнего факта... Поэтому мысль имеет органическое телесное происхождение, а не логическое... Вроде этого...

— Понял, — сказал Геннадий. — Это очень хорошо. Стало быть, по-твоему, мир ощущается сначала кровью, а потом эта кровь питает голову. Здорово, Александр!

— А сейчас, — продолжал Дванов, — кровь редко теплеет от движения жизни, работает одна уединенная голова.

Геннадий уже отвлекся от истории Данте, встал с кушетки и начал одеваться, скрывая от Дванова грязное белье. Умываясь, он заметил Дванову:

— Знаешь, Александр, где-нибудь в Старом Осколе ты бы самым умным человеком был!.. А, знаешь, это здорово — быть официально самым умным человеком и получать за ум двойной паек!

— Такие уже есть, — ответил Дванов. — Академики, вожди, писатели... Теперь бы надо утвердить Общество Хороших Людей, потом Ассоциацию Посредников для связи с трудящимися массами занятых людей и Союз безубыточной ликвидации буржуазии. Хотя и это все есть — только под другими именами...

Геннадий удивленно обернулся от умывальника.

— Слушай, Александр, ты член партии?

— Пока — сочувствующий.

— Что ты сейчас делаешь?

— Учусь в Политехникуме, хочу выучиться чему-нибудь настоящему...

Потом друзья разошлись, сговорившись встретиться вечером. У Дванова лекции в Политехникуме начинались только в час дня, и он ушел за заставу города — в свое любимое голое поле. Геннадий до вечера исчез в городе — делать тысячу дел: читать лекции на курсах профработников, писать методические программы в наробразе, получать пайки, участвовать в съезде клубных работников и многое другое. Дванов чувствовал,

что они с Геннадием прижаты только головами, но никогда по-настоящему не сблизятся. Они — чужие, их связывает одно любопытство друг к другу. Иногда невнятно Дванов чувствовал, что и другое что-то есть в Геннадии. Нечто простое, жадное и солнечное, бессознательно человеческое. Оттого у Геннадия как-то ничего не росло своего, а все было прочитанное из книг. В нем чувствовалась неукротимая сила живых первобытных инстинктов, но эти инстинкты жили безыменными и немыми в глубинах тела. Никогда Геннадий не мог дать им исход через собственные мысли — для объяснения самого себя ему всегда были нужны чужие книги и готовые мысли. Отсюда выросла его библиотека, как средство для толкования самого себя. Дванов, напротив, никогда остро не нуждался в книге — ему была непонятна скопческая любовь к книге у Геннадия. Дванов не знал, что без книги у Геннадия отсутствует сознание и наступает тьма, в которой шевелятся гулкие подводные страсти.

Дванов жил зорким дикарем, видящим ночью, а Геннадий не мог идти без искусственного света цивилизации: ему она подменила собственное творчество мыслей из чувств. Поэтому-то его так прельщала теплота Данте и эпохи Возрождения, превращенная в свет сознания и поэзии.

Дванов снова шел по осенней дороге и думал об этой разделенности людей, сотворенной нелепыми случайностями природы. Быть может, сама природа есть случайность! Тогда тем тверже и мужественней надо жить, чтобы случайность превратить в закон и постоянство, а соломинку спасения — в прочный корабль для исследования всего привидения мира.

Дванов вообразил Средиземное море, дикое солнце в синей высоте и людей на освещенных берегах, в которых распускается большое сердце — такое большое, что его листья вышли через горло в голову и там цветут синим светом мудрости и мучительной поэзии. Дванов слышал когда-то музыку в католическом храме. И ему представилась вся эпоха Возрождения как органнй гул, как песнь отплытия ликующих людей в серебряные лунные пространства мира, зреющего в дали и в одиночестве.

Дванов спускался к протоку. Так же когда-то шел Данте, и в нем тревожно волновалось обреченное сердце. Близко шумело море, спускалась усталая птица ночи, Данте шел в горах и ждал, когда с конца света начнется поход солнца над круглым лабиринтом ада. Он ждал Беатриче на каменном мосту, выстроенном по чертежу да Винчи, чтобы освежить свое сердце от адового чада. Беатриче не выходила — или ее заласкал муж, или она мертва. У ней есть муж, у Данте — жена: эти спутники назначены обрезать крылья, чтоб человек не обратился в летящий дух и в ничто, а рос прочно в почве. От этого Данте летел лишь во сне и в поэтической фантазии, а большее запретила жена. И Беатриче он ждал тайно и пугливо, чтобы не

застала¹ жена. Беатриче он любил как крест на своей могиле², где рано улеглись его великие надежды³. Он действительно — вещественно, зрительно и чувственно — хотел достичь солнца и пройти по недрам ада, но ощущал их только в ритме своего стиха, который был сожалением и признанием своего бессилия. Данте знал, что поет, танцует и играет всегда тот, кто не смог заставить действительный мир быть легким, как песня, ритмичным, как танец, и веселым, как игра. Данте знал, о чем тосковала Беатриче — не о любви: что любовь? — есть чувства бóльшие, чем любовь, которые ждут еще своего создателя, но они уже волнуют беззащитную скромную Беатриче. Беатриче томилась о том, чтобы люди стали как льющиеся алмазы Средиземного моря; чтобы темное томительное чувство, зажатое в теснинах сердца и там задыхающееся, вышло сквозь поры тела наружу, исцелило бы людей и сделало их достойными звезд.

Данте глядел на звезды и знал, что Беатриче желала их смешать в сплошной огонь из сосредоточенных точек. Беатриче засматривала в лица мужчин — и те улыбались своему достоинству. Но они не знали, чего ищет в них эта женщина. А Беатриче искала человека, кто мог сделать то, в чем нуждалась ее душа — нуждалась сильнее, чем в пище и в удовлетворении страсти размножения. Один Данте знал про скорбь Беатриче и ночью чертил на своей груди царапины ногтем — в знак своего убожества и злого бессилия. Он пишет стихи, а Беатриче ищет нового бога для лучшего сотворения мира, — или мужчину, одаренного, как бог. Но Данте не может подарить Беатриче лучший земной мир, и стыд его жжет, как кожная проказа. От каждого видения Беатриче — Данте болел все глубже, сосредоточенней и безнадежней, но его тянуло беспрерывно видеть ее, чтобы через ее зрение самому увидеть будущий мир. Конечно, ни Данте, ни Беатриче не знали, что они живут в редкий век искреннего творчества людей. Данте знал, что он бесплоден для преобразования вещества мира и души человека, а Беатриче, случайно рожденная совершенной, страдала, как первый человек в раю.

Дванов везде, в людях и природе, видел свою душу и верил в такую истину. Может, в этом была виновата молодость, всасывающая в себя все явления, чтобы превратить их в свой рост. Дванов втайне завидовал большим деревьям, воздушному пространству и терпению дальних дорог — он хотел бы все это забрать и вместить в себе, чтобы размножить свою жизнь и увидеть свет со всех концов. Дванов любил ходить — чем больше пути оставалось за ним, тем прозрачней очищалось в нем чувство жизни, и он ближе подходил к покойному счастью.

¹ Слова не застала *подчеркнуты*.

² Слова как крест на своей могиле *подчеркнуты*.

³ Слово надежды *подчеркнуто*.

Ветер принес звуки парового молота, отсекающего пар в трубу. За две версты гудела земля от его ударов по горячему металлу. За бетонной стеной был виден большой паровозостроительный завод, там работал отец Дванова. Дванов прислушался. В нем слабо прошла мысль теплой волной, но он не мог ее задержать: усилие памяти взять ее было тяжелее ее легкого тела, и она исчезла от поворота сознания, как птица с тронувшегося колеса.

В Политехникуме, слушая курс доменных печей, Дванов потерял слова лектора и нашел утраченную мысль: бил молот, сопел мятый пар — не эта ли терпеливая тоска из мокрой глины одинокого земного шара, из бесприютного смущенного человека кует и точит мир Беатриче? Быть может, человек умножает свою слабость на надежду, время и терпение — и так получает мощность, достаточную для перемещения звезд.

Инженер-преподаватель улыбнулся и неожиданно спросил:

— Теперь скажите сами, где проходит воздух в домну?

Дванов поглядел на чертеж на доске. Все студенты молчали. Дванов робко сказал:

— В подшипнике?

Преподаватель обернулся:

— Верно, Дванов. Из чего вы это заключили?

— А больше нигде... — неопределенно пояснил Дванов.

Преподаватель помолчал и потом серьезно обратился к слушателям:

— Никогда не надо догадываться — вы можете иногда сказать правильно, иногда нет, но никогда не объясните причину именно такой, а не другой конструкции. Надо до всякого объяснения доходить логическим непреложным путем, а не бросать счастливые догадки...

Дванов жалел, что догадался о домне, и думал, что Беатриче соответствовал Леонардо да Винчи, а не Данте. Будущий мир, как бы нежен он ни был, можно сделать кувалдой, а не песней.

После лекций Дванов не пошел домой — он хотел сэкономить лепешки для остальной семьи — и отправился прямо к Геннадию. Тот отобрал книг с собой, попел что-то про себя, и они двинулись: для Дванова — неизвестно куда. Когда они проходили мимо католического храма, Геннадий показал на него:

— Правда, хорошее здание?

— Хорошее, — ответил Дванов. — А что?

— Ничего, — разъяснил Геннадий. — Несколько дней назад его видел Грагов, оно ему тоже понравилось.

— Ну и что?

— А так, ничего, — вторично объяснил Геннадий.

Скоро они пересекли главный городской проспект, куда уже начинали сходиться молодые люди, и пошли по улице, спускающейся вплоть

до речной воды. Геннадий попевал про себя веселые песни, чем он всегда смирял свое душевное смятение. Дванов знал, что будет чепуха какая-нибудь, но желал сегодня рассеяться в легком разговоре.

Потом они вошли во двор, где гудели во флигеле камни электрической мельницы. Механик загадочно выглянул на приятелей и скрылся.

Геннадий постучал в дверь и небрежно отвернулся в ожидании. Дверь открыл Гратов. Геннадий ему удивился с нехорошим лицом:

— А, ты уже тут? А Софья Александровна дома?

— Да, дома, — с покорным огорчением сообщил Гратов.

— Вот вам — товарищ Дванов, — представил Геннадий своего друга Софье Александровне и сейчас же заговорил с ней о книгах, которые принес с собой.

Дванову Софья Александровна показалась скуластой и некрасивой, потом впечатление изменилось. Он молча сел в угол, рядом с грустным Гратовым.

Соблюдая такт, Софья Александровна обратилась к Дванову с незначительными вопросами. Дванов отвечал и думал: где ее отец и мать, почему пустая квартира и кто она такая? В кухне он заметил полный семейный обиход, но здесь жила одна девушка. Дванов увидел в глазах Софьи Александровны какую-то пугливую бесприютность и подумал, что она сирота и плачет ночью по умершим родителям. Но сейчас же с резкостью и живостью своего воображения он представил себе другое: а может быть, она созрела и сама хочет стать родительницей, и ее бесприютность — тоска по мужу.

На улице застучал ночной сторож-колотушечник, оберегая дома.

— У нас с шести часов вечера введен институт колотушечников, — разъяснил Геннадий.

— Они полезные люди, — сказал бледный Гратов и еле улыбнулся.

Все посмотрели на него, и стало неловко.

Геннадий старался развлекать четверых людей, но самому ему было тоскливо, а Гратову грустно. Дванова тоже что-то тяготило, и он весь свернулся внутри.

Софья Александровна молча наблюдала трех своих знакомых, и что в ней было — никому из трех не было известно. Быть может, насмешка или удовольствие победы, быть может, желание соединить всех трех в одного мужа и обнять.

Электричество начало тощать и совсем потухло. Геннадий, начавший говорить при свете, не мог остановиться и в темноте.

Дванов почуял себя невидимым, скорчил лицо от полной свободы и неслышно засмеялся.

Геннадий в абсолютном мраке продолжал доказывать свой ум Софье Александровне.

— Культура не всегда является дорогой прогресса. Иногда она является идолопоклонничеством и ведет в тупик. А что такое вся историческая культура, известная нам? Сплошное идолопоклонничество! Были страшные духи, олицетворявшие природу, потом стал единый бог — командир над миром, теперь снова природа, только без духов и единая! Но это все равно: духи дикаря превратились в научные законы цивилизованного человека...

Гратов мучился в темноте, весь занявшись любовью к Софье Александровне, и нечаянно про себя простонал.

— Значит, мы на одном месте топчемся? — неожиданно и излишне громко спросил Гратов, чтобы стереть свой стон, и начал двигать какой-то вещичкой по столу. Дванов открыл рот, как будто хотел хохотать: он понял прием Гратова — когда у него на людях бурчало в животе, он тоже гремел чем попало и говорил вне очереди.

Софья Владимировна пропала во мраке, даже не слышно было ее дыхания и шелеста платья. Гратову показалось, что ее обнимает замолкший Геннадий; он поднялся на ноги и пошел в кухню за спичками, но по дороге исхудавшими трепещущими руками прощупывал темноту вокруг воображаемой Софьи Александровны. Гратов поймал плечо Геннадия.

— Ты что? — спросил тот.

— Спички ищу!

— Они в кухне на самоварной отдушине лежат, — ясным голосом сказала Софья Александровна.

Гратов успокоился и нашел свои спички. Никогда не любивший, Дванов удивлялся такому душному отчаянию в отношениях этих двух мужчин и одной женщины. Дванов решил открыть форточку в этой несчастной комнате — все равно он больше здесь не появится — и громко сказал:

— Кто не обладает любимой вещью, тот еще больше ее ревнует...

Все сразу поняли, про кого сказал Дванов, но Гратов не защитился, чтобы обнаружить себя, а Софья Александровна рассеяла фразу Дванова в воздухе:

— Ну, я думаю! — весело сказала она. — Как свет зажжется, мы будем чай пить!

— Нет, спасибо, мы скоро пойдем, — ответил Геннадий.

— Надо домой уходить, — поблагодарил Гратов.

— Пора трогаться, — сказал Дванов¹.

В это время распустился электрический свет и каждый поспешил выправить лицо в спокойное выражение. Дванов поднялся и стал про-

¹ На правом поле в конце предложения знак вставки с записью: вставить эпизод. Вставка не была сделана.

щаться. Гратову и Геннадию неудобно было оставаться, хотя каждый из них хотел остаться у Софьи Александровны на всю жизнь. Они тоже встали и уставились глазами на хозяйку: в последнюю минуту они хотели насмотреться — это было сильнее их вежливости.

— Ну? — сказала смутившаяся Софья Александровна. — До свидания!

— Ну, что ж, до свидания, — скучно сказал увядший Геннадий, а сам топтался.

— До свидания, Софья Александровна! — грустно пробормотал Гратов и слабо пожал ей руку.

— О и дураки! — возмущался Дванов, один на дворе. — Законопатили их баба своей конопаткой. Закрывать снаружи дверь — пусть, черти, всю ночь волнуются...

Глубокой ночью три друга шли в городскую гору. Люди спали, работали одни колотушечники.

— Целый институт... — вспомнил про них Дванов и легкомысленно обратился к друзьям:

— Влюблены вы в нее, товарищи, до испарения крови. Только ни черта у вас не выходит...

— Ну это уж ты слишком! — отвлеченно возмущился Геннадий.

Искренний Гратов промолчал — он думал о длинной ночи и близком одиночестве. С Гратовым¹ и Двановым ему было легче, и он согласен кружиться с ними по улицам до рассвета, лишь бы не прощаться и не идти домой.

Геннадий и Гратов молчали от присутствия Дванова. Дванов жалел о пропащем вечере: лучше бы он книгу читал или доработал свое мировоззрение. Гратов, как самый молодой и наивный человек, переживал свою любовь очень больно и не мог скрыть душевного стеснения. Он вздыхал и забыл о своих обычных занятиях — от неуверенности в будущей личной судьбе. Неизвестно, что он делал днем и вообще — на что он дальше рассчитывал. Геннадий жил легче Гратова: его могли отвлечь от думы о Софье Александровне даже пирожные. Он любил ее своими лишними силами, а не основным и неприкосновенным фондом души.

Дванов кое-что разгадывал в своих друзьях и блаженно радовался, что он волен, что его интересуется вся жизнь, а не одна нелепая точка ее и что он одинок и открыт для всех интересных вещей.

— Хорошо быть пустым, Геннадий! — сказал Дванов. — Всякое событие тогда в тебе найдет место, и ты его поймешь и полюбишь. Надо жить так, чтобы никакая одна вещь тобою не владела, тогда в тебе поместится по очереди множество вещей!..

¹ *Правильно:* С Геннадием.

— Это будет легкомыслие, — ответил Гратов. — По-моему, наоборот — лучше одну вещь без конца полюбить, чем много. Это честней и для человека понятней...

Геннадий скомбинировал истину и объявил ее:

— Ни то ни другое. Одна вещь должна быть главной, а другие пусть окружают ее как второстепенный мир. А нужно иметь и то и другое.

Гратов, как человек, абсолютно любивший одну вещь, с ним заспорил. Геннадий не настаивал, потому что вспоминал — есть у него сало на ужин или он его утром съел.

Дванов начал с другого конца:

— Любовь это всемирное бедствие. Хуже нищеты. Ей-богу, правда. В то время, когда есть нечего, революции и простые дома нужны — люди почему-то влюбляются и отвлекаются от прямого дела...

Геннадий не понял:

— А что же нужно?

Дванова подожгли любимые мысли:

— Нужно делать простые штуки: революцию, еду, машины, свежие человеческие отношения и вообще поставить человека на одну свою голову, чтобы он знал, что дело его безнадежно, и пусть целиком самостоятельно выкручивается. А то — ничего нет, одна глина под ногами, а тут и любовь, и мечты, и великие идеи! Это же выматывает последние силы у человека — он слабнет, и его жрет враждебная природа. Пускай эти идеи останутся будущим сытым поколениям, а они их уничтожат...

— Это, Александр, чушь, — возразил Геннадий. — Между любовью и хорошими делами есть полезное противоречие — и хорошие дела исполняются оттого, что в человеке есть половое раздражение...

— Ерунда, Геннадий! — не уставал Дванов. — Я не понимаю, почему обязательно рассеивать человеческую силу на два станка, когда полезен только один? Прочли в книжках про диалектику и суют ее повсюду! Она, конечно, есть, но лучше б ее не было. Не беспокойся, я тоже ей учился!

Мимо трех людей проходили улицы, редкие пешеходы, светились домашние окна, и упорно существовал тот мир, о котором спорили друзья. Дванов давно обнаружил, что мир действительно упорно существует — один против всех бедствий, — значит, у него есть крепкий смысл. В запавших воротах иногда встречались обнимавшиеся пары. Дванов разглядывал неясные страстные фигуры и сердился на них, как на предателей большого дела, — такого большого, что оно ему самому не было вполне понятно. На вокзале посвистывали паровозы — их труду Дванов сочувствовал.

Дошли до дома Геннадия. Настало расставание. Но Гратов задержал всех. Он сказал, что хорошо бы найти далекое пустое место и там

устроить опытное коммунистическое общество. Здесь Дванов нечаянно обидел Гратова:

— А ты бы сделал там Софью Александровну фактической царицей — и все бы пропало...

— А ближняя ячейка там бы совет учредила! — весело издевался Геннадий: он вспомнил, что сала нет, но есть сухая рыба.

Пути друзей разошлись на эту ночь. Гратов старался захотеть спать, чтобы быстро исчезла ночь, но никак не мог, и около дома заплакал. Он чувствовал, что погибает, и знал, что его не пощадят. Дванов лучше его, а Геннадий умнее; у него же остается одна скромность и любовь, невнятная для любимой. Эта любовь взяла у него все одушевление, всякое сопротивление, он растворился в ней и стал ничем — маленькой ночной слезой. А был он человеком, воином, сознанием — и Гратова взяло темное сожаление к самому себе. Это сожаление выросло в отчаяние и бесконечную одинокую заброшенность, потому что никто не в силах разделить с ним его унижения. Гратов стоял у калитки и гладил доски, чтобы прекратить слезы. У него есть мать, — единственный человек, который создал Гратова. Но меньше всех людей мать сможет сейчас облегчить мучения своего сына. Напротив, она увеличит его страдания, потому что обязательно возненавидит любимую своего сына и опорочит ее. Мать ведь ревнует своего сына, как будто сама хочет впоследствии стать его невестой. Эта мысль оскорбила Гратова, он покраснел от болезненного стыда — такого, когда кости чувствуются ломкими и боишься шевельнуться от собственной хрупкости.

Тяжелый предмет ударил Гратова по руке. Гратов, не обернувшись, закричал от мгновенного ужаса — и в первый раз в нем исчезло сознание любви, струившееся даже во сне¹. Гратов испугался не страшного человека, а моментального разрыва своего напряжения. Он ощутил, как сердце сразу вылило в тело свою горячую кровь. После ужаса, Гратов окоченел и не мог повернуть шеи и оторвать от калитки рук.

— Я знал, что тебе трудно, — сказал Дванов. — Ты лучше Геннадия, и я вернулся.

Гратов замер и начал опробовать пуговицы на пиджаке. Он пошевелил щеками: слезы высохли на горячем лице, сердце бесновалось внутри, ища свой потерянный такт, но сердца Дванов не видит. Гратов два раза кашлянул и спокойно сказал:

— Понимаешь, целых полчаса стучу, никак не достучусь — как вымерли все.

Дванов отодвинулся от него.

¹ Слова сознание любви, струившееся даже во сне *подчеркнуты*. Помета на левом поле: Здесь, спорно.

— А ты в окно постучи!

— В окно нельзя, там дети спят — испугаются.

— Ну, стучи еще, — сказал Дванов и без прощания ушел.

Гратов подождал, пока он уйдет подальше, и тихо стукнул в окно.

Вышла мать:

— Поздно ты приходишь — холодно с постели отворять.

— Ничего, — ответил сын. — Ты как-нибудь...

В эту ночь Гратов сразу уснул и спал без всякого сознания до позднего следующего дня. Геннадий тоже спал глубоко и долго, как будто он действительно был блаженным подобием божьим. Зато Дванов не мог уснуть до зари — отчасти из экономии времени, отчасти от размышлений, которых он не хотел преждевременно останавливать. В нынешнюю ночь его мучила загадка — может ли будущее коммунистическое общество взять у человека самую последнюю и самую драгоценную его неприкосновенность, или нет. Успокоился он на том, что, если нельзя этого сделать, то придется физически переделать природу человека — вот и все. Строятся же мосты через дикие реки — так же можно соединить людей: высокими мостами дружбы над диким чувством самоубийственного одиночества. Осушаются же болота через спуск воды в поглощающие колодцы! Так же следует спустить темную страстную душу в подводные недра прошлого.

— Все-таки Гратов — прелестный парень! — подумал Дванов. — Он и в любви действует как классовый человек: я для него вроде буржуя — он не выдает своих и отвергает сочувствие. А Геннадию бы он, наверно, открылся: тот для него пролетарий — один у них угнетатель.

Дальше Дванов окончательно лег спать.

Омытый тьмою, за окном вставал новый мир, более нежный, чем вчера. Ночь собрала нечистоты и унесла их на запад — там утром темнел ее мрачный и тихий закат. Дванов постепенно ослабевал и ощущал смутное чувство тесной теплоты сна. Сквозь отцветающее сознание, он уходил куда-то быстро и далеко — как будто возвращался в давно покинутый дом на потерянной родине. Дом ждал его пришествия, и двери его всегда были открыты. Дванов отпускал на волю сердце, память и сознание и входил в дом начальным ребенком, в котором есть лишь гнездо для жизни, но жизнь отпущена на пастбище.

Просыпался Дванов, как выкупанный матерью. Сначала он ничего не мог вспомнить и освещенный день возбуждал в нем удивление, как первый по счету в его жизни. Над подоконником качались шапки проходящих людей, гулко катились колеса повозок и бодро пела усердная муха. Память просыпалась позднее чувств Дванова и ничему еще не нарекла привычных названий, поэтому мир несколько секунд существовал неожиданным чудом. Потом вставала память и связывала жизнь

в непрерывное длинное событие. Дванов восстанавливал имена знаменитых электротехников, вспоминал формулу Ома, Политехникум, советскую власть, Гратова — и мир плотно населялся. Голова понемногу разогревалась кровью и начинала душу заботами. Всему следовало продолжение.

Но сегодня Дванов хотел конца сочинению жизни. Он заскучал с утра. «Что это такое? — думал Дванов. — Может, у меня пищеварение расстроилось!»

Он оделся и умылся, как зачумленный. Обувь, одежда и вода прошли перед ним, как заслоненные, — он их всех оставил без внимания. А раньше он думал о воде при умыванье — откуда ты взялась: не то от взрывчатого соединения кислорода с водородом, не то где-то в недрах постепенно скисла?

— Давно ли ты была бурьяном и лебедой? — обращался он к обуви и потирал ее щеткой. А на рубашку глядел с уважением: в ее изделии принимал участие не только текстильщик, но и профсоюз, и ячейка, и даже Коминтерн, хотя и косвенным образом.

Сегодня Дванов прошел мимо всех дружественных вещей и не одушевил их. Вещи простили и продолжали служить. Мать что-то ему говорила, но Дванова заранее брало зло на нее. За стеной старики соседи служили панихиду или молебен. Дванову показалось, что запахло ладаном, и у него пропала охота есть. Воздух на дворе был желтым, густым и тягостным. Ветер рвал петушиные крики и старался перемешать все вещи в общую нелепость. А за стеной читал пожилой человек печальным голосом:

«Кто воспрянет из мрака сего? Кто созиждет душу свою, как чистую смоковницу на злых нечистотах? Никто, Господи, но токмо воля Твоя!» Дванова эти слова заинтересовали. Он стал слушать — его влекла печаль странных слов, а не смысл их. В смысле он не нуждался. Душа его жадно ловила всякое дальнейшее подобие поднявшейся в ней скорби, потому что скорбь отталкивается от одиночества. После панихиды люди за стеной шумно заговорили — они были совсем другими, чем их молитвы.

Дванов вышел на двор. Ветер на высоте работал так, что от него разбегались облака и рвались тучи. Иногда выходило голубое безотрадное небо. Дванов почувствовал себя опущенным в прохладную пустоту. Мир как будто удалялся, гонимый тоскливым ветром, и Дванов глядел на него без интереса и сожаления. В снях гремела ведрами мать, но и она перестала быть родным человеком. Умри она сейчас, сын ее едва ли бы заплакал — только испугался бы неизменных забот с похоронами. Маленькие братья лезли к Дванову, но он их гнал с ожесточением.

В полдень Дванов лег на постель, чтобы справиться с подлезавшей к горлу тошнотой.

— Что с тобою делается — болен ты, что ль? — раздраженно спросила мать.

Дванов поглядел на нее с омерзением:

— А тебе какое дело? Оставь меня в покое.

Маленькие братья ходили затихшие и шептали:

— Саша болен. Не шуми.

Дванов услышал эти слова. Они его так тронули, что он не мог удержать слез из закрытых глаз.

— Что я за сволочь такая — они же меня любят, а я их оскорбляю! — шептал Дванов, но сердце в нем своевольно разошлось до рыданий. Будто другое существо билось в нем, отравленное смертельной печалью и совершенно чуждое ему. Дванов сжался, накрылся одеялом, но чужое существо внутри его не согрелось¹.

— Да что я, на самом деле? — с обозлением обратился Дванов к самому себе, и сразу встал. Он встал, помялся телом и остановился сознанием на тикающих часах: работают, дьяволы, вечность меряют! Не так ли и я ношусь со своею жизнью — думаю, океаном не напыюсь, а мне, может, капля нужна!

Все время Дванову было бессознательно стыдно. Он иногда густо краснел и прятал лицо от домашних. Его тяготило темное чувство позора, будто он на глазах матери лежал с голой девушкой и сам был голый. Чтобы кончить с этим, он ушел из дома в Политехникум. Там шла уже вторая лекция — канализация электрического тока. Дванов заслушался преподавателя, заинтересовался предметом и вообразил, что все конечно — он здоров и независим. Но еще не кончилась лекция, а Дванов уже сомневался в пользе электрического тока: ведь что двигает технику? — То, что машинное масло дешевет, а пот человеческий дорожает. Дванов вновь понял свое равнодушие к этим вещам. Он глядел на формулы на доске и удивлялся, как могут люди интересоваться такими фокусами. Сама природа тоже фокус, и разгадка ее не принесет никакого утешения человеческому сердцу. Покройте землю проводами, потом порвите их и передавайте энергию без проводов — будет одинаково скучно. Голубой воздух станет желтым, и человек отвернется от плодов собственного усердия.

В Дванове дрогнули какие-то недра: вышло новое чувство, чужое и одинокое для всех остальных. Не дрогнут ли недра его еще раз — и что тогда будет со всеми его впечатлениями, со всею его привязанностью к обыкновенной жизни?

¹ На правом поле предваряющая запись: (сознание / борется). Запись зачеркнута.

Дома Дванов застал Геннадия и обрадовался ему, как новому родственнику. Старая семья уже не вызывала в Дванове сочувствия с сегодняшнего утра.

Геннадий волновался и не мог начать разговора. Он напевал свои песенки и глядел на Дванова изучающими глазами. Дванов сидел перед ним простодушным измученным человеком, и не имел ничего сказать. Когда Дванов поднял глаза на Геннадия, тот отвернулся и начал рассказывать анекдот:

— Сегодня я видел, как началась первая советская забастовка... Приехали делегаты на конференцию по дошкольному образованию. Им, понимаешь, обещали по полтора фунта хлеба, а дали по полфунта — они взяли и разъехались, остался один президиум...

Дванов не смеялся, и Геннадий смолк, сразу потеряв свое воодушевление.

— Слушай, Александр, с тобой можно говорить? — неопределенно спросил Геннадий.

— Можно, — просто заявил Дванов.

Геннадий сделал серьезное лицо, — больше, чем этой серьезности в нем было, и оно получилось смешным.

— Можешь ли ты навсегда забыть Софью Александровну, и больше не ходить к ней?

Дванов поднялся — он еще не был тогда вежливым человеком.

— Что за игра, Геннадий? Ты зачем ко мне пришел? Ты знаешь меня — я не любил женщин: что мне твоя Софья Александровна, я раз ее только видел! Иди и возись с ней...

Геннадий смутился и молчал.

— Ты не волнуйся, Александр! — примирительно начал Геннадий. — Видишь ли, я был там днем. Она снова просила привести тебя — она тебя знает довольно давно...

Дванов поразился: где она его узнала — он видел ее вчера в первый раз, и никогда ничего похожего на нее не встречал. Чтобы отрубить за собой все пути в домик на приречной улице, Дванов, не считая своих сил, сказал:

— Женись на ней, Геннадий. Только брось интеллигентскую привычку — напирай зверски и напрямик. А то она тебя выгонит. Любовь — не политика — в ней все проигрывают...

— Да, я так и поступлю, — облегченно ответил Геннадий. — Ну, прощай!

— Прощай! — сказал Дванов, и хотел вернуть друга. Он действительно не считал своих сил: он всегда назначал свою ставку, не открывая карт. Он верил, что так проиграть нельзя — известное всегда меньше неизвестного. До сих пор он как будто выигрывал, сейчас — наверное,

проиграл. Геннадий хотел выиграть без козырей: едва ли его глубоко любила Софья Александровна — Геннадий слишком пронизителен, чтобы после долгого знакомства с ней приходиться к Дванову с такой скромной просьбой. Значит, — ясно догадался Дванов, — Геннадий знал, у кого может быть козырной туз. Он был у него, у Дванова, и Дванов порвал его из молодой независимой гордости, — или из тайной самолюбивой уверенности, что выиграть можно и без туза.

«Какая чепуха! — улыбался Дванов. — Это прессованная глупость: я видел ее раз, она меня, может, два раза — какая тут любовь! Просто Геннадий ошалел и запутался — он сам будет потом смеяться. Чудак!»

Вечер начал надоедливо тлеть наружи. Дванов лежал на койке без всякого смысла в голове. Раньше неумолимое воображение не слушалось усилий остановить его — оно плыло своею силой теплым потоком и всегда в новых неожиданных берегах. Оно везло жизнь Дванова, и он не знал, где будет остановка. Он как будто скакал на диком коне по свежим разноцветным странам — и не мог смирить своего коня. Всадник был только сидельцем на неугомонном животном, с переполненными силами, изживающим их в движении. Теперь конь пал, страны фантазии пропали за далью непомерных пространств, у бессильного всадника потухло зрение.

Дванов чувствовал свой мозг выеденным усталостью, будто он только что составил рабочие чертежи нового сотворения мира. Дванов остановился, — он видел это, — вот почему жизнь увядает на его глазах, воздух пожелтел и в горле тошнота.

Утренняя муха трепетала под потолком. Дванов завидовал, что она скоро умрет. И не захотел, чтобы она умерла. Он взял веник и ударил по мухе — она свалилась полумертвой. Дванов набрал ей крошек, посадил в спичечную коробочку, а коробочку положил для тепла на печку. Завтра он решил посмотреть на муху — если она не умрет, он тоже будет жить. Дванов был убежден, что муха мучается больше его, а все-таки терпит: он тоже решил терпеть. И он лег снова на койку, чтобы кротко переживать свое терпение. Думать он не мог себя заставить — его больше не интересовал ни смысл жизни, ни революция, ни электротехника.

Шло истязующее время. Где-то близко медленно жевал сам себя мир; он погибал в своем чреве и снова возрождался живым из своего заднего прохода. Разумным было его убить. Но как? Он сам себя убивает, но невольно снова происходит и повторяется. Тогда пусть остановится — будет то же самое!

Дванов дремал, но слышал, как тихо скребется кровь в его теле. Дванов встал:

— Быть может, я разлагаюсь и перепахиваюсь, как паровое поле, чтобы снова и лучше жить...

Дальше ему ничего не хотелось. Он забыл про себя и освободил время от следования за ним.

Проснулся Дванов, наверное, после полуночи. Отец кашлял и закуривал в другой комнате. Спички загорались, и отец говорил: ишь ты, стерва! Мать шептала не жечь спичек — негде их брать. А отец отвечал: я одну — больше не буду. Отец Дванова — старый слесарь, он проходил жизнь, оскорблявшую его нуждой и мучительным трудом, с такой покорностью, что сыну казалось — такое великодушие никогда не начнет революции. Для революции нужна слабость человеческая, боязнь бедствия, — как и для всех других дел.

Дванову полегчало, он даже посоветовал отцу завести кремень и огниво.

— Кремня у нас, Саш, в мастерских нет, — ласково отвечал отец. — Завтра надо к Гараске в главный магазин сходить.

Дванов зажег лампу и сел к столу. Он теперь знал, что ему надо, и повеселел. Он нагнулся, мысль легко пришла ему в голову, и начал писать. Когда писал, он не волновался, только спешил кончить, чтобы успокоиться.

«Софья Александровна! Я не смог бы высказать вам всего, что хочу, я не умею говорить, и мне трудно рассказать о самом глубоком и сокровенном, что во мне есть. Поэтому я прошу прощения, что пишу, а не говорю (писать как-то несоответственно).

Простите меня за все и послушайте меня. Софья Александровна, я вас смертельно люблю. Во мне не любовь, а больше любви чувство к вам. Целый день мое сердце в смертельной судороге. Я чувствую, как оно вспухает во мне и давит душу. Я живу в каком-то склепе, и моя жизнь почти равна смерти. Я весь болею и хожу почти без сознания. Мне хочется вам сказать, что ведь я не такой, какого вы немного знаете, я совсем иной.

Лунное тихое пламя выжигает из меня жизнь. У меня никого нет, некуда пойти, и никто не поймет меня. Моя родина луна. Я теперь не могу равнодушно смотреть, как стоит дерево, как движется ветер. А через вас я мог бы больше полюбить мир, и новые звезды наводнили бы небо над нами. И почему-то мне не хочется с вами говорить и видиться — только безмолвие или простые детские слова должны быть между нами.

Софья Александровна, которую я одиннадцати лет видел во сне, вы та самая победительница вселенной силою одного обаяния. Я знал вас всегда. Вы думаете, что во мне много жестокости, а во мне много боли. Я и раньше все сильнее и страшнее чувствовал нестерпимую и скромную красоту мира. Вы же конец всего. Вы моя смерть и мое вечное воскресение. Может, я говорю пошло и глупо, но во мне поет музыка, и мне больно и хорошо.

Я ничего от вас не прошу, я вам все отдаю. Никогда я не притронусь к вам, если вы сами не захотите. Я грубый дикарь, это мне говорили и товарищи мои. Но я вырос в грязи и работе, узнал все, что знают люди — мне ничто не чуждо, что имеет человеческая мысль.

Это пишу без Геннадия. Он относится к вам по-иному, гораздо легче, и преодолет вас. Это он сам говорит. Во мне же сердце ходит все туже и туже. Когда-то в детстве я лежал в поле на бугре и плакал от обожания природы. Я тогда начал читать книги, но мое понимание их было свое. И я вырыл пещерку в овраге, чтобы думать, как Будда. Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу. Было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая. Вы сестра моя, но безмерно дороже ее. Все силы затихли во мне, и я не могу передать словом, что дышит и волнуется сейчас во мне. Раньше я мог бы сделать это.

Я не знаю ваши отношения к Геннадию. Вы давно знакомы. И во мне есть тревога, что я мешаю вам, врезался клином и, может, накалил атмосферу, мешаю искренности и простоте. Скажите мне про это. Я бы сразу разрубил этот узел, но боюсь сделать больно вам и Геннадию.

Не жалости и не снисхождения я хочу, а вас и ваше свободное чувство.

Переполняется во мне душа, и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Софья Александровна, поймите мою смертную тоску и невероятную любовь. Только теперь я родился. Не смейтесь над словами — их слабость объясняется силой моей любви.

Есть мир, который создал когда-то я в своих живых мыслях. Людям будет хорошо там жить, но я ушел бы и оттуда. Я много думаю, но для вас надо изменить мир. Простите меня, Софья Александровна, и ответьте мне сегодня, или сейчас. Я не могу ждать и жить: я задыхаюсь, и во мне лопается сердце. Я вас смертельно люблю. Примите меня, или отвергните, как скажет вам ваша свободная душа. Я вас смертельно люблю.

Я не убью себя, а умру без вас, у меня все растет и растет сердце и навсегда закатывается сознание.

Александр Дванов».

Шел 1920 год. Дванову недавно исполнилось двадцать лет: он был ровесник двадцатому веку. Дванов перечитал письмо — слова ему показались длинными и глупыми, но они написаны в самозабвении — и пусть такими остаются. Завтра — ответ, и конец.

Председатель губисполкома Шумилин усердно чертил ветрянную мельницу, приспособленную для пахоты. Жена спала больная, укрытая всею одеждою, какая была в доме. У нее, кажется, начинался тиф. Двое детей спали около нее с обеих сторон — они грелись от горячего тела тифозной матери.

Подошли 11 часов ночи — и электрическая станция потушила город. Шумилин хотел обязательно кончить чертеж сегодня, иначе долго не будет свободного вечера. Лампы в доме не было, но был примус. Шумилин разжег примус и стал пользоваться им для освещения стола. Некоторое время Шумилин любовался схемой своего изобретения.

На небольшой платформе, поставленной на колеса, сооружается низкая деревянная башенка. На башенке многокрылая мельница. Через вертикальный вал мельница вращает барабан, который стоит внизу на платформе. На барабан наматывается канат и тянет плуг. Получается пахта силой ветра.

Примус начал пыхтеть, пробурчал и потух. Шумилин схватил карандаш и выругался:

— Вот — негодяй: у тебя керосин на все <2 сл. утрач.> у нас на донышке, за что ни возьми<сь>.

Шумилин <2–3 сл. утрач.> и вообразил всю скудную жизнь <2–3 сл. утрач.> на территории его губернии. Уцелевшие лошади тоскуют от бескормицы и дрожат на худых ногах в холодных сараях. Больные тошнелые люди стараются исчезнуть под кучами разлезающегося тряпья, чтобы согреться и уснуть. Днем люди тоже старались не шевелиться, не говорить, почти не жить — за эти годы они научились считать, что в желудке от помысла и движения сгорает пища, а каждый шаг равен картошке, либо ложке пшена.

В таком горе и болезнях рождалась революция. И Шумилин не был уверен, будет ли жить революция или умрет от худобы. Шумилину казалось, что они живут на тающем острове, но кругом острова тоже ничего не было — одна глубокая голая вода. А на берегу прошлого жило отчаяние царской войны, безнадежная бедность и скучная работа.

Шумилин сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имеющей необходимых вещей, и смиренно заснул.

Утром Шумилин достал керосин у жены предгубчека и стал жарить семье картофель. Пока горел примус, он занялся упорядочением своего кожаного мешка, куда валил на службе все бумаги — и секретные, и просто подтверждения.

Когда Шумилин уходил в губисполком, жена его жалобно просила: — Гриша, приходи сегодня пораньше. Никогда ты со мной не бываешь. Если дают паек, пришли его со сторожем — у нас нету ничего.

Шумилин что-то пробормотал стесняющимся голосом и исчез. Пайка не давали: придется опять записку писать губпродкомиссару Подобашеву. А это так неловко и так скверно: у кого просишь, тем уже нельзя командовать. Подобашев знает свою силу, поэтому <на заседаниях президиума слушает замечания о неудовлетворительном ведении работы с терпеливой улыбкой. Он знает, что весь президиум по запискам кормится и не боится беды для себя>.

— Провокатор! — думал Шумилин про Подобашева. — Сам берет на всю родню, только без записок.

С утра началось заседание президиума. В кабинет Шумилина пришел весь губернский руководящий народ — усталые небрежные люди, с ранней старостью на лицах. Одни вынули кисеты и закурили, чтобы раздражать утомленную способность соображения. Многие были совсем молодые, но озабоченные до крайности. Едва ли они имели возлюбленных: сухая страсть к революции заместила в них все остальные человеческие страсти. Они чувственно представляли себе нищие массы крестьянства, одичалый от бедствий пролетариат и лично ненавидели гидру мировой контрреволюции. Для них революция была реальной девой, в которую влюбилась их обездоленная молодость. Эти большевики были обыкновенными людьми, вся сила их была в том, что они сосредоточили всю свою страсть на мелких житейских делах бедняков, и от множества своих единомышленников стали целой природной силой. Вся их сила была в том, что они с таким же самозабвением и душевным удовлетворением занимались снабжением городских рабочих крупой, с каким раньше пустынножители искали бога.

Заседание началось с доклада о бандитизме. На юге губернии бандиты не унимались. Предгубчека Кондаков предлагал отменить там продрозверстку — это будет выгодней, чем жечь целый уезд артиллерией. Шумилин согласился, другие нет, но решили временно свернуть четыре продотряда на юге.

— Теперь ты говори! — сказал Шумилин Подобашеву. — Только короче, у нас на повестке 44 вопроса.

Подобашев с видом страдальца начал читать ведомость. Просо, вобла, картофель, соль, махорка, рожь, мельницы. Поступило, ожидается поступление, потребность. Подобашев со скрытым удовольствием произносил цифры нехваток, указывал проценты усушек, утечек, утрусок, подмочек и даже каких-то естественных химических процессов.

— Будет тебе! — злобно выговорил Шумилин. — Все равно ничего не запомним. Не втирай очки и делай выводы.

Подобашев покорно улыбнулся.

— Сейчас доложу выводы!

И опять начал читать свои таблички и сводки.

— Значит, в этом месяце совсем не будет пайков? — догадался Шумилин.

— В губернии засуха, товарищ Шумилин, — ответил Подобашев. — Ничего не попишешь, напрягаем все силы, до рассвета в губпродкоме сидим. Вы ходите мимо — посмотрите: у нас всегда свет горит.

Шумилин подумал: он — определенная сволочь, и сказал:

— Чего ж вы керосин жжете? Хлеб растет под солнцем, а не под лампой, и в почве, а не в бумаге. Шлепнуть бы надо кой-кого из твоих ребят: дюже по уездам хулиганят, сукины дети, а дела не делают.

Подобашев свернулся и умолк. Его явный страх был больше угрозы Шумилина: он этим хотел показать — ругайте меня сколько хотите, а кульки я вам всем еженедельно посылаю: но никогда про это никому не скажу, разоряйтесь как хотите; вы сами видите мое скромное благородство. Подобашев не понимал своих товарищей — он считал, что сверх идеологии у каждого есть жена и дети. Подобашев чувствовал, что все жены и дети ответственных работников есть его таинственные друзья.

Шумилин решил завтра же поговорить в губкоме о Подобашеве.

Дальше шел вопрос о ремонте водокачки. Пришли два старика-специалиста. Нужен был кирпич. Шумилин предложил разобрать ветхий Екатерининский замок — все равно он растаскивается. Один спец не выдержал:

— Извините, но ваше предложение одиозно... Такой памятник византийского зодчества надо сохранить — после нас тоже люди будут жить...

Шумилин рассерчал:

— Нет уж, вы извините. В городе тиф, а люди из луж пьют. Лучше пусть будет одиозно, чем тифозно. Водокачку надо обязательно пустить. Не то придется с вами поговорить иначе...

— Хорошо, слушаю, — кратко ответил спец и с задумчивым страданием поглядел на своего коллегу.

Кондаков передал записку Шумилину:

«Я послежу за водокачкой. Там муровое дело. <Ч>то такое одиоз?»

Шумилин написал поперек всех слов: «Пошли осторож<ного> этичного парня. Одиоз значит вообще водовоз, а не водокачка».

Завгубземотделом начал докладывать о лошадях, о посевной площади, о скучных неродящих пространствах. Шумилин слушал и думал: вот он старый божий свет! На черта это все нужно? Пахать нужно ветром, а не лошадью, поливать надо не дождем, а из речек. Люди ведь дураки — думают, что весь свет для них сотворен: они

все просят то солнца, то дождя, а надо переделать всю эту музыку раз навсегда.

У завгубземотделом выходило хуже, чем у Подобашева.

— Чем же твои мужики живут, иль они уже померли все? — спросил Шумилин у докладчика.

Завгубземотделом почесал голову:

— Черт их знает, чем они дышат! По статистическим сведениям, хлеб кончился еще в сентябре, а озимых почти не сеяли. А потом, в октябре, разверстки собрали пятьдесят тысяч пудов... Наверно — так чем-нибудь живут...

— Ну чем же? — засмеялся Шумилин. — Одной верой-надеждой-любовью, что ль? Выходит, что русский мужик ничего не ест — все в прибылях оставляет. Значит, правду говорят, что у мужика есть хозяйский здравый смысл...

Поздний осенний день рано устал и кутался одеялами низких теплых туч, как больной. А президиум заседал только на девятнадцатом вопросе.

Шумилин вспомнил о жене и писал на блокноте:

«Подобашев! Пошли мне сегодня на квартиру продуктов в счет моего пайка. Если есть, пришли немного сливочного масла больной жене — требование врача я тебе представлю».

Подобашев крайне серьезно прочитал записку и медленно нагнул голову в сторону Шумилина, который следил за ним. Потом Подобашев не спеша порвал бумажку и снова дважды кивнул головой Шумилину, сохраняя строгую внимательную озабоченность в лице. П<осто>ронним могло показаться, что дело шло о снабжении отряда особого назначения — до того внушительно и вдумчиво читал записку Подобашев.

Вошел Геннадий — он был представителем губнаробраза по двадцать первому пункту повестки дня: «О постройке губтеатра имени Луначарского». Геннадий про себя не любил революцию: самым благородным чувством его души было любопытство, а не любовь; большевики же в нем возбуждали постоянное любопытство. Он всегда их весело разглядывал, со многими был дружественно знаком и считал, что мировая история есть событие нарастающего трагизма, потому что на сцене появляются все время, тысячу лет, одни комики. Большевики тоже комики, но они не чувствуют своего комизма — тем глубже и проникновеннее стала трагическая игра истории. Геннадий полагал, что несознающий стихийный человек всегда кончает трагически: не он ведет темную силу жизни, а она его. Высшая способность человека — точная оценка всех явлений и событий. Страсть и увлечение не ведут к успеху, потому что они лишены чувства цены. А большевизм именно есть страсть и увлечение, сильные, как природа, но и бессмысленные, как вечный белый свет.

Геннадий же верил, что трагизм истории можно превратить в лиризм ее. Как — он точно не знал. Это мог знать Дванов. Он, если не знал, мог об этом сразу догадаться. Геннадий удивлялся способности Дванова мало, в сущности, знать, но верно догадываться о вещах, до которых нельзя нормально додуматься. Сам Дванов много раз открывал свой секрет Геннадию, но, оказывается, нужно иметь тело Дванова, чтобы пользоваться этим секретом. Дванов говорил, что следует просто обмакнуть мысль в чувство, потом вывести наружу, и она загорится огнем и светом от при<ко>сновения к воздуху.

— Дальше у нас идет театр! — сказал Шумилин. — Ну, послушаем. Кто докладчик?

Докладывал председатель губпрофсовета.

— Товарищи! За годы революции у нас вырос массовый рабочий зритель, который, значит, ныне отвергает искусство господствующего класса, прочь отмахивает индивидуализм и прочее чувство одиночества. Масса требует непрерывной спайки посредством благородных коллективных чувств и надлежащего созерцания прекрасного. Отныне «Зори» Верхарна становятся уже фактом действующих масс, объединенных в свои союзы. Нам только надлежит тут зафиксировать возрожденный пролетарский дух в виде громадного нового здания театра будущего. Духовные чувства материальны и диалектичны и требуют для себя создания реального помещения...

Предгубпрофсовета писал стихи в губгазете. Геннадий вспомнил четыре строчки поэзии докладчика:

Пожар и вой,
Октябрь мировой!
Всей профгурьбой
Вперед на бой!

Шумилин сначала вслушивался, а потом нахмурился и прекратил доклад:

— Эй, дядя, давай покороче! А лучше перестань — все равно хлеба на театр не дадим... Возьми пока и торжественно его заложь. Знаешь как — собери свои профсоюзные массы, скажи эту же речь до конца, что ты сейчас не кончил, и положи на пустыре один кирпич в ямку. А строить будем когда-нибудь после...

Предгубпрофсовета увял: в нем оскорбили самую сердцевину его священного восторга. Он именно святительствовал над массами и считал себя блестящим оратором.

Было уже поздно. Сквозь рваные тучи иногда добивался до земли нервный лунный свет, а президиум неотлучно заседал. Геннадий тоже

не уходил и слушал — он собрался прямо отсюда идти к Софье Александровне, но пока было рано.

Между 29 и 30 вопросом Шумилин встал и потянулся. Члены заседания тоже начали разминаться.

— А что, ребята, не ввести ли нам против разрухи чрезвычайные меры? — сказал Шумилин.

— Что такое? — спросил Кондаков.

Шумилин оперся руками на стол, и улыбка стерла с его лица всякую усталость.

— А вот что такое: уцелели ли бы мы без чеки? Ясно — нет. Нас бы здешние лавочники за лыдки искушали. А теперь где эта дрянь? Вся на полу валяется, либо под полом. А ну-ка вырви чеку! Сейчас бы советская власть с колес долой!.. Я хочу сказать, что нельзя с милицией победить контрреволюцию — обязательно нужна чека. А в хозяйстве мы хотим взять с одной доброй милицией — вот где наша ошибка. А по-моему, надо идти революционным путем — везде до конца. Жди пока облощадишь губернию — десять лет пройдет, а нас слопают. Надо вместо губземотдела завести Земельную Чрезвычайку, отбросить к черту всех лошадей, кулаков, засуху — пустить срочно в поле машины и науку, чтобы сразу расправиться с голодом и гадкой слабостью... Подумайте-ка, товарищи! Мое предложение — деревне нужна Земчека. Надо бы вот туда знающего парня послать, чтобы спец был и большевик. Нет у нас таких?

Президиум курил и беседовал попарно о предложении Шумилина. Многие молчали и хозяйски недоверчиво улыбались.

— Это замечательно! — одиноко поражался Геннадий. — Детская наивность, а жить в такое время забавно!

Шумилин говорил с одним губкомщиком:

— Ну-ну, вспомни-ка!

Губкомщик почесывал верхней губой нижнюю:

— В Политехникуме ячейки нет. Есть там два коммуниста, но и то студенты, они приписаны к нашей ячейке.

— Ну-ну! — добродушно подгонял Шумилин.

— Один Гратов, я помню. А другой... Одинаков — вспомнил! Нет: Двойнов... или еще как-то!

— Пришли-ка их ко мне. Лучше пусть на квартиру придут — посмотрю, что за ребята, — сказал Шумилин. — Старые спецы тут не годятся, пусть хоть мало-мальски ученые будут, да наши люди...

Геннадий слышал разговор. Но настало его время, и он пошел к Софье Александровне, не интересуясь больше заседанием.

Лунный свет дрожал по земле, и любовная тоска Геннадия усиливалась. Впечатления губисполкома еще не оставили Геннадия.

— А что — Дванов, пожалуй, сможет кое-что сделать! Это на него похоже. Да нет — ерунда! История иногда отдыхает и парует. Вот и вся советская революция. Это комедия: способом губчки восстановить хозяйство. Арестовать природу, расстрелять засуху, мужиков объявить черноземными пролетариями!.. А чтобы написать такую комедию... Назвать ее можно «Вечность в¹ отпуске»...

Геннадий размышлял всегда метафизическими образами и схемами, достающими до конца света и поглощающими вечность, как малое тело.

С чувством спасения Геннадий постучал в милую дверь на приречной улице. Предварительно же он наклонился и понюхал дверную ручку — она пахла Софьей Александровной. На обратном пути Геннадий решил ее выдернуть, если она без шума поддастся.

Софья Александровна читала, закутанная в шаль. В квартире было не топло, а Софья Александровна похудела против прошлых дней.

В этой девичьей грустной комнате Геннадий всегда схватывало чувство какой-то драгоценной потери. Ему становилось стыдно за свое напрасное расточение жизни, подаренной однажды и незаслуженно для великого дела. Софья Александровна была для Геннадия тайной будущей настоящей жизни. Какой жизни — он точно не знал, но его веру в свое искупление обеспечивала любовь.

В доме Софьи Александровны не было часов. Геннадий под поллой пиджака перевел свои часы намного назад, чтобы просидеть дольше.

В присутствии Софьи Александровны мозг Геннадия работал остро и ожесточенно. Он без конца вел увлекательный разговор про все вещи — без всякой последовательности. Театр, советская власть, мистика, музыка — все превращалось в берега его любви, и Геннадий, парадоксально вращая понятия, незаметно для себя утомлял свое чувство любви, чтобы тем облегчить его.

Софья всегда слушала Геннадия с большим интересом, но сегодня она была несколько рассеянна и часто с недоумением перебивала речь Геннадия.

— Наша эпоха, — рассказывал Геннадий, — страшно нуждается в двух талантах: типа Мольера и Салтыкова-Щедрина. Но замечательно то, что если бы они появились, то современного Мольера никогда бы на сцене не поставили, а Щедрина не напечатали...

Время исчезало с жуткой скоростью, а Геннадий никак не мог устать. Он еще раз осадил часы, чтобы Софье Александровне, когда она спросит, сказать более ранний час. Но колотушечники уже работали на улице, напоминая о тьме и одиночестве.

¹ *Далее сверху, скорее всего, Марией Александровной вписано: декретном.*

В один момент, когда Геннадий замолчал, Софья Александровна с печальной серьезностью подняла на него глаза. Геннадий моргнул и опустил свой взор.

— Гога, вы желаете мне счастья? — неуверенно спросила Софья Александровна.

Геннадий приготовился к своему концу. Он перестал моргать, чтобы не накапливать слез.

— Желаю, Софья Александровна...

— Тогда помогайте всем моим поступкам и не удивляйтесь.

Софья Александровна улыбнулась:

— Ну что вы хотели рассказать мне о председателе губисполкома — продолжайте, пожалуйста.

Геннадий молчал.

— Ну что же вы, Гога? Бросьте засыхать!

Геннадий оправился и поверхностно рассказал — получилось не смешно. О Дванове Геннадий нечаянно забыл сказать. Дальше получилось долгое молчание. Геннадий вынул часы — из смутного чувства подчеркнуть свою занятость и равнодушие, чтобы отомстить Софье Александровне неизвестно за что.

— Покажите мне время, Гога, — попросила Софья Александровна.

Геннадий показал — час ночи: оказывается, он вертел часовую головку не в ту сторону и гнал время вперед.

— Как поздно уже! — сказала Софья Александровна. — Я думала, мало времени!

— Да, поздновато, — согласился Геннадий и встал прощаться.

На дворе Геннадий попробовал оторвать дверную ручку от сенец. Но она была на шурупах. Геннадий вынул перочинный нож и сталковыряться. Дверь начала скрипеть.

— Кто там? — спросил голос Софьи Александровны из кухни. Она вышла в сени и шла в темноте к двери, шаря руками по стене.

Геннадий выскочил со двора и побежал в гору посреди улицы, топча бросающихся на него собак.

V

Пока чиновники почты оформляли проход письма Софьи Александровны через свое ведомство, Дванов жил неодошевленно.

— Действительно, что в России работают человек десять, а остальные только законно существуют! — вспоминал Дванов слова Геннадия, и грустно ждал ответа.

Ответ пришел вечером — через два дня. Голодные дети легли засветло, чтобы больше не хотеть есть. Мать стирала, а отец читал в очках у окна, не надеясь больше ни на что хорошее. Голод, работа и старость быстро свернули отца в старика, и он даже уменьшился ростом. Когда-то Дванов любил спать с отцом — дышать запахом родного пота и слушать рассказы про его военную службу в царской гвардии. Теперь с<разу> <в>се кончилось: Дванов любил Софью Александровну всем количеством своего сердца, и для родных не осталось теплого вещества чувства.

Дванов держал письмо и думал, что конверт уже знает тайну слов, и отнесся к нему, как к противнику:

«Славный Дванов! Не огорчайтесь сразу, я не виновата. Вы не знаете, что я совсем одинока и мне нужно найти себе работу. Работу я себе нашла в деревне: буду учить ребятшек и вспоминать своих друзей. Я так долго была одна и беззащитна, что рада своему жилью в деревне. Там у меня будет занятие и самостоятельность. Здесь я зябла от заброшенности, а разговорами Геннадия, вы сами это знаете, можно развлекаться, но не утешиться. Я пришлю вам свой адрес, и мы будем писать друг другу длинные письма. Не сердитесь на меня, мой хороший незабвенный друг. Давайте будем жить, действовать и надеяться друг на друга.

Софья Мандрова».

Дванов не загоревал и не обрадовался: такие письма она могла писать циркулярно ко всем друзьям. Жизнь всегда является своими средними явлениями — от них не умрешь и не вознесешься. Дванов ждал другого ответа.

На обороте письма Софьи Александровны Дванов, не раздумывая, написал свой ответ:

«Я не ухажер и не вздыхатель. Я не могу носить долго орден вашего кавалера, как Геннадий. Я хотел быть вашим мужем, а вы нет. Поэтому я не могу вас посещать на неясных основаниях, но деревенский адрес свой вы прислать можете.

Ваш Александр Дванов».

Запечатав конверт, Дванов не мог оставаться дальше дома и переживать скучный вечер. Он дома походил на путешественника, ждущего поезда на глухом вокзале среди чужих недобрых людей.

Дванов ушел в клуб Политехникума. Он не любил клубы, потому что считал это обрядностью, а революция должна бы подвести человека к голой сущности вещей — без всяких красных фантазмагорий. В клубе сидело много ребят; они наслаждались музыкой автоматической пианолы. Гратов сидел в стороне и читал старые журналы. С омертвелым лицом он листовал всякие «Науки и Техники», ища в них своего интереса и не находя его. Дванов сел к нему.

— Как живешь, Гратов? Что не ходишь на лекции?

Гратов повернул свое смутное мягкое лицо.

— Да живу кое-как, Дванов: разве об этом расскажешь? Ведь это всегда из любезности спрашивают, и не ждут ответа...

— Да! — вспомнил Гратов. — Мне из губкома звонили — просили с тобой зайти на квартиру к Шумилину по партийному делу.

— Так пойдем сейчас! — предложил Дванов. — Все равно делать нечего.

Губернский город с белыми южными домами собирал с улиц своих жителей и рано затихал. Он, видимо, сторонился от больших дел революции и терпел ее как неплатящего постояльца. У Дванова шепотом прошла мысль, но он не расслышал ее, и она вытеснилась.

— Ты знаешь, как Геннадий прозвал наш город? — спросил Гратов.

— Как?

— Умирающим лебедем... Он говорит, что нельзя крестьянскую Россию сделать пролетарской. Зачем, говорит, корову делать лошадью. Аграрное ремесло, говорит, не хуже промышленности, а твердая пшеница выгодна, как и ситец...

— Он словесник, твой Геннадий! — сказал Дванов. — Через него переехала ободом революция, и он бормочет без конца. Лучше бы кричал, раз ему больно!

На лестнице общежития к Дванову возвратилась вытесненная мысль: не есть ли моя любовь половая страсть, от переполнения залившая сердце?

Но Дванов сейчас же уничтожил эту догадку: Софью Александровну он почувствовал горлом и грудью — не выше и не ниже. При чем тут пол? От голода, ведь, душа не болит. Так же и с половым желанием.

Но так ли это? Один товарищ Дванова говорил ему, что он однобокий, от него скрыта половина тайны жизни, раз он никогда не чувствовал женщину открытой.

Шумилин обедал с детьми, а жена его болела.

— Садитесь есть, — пригласил Шумилин.

— Да у вас у самих мало, — отказался Дванов.

— Что ж, по-твоему, большевик и на картошку права не имеет. Садитесь, чудаки! — говорил Шумилин.

После обеда Шумилин сказал:

— Теперь пишут, и Ильич говорил, что после военной победы нам нужна культурная и техническая революция. И точно: мы еле дышим от хозяйственной слабости. Я полагаю, что этим надо заняться всурьез, а сначала следует выяснить, что нам конкретно делать. Ну что такое техническая революция? Вы, например, знаете?..

Дванов и Гратов этого не знали. Шумилин дальше сообщил свое размышление, что необходимо изобрести особую коммунистическую технику. Он говорил, что большевики-солдаты оказались мудрее ученых белых генералов, стало быть, те же большевики смогут изобрести машины лучше образованных инженеров.

— Какие же это будут машины? — спросил Дванов. Понурый Гратов молчал.

— Ясно, социалистического типа, которые будут питаться повсеместными дешевыми силами природы! — объяснил Шумилин.

Гратов несмело заявил:

— Это отвлеченно. Товарищ Шумилин, наверно, хочет сказать про электрификацию. Мне говорил один наш преподаватель, который ездил в Москву, что там работает одна комиссия над проектом электрификации всей России. Эта комиссия работает по поручению Ленина.

Шумилин вслушался, но неожиданно не согласился:

— Что ж нам рожь что ль освещать? Это для других мест думают сделать. А нам нужно что-то другое... У нас от сельского хозяйства все идет — с него и надо начинать. Я вот думал об особой Земельной Чрезвычайной Комиссии. Мы ей дадим большие права, а она пусть землю заставит работать.

Дванов и Гратов поняли Шумилина, но не могли себе представить, что должна делать эта комиссия, и сказали об этом Шумилину. Тот подумал и решил так:

— Вот что... Придумать задачи комиссии головой это идеалистический способ. Пускай эти задачи подскажет сама жизненная необходимость. Надо походить по губернии на ногах, посмотреть ее живую, записать, чем она страдает и что в ее условиях можно быстро сделать, — тогда сама собой получится целая программа для комиссии. Правильно я говорю?

— Да, это лучше, — подтвердил Дванов.

Шумилина позвала жена, и он дал ей попить воды. Жена глядела на Дванова и Гратова белыми, выгоревшими от тифа глазами. Оба — Гратов и Дванов — подумали одно: не стыдно ли любить Софью Александровну под тифозным взором революции?

Не из истины, а из чувства самосохранения они решили, что стыдно, но оба от этого не разлюбили.

Шумилин подошел:

— Может выйти здоровое дело у нас! Я один тут по ночам думал, что сначала классовая борьба, а после ее конца настоящая война с природой. Вот что такое техническая революция. Но открывать с ней бой втемную нельзя: сначала надо послать разведчиков.

Потом Шумилин предложил Гратову и Дванову отправиться месяца на два по губернии, чтобы по живым местам изучить людей, хозяй-

ство и природу. А после их возвращения будет организован штаб работ и начнется революционная переделка всей злостной природы губернии.

Гратов отказался. Он сказал, что много пропустил в Политехникуме из-за гражданской войны и хочет доучиться.

— Партийную дисциплину мы здесь применять не будем, — с огорчением сообщил Шумилин. — Как хочешь. А ты? — спросил он Дванова.

— А я согласен, Политехникум от меня не уйдет, — дал свое решение Дванов. Он хотел спастись от Софьи Александровны в неугомном странствии по полям губернии; он знал, что на ходу злая сила горя так его не возьмет, как если бы он остался томиться в городе. Дванова смущал только отказ Гратова: не мог ли он идти от своей любви, или действительно намерен доучиться — неизвестно.

Дванов проводил Гратова до дома и долго сидел с ним на лавочке. Они говорили о разных вещах, но ни разу их слово не коснулось Софьи Александровны, как будто любовь стыдилась дружбы или являлась древним оскорблением человека. Дванов скрыто и сильно любил Гратова — настолько, что не хотел с ним часто встречаться и без конца разговаривать, чтобы не расточать напрасно своего нежного чувства. После слишком сильного общения с друзьями у Дванова всегда оставалось ощущение какого-то тяжелого стыда и тоски. Напряжение пропадает от сближения полюсов, — думал об этом Дванов электротехническим образом.

Дванов ценил в Гратове самородную честь и совесть, жившие в нем как чувства, а не как понятия. Кроме того, Гратов имел очень своеобразный разум, не похожий ни на отвагу фантазий Дванова, ни на интеллектуальные фокусы Геннадия. Это был разум серого крепкого цвета — не играющий, а живущий и работающий. Гратов не имел двановской способности догадываться, но имел способность изучать. От этого сознание Гратова текло внутри действительности, а не омывало ее поверхность.

Дванов чувствовал, вероятно, и Гратов тоже, что они чем-то похожи друг на друга, как братья от одной матери. Поэтому их чувство дружбы было непреодолимей и священной любви.

Дванов видел, что любовь меняла Гратова, делала его хуже. Но Дванов сам любил и искал теперь общества Гратова: его любовь в присутствии друга зарастала и не болела.

— Дванов, — спросил Гратов, — как ты думаешь, можно ли хирургически менять разные чувства в теле человека? Например... волю, совесть и так далее.

— Сейчас пока нельзя, но, наверно, можно будет, — сказал Дванов. — Ведь чувства не духи и имеют вещественные базы. А может, у них есть и возбудители — какие-нибудь микробы, как у тифа...

— Значит, можно быть не виноватым, а просто нечаянно заразиться?

— Конечно.

Колокол недалекой церкви бил поздний час. Друзья протянули руки и расстались. Каждый пожалел, что в конце концов приходится возвращаться в самого себя.

Дванов шел домой и чувствовал, как тесно и грустно все-таки жить в одном своем теле — всегда, неотлучно и безнадежно.

Телеграфная проволока над ним пела, сопротивляясь бредущему ночному ветру. Дванов слышалось в этой песне терпение и такая же темная мука, как у него. Ветру было легче, чем закрепленной проволоке, потому что он беспрестанно уходил. Дванов сказал всему окружающему и самому себе:

— Я исхожу свою любовь, и она умрет под моими ногами от усталости.

Завтра же Дванов решил уйти из города в села и поля. Он хотел умориться на проселочных дорогах и рассосаться людьми и пространствами.

<Далее утрачены две страницы автографа.>

— Зачем! — спросил Дванов. — Ступай домой — ты заблудишься в губернии.

— Нет, поеду! — кричал Геннадий.

— Брось дурака валять! — отвечал Дванов, громко, как в пустыне. — Не бойся: любовь дарится, а не завоевывается...

— Что? — в отчаянии спрашивал Геннадий, утопая и показываясь в мятущейся толпе. — Что ты говоришь?

Дванов закричал, пересиливая гудок паровоза:

— Я говорю, что любовь не имущество: сохранить нельзя и купить нельзя!

Паровоз со скрежетом взял состав. Геннадий отскочил в сторону и жалобными глазами искал на подножках пустого места. Оставшееся народонаселение вокзала заревело мезью и хлынуло обратно занимать на ночь асфальтовый пол.

Пассажиры осознали себя счастливым содружеством и стали обходительней. Дванов по узким пустотам добрался до Софьи Александровны.

— Что вы кричали там Геннадию? — спросила она.

— Геннадий боится, что мы моментально женимся в вагоне.

— Какой вы грубиян! — засмеялась Софья Александровна.

Напротив Софьи Александровны к Дванову возвратилось его прежнее чувство нескончаемых мыслей. Он думал, что от скорости умень-

шается сила тяготения, вес жизни — не потому ли люди в несчастьи стараются двигаться? Не есть ли русские странники и богомольцы рассеиватели тяжести горюющей души народа?

— Чему вы улыбаетесь? — поинтересовалась Софья Александровна. Загремел мост, Дванов подождал и объяснил:

— Так. Я думаю о чепухе. Голова, похоже, не терпит пустоты. Иногда нам кажется, что мы думаем истину, а это просто нагревание мозга от кровообращения.

Мимо поезда брели босые поля революционной России. Иногда вдалеке торчал какой-нибудь одинокий человек. Опершись на палку, он равнодушно смотрел на уходящий поезд и оставался один. Где-нибудь в лощине был его хутор, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то надеялся.

Скорость поезда затихала, послышался лай собак, открылась глухая станция с одним керосиновым фонарем. Помощник машиниста обегал с факелом паровоз и пробовал рукой греющиеся части механизма.

Дванов глядел на отхожее место и думал, что Софья Александровна тоже знает про их существование.

— Какая это станция? — спросил Дванов у человека, бежавшего в одном белье с чайником.

— Кипятку много! — ответил человек. — Беги скорей! Это Пашкин полустанок!..

— Пашкино? — спросила у Дванова Софья Александровна. — Мне надо сходить...

Дванов спустил чемодан Софьи Александровны, попрощался и снова влез на подножку. Софья Александровна перетащила чемодан через рельсы к платформе и потянулась телом от долгого стояния в вагоне.

Никто, кроме нее, не слез на этом полустанке.

От Пашкино до деревни Волошино, где находилась школа, Софье Александровне надо ехать тридцать верст на лошадях.

Дванов глядел на одинокую фигуру женщины, не знавшей, вероятно, где ей провести эту ночь. Дванов видел, что Пашкино и весь скудный русский мир создан беспринято, чтобы нигде с человеком не расставались тоска и несчастье.

И в этом необитаемом ночном пространстве Софья Александровна осталась одна.

— Я ее больше не увижу! — подумал Дванов, и его сразу оставило сознание своего достоинства и своих целей.

— Я провожу вас до самой школы, — сказал Дванов Софье Александровне, когда подошел к ней и почувствовал облегчение.

— Что вы это надумали? — удивилась Софья Александровна.

— Я не думал, а захотел. Зачем мне мучиться и притворяться.

— Как хотите! — притворилась Софья Александровна.

Но Дванов уже повеселел:

— Если бы люди думали, они бы не могли размножаться. Это ваш Геннадий говорил.

Поезд отправился дальше. Начальник станции ушел из-под керосинового фонаря в свою дежурку. В печальной деревенской жизни служба была для него удовольствием; он внимательно, с наслаждением перечитывал архив депеш и вспоминал счастливое время нормального графика поездов.

Дванов нес чемодан мимо дежурной комнаты начальника и позавидовал его душевному покою.

Ночлег нашли нескоро — Софья Александровна начала зябнуть на камне у сельсовета, где она ожидала Дванова. Камень назначался под основание памятника Карлу Марксу. На нем были размечены каменотесом слова: «Карл Маркс, вероучитель и основатель устоев пролетарской революции».

Дванов нашел ночлег в большой хате, издавна дававшей постой проезжим людям. Хозяева жили в задней комнате, за дощатой перегородкой, а большая комната отдавалась на приют. В хате пахло соломой и молоком, тою деревенской хозяйственной теплотой, в которой произошло зачатие всего русского сельского народа. За перегородкой слышно было, как мочились хозяйские дети и как шептался хозяин с женой о своих дворовых заботах.

Софья Александровна расположилась на лавке, а Дванов сел у печки. Вышла хозяйка, теплая от постели, налила гостям молока и дала два ломтя хлеба.

Дванов ел свою порцию и жалел, что полюбил Софью Александровну: не роскошь ли такое чувство в голодное время и в таких бедных местах. Не лучше бы было, если Дванов жил сиротой-подкидышем и высшей мечтой имел отыскание своей матери?¹ Это было бы как-то чище и безобиднее для людей. Хозяин невнятно беспокоился с женой: что за люди у них?

Дванов завел разговор через стену и объяснил, что Софья Александровна едет в Волошино учительницей, а он — сторожем туда же.

Софья Александровна перестала копошиться на лавке.

— Спокойной ночи! — сказала она.

Дванов обиженно промолчал: эта дева любит притворяться особенной, а сама пудрилась перед сном и во время любви спит; она же знает, что я мучаюсь, а говорит «спокойной ночи!».

¹ На левом поле начало абзаца отчеркнуто, отмечено вопр. знаком и записью: повтор / см. у Шуми<лина>.

В избе холодало, а на улице воздух светлел от поздней луны. Ночной небесный свет всегда тревожил Дванова, а сегодня он укорял его в неизвестной измене. Дванов посмотрел на спящую тихую Софью Александровну и злорадно подумал: разве ты можешь быть лучше всех? Эта чушь живет в моей бедной голове, а не в природе!

Софья Александровна действительно лежала жалкой сжавшейся девочкой. Она не спала и неслышно терлась щекой о подушку, уничтожая едкие, щекочущие слезы. В ее страдании Дванов не участвовал. Он встал и вышел, не хлопнув дверью. Софья Александровна приподняла голову. Место у печки было пусто. Немошная луна, умершая от своего одиночества, засветилась на печной известке сиянием отображенного потустороннего солнца. Этот цвет собственной душевной тоски нестерпимо растрогал Софью Александровну; она задвигалась в борьбе с рыданием и тихо выскочила на улицу, чтобы не разбудить хозяев.

Ветер зачесывал какие-то странные лопухи с белой исподней кожей. По лунной улице удаленно двигался Дванов и разговаривал сам с собой. Софья Александровна стояла, пока не простыла, но не возвратила Дванова.

Окна сельсовета светились. Дванов перешел дорогу поперек и вздрогнул: ему показалось, что все люди идут поперек, а не по следу жизни, и оттого земля кипит на поверхности. Он хотел вернуться в хату — на след своей судьбы, но перед ним стоял черный усталый крестьянин; у крыльца дремала его лошадь с подводой.

— Откуда сам, отец? — обыкновенным голосом, скрывая себя, спросил Дванов.

— Из Углянки, родной. Нынче моя очередь в совете, стою стужусь для казны...

Дванов вошел в совет. Сидел человек у горевшей печки и графил бумагу. Дванов предъявил ему мандат и потребовал лошадь в Углянку по неотложному делу. Человек прочитал мандат, повернул его кругом, чтобы прочитать штамп губисполкома и послал Дванова в соседнюю комнату — там дежурит секретарь.

Секретарь спросил, что Дванову надо. Дванов объяснил, что едет по мандату сквозь губернию.

— Возьми мужика на пороге, и поезжай, — ответил секретарь. — В чем дело? Раз надо — не спрашивай.

Черный крестьянин обрадовался, что ехать надо в свою Углянку.

— Мы враз доскачем. Ай тут далече. Лошадь, вот моя жеребая, а то бы я тебя прокатил.

На небе, вымытом от туч, холодным серебром сиял месяц. Морозило, и дорога позванивала под колесами.

Хата Софьи Александровны была темна и тиха: Дванов в ней оставил запертым свое отчаяние. Но там было все-таки теплей и спала женщина, пахнущая счастливой тревогой. Душа Дванова изменяла его решению расплатить свою любовь по усталым дорогам, еще раз он захотел поступить непосредственно и бессознательно — наперерез счастью — соскочить с подводы, войти в хату и обнять Софью Александровну — так цепко и неразлучно, как схватывает корневище дерева питательную почву.

Но крестьянин рассудительно говорил о нужде своей деревни и о том, что нет для жизни необходимых вещей, — из его слов выходило, что любви негде поместиться в хозяйстве и она вообще нигде не подразумевается. Дванов оставался сидеть на телеге. Дорога шла на юг — сзади горела Северная Медведица, а выше ее Полярная звезда. От сознания этой звезды холод увеличивался. Полярная звезда присутствовала над землей долгие времена — дольше продолжительности любого горя и любого счастья. Это удовлетворяло Дванова: ведь и его горе пройдет после смерти, и счастье, если будет, тоже когда-нибудь кончится, а Полярная звезда не потеряет терпения существовать.

Наверно, звезды и не то еще видели, а все-таки выжили и уцелели. Так надо и Дванову.

Мимо прошла околица с мельницами, какие-то последние заглухшие убаюканные хаты и одинокие деревья без близких друзей.

— Прошла моя мысль, — сказал Дванов. — Теперь идет любовь, и дальше встретится что-то, если буду жив.

— А? — спросил дежурный крестьянин. — Ты мне что ль? Яр проедем — там враз и Углянка.

— Ладно, — ответил Дванов, и подумал: одна ли душа в человеке, или их множество, и они встречаются и исчезают, как ландшафты? Это легкомысленно, но весело и хорошо. Что я встречу после любви, которая пройдет, как вечерний лес при дороге?

Лошадь стала.

— Пускай она отпузырится маленько, — сказал крестьянин. Он был робок, боялся советской власти и излишне уважал своего седока.

— Пусть, — согласился Дванов и слез размяться.

Ночь открыла роскошь вселенной, скрытую днем. Дванову казалось, что звездный мир манит к себе завоевателя и тысячи веков показывает себя, чтобы прельстить героя; но люди суетились днем по почве земли, а ночью закрывали свое зрение, чтобы не смущаться и не изменить женской любви, полезному разуму и хозяйству. А любовь, разум и хозяйство держали людей на скудном дне всемирной пучины и не давали человеку притронуться и сорвать цветущие плоды вселенной. Звезды не понимали, как можно обольщаться одной женщиной, сытостью и

даже революционным счастьем всех, когда существуют они, одаренные лучшим достоинством?

Мысленная фантазия Дванова обходным путем точила любовь, она слабела, но человек освобождался от душного чувства в сердце и начинал вникать в слова спутника-крестьянина.

Ехали теплым уютным яром. С обрывов иногда высовывались большие темные камни.

— Они не полюбят никого, — наблюдал Дванов. — Они не могут даже двинуться.

Молодость имеет магическую силу: Дванов искал себе союзников среди звезд и в камнях — в высоте неба и в жалостном овраге. Он втайне от себя жаловался им про свое мучение, а звезды и камни отвечали ему: ничего, вот мы существуем, и ты живи. Но одновременно он завидовал остающейся сзади дороге: она ближе к Софье Александровне, чем он.

Углянка жила в отлогой лощине. Все русские села ютятся по речкам или балкам, где близко вода. Крестьянин невольник водоемов. От этого, если глянуть с водораздела горизонтально по русской степи, то страна кажется ненаселенной: все деревни живут в глубинах рельефа, и даже дыма их не видно. Россия селилась по следам воды. Кроме того, в расщелинах земли уютней. Дванов еще в детстве приметил эту особенность полей.

Углянская лощина поросла лесом. На отшибе виднелись смолокурки и печи для углежжения. Избы стояли темные и спящие, только женщина гремела на колодце, беря воду на самовар поздним гостям или бандитам.

— В совет прямо поедешь, аль где попало заночуешь? — обратился к Дванову возчик.

— Где попало, — сказал Дванов. — Вези к себе, я тебе утром заплачу. Можно ведь?

— Да то что ж! Отчего нельзя? В моей хате теплынь — проспишь и не упомнишь.

Скоро крестьянин свернул в прогалок меж избами, и по тихому гумну, пахнущему добродушием сельского труда, они въехали на двор хозяина.

Дванову постелили на лавке попонку — и он лег в такое же положение, в каком спала Софья Александровна за несколько верст отсюда. Дванов отказался от еды и стал насильно засыпать. По хате полз дух печеного хлеба, молока и соломы. Дванов сжимал веки, самовольно отказываясь от сознания и притихал. Ему казалось, что он заснул, и открывал глаза для проверки. Он шевелился долгие темные часы и наконец уснул от скуки, поняв перед сном постоянный сбивающийся звук, что это жует лошадь на дворе.

Утром Дванов по напавшему легкому снегу пешим вышел из Углянки. Три татарских кургана при дороге молча укрывались неуверенным снегом, но степные орлы давно пропали из здешних обжитых мест.

Так открылось перед Двановым зрелище губернии — однообразное и не знающее советских забот о себе.

<VI>

Гратов нарочно зашел к Геннадию, чтобы спросить, куда <у>ехала Софья Александровна.

Геннадий знал адрес, но пообещал найти, а сейчас забыл. Он всегда всем обещал хорошее, поэтому никому не делал доброго. Добрые люди чаще, чем злые, отказывают в просьбах, потому что они знают труд и риск доброго дела. Геннадий же всегда обещал достать, помочь, устроить, а потом просил отсрочки, пока просящий сам не отвязывался. Геннадий сознательно не хотел укреплять чью-нибудь жизнь, особенно друзей: чем они слабее, тем он сильнее. Сила, как и истина, относительна.

Адрес Софьи Александровны Геннадий помнил — там всего три слова, — но зачем мучить Гратова продолжением безответной любви, пусть он разлюбит!

— Может, ты сейчас найдешь записку с адресом! — попросил Гратов.

Геннадий сделал занятое лицо:

— Нет, не могу, я спешу на лекцию. Она в какой-то книге заложена — долго искать. Вечером пороюсь.

Гратов медленно улыбнулся.

— Слушай, Геннадий, ты такая мелкая сволочь, что просеялся сквозь революцию! Но когда-нибудь ты застрянешь! Слушай, говори адрес.

Геннадий не изменился.

— Чего ты пристал? Пиши, примерно так: деревня Волошино, учительнице Крашениной. Не понимаю — можно любить, но зачем дичать!

— А потому что ты сам дикая сволочь и гад, — объяснил Гратов. — От тебя можно добиться дела либо наганом, либо пайком. Наган тебе надо совать перед делом, а паяк после. Понял?

Геннадий терпеливо моргал и иронически улыбался — в знак оскорбленной святости. Гратов уходил.

— Прощай! Мы встретимся где-нибудь на чистом месте, тогда я тебе скажу, кто ты.

— Хорошо, ладно, — говорил Геннадий. — Ты уже опоздал: за Софьей поехал охотиться Дванов.

— Уже за Соней?! — остановился Гратов. — Она — Софья Александровна, для тебя особенно. А Дванов поехал не за ней, я знаю куда.

— Ну-ну, рассказывай: куда! — побеждал Геннадий. — Думаешь, он губернию пошел обследовать? Бросьте это, товарищ.

Гратов вышел, чтобы сдержаться. Откуда Геннадий знал про обследование губернии? А если Дванов действительно любит Софью Александровну, то это хорошо.

Гратов хотел не владеть Софьей Александровной, а лишь бы она была цела, не мучилась и иногда допускала видеть ее. У Дванова лучшая душа и более ласковые руки, чем у него, — Гратов почти радовался, что Дванов и Софья Александровна полюбят один другого и так обеспечат взаимную сохранность. Геннадий же мог разрушить Софью Александровну: это Гратов понял неожиданно и наверно. Главное, чтобы Софья Александровна присутствовала в мире живой, счастливой и драгоценной, — тогда Гратов мог покойно жить и работать.

Дома растроганный Гратов сразу сел писать письмо Дванову. Отправить письмо он решил потом, когда узнает у Шумилина, где сейчас Дванов.

«Дорогой товарищ Дванов! Геннадий сказал, что ты любишь Софью Александровну. Это очень хорошо, люби ее без разлуки и помогай ей. Ты самый лучший человек для нее, и она тебя тоже скоро полюбит. А я поругался с Геннадием. Он прямой подлец, береги от него Софью Александровну, я не догадываюсь, а фактически знаю, что Геннадий скотина. Ты помнишь, я любил и уважал Геннадия, интересовался его живым умом. Но это все обман, это его маска для очарования советских дураков. Ведь все теперь ищут какого-нибудь восхищения, каких-нибудь осколков старой культуры, чтобы не так едок был дым печек бедноты и чтобы было третье блюдо после кулеша и картошек. Вот Геннадий и моден. Но уверяю тебя — у него нет ни прочного ума, ни кровного сердца, он советский истерик.

Ты знаешь, я чувствую изменения в себе. Я раньше жил от молодости в каком-то смутном облаке чувства. Плыл в тумане и верил всему, потому что все равно ничего не разглядишь. И у тебя, наверно, так было. Все время пар от полнокровия. Теперь я другой. Надо мной как будто взошло сухое солнце, я высушился, заострился и живу будто голый на песчаном берегу. Зато и другие предо мной голые, я вижу на них все рубцы и ранки. Ну, прощай. Геннадий — советский Чичиков. Помни это. Ему кажется, что революция сделала страну кладбищем с мертвыми душами, и их можно скупить за бесценок. Так он именно думает приобрести Софью Александровну.

Иван Гратов».

Шумилин сказал Гратову, что через неделю Дванов будет в Новоселовске.

Пришла от него записка с хутора Вешки, он пишет, что идет на Новоселовск, ночуя подряд во встречаемых деревнях.

— Что же он еще пишет? — спросил Гратов.

— Мало, — сказал Шумилин. — Привык обобщенные книжки читать, а разбросанную жизнь в кучу собрать не может. На, почитай.

Гратов взял бумажку.

«Наша губерния везде одинаковая. Какой она видна с городского бугра, такая и вся есть...»

— Понимаешь? — спросил следивший Шумилин. — Он не видит исторических противоречий. Для него все одинаково, как порожнее место.

«Ровная равнина, с редкими провалами оврагов. В этих оврагах и балках на малоплодородных почвах живут деревни. А ценные почвы лежат на высоких водоразделах, но от них села удалены, и плодородные почвы возделываются поэтому дико и плохо. Губерния наша селилась по берегам открытых водоемов и на близкой грунтовой воде. От этого плодородием водораздельных земель крестьяне пользуются плохо, а кормятся близкими худыми почвами, что лежат при овраге. Тут какой-то хозяйственный разрыв. Я думаю над ним все время. Теперь иду на Новоселовск сквозь все деревни. Из Новоселовска пришла подробный доклад».

— Очень хорошо, — заключил Гратов. — Чего ж тебе надо? Он нашел самое главное, остается сообразить выход.

Шумилин это отверг:

— А чего он нашел? Нам надо что-нибудь почудней отыскать. Взять главную точку посередине нужды — и по ней сразу ударить... Нам же некогда!

¹Шумилин путался в первозданной революционной тьме. Он хотел нищету взять на мушку, как тело контрреволюционера, и кончить ее в момент. Он опаздывал: революция уже сплавилась и затвердела. Светились первые серые дни забот — надо было терпеливо чеканить, точить и полировать: огневое литье закончилось.

От Шумилина Гратов пошел на собрание ячейки. Тогда еще ставились такие доклады, как «Тип коммунистического человека и особенности его телесного устройства, по сравнению с человеком буржуазной эпохи». Сегодня Гратов докладывал эту тему.

Когда он узнал, что Дванов любит Софью Александровну, то кончился последний темный час его любви: любовь не исчезла, а освети-

¹ На правом поле предваряющая запись: первозд<анная> / тьма / любовь / послед<ний> / час / освети<ла> / и / исчез<ла>. Запись зачеркнута.

лась. В Гратове освободилось от сердечного угнетения здоровье, он шел легкий и освещенный внутри.

Гратов знал, что сказать в середине доклада, но не знал, как его начать и кончить. Он вспомнил Шумилина и решил начать так: «Геологический период Октября — гражданская война — окончен. Теперь нам предстоит архитектурный период, работа над архитектурой социалистического общества». Конец доклада Гратов придумал на лестнице Политехникума: «Да здравствует мозговое сознание человека — синтетическое объединенное чувство жизни и инструмент материального преобразования вселенной!»

Гратовым, как и Двановым, еще владели магия молодости и чувство невероятных надежд.

За столом на ячейке Гратов забыл придуманное начало доклада и заговорил иначе: «Юность никогда не успеет созреть в революции. Революция быстра и требует от человека совпадения со своим темпом. Революция изменчива по тактике, и в человеке нужна большая эластичность, чтобы всегда совпадать с революцией, а эластичность бывает в молодости...»

Доклад вышел таким хорошим и плавным, что больше всех удивился Гратов: он думал медленно и не обладал убедительной речью. Нынче же в нем что-то звенело, он палил слова почти без умственных усилий, и сам их слушал с интересом.

— Гратов, а что ж ты про любовь ничего не сказал? — спросил один студент сзади докладчика. — Будет любить будущий человек или в штанах любовь истрепит?

Гратов обернулся для ответа:

— Про любовь...

Но все засмеялись и встали с мест. Заседание кончилось. Но Гратов знал, что ответить — он замялся в поисках точных слов.

— Любовь не станет любить женщину. Это же нелепо! Она станет для мысли электрической силовой станцией, а мысль из логики и созерцания превратится в страсть. Мысль начнет питаться могучей силой инстинкта размножения...

— Ладно, — равнодушно сказал спрашивавший студент: он не хотел отказываться от теплых объятий женщины и дрожи деторождения.

Гратов ушел домой успокоенный, как после творчества. Сегодня люди в нем возбуждали мысли — и мысли происходили произвольно и сверх его способностей. Если бы он сидел одиноким, он не мог бы открыть той несомненной правды, какую сегодня высказал. Слушатели как будто помножили свой ум, а Гратов только высекал результат общего напряжения. Мысль рождалась где-то вне его, объективно, а Гратов только обращал ее в слово. От этого он и назывался докладчиком.

В Гратове еще жила инерция легкого непосредственного превращения явлений в сознание; он быстро определил сегодняшнее настроение на докладе.

— Физиологический коммунизм! — громко сказал Гратов, и обрадовался.

— Но им занимаются и беспартийные! — хладнокровно возразил кто-то с темного крыльца.

Гратов вздрогнул. Две фигуры сидели сзади на крыльце — в пяти шагах. Гратов прошел их. Женщина смеялась. Мужчина продолжал:

— И даже энергичнее партийных. Уверю вас, коллега.

Гратов не остановился.

<VII>

В Новоселовском уезде Дванову дали письмо Гратова. Шумилин тоже прислал пакет, где просил придумать поскорей революционное лекарство от холеры бедности. Дванов же не мог думать по принуждению и в плановом порядке. Он знал, что самое дикое и неравномерное чувство в человеке — это как раз мысль. Другие чувства можно расщекотать, раздражить и поджечь воображением. Мысль же неподкупна. Она поддается только истине и очарованию — другими средствами нельзя покорить ее ироническую природу. Мысль в человеке — посторонний житель, всегда недовольный внутренним укладом хозяин, поэтому-то человек не теряет чести и волнения.

От Новоселовска Дванов уходил на юг по плоским степям, таким пространным и одинаковым, что они казались видением скудного воображения. Ничего не было, никаких вещей — ровная почва, что живет даром и без человека, и мятые туманы над ней. Природа пустовала влагищем для изделий человека.

Дванов шел пешком, чтобы удешевить будущую переделку мира. Снег падал и смывался теплом. Черноземы насыщались влагой, зато морили ноги пешехода в своем хлебном тесте.

Исчезли хутора и деревни северной части губернии¹, пошли многодворные слободы. Вода средоточилась в редких понижениях степи, там и ютились длинные ряды дворов.

В один вечер Дванов устал и занемог. Не видать было никакой слободы — одна дорога лишь обещала, что она идет к людям. Дванов

¹ В автографе: деревни. Описка исправлена Платоновым в машинописи фрагмента.

присел в лихорадке на обдутый обсушенный бугорок и прочитал от безнадёжности письмо Гратова. Невдалеке стоял мрачный курган — могила древних кочевников. У подножья кургана виднелся курень, в каком лето сторожат старики бахчи. Дванов пошел в курень, чтобы не остыть от ветра и не разболеться. Он еле дошел по тягучей присасывающей почве. Курень был только крышей над просторной землянкой. В землянке лежа курил человек. Он был стар и опытен, чтобы испугаться, а Дванов стыдился страха, и стыд его был больше боязливости. Он равнодушно вошел и сел на земляной уступ.

— Наружи-то нынче прохладно, — сказал старый человек.

— Да, — ответил Дванов, — время позднее.

— Нелюдимое время настает, — с грустью согласился старик. — Теперь бы в хате сидеть, да пищу печеную есть, ан ходи и думай...

Дванов уместился и лег, в теле его начинали бродить холодные нелюдимые силы — он не мог согреться.

— За хлебом, что ль, ходил куда, дедушка?

— Да то куда же? Куда теперь народ ходит? Век прожил, не думал, а теперь аж голова болит. Семейство у меня...

Действительно, у старика было большое семейство, вплоть до трех снох и восьми внуков, не считая собственной старухи, тоже не отвыкшей есть.

— У тебя, дедушка, не семья, а целый род! — удивился Дванов. — Ты бы мог основать новый народ в глухом месте!

— Да то как же! — озабоченно сказал старик. — И все рты! Раньше, бывало, живет человек, его и не заметишь, а теперь он ртом оказался. Были люди, а остались рты — вот до чего время перемучили...

Дванов даже улыбнулся: Советская Россия — это, по старику, народ открытых, но порожних ртов.

— А отчего вы так бедны, дедушка? — спросил Дванов. — Революция, наверно, вас доконала?

Дед подозрительно поглядел на Дванова: большевик он или бандит? Но решил, что Дванов средний человек.

— Революция нас доконала не особо. Мы и раньше не цвели. Ну, конечно, кушали гуще...

— А что ж вас доконало?

— Видишь ты: тут места для степного хозяйства, а не для пахоты. У моего отца, как сейчас помню, одних лошадей голов двадцать было, да прочий всякий уёмистый скот. Степь была отличная, целинная, народ редкий — травы на всех хватало. Скот до самых заморозей подножьем питался. Жили тогда неподъемно: говядину ели, как хлеб. В Петропавловке нашей, на моей памяти, было всего, почитай, дворов десять. А теперча близу двух тысяч. Ну куда ж тебе тут говядина — каждый клоч

в пахоте находится... Раньше село-то одно водопойное место было, а теперь сплошное пристанище...

— Водопойное место? — оживился Дванов. — Но отчего такая бедность пошла — народу нарожалось много?

Старик запрашивал трубку и не мог думать сразу о двух вещах. Слова Дванова до него дошли после трубки.

— Народ обижать не надо. Корму бы на всех хватило. Только неудобно вышло. Для скота оно полезней, когда степь порожняя, а дворы на водопое. Ну, а когда пахота пошла — тогда дело никуда. Село сплелось в кучу на воде, а жирные земли за десять, а то и двадцать верст. Хозяйство это не прогулка...

Дванов понял:

— Так, значит, у вас так вышло: степь заселилась для скотоводства, а потом пришло сельское хозяйство, но степь осталась заселенной по-старому. Водопойные хутора выросли в большие села, а скотоводство уменьшилось... Теперь я догадался.

— Чего ж тут догадываться-то? — упрекнул старик. — Знаю дело, двор должен при пахоте стоять, а то хозяин на одну езду и работает. В слободе народ и в мокрые годы голодует — куда ж тут пахотой кормиться, когда до нее двадцать верст. Только и ходят туда, как на крестины. Подумать жутко — десять тысяч народу одной кучей живут — куды ж тут, братцы мои, земель питаться?

— Так пусть народ тогда по степи расселяется! — предложил Дванов.

Старик без уважения ответил:

— Обдумал тоже: пускай расселяется! Там же сушь! Почва горит от жира, а до воды саженой двадцать, а то и поболее! А слобода вся на палом месте стоит, копнешь аршина два — и вода! Известное дело, что надо бы однодворцами, аль малыми хуторами рассеяться — тогда б каждый на своем наделе сидел и враз бы оправился...

Дванов хотел закрепитьсья в своем открытии:

— Значит, вся бедность пошла оттого, что народ заселял степь как будто для степного скотоводного промысла, а занимался пахотой. Верно? А для пахоты нужно редкое жилие, поближе к пахотной почве.

— Это справедливо, — удостоверил старик. — Тучная земля вся в высокой степи лежит — туда бы воду только предоставить. Тогда народ бы оспой сам по степи расселился. А то живут как пастухи на водопое, а землю норовят пахать на суходоле — вот и мотыжит нас бедность...

Дванов даже выздоровел от радости. Он теперь нашел то, чем половину века сокрушалась губерния. Отгадка была проста, как равнина. Губерния заселена по-пастушечьи, а занимается земледелием. Ее надо перезаселить, и все. А то получается, что на ткацкой фабрике делают

электрические лампы. Две недели Дванов в упор спрашивал партийцев, крестьян, странников и даже каких-то мирных бандитов: отчего они бедно живут? Но самый определенный ответ был, что — от заградительных отрядов.

— Дедушка, а ты человек с большим здравым смыслом! — поблагодарил Дванов ночующего старика за беседу.

— Ищю бы! — не удивился старик. — Смысл в каждом есть, только ему без хлеба движения нету.

— А может — наоборот? — испытывал Дванов. — Может, хлеба нету, потому что смысл не движется?

Старик отстранил такое размышление:

— Так не бывает. Бывает, что лучше, а то давно бы было по-твоему.

— Что ж, ночевать тут будем? — не решался Дванов.

— Да то что же! Куда в темень деваться? Завтра пораньше пойдем по своим сторонам.

— Еды у нас нет! — проголодался Дванов.

— Опять же — еды у него нет! — сердчал старик. — Ты засни — и есть расхочешь.

Старик вздохнул и обратился к каким-то своим темным думам.

Дванов вспомнил Гратова и его письмо: у Геннадия голова живет не на шее, а на палке — что он думает, то ему не соответствует. Где-то теперь Софья Александровна? Зачем он оставил ее, одну и беззащитную, в той страшной скучной деревне?

У Дванова сжалось дыхание от горя и близких слез. И ничто, никакая сила сейчас не может приблизить Дванова к Софье Александровне. Великие грязи и непроходимая ночь лежали между ними. Если выйти и бежать к ней, то сердцу будет легче, но все равно за ночь не дойдешь и ляжешь на пятой версте. Гратов прав — любовь это сбережение любимой, а не использование ее. Зачем он ее оставил в тот деревенский вечер? Или от горя так одичал его разум, что пошел против себя? Гратов бы так не поступил — он сознает другого человека так же хорошо, как себя; он живет в прозрачном воздухе действительных вещей, а не в мрачных тучах чувственных испарений. Его любовь суха и остра, и еще более оттого мучительна, но для него мир всегда виден и блестит, а не заслоняется собственным страданием. Его любовь есть продолжение и улучшение его жизни, а для Дванова любовь — тоска, разрыв с людьми и смертельное раздражение сердца. Для Геннадия же — проще всех — любовь есть покупка ценной вещи для увеличения своего общественного достоинства: Софья Александровна имеет живую красоту, ту, которой люди не только любят, но от которой они меняются.

Дванов задумал выйти на рассвете из куреня и разыскать в губернии Софью Александровну, чтобы больше не отходить от нее. Он решил

поступить в ее школу сторожем-истопником. Так бы поступил и Гратов, а его поступки самые безошибочные. Он бы никогда не оставил Софью Александровну одну, хотя бы она гнала его. Его любовь сильнее и великодушнее его достоинства.

— Ладно, — думал Дванов. — Если даже Софья Александровна ничего не ела, и то я ее застаю живой. Прошло пятнадцать дней, а люди могут не есть по сорок.

На горе человека идет по ходу солнца: вечером оно садится на сердце, а утром легко восходит оттуда. Проснулся Дванов в чистом свете сухого утра. Стояла та степная тишина, которая, кажется, может запеть¹. Старик уже ушел на свою сторону. Но он оставил свой рассказ, который Дванов не только понял, но уже ощущал на вкус. Так же, как есть чувство собственности, есть чувство полезной правды. Для Дванова идея добычи воды в сухоходольной степи стала сжатым образом социалистической равнины. Это было вкусным. Дванов знал, что женщина охотнее любит мужчину, оборудованного свершенными делами. Женщина любит прочность и надежность в своем муже, любовь ее требует постоянного питания героическими фактами. Как странно, что все думают, что для любви нужно одно чувство! Дванов сегодня улыбался этому. Начинается любовь с чувства — это верно, но продолжается более твердым веществом — подвигами во внешней жизни, превращающимися в растущее обаяние любимого.

Дванов шел по просыхающей дороге. Он убедился, что любовь творится вне любимой. У руки любимой можно только уничтожать любовь, а делать ее следует вдалеке от нее — например, в этих унылых растерянных полях. Не засветятся ли глаза Софьи Александровны, когда заблестит вода на водоразделах и она поймет, что эта вода есть семя для размножения нового счастливого народа?

<VIII>

Скоро открылась узкая долина какой-то древней, давно осохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка — огромное стадо голодных дворов, сбившихся на тесном водопое.

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для стариков.

¹ На правой стороне листа под этим и следующим предложениями просматривается предваряющая запись: Вставка / воспом<инание> / <1 нрзб> / старик. Запись зачеркнута.

Эти камни Дванов вспомнил, когда сидел в Петропавловском сельсовете. Он зашел туда, чтобы ему дали ночлег на следующую ночь и чтобы написать статью в губернскую газету. Дванов написал, что природа не творит обыкновенного, поэтому у нее выходит хорошо. Но у природы нет дара, она берет терпением: из Финляндии через равнины и тысячелетия в Петропавловку приполз валун на языке ледника. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в степи социализм. Это ближе, чем притащить валун из Финляндии. Охотясь за водой, сообщил Дванов, мы одновременно попадем в цель своего сердца — нас поймут и полюбят равнодушные, потому что любовь не подарок, а строительство.

Дванов умел интимное соединять с общественным, чтобы сохранить в себе влечение к общественному. Статью он послал через Шумилина, чтобы тот остался доволен им.

Гратову Дванов тоже написал, чтобы тот нашел и постерег Софью Александровну, пока он поправит губернию. Когда Дванов писал, около его стола чего-то дожидался крестьянин со своенравным лицом и психической, самодельно подстриженной, бородкой.

— Все стараетесь! — сказал этот человек, уверенный во всеобщем заблуждении.

— Стараемся! — понял его Дванов. — Надо же вас на чистую воду в степь выводить!

Крестьянин сладострастно почесал бородку.

— Ишь ты какой! Стало быть, теперь самые умные люди явились! А то без вас не догадались бы, как сытно харчиться!

— Нет, не догадались бы! — вздохнул Дванов, в такт настроению собеседника.

— Эй, мѣшаный, уходи отсюда! — крикнул председатель совета с другого стола. — Ты же бог, чего ты с нами знаешься!

Оказывается, что этот человек считал себя богом, и все знал. По своему убеждению, он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость — надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали.

Когда секретарь совета повел Дванова на постой, то бог стоял на пороге и зяб.

— Бог, — сказал секретарь, — доведи товарища до Кузи Поганки-на, скажи, что из совета, — ихняя очередь!

Дванов пошел с богом.

Встретился нестарый мужик и сказал богу: здравствуй, Никанорыч, — тебе б пора Лениным стать, будя богом-то!

Но бог стерпел и не ответил на приветствие. Только когда отошли подалее, бог вздохнул:

— Ну, и держава!

— Чтó, — спросил Дванов, — бога не держит?

— Нет, — просто сознался бог. — Очами видят, руками щупают, а не верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай тоскуют до корней, покуда кора не загорится.

У хаты Поганкина бог оставил Дванова и без прощания повернулся назад.

Дванов не отпустил его:

— Постой, что ж ты теперь думаешь делать?

Бог сумрачно глянул в деревенское пространство, где он был одиноким человеком.

— Вот объявлю в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и поверят.

Бог духовно сосредоточился и молчал минуту.

— А в другую ночь раздам обратно — и большевистская слава по чину будет моей.

Дванов проводил бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, — без шапки, в одном пиджаке и босой в ноябре; пищей его была глина, а надеждой — мечта.

Поганкин встретил Дванова неласково — он скучал от бедности. Дети его за год голода постарели и, как большие, думали только о добыче хлеба. Две девочки ходили уже на баб: они носили длинные материны юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали. Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин, действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих инстинкта размножения. Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными существами.

Когда смерклось, двенадцатилетняя Варя умело сварила похлебку из картофельных шкурок и ложки пшена.

— Папашка, слезай ужинать! — позвала Варя. — Мамка, кликни ребят на дворе: чего они стынут там, синие!

Дванов поразился: что из этой Вари дальше будет?

— А ты отвернись, — обратилась Варя к Дванову. — На всех вас не наготовишься: своих куча!

Варя подоткнула волосы и оправила кофту и юбку, как будто под ними было что неприличное.

Пришли два мальчика — сопливые, привыкшие к голоду и все-таки счастливые от детства. Они не знали, что идет революция, и считали картофельные шкурки вечной едой.

— Я вам скоко раз наказывала раньше приходиться! — закричала Варя на братьев. — У, идолы кромешные! Сейчас же снимайте одежду, — негде ее брать!

Мальчики скинули свои ветхие овчинки, но под овчинами не было ни штанов, ни рубашек. Тогда они голые залезли на лавку у стола и сели на корточки. Наверное, к такому сбережению одежды дети были приучены сестрой. Варя собрала овчинные гуни в одно место и начала раздавать ложки.

— За папашкой следите — чаще не хватайте! — приказала Варя братьям порядок еды, а сама села в уголок и подперла щеку ладошей: ведь хозяйки едят после.

Мальчики зорко наблюдали за отцом: как он вынет ложку из чашки, так они враз совались туда и моментально глотали похлебку. Потом опять дежурили с пустыми ложками, ожидая отца.

— Я вас, я вас! — грозилась Варя, когда ее братья норовили залезть ложками в чашку одновременно с отцом.

— Варька, отец гушу одну таскает — не вели ему! — сказал один мальчик, приученный сестрой к твердой справедливости.

Сам Поганкин тоже побаивался Варю, потому что стал таскать ложки пожиже.

За окном, на небе, непохожем на землю, зрели влекущие звезды. Дванов нашел Полярную звезду и подумал, что она видит сейчас Софью Александровну.

— Завтра либо бандиты опять поскачут! — жуя, сказал Поганкин, и хлопнул ложкой по лбу одного мальчика: тот вытащил сразу кусок картошки.

— Отчего бандиты? — хотел узнать Дванов.

— На дворе вызвездило — дорога поусадистой пойдет! У нас тут как грязь — так мир, как дорога провянет — так война начинается!

Поганкин положил ложку и хотел рыгнуть, но у него не вышло.

— Теперча хватай! — разрешил он детям. Те полезли на штурм остатков в чашке.

— От такого довольствия цельный год не икаю! — серьезно сообщил Дванову Поганкин. — А, бывало, пообедаешь, так до самой вечерни от икоты родителей поминаешь! Вкус был!

Дванов укладывался, чтобы уснуть и поскорее достигнуть завтрашнего дня. Завтра он пойдет к железной дороге, чтобы возвратиться домой.

— Наверно, скучно вам живется? — спросил Дванов, уже успокаиваясь для сна.

Поганкин согласился:

— Да то, ништ, весело! В деревне везде скучно. Оттого и народ-то лишний плодится, что скучно. Ништ, стал бы кажный женщину мучить, ежели б другое занятие было?

— А вы бы переселялись на верхние жирные земли! — догадался Дванов. — Там можно жить с достатком, и от этого веселей будет.

Поганкин задумался.

— Куды там — разве стронешься с таким карогодом?..

— А чего же? — испытывал Дванов. — А то у вас отнимут ту землю обратно.

— Это как же? Аль распоряженье вышло?

— Вышло, — сказал Дванов. — Что ж зря пропадает лучшая земля? Целая революция шла из-за земли, вам ее дали, а она почти не рождает. Теперь ее пришлым поселенцам будут отдавать — те верхом на нее сядут... Нароют колодцев, заведут на суходолах хутора — земля и разродится. А вы только в гости ездите в степь...

Поганкин весь озаботился. Дванов нашел крестьянский страх.

— Земля-то там уж дюже хороша! — позавидовал Поганкин своей собственности. — Что хошь родит. Ньюжли советская власть по усердию судит?

— Конечно, — улыбался Дванов в темноте. — Ведь поселенцы придут такие же крестьяне. Но раз они лучше владеют землей, то им ее и отдадут. Советская власть урожаем любит.

— Это-то хоть верно, — загорюнился Поганкин. — Ей тогда удобней разверсткой крыть!

— Разверстку скоро запретят, — выдумывал Дванов. — Как война догорит, так ее и не будет.

— Да мужики тоже так говорят, — соглашался Поганкин. — Ай кто стерпит муку такую нестерпимую! Ни в одной державе так не полагаются... Либо правда в степь-то уйти полезней?

— Уходи, конечно, — налегал Дванов. — Набери хозяев десять и трагайся...

После Поганкин долго разговаривал с Варей и с болящей женой о переселении — Дванов им дал целую душевную мечту.

«Неужели, — думал Дванов, — сначала деревни разьедутся, а потом я обниму Софью Александровну? Очень долго».

Хотя это не так трудно: люди в казематах дольше сидели, а ледники ехали медленнее, чем поедут деревни. Но под всеми мыслями и делами, в глубине тела, у Дванова постоянно болело сердце, ничего для себя не прося. Дванов уже думал, как бы на время изолировать себя от сердца, чтобы делать меньше ошибок и поскорее засыпать в деревенских хагах.

С открытием главного губернского бедствия, Дванова еще начала мучить фантазия, что он уже знает, как создать социалистический мир в степи, а ничего еще не исполняется. Он не мог долго выносить провала между истиной и действительностью. У него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение. Дванов чувствовал свое сознание, как любовь к Софье Александровне, — от него не отречешься и его не забудешь.

дешь. Сердце болит автоматически, и завидуешь звездам, которые видят сейчас твою любимую. Сознание самостоятельно течет и точит берега нелепого мира, чтобы сотворить его во второй, и последний раз. Обе силы — мысль и любовь — страдают от удаленности своих целей и стремятся к ним, как обреченные, как стремились на землю падающее яблоко в саду Ньютона.

Утром Дванов ел в сельсовете пшенинную кашу и снова видел бога. Бог отказался от каши: каша, говорит, не семечко, что мне делать с нею, — сказал он, — если съем, то навсегда, все равно, не наемся.

В подводе совет отказал, и бог указал Дванову дорогу на слободу Каверино, откуда до железной дороги двадцать верст.

— Попомни меня, — сказал бог и опечалился взором. — Вот мы навсегда расходимся, и как это грустно — никто не поймет. Из двух человек остается по одному! Но упомни, что человек сеется снаружи, и только питается. А во мне и семена, и почва.

— Поэтому ты есть бог? — спросил Дванов.

Бог печально смотрел на него, как на неверующего в факт.

Дванов заключил, что этот бог умен, только живет наоборот. Геннадий когда-то говорил, что русский человек двухстороннего действия: он может жить и так и обратно, и в обоих случаях остается цел. Геннадий намекал на революцию: ею русский народ запущен наоборот — против законов жизни, и ничего — действует.

В полдень Дванов вышел на нагорную дорогу. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно, что река умирала: ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотами стояла осенняя тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели, насекомые замерли в щелях омертвелой осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот.

Но Дванову слышались в воздухе невнятные строфы летней песни, и он хотел в них возвратить слова. Он знал волнующую магию искусства. Но строфы песни рассеивались и рвались в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина.

Дванов верил в возможность подслушать и собрать в природе все самое звучное, печальное и торжествующее, чтобы сделать песни, мощные, как естественные силы, и летящие, как ветер.

В этой глуши мирового пространства Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах, но, если бы его кто услышал, — сгорел бы от стыда, как любовник, захваченный на месте любви со своей красавицей. Лишь слова обращают текущее чувство

в мысль, поэтому размышляющий человек беседует. Но беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими людьми — забава.

— Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону, — закончил Дванов.

Он сделал головою полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать:

— Природа — деловое событие. Эти воспетые пригорки и ручейки не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей. Они станут рентабельными. Поэзия нужна, как сказка жизни.

Дальше Дванов начал уставать и шел, ощущая скуку. Скука выедала в нем какие-то цветущие внутренности, трение тела совершалось насухую без смазки фантазией.

В виду дымов села Каверино дорога пошла над оврагом. В овраге воздух сгущался в тьму. Там существовали какие-то мочливые трясины и, быть может, ютились странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости.

Бог слободы Петропавловки имел множество живых подобий в этих весях губернии.

Из глубины оврага послышалось сопенье усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине.

Молодой отважный голос запел впереди конного отряда.

Слова и напев песни были родом издали отсюда.

Есть в далекой стране,
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца по-своему и другим напевом:

Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет совет
Серпом-молотом...

Одинокий певец продолжал вразлад с отрядом:

Вот мой меч и душа,
А там счастье мое...

Отряд покрыл припевом конец куплета:

Эх, яблочко,
Задушевное,
Ты в паек попадешь —
Будешь прелое...

Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в совет попадешь
С номером-печатью...

Люди враз засвистели и кончили песню напропалую:

Их, яблоко,
Ты держи свободу:
Ни советам, ни царям,
А всему народу...

Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием в овраге.

— Эй, верхний человек! — крикнули Дванову из отряда. — Слазь к безначальному народу!

Дванов оставался на месте.

— Ходи быстро! — звучно сказал один густым голосом, вероятно, тот, что запевал. — А то считай до половины — и садись на мушку!

Дванов подумал, что Софья Александровна не уцелеет в такой жизни, и решил не хранить себя:

— Выезжайте сами сюда — тут суше! Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия!

Отряд внизу остановился.

— Никиток, делай его насквозь! — приказал густой голос. Никиток приложил винтовку, но сначала, за счет бога, разрядил свой угнетенный дух:

— По мошонке Иисуса Христа, по ребру Богородицы и по всему христианскому поколению — пли!

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы. Дванов знал, что он ранен в правую ногу — туда впились железная птица и шевелилась колкими остьями крыльев.

В овраге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало не страшно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом, травую дорог и тишиной жизни.

— Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя.

Дванов услышал. Он впился в ногу коня обеими руками, нога превратилась в благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает. Дванов понял тайну волос, сердце его поднялось к горлу, он вскрикнул в забвении освобождения и сразу почувствовал облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять у Дванова то, зачем он был создан: семя размножения. Шло предсмертное время — и в наваждении Дванов возобладал Софьей Александровной. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом.

Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб: тёпел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

— Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!

Никита не был похож на свою руку — это уловил Дванов — он вскрикнул тонким паршивым голосом, без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке.

— Ай ты цел? Я тебе не расклину, а разошью: зачем тебе сразу помирать — ай ты не человек? — помучайся, полежи — спрехвала по-мрешь прочней!

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка:

— Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано — кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия!

— Мать жизни, свободы и порядка! — сказал лежащий Дванов. — Как ваша фамилия, товарищ?

Вождь засмеялся:

— А тебе сейчас не все равно? — Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского. Не автор ли перед ним?

— Вы писатель! Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась.

— Да пусть он сам обнажается! Что я сдохлым буду возиться — его тогда не повернешь! — соскучился ждать Никита. — Одежда на нем в талию, всю порवेशь и прибýtка не останется.

Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого, действительно, без порчи платья не разденешь. Правая нога закаменела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал.

— Тут, что ль, я тебя тронул? — спросил Никита, бережно взяв ногу.

— Тут, — сказал Дванов.

— Ну, ничего — кость цела, а рану салом затянет, ты парень не старый. Родители-то у тебя останутся?

— Останутся, — ответил Дванов.

— Пушай остаются, — говорил Никита. — Поскучают, и забудут. Родителям только тепер и поскучаться! Ты коммунист, что ль?

— Коммунист.

— Дело твое: всякому царства хочется!

Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты возились у коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом — наступила очередная ночь. Дванов жалел, что тепер не повторится видение Софьи Александровны, а об остальной жизни не вспоминал.

— Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь.

Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита сразу же их клал в свой мешок.

— Я уже сказал, что да́, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.

— А сами-то вы сочувствуете идее книги, вечному анархизму, бродящему в крови человека? — допытывался вождь.

— Нет, — заявил Дванов. — Идея там чепуховая, но написана книга сильно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло замечательно.

Вождь от удивления привстал на седле:

— Это интересно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.

— А одёжа? — огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

— Смотри, не испорть мне его на ветру! Это большевистский интеллигент — редкий тип.

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она чувствует снова выстрел и железные остья внутри.

Овраг шел внутрь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было: все мо-

ментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Вразумительный мужик!

Дванов представил себе этого вразумительного мученика и сказал Никите:

— Скоро и вас расстреливать будут, совсем с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.

Никита не обиделся:

— А ты скачи, скачи, знай! Балакать тебе время не пришло. Я, брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.

— Я глядеть не буду, — успокоил Дванов Никиту. — А замечу, так не осужу.

— Да и я не осуждаю, — смирился Никита. — Дело житейское. Мне товар дорог.

До Лиманного хутора добрались часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводиться лошадой, а Дванова оставили одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:

— Девайся, куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.

Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немоги в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселились и легли спать. Дванов дополз до сарая и залез там в просяную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело.

С этим утешением он снова уснул. Никита утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что не улыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным, либо глаза, либо рот.

<IX>

Письма тогда читали посторонние люди. Двановское письмо Гратову прочитано было еще в Петропавловке. Первым читал почтарь, затем все его знакомые, интересующиеся чтением: учитель, дьякон, вдова лавочника, сын псаломщика и еще кое-кто. Библиотеки тогда не работали, книг не продавали, а люди были несчастны и требовали душевного

утешения. Поэтому хата почтаря стала библиотекой. Особо интересные письма адресату не шли, а оставлялись для перечитывания и постоянного удовольствия.

Казенные пакеты почтарь сразу откладывал — все вперед знали их смысл. Особо читатели интересовались письмами, проходившими через Петропавловку транзитом: неизвестные люди писали печально и интересно.

Прочитанные письма почтарь заклеивал паточкой и отправлял дальше по маршруту. Письмо Дванова находилось в читке неделю — оно поразило учителя и вдову лавочника. Первого — тем, откуда любовь является в ум человека, раз ей не обучают в школе с малолетства, а вдову — скорбью неясных слов, просящих хранить в далеком месте женщину для любви. Вдова плакала над письмом, и сама дрожала от любви к мужчине — автору письма.

Благодаря такой задержке, Гратов читал письмо друга, когда уже окончательно лег снег. Гратов усиленно учился и старался растратить влагу своего сердца в сухих пространствах науки. Он представлял себе любовь как теорию сопротивления живого материала. Он считал, долго ли продержится его сердце, все сжимаемое гайкой тоски. Каждое утро он чувствовал, как увеличивалось давление на сердце посторонней силы, и не знал, что скорее лопнет резьба на гайке или <2–3 сл. утрач.> в снег кататься от боли.

Расчеты его ни к чему не вели — это были фигурки на бумаге, в которых человек рассеивает свою скуку и бессмыслие. А Гратов хотел начертить формулу любви, чтобы решить ее, как уравнение, и перестать любить. Но мозг плавал тающей льдиной на теплом море чувства. Ледовитый океан мудрости был на далеком полюсе — под Полярной звездой.

Письмо лучше свидания — оно никогда не удовлетворяет и поэтому орощает <?> симпатией <?>. После чтения письма Гратову стало лучше: Дванов тоже далеко от Софьи Александровны и терпит свое горе. Гратов не сознавал, почему ему стало легче <3–4 сл. утрач.>, хотя <1–2 сл. утрач.> Геннадий однажды говорил, что пионером нового сознания быть вдвое труднее, чем уподобиться другому страдающему.

Гратов послал два письма Софье Александровне, они не <2–3 сл. утрач.> возвратились ответами. Их, наверно, зачитали сельские почтари и их подписчики. Но Гратову трудно было об этом догадаться.

— Сбереги Софью Александровну в голодной деревне, — шептал Гратов слова письма. — В революцию люди долго не живут — сохрани ее от бедствий!

Значит, она умерла или погибает без помощи в какой-нибудь замерзающей деревне. Если Софья Александровна уцелеет, то и Гратов

проживет жизнь, а если она скончается, тогда не будет нужна электротехника. И что тогда будет нужно?

Гратов вышел на воздух. Улица лежала дорогой к Софье Александровне. Телеграфная проволока тоже тоскливо звенела о ней. Гудок паровоза извещал, что поезд трогался в поля, где томится Софья Александровна. Ночь наклонялась над землей, уже касаясь ее мягкими утешающими руками.

В доме напротив, через двойные рамы, слышно, как плачет ребенок. Гратов жалел его, что он остается в городе без Софьи Александровны.

Пальмы в залах вокзала завяли — их убило горькое дыхание людей, скопище ядов близко работавшей революции. Гратов сел на пол у агитпункта. Мертвый свет электричества беспристрастно свидетельствовал 3-й класс, этот сосуд мертвой крови уставшей революции. Несчастье людей было так велико, что оно обратилось в скуку. Поэтому пассажиры говорили об обыкновенных вещах и старались спать. Гратов знал, что есть живая кровь революции, но сейчас он видел мертвую.

В два часа ночи Гратов вскочил от гула людей — отправлялся поезд. Гратов забылся в кошмаре, потом быстро вскочил и, не опомнясь, полез на платформу в спрессованной толпе. Сзади него оказался лихой человек, хотевший ехать. Он так настойчиво работал, что кто был впереди него — и Гратов, — нечаянно попали на тормозную площадку товарного вагона. Тот человек вынужден был посадить передних, чтобы попасть самому. Теперь он смеялся от успеха и по складам читал маленький плакат на стене площадки: «Советский транспорт это путь для паровоза истории».

Гратов думал, что читающий сейчас должен бы засмеяться, но на самом деле согласился с плакатом: он мог понимать написанное буквально, а не иносказательно; он представил себе хороший паровоз со звездой впереди, едущий порожняком по рельсам неизвестно куда; дешевики же возят паровозы сработанные, а не паровозы истории; едущих сейчас плакат не касался.

Гратов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и бессмысленно пережить дорогу до Софьи Александровны.

Через два дня Гратов достиг деревни Волошино, обледенный от зимнего ветра и без понятия о своем пути.

Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в поступках, ни в страдании, ни в любви — он всегда хладнокровен и одинаков. Его роль: видеть, быть свидетелем; но он без права голоса в жизни человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель

не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.

Пока Гратов в беспамьятстве ехал и шел к Софье Александровне, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Гратову, но Гратовым не был.

Этот зритель был как бы дилетантским подобием человека: в нем все человеческое имелось налицо, но чего-то малого и главного не доставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется — так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.

Это евнух души человека. Вот чему он был свидетелем.

Первый час Гратов ехал молча. Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя боится свои тщетные надежды, а вождь из массы извлекает пользу. Тормозная площадка вагона, где уместилось человек двадцать, признала своим вождем того человека, который втиснул всех на площадку, чтобы влезть на нее самому. Этот вождь ничего не знал, но обо всем говорил. Поэтому люди ему верили — они хотели достать где-то по пуду муки, и вот им нужно заранее знать, что они достанут, дабы иметь силы мучиться. Вождь говорил, что все непременно муку обменяют: он уже был там, куда люди едут. Он знает эту богатую слободу, где мужики едят кур и пшеничные пышки. Там скоро будет престольный праздник и всех мешочников обязательно угостят.

— В избах тепло, как в бане, — обнадеживал вождь. — Бараньего жиру наешься и лежи себе спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашонки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы, — ешь до тех пор, пока в скулях судорога не пойдет. А пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сала в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!

Люди слушали вождя в каком-то испуге опасной радости.

— Господи, да неужли ж вернется когда старое время? — почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший голод мучительно и страстно, как женщина ребенка. — Нет, тому, что было, больше не вековать!.. Ух, выпил бы я сейчас хоть рюмочку — все бы грехи царю простил!

— Что, отец, аль так хочется? — спросил вождь.

— И не говори, милый! Чего я только не пил: тут тебе и лак, и политура, за деколон большие деньги платил. Корябает, а души не радует!

А помнишь, бывало, водка — санитарно готовилась, стерва! Прозрачна, чисто воздух божий — ни соринки, ни запаха, как женская слеза. Бутылочка вся аккуратная, ярлык правильный — искусная вещь! Хватишь сотку — сразу тебе кажется и равенство, и братство. Была жизнь!

Все слушатели вздохнули о водке с искренним сожалением, как по убиенному младенцу. Близ поезда земля бежала навстречу поезду, а вдалеке она шла попутно, в одном направлении. Поля были освещены снегом, и степные подлунные ландшафты просились в душу, но их туда не пускали, и они бесплодно растрчивались ходом поезда.

В жалобах и мечтах ехали люди зимней ночью и не замечали, что один молодой человек стоит среди них, уснув на ногах. Он ехал без вещей и мешка: вероятно, имел другую посуду для хлеба или просто скрывался. Вождь хотел у него по обычаю проверить документы и спросил — куда он едет. Гратов не спал и ответил одну станцию.

— Сейчас будет твоя станция, — сообщил вождь. — Зря место занимал на короткое расстояние: пешком бы дошел.

Станция освещалась одним керосиновым фонарем, хотя день уже настал, а под ним стоял дежурный помощник начальника. Пассажиры побежали с чайниками, пугались всякого шороха паровоза, боясь остаться на этой станции навсегда, но они могли бы ползать, а не бегать, потому что поезд остался на этой станции ночевать.

Помощник начальника ходил между своей конторой и паровозом — туда и сюда. За ним металась толпа народа, думая, что он сейчас отправит поезд, но помощник начальника таинственно молчал. Этим он превращал свою должность в занятие народного значения, и властно наслаждался.

Гратов попал в просторную хату около станции, где давался любому человеку ночной приют, за какую-нибудь плату. До Волошино, сказали, сорок верст глухой дороги — следовало ночевать здесь. На полу постоянной хаты народ лежал ярусами. Все помещение озарялось открытой печкой. У печки сидел мужик с грустной черной бородой и следил за действием огня. От вздохов и храпа стоял такой шум, точно здесь не спали, а работали. При тогдашней озабоченной жизни и сон являлся трудом. За деревянной перегородкой была другая комната — меньше и темней. Там стояла русская печка, на ней бодрствовали только два голых человека и чинили свою одежду. Гратов обрадовался простору на печке и полез туда. Голые люди подвинулись. Но на печке была такая жара, что можно печь картошки.

— Здесь, молодой человек, не уснете, — сказал один голый. — Тут только вшей сушить.

Гратов все-таки прилег. Ему показалось, что он с кем-то вдвоем: он видел одновременно и ночлежную хату, и самого себя, лежащего на

печке. Он отодвинулся, чтобы дать место своему спутнику и, обняв его, забылся.

Двое голых починили одежду. Один сказал: «Поздно, вон малый уж спит», — и оба слезли на пол искать места в ущельях спящих тел. У мужика с черной бородой печка потухла; он встал, потянулся руками и сказал: «Эй, горе мое скушное!» А потом вышел наружу и больше не возвращался.

В хате стало холодать. Вышла кошка и побрела по лежащим людям, трогая веселой лапкой распушенные бороды.

Кто-то не понял кошки и сказал со сна:

— Проходи, девочка, сами не емши.

Вдруг среди пола сразу вертикально сел опухший парень в клочьях ранней бороды.

— Мама, мамка! Дай отрез, старая карга! Дай мне отрез, я тебе говорю... Надень чугуна на него!

Кошка сделала спинку дугой и ожидала от парня опасности.

Соседний старик хотя и спал, но ум у него работал от старости сквозь сон.

— Ляжь, ляжь, шальной, — сказал старик. — Чего ты на народе пугаешься? Спи с богом.

Парень повалился без сознания обратно.

Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю теплоту, начинался мороз. Балки ночлежной хаты изредка потрескивали. Окна зарисовывались растениями фантастической страны, будто рощи лунных долин. Вдалеке неустанно гудел какой-то срочный поезд — его стискивали тяжелые пространства, и он, вопя, бежал по глухой щели планеты.

Резко трянуло, и Гратов очнулся. Он вспомнил про сундук, в котором вез булки Софье Александровне. Там масса сытных булок. Сундука на печке не оказалось. Тогда Гратов осторожно слез с печки и пошел искать сундук внизу. Он весь трепетал от испуга утратить сундук, все его душевные силы превратились в тоску о сундуке. Гратов встал на четвереньки и начал ощупывать сонных людей, предполагая, что они спрятали под собою сундук. Спящие ворочались, и под ними был пол. Сундука нигде не обнаруживалось. Гратов ужаснулся и заплакал от обиды. Он снова крался по спящим, трогал их сумки и даже заглядывал в печь. Многим он отдал ноги, другим оцарапал подошвой щеку или стронул с места всего человека. Семеро проснулись и сели.

— Ну, чего ты, дьявол, ищешь? — с тихим ожесточением спросил благообразный мужик. — Чего ты сеял тут, бессонный сатанбид?

— Ляпни его валенком, Степан, к тебе он ближе! — предложил другой человек, спавший в шапке на кирпиче.

— Вы не видели сундука моего? — обратился Гратов к угрожающим людям. — Он замкнут был, вчера принес, а сейчас нету.

Черноватый зоркий мужик пощупал свою сумку и сказал:

— Ишь ты гусь какой! Сун-дуук! Да аль он был у тебя? Ты вчера порожний прибыл: я не зажмуримши сидел. А теперь сундука захотел!..

— Да дай ты ему, Степан, хоть раз: у тебя лапа посытей моего! — попросил человек в шапке. — Уважь, пожалуйста: всех граждан перебудил, сучий зверь! Теперь сиди наяву до завтра.

Гратов потерянно стоял среди всех и ожидал помощи.

Из другой комнаты, от русской печки, раздался чей-то устоявшийся голос:

— Выкиньте сейчас же вора за дверь! А то я встану, тогда всех перебрякаю. Дайте покой хоть в ночное время советскому человеку.

— А, да чего тут с ним разговаривать! — крикнул лобастый парень у двери и вскочил на ноги. Он схватил Гратова поперек, как сноп, и выволок его на мороз.

— Остынь тут! — сказал парень, и ушел в теплоту хаты, прихлопнув дверь.

Гратов пошел по улице. Звезды начинали проливать свое серебро на небе. Небо от этого чуть светлело. Природа была очень звучна и доносила чьи-то легкие женские шаги. К уличному колодцу вышла баба и насадила ведро на крюк. Высокий журавлиный рычаг начал опускать шею, чтобы и самому напиться. Сжатый морозный воздух успокоил Гратова. Женщина же, набрав воды, прошла мимо Гратова вся разукрашенная свежестью соленой зимы: ее глаза блестели, а щеки цвели румянцем. Серый свет раннего утра этого не скрыл.

— Далеко тут мне до Волошина? — спросил женщину Гратов.

Женщина остановилась. Она была веселая и хорошая. Ей бы нужно позвать Гратова в свою избу и продержать, пока не рассветет. Гратов бы уснул и, может, выздоровел. Но у людей что-то першит в душе и мешает ей течь открытым потоком. Гратов это неясно почувствовал, но ему было не до того.

— Далече, — ответила женщина. — Верст сорок будет. К вечеру-то дойдешь. Иди все прямо, прямо, справа тебе будут выселки, а ты все мимо, мимо — там тебе и Волошино.

Женщина пошла, и коромысло с ведрами раскачивали ее тело.

Выбравшись из поселка, Гратов побежал. Его тоска по Софье Александровне стала физической силой, и он бег, не уставая, очень долго. Когда Гратов ощутил, что грудь его горит от перегонки холодного воздуха, он пошел шагом.

Гратов увидел восход солнца. Ему послышалось, что солнце гремит: такая пышная огненная работа не может совершаться в безмолвии.

Восход солнца каждое утро — новое и единственное явление, как сотворение мира. Свет с востока сегодня походил на вспугнутую стаю птиц, мчавшихся по небу с кипящей скоростью в сосущую темную высоту.

На татарском кургане подгорал снег и показывал пепел летней земли.

Гратов весь сосредоточился на движении ног. Он их гнал все быстрее и быстрее, ноги не чувствовали никакой усталости, и сами просили работы.

Проходя мимо кургана. Гратов запел песню, к чему никогда его не влекло.

На диком кургане
В широкой степи...

Вообще — жить нельзя, можно жить детально. Залитый любовью, Гратов действовал без памяти и без контроля. Эти дни и часы не оставляют в нем следа: любовь ничего не считает. Однако ни одна секунда не терпит пустоты, и Гратов невольно наполнял их действиями. Лишь евнух его души, равнодушный зритель, без одобрения и без осуждения наблюдал катастрофу своего спутника.

Поездка на тормозной площадке и приключение на ночлеге не сохранились в голове Гратова. Голова его не могла думать — ум тоже любил и стал похожим на сердце. Ноги неслись, хотя им не хватало крови. Все тело Гратова занялось сплошной любовью, все органы изменили своему назначению. Человек переродился — кровь и мускулы утратили законы своих действий и отличий и сплывались в равномерное вещество любви. Только сторож жизни по-прежнему неотлучно дежурил на своем освещенном месте в подъезде человека. Для него мир всегда прозрачен, но сам он был непрозрачный и непроглядный.

На размытом оползшем кургане лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, источенные водами и ветрами. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Гратов помахал крестам рукой, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы.

— Вы будете еще жить!

Гратов и Дванов давно сговорились, что они будут работать, учиться и изобретать с таким усердием, чтобы к концу своей жизни сделать всю природу совершенно пластичной и покорной резцу разума человека. Тогда мертвые будут воскрешены — не из необходимости, а для доказательства творческой силы и вечной памяти человечества.

Они стояли осенью над могилой умершего двухлетнего брата Дванова. Близко звучала молитва панихиды, как легендарная надежда, о

вечной памяти. Это была насмешка: схороненный старик всеми забылся через неделю.

Дванов и Гратов решили отомстить природе за смерть детей и осуществить нежную мечту о вечной памяти. Друзья были молоды и гневны: победа революции обнадежила их на более могучие дела.

Дванов говорил: мы никогда не полюбим одну женщину, не будем долго спать по ночам — пойдем походом против вселенной: после революции осталась война с природой; мы будем работать непрерывно, как кружатся атомы, мы теперь вооруженная любовь и умная жалость; мы теперь знаем, что мир это нелепая катастрофа — надо спасти его для него самого и для нас.

Два года прошло с того разговора на кладбище: и вот что случилось! Дванов пропал в тумане степей, а Гратов бежит по проселку. Охоту за целым миром они превратили в погоню за одной Софьей Александровной.

Так представлял, без теплоты сожаления, маленький зритель в сознании Гратова. А Гратов бежал по дороге, спускающейся в балку. Сразу открылась деревенька на противоположном склоне балки. Деревни все полуживые: над их крышами непосредственно висит и давит безнадежная небесная бесконечность. Соломе не устоять против этой угрюмой тяжести. На краю единственной улицы стоял кирпичный дом: наверно, школа.

Гратов постучал в школу. Отворил сторож — у него действительно школу не разрушишь. Это старый одинокий человек, берегущий учительниц, как единственных дочерей, а школьное имущество, как личное хозяйство. Он хотел бы, чтоб школу не посещали дети: они корябают столы и мажут стены. Сторож верил, что без его забот учительница умрет, а школа растащится. Так он надеялся взять в могилу любимые вещи. Сторожа это народ ночной тишины и вечности имущества.

Гратову понравился сторож: у такого Софья Александровна цела.

— Здесь живет Софья Александровна Крашенина?

Сторож с ревностью посмотрел на Гратова.

— Тута. Оботри ноги... Да ты не беги: сперва доложить надо, может, у них непорядок наружи — они женщина... И как это люди не понимают: удивляюсь я вам!

Софья Александровна вышла сама навстречу.

Гратов стоял обледенелый, грязный, со следами слез на щеках, выбитых ветром из глаз.

Затем из горницы Софьи Александровны время было выпущено на свободу, и Гратов увидел ночь в окно, когда пил воду в кухне у сторожа. Сторож побрякивал одеревенелым ногтем по столу и не сочувствовал Гратову.

Софья Александровна глядела в ночное поле. Недалеко дремала мельница на синем лунном снегу. Там было такое безмолвие и такая со-

сущая пустота, что иногда падали звезды. Гратов заметил тающие линии теней на снегу от летящих звезд.

Софья Александровна не поверила:

— Над падающими звездами нет солнца.

Гратов обождал и вновь увидел мгновенную змею исчезающей по снегу тьмы.

— Что-то есть, — согласилась Софья Александровна. — Но это не тень звезд.

Гратов хотелось спать от полного покоя. Он нимало не стеснялся Софьи Александровны, как будто она знакома ему была давно, и он привык к ее близости. Не зная ее дальше ладони руки, Гратов ощущал ее как родную и вперед знал, чем пахнут ее волосы, ее грудь и милые руки. Откуда во мне эта давность знакомого чувства? — вспоминал Гратов. И увидел: рука Софьи Александровны похожа на руку его матери, и волосы пахнут травой волос матери. От этого же Гратов сразу привык к Софье Александровне и не имел необходимости показывать свои лучшие завлекательные стороны. От любимой, как и от матери, невозможно скрыться: знание матери здесь заменено страшной подозрительной проницательностью чувства.

— Софья Александровна, вы любите кого-нибудь? — спросил Гратов близ полночи. За ночным окном шло непрерывное сотворение мира и звучали древние ритмы времени. Мельница шевельнулась крылом, но раздумала и успокоилась. Давно уже лаяла собака — истово и тоскливо, как на необитаемом острове.

Софья Александровна стояла у печки и грелась. Она широко открыла глаза, чтобы тоньше растянуть на них пленку влаги и сделать ее незаметной для Гратова.

— Я и сейчас люблю.

Гратов не поверил: его молодость хотела жить.

— Кого?

— У меня есть друг. Он живет около озера Ильменя. Я там росла в чужой семье. Когда я уехала, он надел валенки, влез на печку — там маленький поселок — и ждал меня полгода. Каждый день я получала от него письма, и редко отвечала.

— А теперь он что?

— Теперь он очень болен и лежит в Петрограде. Я летом поеду к нему.

Гратов хотел представить себе того любимого человека-призрака.

— Замуж выйдете? — спросил он.

— Не знаю еще, — замкнулась Софья Александровна. — Я не хочу искать любви, я хочу с ней встретиться нечаянно.

— А Геннадия вы любите?

Софья Александровна улыбнулась: она никогда не теряла чувства выбора и цены людям.

— Для Геннадия жизнь — разговор человечества с самим собою, а любовь — разговор вдвоем. Он сам мне так сказал. Кто же пойдет на такое ораторское искусство?

— А Дванов?

— Дванов — фантаст, но необыкновенный. Я про таких даже не читала. У него мечтает не мысль, а воля: он погибнет, по-моему. Но жить будет красиво каждый час. Вы заметили, у него какая-то подавленность своей мечтой: он сейчас же ее хочет исполнить! Верно ведь? Я думала о нем.

— Это верно! — удивился Гратов. — А я?

— А вы? Вы — хороший и простой. Вы будете жить счастливо: вы не Дванов. Тем владеют идеи и фантазии — они сильнее его, — а вы умеете как-то пользоваться ими. Правда, я хорошая гадалка?

— Да, вы умная женщина, — сдавался Гратов: ему некуда было спрятаться от Софьи Александровны. — А вы не хотите выйти за меня замуж?

Софья Александровна подошла к нему. Гратов увидел ее ясное лицо и понял: она не любила его, но знала про его страдание и хотела утешить в утрате невозможного. Гратов поднялся, чтобы сейчас же ночью уйти отсюда навсегда, но рука Софьи Александровны легла ему на голову, из руки ее шло забвение всему, даже любви. Гратов затих и захотел спать. Софья Александровна наклонилась к нему:

— Ну, что с вами, славный мой? Не надо так, мальчик, не надо волноваться — у вас это быстро пройдет. Вы будете хорошо жить. Ну, зачем я вам так нужна? Ну, опомнитесь — вы потом сами забудете меня...

Гратов прилег к ее другой руке и плакал, теряя всего себя, забываясь и смертельно тоскуя. Слезы лились беззвучно и обильно, но они спасали его.

Сквозь печь слышен был храп сторожа из кухни. Пес на дворе не укрощал своего лая. Софье Александровне показалось, что кто-то стучит, она пошла, но никого не было. Гратов встал ей навстречу, и Софья Александровна открыла ему руки. Гратов, не обнимая, поцеловал ее в щеку. Софья Александровна взяла его за голову и прильнула сухими губами к его лбу. Гратов почувствовал резь на лбу, как ранку, и вдохнул в первый раз, но давно знакомый, запах свежей травы.

Софья Александровна отвернулась к стене и гладила стену мучившейся неуверенной рукой. Она обернулась, искаженная напряжением горя, но без слез:

— Зачем вы довели меня до жалости? Я никого никогда не полюблю... Оставьте меня все. Идите домой...

Софья Александровна легла на кровать вниз лицом. Гратов сел в ее ногах и гладил ее башмак. Ночь, наверно, кончилась: уже возился сторож за стеной, и затихла собака. Мимо школы прошуршали сани. Мельник пустил мельницу, встречая тягу утреннего ветра. Все становилось обыкновенным. Только холодом белела подушка Софьи Александровны, и таинственно распустились ее темные волосы.

Гратов лег на ноги Софьи Александровны и заснул. Он не почувствовал, когда она покрыла его шалью и положила удобней и ближе к себе.

Проснулся Гратов один на постели. Софья Александровна мылась в другой комнате. Тишина белой комнаты, шаги близкой Софьи Александровны и перспектива белых полей за окном влекли Гратова остаться здесь навсегда.

В дверь грубо застучала палка. Сторож тронулся и, возясь со щеколдой и задвижкой, ругал беспокойного человека наружи:

— Чего ты кнутовищем-то содишь? Тут женщина спит, а доска дюймовая. Ну, чего тебе?

— Учительница Крашенина здесь живет? — спросил чужой обветренный голос.

— А зачем она тебе? — пытал сторож.

— Покажи нам ее.

— Ежели они захочут — так поглядишь.

— Пусти — кто там? — сказала Софья Александровна.

Двое сошли с коней — Мрачинский и Дванов.

Софья Александровна отступилась от них.

— Здравствуйте, Софья Александровна! — чужим огрубевшим голосом обратился Дванов. — Небось, не ждали такую компанию...А, и Гратов здесь! Сторожить пришел? Здорóво!

Мрачинский глядел на Софью Александровну снисходительно. Он решал, стоит ли перебить этих парней, чтобы завладеть на сутки Софьей Александровной, или она не стоит таких усилий.

— С вами еще есть кто-нибудь? — спросила Софья Александровна. — Зовите, Дванов, своих товарищей, если у вас есть сахар, то я вас напою всех чаем.

Дванов кликнул с крыльца и вернулся. Пришел Никита и еще один человек — малого роста, худой, с гордыми, но благородными глазами. Уже на пороге он почувствовал влечение к Софье Александровне: не ради обладания, а для защиты угнетенной женской слабости. Звали его Степан Копенкин.

Копенкин всем поклонился, наклонив вдохновенное лицо, и предложил Софье Александровне конфетку-барбариску, которую он возил месяца два в кармане, неизвестно для чего. От Копенкина всем как-то стало легко, просто и весело. Даже Гратов обрадовался ему, а Мрачин-

ский оставил свои мысли об изнасиловании. У Копенкина был сердитый бас, единственная гроза в этом человеке.

— Никита, — сказал он. — Свари кипятку на кухне: проведи эту операцию с Петрушей. Пошукай у себя меду — ты всякую дрянь грабишь: судить я тебя буду в тылу, гаду такую!

— Откуда вы знаете, что сторожа зовут Петром? — с ласковым удивлением спросила Софья Александровна.

Копенкин привстал от искреннего уважения:

— Я его, товарищ, лично арестовал в имении Бушинского за сопротивление ревнороду при уничтожении отъявленного имущества!

Гратов тихо спросил Дванова, что это за люди с ним.

— А вот сейчас увидишь! — сказал Дванов и повернулся к улыбавшейся Копенкину Софье Александровне.

— Софья Александровна, я вам должен шире представить товарища Копенкина — это вождь полевых большевиков, спасший мне жизнь от покушений того мужа! — Дванов показал на Мрачинского.

Дванов смеялся, он не огорчался на прошлое.

— Такую сволочь, — заявил Копенкин про Мрачинского, — я терплю до первого сражения... Понимаете, Сашу Дванова я застал голым, раненым на одном хуторе, где этот сыч с отрядом кур воровал! Оказываются, они ищут безвластия! Чего? — спрашиваю я. — Анархии, говорят. Ах, чума вас возьми: все будут без власти, а они с винтовками! Сплошь — чужь! У меня было пять человек, а у них тридцать: и то я их взял. Они же подворные воры, а не воины! Оставил в плену его и Никитку, а остальных распустил под честное слово о трудолюбии. Вот погляжу, как он кинется на бандитов, так ли, как на Сашу, иль потише. Тогда я его сложу и вычту...

Мрачинский чистил щеточкой ногти. Он хранил скромное униженное достоинство.

— Вы извините нас, Софья Александровна, — обратился Мрачинский единственно к ней. — Я случайно в такой компании. Я литератор, и мое призвание иное, чем война. Видите ли, я так рад встретить в вас произведение культуры на этих степных дорогах, что искренно огорчен...невозможностью вести последовательную беседу...в таких странных условиях...Я изучаю тему своего романа и хотел бы...

Копенкин никак не обиделся.

— Слушай, начальник анархии, скажи-ка этот стишок про жидовского странника.

Мрачинский снисходительно улыбнулся и снова сказал для одной Софьи Александровны:

— Я как-то назвал Копенкина современным Агасфером и прочел стихи Беранже. Вы, конечно, помните это замечательное создание? Копенкину особенно понравились вот эти строчки:

За пир, за угощение —
Мое благодарение.
Но слишком я томлюсь,
Когда остановлюсь.

— А где же остальные члены отряда Копенкина? — спросил Гратов у Дванова.

— Их Копенкин отпустил к женам на двое суток: он считает, что военные поражения происходят от потери жен солдатами. Он хочет завести семейные армии.

— А ты как попал сюда?

— А я сказал, что у меня здесь жена. Копенкии сам холост, он взял и поехал ко мне в гости. Мы были тут не очень далеко.

— Это Софья Александровна твоя жена?

— Ну, конечно... Не все ли равно! Ей только не говори.

Никита принес мед в пивной бутылке, а сторож — самовар. Мед пах керосином, но все-таки его съели начисто.

— Механик, сукин сын! — осердился Копенкин на Никиту. — Мед в бутылку ворует: ты больше его мимо пролил. Не мог корчажку найти!

Мрачинский старался уединиться с Софьей Александровной для изящной беседы, но Софья Александровна сторонилась его.

— Вы сегодня разве не преподаете? — интересовался Мрачинский.

— Нет, — отвязывалась Софья Александровна.

— Позвольте, почему же?

— Дети голодны и босы.

Копенкин удалил Мрачинского.

Чай был выпит. Копенкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней пальцем.

— Ты иди пока на кухню, друг, я теперь помню стишки. Потом через час лошадей попоишь...Петрушка, — крикнул Копенкин сторожу. — Покарауль их! Ты тоже ступай туда, — сказал он Никите. — Не хлестай кипятком до дна, он может понадобиться. Что ты в жаркой стране, что ль?

Дванов, Гратов и Копенкин перешли в другую комнату. Софья Александровна по привычке прислонилась к печке спиной. Она все время рассматривала Копенкина и вспоминала, где она видела его лицо — простонародное и нежное, некрасивое и грустное. Копенкину было лет тридцать. Грубость солдата в нем была не своя: он надувался, когда говорил с Мрачинским или Никитой. Сам он был какой-то иной: неизвестная мечта руководила им сильнее всякой естественной страсти. Поэтому глаза Копенкина всегда глядели наоборот: он смотрит на человека, но человек может ему показать кулак, и Копенкин не сразу заметит. При

тишине в разговоре он сразу уединялся в себя, а когда сам говорил, то прерывался и слушал в себе какой-то посторонний шум. Софья Александровна уже заметила в нем чувство предвзятого обожания всякого человека, с которым Копенкин встречался в первый раз. Копенкину сразу нравился встречный человек, а уже потом он узнавал в нем друга или врага. Затем эта искренняя вежливость в Копенкине, сразу обнимающая человека! Кто он — цивилизованный человек или батрак? На лице Копенкина нельзя прочесть его прошлого — это стершийся о революцию <2–3 сл. утрач.>. Копенкин сейчас осматривал комнату хитрыми скупыми глазами. Казалось, он хозяйски ласкает вещи. Но сразу же взор его заволакивался воодушевлением, и он мог с наслаждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обаяние товарища. Софья Александровна начинала понимать душу Копенкина: это хитрость и вдохновение, бережный пахарь и рыцарь-расточитель¹.

Но смутно было на сердце Софьи Александровны. Она как-то заблудилась среди этих хороших людей: все они ей нравились до тоскливой привязанности, до желания всегда быть вместе. Но чего же ей нужно еще? Нужно, чтобы растаяли облака туманной симпатии и засветило голубое небо неподвижной любви.

Чем больше наблюдала Софья Александровна Копенкина, тем сильнее и ближе она его вспоминала. Неизвестное полюбить нельзя, поэтому любовь входила в Софью Александровну по дороге воспоминаний. Эта дорога воспоминаний лежит между двумя родинами человеческого сердца — матерью и любимым. Лишь вспоминая детскую любовь, Софья Александровна шла к своей второй и последней любви. Лучшие симпатии молодости только тень и подобие младенческой любви. Из той зари жизни идет одинокая дорога воспоминаний — вплоть до солнечного света страсти, когда девушка размножается своими потомками.

Любовь не рождается произвольно и отвлеченно: она копия уже чего-то бывшего в собственной ранней жизни.

Софья Александровна невольно глубже вбирала воздух, когда приближался к ней Копенкин, гулявший по комнате. Копенкин имел запах ее одеяла, когда она спала девочкой между отцом и матерью.

Дванов и Гратов глядели на нее усталыми жалобными глазами.

«Милые мои друзья, — думала про них Софья Александровна. — Как мы все измучились и изменились!» — и чувствовала в себе какое-то радостное приближающееся спасение.

¹ Далее в предложении две-три строки под наклеенной вставкой (в составе СР) не прочитываются.

— Софья Александровна! — заговорил Дванов. — Товарищ Копенкин смертельно влюблен. Правда, это не похоже на него?

— Почему? — быстро спросила Софья Александровна. И прибавила с непонятым раздражением: — Настоящая любовь редка, как... что? Ну, как появление гор. Это просто люди семьи хотят.

Дванов не поверил ее мнению:

— Чтобы родить детей и покончить счеты с личной судьбой? Нет, у Копенкина не так. Он любит Розу Люксембург. А она давно мертвая.

Копенкин осветился страдающим чувством. Он тронул эфес своей сабли и воскликнул с обожанием и восторгом.

— Ты верно сказал, товарищ Дванов! Роза Люксембург это моя идея! Пусть вечно живет ее самое прекрасное лицо в моем боевом и печальном сердце!

Бледный Копенкин вдохновенно и невидяще глядел на Софью Александровну, бессознательно подменяя ее портретом Розы Люксембург:

— В память бессмертной Розы, мы сделаем земной шар домом матери и ребенка! У всякой женщины есть груди и верный взор красивого друга — то же самое, как у первой женщины всего мира — Розы! За это — все женщины охраняются моим мечом.

Воспоминания о Розе Люксембург так возбудили Копенкина, что он блестел глазами, полными скорбных слез. Он неутомимо шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты.

— Моя любовь теперь сверкает на сабле и в винтовке, но не в бедном сердце! — объявил Копенкин и обнажил шашку. — Врагов Розы, бедняков и женщин я буду косить, как бурьян!

Пришел Никита с корчажкой молока. Копенкин махал шашкой.

— У нас дневного довольствия нету, а он летошних мух пугает! — тихо, но недовольно упрекнул Никита. Потом громко доложил:

— Товарищ Копенкин, я тебе на обед жидких харчей принес. Чего бы хошь доставил, да ты опять браниться будешь. Тут мельник барана вчерашний день заколол — дозвожь военную долю забрать! Нам же полагается походная норьма.

— Полагается? — спросил Копенкин. — Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене! Больше нормы не бери!

— Тогда контрреволюция будет! — подтвердил Никита со справедливостью в голосе. — Я казенную норьму знаю: кость не возьму.

Краткий день замирал. Природа была скучна, отдельно от человека. Софья Александровна удивлялась нелепой и мечтательной любви Копенкина к Розе Люксембург. Ее радовала эта благородная верность мертвому образу любимой. Очевидно, душа Копенкина умела превращать

даже мертвую воду в живую, потому что у Копенкина чувствовалось большое напряжение жизни и способность к непрерывным подвигам.

Гратов сам отвел себя на второй план и молчал. Он не мог противостоять перед Софьей Александровной рядом с такими соперниками. Он заранее признал себя пораженным: его любовь оказалась слишком нежной и уязвимой всяким преимуществом другого.

Копенкин отправился наблюдать лошадей. Тогда Дванов и Софья Александровна засмеялись.

— Вы помните, — сказал Дванов, — как говорил Геннадий! Все-таки умный он дядя! Он говорил, что человек живет тогда, когда питается трупами, верит в ошибку и думает невежественно. А кто захочет жить наоборот, тот моментально погибнет. Конечно, у Геннадия все это были контрреволюционные мелодии: большевизм, по его <мнению>, невежество, а вера во всемирную революцию так же безнадежна, как вера в бога. Но именно поэтому, думает Геннадий, и существует революция... Как бы он посмотрел на товарища Копенкина! Вот бы их свести!

— Да, это интересно, — ответила Софья Александровна. — Ведь Геннадий верит, что советская революция большая ошибка, так что после нее обязательно придет какая-то общественная истина...

— Он еще говорил про ошибки, — отозвался Гратов, — что ошибки почва для истины. Вот он и решил, что после советской ночи наступит его буржуазный день. А такой, как Копенкин, сразу бы ему отшиб веру. Копенкин замечательный человек, по-моему...

¹В Дванове не удержалась мысль: он открыл Копенкина.

— Знаете, Копенкин это человек пролетарской эпохи Возрождения! — сказал он с большой радостью. — Верно? Мы живем в первые дни гуманизма...Посмотрите, какая благородная сила дышит в этом Копенкине — это как будто современник Данте...Нет, даже утренние сумерки уже кончились — над нами горит полное солнце творческого коммунизма...

Софья Александровна, как женщина, редко обольщалась одной мыслью. Для нее никогда не исчезал прозрачный воздух между людьми и событиями, поэтому она не потеряла отчетливости зрения. Она сомневалась:

— Смотрите! Не ошибетесь ли вы в товарище Копенкине? Пока взойдет заря возрождения, семь рос сойдут, и в каждой будет война и отравы... Копенкин же только воин, больше он ничего, а теперь советской власти нужны строители. Его обгонит революция, вот посмотрите!

¹ На левом поле запись вдоль страницы: <1 нрзб> / не успел Копенкин / как следует / пока заря / а уж все его истолковали / нужно / чтобы / пока за<ря> / делал выводы / сам / чтобы день. Запись зачеркнута.

— А он останется на острове 1918 года, да? — закончил вопросом Дванов.

— Ну, да... — сказала Софья Александровна.

— Тогда вы слишком чутки!

— Женщин же не бывает глупых...

— Это постоянное качество мужчин?

— Вероятно... Мужчины часто увлекаются. А Геннадий говорил, что при увлечении на мозг садится облако... Вот вы и видите все через пар.

Мрачинский, Никита и Копенкин сразу пообедали и поужинали и легли спать на кухне у Петра. Копенкин задумал завтра рано выбраться из Волошина.

Для Гратова и Дванова началась страшная ночь. Мельница осветилась на синем снегу лунным восходом. Строй звезд вышел на свой стерегущий труд. Софья Александровна уже знала, что наступило ее время, что-то соответствовало в ней всему ночному лунному миру. Она молчала, чтобы дольше и тише думать о своем расцветающем счастье. Четыре глаза требовали от нее утешения на целую жизнь. Чтобы рассеять своих друзей, Софья Александровна первая засмеялась:

— Что-то скучно у нас, как будто мы одни остались на свете. Давайте разговаривать.

Дванов имел счастливую способность — переводить свое страдание в отвлеченную мысль, вовсе не похожую на свой источник.

— Я думаю, что в человеке две мертвых и разных души. Оттого, что они разные, получается противоречие и жизнь. Каждая наша душа мертва, но от их разницы создается противоречие и движение. Разделенная плотиной вода все равно мертва, но вертит мельницу жизни...

— Как это — я не понимаю, — сказала Софья Александровна.

— Это просто. Копенкин, например, живет от противоречия Розы Люксембург и действительности.

— А ты? — спросил Гратов.

— Я? — подумал Дванов, и решил разом покончить: — Я сейчас живу оттого, что люблю Софью Александровну, а она меня не любит.

— И я тоже, — сознался Гратов.

В окно застучал кто-то по раме. Софья Александровна подошла к стеклу: там стоял Геннадий — сморщенный от мороза, без очков — с маленькими невидящими глазами. Он глядел на Софью Александровну, но видел, наверно, неопределенную чужую фигуру. Около мельницы виднелись деревенские сани, привезшие Геннадия.

Томление с приездом Геннадия увеличилось. Петухи подпевали идущему времени, а четыре человека боялись смотреть на часы, чтобы не замечать скорости последней ночи, смывающей их надежды. Геннадий

начал писать записки Софье Александровне. Та читала — иногда улыбалась, иногда загадочно отрицала головой. Геннадий писал, что он сговорился с губоно — есть служба в городе. Затем спрашивал, каких ей книг привезти в следующий раз — и так далее. Он настолько сгнил от культуры, что не мог написать: Софья Александровна, я вас люблю, прогоните этих молодцов! Чужие мысли в книгах приучили душу Геннадия к такой дисциплине, что она отучилась иметь самостоятельные поступки. Он без конца мог кружиться вокруг, но в сердце клонуть не осмеливался.

Гратову надоела игра. Он сказал:

— Хорошо бы сейчас пришел сюда какой-нибудь вестник: чужой и свободный, сказал бы нам необыкновенное и разомкнул нас всех навсегда.

— Он спит сейчас, и мы мучаемся, — поняла Софья Александровна. — Это Копенкин. Дванов, разбудите, пожалуйста, Копенкина! Дальше так нельзя...

— Да, надо кончить, — с грубостью сказал Дванов.

— Я тоже с этим согласен, — пробормотал Геннадий и опустил глаза: он знал свой конец.

Гратов быстро вышел наружу. Он оглядел звезды, решая, страшно ли будет одному под ними бежать отсюда. На том краю степи никто не ждал Гратова. Нечаянно он вспомнил женщину, встреченную вчера утром у колодца в станционном поселке, и захотел найти ее. У нее одной не страшно быть без Софьи Александровны. Безлюдный мир в этот час существовал одиноким и влек к себе другого одинокого и отверженного. Гратов поверил, что он в ночь добежит до поселка при станции, и на заре снова встретит около колодца знакомую женщину.

Гратов оглянулся на дверь школы — там мука и равнодушные любимой. Можно и следует завоевать все вещество вселенной, но любовь должна даваться даром. Далеко, в снегах полевых дорог, жалобно залаяла покинутая собака.

Гратов прислушался.

— Ей хуже, чем мне, и то она живет. Чего ждать?

И сразу побежал в поселок при станции, к той женщине, оставя в школе шапку и куртку. Даже ночлежная хата стала для Гратова уютной.

Полчаса ждала Гратова Софья Александровна. Дванов пошел за ним и долго звал его с крыльца.

Дванов вернулся один.

— Геннадий! — обратилась Софья Александровна. — Сейчас же: найдите возчика, который вас привез, и разыщите Гратова. Он простудится. Я вас очень прошу!

Геннадий встал и начал неуверенно одеваться. Потом он стал топтаться, чего-то ожидая.

— Скорей, Геннадий! — просила Софья Александровна. — Кого <1–2 сл. утрач.> ждете, как вам не стыдно!

Геннадий робко глядел на Дванова.

— А ты разве не поедешь?

— Да ты один его нагонишь! — отказался Дванов. — Тут одна дорога.

— Хорошо, — согласился Геннадий и заморгал, не в силах настаивать.

Геннадий ушел. Дванов заметил время: час ночи. К двум часам он должен договориться с Софьей Александровной, иначе вернется Геннадий.

В кухне храпели спящие, лишь один кто-то сопел.

— Я вас буду любить без конца и все больше, — заговорил Дванов, продолжая свое непрерывное чувство словами. — Я буду работать, чтобы мысли и чувства ваши стали событиями, а события сделали землю изумрудом. Каждому дыханию мы оплатим его надежды вещами. Я буду скоро инженером, и мы вместе достигнем луны, я давно думаю над метательным снарядом, он уже готов в моей голове. Но один я ничего не хочу делать — я люблю вас... как ночь любит луну... Жизнь ведь нечаянный и редкий случай в природе. Она козырный туз против шестерок: неужели мы проиграем? Давайте вместе жить, как одно существо. К нам пристанут другие, мы вдохновим людей, и все человечество превратится в сплошное живое тело... Общество станет организмом и одним большим человеком...

Наклонив голову, Дванов неясно и без связи говорил свое признание. Он путал идеи, обещал срочное осуществление любой мечты и не находил тех мучительных и простых слов, которые жили на дне его сердца. Эти слова не поддавались напряжению Дванова, но зато выходили произвольно в ненужных случаях.

Софья Александровна слушала терпеливо: она ясно понимала бред Александра Дванова, и параллельно в ней росли свои мысли.

— Не продолжайте, Александр! — ответила Софья Александровна. — <Я> вам вот что скажу, только по секрету. Любая женщина <хочет> <им>еть всех мужчин, а в одного влюбляется только <о>т отчаяния и невозможности... Вы понимаете меня? <Н>о зачем вы все обещаете, а ничего не делаете? Ну что мы с вами будем делать, когда поженимся? Вы не подумали этого?

— Я все сделаю, — вновь пообещал Дванов. — Но вы потом полюбите меня?

Софья Александровна нашла исход:

— Приходите, когда все сделаете. Я вас очень уважаю и ценю.

— Нет, вы сейчас скажите?

— Что за бессилие, Дванов? Как вам не стыдно — вы революционер и мужчина, а боитесь надеяться!

— Верно! — воскликнул Дванов и встал, готовый на все. — Ложитесь спать, я пойду на кухню. Скоро ведь утро.

А Геннадий бродил по деревне, тщетно разыскивая своего возчика. Хаты стояли угрюмые. Над ними светила опускающаяся луна. Попробовал Геннадий постучаться в одно окно, но собаки забрехали во всей деревне, и он отошел. Воздух сжался от мороза и звучал гулко. Геннадий не знал имени мужика — видел, что он русский. Но под какой крышей спит сейчас этот русский мужик? Кроме того, что делает там Дванов с Софьей Александровной. Геннадий постоял за околицей, чтобы не дразнить собак, и пошел к школе. В школе потух свет. Геннадий вздрогнул от ревности и тихо добрался до окна Софьи Александровны. Геннадий взгляделся в темноту комнаты. Сначала там было тихо, но потом Геннадий услышал сквозь двойные рамы ритм любви, — неиспытанный, но равно знакомый старику и девственному юноше. Звуки действующей любви, ищущей силы в своей растрате, вышли сразу из тишины и колебались в сознании Геннадия. Он не мог шевельнуться от испуга и в заколдованном очаровании невольно переходил к воображению деталей любви. От этого он трепетал в такт еле слышному чередующемуся шуму, и сам почти участвовал любовником.

В волнении Геннадий стукнул один раз пальцем по стеклу и отскочил от стены. Звезды дрожали над ним, повторяя любовный ритм, и небо затухало и освещалось смутными волнами. Геннадий почувствовал страстный брак природы и обиделся, что он существует не полноправно, а как суррогат человека.

Софья Александровна открыла форточку и сказала:

— Постучитесь в дверь, там вам откроют.

Геннадия впустил Никита. Пять человек лежало в ряд на постланной по полу соломе — и Дванов. Лицо его побледнело от сна, и измученный сжатый рот не помнил поцелуя. По детской привычке, Дванов кидался во сне. Сейчас он приник головой к животу Копенкина, спавшего с саблей и в полном обмундировании.

Геннадий вздохнул от удовольствия: значит, в комнате Софьи Александровны была не любовь, а тишина. И Геннадий чуть покраснел от срама любви, коснувшейся его своей всемирной провокацией.

Мрачинский не спал. Он наблюдал свои голые ноги — на них росла рыжая животная шерсть. Мрачинский смирился с текущими событиями и без интереса посмотрел на Геннадия.

В кухне воздух настолько поплотнел от насыщения дыханием людей, что он давил на вещи и журчал от движения руки.

— Фо! — отругнулся Мрачинский. — Большевицкая идеология в воздухе висит, хоть человека на ней вешай!

Геннадю было не до воздушного запаха¹: владелец обширного аппетита к пище и удобствам, он не имел брезгливости. Пусть будет пищей дохлый вол, лишь бы он был прожарен и вкусно подан. Пусть в комнате трупный запах жизненных извержений, лишь бы было тепло от них.

Геннадий до утра просидел за столом. Наверно, годы прошли за этим столом. Мертвое дерево защербилося от усыхания, и в щербини набилась старая, должно быть, еще дореволюционная, грязь, уже сросшаяся с телом древесины. Геннадий всмотрелся в мелкую жизнь стола, в терпеливый лабиринт расщелин, в тайну действия времени над распротертым беззащитным веществом. Геннадю нравилось, что стол останется равнодушным, если уедет отсюда Софья Александровна. Стол не любил Софью Александровну.

— Что у меня за кошмар. Я стал похож на Гратова!

Геннадий нудно почесал голову и заметил открытые глаза Мрачинского.

— Чтó, гражданин, и вам скучно? — не ожидая ответа, спросил Мрачинский.

— Не очень весело, — сообщил Геннадий.

Они поговорили, пока не побледнело окно. Оказалось, что Мрачинский пятнадцать лет писал книжки и статьи, а потом влюбился в одного своего героя — именно, современного Агасфера — и пустился повторить его судьбу. Сначала Агасфер ему снился: убогий, далекий и счастливый. Затем буквы под пером перестали изображать его вдохновенную душу и обратились в какие-то геморройные знаки. К тому же, революция лишила Россию некоего целомудрия: можно безопасно влезть внутрь страны и там шевелиться. Есть особое сладострастие в славе над людьми...

На этом месте вставил свое речение Никита: он, оказывается, не спал:

— Слава — срам, — сказал Никита. — Иной и душой умен, и белогрудок надевает, и весь такой лепный, а все равно на двор ходит: все люди подобны.

...Подпочва, подстилающая народ, есть анархия, дорогой собеседник! Был момент, когда и укладистые пласты почвы так взворочались, что обнажилась, так сказать, естественная анархия, подпочва, разверстое чрево девы, ждущее сильного мужа.

¹ *Сверху над словом воздушного запаха вписан возможный вариант замены: висящего воздуха.*

Прельщение было редкое, и Мрачинский решил, что исполнить мечту Агасфера — найти божий дом — лишь немного труднее, чем писать об этом же.

И Мрачинский свел жену со своим товарищем, чтобы освободить трусливое сердце от забот. Однажды он застал растерянную плачущую жену на сундуке в утешающих объятиях товарища. Мрачинский сказал себе: не томись, белый конь твой пасется в степях, и все города ждут победителя.

В Харькове фантастические интеллигенты, бывшие сотрудники мистических журналов, обслуживали штаб Махно — универсальный особняк, откуда начинались пути и в царствие божие, и в горную страну сверхчеловека, и просто на пшеничные хутора близ Диканьки. В особняке Махно служили все специальности, исключая уборщиц, которые сразу мобилизовались для ласк и не могли приступить к метле. Нагрузив особняк сором, штаб выехал на воздух — в степь.

Но страна разлюбила гимназиста Керенского, как незрелого в половом отношении, и искала более прочного и целесообразного брака. Теперь она как будто нашла себе мужа — пожилого и обстоятельного Ленина, а тогда Ленин лишь сватался. Тогда наивная Россия лишь искала себе мужа. Как все девственницы, она способна была на ошибку, но потом все равно привыкла бы и сжилась даже с нелюбимым. А мы не знали этого, и думали, что Россия хочет навсегда остаться девицей, то есть вольной анархией. Вот почему мы занимались двумя делами: ревностью и разгромом всех кандидатов жениться на стране — от монархистов до большевиков. Россия — дева небогатая, но баба будет покойная и работающая. Так и вышло. Мы ошиблись: страна сама хотела, чтобы ее кто-нибудь жал, мучил и по-семейному бил. Анархия не добилась развода России с большевиками и пошла в батраки к мужьям — либо к белым, либо к Ленину...

— А что вы лично хотели от революции? — спросил Геннадий.

— Я? Да я считал, что наступает век одинокого человека, человека-странника, отвергшего теснины общества и природы для разработки своих внутренних богатств. Дело в том, что человек настолько потенциально одарен, что не нуждается в помножении себя на общество или на природу. Это помножение всегда приводило к вырождению человека... Вообще — сейчас я настолько запутался, что хочу кончить самоубийством...

— Вот удивишь кого! — отозвался Никита. — Охота тебе трудиться: обзови завтра учительшу нахальным словом, Копенкин тебе тут же и даст расчет с жизнью... Ишь сопит, дьявол, — поглядел Никита на Копенкина, — а ведь добрый мужик!

Геннадий начал потихоньку петь, чтоб не думать.

— А вы в шахматы не играете? — спросил Геннадий у Мрачинского.

— Нет, к сожалению, — ответил Мрачинский. — А разве тут есть шахматы?

— Попробуйте выучиться, — посоветовал Геннадий. — Это отвлечет вас от смысла жизни, беспокойства и так далее. Еще парочка таких страстных игр — и история человечества остановится.

— Странно. Почему?

— Да просто это интересней и сосредоточенней. Позже ничего необычайного не будет: техника даст человечеству богатство и освободит от труда. А люди займутся шахматами, еще чем-нибудь подобным, увлекутся и сладко вырождаются. Благополучие — наша гибель: ведь прогресс движется на ржаном зерне, — надо искать способов обнищания, увеличения несчастий человека и так далее. Бедствие — вот единственный воспитатель человека...

— Кто так говорит? — спросил проснувшийся Копенкин. — Что у него голова на шесте, что ль, сидит — и сама бормочет! Где у тебя грудь, товарищ?

Все проснулись: спор ожесточился и мог превратиться в схватку. Копенкин не видел смысла мысли без действий.

Но постучалась Софья Александровна:

— Можно?

— А чего ж ты спишь тут? — обнаружил Дванова Копенкин. — А потом будешь в поле по жене тосковать!

Вошла Софья Александровна. Геннадий сказал ей, что верст двадцать изъездил, а Гратова нигде нет.

— И вы сидите тут беседуете? — удивилась Софья Александровна. — Странные люди!

— Что? Как? — насторожился Копенкин.

Софья Александровна рассказала ему.

— Петруша, — вари свою воду на всех, а я отбуду на полдня!.. Что ж вы ночью мне не сказали, товарищ? — упрекнул Софью Александровну Копенкин. — Человек он молодой: свободная вещь погаснет в снегах¹...

Копенкин пошел на двор к своему коню. Конь обладал грузной комплекцией и легче способен возить бревна, чем человека. Приспособившись к хозяину и гражданской войне, конь питался молодыми плетнями, соломой крыш и был доволен малым. Однако он количество переводил в качество; чтобы наестся, конь съедал по четверти десятины молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал

¹ На правом поле запись, предваряющая следующий эпизод: Копенкин уех<ал> за Гра<товым>. Запись зачеркнута.

свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь.

— Здорово, Пролетарская Сила! — приветствовал Копенкин сопевшего от перенасыщения грубым кормом коня. — Поедем на могилу Розы!

Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вдохновляла на ежедневные революционные подвиги. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы, и лошадь так привыкла к слову «Роза», что признавала его за понукание «но». После «Розы», конь сразу начинал шевелить ногами, будь тут хоть топь, хоть чаща, хоть пучины снежных сугробов.

— Роза — Роза! — время от времени бормотал в пути Копенкин — и конь напрягался толстым телом.

— Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружают землю и попадут на родину Розы.

Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней. Горячая тоска сосредоточенно скоплась в нем, и не случался подвиг, чтобы разрядить любовное умиление Копенкина.

— Роза! — жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах.

Пролетарская Сила уставала¹ обыкновенно не от дороги, а от тяжести своего веса. Конь вырос в луговой долине реки Битюга и капал иногда смачной слюной от воспоминаний сладкого разнотравия своей родины.

— Опять жевать захотел? — замечал с седла Копенкин. — На будущий год пуцу тебя в бурьян на месяц на побывку, а потом поедем сразу на могилу...

Конь чувствовал благодарность и с усердием продавливал снег до мертвой травы. Копенкин особо не направлял коня, если дорога неожиданно расходилась надвое. Пролетарская Сила самостоятельно предпочитала одну дорогу другой и всегда выходила² туда, где нуждались в вооруженной руке Копенкина. Копенкин же действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня. Дураки — это те, кто считают общую жизнь умней своей головы.

¹ В автографе: уставал. Исправлено на женский род в машинописи. Там же в следующем предложении первоначальное Он исправлено на Конь.

² В автографе: предпочитал и выходил. Исправлено на женский род в машинописи.

Бандит Грошиков долго охотился за Копенкиным и никак не мог встретиться с ним, — именно потому, что Копенкин сам не знал, куда он пойдет, а Грошиков тем более.

Проехав верст пять от Волошина, Копенкин добрался до хутора в пять дворов. Он оголил саблю и ее концом по очереди постучал во все хаты.

Из хат выскакивали безумные бабы, давно приготовившиеся преставиться смерти.

— Чего тебе, родимый: у нас белые ушли, а красные не таятся!

— Выходи на улицу всем семейством — и сейчас же! — густо командовал Копенкин.

Вышли в конце концов семь баб и два старика, — детей они не вывели, а мужей схоронили по закутам.

Копенкин осмотрел народ и приказал:

— Разойдись по дымам! Займись мирным трудом!

Гратова явно не было на этом хуторе.

— Едем поближе к Розе, Пролетарская Сила, — снова обратился к коню Копенкин.

Пролетарская Сила начала¹ осиливать великие снега, лежавшие до самого Ледовитого океана.

— Солнце всходит и заходит, — тянул для себя Копенкин. — А потом взойдет опять: люди мертвые воскреснут, Розе купим башмаки...²

Копенкин полюбил Дванова за веру в пролетарскую медицинскую науку, которая обязательно воскресит мертвых товарищей. Он сам вполне присоединился к убеждению Дванова и решил дожидаться раскопки могил.

— Роза! — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — прекрасней Розы ничего нет.

В шапке Копенкина был зашит плакат с изображением Розы Люксембург. На плакате она нарисована красками так красиво, что никакой женщине с ней не сравниться. Копенкин верил в точность плаката и, чтобы не растрогаться, боялся его расшивать.

От глубокого снега пот на Пролетарской Силе выступил пузырями. Это случилось в полдень, в виду железной дороги. Копенкин въехал в станционный поселок и назначил коню передышку. Посреди поселка была площадь, с надписью на угловых домах, что она — «Площадь имени Революции», и срубовым колодцем близ памятника жертвам Октября.

¹ В автографе: начал. Исправлено на женский род в машинописи.

² На левом поле предложение отмечено вопр. знаком.

По снегу лезла женщина в сытой шубке и в полушалке.

— Ты кто? — остановил ее Копенкин.

— Я-то? Да я повитуха.

— Разве здесь рожаются люди?

Повитуха привыкла к общительности и любила разговаривать с мужчинами.

— Да то будто нет! Мужик-то с войны валом навалился, а бабам страсть наступила...

— Ты вот что, баба: нынче сюда один малый без шапки прискакал — жена у него никак не разродится — он тебя, должно, ищет, а ты пробежи-ка по хатам да поспроси, он здесь где-нибудь. Потом мне придешь скажешь! Слыхала?!

— Худошавенький такой? В сатинетовой рубашке? — узнавала повитуха.

Копенкин вспоминал-вспоминал и не мог сказать. Все люди для него имели лишь два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие — черные, карие, офицерские, донские, бандитские: дальше Копенкин не глядывался.

— Он! — согласился Копенкин. — В сатинетовой рубашке и в штанах.

— Дак я тебе сейчас его приведу — он у Феклуши¹ сидит, она ему картошку варила...

— Веди его ко мне, баба, я тебе пролетарское спасибо скажу! — проговорил Копенкин и погладил Пролетарскую Силу. Лошадь стояла, как машина, — огромная, трепещущая, обтянутая узлами мускулов; на таком коне только целину пахать да деревья выкорчевывать.

Повитуха пошла к Феклуше.

Феклуша стирала свое вдовье добро, оголив налитые розовые руки.

Повитуха перекрестилась и спросила:

— А где ж постоялец твой? Его там верховой спрашивает.

— Спит он, — сказала Феклуша. — Малый и так еле живой, будить не буду.

Гратов свесил с печки правую руку, и по ней был виден глубокий и редкий такт его дыхания.

Повитуха вернулась к Копенкину. Тогда Копенкин сам дошел до Феклуши.

— Буди гостя! — приказал Копенкин.

Феклуша подергала Гратова за руку. Тот вскрикнул от испуга и показал свое безумное мятое лицо.

— Едем, — предложил Копенкин. — Тебя учительница велела доставить.

¹ В автографе: Марфуши. Исправлено на Феклушу в машинописи.

Гратов проснулся и вспомнил:

— Нет, я отсюда никуда не поеду. Уезжайте обратно.

— Дело твое, — сказал Копенкин. — Раз ты жив, то это отлично.

Назад Копенкин ехал до самой темноты. Уже ночью он заметил мельницу и освещенные окна школы.

Геннадий и Мрачинский играли в шашки в комнате Софьи Александровны, а Софья Александровна писала доклад в губоно. Когда вошел Копенкин, Мрачинский вышел.

— Он не хочет ехать, — доложил Копенкин. — У бабы-бобылки на печке лежит.

— Ну и пусть не встает, — обиделась Софья Александровна. — Благодарю вас.

Копенкин пошел к лошадям. Члены отряда еще не вернулись от жен, а Мрачинский и Никита ходили без дела, наевшись народных харчей.

— Этак мы все деревни в войну проедим, — заключил про себя Копенкин. — Никакой тыловой базы не останется: разве доедешь тогда до Розы Люксембург.

Мрачинский и Никита суетились без толку на дворе. Мрачинский посинел и походил на бродягу, а не на белого воина. Он стоял на конском навозе и жалостно смотрел в темное небо над землей и над окаянной эпохой. Он раньше думал, что революция — легенда, но эта легенда оказалась так же коротка, как любовь перед браком.

— Ты сидел когда-нибудь в тюрьме? — спросил его Копенкин.

— Сидел, товарищ Копенкин, — сообщил Мрачинский. — Но я сидел еще до революции — за организацию одного клуба в Москве: он назывался «Общество испытателей суррогатов любви»...

Копенкин не интересовался обществом:

— Ты вечные знаки на теле можешь сделать?

— Татуировку? Смогу.

— Вот. Сделай Никите, а он сделает тебе.

— А чего рисовать, товарищ Копенкин?

— Я потом скажу. Ступайте в кухню. А завтра я вас обоих на волю отпущу. Чего я буду таскать за собой расстроенных людей? Какие вы враги — вы нахлебники.

Весь вечер сидели полуголые Мрачинский и Никита, по очереди вправляя друг другу буквы под кожу на груди: «бел. св.» — белая сволочь. Мрачинский нарочно поставил слово «бел.» над словом «св.»: он про себя решил затем их дописать, чтобы получилось «Белгородский Святитель» — название, скажем, корабля, на котором он был, например, матросом.

Опять началась нудная зимняя ночь, ужасная для войны и безответно влюбленных.

Геннадий сидел за самодельными шахматами, нарисованными на бумаге, и играл зернами и палочками сам против себя.

Софья Александровна кончила писать: «Гражданская война сделала главным и единственным в жизни хлеб, а просвещения деревня сейчас не берет. Я сделала все усилия завлечь детей и даже взрослых, но от голода и отчаяния не приходит никто. Назначьте меня сестрой социальной помощи».

Поставив подпись, она обратилась к Геннадию:

— Вам скучно здесь, Гога? Поезжайте в город, давайте останемся друзьями... Ну зачем вы все простое превращаете в сложное?

Геннадий заморгал. Он понял и стал надевать пальто. Уже одетый, он сел за стол и написал записку, не чувствуя больше силы надеяться и защищаться:

«С. А.! Вы меня изменили во многом к лучшему. Я верил, что вы еще более приблизитесь ко мне и мы начнем вместе новую жизнь, исключительную по импульсам радости. Но вы попали под другое влияние, и дружба наша проходит, как проходят годы и природа. Я ухожу и прощаюсь с своим лучшим привидением навсегда и без руки, чтобы несчастием укрепить постоянную память о вас. Ваш преданный Гога».

Геннадий почтительно подал записку Софье Александровне, а сам отошел и начал застегивать и расстегивать пуговицы на пальто, втайне от себя надеясь, что придется еще снять пальто и навсегда остаться.

В изумлении читала Софья Александровна записку.

— Нате вам руку, Геннадий, — сказала она, дочитав бумажку. — Я не люблю вывертов: хотите быть другом — оставайтесь, не хотите — уезжайте. Главное в жизни делается без расчета, вы сами знаете.

Геннадий поспел носом и не мог укрепить шапку на голове. Тогда он взял ее в руку и ушел. Дванов его встретил уже на пороге, возвращаясь с сельского схода, где выступал за выселение на высокую степь.

— Куда ты, Геннадий? Ведь ночь началась!

— Да, знаешь, надо ехать. Мне пора.

— Да брось ты, чудак! Завтра все уедем, оставайся!

Геннадий сошел в снег. Дванов сказал ему:

— Ну, прощай!

Геннадий без ответа скрылся за углом школы.

Полночи просидели Дванов и Софья Александровна друг против друга.

— Ах, Дванов, Дванов! — говорила взволнованная Софья Александровна. — Вы славный человек, но поймите меня... Вас всех я немножко оскорбила в самолюбии, и вы все надулись и бежите. А я потеряла отца, мать, братьев, сестер — это страшнее обиды от первой любви...

— Где же ваши родители? — спросил Дванов.

— Отец умер в Красной Армии, а мать с артистом живет... А дети в приюте, я самая старшая, и одна... Я оскорбила мать за брошенных детей, и теперь она меня ненавидит со своим новым мужем... Вы имеете мать и отца, и у вас есть родное место на свете. А я теперь не верю ничему; мне многое нужно, чтобы поверить... Я еще могу полюбить, но никогда не откроюсь и не буду верить себе...

Дванов не мог знать, что она уже любила Копенкина смутным ранним чувством, когда человек переплывает пучину меж детством и зрелостью и когда нет уверенности, что доплывешь до того берега. В это время над головой Софьи Александровны уже летели птицы первой любви, и тот берег казался освещенной бесконечностью. Во сне с нее смывались детские привязанности — любовь к матери и отцу, и грезы превращались в вещи, в боль тела и в слезы незапомнившихся тяжелых снов. Сегодня ночью Софья Александровна видела огромные раны на своем теле и, проснувшись, быстро проверила тело рукой.

Дванов всегда терялся перед чужим откровением и не знал, что надо сказать: весь ум казался смешным, а себя он чувствовал негодяем.

— Софья Александровна!.. — Дванов искал, что спросить. — Почему вы не в партии? Вы же наш человек... Вам бы легче было...

— Это, наверно, правда — мне было бы легче. Я где-то слышала, что личная жизнь, если ей одной заниматься, непременно приведет к самоубийству. Возьмите вы любовь! Как-то глупо говорить, но до чего доведет любовь, если бы детей не рожать... Правда?

— Правда! — поразился Дванов. — Бывает как в почве: соли питательны, но если они не разбавлены чем-нибудь... безвкусным, беспомощным, то соли убивают растение. Надо, чтобы личность была растворена в воде общества — тогда она жива.

Софья Александровна с нерешительной нежностью взглянула на Дванова — она бессознательно пожалела, что не любит его.

— Вы не будете счастливы, Александр! У вас свои мысли, вы девственный человек.

Дванов почувствовал в себе резкий толчок любви к этой девушке, как мгновенный припадок болезни и поднявшуюся температуру тела. Софья Александровна повернулась какой-то другой неизвестной стороной и вышла еще прекрасней, чем была на лицо. Дванов заметил, что женщина всегда умна, когда она искренна и не старается думать. Обычно Софья Александровна рассуждала, как все женщины: самоуверенно и наивно, как юноши. Но при возбуждении голова переставала ей мешать, и чувство проникновения показывалось наружу в простых словах, действующих на собеседника, как открытия. Дванов почти убедился, что Софья Александровна хорошо думает не головой, а каким-то другим местом, но не знал имени этому месту.

— Я приспособлюсь, Софья Александровна, — успокоил ее Дванов. — Я вживусь.

— Нет, вы не вживетесь. Вон Гратов — тот счастливее вас: он в молодости молод, а позже втопчется в чужие следы и проживет с удовольствием...

— А что сейчас делает Гратов? — отвлеченно спросил Дванов, и не мог представить.

<X>

Гратов в этот час тоже не спал. Он сидел в уюте натопленной хаты и следил, как его хозяйка вешала белье на сеть бечевки у печки. Конный жир горел в черепушке языками ада с уездных картинок; по улице шли поселковые люди в глухие места окрестностей. Гражданская война лежала там осколками народного достояния — мертвыми лошадьми, повозками, зипунами бандитов и даже подушками. Подушки заменяли бандитам седла; оттого в бандитских отрядах была команда: по перинам! То есть садись по седлам. Соответственно, красноармейские командиры кричали на лету коней, мчавшихся вслед бандитам:

— Даешь подушки бабам!

Поселок Средние Болтаи по ночам выходил на лога и перелески и бродил по следам минувших сражений, ища хозяйственных вещей. Многим перепадало кое-что: этот промысел разборки гражданской войны существовал неубыточно. Напрасно висели приказы военкомата о возвращении найденного воинского снаряжения: орудия войны растаскивались по деталям и превращались в механизмы мирного труда — к пулемету с водяным охлаждением пристраивался чугунок и получалась самогонная система, походные кухни вмазывались в деревенские бани, некоторые части трехдюймовок шли шерстобитам, а из замков пушек делали палбрицы для мельничных поставов. Гратов видел на одном дворе женскую рубашку, сшитую из английского флага. Эта рубашка сохла на русском морозе и уже имела прорвы и следы носки ее женщиной.

Хозяйка Фекла Степановна кончила работу.

— Чтой-то ты такой задумчивый, парень? — спросила она. — Есть хочешь или скучно тебе?

— Так, — сказал Гратов. — У тебя в хате тепло, и я отдыхаю.

— Отдохни. Тебе спешить некуда, ты еще молодой — жизнь тебе останется...

Фекла Степановна зазевала, закрывая рот большой работающей рукой:

— А я... век свой прожила. Мужика у меня убили на царской войне, жить нечем, и сну будешь рада.

Фекла Степановна разделась при Гратове, будто она была невидимая. Гратов отвернулся к морозным дебрям на оконном стекле.

— Потуши огонь, — сказала босая Фекла Степановна, — а то завтра встать не с чем будет.

Гратов дунул в черепок. Фекла Степановна залезла на печку:

— И ты тогда полезай сюда...Теперь не такое время — на срамоту мою сам не поглядишь.

Гратов знал — не будь этой женщины в хате, он бы убежал отсюда вновь к Софье Александровне. Фекла Степановна защитила Гратова от Софьи Александровны: может быть, потому, что все женщины сестры.

Когда Фекла Степановна уснула, Гратову стало скучней. Целый день они почти не разговаривали, но Гратов не чувствовал одиночества: все-таки Фекла Степановна как-то думала о нем, и Гратов тоже непрерывно ощущал ее, избавляясь этим от своей сосредоточенной любви. Теперь его нет в сознании Феклы Степановны, и Гратов сразу направился своим воображением в Волошино, к Дванову, к Геннадию — ко всем близким людям, ставшими для него страшными. Опять он почувствовал в горле душную теплоту отчаяния, вытесняющую разум куда-то наружу, где он садился уединенным грустным наблюдателем.

Старая вера называла это изгнанное бессильное сознание ангелом-хранителем. Гратов еще мог уловить эту догадку, и пожалел ангела-хранителя, бегущего от темного тяжкого чувства. Где-то в крови и в глубокой тесноте <Гратов> ненавидел заразившую его любовь и шевелился в попытках уйти домой свежим и свободным, открытым для других и лучших впечатлений. Но более тяжелая сила закрыла все двери тела — свет погас, и воздух сперся без сквозного ветра¹.

На улице шуршали по снегу люди, возвращаясь с трудов по разоружению войны. Иногда они волокли тяжести и скребли снег до почвы.

Гратов тихо забрался на печь. Фекла Степановна скреблась под мышками и ворочалась.

— Ложишься? — в безучастном сне спросила она. — А то чего же спи себе.

От жарких печных кирпичей Гратов еще более разволновался и смог уснуть, только утомившись от тепла и растеряв себя в бреду. Маленькие вещи — коробки, черепки, валенки, кофты — обратились в грузные предметы огромного объема и валились на Гратова: он их обязан был пропускать внутрь себя, они входили туго и натягивали кожу. Больше всего Гратов боялся, что лопнет кожа. Страшны были не ожив-

¹ Текст автографа поврежден наклеенной на него новой вставкой (на этапе СР).

шие удушающие вещи, а то, что разорвется кожа и сам захлебнешься сухой горячей шерстью валенка, застрявшей в щелях кожи.

В промежутки строя настигавших его предметов, Гратов ясно думал совсем про другое:

— Во всех селах люди лишены революцией маленьких радостей — для одной большой — и теперь скучают.

— Софья Александровна держит рот закрытым, у нее пахнет из одного зуба.

— Все люди полезны не от труда, а оттого, что накапливают время, воздух судьбы.

Фекла Степановна положила руку на лицо Гратова. Гратову почудился запах травы, он увидел мельницу на лунном синем снегу и зажал руку Феклы Степановны. Успокаиваясь и укрываясь от тоски, он перехватывал руку выше и прислонился к Фекле Степановне.

— Что ты, малый, мечешься? — почувяла она. — Забудься и спи.

Гратов не слышал. Его сердце застучало, как твердое, и громко обрадовалось. Вышедший из Гратова его сторож-наблюдатель заметил, как хрупко и напряженно держится человек, как башня на одной ноге. Один кирпич выпал — и все нарушилось: все звери выходят совсем на свободу и жрут своих прежних сожителей: страсть истребляет, мечта поглощается беспамятством.

Опытными руками Гратов ласкал Феклу Степановну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении.

— Чего ты? — близким шумным голосом прошептала Фекла Степановна. — Это у всех одинакое.

— Вы — сестры, — сказал Гратов с нежностью ясного воспоминания.

Гратов сам не чувствовал ни радости, ни полного забвения: он все время внимательно слушал высокую звонкую работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но — уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое легкое до неясности тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал — он плачет один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления.

Ровная бледность ночи в хате показалась Гратову мутной. Вещи стояли маленькими на своих местах, Гратов ничего не хотел и уснул здоровым.

До самого утра не мог Гратов отдохнуть. Он проснулся поздно, когда Фекла Степановна разводила огонь под таганом на загнетке, но снова уснул. Он чувствовал такое утомление, словно вчера ему была нанесена истошающая рана.

Около полуночи у окна остановилась Пролетарская Сила. С ее спины сошли Копенкин и Дванов.

Копенкин постучал ногами по стеклу.

— Хозяйка, пошли-ка гостя своего к нам.

Фекла Степановна потрясла голову Гратова:

— Малый, очухайся, тебя конные кличут!

Гратов еле просыпался и видел сплошной голубой туман.

В хату вошел Дванов с курткой и шапкой.

— Ты что, Гратов, навсегда, что ль, здесь пригрозился? Вот тебе прислала Софья Александровна — мы мимо ехали.

— Положи на лавку, — пробормотал Гратов.

— Скажи Шумилину, что я скоро вернусь.

— Ладно, — равнодушно ответил Гратов.

Два всадника на одной лошади отъехали. Фекла Степановна раздувала огонь. Солнце заблестело на стекле окна, заросшем гроздьями мороза. Гратов образумился, соскочил с печки и выбежал на улицу. Вдалеке ходко уносила свой круп Пролетарская Сила. Она увозила Дванова, дружбу и что-то еще более дорогое — прошлое. Крикни — не услышат, а услышат — не вернуться.

В сумерки Гратов покидал Средние Болтаи. Стонущий паровоз с большой машиной сдернул примерзший к рельсам состав теплушек и вышел в вечернюю снежную степь.

Дорога ли Гратову теперь Софья Александровна? Он сам не знал — вместо желаний для него наступили воспоминания, вместо тоски — сожаление.

Позже на самосветящемся снегу Гратов заметил далекого всадника, уезжавшего в глубь равнины. Он подумал, что это Дванов и Копенкин. Сегодня он будет в городе, а где будут ночевать они? На каком-нибудь хуторе — в скуке, в глуши, среди молчания древней природы, где насаждают на человека любовь и воспоминания.

Поздно ночью Гратов стучал в дверь матери, а потом лег спать с опустошенным сердцем.

Гратов не видел, что два раза подходил к воротам его дома Геннадий и уходил обратно, не в силах решиться попросить защиту от своего неутомимого отчаяния у бывшего друга.

Дванов и Копенкин ели непропеченный хлеб в лесной сторожке и говорили о завтрашнем дне.

— Как ты думаешь, — спрашивал Дванов, — скоро мы расселим деревни по-советски?

Копенкин революцией был навеки убежден, что любой враг податлив.

— Да то долго! Мы — враз: скажем, что иначе суходольная земля хохлам отойдет... А то просто вооруженной рукой проведем трудгужпо-

винность на перевозку построек: раз сказано, земля — социализм, то пускай то и будет.

— Сначала надо воду завести в степях, — соображал Дванов. — Там по этой части сухое место, наши водоразделы — это страж закаспийской пустыни.

— А мы водопровод туда проведем, — быстро утешил товарища Копенкин. — Оборудуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, — цветущее дело!

Дванов сосредоточился:

— Да, — сказал он, — только поскорей бы. Главное нам надо сейчас увлечь в эту работу настоящие силы — народ и природу. Одни мы — как выдернутая трава.

— Ну, ясно, — отозвался Копенкин. — Уж будь покоен.

<XI>

Софья Александровна сейчас гуляла по своей комнате в Волошинской школе и улыбалась. Она думала о людях, разъехавшихся от нее в разные стороны. Они сделают длинные пути, переживут сотни дней и снова все возвратятся. Софья Александровна представляла их как письма с хорошими вестями, посланные по долгим маршрутам. Но все-таки все письма медленно движутся к ней — ее от писем отделяет лишь ожидание.

Софья Александровна приложила лбом к стеклу и стала наблюдать степную ночь. Мельница стояла свидетелем ее жизни, Софья Александровна уже любила ее. Она всегда приобщала близкие вещи к своим переживаниям и надеждам, и в часы грусти видела, как вещи тоже грустят, и ей делалось легче. Но зачем ей Дванов, Гратов и Геннадий, когда теплота ее будущего скрыта в одном Копенкине, таком нелепом, благородном и милым?

Софья Александровна этого не знала — она все же хотела бы всех. Быть может, молодость покупает счастье с запасом, а — может — она множит свою любовь к одному на симпатии к себе всех близких.

Неужели Дванов хуже Копенкина?

Софья Александровна не могла оценить: мысль здесь ни при чем. Душа любит того, в кого она нечаянно падает в свой неизвестный решающий час. Семя падает в глину и тоже растет, хотя есть на свете чернозем. Копенкин не лучше, а нужнее — он тот, от кого ей сразу сделалось грустно. Он тот сторонний вестник освобождения, прихода которого желал, перед своим побегом, Гратов, в душный час бесцельной тревожной борьбы троих за одну. Можно полюбить и сторожа Петра, и всю

жизнь просидеть на кухне, одаренной счастьем. Как жизнь, любовь так же нечаянна и без выбора.

Софья Александровна взяла зеркало. Она встретила в нем свое ночное лицо и удивилась, что она так красива. Внутри себя она не чувствовала ничего необычайного, никакой радости, чтобы соответствовало ее открытым странным глазам и раз навсегда начертанному на лице напряжению. Она разглядывала себя, как чужую, пробовала нос, мяла щеки и насмешливо спрашивала:

— Разве вы мои? Да неужели? Ничего в вас нет моего, а сама я спрятана глубоко-глубоко. Вы — не я, вы — домашние вещи.

Софья Александровна села на койку, обняла свои ноги и сделала непонятный бессмысленный жест, который делают одинокие люди, не видимые никем: она продела голову между ног, сморщила лицо и показала рожу всем людям.

Это прошло.

— Я хороша, как намазанная, как нарочная! — открывала себя Софья Александровна, и искренно удивлялась, почему же внутри у ней нет никакой особой меты.

— Ложись спать, дура, — посоветовала она себе. — А то тебе так хорошо, что скоро станет плохо...

Она легла, но в ней продолжалась то еле звучащее течение жизни, которое несет человека постоянно мимо новых берегов.

Из какой страны занесена любовь? Малярия, говорят, вышла из тропических болот, ветры рождаются на поверхности океана, — откуда же любовь? Она такое же вещество, она определенные и единственные глаза, нос, руки и волосы любимого. Любовь так же чужда красной страсти размножения, как любящей чужды все люди, кроме любимого. Любовь — одиночество и единственная чисто человеческая болезнь — она заражение вторым человеком.

Софья Александровна вообразила Дванова: в том нет чего-то родного, что сразу увидела она в знакомых руках и в складках глаз Копенкина. Этот человек, Копенкин, как будто не в первый раз явился, а только вернулся: так он был знаком и привычен. Он не мог не прийти в школу, иначе Софья Александровна пошла бы отыскивать его. Ей теперь уже никто не нужен — туманная судьба стала ясным лицом любимого человека.

Она вновь вспомнила Дванова: он — лучший, о нем скучаешь, но не тоскуешь. Его не полюбит женщина — в нем нет никакого обещания: он слишком занят собой и своими мечтами.

— Вы, наверно, больны, Дванов? — прощалась с ним вчера Софья Александровна. — Зачем вы едете, оставайтесь еще на день.

В Дванове Софья Александровна возбуждала быстрые догадки, он успешно в ее присутствии обдумывал свое понимание мира и общей судьбы в нем.

Он отказался остаться:

— Что болен — это хорошо... Жизнь ведь растет за счет усвоения своих болезней! Болезни это... подножный корм для жизни...

Что делает сейчас Копенкин? Думает ли о ней? Нет, ни о чем он, наверное, не думает; он влюблен в труп Розы Люксембург и живет с головой, наполненной единственным образом; больше в его голове нет места ничему. Он едва ли вообще думает, он просто поступает и движется по одному направлению. По каким снегам бредет теперь его лошадь? Или он спит и ему снится милая могила в Германии?

Копенкин на самом деле спал. Но снов никогда не видел — и хорошо: горе было бы приснившемуся видению: Копенкин обязательно проверил бы у него документы, на документах заметил бы роковую неясность и подлог — и кончил бы приснившегося человека на месте. В снах видения безответны, они спутали бы советскую конституцию, потому что ее сам Копенкин знал не надлежаще твердо. Упустить из виду пользу революции Копенкин не мог даже во сне, потому что революция — память и остаток Розы.

Сны боялись Копенкина, или Копенкин родился счастливым. Засыпал он сразу, вставал выспавшийся, ел, не смакуя, и жил по ближайшему направлению.

— Копенкин! — шутили над ним. — Слышишь, трава позванивает, а ветра нету.

— Нету, — прислушивался Копенкин.

— Это белые сигналы по радио передают. Слышишь, какой-то гарью понесло.

— Не чую, — нюхал Копенкин.

— У тебя нос заложило. Это воздух от беспроволочных сигналов подгорает.

— Махай шашкой! — моментально возбуждался Копенкин. — Пу-тай ихний шум — пускай они ничего не разберут.

Копенкин и его спутники начинали махать саблями, пока руку не сводило в плечах.

— Достаточно, — отменял Копенкин. — Теперь у них матерные слова получились.

Утром Дванов и Копенкин помочили хлеб в ложке, поели и отправились.

— За что вы нас кормите, может быть, мы вредные люди? — спросил Дванов у бабы, накормившей их.

— А ты б не ел! — упрекнул Копенкин. — Хлеб сам родится в земле — мужик только щекочет ее сохой, как баба коровье вымя! Это неполный труд. Верно, хозяйка?

— Должно так, — поддакнула баба. — Ваша власть, вам видней.

— Дура ты, кулацкая сноха, — вмиг рассердился Копенкин. — Наша власть не страх, а народная задумчивость.

Дванов спрашивал Копенкина — учился ли он чему-нибудь и кто он такой.

— Стихийно, — сообщил Копенкин. — А сам я Стратилат Копенкин, по-уличному Ермак.

Дванов знал, что Копенкин родился в Сибири, в деревне Дрищевке и был шахтером. Жил и действовал он двояко, как взор Софьи Александровны: иногда так разумно, что в нем, казалось, чувственно оживал весь тяжкий опыт его предков, некогда бродивших меж Днепром и Амуром, а иногда так нелепо, что его спасали только материнские крест да пуговица, хранимые Копенкиным в знак памяти о безвестной старушке.

Очевидно, оба способа поступков вели к успеху, раз Копенкин был еще жив.

Дванов думал, не есть ли самое полоумие Копенкина особый вид самозащиты и хитрость большого разума? — Жизнь сама иногда нелепость — и ее бить надо тоже безумием: нелепость на нелепость, минус на минус — получается некоторый плюс.

Ехали по снегу Дванов и Копенкин на одном коне, ехали в одну сторону, но к двум женщинам: к Розе Люксембург и к Софье Александровне.

Каждый из них поник задумавшейся головой: социализм для них стал попутной задачей на дороге к любви. Их мечта станет любящей женщиной только в садах коммунизма, на будущей прозрачной земле, торжественно летящей в гуле голубых звезд. До этого им предстоял великий пост подвигов. Любовь требовала взятки.

По снежной дороге шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.

— Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда встретились.

— Я, земляк, котма качусь, — объяснил встречный. — Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.

Копенкин что-то заподозрил.

— Так ты иди нормально и стройно.

— Так я же из Батума иду — два года семейство не видел. Стану отдыхать — тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому думается, ближе...

— Это что там за деревня видна? — спросил Копенкин.

— Там-то? — странник обернулся помертвевшим лицом: он не знал, что покрыл четверть расстояния до луны. — Там, пожалуй, будут Ханские Дворики... А пес их знает: по всей степи деревни живут.

Копенкин постарался дальше вникнуть в этого человека:

— Стало быть, ты дюже жену свою любишь...

Пешеход взглянул на всадников глазами, отуманенными дальней дорогой.

— Конечно, уважаю. Когда она рожала, я с горя даже на крышу лазил...

В Ханских Двориках пахло пищей, но это курили из хлеба самогон. В связи с этим тайным производством, по улице понеслась какая-то распущенная баба. Она вскакивала в каждую хату и сразу выметывалась оттуда:

— Хронт ворочается! — предупреждала она мужиков, а сама жутко оглядывалась на вооруженную силу Копенкина и Дванова.

Крестьяне лили в огонь воду — из изб полз чад; самогонное месиво наспех выносили в свиные корыта, и свиньи потом метались в бреду по деревне.

— Где тут совет, честный человек? — обратился Копенкин к хромому гражданину.

Хромой гражданин шел медленным важным шагом, облеченный неизвестным достоинством.

— Ты говоришь — я честный? Ногу отняли, а теперь честным называете?.. Нету тут сельсовета, а я полномочный волревкома, бедняцкая карающая власть и сила. Ты не гляди, что я хром — я здесь самый умный человек: все могу!

— Слушай меня, товарищ полномочный! — сказал Копенкин с грозой в голосе. — Вот тебе главный командированный губисполкома! — Дванов сошел с коня и подал уполномоченному руку. — Он делает социализм в губернии, в боевом порядке революционной совести и трудгужповинности. Что у вас есть?

Уполномоченный ничего не испугался:

— У нас ума много, а хлеба нету.

Дванов изловил его:

— Зато самогон стелется над отнятой у помещиков землей.

Уполномоченный серьезно обиделся.

— Ты, товарищ, зря не говори! Я официальный приказ подписал вчерашний день: сегодня у нас сельский молебен в честь избавления от царизма. Народу мною дано своеволие на одни сутки — нынче что хошь делай: я хожу без противодействия, а революция отдыхает... Чувешь?

— Кто ж тебе такое своевластие дал? — нахмурился Копенкин с коня.

— Да я ж тут все одно, что Ленин! — разъяснил хромой очевидность. — Нынче кулаки угощают бедноту — по моим квитанциям, а я проверяю исполнение сего.

— Проверил? — спросил Дванов.

— Подворно и на выбор: все идет чином. Крепость — свыше доверенной, безлошадные довольны.

— А чего тогда баба бежит с испуга? — узнавал Копенкин про недоброе.

Хромой сам этим возмущился.

— Советской сознательности еще нету. Боятся товарищей гостей встречать, лучше на снег добро льют и государственной беднотой притворяются. Я-то знаю все ихние похоронки, весь смысл жизни у них вижу...

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его — в честь памяти известного писателя — в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища — удовлетворяют ли они их, — имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозывается Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошло двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом: по-уличному — Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком — были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы, или Колумб и Меринг беззвучны для революции. Ответа волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными.

— Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся.

— Сделаем, — отвечали оба, — только утверди и дай справку.

— Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по старому.

— Нам хотя бы устно, — просили заявители.

Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни, можно ли уничтожить ночь для

повышения урожая, об организации ежедневного трудового счастья, сердце ли душа или революционное сознание, — и о многом другом мучился Достоевский. У него были книги, которые он изучил повторным чтением наизусть, но без всякого понимания. Он знал фразы: «Структурно атомные аномалии могут возникнуть под действием бета-лучей», «Развитие любовных проблем всегда сигнализирует нам разложение общественного организма, которым уже не поглощается творческая энергия людей». Эти слова Достоевский произносил точно и четко, как бы отлично представляя, в чем тут дело. Книги у него имелись без систематического подбора — от военных брошюр Троцкого до «Прологоменов к метафизике» Канта. Должно быть, чье-то книжное имущество целиком перешло к Достоевскому без достаточных оснований.

Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним глубокую беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным. Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма. Он даже привел газетный лозунг:

Гони березку в рост,
Иначе съест ее коза Европы!

Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения грозной опасности капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть.

— Так за кем же дело, товарищи? — воодушевленно воскликнул Достоевский. — Давайте начнем тогда сейчас же: можно к новому году поспеть сделать социализм! Летом прискачут белые козы, а кора уже застарееет на советской березе.

Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял.

¹— Нет, товарищ Достоевский. Социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?

— У нас многодворье: триста сорок дворов, да на отшибе пятнадцать хозяев живут, — сообщил Достоевский.

— Вот и хорошо. Вам надо разбиться хуторов на пять, на шесть, — придумывал Дванов. — Объяви немедленно трудповинность — пусть

¹ *Предваряющая запись*: Привести / Дост<оевского> / в соответ<ствие> / революции / <1 нрзб> работы. *Запись зачеркнута*.

пока колодцы на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?

Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в конкретные видения. Он не имел дара логики и мог понять, только обратив мысли в образы, но это шло в нем долго: он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, переставить на нее именные дворы своего села и посмотреть, как оно получается.

— Колодезники-то есть, — говорил Достоевский. — Примерно, Франц Меринг: он ногами воду чувствует. Побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: рой, ребята, тутощнее место на шесть сажён. Вода потом гургом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили.

Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными поселками с приусадебными наделами. Достоевский уже все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и энергией, чтобы совесть и нетерпение взошли внутри — от отсутствия социализма наяву.

Копенкин слушал-слушал и обиделся:

— Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома — закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа!

Дванов завлекал Достоевского дальше:

— Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет. А еще — усилится обмен влаги, небо станет голубей и прозрачней.

Достоевский обрадовался: он окончательно увидел социализм. Это — голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что — бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский: он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости; чистоплотные красивые девицы приносят ему вкусную пищу — борщ и свинину, но уносят ее целой обратно: Достоевский не может очнуться от своей обязанности.

Девицы влюбляются в Достоевского, но они — поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности.

Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывая эпоху надвое:

— Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? — Это я по социализму скучал.

— По нем, — утвердительно сказал Копенкин. — Всякому охота Розу любить.

Достоевский обратил внимание на Розу, но полностью не понял, лишь догадавшись, что Роза, наверно, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг.

— Совершенно правильно, товарищ! — с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье было уже открыто. — Но все-таки я вот похудел от руководства революцией в своем районе.

— Понятно: ты здесь всем текущим событиям затычка, — поддерживал Копенкин достоинство Достоевского.

Славянство — это песня и задумчивость. Так говорил когда-то Геннадий Софье Александровне, изображая этим не славян, а свой ум, чтобы его надежней полюбила Софья Александровна. Геннадий не вполне ошибался: медленность природных событий в русской равнине отставала от пульса жизни, поэтому русский человек еще до революции привык удовлетворять себя выдумкой, то есть событиями душевного происхождения. Революция отчасти была потому, что накопилось слишком много размышлений в груди — они захотели стать вольными фактами.

Достоевский не мог заснуть той ночью. Он воображал, как придет Ленин в Ханские Дворики и скажет ему, сжимая его руку: спасибо, товарищ! Вы с железной настойчивостью и в кратчайший срок создали гигантскую крепость для трудящихся масс. Об эту крепость империализм расколел свой варварский череп! И Достоевский тогда заплачет от всемирно-исторического восторга. Достоевский жалобно сморщился и на самом деле прослезился от счастливого предчувствия.

— Ты что? — услышал стон незаснувший Копенкин. — Тебе от скуки скуля сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально.

Ночью Достоевский разбудил спящих.

Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю — для встречи внезапно напавшего врага.

— Я ради советской власти тебя тронул! — объяснил Достоевский.

— Тогда чего ж ты раньше не разбудил? — строго спросил Копенкин.

— Скотского поголовья у нас нету, — сразу заговорил Достоевский: он за половину ночи успел обдумать дело социализма до живых деталей и изменил весь курс предстоящих событий, будто переломил самого себя о свое колено.

— Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему ж тогда постройки багажом тащить?.. Замучился я от волнений...

Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.

— Саша! — сказал он Дванову. — Ты не спи зря: скажи этому элементу, что он советских законов не знает.

Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.

— Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин! Над чем думает! Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Крик — и готово!

Копенкин сейчас же снова заснул: он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции. Любил он Розу Люксембург, а верил в революцию. Революция для него была настолько простая вещь, что всякое размышление о ней казалось ему подозрительным. Роза Люксембург заранее и за всех продумала все — теперь остались одни подвиги вооруженной руки, ради сокрушения видимого и невидимого врага. С особой страстью Копенкин искал врага невидимого, принимая ветер за белогвардейские сигналы, а реки за потоки капиталистической отравы; поэтому он пил преимущественно из колодцев. В такой неутомимой ревности к революции и энергичной бдительности было свое томительное напряжение, более худшее по мучительности, чем столкновения противоположных мыслей в голове Достоевского.

Утром Достоевский пошел в обход Ханских Двориков, объявляя подворно объединенный приказ волревкома и губисполкома — о революционном дележе скота без всякого изъятия.

Скот выводили к церкви на площадь под плач всего имущего народа. Но и бедняки страдали от вида ноющих хозяев и причитающих старух, а некоторые из неимущих тоже плакали, хотя их ожидала доля.

Женщины целовали коров, мужики особо ласково и некрепко держали своих лошадей, ободряя их как сыновей на войну, а сами решали — заплакать им или так обойтись.

Один крестьянин, человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом и девичьим голосом, привел своего рысака не только без упрека, а со словами утешения для всех тоскующих однодеревенцев.

— Дядя Митрий, чего ты? — высоко говорил он грустному старику. — Да пралич ее завозьми совсем: что ты, с жизнью, что ль, без остатка расстаешься? Ишь ты, скорбь какая — лошадь заберут — да сатана с ней: еще заведем. Собери скорбь свои обратно!

Достоевский знал этого крестьянина: старый дезертир. Он в малолетстве прибыл откуда-то без справки и документа — и не мог быть призванным ни на одну войну: не имел официального года рождения и имени, а формально вовсе не существовал; чтобы обозначить его как-нибудь, для делового удобства соседи прозвали дезертира Недоделанным, а в списках бывшего сельсовета он не значился. Так и жил Недоделанный общественной утечкой, как просо с воза на землю.

Однако недавно Достоевский чернилами вписал его в гражданский список — под названием «уклоняющегося середняка без лично-присво-

енной фамилии», и тем прочно закрепил его существование: как бы родил Недоделанного для советской пользы.

Степная жизнь шла в старину по следам скота, и в народе остался страх умереть с голоду без скота.

Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам.

Копенкин проверил его:

— Не ошибись: революционное-то чувство сейчас в тебе полностью?

Гордый властью Достоевский показал рукой от живота до шеи. Способ дележа он придумал простой и ясный: самые бедные получали самых лучших лошадей и коров; но так как скота было мало, то середнякам уже ничего не пришлось, лишь некоторым перепало по овце.

Когда дело благополучно подбивалось к концу, вышел тот же Недоделанный и обратился хрипатым голосом:

— Федор Михалыч, товарищ Достоевский, наше дело, конечно, нелепое, но ты не обижайся, что я тебе сейчас скажу. Ты только не обижайся!

— Говори, гражданин Недоделанный, говори честно и бесстрашно! — открыто разрешил Достоевский.

Недоделанный повернулся к стене горящего народа. Горевали даже бедняки, испуганно державшие даровых лошадей, а многие из них тайком поотдавали скот обратно имущим.

— Раз так, то слухай меня весь скоп! Я вот по-дурацки спрошу: а чего будет делать, к примеру, Петька Рыжов с моим рысаком? У него же весь корм в соломенной крыше, на усадьбе жердины в запасе нету, а в пузе полкартошки парится с третьего дня. А во-вторых, ты не обижайся, Федор Михайлыч, — твое дело революция, нам известно — а во-вторых, как потом с приплодом быть? Теперча мы бедняки: стало быть, лошадные для нас сосунов будут жеребить? А ну-ка спроси, Федор Михалыч, похотят ли бедняки-лошадники жеребят и телок нам питать?

Народ окаменел от такого здравого смысла.

Недоделанный учел молчание и продолжал:

— По-моему, годов через пять выше куры скота ни у кого не будет. Кому ж охота маток телить для соседа? Да и нынешний-то скот, не доживя веку, подохнет. У того же Петьки мой рысак первым ляжет — человек сроду лошади не видал, а кроме кольев у него кормов нету! Ты вот утешь меня, Федор Михалыч, — только обиды в себе на меня не томи!

Достоевский его сразу утешил:

— Верно, Недоделанный, — ни к чему дележ!

Копенкин вырвался на чистоту посреди круга людей.

— Как так ни к чему? Ты что, бандитскую сторону берешь, так я тебя враз доделаю! Граждане, — с утрашением и дрожью сказал всем Копенкин. — Того, что недоделанный кулак сейчас говорил, — ничего не будет. Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет! Вследствие же отвода рысака от Рыжова, предлагаю его передать уполномоченному губисполкома — товарищу Дванову. А теперь — расходитесь, товарищи бедняки, для борьбы с разрухой!

Бедняки неуверенно тронулись с коровами и лошадьми, разучившись их водить.

Обросший, грязный и печальный стоял Дванов в толпе:

— Соня, помнишь ли ты меня? Мне трудно никогда тебя не видеть.

Недоделанный, обомлевши, глядел на Копенкина — его мучила уже не утрата рысака, а любопытство.

— А дозволейте мне слово спросить, товарищ из губернии? — насмелился наконец Недоделанный детским голосом.

— Власти тебе не дано, так спрашивай тогда! — сжалился Копенкин.

Недоделанный вежливо и внимательно спросил:

— А что такое социализм, что там будет и откуда туда добро прибавится?

Копенкин без размышления объяснил:

— Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, то ничего не поймешь. Сколько лет твоему рысаку?

Вечером Дванов и Копенкин хотели уезжать, но Достоевский просил остаться до утра, чтобы окончательно узнать — с чего начинать и чем кончать социализм в степи.

Копенкин скучал от долгой остановки и решил ехать в ночь.

— Уж все тебе сказали, — инструктировал он Достоевского. — Скот есть. Классовые массы на ногах. Теперь объявляй трудгужповинность — рой в степи колодцы и пруды, а с весны вези постройки. Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся! Я к тебе наведаюсь!

— Тогда выходит, что одни бедняки и будут работать — у них ведь лошади, а зажиточные без толку будут жить! — опять сомневался Достоевский.

— Ну и что ж? — не удивился Копенкин. — Социализм и должен произойти из чистых бедняцких рук, а кулаки в борьбе погибнут.

— Это верно, — удовлетворился Достоевский.

Ночью Дванов и Копенкин уехали, еще раз пристрожив Достоевского насчет срока строительства социализма.

Рысак Недоделанного шагал рядом с Пролетарской Силой. Обоим всадникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, ведущую к да-

леким любимым — к Софье Крашениной и Розе Люксембург. У каждого даже от суточной оседлости кровавым бугром вспухала в сердце тоска. Поэтому Дванов и Копенкин боялись потолков хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю кровь из сердца.

Дванов смотрел на север в полночную сторону: где-то там есть балка и в балке Волошино. Наверно, сейчас горит огонь в школе и в ней мечтает Соня Крашенина. Женщины ведь всегда мечтают, даже замужем и на кухне. Их мечта рождается из несоответствия женской любви и любимых: любимые всегда обманывают женскую надежду — они оказываются не теми, величину которых женщина пожертвовала себя. С годами любимые теряют рост и равняются по жене, а женщина в любви ищет неравенства.

Дванов увлекся в горький поток собственных мыслей и чувствовал, что далекий результат будет не в его пользу.

Женщина создает на свете мечту, а мужчина ее исполняет. В социализме тоже есть какая-то высота женщины: превратить производительные силы в автомат без человека, но для него, а самим освободиться и вырваться из этой чадной кухни мира. В ненависти пролетариата к буржуазии есть ненависть женщины к кухне.

Но когда исполняешь мечту женщины, то женщину некогда ласкать, и она тебя забывает. Значит, лучшие дела творятся нелюбимыми людьми.

Дванов сообщил это Копенкину. Тот, успокоенный дорогой и движением, ответил рассеянно и с редкой серьезностью. Дванов различил даже черноту обиды и сожаления в его словах.

— Так и должно быть... На конце любви и революции лежит открытый гроб, а не жалованье.

В моменты дремоты, когда память о Розе Люксембург заходила в тень сознания Копенкина, он мог быть прозорливым и ясным человеком. Дванов за все время три раза уловил такие моменты. Но если вынуть из Копенкина Розу Люксембург, Копенкин на другой день уехал бы крестьянствовать, копить скотину и ненавидеть советскую власть.

Дванов вообще не очень хорошо узнавал людей, но иногда они перед ним сами простирались, как пейзажи. С Копенкиным ему было легче строить социализм, а главное, в Копенкине был лучший дар человека — утешение другого своим покоем. Копенкин мог кротко слушать жалобы Дванова и не обвинять его. Дванов знал, что Копенкин нес свой груз горя и никогда не жаловался, хотя ему было безотрадней всех. Дванов любил живую женщину, и у него оставалась надежда, а Копенкин любил мертвую. Для Дванова революция была как Америка для Колумба, а для Копенкина каменная гора веры.

В Копенкине все было хуже, тяжелее и опаснее, а в Дванове моложе и легкомысленней. Дружба основана тоже на неравенстве и позаимство-

вании. Дванов заимствовал у Копенкина свое утешение тем, что завидовал ему: Копенкину не на кого было опереться, он должен жить лишь за счет самого себя. Глядя на него, Дванов уподоблялся ему и находил в этом облегчение. Как и в любви, в дружбе один любит, а другой им любим, но нет равновесия, нет полного ответа с другой стороны. Любящий как человек на другом берегу реки: кричит, чтобы его взяли, но на этом берегу нет паромщика.

Копенкин не мог измениться, если бы Дванов ушел от него, а один Дванов мог теперь погибнуть.

Два легких <выбора> остались для Дванова: либо Копенкин, либо Софья Александровна.

Дорога шла навстречу двум всадникам, переведшим коней на степную рысь. Дванову казалось, что дорога наматывается утроенной чередой <1–2 сл. нрзб> <на> голову, и все туже сжимает ее темная усталость.

— Встретится жилье — давай ночевать, — предложил ему Дванов.

Копенкин показал на близкую полосу леса, лежавшего на снегу тишиной и уютом.

— Там будет кордон.

Еще только въехав в чашу сосредоточенных грустных деревьев, путники услышали завывающий лай кордонных собак. Деревья стояли так одиноко и угрюмо в своей зимней тихой одежде, что Дванов поверил в их несчастную любовь к кому-то отсутствующему в лесу.

Собаки имели в близких предках волчью кровь, оттого они сами вышли навстречу чужим конным людям, далеко не подпуская их к усадьбе.

Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к делу, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу и найти место для спасения своей семьи.

Его отец-лесничий оставил ему библиотеку из <1 сл. нрзб> книг самых последних, нечитаемых и забытых писателей. Он говорил сыну, что знаменитые писатели — все подлецы, потому что они нравились глупой массе народа и сами походили на нее, а решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах.

Отец лесного надзирателя сравнивал плохие книги с нерожденными детьми, погибающими в утробе матери от несоответствия своего слишком нежного тела грубости мира, проникающего даже в материнское лоно.

— Если бы десять таких детей уцелело, они сделали бы человека торжественным и высоким существом, — говорил отец сыну. — Но рождается самое низкое и нечувствительное, что переносит резкий воздух и борьбу за подлый кусок хлеба.

Лесной надзиратель читал сегодня произведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второстепенные люди», и надзиратель сквозь скуку сухого слога на длине пятисот страниц, вопреки, быть может, автору отыскивал то, что ему нужно было. Надзиратель считал, что скучных и бессмысленных книг нет, если читатель энергично ищет в них смысла жизни. Скучные книги происходят от скучного читателя, ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не талант писателя.

— Откуда вы? — думал надзиратель про большевиков. — Вы когда-то уже были. Все новое — это только хорошо забытое старое, и ничего не происходит без подобия чему-нибудь.

Двое маленьких детей и располневшая жена спали мирно и безотчетно. Поглядывая на них, надзиратель возбуждал свою мысль, призывая ее на стражу для этих трех драгоценных существ. Он хотел открыть будущее, чтобы заблаговременно разобраться в нем и не погибнуть.

Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему — он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше.

«Люди, — учил Арсаков, — очень рано начали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю сознательной половине души. Созерцание — это учение. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия».

Собаки взвыли, и надзиратель, взяв винтовку, вышел встречать поздних гостей.

Сквозь бешеный строй собак и мужающих щенков надзиратель провел лошадей с Двановым и Копенкиным.

Через полчаса трое людей сидело вокруг лампы в бревенчатом, теплом доме. Надзиратель поставил гостям хлеб и молоко. Он насторожился и заранее приготовился ко всему плохому от неизвестных людей. Но мягкое очертание лица Дванова и его остановившиеся глаза успокаивали надзирателя.

Поев, Копенкин взял раскрытую книгу и с усилием прочитал, что писал Арсаков.

— Как ты думаешь? — подал Копенкин книгу Дванову.

Дванов прочел.

— Капиталистическая теория: живи и не шевелись.

— Я тоже так думаю! — сказал Копенкин, отстраняя порочную книгу прочь. — Ты скажи, куда нам лес девать в социализме? — с огорченной задумчивостью вздохнул Копенкин.

— Скажите, товарищ, сколько лес дает дохода на десятину? — спросил Дванов надзирателя.

— Разно бывает, — затруднился надзиратель. — Какой смотря лес, какого возраста и состояния — здесь много обстоятельств...

— Ну а в среднем?

— В среднем... Рублей десять-пятнадцать надо считать...

— Только? А рожь, наверно, больше?

Надзиратель начал пугаться этих простых загадок.

— Рожь несколько больше... Двадцать-тридцать рублей выйдет у мужика чистого дохода на десятину. Я думаю, не меньше.

У Копенкина на лице появилась ярость обманутого человека.

— Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту! Эти дерева только у озимого хлеба место отнимают...

Надзиратель затаил и следил чуткими глазами за волнуемым Копенкиным. Дванов высчитывал карандашом на книжке Арсакова убыток от лесоводства. Он еще спросил у надзирателя, сколько десятин в лесничестве, — и подвел итог.

— Тысяч десять мужики в год теряют от этого леса, — спокойно сообщил Дванов. — Рожь, пожалуй, будет выгодней.

— Конечно, выгодней! — воскликнул Копенкин. — Сам лесник сказал. Вырубить надо к черту всю эту гущу и засеять рожью. Пиши приказ, товарищ Дванов!

Дванов вспомнил, что он давно не сносился с Шумилиным. Хотя Шумилин не осудит его за прямые действия, согласные с очевидной революционной пользой.

Надзиратель осмелился немного возразить,

— Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развились в последнее время и не надо больше рубить лес.

— Ну тем лучше, — враждебно отозвался Копенкин. — Мы идем по следу народа, а не впереди его. Народ, значит, сам чувствует, что рожь полезней деревьев. Пиши, Саша, ордер на рубку леса.

Дванов написал длинный приказ-обращение для всех крестьян-бедняков Верхне-Мотнинской волости. В приказе, от имени губисполкома, предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Биттермановского лесничества. Этим, говорилось в приказе, сразу проложатся два пути в социализм. С одной стороны, бедняки получат лес — для постройки новых советских поселков на высокой степи, а с другой — освободится земля для посевов ржи и прочих культур, более выгодных, чем долгорастущие леса.

Копенкин прочитал приказ.

— Отлично! — оценил он. — Дай-ка и я подпишусь внизу, чтоб страшнее было: меня здесь многие помнят — я ведь вооруженный человек.

И подписался полным званием:

«Командир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург Верхне-Мотнинского района Стратилат Ефимович Копенкин».

— Отвезешь завтрашний день в ближние деревни, а другие сами узнают, — вручил Копенкин бумагу лесному надзирателю.

— А что мне после леса делать? — спросил распоряджений надзиратель.

Копенкин указал:

— Да тоже землю паши и кормись! Небось в год-то столько жалования получал, что целый хутор съедал! Теперь поживи, как масса.

Уже поздно. Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом. До революции Копенкин ничего внимательно не ощущал — лесá, люди и гонимые ветром пространства не волновали его, и он не вмешивался в них. Теперь наступила перемена. Копенкин слушал ровный гул зимней ночи и хотел, чтобы она благополучно прошла над советской землей.

Не одна любовь существовала в сердце Копенкина — она лишь лежала в своем теплом гнезде, но это гнездо было свито из зелени забот о советских гражданах, жалости к голодным и яростных подвигов против ежеминутно встречающихся врагов бедных.

Ночь допевала свои последние часы над лесным Биттермановским массивом. Дванов и Копенкин спали на полу, потягивая во сне ноги, уставшие от коней.

Дванову снилось, что он маленький мальчик и в детском изуверстве жмет грудь матери, но глаз поднять на ее лицо боится и не может. Свой страх он сознавал неясно и пугался на шее матери увидеть другое лицо, прекрасное, но не родное.

Копенкину ничего не снилось, потому что у него все сбывалось наяву.

В этот час само счастье искало своего счастливого, а счастливый отдыхал от дневных всемирных социальных забот, не помня даже Розу Люксембург.

<XII>

Счастье шло по снегу в суконных деревенских чулках и боялось волков. Волошино скрылось навсегда в своей ночной лощине, как скры-

ваются за ночными завесами наши прожитые дни — настолько невозвратимые, что их уже не жаль.

Софья Александровна уходила из Волошина с такой растерянной тревогой, как из дома отца. В доме отца она родилась, но жизнь ее потом почти не менялась и поэтому не ощущалась. А здесь что-то изменилось в ней, сердце вскрылось, как рана, она заболела и узнала режущую остроту жизни, с которой нельзя жить, но и нельзя расстаться.

На первой версте от Волошина городские башмаки Софьи Александровны так натерли ей ноги, что она села в снег и хотела плакать, но потом разулась и пошла в чулках. Мешок и корзина вырывали ей руки из плеч, и она всячески их приспособлиwała, чтобы было удобней.

Она вспомнила, что по этой дороге к ней шел когда-то Гратов. Он пришел к ней тогда со следами слез на щеках, выжатых ветром. В ту ночь она поцеловала его в теплый измученный лоб, и этим поцелуем запечатлела конец своей юности.

Уже давно скрылся овражный провал, в котором сейчас Волошино досыпало свои сны.

Софья Александровна осмотрелась и заметила рассвет нового дня; чистое русское поле безутешно лежало окрест, как бессильные крылья мертвой белой птицы.

Что бы ни случилось с Софьей Александровной в дальнейшей судьбе, чего бы ни посулила жизнь и что бы ни отняла она, Волошино навсегда останется для нее самым родным местом, куда всегда есть желание возвратиться и повторить пережитое. Ее скоро забудут в Волошине, потому что большинство людей не друзья, а лишь свидетели друг друга.

Все равно — там спал Копенкин, там смертельно тосковал Гратов и оттуда выехал Дванов строить социализм в степной траве, ради нее и ради всех. Софья Александровна ничего не забудет — ни мельницы у школы, ни сторожа Петра, ни всей заунывной вековой жизни деревни, прилегшей к берегущей ее земле. Она забудет одно — что ее вчера мужики попрекнули куском хлеба. Паек учительницы в тот год собирался подворно, но учить детей советскому добру крестьяне не посылали, и школа была не нужна. Мужики заподозрили еще, что учительница их хлебом кормит карогоды своих любовников — и одичало, нудно, как отчимы, сосчитали даже крошки, которыми Петр-сторож питал своего козла.

— Тоже — скот держит: пахарь какой! — насмехались расчетливые мужики. — Раз жалованье идет, нехай из одной жилы сок сосет. Мыто — ай двужильные, ай нам казна спуск в разверстке дает!

Софья Александровна собрала вещи, отдала свои деньги Петру и ушла при начинающемся свете поздней заоблачной луны, который ей

показался утренним рассветом. Уже в степи она поняла, что ночь продолжается, но не возвратилась.

В поселке Средние Болтаи, что при станции, в ночлежной хате Софья Александровна пила чай и переобувалась. Она не знала, что здесь бредил Гратов на пути к ней, иначе бы она присмотрелась к полу и к стенам, хранившим образ Гратова, — через что вся хата сделалась бы для нее освещенной другом и знакомой. Она не знала также Феклы Петровны, почти излечившей Гратова от любви вечным и домашним средством.

Фекла Петровна даже заходила по делу к хозяину ночлега и видела Софью Александровну.

— Чья-то барышня сидит у тебя красовитая? — досуже спросила она хозяина.

Так встретились однажды и в последний раз две женщины, разнораздававшие одного человека и обе потерявшие его — одна с дружественной памятью, другая с вдовьим легкомыслием.

Вечером Софья Александровна отомкнула свои холодные комнаты на приречной улице, обставленные для средней семьи. Ранняя ночь стремилась с востока на запад над зимним миром, снова происходили звезды в смутной вышине. Река заглохла подо льдом, и умерли певучие лягушки.

Геннадий по своему ежедневному вечернему обычаю шел мимо дома Софьи Александровны. Каждый день он смотрел на закрытые ставни, чувствовал тоскующую темноту комнат по ту сторону ставен и утешался только тем, что окончательно решил умереть.

Служба и прочие неизбежные дела удавались Геннадию неожиданно хорошо — он перестал ими увлекаться и оттого не делал ошибок.

Теперь, когда он сам назначил себе смерть, ему жилось легче и счастливей, чем когда он надеялся на ответную любовь Софьи Александровны. Сам того не открывая, Геннадий объезжал себя на кривой: идея самоубийства позволяла ему жить без крутой муки. Он хитро призвал видение смерти на помощь своей неудачной жизни. Проходя в сумерки около закрытых заиндеветших ставень, Геннадий бормотал от прилива тоски:

— Тебя нет и нет, и, может быть, никогда не будет.

И сразу укрощал себя волшебной идеей.

— А тебе не все равно? Ты скоро умрешь — зачем тебе любовь, надежды, ответы и приветы...

В сумерки затухающая природа иногда останавливает и время. Бывают часы — ни светлые, ни темные, бывает такое высокое стояние полусвещенных облаков и дикая тишина, когда и сердце человека сдает пульс и опустошается.

Геннадий тогда забывал шагать и чувствовал — зачем ты, радость, зачем ты, тоска? Ведь красота безымянного за́мершего мира давит меня насмерть. Мне стыдно перед таким миром своих лучших чувств! Я не хочу иметь даже любимую. В бесшумные сумерки в прорвах вселенной рождаются ее падающие звезды, а в человеке дует ветер смелости и крепчают надежды на завоевание живых высоких пространств.

Геннадий переработался от любви — он перестал много есть, утратил вкус к книгам и стал приглядываться к революции. Раньше он уверял себя, что всякая революция есть такая борьба людей, которая поглощает все их силы внутри самого общества, а потому внешне общество делается бессильным, и его легко может завоевать любой дикий всадник — вождь будущего человечества. Для этого надо лишь одно, чтобы тот всадник не знал имени культуры, имел первобытную животную свежесть и действовал поверх людей с тем безучастием и целесообразностью, как косарь над травой луговой долины.

И Геннадий ждал из юго-восточных пустынь будущего вождя, который сумеет воспользоваться бессилием послевоенного человечества, тратившего остатки сил на революционные трения, — и возглавит его для новой страшной и мужественной судьбы.

Интеллигент и сын богатого отца, Геннадий видел юношески остро окружавших его людей. Чтобы оплодотворить и смирить тех беснующихся женщин, каких он видел, нужны лошадиные порции страсти; чтобы удовлетворить мистиков смыслом жизни, мало пропустить через реторту всю вселенную, но достаточно их посадить на советский паек и заставить лично топить самодельные печки сырыми дровами.

Встреча с Софьей Александровной изменила все. До нее он знал теорию революции со слов ее сторонников — Дванова и Гратова, но никак не мог взять ее в себя — не было какого-то теплого места для нее в нем самом.

Любовь к Софье Александровне стронула Геннадия с места. Он полюбил Крашенину нежно, но сохранил всю зоркость ума. Он любил ее всю — вместе с плохим платьем, грязью под ногтями от занятий хозяйством, с испорченным зубом во рту и вместе с ее сочувствием революции и надеждой на нее.

Поэтому в любви Геннадия к Софье Александровне, заодно с нею, поместилось и уважение к революции.

Гратов, которому сказал недавно Геннадий про свое сочувствие советской власти, понял его и не одобрил происшествия:

— В таком, брат, сочувствии нет никакой цены и пользы. Если бы Софья Александровна нечаянно надела красную юбку — ты бы тоже стал революционером — юбка похожа на знамя. Это чепуха, и все зря... Это не из тебя вышло, а из нее пришло.

— Ты не совсем прав, — обиделся Геннадий.

— Что не прав? А если б она была белой? Брось, брат... Из красного белым стать можно, из белого красным — никогда! Пролетарием тоже надо родиться, как и русским.

Геннадий все-таки не согласился:

— Ну, так думать — это мальчишество.

О ночном бегстве Гратова из Волошина они не говорили: женщина всегда сокращает дружбу мужчин. Геннадий не мог понять покоя Гратова после возвращения его в город: что он — разлюбил или Софья Александровна ему прислала письмо с согласием на брак.

Сегодня Геннадий не хотел идти гулять к дому Софьи Александровны. «Я все равно на днях умру, — уговаривал он себя, — только как это начать: со второго этажа выброситься, пожалуй, не убьешься — низко и этаж четный, говорят, с четвертого тоже не убиваются; вешаться — гадко; надо почитать что-нибудь о способах самоубийства... Какой тираж у этой литературы?»

Но — Геннадий пошел. Если бы он мог не пойти, то мог бы не любить и не мучиться.

Ставни были открыты — на снегу лежали прямоугольники света: Софья Александровна возвратилась.

Геннадий забыл про решенную смерть и бросился в знакомый дом.

Софья Александровна мылась в горнице, и Геннадий поздоровался с ней из кухни через закрытую дверь.

— Геннадий Сергеич, знаете что? — говорила оттуда Софья Александровна, тревожа воду в посуде. Геннадий ясно расслышал в своем имени два «н» и не понял значения.

— Что?

— Я у-же влюблена. Не ожидали?

— Не может быть. Про это вы бы не сказали.

— А вот вам сказала! Что — хороша я?

Софья Александровна говорила весело, но Геннадий почувствовал правду. Он тронул дверь — крючок с той стороны потянулся и не пустил его. Тогда Геннадий налег и вырвал запор с корнем. Софья Александровна сидела голой в цинковом корыте и не встала. Сначала она плеснула в Геннадия горстью воды, закрывая торчащую грудь другой рукой.

Геннадий не знал, что делать дальше, и мгновенно догадался:

— Я умру здесь на ваших глазах...

И лег в лужу мыльной воды во всей одежде, чтобы оправдаться. Себя Геннадий чувствовал сейчас здоровым и даже спокойным, вспышка отчаяния сразу очистила его. Он не знал, как же надо ему умереть, а умереть и разжалобить Софью Александровну необходимо, иначе придется умирать всерьез и одному.

Софья Александровна взяла мочалку.

— Уйдите вон... сволочь! А то вот так дам мочалкой!.. Не притворяйтесь...

Геннадий встал и вышел, удивляясь, что в нем нет страха и стыда. На улице, стирая воду с пальто, он жалел, что не разглядел голую Софью Александровну.

Дома Геннадий разделся и сразу лег спать.

— Все, — сказал он, натягивая одеяло. — Конец. Советская революция была просто бунтом дезертиров. Какого черта в ней искать?

Засыпая, он решил найти себе приличную женщину; Крашенина же неразвитая девица — до сих пор не могла понять внутреннего напряжения строя его личности. Странно любить ее за одно приятное лицо. Старухой она будет некрасивой — живые лица не сохраняются. Наверно, она вступит в партию, пропахнет овчиной и начнет питаться постным воском большевистской идеологии.

Геннадий не ошибся. Софья Александровна давно думала о комсомоле, но боялась, что ее, как барышню, не примут. Она видела комсомолок — то были некрасивые девушки, к которым не шло даже их простое платье — или они не умели его носить.

Теперь она узнала Копенкина, в котором революция действовала как живое чувство любви к мертвой Розе Люксембург. Софья Александровна не могла отвязать своей любви к Копенкину от влечения к революции. Ей хотелось разделить его участь, понять его подвиги, сделаться его единоклубным другом, потому что она любила его всей своей свежей сердечной нежностью, всем цельным запасом созревших женских сил и с такой верой и наивностью, когда достаточно лишь знать, что любимый жив, чтобы самой быть счастливой. Софья Александровна понимала, что есть между мужчинами и женщинами особая страсть, но не представляла ее и не вмешивала в свою любовь.

Она была убеждена, что — как Копенкин идет к Розе через революцию, так и ей надо идти к Копенкину — тоже через революцию. Иначе она его потеряет — в этом было ее мучение. Раньше она не умела ощутить того большого, страшного, но отвлеченного, что называется революцией. Она знала ее умом, но не могла превратить ум в сердце, чтобы революция стала ее поступками. Капитализм же и войну она прожила девочкой. А последние два года жила ото всего оторванной, одинокой, брошенной своей семьей.

Теперь весь тот шум народа, плакаты, Ленин, ночные гудки, сзывающие большевиков против неожиданной опасности, — вся эта грозная и преданная друг другу жизнь стала ей милой и составляла часть ее любви к Копенкину, — к тому Копенкину, который день и ночь занят одним делом — начисто сокрушает врагов революции, которых Софья

Александровна никак не могла вообразить. Хорошо, что с ним поехал Дванов. Где они теперь? Какие враги их окружают? Наверное, толстые мужики с колючими бородами. Или они смотрят, как рот крестьяне колодцы в степи, где в будущем году наступит социализм. Пусть они оба будут целы и живы, тогда все пойдет до конца хорошо.

Утром Софья Александровна надела старые отцовские валенки и пошла искать комсомол. Она шла деловито и озабоченно, будто исполняя серьезное поручение уехавшего мужа или думая о пайке для детей. Софья Александровна даже выглядела старше и печальней — она боялась втайне, что ей откажут и — что ей тогда делать, защищенной лишь мечтой и надеждой?

Она робко стояла у столов в комсомоле, ожидая внимания к себе. Но с ней обошлись откровенно.

— Тебе чего надо? — спросил ее подслеповатый парень, грубо, но душевно.

— Я буду комсомолкой, — грустно от смущения сказала Софья Александровна.

— Будь, — твердо согласился с ней парень. — Коля, дай ей анкету. А ты заполни и двух поручителей тащи.

Софья Александровна вышла из комнаты освеженной, с уже утраченным чувством одиночества.

Комсомолец не обратил на нее особого внимания, но Софья Александровна неясно ощутила, что потом этот же молодой человек будет помогать ей — той искренней и холодной помощью, которая де<лается> не ради личной прелести данного человека и которая направл<ается> на какой-то далекий горизонт, где небо касается <земли>, а человек человека.

Софья Александровна представила себе всех св<оих> д<рузей>, в их отношениях к ней была тягость и напряжение, что-то теплое и липкое она ощутила в их словах и действиях, и от этого пропадала ее лучшая свобода молодости, которая стоит ногами на подавленных инстинктах. Так ей изображал свободу Дванов. Он говорил, что нельзя в походе революции идти с багажом личных привязанностей — революция с того и начинается, что у человека отнимается свинцовая тяжесть имущества и тормозящая тоска любви, — тогда человека несет сверкающий поток революции, ибо человек делается податливым и легким — вместо грузных забот в его груди пустой воздух мечты и надежды. Быть может, — сомневался Дванов, — новый груз наполнит скоро человека, и он опять надолго сядет на дно истории. Пусть. Но сейчас человек гол и легок, освободимся же от тягости личных симпатий и превратим свою молодость в движение революции.

Но сам же Дванов сдал Софью Александровну своей любовью и возбудил в ней то тонкое предчувствие материнства, в котором уже

слышится дымный запах смерти. Это смутно понимала Софья Александровна и защищалась от любви. Ей еще хотелось жить долго, и она боялась короткого пути любви Дванова к ней. Лишь шаг разделял иногда ее и Дванова, две цели обеих жизней <с>тояли рядом: они сомкнутся — и все кончится. Дванов <перег>одит собою и отсечет от нее что-то шумное и <1 сл. утрач.>, что стоит за его объятиями.

Копенкин — совсем другое. Любовь к нему не имела <ст>рашной цены — эта любовь не давалась в обмен за жизнь, а становилась подругой ее. Эта любовь ничего не отняла у Софьи Александровны, а подарила ей просторное чувство свежей свободы, интереса и сочувствия к людям и той внутренней уверенной легкости, с какой живут дети, растущие рассеянно, но быстрее взрослых. Копенкин вырвал Софью Александровну из круга ее друзей, загораживавших от нее полную долю жизни и широкую судьбу. Теперь — кончено; она ото всех освободилась и всех освободила от себя. Она тоже была для них — для Гратова, Дванова и для Геннадия — задерживающей точкой и каким-то губительным началом. Они лепились вокруг нее и ничем не занимались.

— Я обойдусь сейчас с Гратовым совсем по-другому, — с ясностью решала для себя Софья Александровна, — мой поцелуй на его лбу пусть высохнет навсегда.

Она подошла к дому, где жил Гратов, чтобы попросить его быть поручителем для комсомола. Вышла мать Гратова и сказала, что сына нет, но скоро будет.

Софья Александровна захотела дождаться Гратова, но мать рассмотрела ее и сообщила, что, может, сын нес скоро придет.

Софья Александровна все-таки вошла в квартиру и села ожидать.

Мать Гратова вздыхала и щепляла лучинки. Две бедных комнаты, щегол в клетке над окном, заунывное тиканье часов, скудная чистота вымытого пола — все это не напоминало, что здесь жил Гратов. Софья Александровна вспомнила свою жизнь: отец — литейный мастер, молчаливый, всегда чужой для нее человек и тоже птицелов — так же висели когда-то у них в Петербурге клетки со щеглами и синицами. Знает ли эта старуха, чем живет ее сын? Нет — мать и сын самые чужие люди друг другу; ничто, кроме случайности рождения, их не связывает. Это скрытые и страшные враги, в их сожителстве не было выбора, и здесь надо искать малодушия и поражения человека в большой жизни, потому что он свое великодушие из жалости и кровной любви отдает матери. Мать стоит стеной на дороге сына, как влюбленные стояли недавно на дороге Софьи Александровны. Что делать с любовью к нам ненужных людей, которая останавливает нашу жизнь? Софья Александровна знала что — полюбить — далекое и другое, что влечет, а не останавливает, — тогда не жалко будет старые стены разрушить или обойти.

Мать Гратова подозрительно и чутко поглядывала на Софью Александровну.

— Раньше-то, бывало, — заговорила старуха, — молодой человек ходит не находится к барышне. А нынче поубивали всех, так барышни сами женихов ищут и домой стучатся.

Софья Александровна поняла и не обиделась:

— Да, — сказала она. — Раньше невест было меньше.

— Меньше! — сердилась старуха. — Не меньше, а столько же, да нахальства, милая моя, такого не было, а теперь, нате, придут и сядут, а родная мать смотри на нее, шлюшку какую-нибудь!

Софья Александровна растерялась:

— Мне ваш сын нужен по делу...

— Знаем мы ваши дела-то: сама, небось, семь женихов сменила, горихвостка...

Софья Александровна ушла на улицу от такой старухи. Она начала бродить около угла улицы, ожидая своего поручителя. Но тот не показывался, а небо уже закрывалось ночною наволочью, предвещая тьму и снег. Встретила она Гратова, уже безрезультатно возвращаясь домой. Тот ей не удивился, — видимо, он очень устал. Софья Александровна сказала ему, в чем дело. Гратов пошло и непохоже на себя улыбнулся:

— Карла Либкнехта хотите полюбить?

Софья Александровна заметила, что он лицом похож на мать.

— Я не хуже вас, товарищ Гратов. Можете не поручаться.

Гратов положил ее анкету на книжку и написал, что нужно.

— Пожалуйста, товарищ Крашенина.

— Спасибо. До свидания.

— Всего лучшего.

Гратов посмотрел ей вслед: что с ней? А хороша она, все-таки! В ней есть какое-то самовозгорающееся вещество; такую завоевать нельзя, но она нечаянно для себя может полюбить недостойного. Гратов почесал лоб, к которому когда-то приложился венок ее губ, но лоб еще саднил в этом месте. Так после поцелуя казалось Гратову: он долго почесывал середину лба, а потом это стало бессмысленной привычкой.

После обеда Гратов отправился к Шумилину, который прислал ему записку в Политехникум.

Шумилин лежал после обеда, подняв ноги на спинку кровати, чтобы не пачкать ее сапогами. Жена его выздоровела и обметывала петли на новых бязевых панталонах мужа. Шумилин обдумывал лозунг о тесной связи с массами. Он прочитал всю газету, где слово «масса» повторялось как заклинание, и не усвоил лозунга внутренним непреложным образом.

— Не умеют у нас понимать, — вздохнул Шумилин. — Что такое «ближе к массам»? Раз ты руководитель, ты в общей гуще не стоишь,

хоть ты каждый день ходи на завод, а вечером чай пей в рабочем семействе. Все равно — одинаково со всеми ты жить не можешь и отвыкаешь от простого народа.

— А как же по-твоему? — спросила жена.

— Работать на заводе — вот тебе и ближе к массам. Как же еще можно? А нас, администраторов, почаще менять и возвращать на родину — по мастерским. Сделать советскую службу общественной обязательной повинностью, как Ленин говорит, а то у нас кое-где эта служба стала удовольствием. Оттого и закричали — ближе к массам! Да ты вернись в цех — кто тебя держит? — и лозунг ослабнет.

Муж не убедил жену, потому что жене жилось сейчас сытнее, чем раньше, когда муж был кузнецом и на нем сгорала от искр одежда.

Пришел Гратов. «Я все-таки плох, — думал Гратов. — Зачем так глупо и мучительно я обошелся с Софьей Александровной? Что во мне мешает быть настоящим и сворачивает с трудного прямого пути? Зачем я познакомился с той женщиной в деревне? Теперь мне легче, но я подлее. Лучше б любить без конца Софью Александровну?»

— Ты что сразу задумался? — спустя время, спросил Шумилин. — Есть, что ль, хочешь?

— Я не хочу, — ответил Гратов. — А многие хотят. Плохо то, что мы занимаем голодных пустяками и нас никто не понимает.

Гратов только сейчас подумал: чем же питается одинокая Крашенина? Возможно, что голод ее и погнал в комсомол.

— Это ты оставь, — отрубил Шумилин. — Мы целый день только и занимаемся просом, картошкой, рожью да суррогатом, — да будь они прокляты! Придешь домой — есть неохота: картошка пахнет сводкой и заседанием.

Позвал Шумилин Гратова затем, чтобы побеседовать с ним насчет его работы в Земельной Чрезвычайной Комиссии.

— Дванова ждать не нужно, — постепенно говорил Шумилин. — Он мне пишет, что хорошим делом занялся — пускай себе кроет, — один губисполком социализм не построит. А ты вот почитай его доклады, а потом составь план работ земельной Че-Ки. В основном Дванов увидел верно — в нашей губернии социализм надо делать на воде и на расселении слобод. Тогда-то, в маленьких поселках, можно и о коллективах подумать. Вот — займись-ка.

Гратов этого не ожидал.

— А отказаться нельзя? Я ведь учусь — мне трудно будет.

Шумилин сделал решающий жест.

— И не думай! Всем трудно. Это, брат, партийное дело, а социализм дороже тебя. А то народ подохнет — сам видишь, что делается...

Шумилин мог начинать разумно и хладнокровно, но потом сам от своих слов внутренне возбуждался. Кроме того, в его голове постоянно имелся образ его бедной губернии — в виде географической карты. От его возбуждения по карте начинали бродить маленькие худые мужики, как тощие вшинки, и их руки жалобно протягивались к зданию губисполкома, четко выступавшему посреди карты.

— Да что ты, черт тебя возьми! — гремел Шумилин нарастающим голосом. — Тебе бессмертную память делают — тебя на борьбу с природой ставят, а ты не даешься — девица какая! Как же чекисты-то буржуазию угробили? Но там ведь человека били — он выюн и стерва, он в любую норь залезет, партийным станет, по диктатуре грязью наследит, блохой ускачет — и то его в тисках хряпнули. А тебе дается мертвая вещь — природа: она же неподвижно торчит — нацелься и попадешь!

Гратов вообразил неподвижную природу — деревья в ботаническом саду и бугры, покрытые шершавой дикой травой. Но ведь одиночно бугры не сроешь — нужно много дружных людей.

— Главное не природа и не засуха, — представлял работу Гратов. — Главное людей правильно собрать и двинуть на дело, которое им полезно и понятно. Это не так просто. Хлеба нет, люди устали...

Шумилин, однако, уже удовлетворился своей пропагандой.

— Конечно, это трудно. Но всего тебе не расскажешь: всегда говорится просто, а делается умно. Ну, валий, я сейчас тоже ухожу. Через неделю неси доклад о земельной Че-Ке.

Гратов на улице поднял руку к носу и вдохнул из руки посторонний теплый запах. Этой рукой он видался сегодня с Софьей Александровной.

— Мне мнится все одно и то же!

Шло сумеречное бесцельное время, когда люди не спят и не работают. Лучше всего Гратову думалось и работалось ночью, и он считал, что при социализме люди будут спать голыми под полуденным солнцем, чтобы зарядиться его энергией, а ночью сидеть за машинами и поправлять дефекты вселенной и свои собственные.

Гратов зашел к Геннадию, открыв незапертую дверь без предупреждения. Геннадий не заметил вошедшего — он наклонился и нюхал овчину короткого полушубка. Гратов не понял. Геннадий обернулся к нему с мутными несвоими глазами, в которых не было взора. Прошла минута, пока он усвоил Гратова.

— Это ты пришел? Понюхай — она его носила.

Гратов понюхал полушубок — от него шел тот же кажущийся запах, что и от его правой руки.

Они просидели всю ночь, пока рассвет обоим не напомнил их детства. День открылся, как мелкое дно, — океанская волна ночи скатилась на запад.

Укрытые глубиной ночи, сидели Геннадий и Гратов. Они шелестели книгами, вспоминали любовь Абеяра и Алоизы, Дванова и Копенкина — и всюду искали той безнадежности, которая была бы больше их тоски, чтобы сравнить свое страдание с чужим, найти свое меньшим, и тем странно утешиться. Сами они не сознавали, чего ищут, но искали одного — утешения посредством памяти о себе подобных и еще более обездоленных.

— А Копенкину еще хуже! — тихо говорил Гратов. — Он любит ту, которой нет на свете...

И оба заключили про себя одно: а Копенкин живет!

Гратов продолжал:

— Если бы для Копенкина оживить Розу Люксембург, он бы смог от радости лично сделать всемирную революцию или умер бы взамен Розы. Не довольно ли, чтобы любимая была жива? Зачем идти дальше?

— Достаточно, — сказал Геннадий. — Прав Дванов: надо осваивать свои болезни и за счет их расти.

— Не начнется ли тогда истинная коллективная жизнь? — мечтал Гратов. — Когда сила любви к одной женщине изменится в чувство дружбы ко многим...

Но они долго не сознавали, что именно должно изменить любовь в дружбу — какая катастрофа мира или общественное волнение. Одно они знали ясно — их тело живет под прибоем любви: любовь оставляет человека и вновь возвращается.

Гратов думал, что Софья Александровна ему уже чужая, и от радости освобождения от любви он сегодня даже нагрубил ей. Но сейчас Геннадий правильно сказал, что человек — существо всегда двусмысленное: его жизнь подвержена колеблющемуся ритму: он любит не любит, действует и спит, надеется и скорбит.

Гратов насторожился и уловил здесь ошибку. Свойством Геннадия было не договаривать полной правды, не доделывать дел и иронизировать без конечного утешения. Он о многом догадывался, но ничего не разгадывал — что-то в нем было наполовину усечено: вероятно, голова жила отвлеченно от тела, а он сам — отдельно от людей.

Гратов заявил, что мысль как раз призвана выпрямить этот мучительный ритм жизни, — она стремится стать координатой физиологических актов и гармонической кривой подъема человеческой истории. Отдельные вспышки и неверный пульс человека мысль должна сложить вместе и тем превратить их в ровный напор, устремленный по одному сосредоточенному направлению. Это направление — социализм. Он

¹ *Предваряющая запись: Соц<иальная> революция / Деникины — / разные / резче. Запись зачеркнута.*

потребуется невероятных усилий и добавочных сил от человека. Где же взять эти добавочные силы? Ясно — в любви: то, что человек отдавал молодости, любимой и семье, — теперь потребовала революция себе, то есть потребовала себе ту органическую силу, которая раньше производила любовь. История земли вышла так, что либо человек внутренне переменится, либо он погибнет. Человек должен нынче заплатить за продолжение жизни чувством любви, но потом эта плата возвратится социализмом и всемирной дружбой. Нынче жизнь становится завоеванием и результатом героев — мир перед нами так же дик и враждебен, как в первобытные, давно затихшие времена.

Гратов увлекся, чувствуя, как с разрядением мысли в нем убывает любовь и встают освещенные горизонты близкого будущего.

Окно заплывало светом какого-то решающего дня. Гратов сжал свои руки от радости настоящей войны с природой, на которую его ставит Шумилин.

Геннадий понимал слова Гратова, но не мог их ощутить и потому не верил в них.

Друзья расставались. Гратов спешил запечатлеть все свои предчувствия в словах, чтобы убедить Геннадия и самому убедиться. Геннадий слушал с глубоко запрятанной неверующей усмешкой, но не мешал: он не был злым.

— Социализм это общество, а коммунизм — дружба, — заканчивал Гратов в дверях, не в силах сразу уйти. — Дружба на чем-то глубоком, глубже, чем страсть тела, — на мысли, которая тогда станет великой и единственной страстью человека...

— Пышно, но не совсем ясно, — отвечал Геннадий. — Посмотрим.

— Так обязательно будет, — сгорал Гратов. — Больше некуда деваться. И социальная революция спасет человека от кошмара любви...

Геннадий подал Гратову руку.

— Социальная революция через десять лет будет лишь предметом социальной психологии, как массовый психоз от случайного военного перенапряжения капитализма, — и так далее. Ты не обижайся.

Гратов решил навсегда расквитаться с Геннадием — какого черта знаться с таким белогвардейцем. Но потом передумал — лучше быстрее победить разруху и сделать социализм, тогда Геннадий сам всему поверит. Поссориться же всегда легко и всегда неубедительно.

Дома Гратов сейчас же сел писать программу работ Земельной Чрезвычайной Комиссии, начав ее с отдаленных для программы слов:

«В человечестве, под нажимом природы и классовой истории, начался процесс превращения чувства половой любви в чувство товарищества, а инстинкта размножения в инстинкт творчества. Но отсюда нельзя сказать, что отдельная жалкая личность ищет спасения от своих

неудач в революции. Свет революции, зажженный безымянными руками бродяг, нищих, солдат и рабочих, просвечивает каждого извне насквозь и насильно изгоняет оттуда черноту безнадежности...»

До сумерек сидел Гратов, все лишь подходя к программе. Потом лег спать и увидел сон: Дванов лежит под коровой и сосет ее вымя, шевеля по траве от нетерпения свободной рукой.

<XIII>

А на самом деле Дванов и Копенкин в этот час заседали в правлении коммуны «Красное Братство», что на юге Новоселовского уезда. Коммуна заняла бывшее имение Карякина и теперь обсуждала вопрос приспособления построек под нужды семи семейств — членов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Копенкина: оставить коммуне самое необходимое — один дом, сарай и ригу, а остальные два дома и прочие службы отдать в разбор соседней деревне, чтобы лишнее имущество коммуны не угнетало окружающих крестьян.

Затем писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере.

Все взрослые члены коммуны — семь мужчин, пять женщин и четыре девки занимали в коммуне определенные должности.

Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты целый день обслуживанием самих себя; названия же должностей изменились в сторону большего уважения к труду, как-то — была заведующая коммунальным питанием (вероятно, кухарка), начальник живой тяги (конюх), железный мастер — он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее — в одном лице), заведующий охраной коммуны (сторож), заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения — и другие обслуживающие должности.

Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин:

— Ну а как же вы пашете-то?

Председатель ответил, не останавливаясь подписывать:

— В этом году не пахали.

— Почему так?

— Нельзя было внутреннего порядка нарушать: пришлось бы всех от должностей отнять — какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом — в имении хлеб еще был...

— Ну тогда так, раз хлеб был, — оставил сомнения Копенкин.

— Был, был, — сказал председатель, — мы его на учет сразу и взяли — для общественного питания.

— Это, товарищ, правильно.

— Без сомнения: у нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтоб норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была: великое дело — коммуна! Усложнение жизни!

Копенкин и здесь согласился — он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело — держать дорогу в социализм чистой; для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание. Смучило Копенкина только одно — усложнение жизни, про которое упомянул председатель. Он даже посоветовался с Двановым: не ликвидировать ли коммуны «Красное Братство» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает. Но Дванов отсоветовал: пусть, говорит, — это они от радости усложняют, из увлечения умственным трудом — раньше они голыми руками работали и без смысла в голове; пусть пока потешутся!

— Ну, ладно, — понял Копенин, — тогда им надо получше усложнять. Следует в полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь... неясное!

На другой день с утра началось обычное общее собрание коммуны. Собрания назначались через день, чтобы вовремя уследить за текущими событиями. В повестку дня вносилось два пункта: «текущий момент» и «текущие дела». Перед собранием Копенкин попросил слова, ему его с радостью дали и даже внесли предложение не ограничивать времени оратору.

— Говори безгранично, до вечера времени много, — сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.

Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны «Красное Братство» — усложнение жизни, в целях создания запутанности дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, — объяснял Копенкин, — тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, — поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, — а потому я предлагаю созывать общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания, — мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне...

Копенкин остановился в потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением.

— Президиум предлагает принять единогласно, — заключил председатель опытным голосом.

— Отлично, — сказал стоявший впереди всех член коммуны — начальник живой тяги, веривший в ум незнакомых людей. Все подняли руки — одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку.

— Вот и не годится! — громко объявил Копенкин.

— А что? — обеспокоился председатель.

Копенкин махнул на собрание досадной рукой:

— Пускай хоть одна девка всегда будет голосовать напротив...

— А для чего, товарищ Копенкин?

— Чудаки: для того же самого усложнения...

— Понял — верно! — обрадовался председатель, и предложил собранию выделить заведующую птицеводством Маланью Отвершко-ву — для постоянного голосования всем напротив.

Затем Дванов доложил о текущем моменте. Он принял во внимание ту смертельную опасность, которая грозит коммуна, рассеянным в безлюдной враждебной степи, от бродящих бандитов. Эти люди, — говорил Дванов про бандитов, — хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно — после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, наступит момент страшного суда человека над ней...

— Красочно говорит, — похвалил Дванова тот же начальник живой тяги.

— Вникай молча, — тихо посоветовал ему председатель.

— Ваша коммуна, — продолжал Дванов, — должна перехитрить бандитов, чтобы они не поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтоб не было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, скажем, бандит с отрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы — прочий, то прослужите у нас одни сутки в должности, скажем, охотника на волков. Уверяю граждан, что ни один бандит внезапно на вас руки не поднимет, потому что сразу вас не поймет. А потом вы либо откупайтесь от них, если бандитов больше вас, либо берите их в плен понемногу, когда они удивятся и в недоумении будут ездить по усадьбе с покойным оружием. Правильно я говорю?

— Да почти что, — согласился все тот же разговорчивый начальник живой тяги.

— Единогласно, что ль, и при одной против? — провозгласил председатель. Но вышло сложнее: Маланья Отвершкова, конечно, голосовала против, но, кроме нее, заведующий удобрением почвы — рыжеватый член коммуны с каким-то однообразным массовым лицом, — воздержался.

— Ты что? — озадачился председатель.

— Воздержусь для усложнения! — выдумал тот.

Тогда его, по предложению председателя, назначили постоянно воздерживаться.

Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше — в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно убивая агентов советской власти по всему району. Но председатель коммуны упросил их остаться на вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции, который секретарь советовал поставить среди двора, а Маланья Отвершкова, напротив, в саду. Заведующий же удобрением почвы воздерживался и ничего не говорил.

— По-твоему, нигде не ставить, что ль? — спрашивал председатель воздержавшегося.

— Воздержусь от высказывания своего мнения, — последовательно отвечал заведующий удобрением.

— Но большинство — за, придется ставить, — озабоченно рассуждал председатель. — Главное, фигуру надо придумать.

Дванов нарисовал на бумаге фигуру:



Он подал изображение председателю и объяснил:

— Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства.

Председатель показал фигуру всему собранию:

— Тут и вечность и бесконечность, значит — все, умней не придумаешь: предлагаю принять!

Приняли при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить среди усадьбы на старом мельничном камне, зря лежавшем долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру.

— Хорошо, — говорил утром Дванов Копенкину. Они двигались по снежной дороге под облаками зимы в далекую долину Черной Калитвы. — Хорошо, что у них теперь без конца пойдет усложнение, и они к

весне обязательно, для усложнения, начнут пахать землю и перестанут съедать остатки имения.

— Ясно придумано, — счастливо сказал Копенкин.

— Конечно, ясно. Иногда здоровому человеку, притворяющемуся для сложности больным, нужно только говорить, что он болен, и убеждать его в этом дальше, и он наконец сам выздоровеет.

— Понятно, тогда ему здоровье покажется усложнением и редкостью, — правильно сообразил Копенкин, а про себя подумал, какое хорошее и неясное слово: усложнение, как — текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя.

— Как такие слова называются, которые непонятны? — скромно спросил Копенкин. — Тернии, иль нет?

— Термины, — кратко ответил Дванов. Он в душе любил невежество больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и прекрасным, если только ветер интервенции не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна.

Дванов мог в живых образах представлять мысли когда-то читанных философских книг. Он вспомнил фразу: в темной долине истории гремит сверкающий поток человечества; и кто нам докажет, что нет живой органической связи между людьми: ведь два друга, встречаясь, вдохновляются и пылают сдвоенным сердцем, а при виде множества людей в нас встает сила радости! Нельзя доказать уму что-либо против непосредственного чувства; мы знаем, что всемирная дружба сбудется, что вредные пространства между телами людей все больше заполняются веществом теплоты, а история близка к своему контрапункту — коммунизму, то есть соединению противоречий в симфонию! Близок час, когда люди будут вдохновляться на жизнь и творчество лишь силой дружбы и взаимного прикосновения...

Дванов вообразил сверкающий поток льющегося беспощадного металла, проедающего мягкое русло земной долины. Он стремится в узкой теснине, все углубляясь и роя вперед далекое направление. Поток от своей работы не охлаждается, а нагревается о встречные сопротивления — и неизвестен предел его возрастающей мощи.

Дванов видел, что в таком потоке, в этих сложенных усилиях людей нельзя погибнуть и быть забытым — Софья Александровна тоже будет

цела и спасена. Дванов успокоился и запел песню от полной удовлетворенности:

Есть в далекой стране
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Копенкин поник. От волнующей песни на него снизилось теплое облако его мечты о Розе Люксембург. В нем внезапно прояснилась догадка собственной неутешимости, но сейчас же бред жизни потушил его нечаянный разум, и он снова верил, что когда-нибудь доедет на коне до другого берега в далекой стране, где поцелует мягкое платье живой Розы. Копенкин ощущал даже запах платья Розы — запах умирающей травы, соединенный с волной тепла скрытого тела. Он не знал, что тот же запах издали ощущал Дванов от Софьи Александровны.

Раз Копенкин долго стоял перед портретом Люксембург в одном волостном ревоме. Он глядел на волосы Розы и воображал их таинственным садом; затем он присмотрелся к ее розовым щекам и подумал о пламенной революционной крови, которая снизу подмывает эти щеки и все ее задумчивое, но рвущееся к будущему лицо.

Копенкин стоял перед портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не разбушевалось до слез. В ту же ночь он со страстью изрубил кулака, по наущению которого, месяц назад, мужики распоролы агенту по продразверстке живот и набили туда проса. Агент потом долго валялся на площади у церкви, пока куры не выклевали из его живота просо по зернышку.

В первый раз тогда Копенкин рассек кулака с яростью. Обычно он убивал не так, как жил, равнодушно, но насмерть, будто в нем действовала холодная энергия исторической необходимости. Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень серьезных врагов, недостойных его личной ярости, и убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет проса. Он воевал поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня себя для дальнейшей надежды и движения¹.

Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием, как будто советы существовали исстари и небо совершенно соответствовало им. В Дванове уже сложилось бес-

¹ Два последних предложения абзаца отчеркнуты, отмечены вопр. знаком и записью на полях: Раньше? / м.б. / была / личная / ненав<исть>? Пометы и запись зачеркнуты.

смысленное убеждение, что до революции и небо, и все пространства были иными — не такими милыми.

Как туманные легенды, вставали дальние тихие горизонты. Конные путешественники ехали в глухую глубину своей страны. Изредка дорога огибала вершину балки — и тогда в далекой низине была видна несчастная деревня. В Дванове поднималась жалость к неизвестному одинокому поселению, и он хотел свернуть в него, чтобы немедленно начать социалистическое строительство, но Копенкин не хотел: он говорил, что необходимо прежде разделаться с Черной Калитвой, а уж потом сюда вернемся.

День продолжался унылым и безлюдным, ни один бандит не попался вооруженным всадникам.

— Притаились! — восклицал про бандитов Копенкин, и чувствовал в себе давящую тягостную силу. — Мы б вас шпокнули для общей безопасности. По закутам, гады, сидят — говядину трескают...

К дороге подошла в упор березовая аллея, еще не вырубленная, но уже прореженная мужиками. Наверно, аллея шла из имения, расположенного в стороне от дороги. Аллея кончалась двумя каменными устоями. На одном устое висела рукописная газета, а на другом жестяная вывеска с полусмытой атмосферными осадками надписью:

«Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам».

Рукописная газета была наполовину оборвана какой-то вражеской рукой и все время заголялась ветром. Дванов придержал газету и прочитал ее сполна и вслух, чтобы слышал Копенкин.

Газета называлась «Беднятское Благо», будучи органом Великоместного сельсовета и уполрайревкома по обеспечению безопасности в юго-восточной зоне Посошанской волости.

В газете осталась лишь статья о «Задачах Всемирной Революции» и половина заметки «Храните снег на полях — поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в середине сошла с темы: «Пашите снег, — говорилось там, — и нам не будут страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтов».

Каких «зарвавшихся Кронштадтов»? Это взволновало и озадачило Дванова.

— Пишут всегда для страха и угнетения масс, — не разбираясь, сказал Копенкин. — Письменные знаки тоже выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдует, а неграмотный на него рукой работает.

Дванов улыбнулся:

— Чушь, товарищ Копенкин! Революция это букварь для народа.

— Не заблуждай меня, товарищ Дванов! У нас же все решается по большинству, а почти все неграмотные, и выйдет, что неграмотные по-

становят отучить грамотных от букв — для всеобщего равенства... Тем больше, что отучить редких от грамоты сподручней, чем выучить всех сначала... Дьявол их выучит! Ты их выучишь, а они все забудут...

— Давай заедем к этому Пашинцеву, — задумался Дванов. — Надо мне в губернию отчет послать. Давно ничего не знаю, что там делается...

— И знать нечего: идет революция своим шагом...

По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте пышная белая усадьба, засыпанная снегом до бесприютного вида. Колонны главного дома, в форме точных женских ног, важно держали перекладину, на которую опиралось одно небо. Дом стоял, отступя несколько саженей, и имел особую колоннаду — в виде согбленных гигантов. Копенкин не понял значения уединенных колонн и посчитал их остатками революционного разрушения.

В одну колонну была втравлена медная гравюра с именем помещика-архитектора и его профилем. Ниже гравюры латинский стих, данный рельефом по колонне:

Вселенная — бегущая женщина:
Ноги ее вращают землю,
Тело трепещет в эфире,
А в глазах гаснут звезды.

Дванов грустно вздохнул: скоро ли мы будем строить и писать так же глубоко, кратко и торжественно, как здесь — в оазисе феодализма. Он снова оглядел колоннаду — шесть стройных ног трех целомудренных женщин. В него вошли покой и надежда, как всегда бывало от вида замкнутого искусства. Страшно одно, что эти прекрасные, почти живые ноги — чужие. Или это обязательно — чтобы искусство всегда не вполне понимало жизнь; чтобы оно вело себя как девушка перед речью опытной женщины — жизнью. Дванов видел, как слушает девушка объяснение женщины о любви: понимает, но не разделяет ощущения, ибо девушка обращает свою жизнь в свое обаяние, а не в размножение. Искусство подобно девушке: оно питается жизнью, но жизнь для него лишь сырье, а не смысл, — это сырье перерабатывается во что-то другое, где безобразно-живое превращается в бесчувственно-прекрасное.

Такими отделились в Дванове эти колонны — над зимней степью и над революцией.

«Что же нам останется? — думал Дванов. — Может быть, даже не искусство, а живой человек, любимая или товарищ, увиденный как-то снова — не с лица, а в действии и дружбе. Нам не обязательно искусство. Возможно, что искусство вырастает, когда проходит уважение между людьми... Черт его знает — ничего не известно: рано еще...

Но все-таки хороша белая колоннада!

Нет, и нам нужны будут такие вещи, — сознался себе Дванов. — Вперед науки в мир мчится мечта — и падает мертвой: эти колонны, как трупы мечты. Такое искусство — хорошее, и нам потребуется».

Копенкин тоже посерьезнел перед колоннами: он уважал величественное, если оно было бессмысленно и красиво. Если же в величественном был смысл, например — в большой машине, Копенкин считал его орудием угнетения масс и презирал. Перед бесцельным же, как эта колоннада, он стоял с жалостью к себе и ненавистью к царизму: Копенкин полагал виноватым царизм, что он сам не волнуется сейчас от громадных женских ног, и только по печальному лицу Дванова видит, что надо тоже опечалиться.

— Хорошо бы и нам построить что-нибудь всемирное и замечательное, мимо всех забот! — с тоской сказал Дванов.

¹— Сразу не построишь, — усомнился Копенкин. — Нам буржуазия весь свет загораживала. Мы теперь еще выше и отличное столбы сложим, а не срамные лыдки.

Налево, как могилы на погосте, лежали под снегом остатки служб и малых домов. Колонны сторожили безлюдный, погребенный мир. Декоративные благородные деревья мерцали морозным снегом, как свечи над ровной белой гибелью. Дванов с любопытством счастливого потомка рассматривал эту феодальную Атлантиду, размытую потоком революции.

— Но мы сделаем еще лучше — и на всей площади мира, не по одним закоулкам! — показал Дванов рукой на все, но почувствовал голос ответственной совести: смотри! — что-то неподкупное, не берегущее себя, предупредило его изнутри.

— Конечно, построим: факт и лозунг, — подтвердил Копенкин, легкомысленный от своей воодушевленной смелости. — Наше дело неумолимое.

Копенкин напал на след огромных человеческих ног и тронул по ним коня.

— Во что же обут здешний житель? — немало удивлялся Копенкин и обнажил шашку: вдруг выйдет великан — хранитель старого строя. У помещиков были такие откормленные дядьки, — подойдет и даст лапой без предупреждения — сухожилия лопнут.

Копенкину нравились сухожилия — он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать их.

Всадники доехали до массивной вечной двери, ведшей в полуподвал разрушенного дома. Нечеловеческие следы уходили туда, даже заметно, что они топтались у двери, роя снег до прошлогодней травки.

¹ *Предварительная запись: Слово / Копенк<ина> / встреч<ено> / с / инт<ересом>. Запись зачеркнута.*

— Кто ж тут есть? — поражался Копенкин. — Не иначе — лютый человек. Сейчас ахнет на нас — готовься, товарищ Дванов!

Сам Копенкин даже повеселел: он ощущал тот прыгающий тревожный восторг, который имеют дети в ночном лесу: их страх делится пополам со сказочным любопытством.

Дванов крикнул:

— Товарищ Пашинцев!.. Кто тут есть?

Никого, и снег не шуршит, а день уже меркнет.

— Товарищ Пашинцев!

— Э! — отдаленно и огромно раздалось из каких-то звучных недр земли.

— Выйди сюда, односельчанин! — громко приказал Копенкин.

— Э! — мрачно и гулко отозвалось из утробы подвала. Но в этом звуке не слышалось ни страха, ни желания выйти. Отвечавший, вероятно, откликнулся лежа.

Копенкин и Дванов подождали, а потом рассердились.

— Да выходи, тебе говорят! — зашумел Копенкин.

— Не хочу, — медленно отвечал неизвестный человек. — Ступай в центральный дом — там хлеб и самогон на кухне.

Копенкин слез с коня и погромел саблей о дверь.

— Выходи — гранату метну!

Тот человек помолчал, — может быть, с интересом ожидая гранаты и того, что потом получится.

Но затем ответил:

— Бросай, шкода! У меня тут их целый склад: сам от детонации не упрыгаешь.

И опять замолк. У Копенкина не было гранаты.

— Да бросай же, гада! — с покоем в голосе попросил неведомый из своей глубины. — Дай мне свою артиллерию проверить: должно, мои бомбы заржавели и отмокли — ни за что не взорвутся, дьяволы!

— Во! — странно промолвил Копенкин. — Ну, тогда выйди и прими пакет от товарища Троцкого.

Человек помолчал и подумал.

— Да какой он мне товарищ, раз надо всеми командует! Вольское дело, небось, забыл, судорога его возьми. Ты лучше брось бомбу — дай поинтересоваться!

Копенкин отбил ногой примороженный кирпич и с маху бросил его в дверь. Дверь взвыла железом и осталась в покое.

— Не разорвалась, идол, в ней вещество окоченело! — определил Копенкин дефект.

— И мои молчат! — серьезно ответил неизвестный человек. — Да ты шайбу-то опустил? Дай я марку выйду погляжу.

Зазвучало ритмическое колыхание металла — кто-то шел действительно железной поступью. Копенкин ожидал его с вложенной саблей — любопытство в нем одолело осторожность. Дванов не слез со своего рысака.

Неизвестный гремел уже близко, но не ускорял мерного шага, очевидно, одолевая страшную тяжесть.

Дверь открылась сразу — она не была замкнута.

Копенкин замер от зрелища и отступил на два шага — он ожидал ужаса или мгновенной разгадки, но человек уже объявился, а свою загадочность сохранил.

Из открывшейся двери выступил небольшой человек, весь запакотанный в латы и панцирь, в шлеме и с тяжким мечом, обутый в мощные металлические сапоги — с голенищами, сочлененными каждое из трех бронзовых труб, давившими на снег до его испарения.

Лицо человека — особенно лоб и подбородок — было защищено отворотами каски, а сверху всего имелась опущенная решетка. Все вместе защищало воина от любых ударов противника.

Но сам человек был мал ростом и не так страшен.

— Где твоя граната? — хрипло и тонко спросил вышедший: голос его гулко гремел только издали, отражаясь на металлических вещах и пустоте его жилища, а в натуре оказался жалким звуком.

— Ах ты, гадина! — без злобы, но и без уважения воскликнул Копенкин, пристально интересуясь рыцарем.

Дванов открыто засмеялся — он сразу сообразил, чью непомерную одежду присвоил этот человек. Но засмеялся он оттого, что заметил на средневековой каске красноармейскую звезду, посаженную на болт и прижатую гайкой.

— Чему радуетесь, сволочи? — хладнокровно спросил рыцарь, не находя дефективной гранаты. Нагнуться рыцарь никак не мог, и только слабо шевелил снег мечом, непрерывно борясь с тяжестью доспехов.

— Не ищи, чумовой, несчастного дела! — серьезно сказал Копенкин, возвращаясь к своим нормальным чувствам. — Веди на ночлег. Есть у тебя сено?

Жилище рыцаря помещалось в полуподвальном этаже помещицкой службы. Там имелась одна зала, освещенная получерным светом копильника. В одном углу лежали горой рыцарские доспехи и холодное оружие, в другом — пирамидка ручных гранат. Посреди зала стоял стол, у стола одна табуретка, а на столе бутылка с неизвестным напитком, а может быть — отравой. К бутылке хлебом была приклеена этикетка с надписью чернильным карандашом:

«Смерть буржуям».

— Ослобони меня на ночь! — попросил рыцарь.

Копенкин долго разнуздывал его от бессмертной одежды, вдумываясь в ее умные детали. Наконец, рыцарь распался и из бронзовой кожуры явился обыкновенный товарищ Пашинцев — бурого цвета человек лет тридцати семи и без одной ноздри. Отсутствие носового крыла обнажало в носу какую-то табачную зелень. Копенкин тихо рыгнул от отвращения. Пашинцев заметил:

— Видишь — метина на мне от царского режима! — сказал он.

Копенкин не сообразил:

— Барин нагайкой отсек?

— Глубже бери — по наследству досталось: отец в заразе сгнил — царский строй не лечил мужиков. Отец от матери заболел, а мать от барчука: у нее глаза были на чернослив похожи. Давай выпьем по стаканчику!

Но Копенкина и в старое время не брала водка; он ее не пил сознательно, как бесцельный напиток. Напротив, простые слова, расставленные стихом, волновали его до радостного опьянения. Он еще из букваря помнил:

В полуденный зной по дороге
Измученный мальчик идет,
Изрезаны камнем ноги,
Струится с лица его пот.

То детское волнение не оставило его и посейчас.

Дванов тоже не понимал вина, и Пашинцев выпил один в одиночестве. Он взял бутылку — с надписью «Смерть буржуйам» — и перелил ее непосредственно в горло.

— Язва! — сказал он, опорожнив посуду, и сел с подобревшим лицом.

— Что, приятно? — спросил Копенкин.

— Свекольная настойка, — объяснил Пашинцев. — Одна незамужняя девка чистоплотными руками варит, — беспорочный напиток — очень духовит, батюшка...

Дванов, оставив беседу, сел писать письмо Гратову.

«Дорогой и далекий товарищ, — писал Дванов. — Я еду по пустынным и сказочным местам. Как хорошо и странно — жить сейчас, а сознавать настоящее, как прошлое. Тогда, из будущего, все нам покажется чистым и чудесным, потому что революция проходит. Что случилось нового? Пиши скорее — даю адрес. Как живет Крашенина — есть ли слух от нее? Что делаешь ты и Геннадий, и все наши ребята? Шумилину скажи — я действую. Еще скажу главное: по-моему, сознание нового человека надо воспитать на чувстве настоящего, как прошлого. Иначе

говоря, сдвинуть его в будущее — тогда, посмотри, как выйдет хорошо среди людей. Вся мелочность и досада бытовой жизни сразу исчезнет... Мы будем видеть не один день, а целое обилие времени и предметов — и разве пожалеем в таком богатстве что-нибудь малое...»

Дванов долго не мог окончить письма, увлекшись мысленным разговором с другом.

А Копенкин сочувственно беседовал с Пашинцевым, пытаясь постигнуть загадку одинокого рыцаря коммунизма.

— Да кто ж ты такой? — с досадой интересовался Копенкин.

— Я — личный человек! — осведомлял тот Копенкина. — Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошли армии, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника... Да будь ты...

Пашинцев кратко сформулировал рукой весь текущий момент.

Дванов бросил писать и заслушался.

— Ты помнишь восемнадцатый и девятнадцатый год? — со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в нем какие-то яростные воспоминания: среди рассказа он всхлипывал одной целой ноздрей, молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала.

— Теперь уж ничего не будет! — с ненавистью убеждал Пашинцев моргавшего Копенкина. — Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека... Возьми меня — разве ты сроду узнаешь, что тут дышит? — Пашинцев ударил себя по гулкому черепу. — Да тут, брат, всем пространствам место найдется! Так же и у каждого. А надо мной властвовать хотят! Как ты все это в целости поймешь? Говори — обман или нет?

— Обман, — с простой душою согласился Копенкин.

— Вот! — удовлетворенно закончил Пашинцев.

Дванов знал, что революция борется не только с классовым противником, но и внутри себя, сама с собой, — одновременно преодолевает себя и внешнего врага. Он понял Пашинцева и его искреннее отчаяние, — он увидел, что Пашинцев обречен. Дванов представил себе время, которым однажды и навсегда был очарован Пашинцев. Это первые месяцы после октября семнадцатого года — месяцы особого энтузиастического страстного коммунизма, охватившего отчаянные умиравшие массы солдатского и рабочего народа. Тогда верилось, что близок теплый день всемирной дружной жизни. Но скоро эта вера превратилась лишь в поверье, а в Пашинцеве она стала алчным суеверием. Годы гражданской войны спрессовали революцию и сделали ее беспощадной военной силой. В революции осталось больше стойких сухожилий и меньше испаряющейся влаги вдохновения.

Буржуя нету, так будет труд —
Опять у мужика гужа на шее.
Поверь, крестьянин трудовой,
Цветочкам полевым сдобней живется!
Так брось пахать и сеять, жать,
Пускай вся почва родит самосевом.
А ты ж живи и веселись —
Не дважды кряду происходит жизнь,
Со всей коммуною святой за руки честные возьмись
И громко грянь на уши всем:
Довольно грустно бедовать,
Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды,
Земля задаром даст нам пропитанье.

Дванов уловил ритм и усвоил стихотворение.

В дверь постучал кто-то ровным деловым стуком.

— Э! — отозвался Пашинцев, уже испаривший из себя самогон и поэтому замолкший.

— Максим Степаныч, — раздалось снаружи, — дозвожь на оглоблю жердину в опушке сыскать: хряпнула на полпути, хоть зимуй у тебя.

— Нельзя, — отказал Пашинцев. — До каких пор я буду приучать вас? Я же вывесил приказ на амбаре: земля — самодельная и, стало <быть>, ничья! Если б ты без спросу брал, тогда б я тебе позволил...

Человек снаружи похрипел от радости.

— Ну, тогда спасибо. Жердь я не трону — раз она прошенная, я что-нибудь иное себе подарю.

Пашинцев свободно сказал:

— Никогда не спрашивай, рабская психология, а дари себе все сам. Родился-то ты не от своей силы, а даром — и живи без счета.

— Это — точно, Максим Степаныч, — совершенно серьезно подтвердил проситель за дверью. — Что самовольно схватишь, тем и жив. Если б не именье — полсела бы у нас помёрло. Пятый год добро отсюда возим — большевики люди справедливые! Спасибо, Максим Степанович.

Пашинцев сразу рассердился:

— Опять ты — спасибо! Ничего не бери, серый черт!

— Эт к чему же, Максим Степаныч? За что ж я тогда три года на позиции кровь проливал? Мы с кумом на паре за чугунным чаном приехали, а ты говоришь — не смей...

— Вот — отечество! — неясно сказал Пашинцев Копенкину, а потом обратился к двери. — Так ведь ты за оглоблей приехал? Теперь говоришь — чан!

Проситель спутался:

— Да хуть что-нибудь... Иной раз курицу одну везешь, а глядь — на дороге вал железный лежит, а один не ссилишь, так он по-хамски и валяется. Оттого и в хозяйстве у нас везде разруха...

— Раз ты — <на> паре, — кончил разговор Пашинцев, — увези, пожалуйста, бабью ногу из белых столбов... В хозяйстве ей место найдется.

— Можно, — удовлетворился проситель. — Мы ее буксиром спровхала потащим — кафель из нее колоть будем.

Проситель ушел предварительно осматривать колонну — для более сподручного похищения ее.

В начале ночи Дванов предложил Пашинцеву устроить лучше — не имение перетаскивать в деревню, а деревню переселить в имение.

— Труда меньше, — говорил Дванов. — К тому же имение на высоком месте стоит — здесь земля урожайней.

Пашинцев на это никак не согласился.

— Сюда с весны вся губернская босота сходится — самый чистый пролетариат. Куда ж им тогда деваться? Нет, я здесь кулацкого засилья не допущу!

Дванов подумал, что, действительно, мужики с босяками не сживутся. С другой стороны, жирная земля пропадает зря — население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и какого-то самосева: вероятно, из лебеды и крапивы щи варят.

— Вот что, — неожиданно для себя догадался Дванов. — Ты обменней деревню на имение: имение мужикам отдай, а в деревне ревзаповедник сделай. Тебе же все равно — важны люди, а не место.

Пашинцев со счастливым удивлением посмотрел на Дванова.

— Вот это отлично! Так и сделаю. Завтра же еду на деревню мужиков поднимать!

— Поедут? — спросил Копенкин.

— В одни сутки все тут будут! — с яростным убеждением воскликнул Пашинцев, и даже двинулся телом от нетерпения.

— Да я прямо сейчас поеду! — передумал Пашинцев. Он теперь и Дванова полюбил. Сначала Дванов ему не вполне понравился: сидит, молчит и пишет: наверное, все программы, уставы и тезисы наизусть знает — таких умных Пашинцев не любил. Он видел в жизни, что глупые и несчастные добрее умных и более способны изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашинцев верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее ученых буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их хорошая судьба¹.

¹ На правом поле предложение отмечено вопр. знаком; ниже вопр. знака запись: чувством / восполн<ают> недостатки. Запись зачеркнута.

Пашинцева успокоил Копенкин, сказав, что нечего спешить. — Победа за нами, все едино, обеспечена.

Пашинцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время он любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет погожий день и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую неуместную траву — васильки, донник и ветрянку. Эта трава была красивей невзрачных хлебов — ее цветы походили на печальные предсмертные глаза детей: они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава живей и терпеливей квёлых хлебов — после баб она снова рожалась, в неисчислимом и бессмертном количестве.

— Вот так же и беднота! — сравнивал Пашинцев, сожалея, что выпил всю «Смерть буржуям». — В нас мочи больше, и мы сердечней прочих элементов...

Пашинцев не мог укротить себя в эту ночь. Надев кольчугу на рубашку, он вышел куда-то на усадьбу. Там его охватила зимняя прохлада, но он не остыл. Наоборот, звездное небо и свой низкий рост под ним толкнули его на большое чувство и немедленный подвиг. Пашинцев застыдил себя перед величественным ночным миром и, не сознавая, захотел сразу поднять свое достоинство.

В главном доме жило немного окончательно бесприютного и нигде не зарегистрированного народа — четыре окна мерцали светом открытой топившейся печки. Пашинцев постучал в окно кулаком, не жалея покоя обитателей.

Вышла лохматая девушка в высоких валенках.

— Чего тебе, Максим Степаныч? Что ты ночную тревогу поднимаешь?

Пашинцев подошел к ней и восполнил своим чувством вдохновенной симпатии все ее ясные недостатки.

— Груня, — сказал он, — дай я тебя поцелую, голубка незамужняя! Бомбы мои сохлись и не рвутся — хотел сейчас колонны ими подсесть, да нечем. Дай я тебя обниму по-товарищески.

Груня далась:

— Что-то с тобой случилось — ты будто человек сурьезный был... Да сними железо с себя, всю мякоть мне нагретовожишь...

Но Пашинцев кратко поцеловал ее в темные сухие корки губ и пошел обратно. Ему стало легче и не так досадно под нависшим могущественным небом. Все большое по объему и отличное по качеству в Пашинцеве возбуждало не созерцательное наслаждение, а воинское чувство — стремление превзойти большое и отличное в силе и важности.

— Вы что? — спросил без всякого основания Пашинцев — для разряжения своих удовлетворенных чувств.

— Спать пора, — зевнул Копенкин. — Ты наше правило взял на заметку — сажаешь мужиков на емкую землю: что ж с тобой нам напрасно гоститься?

— Мужиков завтра потащу — без всякого саботажа! — определил Пашинцев. — А вы погостите — для укрепления связей! Завтра Грунька обед вам сварит... Того, что у меня тут, — нигде не найдете. Обдумываю, как бы Ленина вызвать сюда — все ж таки вождь!

Копенкин осмотрел Пашинцева: Ленина хочет человек! — и напомнил ему:

— Смотрел я без тебя твои бомбы — они все порченые: как же ты господствуешь?

Пашинцев не стал возражать:

— Конечно — порченые: я их сам разрядил! Но народ не чувствует — я его одной политикой и беру — хожу в железе, ночью на бомбах... Понял маневр малыми силами в обход противника? Ну, и не сказывай, когда зачешется...

Коптильник погас. Пашинцев объяснил положение:

— Ну, ребята, ложись как попало — ничего не видно, и постели у меня нету... Я для людей — грустный член...

— Блажной ты, а не грустный, — точнее сказал Копенкин, укладываясь кое-как.

Пашинцев без обиды ответил:

— Здесь, брат, коммуна новой жизни — не бабий городок: перин нету.

Под утро мир оскудел в своем звездном величии и серым светом заменил мерцающее сияние. Ночь ушла, как блестящая кавалерия, на землю вступила пехота трудного походного дня.

Пашинцев принес, на удивление Копенкина, жареной баранины. А потом два всадника выехали с ревзаповедника по южной дороге — в долину Черной Калитвы. Под белой колоннадой стоял Пашинцев в рыцарском жестком снаряжении и глядел вслед своим единомышленникам.

О чем он думал? Ни о чем. — Он не думал, а желал: сесть на единственную кобылу заповедника и уехать самому вдаль — основывать лучшую жизнь и новые страны, тягаться с природой и людьми в ревностных схватках, наполнить провалы и скорби жизни своим избыточным чувством симпатии к ней.

— Строже надо! — предупредил себя Пашинцев. — Нельзя нестись по полю вырванной травой!

Он попоил худую безнадзорную кобылу и поехал в село — стогнать крестьян в помещичью усадьбу, чтобы они добровольно освоили высокие урожайные земли.

На дороге он не раз хотел повернуть коня в засасывающую бездорожную степь, но кобыла знала дорогу и не верила узде — она шла только на деревню. Бродяжье, что-то неясно обещающее сердце боролось в Пашинцеве с его здравым разумом.

Он оглянулся на ревзаповедник: и ему понравились колоннада и здания — не как архитектура, а как факт ужившейся там революции. Пашинцев заторопил кобылу в деревню: теперь он не хотел бросать своего дела.

Если бы его спросить, почему он одолел свое колебание, Пашинцев бы не ответил.

Про это не знал и Дванов, торопивший увлечение народа революцией превратить в строительный факт. Дванов много размышлял над Копенкиным: его стесняло то, что такой одутловатый средний мужик, как Копенкин, действовал в революции не от здравого смысла, а от нудной бесчувственной мечты — любовной веры в мертвую Розу Люксембург. Пашинцев тоже ходил в революции с оболщанием, смутным самому себе, а не вполне сознательно. Для них революция не убеждение, а безотчетное самочувствие. Дванов это одобрял, но считал такое состояние непрочным и опасным.

Сейчас он опять ехал рядом с Копенкиным по снежной дороге и понимал, почему в зимней России мир называется белым светом. Дванов заволакивался думами в такт шага своего коня. То, что Дванов ощущал как свое сердце, было постоянно содрогающейся плотиной — от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства — вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питающего, но и тормозящего его сознание, и мог быстро и правильно поступать.

Он спросил:

— Товарищ Копенкин, за что ты любишь Розу Люксембург — ведь это же блажь!

Копенкин этого сам не знал и ответил приблизительно:

— Кто ее знает, сам мучаюсь... Не за то, чтоб жениться...

— Так. Но скажи как-нибудь: за что?

— Не как-нибудь, а прекрасно скажу. Видишь ты, хоть я и коммунист, а сроду ни программы, ни правил, ничего не читал. А через това-

рища Розу Люксембург мне все почудилось определенным... Увидел ее портрет и заволновался: вот, вижу, красивая женщина страдала, а ты — дураком живешь. Тут же мне так стыдно получилось, и я полюбил ее выше своего ума... В малолетстве меня к вере тоже не поп приучил, а бабушка сказкой о Николае Чудотворце. Понял ты меня?

— Теперь понимаю, — сказал Дванов, разгадав слова «выше своего ума». Это означало другое, чем полагал сам Копенкин: вместо познания революции умом, Копенкин полюбил сердцем Розу Люксембург. Так для него легче, а результаты одинаковые — Роза Люксембург для Копенкина есть та же революция, переведенная в женский влекущий образ, стронувший вдового Копенкина с его крестьянского двора.

Затем Дванов открыл, почему Софья Александровна поцеловала его именно в лоб. Этим она попросила дать ей иной смысл жизни, чем ожидающее ее страшное материнство. Поцелуй Софьи Александровны означал также прощание с девичеством: узким венком губ она тронула лоб Дванова, как свою новую судьбу, и заплакала, расставаясь с собой.

Дванов обрадовался от своей догадки: теперь надо помочь Софье Александровне переменить свою материнскую судьбу на другую; исполнить просьбу ее первого поцелуя — сделать этот поцелуй последним, чтобы отвлечь ее от бессмысленной страсти истощающего размножения и не сваливать дела завоевания мира на плечи детей, а сделать историю своим личным делом. Вот потому, что мы ласкаем свои страсти¹, Копенкин должен был подойти к революции косвенным путем, а многие не могут подойти никак. У них нет берегов и уклона для потока мысли: свет их сердца обращен только в пространство чувств; вместо сознания в Копенкине — душа, вместо мысли — ощущение. Для выхода мысли из чувства нужно особое сооружение — культура, иначе человек понимает одного себя и вещи для него важнее истин.

Дванов сейчас не видел Пашинцева, который как раз предпочел факт ревзаповедника своему темному желанию — бросить все и скрыться. Дванов смутился.

Правильно ли он выбирает²? Вот — любовь. В ней всегда человек считается с фактом, а не с истиной. И сейчас: важнее победить разруху, засеять пустые поля, наконец, расселить для сельского хозяйства пастушескую губернию, чем выдумать новую теорию революции или продолжать спор о профсоюзах. Вокруг одной теории нельзя соединить людей, а вокруг ревзаповедника товарища Пашинцева можно: ревзаповедник вещь, а не тезис.

¹ *Запись над строкой: а не живем (развить?)?! Весь абзац отмечен на левом поле вopr. знаком.*

² *Слово вычеркнуто при правке, замена не найдена.*

Замученным, полудиким людям, загнанным для жизни в овраги, для веры в социализм мало честных слов, — они поверят лишь тогда, когда хватают руками обещанные предметы.

<XIV>

— Тронем на рысь, товарищ Копенкин! — сказал Дванов, переполнившись горячей и счастливой силой нетерпения. В нем проснулся детский инстинкт вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разбирать будильники, чтобы посмотреть, что там есть. Это с ним бывало. Позднее его отвлекла работа в мастерских и книги. Теперь он снова почувствовал любопытство к людям и вещам. Над его сердцем трепетал тот мгновенный пугающий свет, какой бывает летними спертыми ночами в полях. Может быть, это жила в нем любовь, превратившаяся в часть тела, либо продолжающаяся сила рождения. Но за счет ее Дванов мог добавочно и внезапно видеть неясные явления. Он оглядел Копенкина, ехавшего со спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма, где от силы науки оживет и станет первой гражданкой Роза Люксембург. Дванов понял, как ему дорог нежной вечной ценой этот серый человек, невозможный ни в какой другой стране. Дванов понял, что кончилась первая холодная созерцательная молодость и ему жизнь стала дороже абсолютных истин, а счастье людей лучше смысла жизни. Безучастный сторож-старик дремал под своим дежурным светом, и от этого света Дванов видел нерожденные мысли, плавающие в озере чувств.

Дорога пошла в многоверстный уклон. Казалось, если разогнаться по нему, можно оторваться и полететь.

Вдали замерли преждевременные сумерки над темной грустной долиной.

— Калитва! — показал Копенкин и обрадовался, как будто уже доехал до нее вплотную.

Дванов загляделся в бедный ландшафт впереди. И земля и небо были до утомления несчастны: здесь люди жили отдельно и не действовали, как гаснут дрова, не сложенные в костер.

— Вот оно — сырье для социализма! — изучал Дванов страну. — Ни одного сооружения — только тоска природы-сироты!

В виду слободы Старой Калитвы всадникам встретился человек с мешком. Он снял шапку и поклонился конным людям — по старой памяти, что все люди — братья. Дванов и Копенкин тоже ответили поклоном, и всем трем стало хорошо.

— Товарищи грабить поехали, пропасти на них нет! — про себя решил человек с мешком, отошедши достаточно далеко.

На околице слободы стояли два сторожевых мужика: один с обрезами, другой с колом из плетня.

— Вы — какие? — служебно спросили они подъехавших Дванова и Копенкина.

Копенкин задержал коня, туго соображая о значении такого военного поста.

— Мы — международные! — припомнил Копенкин звание Розы Люксембург: международный революционер.

Постовые задумались:

— Евреи, што ль?

Копенкин хладнокровно обнажил саблю: с такою медленностью, что сторожевые мужики не поверили угрозе.

— Я тебя кончу на месте за такое слово, — почти дружески произнес Копенкин. — Ты знаешь, кто я? На документы...

Копенкин полез в карман, но документов и вообще бумаги у него не было никогда: нащупал одни хлебные крошки.

— Адъютант полка! — отнесся Копенкин к Дванову. — Покажите дозору наши грамотки...

Дванов вынул конверт, в котором он сам не знал, что находилось, но возил его всюду третий год, и бросил охране. Постовые с жадностью схватили конверт, обрадовавшись исполнению долга службы.

Копенкин пригнулся и свободным движением мастера вышиб саблей обрез из рук постового. Дванов еще больше полюбил Копенкина. Есть много у нас таких серых¹ людей, которые становятся замечательными, попадая в свое дарование.

Постовой выправил дернутую руку:

— Чего ты, идол, мы тоже не красные...

Копенкин переменялся:

— Много войска у вас? Кто такие?

Мужики думали и так и иначе, а отвечали честно:

— Голов сто, а ружей всего штук двадцать... Тимофей Плотников у нас гостит с Исподних Хуторов. Вчерашний день продотряд от нас с жертвами отступил...

Копенкин показал им на дорогу, по которой приехал:

— Ступайте маршем туда — встретите полк, ведите его сюда. Где штаб Плотникова?

— У церкви, на старостином дворе, — сказали крестьяне и печально посмотрели на родное село, желая отойти от событий.

¹ Слово подчеркнуто и отмечено сверху вопр. знаком.

— Ну, идите бодро! — приказал Копенкин и ударил коня ножами.

¹За плетнем низко сидела баба, уже готовая умереть. То, зачем она вышла, остановилось в ней на полпути.

— Капаешь, старуха? — заметил ее Копенкин.

Баба была не старуха, а милостивая пожилая женщина.

— А ты уж покапал, идол неумытый! — до корня осерчала баба и встала с растопыренной юбкой и злостным лицом.

Конь, теряя свою грузность, сразу понес диким карьером, высоко забрасывая передние ноги.

— Товарищ Дванов, гляди на меня — и не отставай! — крикнул Копенкин, сверкая в воздухе готовой шашкой.

Пролетарская Сила тяжело молотила землю; Дванов слышал дребезг стекол в хатах. Но на улицах не было никого, даже собаки не бросились на всадников.

Миная улицы и перекрестки огромного села, Копенкин держал направление на церковь. Но Калитва селилась семейными кустами четыреста лет: иные улицы были перепружены неожиданными хатами, а иные замкнулись наглухо новыми дворами и сворачивали в поле узкими летними проездами.

Копенкин и Дванов попали в переплет закоулков и завертелись на месте. Тогда Копенкин отворил одни ворота и понесся в обход улиц гумнами. Деревенские собаки сначала осторожно и одиноко залаяли, а потом перекинулись голосами и, возбужденные собственным множеством, взвыли все враз — от околицы до околицы.

Копенкин крикнул:

— Ну, товарищ Дванов, теперь крой напролет..

Дванов понял, что нужно проскакать село и выброситься в степь по ту сторону. И не угадал: выбравшись на широкую улицу, Копенкин поскакал прямо по ней в глубь села.

Кузницы стояли запertыми, а избы молчали, как брошенные. Попался лишь один старик, ладивший что-то у плетня, но он не обернулся на них, вероятно, привыкнув ко всякой смуте.

Дванов услышал слабый гул — он подумал, что это раскачивают язык колокола на церкви и слабо касаются им по металлу.

Улица повернула и показала толпу народа у кирпичного грязного дома, в каких помещались раньше казенные винные лавки.

¹ Помета в автографе для машинистки: пропустить / строк 10. / оставить / место. В машинописях, сделанных с данного фрагмента, на месте пропуска вписана вставка, она составляет 10 строк (см.: Архив, 2. С. 529).

Народ шумел одним тяжелым голосом: до Дванова долетала лишь равнодействующая всех звуков.

Копенкин обернул сжатое похудевшее лицо:

— Стреляй, Дванов! Теперь — все наше!

Дванов выстрелил два раза куда-то в церковь и почувствовал, что он кричит вслед за Копенкиным, уже вдохновлявшим себя взмахами сабли. Толпа крестьян колыхнулась ровной волной, сверкнула обращенными назад чужими лицами и начала пускать из себя потоки бегущих людей. Другие затоптались на месте, хватая на помощь соседней. Эти топтавшиеся были опасней бегущих: они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться храбрым.

Дванов вдохнул мирный запах деревни — соломенной гари и гретого молока, — от этого запаха у Дванова заболел живот: сейчас он не смог бы съесть даже щепотки соли. Он испугался погибнуть в огромных теплых руках деревни, задохнуться в овчинном воздухе смиренных людей, побуждающих врага не яростью, а навалом.

Но Копенкин почему-то обрадовался толпе и уже надеялся на свою победу.

Вдруг из окон хаты, у которой метались люди, вспыхнул спешащий залп из разнокалиберных ружей — все звуки отдельных выстрелов были разные.

Копенкин пришел в самозабвение, которое запирает чувство жизни в темное место и не дает ему вмешиваться в смертные дела. Левою рукою Копенкин ударил из нагана в хату, грома оконное стекло.

Дванов очутился у порога. Ему осталось сойти с коня и вбежать в дом. Он выстрелил в дверь — дверь открылась от толчка пули, и Дванов побежал внутрь. В сенях пахло лекарством и печалью неизвестного беззащитного человека. В чулане лежал раненный в прежних боях крестьянин. Дванов не сознал его и ворвался через кухню в горницу. В комнате стоял в рост рыжеватый мужик, подняв правую здоровую руку над головой, а левая с наганом была опущена — из нее мерно капала кровь, как вода из рукомойника.¹

Окно горницы было выбито, а Копенкина не было.

— Бросай оружие! — сказал Дванов.

Бандит прошептал что-то с испугу.

— Ну! — озлился Дванов. — Бросай: пульей с рукою вышибу!

¹ На нижнем поле у конца предложения запись: [Дождь] / влага / с листьев / после / дождя. Запись использована в правке этого предложения в машинописи фрагмента: капала кровь [как вода из рукомойника] как влага с листьев после дождя... (см.: Архив, 2. С. 531).

Крестьянин бросил револьвер в свою кровь и поглядел вниз: он пожалел, что пришлось вымочить оружие, а не отдать его сухим — тогда бы его скорей простили¹.

Дванов не знал, что делать дальше с раненым пленником и где Копенкин. Он отдышался и сел в плюшевое кулацкое кресло. Мужик стоял перед ним, не владея обвисшими руками. Дванов удивился, что он не похож на бандита, а был обыкновенным мужиком и едва ли богатым.

— Сядь! — сказал ему Дванов. Крестьянин не сел.

— Ты кулак?

— Нет, мы тут последние люди, — вразумительно ответил мужик правду. — Кулак не воюя: у него хлеба много — весь не отберут...

Дванов поверил и испугался: он неожиданно вообразил деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом.

— Ты бы стрелял в меня правой рукой: ведь одну левую ранили².

Бандит глядел на Дванова и медленно соображал — не для вранья, а вспоминая.

— Я левша... Выскочить не успел, а говорят — полк наступает, мне таково обидно стало одному помирать...

Дванов заволновался: он мог думать при всех положениях. Этот крестьянин подсказывал ему какую-то мучительную правду — Дванов ее уже чувствовал, но написать словами не сумел бы.

«Глупость! — молча колебался Дванов. — Расстрелять его, как придет Копенкин... Трава растет, тоже разрушает почву: революция — насильная штука и сила природы... Сволочь ты!» — сразу и без последовательности изменилось сознание Дванова.

— Уходи домой! — приказал он бандиту. Тот пошел к двери задом, глядя на наган в руке Дванова замороженными ооченелыми глазами. Дванов догадался и нарочно не прятал револьвера, чтобы не шевельнуться и не испугать человека.

— Стой! — окликнул Дванов. Крестьянин покорно приготовился.

— Были у вас белые офицеры? Кто такой Плотников?

Бандит ослаб и мучительно старался перетерпеть себя.

— Не, никого не было, — боясь солгать, тихо отвечал крестьянин. — Каюсь тебе, милый человек: никого... Плотников — с наших присёлков мужик...

Дванов видел, что бандит от страха не врет.

— Да ты не бойся! Иди себе спокойно ко двору.

Бандит пошел, поверив Дванову.

¹ *Предваряющая запись, обведенная рамкой: Один из / постовых / (или третий) / ушел / и донес об / идущем / полк[у]е. Тут же вписано: баба!*

² *Весь диалог отчеркнут на левом поле и отмечен вопр. знаком.*

В окне задрезбужали остатки стекла: степным ходом подскакала Пролетарская Сила Копенкина.

— Ты куда идешь? Ты кто такой? — услышал Дванов голос Копенкина. Не слушая ответа, Копенкин водворил пленного бандита в чулан.

— Ты знаешь, товарищ Дванов, я было самого ихнего Плотникова словил, — сообщил Копенкин, клопоча возбужденной грудью. — Двое их стервецов ускакали — ну, кони их хороши! На моем пахать надо, а я на нем воюю... Хотя на нем мне счастье — сознательная скотина!.. Ну, что ж, надо сход собирать...

Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. Дванов вышел на крыльцо в ожидании собрания крестьян. Вдалеке выскакивали на середину улицы дети и, поглядев в сторону Дванова, убежали опять. Никто не шел на гулкий срочный призыв Копенкина.

Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание с возгласом. Дванов заслушался, забывая цель набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение. В революции тоже действуют эти страсти — не одной литой верой движутся люди, но также и сомнением.

К крыльцу подошел черноволосый мужик в фартуке и без шапки, наверно — кузнец.

— Вы что тут народ беспокоите? — прямо спросил он. — Езжайте себе, други-товарищи, дальше. Есть у нас дураков десять — вот вся ваша опора тут..

Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на советскую власть.

— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злобно ответил кузнец. — Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужуку от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?

Дванов объяснил, что разверстка — дело временное и военное.

— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски — за кем хошь пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие ж негодящие люди... Ты говоришь, хлеб для войны! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж победа останется? Да и война, говорят, вся прошла...

Кузнец перестал говорить, сообразив, что перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты: как будто ничего человек, а действует против простого народа.

Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца: есть примерно 10 процентов чудаков в народе, которые на любое дело пойдут — и в революцию, и в союз русского народа¹.

Пришел Копенкин — тот на все упреки кузнеца отвечал ясно:

— Сволочь ты, дядя! Мы живем теперь все вровень, — а ты хочешь так: рабочий не жри, а ты чтоб самогон из хлеба курил!

— Вровень, да не гладко! — мстил кузнец. — Кляп ты понимаешь в ровной жизни! Я сам, как женился, думаю над этим делом: и получается, что всегда чудаки над нами командовали, а сам народ никогда власти не принимал: у него, друг, посурьезней дела были — дураков задаром кормил...

Кузнец недобро похотел и свертел сигарку.

— А если б разверстку отменили? — поставил вопрос Дванов.

Кузнец было повеселел, но опять нахмурился:

— Не может быть! Вы еще хуже, другое придумаете — пускай уж старая беда живет: тем более мужики уж приучились хлеб хоронить...

— Ему ништо нипочем: сволочь-человек! — определил Копенкин собеседника.

К дому стал подбираться народ: пришли человек восемь и сели в сторонке. Дванов подошел к ним — это оказались уцелевшие члены ячейки Калитвы.

— Начинай речь! — насмеялся кузнец. — Все чудаки в сборе, не хватает малости...

Кузнец помолчал, а потом опять охотно заговорил:

— Вот ты меня послушай. У нас пять тысяч людей-то, и малых и больших. Ты запомни. А теперь я тебе погадаю: возьми ты десятую часть от возмужалых, и когда в ичейке столько будет — тогда и кончится вся революция.

— Почему? — не понял расчета Дванов.

Кузнец пристрастно объяснил:

— Тогда все чудаки к власти отойдут, а народ сам по себе заживет — обеим сторонам удовольствие...

Копенкин предложил собранию, не теряя минуты, гнаться за Плотниковым, чтобы ликвидировать его, пока он новой банды не набрал. Дванов выяснил у деревенских коммунистов, что в Калитве Плотников хотел объявить мобилизацию, но у него ничего не вышло; тогда два дня шли сходы, где Плотников уговаривал всех идти добровольцами. И сегодня шел такой же сход, когда напали Дванов и Копенкин. Сам Плотников отлично знает крестьян, мужик храбрый, честный и оттого

¹ Слова союз русского народа отмечены большим вопр. знаком. Исправлено в машинописи фрагмента на: скит на богомолье (Архив, 2. С. 533).

очень опасный. Мужики его очень чтут. Во время схода прибежала баба и крикнула:

— Мужики, красные на околице — целый полк на лошадях скачет сюда!

А когда Копенкин с Двановым показались на улице, все подумали, что это — полк.

— Едем, Дванов! — соскучился слушать Копенкин. — Куда та дорога ведет? Кто с нами поедет?

Коммунисты смутились:

— Та дорога на деревню Черновку... Мы, товарищи, все безлошадные...

Копенкин махнул на них отрекающейся рукой.

Кузнец бдительно поглядел на Копенкина и сам подошел к нему:

— Ну, прощай, что ль! — и протянул обширную руку.

— Прощай хоть ты, — ответил рукопожатьем Копенкин. — Помни меня — начнешь шевелиться: назад вернусь, а кончу тебя!

Кузнец не побоялся:

— Попомни, попомни: моя фамилия Сотых. Я тут один такой. Когда дело к рассудку пойдет — я сам буду верхом с кочережкой. И коня найду: а то они, видишь ты, безлошадные, сукины дети...

Слобода Калитва жила на спуске степи к долине. Сама же долина реки Черной Калитвы представляла сплошную чашу болотных зарослей. Пока люди спорили и утрамбовывались меж собой, шла вековая работа природы: река застарела, девственный травостой ее долины затянулся смертельной жидкостью болот, через которую продирались лишь жесткие острецы камыша.

Мертвое руно долины ныне слушало лишь безучастные песни ветра. Летом же здесь идет непосильная борьба ослабшего речного потока с овражными выносами песка, своею мелкой перхотью навсегда отрезающего реку от далекого моря.

— Вот, товарищ Дванов, погляди налево, — указал на синеву поймы Копенкин. — Я тут бывал с отцом еще мальчишкой: незабвенное место было. На версту хорошей травянистой вонью несло, а теперь тут и вода гниет...

Дванов редко встречал в степи такие длинные таинственные страны долин. Отчего, умирая, реки останавливают свою воду и покрывают непроходимой мочажиной травяные прибрежные покровы? Наверно, вся придолинная страна беднеет от смерти рек. Копенкин рассказал Дванову, сколько скота и птицы было раньше у крестьян в здешних местах, когда река была свежая и живая.

Смеркающаяся вечерняя дорога шла по окраине погибшей долины. До Черновки от Калитвы было всего шесть верст, но Черновку всадники заметили, когда уже въехали на чье-то гумно. В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала.

Копенкин пошел узнавать, чья власть в деревне, а Дванов остался с лошадьми на околице.

Наставала ночь — страшная и длинная, как эпоха. Таких ночей боятся дети, познавшие в первый раз сонные кошмары: они тогда боятся засыпать и следят за матерью, чтобы она тоже не спала и хранила их от ужаса.

Но взрослые люди — сироты. Дванов хотел, чтобы все женщины стали ему матерями и сестрами, а одна — женой. Он чувствовал глубокую прелесть в людях, зажатую в мертвые недра тела отчаянным страхом умереть с голоду. Человек жевал пищу вместе с нежными цветами своей личности, выросшими для подарка другим. Много раз Дванов видел людей в минуты их самостоятельной отрешенной жизни, когда с них сползает общественная подозрительная бдительность и одно мгновение они живут бесстрашно и доверчиво. Сколько подарков человек несет другому человеку, но никогда их не предложит. Сама жизнь другого человека есть уже дар и интерес для Дванова, потому что каждый человек — иной, чем Дванов, и равняется открытию неизвестной, единственной страны. Но нельзя изучать и удивляться, не любуясь. Наш интерес происходит из силы наших симпатий: одно сознание жить не может, если не работает мотор счастливого чувства жизни.

За такие мысли и надежды Дванов сегодня стоял один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь.

Дванов прохаживался и возвращался к лошадям. Быть может, все совсем не так! Но как же? Он знал одно, что в нем ничто не двинется, если сначала чувственно или сердечно не очаруется.

Наверно, новый мир скрывается не в звездных ландшафтах, а в таких отношениях людей, когда каждый другому не соперник, а подарок и обогащение твоей бедности.

Я люблю тебя, веселая и дорогая,
Не за кожу, красоту и нежность —
В мире есть еще прелестней свежесть, —
А за то, что ты совсем иная...

Эти стихи были напечатаны в губернской советской газете: тогда печатались даже статьи железной необходимости о воскресении мертвых, где Христос обозначался союзником революции. В те годы рево-

люция не боялась ошибок и шла вперед за счет отталкивающей силы отречения от них. Поэт помог Дванову понять, что люди в будущем соедятся благодаря своей разности, а не подобию.

Дванова охватило нетерпеливое желание немедленно осуществить близкую в своей обольщающей ясности истину.

Нужно открыть свое чистое настоящее лицо, и тогда приобретаются все люди для личной расширенной жизни. Но чтобы обнажить свою непосредственную жизнь — надо содрать с себя нарощую чужую кожу лицемерия, страха, господства и угнетения. В этом — вся революция.

Теперь Дванов готов был ждать Копенкина всю ночь и сражаться с бандами целые века. Он даже желал сегодня сразиться.

— Я насилиу нашел тебя, — сказал издали невидимый Копенкин. — Соскучился? Сейчас молочка попьешь.

Копенкин ничего не узнал — чья в деревне власть и здесь ли Плотников. Зато достал где-то корчажку молока и ломоть вкусного хлеба.

Поев, Копенкин и Дванов поехали к сельсовету. Копенкин отыскал избу с вывеской совета, но там было пусто, ветхо и чернильница стояла без чернила — Копенкин залезал в нее пальцем, проверяя, функционирует ли местная власть.

Утром пришли четыре пожилых мужика и начали жаловаться: все власти их оставили, жить стало жутко.

— Нам бы хоть кто-нибудь, — просили крестьяне. — А то мы тут на отшибе живем — сосед соседа задушит. Разве ж можно без власти: ветер без начала не подует, а мы без причины живем.

Властей в Черновке было много, но все рассеялись. Советская власть тоже распалась сама собой: крестьянин, избранный председателем, перестал действовать: почету, говорит, мало — все меня знают, без почета власти не бывает. И перестал ходить в сельсовет на занятия. Черновцы ездили в Калитву, чтобы привезти в председатели незнакомого человека, которого поэтому все бы уважали. Но и так не вышло: в Калитве сказали, что нет инструкций на переселение председателей из чужих мест — выбирайте достойных из своего общества.

— А раз у нас нету достойных! — загрузили черновцы. — Мы все вровень и под стать: один вор, другой лодырь, а у третьего баба лихая — портки спрятала... Как же нам теперь быть-то?

— Скучно вам жить? — сочувственно спросил Дванов.

— Полная закупорка! По всей России, приходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся: обидели нас!

Пахло навозной сыростью и ранним теплом пахотной земли, что вековечно волнует человека. Дванов вышел наружу посмотреть лошадей. Его обрадовал отошальный нуждающийся воробей, работавший клювом в талом лошадином кале. Воробьев Дванов не видал полгода и ни

разу не вспомнил — где они приютились на свете. Много хорошего проходит мимо нашего узкого ума, даже собственная жизнь часто обтекает его, как речка вокруг камня. Воробей перелетел на плетень. Из совета вышли крестьяне, скорбящие о власти. Воробей оторвался от плетня и на лету запел свою бедняцкую серую песню.

Один из крестьян подошел к Дванову — рябой и сирый, из тех, кто никогда сразу не скажет, что ему нужно, но поведет речь издали о средних предметах, сосредоточенно пробуя характер собеседника: допускает ли тот попросить облегчения. С ним можно проговорить всю ночь — о том, что покачнулось на земле православие, а на самом деле ему нужен был лес на постройку. Хотя хлысты он уже себе нарезал в бывшей казенной даче, а снова попросить лес хочет для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за самовольство. Дванов знал запутанную скрытную душу мужика: иной она и быть не могла. Помещик был вооружен властью и имуществом, а мужик противостоял ему голым, но обходным, тайным разумом. Скажи помещику: дай бревно! Не даст. Но подойди иначе, уважь его глупость: — на той, дескать, ветке черный червь родился — теперь весь сад сгложет: дозвоьте жаром подпалить, ваше благородие, то страшное дерево. А в дереве — саженой восемь роста: как раз вполне удобно на нижние венцы для новой хаты.

— Говоришь, черный червь? — задумчиво, бывало, скажет барин. — Что это — флора или фауна?.. Корчуй его тогда с корнем — оно весь сад мне обгадит. Да сожги где-нибудь на поле, подальше, а по следу червей не рассыпь, — в шапку их подбирай...

Доставив дерево на свою усадьбу, мужик потом являлся к помещику за вознаграждением — для полного правдоподобия предприятия — и еще норовил так поужинать на дворовой кухне, чтоб сытым пробить целые сутки.

Подошедший к Дванову мужик чем-то походил на отбывшего воробья — лицом и повадкой: смотреть на свою жизнь как на преступное занятие, и ежеминутно ждать всего.

Дванов попросил сказать сразу и откровенно, что требуется крестьянину. Но Копенкин услышал Дванова сквозь одинарную раму и предупредил, что так мужик сроду ничего не покажет: ты, говорит, товарищ Дванов, веди беседу шагом.

Мужики засмеялись и поняли — перед ними не опасные люди.

Заговорил рябой. Он был бобыль и должен, по общественному приговору, соблюдать чужие интересы.

Понемногу беседа добралась до калитвенских угодий, смежных с черновскими. Затем прошли спорный перелесок и остановились на власти.

— Нам хоть власть, хоть и не надо, — объяснял с обеих сторон рябой. — С середины посмотреть — концов не видать, с конца начать — долго... Вот ты и подумай тут...

Дванов поторопил:

— Если есть у вас враги, то вам нужна советская власть...

Но рябой знал, в чем дело:

— Врагов-то хоть и нет, да ведь кругом просторно — прискачут: чужая копейка вору дороже своего рубля... Оно все одинако осталось — и трава растет, и погода меняется, а все ж таки ревность нас берет: а вдруг да мы льготы какие упустим без власти! Сказывают, разверстку теперь не берут, а мы все сеять боимся... И прочие легкости народу пошли — разберут по ртам, а нам не достанется!

Дванов вскинулся: как разверстку не берут — кто сказал? Но рябой и сам не знал: не то он действительно это слышал, не то от своего сердца нечаянно выдумал. Объяснил только вообще — проходил дезертир без документов и, поев каши у рябого, сообщил, что нет теперь никакой разверстки — к Ленину в кремлевскую башню мужики ходили: три ночи сидели и выдумали послабление.

Дванов сразу загрустил, ушел в совет и не возвратился. Мужики разошлись по дворам, привыкнув к бестолковым ходатайствам.

— Послушай меня, товарищ Копенкин! — взволнованно обратился Дванов. Копенкин больше всего боялся чужого несчастья и мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика искренней его вдовы. Он загодя опечалился и приоткрыл рот для лучшего слуха.

— Товарищ Копенкин! — сказал Дванов. — Знаешь что: мне необходимо съездить в город... Обожди меня здесь — я быстро возвращусь... Сядь временно председателем совета, чтобы не скучно было — крестьяне согласятся. Ты видишь, они какие...

— Да, а что ж тут такого? — обрадовался Копенкин. — Поезжай себе, пожалуйста, я тебя хоть целый год ждать буду. А председателем я устроюсь — здешний район пошелушить надо...

<XV>

Вечером Дванов и Копенкин поцеловались среди дороги, и обим стало бессмысленно стыдно. Дванов уезжал в ночь к железной дороге.

Копенкин долго стоял на улице, уже не видя друга; потом вернулся в сельсовет и заплакал в пустом помещении. Всю ночь он пролежал молча и без сна, с беспомощным сердцем. Деревня вокруг не шевелилась, не давала знать о себе ни одним живым звуком, будто навсегда отрекалась от своей досадной волокущейся судьбы. Лишь изредка ше-

лестели голые ветлы на пустом сельсоветском дворе, пропуская время к весне.

Копенкин наблюдал, как волновалась темнота за окном. Иногда сквозь нее пробегал бледный вянувший свет, пахнувший сыростью и скукой нового нелюдимого дня. Быть может, наставало утро, а может, это — мертвый блуждающий луч луны.

В длинной тишине ночи Копенкин незаметно терял напряжение своих чувств, словно охлаждаясь одиночеством. Постепенно в нем нарастал бледный свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу. Нежное влечение, дававшее сердцу прозрачную веселую силу надежды, теперь не тронулось в Копенкине.

Удивленный и грустный, он обволакивался ночью и многолетней усталостью. Во сне он не видел себя и, если б увидел, испугался: на лавке спал старый, истощенный человек, с глубокими мученическими морщинами на чужом лице, — человек, всю жизнь не сделавший себе никакого блага. ¹ Не существует перехода от ясного сознания к сновидению — во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле. Второй раз увидел Копенкин свою давно умершую мать — в первый раз она снилась ему перед женитьбой: мать уходила по грязной полевой дороге; спина ее была так худа, что сквозь сальную кофту, пропахшую щами и детьми, проступали кости ребер и позвоночника; мать уходила нагнувшись, ни в чем не упрекая сына. Копенкин знал, что там, куда она пошла, у нее ничего нет, и побежал в обход по балке, чтобы построить ей курень. Где-то под лесом живали в теплое время огородники и бахчеводы, и Копенкин думал поставить курень матери именно там, чтобы мать нашла себе в лесу другого отца.

Сегодня мать приснилась Копенкину с обыкновенным горящим лицом — она утирала себе концом платочка, чтобы не пачкать его весь, сморщенные слезницы глаз, и говорила — маленькая и иссохшая перед выросшим сыном:

— Опять себе шлюшку нашел, Стёпушка: опять мать оставил одну — людям на обиду. Бог с тобой.

Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови и окаянно отступившим от матери.

Копенкин любил мать и Розу одинаково, будто мать и Роза было одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее живут в одной жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза — продолжение его детства и матери, а не обида старушки.

¹ *Предваряющая запись: Сон — упреки / Утро / Дванов. Запись зачеркнута.*

И Копенкин зашел<ся> сердцем, что мать ругает Розу.

— Мама, она тоже умерла, как и ты, — сказал Копенкин, помня себя и беспомощность материнского зла.

Старуха отняла платок — она и не плакала:

— И-и, сынок, ты их только слушай! — заплетничала мать. — Она тебе и скажет, и повернется — все под стать, а женишься — спать не с кем: кости да кожа, а на шее рожа. Вон она, присуха твоя, поступочкой идет: у, подлая, обвела малого!..

По улице шла Роза — маленькая, живая, настоящая, с черными грустными глазами, как на картине в сельсовете. Копенкин забыл мать и прошиб стекло — для лучшего наблюдения Розы. За стеклом была деревенская летняя улица — пустая и скучная, как во всех деревнях в засуху и в жару, а Розы не было. Из переулка вылетела курица и побежала по колее, растопырив пылящие крылья. Вслед за ней вышли оглядывающиеся люди, а потом другие люди понесли некрашенный дешевый гроб, в каких хоронят на общественные средства безвестных людей, не помнящих родства.

В гробу лежала Роза — с лицом в желтых пятнах, что бывает у неблагополучных рожениц. В черноте ее волос вековала не женская седина, а глаза засосались под лоб в усталом отречении ото всех живых. Ей никого не нужно, и мужикам, которые ее несли, она тоже была не мила. Носильщики трудились только из общественной повинности, в порядке подворной очереди.

Копенкин вглядывался и не верил: в гробу лежала не та, которую он знал, у той было зрение и ресницы. Чем ближе подносили Розу, тем больше темнело ее старинное лицо, не видевшее ничего, кроме ближних сел и нужды.

— Вы мать мою хороните! — крикнул Копенкин.

— Нет, она немужняя жена! — без всякой грусти сказал мужик, и поправил полотенце на плече. — Она, видишь ты, не могла в другом селе помереть, в аккурат у нас скончалась: не все ей равно было.

Мужик считал свой труд. Это Копенкин сразу понял и успокоил подневольных людей:

— Как засыпете ее, приходите — я поднесу.

— Можно, — ответил тот же крестьянин. — На сухую хоронить грешно. Теперь она раба божья, а все одно неподъемная — аж плечи режет.

Копенкин лежал на лавке и ждал возвращения мужиков с кладбища. Откуда-то дуло холодом. Копенкин встал, чтобы заложить разбитое стекло, но все окна были невредимы. Дуло от зимы, на дворе ржал непоеный конь — Пролетарская Сила. Копенкин оправил на себе одежду, икнул и вышел на воздух. Журавль колодца у соседей нагибался за во-

дой; молодая баба за плетнем ласкала корову, чтобы лучше ее выдоить, и нежно говорила грудным голосом:

— Машка, Машенька, ну, не топырься, не гнушайся — свят прилипнет, грех отлипнет, скоро твой Егорьев день...

С левой стороны кричал, отправляя с порога нужду, босой человек своему невидимому сыну:

— Васька, веди кобылу поить!

— Сам пей, она поеная!

— Васька, пшено иди толки, а то ступкой по башке шкрыкну!

— Я вчера съел толок: все я да я — сам натолкешь!

Люди жили, день шел кругом земли — и в этом обыкновении была своя небольшая, но верная и ясная радость. Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица, и сколь ни прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь — делить холод и мужицкую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня.

Копенкин улыбнулся воробью, сумевшему в своей тщетной крошечной жизни найти великое обещание. Ясно, что он отогревался не зернышком, а неизвестной людям мечтой. Копенкин тоже жил не хлебом и не благосостоянием, а безотчетной надеждой.

Сейчас Копенкин имел дружеское понимание воробья и хотел снова и по-свежому жить.

— Так лучше, — сказал он, не отлучаясь взором от работавшего воробья. — Ишь ты: маленький, а какой цопенький... Если б человек таким был, весь свет бы давно расцвел...

Рябой вчерашний мужик пришел с утра. Копенкин распустил с ним разговоры, потом пошел к нему завтракать и за столом вдруг спросил:

— А есть у вас такой мужик — Плотников?

Рябой нацелился на Копенкина думающим взглядом, ища подоплеку вопроса:

— Плотников я и есть. А что тебе? У нас во всей деревне только три фамилии действуют, что Плотниковы, Ганушкины да Цельновы. Тебе которого Плотникова надо-ть?

Копенкин нашел:

— Того самого, у которого рыжий жеребец — ловкий да статный такой, на езду ужимистый... Знаешь?

— А, так то Ванька, а я Федор! Он меня не касается... Жеребец-то его третьего дня охромел... Он дюже надобен-то тебе? Тогда я сейчас пойду кликну его...

Рябой Федор ушел. Копенкин вынул наган и положил на стол. Большая баба Федора онемело глядела на Копенкина с печки, начиная все быстрее и быстрее икать от страха.

— Кто-то тебя распоминался так? — участливо спросил Копенкин.

Баба скоротилась в улыбку, чтоб разжалобить гостя, но сказать ничего не сумела.

Федор пришел с Плотниковым скоро. Плотниковым оказался тот самый босой мужик, который утром кричал на Ваську с порога. Теперь он надел валенки, а в руках вежливо мял ветхую шапку, справленную еще до женитьбы. Плотников имел наружность без всяких отличий: чтоб его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз был редкий — карий: цвет воровства и потайных умыслов. Копенкин угрюмо исследовал бандита. Плотников не сробел — или нарочно особый оборот нашел:

— Чего уставился — своих ищешь?

Копенкин сразу положил ему конец:

— Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на советскую власть подымать? Говори прямо — будешь или нет?

Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление о своих незаконных действиях.

— Не, боле никогда не буду — напрямки говорю.

Копенкин помолчал для суровости.

— Ну, попомни меня. Я тебе не суд, а расправа: узнаю — с корнем в момент вырву, до самой матерной матери твоей докопаюсь — на месте угроблю... Ступай теперь ко двору и считай меня на свете...

Когда Плотников ушел, рябой ахнул и заикнулся от уважения:

— Вот это, вот это — справедливо! Стало быть, ты — власть!

Копенкин уже полюбил рябого Федора за его простодушное желание власти: тем более, и Дванов говорил, что советская власть — это царство множества природных невзрачных людей.

— Какая тебе власть? — сказал Копенкин. — Мы природная сила.

<XVI>

Дванову городские дома показались слишком большими: его глазомер привык к хатам и степям. Тающий воздух лился видимыми струями — основывалась новая весна, ежегодно казавшаяся лучшей из всех прошлых.

Дванов оставил город замороженным, строгим и голодным, а теперь увидел его другим.

Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала — на базе губпродкома — висела сырая вывеска, с отежшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано: «Продажа всего всем гражданам. Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соленья».

Под вывеской малыми буквами была приписана фирма: «Ардулянц, Ромм, Колесников и К°».

Дванов решил, что это — нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое: прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы, вместо безмена, вежливых приказчиков, вместо агентов продбаз и завхозов, живую толпу покупателей и ароматные запасы продуктов.

— Это тебе не губраспред! — сочувственно сказал какой-то созерцатель торговли. Дванов ненавистно оглянулся на него. Человек не смутился такого взгляда, а, напротив, торжественно улыбнулся: что, дескать, согласишься, я радуюсь законному факту!

Целая толпа людей стояла помимо покупателей: это были просто наблюдатели, живо заинтересованные отрядным происшествием. Их имелось больше покупателей, и они тоже косвенно участвовали в торговле. Иной подходил к хлебу, отминал кусочек и брал его в рот. Приказчик без возражения ожидал дальнейшего. Любитель торговли долго жевал крошку хлеба, всячески регулируя ее языком и глубоко задумавшись; потом сообщал приказчику оценку:

— Горчит! Знаешь — чуть-чуть! На дрожжах ставите?

— На закваске, — говорил приказчик.

— Ага — вот: это и чувствуется. Но и то уж — размол не пайковый и пропечен по-хозяйски: говорить нечего!

Человек отходил к мясу, ласково щупал его и долго принюхивался.

— Что — отрубить, что ль? — спрашивал торговец.

— Я гляжу, не конина ли? — исследовал человек. — Да нет, жил мало и пены не видать. А то, знаешь, от конины вместо навару пена бывает: мой желудок ее не принимает, я человек болящий...

Торговец, спуская обиду, смело хватал мясо:

— Какая тебе конина?! Это белое черкасское мясо — тут один филей. Видишь, как нежно парует — на зубах рассыпаться будет. Его, как творог, сырым можно кушать!

Удовлетворенный человек отходил к толпе наблюдателей и детально докладывал о своих открытиях.

Наблюдатели, не оставляя постов, сочувственно разбирали все функции торговли. Двое не вытерпели, и пошли помогать приказчи-

кам — они сдували пыль с прилавок, обметали пером весы для пущей точности и упорядочивали разновески. Один из этих двоих добровольцев нарезал бумажек, написал на них названия товаров, затем приделал бумажки к проволочным ножкам, а ножки воткнул в соответствующие товары; над каждым товаром получилась маленькая вывесочка, каковая сразу приводила покупателя в ясное понимание вещей. В булки доброволец воткнул надпись: «булки», в ящик пшена вонзил — «просо», в говядину — «парное мясо от коровы» и так далее.

Его друзья любовались такой заботой. Это были рационализаторы, на шесть лет опередившие свое время. Покупатели входили, читали — и верили написанному товару больше.

Одна старушка вошла в лавку и долго оглядывала помещение. Голова ее дрожала от старости, усиленной голодом, сдерживающие центры ослабли — из носа и глаз точилась непроизвольная влага. Старушка подошла к приказчику и протянула ему карточку, зашитую на прорехах суровыми нитками.

— Не надо, бабушка, так отпустим, — заявил приказчик. — Чем ты кормилась, когда лошади мёрли?

— Ай дождались? — тронулась чувством старуха.

— Дождались: Ленин взял, Ленин и дал.

Старуха шепнула:

— Он, батюшка, — и заплакала так обильно, словно ей жить при такой хорошей жизни еще лет сорок. Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма.

Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. До самого дома больше лавок не встретилось, но пирожки и пышки продавали на каждом углу. Люди покупали, ели и говорили о еде. Город пировал. Теперь все люди знали, что хлеб растет трудно, растение живет сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает потом мучительной работы; люди привыкли теперь глядеть на небо и сочувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз и вода на полях не застывала ледяной коркой: это вредно озимым. Люди обучились многим неизвестным ранее вещам — их профессия расширилась, чувство жизни стало общественным. Поэтому они нынче смаковали пышки, увеличивая посредством этих пышек не только свою сытость, но и уважение к безымянному труду: наслаждение получалось двойное. Поэтому люди, принимая пищу, держали подотом руку горстью, чтобы в нее падали крошки, — затем эти крошки также съедались.

По бульварам шли толпы, созерцая новую для них самих жизнь. Вчера многие ели мясо и ощущали непривычный напор сил. Было вос-

кресенье — день почти душный: тепло весеннего неба охлаждала лишь певучая снежная вода.

Дванов пересекал сквер, смущаясь массы людей, — он уже привык к степной воздушной свободе.

Крашенина спешила к подруге, они стоворились уйти сегодня в лес. Она прилежно занималась в губсовпартшколе, работала в кружках, помогала отстающим группам, но энергия молодости не обратима целиком в труд: что-то остается внутри, что требует любви, либо лесного бродяжничества. Копенкин для Софьи Александровны давал крепость жизни и ровную душевную настроенность, но ей необходимо — и Копенкина заменяли весна, хождение с подругами и грусть по ночам. Крашенина уже знала вперед, когда придут к ней длинные ночи: когда на небе обновляется луна; в такое время она мало спала, тело ее жило как бы вне ее, и она была для себя странной и отвратительной. В эти четыре-пять дней каждого месяца ей не хотелось видеть Копенкина и стыдно было даже близких подруг: непонятный, но ощутительный позор потрясал Крашенину; какой-то гад медленно полз по ее телу — от шеи вниз, съедая по дороге кровь и жизнь, и затем подыхал, извергнув чужую жизнь переваренными нечистотами. После четырех-пяти дней Софья Александровна вновь просыпалась цельной и здоровой; тогда она пела и замечала по календарю дальний срок своих мучений.

Дванова Крашенина заметила давно, но хотела, чтобы он ее увидел первый. Дванов шел обросший, дикий и хороший, а Крашенину оставлял в стороне. Крашенина сама не пошла дальше:

— Товарищ Дванов!

— Да... Вы?

Крашенина хотела спросить: что Копенкин — жив? Но лишь подумала и сдержалась.

— А у нас новая экономическая политика, — сказала она.

Дванов глубоко осмотрел ее, забывая стесняться: все такая же она дорогая ему, такое же слабое милое лицо, чуть жмурающееся, точно пропускающая постоянный ветер. Нового в Крашениной Дванов не понял — новое было в глазах, которые немного потемнели и замедлились от тайной заботы, но они чуть жмурились и скрывали свою тоску.

— Это видно, — ответил Дванов про экономическую политику. — Посмотрим, что будет дальше, но иначе нельзя...

Крашенина глядела на Дванова как на родственника. Он ей почему-то показался хорошим старшим братом, долго не ехавшим домой. Этим чувством она оправдывала свой первый поцелуй и свое первое влечение, чтобы остаться целомудренной для другого.

— Да, теперь будет лучше, — сказала она, ликуя и сдерживаясь. — Товарищ Шумилин приезжал к нам в губсовпартшколу и говорил, что новая экономическая политика обозначает строительство коммунизма массами, а раньше этим занималась одна партия и советская власть.

Дванов задумался: так ли это? А вдруг народ будет строить не коммунизм, а лавки?

— А как в Кронштадте было дело? — спросил Дванов.

Софья Александровна сообщила, что там командовали белогвардейцы. Дванов снисходительно засмеялся.

— Что вы? — смутилась Крашенина.

— Я сам видел мужиков-бандитов: они не все белые...

— А — как же?

— Если бы Кронштадт был обыкновенное белогвардейское дело, Ленин бы и не ввел этой новой политики... Я слышал в поезде разговоры — не всему верил, а теперь сам догадался. И в деревнях я видел многое — еще бы полгода, и мы бы погибли: нас бы начали душить самые кроткие люди, а мы бы их сдуру называли белогвардейцами...

Крашенина внимательно слушала — ей не сразу давались такие предметы.

— А как Копенкин поживает, товарищ Дванов?

— Копенкин? Да живет — чего ж ему!.. Ну, увидимся еще!

И попрощались. Софье Александровне хотелось спросить: а где же они увидятся? Но Дванов уже быстро пошел, думая о других интересах.

— Она мне хороша, как сестра-сирота, — думал Дванов. — Это счастливей любви — пусть так остается.

Он представил ее, любимую другим и любящую, и не заволновался: пусть ласкаются, лишь бы тот ее не мучил.

Над городом, как и над степью и над долинами, молодой ветер пел свои утомленные песни, тот же архаический зов звучал и здесь, но — высоко над домами и громоотводами промышленных труб, так высоко, что Дванов слышал эту знакомую ритмическую песнь только по памяти. Дванову почудилось, что ветер звал в помощь человека, и Дванов пообещал ветру устроить в дальнейшем его судьбу, надо только сперва управиться с мелкими заботами революции.

Дома Дванов обнял мать и понял, что его любовь к ней уменьшается, а ее увеличивается. Что нам делать в будущем с матерями? Как только наша жизнь крепнет, приобретает скорость в будущее и широкую силу, так сейчас же начинают работать мертвые тормоза матерей, любимых девушек и встречных привязанностей. Виноваты не люди, задерживающие нас, а наши нежные чувства к ним, наша смертельная страсть к покойной радости и, самое страшное, давняя глубокая привычка видеть не горячие факты, а их идеальные явления, то есть те же

факты, но охлажденные, опущенные в тягучую влагу сладострастных либо жалобных чувств.

Дванов считал, что надо к матери, равно и к умершему брату, идти не прямым путем верной преданности и вечных воспоминаний, а обходным — через коммунизм и победу над природой: тогда будут самые лучшие встречи¹.

Дванов теперь боялся слишком любить или слишком дружить — и не знал, почему. Копенкин, Пашинцев — те другие: вместе с ними бывать хорошо, а вдали их легко вспоминаешь без грусти. Дванов бессознательно сличал с ними себя, и ему легче жилось от чувства подобия им. Он не мог выдумывать свою жизнь, он мог лишь заражаться встречными людьми и, посредством дружбы к ним, изменяться. Чем жил Пашинцев? Какими-то неоткрытыми пространствами будущих людей: через самообман, что эти будущие свежие люди уже живут в его ревзаповеднике. Но мог ли Копенкин² полюбить, например, единственную женщину? Никогда: эта женщина болталась бы почти неощутимо в просторной гулкой душе Пашинцева.

Дванов шел к Шумилину. Вечерний город настраивался на мир и любовь; и параллельно Дванову многие шагали к возлюбленным — люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали — жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь.

Шумилин ел обед и посадил есть Дванова.

Вечереющая весна располагала не к сну, а к беспокойству. От лепетания народа на улице пели оконные стекла, размороженный распущенный воздух тянулся, колебался и не знал, куда ему деваться. Огромное предприятие природы вело срочное внутреннее переоборудование для изготовления нового продукта. Шум сопротивляющегося вещества, насильно перерождаемого солнцем, явственно слышался и сквозь запертые двери. Ткани человека тоже подчинялись этой сплошной весенней силе, но не у всякого человека: Шумилин, например, был угрюм и в учреждении весны не участвовал. Дванов спросил его, о чем он скучает.

— А что мне летнему теплу, что ль, радоваться? — сердито переспросил Шумилин. — Что я, так себе, обыватель, что ль? Тут другая забота сидит...

¹ Предложение осталось недописанным, сверху вписывается возможный новый вариант: все будет заслужено, оправдано и настанут самые лучшие встречи людей. Выбор не сделан.

² По смыслу речь идет о Пашинцеве.

Шумилин посмотрел на будильник, где стрелки, благодаря тупости зрения, не двигались — на самом же деле Шумилин страдал от их скорости.

— О, черт! Пора уж на партсобрание идти... Ты пойдешь, иль умней всех стал?

Дванов думал, что делается с Шумилиным.

Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал, как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется.

— Слышал, слышал, — проговорил Шумилин. — Тебя послали, чудака, поглядеть просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно, — у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...

Дванов покраснел от возмущения.

— Они не огарки, товарищ Шумилин... Они еще три революции сделают без слова, если нужно...

— Знаю, знаю, — возражал с досадой Шумилин. — А ты читал про 9-й съезд?.. Почитай, тогда поймешь и себя, и прочих.

Шумилин приостановился:

— Сейчас революция меняет своих людей! Понял ты меня, или нет? Не нужны больше нам лихачи и наездники — другие нужны. Может, и я, и ты больше не годимся...

Шумилин волновался от собственных раздумий, а не от Дванова. Пройдя несколько шагов, он снова заплывал гнетущей мыслью. Видимо, его мучила какая-то внутренняя неприкаянность.

— Может быть, я тебе говорю, мы теперь даже вредны будем. Ты пойми так — ты работал на заводе, видел литье? — Так вот, отлили мы грубое тело — и кончено: дальше мы делать не умеем. Дальше пойдут точить, фрезеровать, пришабривать — вплоть до часового мастера. Мастера и будут, и они нужны теперь, а мы куда? Вот я тебе и говорю, что революция нынче переходит через нас, а мы сзади останемся...

Дванов понимал и думал дальше: но где же эти другие ученые мастера, что будут доделывать и оборудовать точной и сложной арматурой всю советскую страну, чтобы она действовала в тысячу раз выгодней капитализма? И, главное, чтобы сыты и счастливы были не тысячи людей, а миллионы. Откуда же явятся другие, более умные люди? Никого не мог вспомнить и придумать Дванов.

— Наверно, нам же и придется доучиваться, — сказал он.

У Шумилина была такая мысль, но он ее отставил, как очень простую.

Из дверей зала горсовета вырывался воздух, как из вентилятора. Там собралась вся живая советская сила: члены партии и беспартийные

рабочие. Шумилин должен делать доклад о новой экономической политике — и не просто доложить, а совершенно ошутительно убедить, перестроить чувства слушателей, привыкших насильно делать революцию. Шумилин не готовился, но не боялся: к нему мысли приходили из густоты толпы, из чада дыханий коллектива слушателей. Он это сам знал. Даже напротив, план доклада, когда он его имел, только стеснял и пугал его — он все равно с ним не считался и крыл, держа в себе рочущую цепь мгновенных догадок. От такого способа Шумилин говорил бессвязно, тема его качалась на невидимых волнах и иногда захлестывалась посторонним, но все вместе выходило убедительно — резко очевидно. Шумилин пускал слова в сбивающейся логике, но зато в такт своему ревущему чувству. Вероятно, до слушателей и доходили перегретые волны чувства Шумилина, а не его слова, потому что его отлично все понимали. Иногда Шумилин забывал подходящее слово, испускал междометие и махал большой рукой, еще не выродившейся от административных занятий. Тогда его все приветствовали: он и в этом соответствовал слушателям, часто не знавшим точных слов.

— Чего вы хохочете, звери? — кричал в такие моменты Шумилин в газовые облака зала. — А ты, Фуфаев, знаешь, что ль, как это называется? А тоже насмехается, черт лобастый...

Поднялся Фуфаев, заведующий губутилем: человек свирепого лица, когда смотреть издали, а вблизи он имел мирные воображающие глаза. Широко развернутый череп говорил либо об идиотстве, либо о глубокой одаренности. Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд, хотя он же имел два ордена Красного Знамени за былые дела. По должности завгубутиля он должен постоянно что-нибудь выдумывать — это оказалось ему на руку: последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий.

Фуфаев стоял некоторое время под торжественным хохотом собрания и несколько расширил свой ответ Шумилину:

— Да зачем оно тебе, Шумилин, то темное слово? Сказал бы его — хуже б было: разное бы поняли, потому что ни одному не понятно. Ты же видишь — разоржались все: стало быть, остальное не страшно. Вот я и кончил.

Фуфаев говорил смиренно и тонко, почти жалуясь, — это опять-таки противоречило его крутой широкой груди, на которой от вздохов лопались рубашки.

Шумилин перешел к самому трудному: переложению забот о социализме также и на массы, к обучению всей партии новой войне — войне посредством фактического, бешеного, но умного строительства против раздробленных экономических выходов буржуазии и кулацкой мелкоты.

Дванов слушал и видел, что почти все не только понимали новую политику, но радовались ей. Сосед — пожилой мастеровой, наверно, беспартийный, на поворотах Шумилина от фразы к фразе подговаривал себе:

— Вот то-то и оно-то! А ты думал как же?

Некоторые, напротив, иронически отнекивались головой. Это были партийцы. Они ждали прений и еле терпели доклад Шумилина.

Шумилин дошел до любимого дела — технического строительства, и тут понес, что знал только сам.

— Товарищи! — ораторски гремел докладчик. — Знаете ли вы, что сейчас в Москве задумано товарищем Лениным роскошное дело... Оно-то и сразу поставит на ноги всю нашу великую, убогую, обильную... как это говорится... скажи хоть ты там, Дванов!

Дванов подсказал.

— Вот именно! — возгласил Шумилин: —

Ты и великая, ты и убогая,
Ты и партийная, ты и бессильная,
Ты и безбожная, и беспартийная...
Матушка-Русь!

Так вот в чем дело! Электрификация взгромоздит нашу силу в четыре раза больше — так точно и высчитано. И тогда попробуй иная стерва наскочить на нас с тылу, сбоку, сзади или спереди. Новая экономическая политика оттого и не страшна, что против нее вызывается великая электрическая сила, а также прочие меры — из них же наибольшая — кооперация, чтобы сделать крестьянство соседом, как бы сватом и кумом советской власти, но отнюдь не мельчайшим хозяйчиком, отрезанным от всего мира своим плетнем и враждебным тоже всему миру. Поняли вы меня, или нет? Понял ты, Фуфаев?

Фуфаев медленно склонил голову, одобряя такое дело.

— Да ведь ты не понял! — усомнился чего-то Шумилин, подыскивая в уме завершение доклада.

Фуфаев опять встал, но немного помолчал перед ответом: он быстро что-то дожевывал.

— Жуешь, значит — понял! — заметил Шумилин.

— А ты дома нажевался: ишь, храбрец какой! — с обидой сказал Фуфаев и окинул всю залу робким взглядом — в поисках сочувствия. Но ему и так сочувствовали.

После ответа на записки и курительного перерыва начались прения. На трибуну вышел молодой нервный человек — красивый до благородства, до противоположности образу пролетария. Этого человека Дванов знал: завгубнаробразом.

Оратор заговорил резко и сразу — без разгона и путаницы. Он считал революцию конченной, схваченной мертвым тормозом авторитета Ленина, а 9-й съезд историческим позором — позором не пролетариата, переполненного революционной энергией сверх разума своих вождей, а позором фракции, которая расколола Цека, которая, несомненно, уже достаточно прокисла для боевого руководства великим классом и недостаточно осторожно рассчитывает на терпение всемогущего гегемона революции. Собрание слушало оратора так внимательно, что даже дышали все одновременно, а не поперебой. Люди искали — нет ли, действительно, у Ленина ошибки.

Впереди Дванова сидел член губкома Жильнов; ему Шумилин послал с эстрады записку. Дванов тоже прочел ее, когда читал Жильнов: «Ты слушаешь? Какая сволочь. Убрать надо».

— Саша! — шепнул кто-то на ухо Дванову. Сзади него сидел Захар Петрович Гопнер — слесарь с завода быв. Цвейдельмана — пожилой и сухожильный человек, почти целиком съеденный сорокалетней работой. Его нос, скуля и ушные мочки так туго обтянулись кожей, что человека, смотревшего на Гопнера, забирал нервный зуд. Когда Гопнер раздевался в бане, он походил на мальчика, но на самом деле Гопнер был стоек, силен и терпелив, как редкий. Долгая работа постепенно съедала, и съела, тело Гопнера — осталось то, что и в могиле долго лежит: кость да волос; жизнь его, теряя всякие вожделения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера позднему страстью ума.

Дванов его очень любил, лучше отца. Когда-то они встречались часто, курили махорку из кисета Гопнера и говорили о шлюзовании реки Польного Айдара, на которой стоял их город, — говорили не столько ради общественной пользы, сколько от своего воодушевления.

— К чему он говорит так по-хамски? — шептал Гопнер. — Посмотрел бы он, что делалось на вокзалах!

— Выйди и скажи сам! — ответил Дванов, найдя это самым лучшим.

— А что ж! — не испугался Гопнер. — Я его враз осажу.

Оратор истощил весь нижний грудной голос и кричал одной высокой носоглоткой:

— Товарищи! Нам не надо благ свыше. Не надо нам также продавать душу трудовых масс за чечевичную похлебку свободной торговли. Спросил ли хоть один пролетарий, хоть один бедный крестьянин — полезна ли ему вольная торговля, или она есть старинное средство обогащения одних и угнетения других. Не нужны, скажет, — а я в том уверен, что скажет, — каждый честный пострадавший пролетарий... Не нужны нам такие вожди, которые свертывают красное знамя у обетованной земли социализма...

Шумилин и его четыре соседа в президиуме глядели на оратора с сумрачным терпением.

Гопнер следил за речью очень охотно: он любил, чтобы говорили против того, что он считал правильным, — от этого его горячее убеждение как бы опускалось в холодную воду сомнения и выходило оттуда закаленным. Ни один инструмент не минует закалки: сначала его прогреют докрасна, а потом хватают клещами и купают в чане с водой. Оратор все время гнул в широкое место: что массы сами знают про все — не нужно их учить, а необходимо к ним подлаживаться. Гопнеру это слишком не нравилось, а особо не нравился ему голос оратора, вконец запаршивевший от хрипоты. И Гопнер не выдержал, когда оратор с медленным жестом пил воду перед лицом массы.

— Да что ты: товарищ-товарищ! — чуть передразнил Гопнер с места. — Ты говори низом, пузом: как угольщики кричат. Тебе тогда скорей поверят!

— Ты что там чудишь? — спросил Шумилин, хотя он расслышал Гопнера и уже улыбнулся.

— Товарищ Шумилин, дай мне, пожалуйста, слово после всех! — попросил Гопнер.

— Бери, — сказал Шумилин. — Я только фамилию твою забыл... Ему подсказали.

Газ дыханий образовал под потолком зала как бы мутное местное небо. Там горел такой яркий свет, что мощная энергия электричества чувствовалась глазами. Изредка свет резко вздрагивал — это сбивалось напряжение на неисправной станции. Больше всех пугался Гопнер — он представлял себе далекую работу машин: кольца в цилиндрах двигателей пропускают, вал динамо-машины лифтует в подшипниках, щетки на разработанном коллекторе искрят целым пламенем — вся ночная бригада мечется в непрерывном волнении, чтобы преждевременно не прекратить подачи энергии в город. А тут сидят и тратят почти напрасно труд по добыче электричества из старых машин. Гопнер болезненно чувствовал замученный металл машин: ну, что — гонят его и гонят, мажут чуть не нефтью, перегревают до вязкости — это дело ненормальное, так долго нельзя!

Ораторы говорили теперь по десять минут — и то успевали сказать многое. Каждый рассказывал про один факт, редко — про два, и без всяких выводов на этом кончал. Но зато это были такие факты, которые дороже общих истин и вообще не требовали себе оправдания умом: наоборот — они говорили против такого ума, который был у первого оратора. Ум говорил, что до полного коммунизма осталась одна верста скорого ходу, а факт ничего не говорил, а действовал.

Дванов готов был сидеть сутки, лишь бы слушать и видеть такую необыкновенную жизнь, которая сознательно старалась пригнать ум и

действительность впору и в помощь друг другу. Гопнер пытался заранее сообразить, о чем он будет говорить, но у него не складывалось. Держал он одну мысль, которая еще вчера пришла ему в голову, но от внутреннего волнения она то забывалась, то вновь оживленно вставала. Ораторы проходили своей чередой, каждый затрачивая свое время.

Вышел знакомый Гопнера — комиссар завода Цвейдельмана — Головаев, бывший бригадир кузнечного цеха. «Трудно говорить перед массой, — сознался Головаев. — Ее, товарищи, не обманешь, в ней такие линии и процессы нынче пошли, что у нас сторож обо всем рассуждает, а сам почти дурак. Но рассуждает-то он правильно: вот в чем достижение Октября. А я хочу сказать одно — у нас на заводе нету ни топлива, ни ремней приводных, ни гвоздя, даже тряпок нету — хоть лопухи летом для обтирки заготовляй! Разве это дело? И правильно: надо, необходимо требуется нам поворот к свободной торговле, чтоб был у советской власти подножный корм, которым заштопается разруха хоть на самых срамных местах».

Головаева проводили с одобрением. Все ощутили его новую и нечаянно глубокую мысль — об использовании буржуазии, даже такого негодного элемента, для того же советского строительства. Среди собрания сидели редкие женщины, а одна стояла у стены, руки назад. Ее печальное, внимательное лицо не имело следов грубой работы и материнства — это была девушка, с которой все тягости жизни смывала пока рука молодости. Она не смеялась, когда говорили крепкие, веселые, полезные слова с трибуны и весь зал отдавался чувству быстрого удовольствия. Шумилин тоже часто опускал голову и терял себя в задумчивости, пропуская шутки и даже нападающий гнев ораторов. Были минуты, когда говорящий сбивался на одну минуту и замолкал. Некоторые поднимали головы и глядели вверх, забывая слушать. Под потолком, казалось, пронеслась неслышная летучая мышь в неверном ищущем полете, и страшно было, что она расшибется. Заседание будто останавливалось, и никто бы его не смог сразу продолжать.

Гопнер хотел узнать, что это такое стесняет собрание, но его соседи сами не знали. Он тоже чувствовал тоску, несмотря на множество бодрых слов. Бодрые слова его не радовали и по другой причине: он боялся, что все его мысли заранее выскажут другие и ему ничего не останется.

Про многие выступления Гопнер так и думал: я это тоже мог бы сказать, и еще лучше, ишь — выскочил!

Противники новой экономической политики особо боялись, что завтра пойдут другие уступки буржуазии. Их тогда не понимали: ведь для этого нужно, чтобы все сидящие здесь вымерли или погибли. Вообще самые яростные обвинения — в том, что и все присутствующие тут тоже, пожалуй, контрреволюционеры, — до собрания как-то не доходи-

ли, против них даже не сердились: присутствовавшие не чувствовали, что это к ним может относиться. Это был для них иностранный язык.

Дванов заметил, что многие люди странно похожи друг на друга: лицо и возраст разные, но что-то одинаковое было у всех — то же самое, чем походил Пашинцев на Копенкина, а Копенкин на Гопнера, на Шумилина и даже на Фуфаева. Оратор же из губнаробраза был нормальный и отдельный человек: он насмеялся бы над Копенкиным, а прочих, наверное, признает невежественными чудаками. Но почему он революционной Копенкина, и так боится гибели советской власти?

¹Шумилин огласил фамилию Гопнера. У Гопнера хлопнуло, как клапан, сердце. Не общественный какой-то человек, — упрекал он себя на пути к трибуне. Поднявшийся на помост, он поглядел на электричество: горишь ты надо всеми и не волнуешься, и тоже окреп и перестал бояться.

Дванов сидел среди людей, как в свежей воде, и он ощущал свое усиливающееся здоровье, несмотря на то что за многое ему становилось стыдно: он понял, что его сознание силы своего ума и своих поступков — целиком идет от старого века. Теперь люди хотят жить не в силу навязчивых идей о социализме, а в силу необходимости самого социализма; людьми уже нельзя командовать, можно только или идти с ними в ногу, или отстать в сторону. Дванов опустил голову от стыдных воспоминаний о своих приключениях в губернии.

Слова Гопнера пошли, как ветер над водой. Сначала он ушибался даже в том редком лесу слов, которые знал по привычке, но потом возмужал духом, заинтересовался смыслом слов, и от вдохновения объяснил то, о чем он раньше сам не имел понятия.

По рабочей привычке, Гопнер рассуждал от самой причины до самого конца, с доскональной точностью и ясностью. Это вышло из того, что любой механизм действует лишь тогда, когда в нем не имеется никакой вольной выдумки, а все основано на естественности и неопценимой строгости природы, когда в машине все части неизбежно нужны и бесспорны для разума обыкновенного человека. Гопнер начал с того, что большевики не вообще люди, а особая порода людей. Как есть двигатели разных систем, так и классы людей имеют резкое различие.

— Я по одной фигуре, по рукам и дыханью скажу любому, кто он такой — большевик или просто себе, — говорил Гопнер, свирепея от убеждения в своей правоте и шевелился фигурой, ворочал рукой и дышал, бессознательно демонстрируя — как эти процедуры должен делать большевик.

Шумилин задушевно улыбался: у него отлегло от сердца от слов Гопнера.

¹ *Предваряющая запись: Гопнер объяснит. Запись зачеркнута.*

Дванов верил Гопнеру и удивлялся, что он сам не думал о таком простом и главном, о чем свободно рассказывал Гопнер. Фуфаев сидел с величественным удовольствием: он гордился, что он теперь Дизель, а не старая паровая машина, — в этом его бесповоротно убедил Гопнер.

Недаром Гопнер прошел курсы повышения квалификации слесарей и знал формулы и математику. Он это знание использовал, когда открывал происхождение пролетариата и революции.

— Дави на любое изделие ладошью или грузом! — всем предлагал Гопнер и озверело озирался кругом в поисках — на чем бы это сейчас показать примером, — но в зале не было подходящих устройств. — Ну, и что ж? Ты давишь, ты угнетаешь, а вещь тебе обратно дает квадратную, четверную силу, а то и побольше... Поняли? Встречной силы в предмете вырабатывается больше, чем в твоём давлении. То же и с пролетариатом — давили на него до войны в одну тягу, он отвечал вдвое, а при войне спробовали давить погрузней, а он руки буржуазии оторвал. И ясно: от всякого угнетения — в мученике силы разыгрывается больше, чем тратится в капиталисте. А раз силы больше, то и ума гуще. Беда мучит, но на самом деле — учит...

<1927>

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ИМЛИ — Отдел рукописей Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (Москва).

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории (Москва).

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Алейников — *Алейников О.Ю.* Андрей Платонов и его роман «Чевенгур». Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2013.

Антонова — *Антонова Е.В.* Воронежский период жизни и творчества А.П. Платонова: биография, текстология, поэтика. М.: ИМЛИ РАН, 2016.

Архив, 2 — Архив А.П. Платонова. Описание рукописи романа «Чевенгур». Динамическая транскрипция / отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2019. Кн. 2.

Вор. бед. — газ. «Воронежская беднота» (Воронеж).

Вор. ком. — газ. «Воронежская коммуна» (Воронеж).

Вор. тел. — газ. «Воронежский телеграф» (Воронеж).

Воспоминания — Андрей Платонов: воспоминания современников. Материалы к биографии / сост., подгот. текстов и примеч. Н.В. Корниенко, Е.Д. Шубиной. М.: Современный писатель, 1994.

Вьюгин — *Вьюгин В.Ю.* Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и эволюции стиля). СПб.: РХГИ, 2004.

Даль — *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб., 1863–1866.

Декреты Советской власти — Декреты Советской власти: в 18 т. М.: Политиздат, РОССПЭН, 1957–2009.

Жел. путь — журн. «Железнодорожник» (Воронеж).

К. пр. — газ. «Комсомольская правда» (Москва).

Кр. дер. — газ. «Красная деревня» (Воронеж).

Кр. новь — журн. «Красная новь» (Москва).

Ласунский — *Ласунский О.* Житель родного города. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007.

ЛГ — газ. «Литературная газета» (Москва).

Ленин. ПСС, 1–55 — *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5. М.: Изд-во политической литературы, 1967–1970.

НМ — журн. «Новый мир» (Москва).

Письма — Платонов А. «...я прожил жизнь»: письма. 1920–1950 гг. / сост., вступ. статья, коммент. Н.В. Корниенко и др. М.: Астрель, 2014.

Раб. газ. — газ. «Рабочая газета» (Москва).

Сочинения, 1(1–2), 2, 4(1–2) — Платонов А.П. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2004, 2016, 2020.

Страна философов, 2000, 2005. — «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2000, 2005. Вып. 4, 6.

Чистов — Чистов В.К. Русская народная утопия. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003.

Яблоков — Яблоков Е.А. На берегу неба: Роман Андрея Платонова «Чевенгур». СПб.: «Дмитрий Буланин», 2001.

ЧЕВЕНГУР (С. 7). — Происхождение мастера. *Кр. новь*. 1928. № 4. С. 38–49; Потомок рыбака. *Кр. новь*. 1928. № 6. С. 84–115; Приключение. *НМ*. 1928. № 6. С. 136–140; Происхождение мастера. М.: Федерация, 1929. С. 5–64; *En mästars tillkomst*. 14 sovjetryska berättare. Stockholm: Bonnier, 1929. Gula serie; Чевенгур. Роман. Paris, YMCA-PRESS, 1972 / предисловие М. Геллера, отсутствует первая опубликованная часть — «Происхождение мастера». 375 с.; Чевенгур. Роман. Дружба народов. 1988. № 3. С. 96–167; № 4. С. 43–201 / публикация М.Ан. Платоновой, отсутствует первая опубликованная часть — «Происхождение мастера»; Чевенгур. Роман. М.: Художественная литература, 1988. 413 с.

Источники текста:

A1 — автограф повести «Преходящие годы» с пометами неустановленных лиц (*ИРЛИ*. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1–40, с об.).

A2 — автограф романа «Строители страны», с пометами Г.З. Литвина-Молотова и поздними пометами М.Ал. Платоновой (*ИРЛИ*. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 41–372, с об.; *ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 1–206, с об.).

CP — сводная рукопись, автограф с машинописными вставками (*ИРЛИ*. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1–372).

M1 — машинопись с авторской и редакторской правкой и правкой неустановленного лица (*РГАЛИ*. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 1–423).

M2 — неполная машинопись с авторской правкой, правкой неустановленного лица, пометами А.М. Горького и поздней правкой М.Ал. Платоновой (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 1–319; отсутствуют с. 130–147, 306–317, 415–420).

M3 — машинопись с авторской правкой, пометами Г.З. Литвина-Молотова и правкой М.Ал. Платоновой разных лет (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 1–424).

Гр1 — гранки романа «Чевенгур» из издательства «Молодая гвардия» (*РГАЛИ*. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 1–169).

Гр2 — гранки романа «Чевенгур» из издательства «Молодая гвардия» с редакторской правкой и пометами А. Платонова, в переплете (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 1–333).

M4a — машинопись рассказов «Происхождение мастера» и «Потомок рыбака» с авторской и редакторской правкой (*РГАЛИ*. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 1405. Л. 49–63, 2–48).

М4б — машинопись рассказов «Происхождение мастера» и «Потомок рыбака», с авторской правкой и поздней правкой М.Ал. Платоновой (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1–64).

М4в — машинопись повести «Происхождение мастера» с авторской правкой (*РГАЛИ*. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 1–61).

М4г — неполная машинопись повести «Происхождение мастера» с авторской правкой (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 1–60, последний лист отсутствует).

М4д — неполная машинопись повести «Происхождение мастера» (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1–58, два листа отсутствуют).

Машинопись рассказа «Путешествие в 1921 году». Фотокопия (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 6. Ед. хр. 126а. Л. 1–24).

Гранки рассказа «Путешествие в 1921 году» (*РГАСПИ*. Ф. 142. Оп. 1. Д. 611. Л. 1–16).

Машинопись фрагмента «Ехали по снегу Дванов и Копенкин на одном коне...» (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1–11).

Машинопись фрагмента «Тронем на рысь, товарищ Копенкин!..» с авторской правкой (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1–23).

Машинопись фрагмента «Синий воздух над Чевенгуром пахнул тоскою...» (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 1–27).

Машинопись фрагмента «Любовь Дванова» с редакторской правкой (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 1–5).

М2(1) — фрагмент *М2*, рассказ «Ребенок в Чевенгуре», с авторской и редакторской правкой и пометами (*РГАЛИ*. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 1–13).

М2(2) — фрагмент *М2*, рассказ «Кончина Копенкина», с авторской и редакторской правкой и пометами (*РГАЛИ*. Ф. 2124. № 5. № 14–21. Ст. 29. К № 72. № 1140–1143–1145–1154. Л. 1–8).

Кр. новь1 — рассказ «Происхождение мастера», журнал «Красная новь». 1928. № 4. С. 38–49.

Кр. новь2 — рассказ «Потомок рыбака», журнал «Красная новь». 1928. № 6. С. 84–115.

ПМ — «Происхождение мастера. Повести». М.: Федерация, 1929. С. 5–64.

НМ — рассказ «Приключение», журнал «Новый мир». 1928. № 6. С. 136–140.

Датируется летом 1927 — маем 1929 гг.

Печатается по *М1* с внесением правки по *СР* и *А2*.

Автограф романа представлен двумя частями: первая часть — под названием «Преходящие годы» с нумерацией страниц 1–79, вторая — с нумерацией страниц 1–656. При этом во второй части, несмотря на единую нумерацию страниц, отчетливо прослеживается история двух текстов: неоконченного романа «Строители страны» и собственно «Чевенгура».

Работа над каждой частью романа имеет собственное досье источников со своими сюжетами, героями, коллизиями и вопросами.

Значительная часть текста написана на больших листах бумаги, не всегда идеально сложенных пополам; в некоторых случаях такой лист разрывался по сгибу. Кроме бумаги других форматов во второй части использовались чистые

обороты машинописей рассказов Платонова («В окрестностях одной тюрьмы...»), «Память», «Путь в Чевенгур»), сценария «Нико Пиросман» неустановленного автора, автографа В. Шкловского (план сценария «Песчаная учительница»). В написании 2-й главы «Строителей страны» использовались 4 страницы рукописного наброска к роману под названием «В стране полнокровия» (второе название — «Строители страны»; оба названия вымараны).

За исключением нескольких страниц, выполненных чернилами, автограф обеих частей написан карандашом (химическим и простым) с обеих сторон листа.

Автограф первой части романа («Преходящие годы») создавался после остановки в работе над автографом второй части — романом «Строители страны», с которого начиналась история текста будущего романа «Чевенгур». В составе *СР* автограф первой части («Преходящие годы») оказался волей не Платонова, а архивиста, объединившего автографы первой и второй части романа в одну единицу хранения.

Начатый как «Строители страны», текст относительно плавно переходит в «Чевенгур», при этом в какой-то момент (об этом ниже) Платонов частично изымает значительную часть автографа из состава рукописи и заменяет ее новым текстом, а далее осуществляет необходимую правку, попутно убирая отдельные, ставшие лишними страницы (из рукописи было изъято более 100 страниц автографа «Строителей страны»). Вместе с тем по ходу работы Платонов заказывал машинописи отдельных фрагментов еще не оконченного произведения с целью их публикации как рассказа или отрывка повести. Выявлено 2 машинописных фрагмента, сделанных с первого автографа («Преходящие годы»): «Происхождение мастера», «Потомок рыбака». Со второго автографа было сделано 11 машинописных фрагментов, шесть из них дошли до нас и сохранили вписанное на первой странице машинописи название: «Любовь Дванова» (с указанием в сноске: «Часть повести “Общество хороших людей”»), «Путешествие в 1921-м году», «Путь в Чевенгур (Из повести “Чевенгур”）」, «Сочельник коммунизма (Из повести “Чевенгур”）」, «Прочие в Чевенгуре», «Двое людей». В дальнейшем, весной 1929 г., готовя рукопись к снятию с нее полной машинописной копии романа, Платонов использует некоторые из этих машинописей: заменяет ими в *СР* соответствующие части автографа, перечеркивая вынутые страницы автографа и откладывая их в сторону. Чистый оборот одной машинописи («Путь в Чевенгур») использовался в качестве бумаги при написании завершающих страниц романа.

Машинописные страницы в составе *СР* имеют свою историю и свои отдельные отношения с автографом, с которого они делались (подробно об этом см. раздел «Приложения»: *Архив*, 2. С. 507–636).

Небольшие естественные перерывы в работе отмечены в автографе огромным количеством опережающих записей на странице. Запись может находиться как в конце страницы, так и в любом другом месте, где сделана остановка в работе. Возвращение к работе отмечается зачеркиванием записи, а продолжающийся текст огибает запись.

Автограф в составе *СР* содержит большое количество исправлений Платонова, сделанных на разных этапах его работы над текстом. Количество

исправлений особенно возрастает во второй части («Строители страны»), где некоторые страницы автографа, не замещенные сделанной с него машинописью, имеют получерновой вид, а одна страница зачастую включает разновременную правку, т. е. правку разных этапов создания текста, как то: 1) правка процессуальная, сделанная в ходе написания текста; 2) правка, сделанная во время подготовки фрагмента автографа для снятия с него машинописи; 3) правка, внесенная в машинопись фрагмента (рассказа) и перенесенная в автограф; 4) правка Платонова, перенесенная в автограф из машинописи фрагмента-рассказа Марией Александровной; 5) заключительная правка на этапе снятия машинописи со *CP*, когда Платонов вычитывал всю рукопись как целое. В составе *CP* иногда встречаются страницы, представляющие монтаж фрагментов исправленного автографа ранней редакции с новыми вставками, выполненными на отдельных фрагментах листа, наклеенного поверх текста сокращенного фрагмента. Практически все вставки выполнены на листах тонкой бумаги, что позволило, за редким исключением, прочесть сквозь тонкий лист заклеенный текст первой редакции (см. динамическую транскрипцию автографа романа, с описанием бумаги, оборотов страниц и всех вставок: *Архив*, 2. С. 62–503).

В 1970-е гг. при передаче в ИРЛИ сводной рукописи романа страницы автографа, изъятые как в первом, так и во втором случае, не были переданы в Ленинград. Они остались в Москве в семейном архиве среди не разобранных после смерти вдовы материалов ее рабочего стола и долгое время были неизвестны исследователям. Данная ситуация во многом определила рождение различных концепций датировки начала работы Платонова над романом 1925 и 1926 гг., а работа писателя над текстом описывалась как монтаж ранних текстов (машинописи) и рукописных страниц (см. об этом: *Вьюгин В.* Из наблюдений над рукописью романа «Чевенгур» (От автобиографии к художественной обобщенности) // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. СПб.: Наука, 1995. С. 129, 132; *Вьюгин*. С. 190–212); *Корниенко Н.* Между Москвой и Ленинградом: О датировке и авантексте романа «Чевенгур» // *Страна философов*, 2005. С. 625–626). В настоящее время рукописные страницы, не вошедшие в состав *CP*, находятся в ОР ИМЛИ. За исключением нескольких фрагментов текста автограф второй части романа, который начинался текстом «Строители страны», восстановлен полностью (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., С. 348–540).

Работа Платонова над романом датируется на основании различных источников; начало работы — летом 1927 г. по письмам жене; завершение работы — маем 1929 г., исходя из редакционных помет на побывавшей в журналах в марте 1929 г. машинописи рассказа «Сочельник коммунизма» (в составе *CP* экземпляра данной машинописи замещает соответствующие ей страницы автографа; см.: Приложение 4 // *Архив*, 2. С. 557).

Замысел романа и начало работы над ним относятся к лету 1927 г. 3 июля 1927 г. в письме Марии Александровне в Крым, исполненном трагических признаний о жизни, творчестве и любви, Платонов сообщает: «Пишу о нашей любви. Это сверхъестественно тяжело. Я же просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается. Вообще, настоящий писа-

тель это жертва и экспериментатор в одном лице. Но не нарочно это делается, а само собой так получается» (*Письма*. С. 228). 9 июля 1927 г. датируется запись на книге «Епифанские шлюзы»: «Марии, другу и любимой, — зреющей звезде моего разума, теплоте моего сердца» (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 5. Ед. хр. 6). В письме жене (датируется 9–11 июля 1927 г.) мы находим сообщение о возможности подписать с издательством «Молодая гвардия» «договор на роман в 15 листов» (*Письма*. С. 232–233). Очевидно, в эти дни готовилась заявка на роман с условным названием «Зреющая звезда», в которой указывается: «Размер романа — 15 авторских листов. Четыре части: в каждой части по пять глав». В заявке описан «краткий план романа» об истории становления мальчика, а затем юноши из рабочей слободы; план включает: детство мальчика; религиозные и политические искания ранней юности, первую любовь героя; историю «трех друзей» в годы революции и Гражданской войны; первый послевоенный год учебы и творческой работы, вновь наступившую героя любовь — «крутую, резкую, душную, граничащую с безумием»; большую инженерную работу, помогающую герою излечиться от любви; строительство новой страны, в описании которого появляется любимый Платоновым экскаватор. Таков грандиозный сюжет романа, хронологические рамки которого охватывают период с 1906 г. до начала двадцатых годов. Платонов подчеркивает, что в представленном плане «не все понятно и последовательно», что в романе «все оправдывается», и заключает: «Вещи, о которых я буду писать, мне хорошо и опытно знакомы» (впервые опубликован: *Платонов А.* Краткий план романа «Зреющая звезда» [т. е. «Земля»] // *Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография*. СПб.: Наука, 1995. С. 241–243. Публикация Е.И. Колесниковой; раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 345–347).

Заявленный план романа, в ходе его художественной реализации не раз существенно скорректированный, сохранит свою во многом автобиографическую основу, связанную с воронежским периодом жизни, творчества и философских исканий писателя, прежде всего — с 1919–1921 гг. Этими годами отмечены нашедшие отражение в романе важнейшие события и детали в жизни молодого Платонова: начало журналистской работы в местных изданиях; поездка в Новохоперск; учеба в железнодорожном политехникуме; тиф; круг чтения и друзей; голод; создание грандиозного проекта по борьбе с засухой и голодом («Земчека»); первая любовь, встреча с будущей женой Марией Кашинцевой и т. п. (см.: *Летопись жизни и творчества А. Платонова 1899–1926 гг.* // *Антонова*. С. 309–368; *Ласунский*. С. 61–173). Это время активных публикаций и высказываний рабочего-философа Платонова, кажется, по всем возможным вопросам истории, современности, культуры, философии, составивших книгу статей «Думы коммуниста» (1921; не была опубликована): «Ранние статьи Платонова представляют собой своеобразные срезы, моментальные снимки интенсивного интеллектуального потока <...>. Размышления над темами и проблемами, заявленными в публицистике, органично переходят у Платонова в художественные произведения, подвергаясь рефлексии сна и снова, каждый раз появляясь, но в другом виде, стиле, плане... — и опять-таки подвергаясь редукции» (*Вьюгин*. С. 206). Актуальность философско-эстетических исканий Платонова начала 1920-х гг. подтверждают его статьи 1927 г., возвращающие в поле современного

научного знания и культуры основной вопрос философии — о мире (материи) и познаваемости мира, абсолютном и относительном знании, религиозной вере и научном знании, истине в идеализме и материализме и т. п. (неоконченная статья «О любви» и статья «Питомник нового человека»). Написанная в пору работы над романом статья «Питомник нового человека» своеобразно резюмирует революционные идеи и планетарные мечтания молодых «строителей страны» об «интеллектуальной революции», мировой «коммунистической революции», призванной «перешить» «неуклюжую Вселенную», о борьбе с природой и буржуазной культурой, о новом, «более высоком типе человека» и «новой истории» — радикальном преобразовании жизни России, природы, самого мироздания и человека. Как и ранние статьи, «Питомник нового человека» представляет образец мифотворчества и пролетарской философии, строй мысли которых отличают атмосфера проективности и экспериментаторства (о прямых переключках положений статьи с высказываниями героев «Строителей страны» см. примеч. к статье: *Сочинения*, 2. С. 794–804; подробно о связях романа с ранней публицистикой также см.: Повесть А. Платонова «Строители страны». К реконструкции произведения (Публикация, вступительная статья и комментарий В.Ю. Вьюгина) // Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов. А. Платонов. Л. Леонов. СПб.: Наука, 1995. С. 309–336, 337–341; *Вьюгин*. С. 192–221; *Яблоков*. С. 102–187. См. также далее реальный комментарий, наст. изд., с. 605, 607, 623, 629, 655, 664, 678, 698, 699).

Перефразируя одно из положений представленного плана будущего романа, можно сказать, что действительно «вещи», о которых Платонову предстояло писать роман, ему были «хорошо и опытно знакомы»; статьи, рассказы, стихи начала 1920-х гг. стали своеобразной записной книжкой уникальных материалов к первому роману писателя. Однако путь осуществления замысла о почти «фантастическом мире» оказался не таким простым, как это виделось летом 1927 г.

В работе над романом будут малые и большие остановки, связанные не только с уточнением, но и с радикальным изменением сюжета, системы образов и формул главных героев.

Осуществление плана романа началось не с детства героя, а с его юности. Первая глава посвящена рассказу о командировке героя в уездный город Новохоперск. К сожалению, первые четыре страницы главы оказались утрачены. В тексте «Строителей страны» (раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 348–349) эти страницы представлены фрагментами текста, опубликованного в 1975 г. как письмо Платонова Марии Александровне 1922 г. (подробно об этом: *Архив*, 2. С. 70–71). Среди писем Платонова Марии Александровне данный текст не выявлен. Отсутствие оригинала данного фрагмента определило форму его подачи в настоящем издании (заключен в квадратные скобки). Предположение, что этот текст является фрагментом «Строителей страны», основывается не только на его тематике, но и на близости стилистики первой главы повести и текста «письма». В теории литературы этот тип повествования известен как «Я — форма», «Ich-Erzählung», а классическим его воплощением считаются романы Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (см. об этом: *Манн Ю.В.* Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания

ния. М.: Наследие, 1994. С. 441–442). Ориентацией на эту традицию отмечены произведения В. Шкловского, с которым Платонов тесно общается летом 1927 г.: это лирическая повесть в письмах («ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза»), автобиографический роман «Сентиментальное путешествие» и «Третья фабрика» (теоретическая работа В. Шкловского «“Тристам Шенди” Стерна и теория романа») хранится в фонде Платонова ИМЛИ). Для этой формы повествования характерны презентация фигуры героя-рассказчика, подчеркнутый автобиографизм, пространственные философские и психологические комментарии, резкое увеличение количества авторских отступлений от основной событийной канвы. Все эти признаки обнаруживаются в архитектонике первых двух глав «Строителей страны», где выбрана форма рассказа от первого лица, а сам рассказчик, как и заложено в этой традиции повествования, является одним из персонажей описываемых событий. Платоновский рассказчик не простой участник событий 1919 года в Новохоперске, он журналист (автобиографическая деталь в мотивации новохоперского сюжета) и «сочинитель», работающий над произведением — «сочинением о сне и целомудрии, как строителях будущего человека» (конец 2-й главы, см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 374), отсылающем к рассказам Платонова начала 1920-х гг. С 3-й главы «Строителей страны» эта фигура рассказчика исчезает, а ее биографические реалии передаются некоему Дванову, о котором во 2-й главе рассказывает Геннадий.

К лету 1927 г. относится написанная на основании собственных писем из Тамбова неоконченная повесть о любви в письмах «Однажды любившие». След этой повествовательной формы присутствует и в «Строителях страны», что нашло отражение в письмах героев к Софье Александровне с признанием в любви. Источником романного любовного эпистолярия послужили письма Платонова к Марии Александровне 1921 г., а в представленном любовном треугольнике нашла отражение история встречи Платонова и его воронежских друзей (Г. Малюченко и В. Келлера) с юной Марией Кашинцевой (подробно см.: *Письма*. С. 9–11, 100–102, 110, 197). Превращение письма в текст потребовало минимальной правки, и письма Платонова к Марии Александровне превратились в письма Дванова к Софье Александровне. Яркий документальный пример таинственной области творческого преобразования биографического материала в художественный текст (разночтения в письме и тексте «Строителей страны» подчеркнуты):

«Мария.

Я не смог бы высказать вам все-го, что хочу, я не умею говорить, и мне бесконечно трудно рассказывать о самом глубоком и сокровенном, что во мне есть. Поэтому я прошу прощения, что пишу, а не говорю (писать как-то несуразно).

Простите меня за все и послушайте меня. Мария, я вас смертельно лю-

«Софья Александровна! Я не

смог бы высказать вам всего, что хочу, я не умею говорить, и мне трудно рассказать о самом глубоком и сокровенном, что во мне есть. Поэтому я прошу прощения, что пишу, а не говорю (писать как-то несоответственно).

Простите меня за все и послушайте меня. Софья Александровна, я

блю. Во мне не любовь, а больше любви чувство к вам. Восемь дней мое сердце в смертельной судороге. Я чувствую, как оно вспухает во мне и давит душу. Я живу в каком-то склепе и моя жизнь почти равна смерти. Днем я лежу в поле в овраге, под вечер прихожу в город и иду к вам. А у вас я как-то весь опустошаюсь, во мне все стихает, я говорю великие глупости, я весь болею и хожу почти без сознания. Сколько раз я хотел вам сказать, что ведь я не такой, какого вы немного знаете, я совсем иной.

Лунное тихое пламя выжигает из меня жизнь. У меня никого нет, некуда пойти и никто не поймет меня. Моя родина — луна. Я теперь не могу равнодушно смотреть как стоит дерево, как идет дождь. Через вас я люблю все больше и больше мир, звезды приводят меня в трепет, а когда я с вами, я как мертвый, я холодею и успокаиваюсь. И как мне не хочется с вами говорить, только безмолвие или простые детские слова должны быть между нами.

Мария, вы та самая, о которой я одиннадцать лет написал поэму, вы та самая победительница вселенной. Я знал вас всегда. Вы сказали раз, что во мне много жестокости, а во мне много боли. Я и раньше все сильнее и страшнее чувствовал нестерпимую красоту мира. Вы же конец всего. Вы моя смерть и мое вечное воскресение.

Может, я говорю пошло и глупо, но во мне поет музыка и мне больно и хорошо.

Я ничего от вас не прошу, я вам все отдаю. Никогда я не притронусь к вам, если вы сами не захотите. Я грубый дикарь, это мне говорили и товарищи мои. Но я вырос в грязи и работе,

вас смертельно люблю. Во мне не любовь, а больше любви чувство к вам. Целый день мое сердце в смертельной судороге. Я чувствую, как оно вспухает во мне и давит душу. Я живу в каком-то склепе и моя жизнь почти равна смерти. Я весь болею и хожу почти без сознания. Мне хочется вам сказать, что ведь я не такой, какого вы немного знаете, я совсем иной.

Лунное тихое пламя выжигает из меня жизнь. У меня никого нет, некуда пойти и никто не поймет меня. Моя родина луна. Я теперь не могу равнодушно смотреть как стоит дерево, как двигается ветер. А через вас я мог бы больше полюбить мир и новые звезды наводнили бы небо над нами. И почему-то мне не хочется с вами говорить и видаться — только безмолвие или простые детские слова должны быть между нами.

Софья Александровна, которую я одиннадцать лет видел во сне, вы та самая победительница вселенной силюю одного обаяния. Я знал вас всегда. Вы думаете, что во мне много жестокости, а во мне много боли. Я и раньше все сильнее и страшнее чувствовал нестерпимую и скромную красоту мира. Вы же конец всего. Вы моя смерть и мое вечное воскресение. Может, я говорю пошло и глупо, но во мне поет музыка и мне больно и хорошо.

Я ничего от вас не прошу, я вам все отдаю. Никогда я не притронусь к вам, если вы сами не захотите. Я грубый дикарь, это мне говорили и товарищи мои. Но я вырос в грязи и работе,

узнал все, что знают люди, аристократия мысли и искусства.

Это пишу без Жоржа. Он относится к вам по-иному, гораздо легче и преодолет вас. Это он сам говорит. Во мне же сердце ходит все туже и туже. Когда я шел к вам один, то лежал на бугре перед этим и плакал. Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу. Было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая. Вы сестра моя, но безмерно дороже ее. Все силы затихли во мне, и я не могу передать словом, что дышет <sic> и волнуется сейчас во мне. Раньше я мог бы сделать это.

Я не знаю ваши отношения к Жоржу. Вы давно знакомы. И во мне есть тревога, что я мешаю вам, врзался клином и накалил атмосферу, мешаю искренности и простоте. Скажите мне про это. Я бы сразу разрубил этот узел, но боюсь сделать больно вам и Жоржу.

Не жалости и не снисхождения я хочу, а вас и ваше свободное чувство.

Переполняется во мне душа и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Мария, поймите мою смертную тоску и невероятную любовь. Только теперь я родился.

Есть мир, который создал когда-то я. Людям будет хорошо там жить, но я ушел бы и оттуда. У меня голова болит.

узнал все, что знают люди — мне ничто не чуждо, что имеет человеческая мысль.

Это пишу без Геннадия. Он относится к вам по иному, гораздо легче, и преодолет вас. Это он сам говорит. Во мне же сердце ходит все туже и туже. Когда-то в детстве я лежал в поле на бугре и плакал от обожания природы. Я тогда начал читать книги, но мое понимание их было свое. И я вырыл пещерку в овраге, чтобы думать как будда. Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу. Было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая. Вы сестра моя, но безмерно дороже ее. Все силы затихли во мне и я не могу передать словом, что дышет <sic> и волнуется сейчас во мне. Раньше я мог бы сделать это.

Я не знаю ваши отношения к Геннадью. Вы давно знакомы. И во мне есть тревога, что я мешаю вам, врзался клином и, может, накалил атмосферу, мешаю искренности и простоте. Скажите мне про это. Я бы сразу разрубил этот узел, но боюсь сделать больно вам и Геннадью.

Не жалости и не снисхождения я хочу, а вас и ваше свободное чувство.

Переполняется во мне душа и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Софья Александровна, поймите мою смертную тоску и невероятную любовь. Только теперь я родился. Не смейтесь над словами — их слабость объясняется силой моей любви.

Есть мир, который создал когда-то я в своих живых мыслях. Людям будет хорошо там жить, но я ушел бы

Ночью я сочинил поэму, но для вас надо изменить мир. Простите меня, Мария, и ответьте сегодня, сейчас. Я не могу ждать и жить, я задыхаюсь, и во мне лопаются сердце. Я вас смертельно люблю. Примите меня или отвергните, как скажет вам ваша свободная душа.

Я вас смертельно люблю.

Я не убью себя, а умру без вас, у меня все растет и растет сердце.

Андрей Платонов» (ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 3; *Письма*. С. 98–100).

и оттуда. Я много думаю, но для вас надо изменить мир. Простите меня, Софья Александровна, и ответьте мне сегодня, или сейчас. Я не могу ждать и жить; я задыхаюсь и во мне лопаются сердце. Я вас смертельно люблю. Примите меня или отвергните, как скажет вам ваша свободная душа. Я вас смертельно люблю.

Я не убью себя, а умру без вас, у меня все растет и растет сердце и навсегда закатывается сознание.

Александр Дванов» (*Архив*, 2. С. 112–114; раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 391–392).

До «Строителей страны» любовный лирический сюжет оформляется у Платонова в стихах 1926–1927 г., в фантастическом «Эфирном тракте» (1926–1927) и в исторических «Епифанских шлюзах» (1927), но в обеих повестях он не является сюжетообразующим. «Сокровенный человек», а затем и «Ямская слобода» и вовсе обходятся без любовного сюжета. В «Строителях страны» любовная коллизия сразу занимает наряду с современным сюжетом центральное место, как и в других уже написанных романах о революции («Хождение по мукам» А. Толстого, «Города и годы» и «Братья» К. Федина, «Белая гвардия» М. Булгакова, «Барсуки» и «Вор» Л. Леонова). Отказавшись с 3-й главы от фигуры рассказчика «Ich-Erzählung», Платонов сохраняет центральность любовного сюжета (влюбленность трех друзей — Гратова, Геннадия и Дванова — в Софью Александровну Крашенину), что свидетельствует о том, что Платонов в 1927 г. после фантастической («Эфирный тракт»), исторической («Епифанские шлюзы»), современной («Сокровенный человек») повести осваивает новый (для него как прозаика) тип повествования. Он не раз затем будет возвращаться к опыту (а может быть, и к рукописи) «Строителей страны» как к романному типу повествования («Технический роман», «Счастливая Москва») и вновь от него отказываться (незавершенность работы над указанными текстами). Автограф повести сохранил некоторые колебания с выбором имени и фамилии героини: сначала героиня появляется под именем Софьи Владимировны, затем вскоре превращается в Софью Александровну, в одном из ее писем Дванову появляется подпись «Соня Мандрова», и только на пути в Волошино она обретает фамилию Крашенина.

Автограф «Строителей страны» демонстрирует напряженный поиск формулы главной лирической героини. Платонов наделял героиню разными, порой прямо противоположными ролями. Софья Александровна ведет себя то как мудрая епифанская баба, то как вечная Беатриче, то как роковая Незнакомка, то как комсомолка Валя из романа Олеши («Зависть», 1927), то как Наталья Тарпова из одноименного романа С. Семенова («Наталья Тарпова», 1927). В «Строителях

страны» Софья Александровна по-разному представляет свою биографию, рассказывая о своей семье, детстве и юности. Петербург, отец — литейный мастер, дом, клетка со щеглом — это один образ детства. Гратову она признается, что жила в маленьком поселке около озера Ильменя в «чужой» семье, там остался любящий ее друг, который теперь болен, и она собирается поехать к нему в больницу в Петроград. Совсем другой предстает ее жизнь в рассказе Александру Дванову: отец погиб в Красной Армии, мать живет с артистом, братья и сестры — в приюте.

В «Строителях страны» Софье Александровне принадлежит особое место, она — лирический центр романа. Именно ей поручалась развязка любовной коллизии. Трех до болезненности влюбленных в Крашенину молодых людей из сознания и жизни героини вытеснила фигура Копенкина, который и становится главной идеей ее жизни.

Влюбленность Софьи Александровны в Копенкина литературна в своих истоках и напоминает как о классических, так и о современных опытах создания образа «новой» женщины»:

«Софья Александровна не могла отвязать своей любви к Копенкину от влечения к революции. Ей хотелось разделить его участь, понять его подвиги, сделаться его единоклубным другом, потому что она любила его всей своей свежей сердечной нежностью, всем цельным запасом созревших женских сил и с такой верой и наивностью, когда достаточно лишь знать, что любимый жив, чтобы самой быть счастливой. Софья Александровна понимала, что есть между мужчинами и женщинами особая страсть, но не представляла ее и не вмешивала в свою любовь.

Она была убеждена, что — как Копенкин идет к Розе через революцию, так и ей надо идти к Копенкину — тоже через революцию. Иначе она его потеряет — в этом было ее мучение» (см. «Планы. Редакции», наст. изд., с. 484).

Платоническая любовь к «дальнему» Копенкину определит отъезд Софьи Александровны из деревни и последующие этапы жизни героини: возвращение в губернский город, вступление в комсомол, учеба в губсовпартшколе, общественная работа. Последний раз Софья Александровна появляется в повести перед эпизодом партийного собрания — ее встреча с Двановым, вернувшимся в изменившийся с введением нэпа губернский город. (В свернутом виде сюжет любви Софьи Александровны к Копенкину предстанет в формуле организующей идеи героини романа «Счастливая Москва» Москвы Честновой, которая всех влюбленных в нее героев испытывает похожестью на человека с факелом, которого она видела в дни революции.)

Мария Александровна Платонова первой читала новое произведение и оставила свои пометы и записи на страницах автографа «Строителей страны». Самая большая ее запись относится к философским фантазиям Дванова на тему любви Данте и Беатриче. Платонов дает читать жене первую часть романа — до поездки Дванова в губернию, в этой части любовный сюжет занимает едва ли не центральное место. На обороте с. 72 автографа Мария Александровна оставила запись, в которой отчитала Платонова за допущенные им фактические ошибки, искажения и недвусмысленные намеки на их непростые отношения:

«(Принять к сведению, иначе провалитесь!»)

I. Данте женился на своей жене **уже после смерти Беатриче** и плодит детей.

II. Леонардо да Винчи жил позднее Данте, т. е. в 17 столетии, а Данте в 16 ст<олетии>, — следовательно он не мог, т. е. Данте, мечтать на мосту Да-Винчи.

III. Данте и полюбил Беатриче за чистоту, а не за “удовлетворенные страсти размножения” — следовательно нельзя Беатр<иче> делать чем-то вроде проститутки, ищущей мужиков и размножающейся. — Вы неправильно истолковываете величайшую человеческую сказку. И Беатриче не была замужней, <сп>равьтесь в книгах, — женам не верят, они <ве>дь “Обрезают крылья” — а то над Вами будут смеяться. Если Вы хотели Беатр<иче> изобразить искательницей души, надо было подойти иначе и сделать это ярче» (*Архив*, 2. С. 118).

Мария Александровна нашла в фантазии Дванова не только фактические ошибки, но и прочитала во всем любовном сюжете первых глав «Строителей страны» художественную версию их непростых личных отношений, нашедших отражение не только в письмах 1921 г., но и в письмах Платонова из Тамбова и летних письмах в Крым 1927 г. Реакцию Платонова на запись любимой жены сохранила приписка, сделанная им внизу страницы с записью Марии Александровны: «Сударыня! Вы не можете читать по писаному! Первые два пункта верны: спасибо за поправку, я сам хотел справляться!»

Справляться с источником (изданиями «Божественной комедии» в России) и исправлять дантовский сюжет Платонову не придется: он останется в сокращенной части, не вошедшей в *СР*.

Платонов и позже давал Марии Александровне читать рукопись. Ее рукой в автограф переносилась правка, сделанная Платоновым в машинописи одного из фрагментов-рассказов (подробно см. примечания к динамической транскрипции: *Архив*, 2. С. 249–266). Автограф романа сохранил также поздние пометы Марии Александровны, сделанные шариковой авторучкой на приведенном выше письме Дванова Софье Александровне. В этих записях — «В письме ко мне это есть», «Все это есть в письмах ко мне» — уже нет раздражения, наоборот подчеркнут реальный источник не только текста данного письма, но и в целом истории любовного сюжета романа.

Вторым читателем написанной части романа «Строители страны» стал постоянный редактор и друг писателя, член редколлегии издательства «Молодая гвардия» Г.З. Литвин-Молотов, составивший развернутый отзыв на представленную ему рукопись (см.: Письмо Г.З. Литвина-Молотова А.П. Платонову // *Архив*, 2. С. 637–641). В настоящее время мы не располагаем документами, позволяющими провести точную датировку письма Литвина-Молотова о «первой трети новой повести “Строители страны”» (Там же. С. 637). Предлагаемая датировка — октябрь-ноябрь 1927 г. — базируется прежде всего на упоминаемых в письме политических реалиях времени и двух повестей Платонова («Сокровенный человек», «Ямская слобода»). Обе повести имеют точную датировку и читались Литвиным-Молотовым в рукописи (см.: *Сочинения*, 2. С. 623–624, 662–665). Написанная весной 1927 г. повесть «Сокровенный человек» будет опубликована только в 1928 г. в одноименном сборнике (изд-во «Молодая гвар-

дия»). Имеющая авторскую датировку «13–24 августа 1927 г.» повесть «Ямская слобода» печатается в курируемом издательством «Молодая гвардия» одноименном журнале (1927, № 11). Повесть напрямую корреспондирует с замыслом первой части романа — о детстве героя и рабочей слободе 1906–1914 гг.

Не имея, кроме автографа заявки на новый роман, иных документов, позволяющих утверждать, что заявка на роман была принята, выскажем предположение, что Платонов представляет Литвину-Молотову «первую треть» будущего романа, возможно, и для подтверждения идущей над произведением работы. В сентябре 1927 г. семья Платонова вынуждена покинуть Центральный дом специалистов и искать новое жилье, на какое-то время семья оказывается в Ленинграде. Возможно, уезжая в сентябре 1927 г. в Ленинград, Платонов оставил рукопись своему редактору, который ответит ему не ранее ноября 1927 г. большим письмом, сыгравшим особую роль в творческой истории романа «Чевенгур». Отсутствием Платонова в Москве можно объяснить и сам факт появления пространного письма Литвина-Молотова.

В отличие от Марии Александровны, пристально читавшей лирический сюжет «Строителей страны», Литвин-Молотов основное внимание сосредоточит на сюжетах, связанных с путешествием Дванова по губернии. Это первый наиболее глубокий и значительный опыт анализа основных героев первой части будущего романа (Литвин-Молотов называет представленный ему текст «повестью») — Геннадия, Дванова, Гратова, Мрачинского, Копенкина, Софьи и комплекса идей, транслируемых ими. Редактор внимательно вчитывается в платоновский текст, в диалоги героев, размышляет над впечатлениями, которые рождают у него как читателя сюжеты путешествия Дванова по разоренной Гражданской войной губернии, пытается сформулировать основную идею и пафос нового платоновского опыта в осмыслении революционной России:

«...глупые поиски, бредовые мысли, смешные (зло!) требования к сроку выразить социализм, чтобы он пер прямо из травы);

«...будничное революционное дело выставлено как попытка *в срок* построить социализм, и с такими комментариями от автора и от лица действующих героев, что в результате их создается лишь одно впечатление: люди беспомощно барахтаются в несбыточных идеях, мечтаниях и делах, в то время, когда надо бороться за человеческий образ жизни, что идея построения социализма — большая идея, что где-где, а в России социализм никогда не будет построен, ибо в такой отсталой стране и думать его построить нельзя, — тому порукой примеры повести» (*Архив*, 2. С. 638).

Эти оценки позволяют редактору так резюмировать политический смысл произведения Платонова: «*Впечатление* таково, что будто бы автор задался целью в художественных образах и картинах *показать* несостоятельность идеи возможности построения социализма в одной стране. И это на другой день после осуждения партией оппозиции, выставившей это положение!» (Там же).

Смысл данного заключения, которое звучит серьезным политическим обвинением, обнажает и отражает контекст, в котором оно делается. Эпоха партийных дискуссий вокруг заявлений Л. Троцкого и возглавляемой им «левой» оппозиции (начало дискуссии — 1923 г.) закончилась в ходе подготовки празднования 10-й годовщины Октябрьской революции. Дискуссий на тему постро-

ения социализма в СССР больше не будет, а шло фронтальное осуждение «оппозиционеров-раскольников»: октябрьский объединенный пленум ЦК и ЦКК исключил Троцкого и Зиновьева из ЦК ВКП(б); 11 ноября датируется письмо ЦК «Ко всем организациям ВКП(б)» — «Об антипартийных выступлениях лидеров оппозиции». В октябре центральные газеты постоянно публикуют материалы с проходящих в преддверии партийного съезда районных и губернских конференций с осуждением выступлений оппозиции; печатаются списки исключенных из партии, а также письма рабочих, снимающих свою подпись в поддержку августовской платформы оппозиции и т. п. 15 ноября все центральные газеты напечатали постановление ЦКК и ЦК ВКП(б) об исключении Троцкого и Зиновьева из партии и т. п.

В контексте современной политической ситуации дается редактором краткая оценка всех героев-идеологов повести: Гратов — «и не фанатик, и не энтузиаст, а какая-то болотная середина», Дванов — «просто путаник» (*Архив*, 2. С. 638). «Советский Дон Кихот» Копенкин прочитывается редактором как откровенное издевательство над идеей мировой революции, а его любовь к Розе Люксембург аттестуется как «химерическая основа» (Там же. С. 639) большевизма героя и т. п.

Редактировавший в 1927 г. все повести Платонова, Литвин-Молотов видит в «Строителях страны» продолжение негативных тенденций, особенно ярко проявившихся в «Городе Градове»; на это он прямо указывает Платонову: «...получается возврат к тону и настроениям “Города Градова”» (Там же. С. 639). В пору создания «Города Градова» редактор дал жесткую оценку одноименному рассказу, увидев в нем «сатиру на весь СССР»; он предложил писателю радикально исправить текст. В ходе развернувшегося на полях рукописи диалога автора и редактора из небольшого рассказа «Город Градов (Заметки командированного)» родилась знаменитая повесть. Платонов послушался редактора и существенно понизил конфликт с всесоюзного (Градов — Москва) до внутригубернского, превратив Градов в уездный город и заменив Москву на губернский город Талдомов. После первой публикации повести в сборнике «Елифанские шлюзы» (вышел в июне 1927 г.) Платонов в пору работы над романом «Чевенгур» вновь обращается к тексту «Города Градова» и возвращает не только ее главную коллизию (Градов — Москва), но и большие фрагменты, отмененные редактором; новая редакция повести печатается в сборнике «Красная панорама», приложении к одноименному ленинградскому журналу за сентябрь 1928 г. (см. примеч. к повести «Город Градов»: *Сочинения*, 2. С. 535–546).

Однако при всех жестких политических оценках нового произведения Литвин-Молотов советует от него не отказываться, а полностью его «перестроить» и предлагает подробный план 16 новых глав, в которых будет использован материал уже написанной части «повести», но существенно скорректированный. В конце письма Литвин-Молотов подчеркивает, что написанная Платоновым вещь «хороша», но об издании ее не может быть речи — «по вполне понятным соображениям», и советует писателю изживать политически ошибочные настроения.

Кроме письма Литвин-Молотов оставил вопросы и пометы в автографе — они сделаны редакторским (синим и красным) карандашом. Пометой «Новая

глава» он вводил разрывы в текст (Платонов сначала выделял главы, затем перестал ставить номера глав и разбивать текст и т. п.). В рукописи имеются немногочисленные редакторские пометы, с которыми Платонов внимательно работал, о чем свидетельствует авторская правка. Так, к примеру, на страницах 9 и 10 автографа мы встречаем редакторскую галочку, проставленную красным карандашом.

В первом случае она относится к описанию внутреннего состояния героя-рассказчика на пороге возможной гибели:

«Я тогда не хотел напрасно погибать и ожидал от жизни разгадку ее тайного явления и надеялся на страстную смелую силу начавшейся революции» (*Архив*, 2. С. 78).

Во втором случае редакторская галочка проставляется на полях предложения с однозначной авторской оценкой поведения машиниста в подобной ситуации:

«— Нас же заметила батарея — она могла переменить прицел — надо было подальше уйти! — объяснил машинист. Я понял, что он трус».

Вместе с галочкой на полях фразы «...я понял, что он трус» тем же красным карандашом сделана запись на полях страницы: «любил жизнь / была / мила» (*Архив*, 2. С. 79).

Это возражение редактора к столь радикально различным оценкам однотипной жизненной ситуации Платонов примет. В первом случае, сократив предложение, во втором — исправив его, заменив фразу о трусливом машинисте на безоценочную психологическую характеристику: «...но Дванов предположил, что он испугался» (Там же).

Ответ Платонова на предложения перестройки всей «повести», содержащиеся в письме Молотова, оказался более сложного состава. Писатель, как и прежде, прислушивается к ряду советов редактора и друга, естественно, решая поставленную перед ним проблему по-своему. Скорее всего, первым таким решением стала новая первая часть будущего романа — текст под названием «Преходящие годы», которым Платонов отвечает на пожелание редактора: «Нужно, чтобы прошлое Гратова и Дванова было больше освещено, чтобы они не врывались в повесть сразу, ибо они ведь *подводят* читателя к событиям, к повести» (*Архив*, 2. С. 639).

Прислушается Платонов и к другим советам редактора. Однако заключительное пожелание Молотова быть мудрее и не касаться острых политических вопросов, связанных с современностью и историей России, Платонов не учтет, скорее даже наоборот — пойдет по линии наибольшего сопротивления в развитии основных сюжетных линий, намеченных в «Строителях страны» в путешествии Дванова по губернии.

В новую логику перестройки замысла романа вполне вписывалось пожелание редактора практически отказаться от любовной линии, как она представлена в «Строителях страны»: «Не выпирайте любовь. Вообще историю возникновения любви не следовало бы давать подробно, да еще при длинных разговорах. <...> Нужно не забывать также, что у ваших героев есть общественная жизнь и учеба» (*Архив*, 2. С. 640). От истории Софьи Александровны, главной лирической героини написанной части текста, в романе осталось не очень много,

фактически только общий в биографиях обеих героинь волошинский эпизод, однако и он был существенно переписан: исчезли влюбленные Гратов и Геннадий, история любви Дванова, а в рисунок поведения Софьи Александровны / Сони вносятся существенные коррективы, исходя как из разности биографий Софьи Александровны в «Строителях страны» и Сони в новой первой части будущего романа, так и из выбранных автором формул героини. Они и ведут себя в деревне по-разному. «Загадочную» Софью Александровну в деревне не любят, не хотят учить детей в советской школе, всякое сочиняют про ее «мужиков» и т. п. Совсем другое отношение в деревне к Соне, которая принимает роды, лечит, «не обижает никого», тоскует о Саше и ждет от него писем. В отличие от Софьи Александровны, в Соне «все нуждались в этой небольшой овражной деревне...» (новая вставка, см.: *Архив*, 2. С. 156).

Разность героинь ярко проявляется в мелких деталях при превращении Софьи Александровны в Соню. Так, к примеру, предложение Софьи Александровны при встрече с нагрянувшим в ее дом в Волошино отрядом анархистов: «...если у вас есть сахар, то я вас напою всех чаем» переписывается тут же на странице (с. 136 авт.) на прямо противоположное по содержанию: «...у меня есть сахар, и вы будете пить чай» (*Архив*, 2. С. 158). В этой же логике характерная деталь в описании одного из вечеров Софьи Александровны: «...Софья Александровна писала доклад в Губно» (с. 156 авт.) заменяется для Сони на другую, никак не связанную с общественной работой героини, а представляющую ее лирический портрет: «...сама учительница сидела в кухне у стола и горевала головой на ладони» (*Архив*, 2. С. 189). Однако при всей тщательности в переписывании любовно-лирического сюжета «Строителей страны» в тексте романа осталось немало противоречий, объясняемых изменением общего замысла и превращением «Строителей страны» в роман «Чевенгур». Таков эпизод о сундуке с булками для Сони — о нем в романе вдруг вспоминает Дванов. Этот эпизод действительно противоречит всей логике сюжета путешествия Дванова, как он представлен в «Строителях страны» и в «Чевенгуре»: в первой редакции у отправившегося в губернию Дванова не было никакого сундука с булками для Софьи Александровны. Эпизод с булками остался в романе от текста «Строителей страны», где он относится к сюжету поездки к Софье Александровне не Дванова, а Гратова. Платонов, переплавляя первую редакцию в новый текст, везде в рукописи аккуратно заменял Гратова на Дванова, но сюжет с сундуком оставил. Не заметил противоречия? Или заметил — и не стал исправлять? При отсутствии реалистического объяснения появления сундука с «сытными булками», последние вполне могут мотивированы полубредовым состоянием голодного и больного Дванова.

В «Строителях страны» Софья Александровна прожила более богатую, чем в романе, жизнь. Но многочисленные страницы о любовных страстях Гратова, Дванова и Геннадия Платонов вынимает из рукописи. Отказывается писатель и от сцены встречи Софьи Александровны с Двановым, вернувшимся в изменившийся с введением нэпа губернский город.

С изменением замысла романа город Чевенгур и его история вытесняют главную героиню «Строителей страны» из судьбы Дванова; она мелькнет в его воспоминаниях, а затем лирическая героиня появляется только в московском эпи-

зоде в ореоле «странно-счастливой женщины», «доверчиво-счастливой женщины». На первый взгляд, всё в новом облике Сони соответствует принятому канону «новой женщины». Правда, здесь же Платонов дописывает на полях крохотную вставку — авторское резюме, явно осложняющее воссозданный из Сони образ «новой женщины»: «Она была похожа на одинокое стойкое растение на чужой земле, не сознающее от своей доверчивости, что оно одиноко» (*Архив*, 2. С. 454).

К этому времени работы над романом Платонов уже определился с новым «происхождением» Софьи Александровны: «брошенная матерью на месте рождения», что вполне согласуется с историей девочки Сони в первой части — в «Преходящих годах». Но почему новая «освобожденная женщина» Соня-учительница служит чистильщицей машин на Трехгорной мануфактуре, автором никак не объясняется. Описывая начало отношений Сони с Сербиновым, Платонов делает на полях с. 584 помету для себя: «Соот-нести» с нач-алом» романа: С<офья> А<лександровна> / ведь / уч-ительни-ца» (*Архив*, 2. С. 461). Пишется история одного рабочего дня Софьи Александровны. Героиня, кажется, ведет себя как будущая Мария Крашенина из «Высокого напряжения»: читает «Рабочую газету»¹, заботится о машинах, переживает каждую поломку станка, после рабочей смены посещает «всякие собрания», «вечера рабочей критики» и т. п. На полях страницы с описанием бурной деятельности Сони появляется запись: «Не нужно» (*Архив*, 2. С. 464), Платонов перечеркивает страницу и пишет встречу героини с Сербиновым, образ которого генетически связан с исчезнувшим из романа героем «Строителей страны» — интеллектуалом Геннадием, являющимся своеобразным провинциальным двойником московского Сербинова.

После письма Литвина-Молотова Платонов, кажется, возвращался к уже написанным страницам рукописи, посвященным Софье Александровне. Без внимания оставлен совет редактора сделать из Софьи Александровны тип, близкий «просветительнице» темной деревни Марии Нарышкиной: «...показать Софью на общественной работе в деревне» и вообще «оправдать» уход героини из деревни (*Архив*, 2. С. 641). По сути дела, Литвин советует Платонову написать образ советской учительницы так, как он воссоздается в эти годы массовой советской литературой (прежде всего, комсомольской прозой). Однако Платонов оставляет свою версию пребывания Софьи Александровны в деревне, которая верна не литературе, а реальности двадцатых годов. Как свидетельствуют даже материалы советской периодики, крестьяне не хотели учить детей в советской школе, во-первых, из-за ее коммунистической идеологии, а во-вторых, потому что содержание школы, несмотря на принятый советской властью декрет о всеобщем бесплатном образовании, всецело было возложено на саму деревню: «Паек учительницы в тот год собирался подворно, но учить детей советскому добру крестьяне не посылали и школа была не нужна» (*Архив*, 2. С. 218).

В отношении образа Софьи Александровны Литвин высказал и собственно литературное замечание: «Софья у вас показана не *изнутри* и потому представляется вроде недорисованного египетского портрета: только с двумя измерениями, в профиль, не выпукло, между тем как И ГРАТОВ И ДВАНОВ показаны

¹ В 1921 г. героиня не могла читать «Рабочую газету», потому что газета выходила с 1922 г.; «Рабочая газета» упоминается в либретто «Надлежащие мероприятия» (1927).

полнее, с внутренней жизнью. Что там делается у нее внутри, ни Гратову, ни Дванову, ни Геннадию не известно, но автор ведь знает» (*Архив*, 2. С. 640). Скорее всего, с советом Молотова связано возвращение Платонова к портрету героини, когда он пытается «дорисовать» портрет Софьи Александровны приемами традиционной психологической интроспекции, т. е. «изнутри», как и советовал редактор. Сначала он пишет «добавление» на полях листа, а затем берет чистый лист и пишет вставку. Правда, Платонов так и не допишет «портрет» любимой героини, а некоторые его штрихи мы потом обнаружим в облике Лиды Вежличевой («Технический роман») и Москвы Честновой («Счастливая Москва»).

При переработке «Строителей страны» в новый роман Платонов отказывается от любовного сюжета, однако он его не забудет и осенью 1928 г. создаст трагестроированную версию в комедии «Дураки на периферии». Позже, в романе «Счастливая Москва», Платонов вернется к опыту описания любовных страданий и тупиков героев «Строителей страны»: по сути дела, героям нового романа предстоит пережить духовную и душевную атмосферу «истязаемого времени» любви (см. наст. изд., с. 390).

Платонов внимательно относился к замечаниям и советам Литвина-Молотова, однако решал поставленные им вопросы чаще всего по-своему. Настойчивое пожелание редактора изживать интонацию «Города Градова» и писать советскую историю в соответствии с требованием текущего политического момента относится прежде всего к путешествию Дванова по губернии и его встречам с самыми экзотическими героями революционной эпохи: Копенкиным, Достоевским, Мрачинским, Пашинцевым.

Этот фрагмент повести, практически полностью интегрированный в роман, также пережил правку, сохранив после нее ряд противоречий, в частности, в хронологии событий романа.

На большие временные разрывы между описываемыми в «Строителях страны» событиями Платонову указал Литвин-Молотов, предлагая внести изменение в первую главу «повести» и перенести время событий с 1919 на 1920 г.: «ГЛАВА ПЕРВАЯ: Хороша. Фамилия Сталеметный грубовата. Время действия не оправдано: пусть оно происходит не в 1919 году, а в 20-м, ведь 19-й год сплошная большая война, а такую она не чувствуется по этой главе и по переходу к дальнейшему — слишком быстр этот переход, выпадают 20-й и 21-й годы. Лучше бы было и более оправдывалось бы дальнейшим изложением, если бы все это происходило в 20-м году на внутреннем фронте, против Антонова, например» (*Архив*, 2. С. 639).

Платонов прислушивается к суждению редактора, однако с его главным предложением не согласится и оставит время событий 1-й главы летом (июль-август) 1919 года. Ранней осенью 1919 г. («Начиналась осень 1919 года...»; наст. изд., с. 354) Дванов возвращается домой, заболевает на 8 месяцев тифом, пик болезни приходится на Пасху (в 1920 г. отмечалась 11 апреля). Герой возвращается к жизни «новым летом» (*Архив*, 2. С. 89) и отправляется в поездку по губернии «поздней осенью» (Там же. С. 98) 1920 г.; слободу Петропавловку он посещает в «ноябре» (Там же. С. 147). Затем осень, не без сбоев в описаниях, изменяется на зиму 1920 и 1921 гг. Гратов в «Строителях страны» отправляется в Волошино

уже зимой, когда поля «были освещены снегом» (Там же. С. 167). Командировка Дванова планировалась «месяца на два» (наст. изд., с. 403), однако она затянулась, и в губернии он пробыл более полугода, вернувшись в город весной 1921 г.

В романе Платонов начинает менять время поездки Дванова по губернии: сначала убираются упоминания и приметы осени, затем зимнее и весеннее время («Строители страны») заменяется на летнее (роман «Чевенгур»). Платонов тщательно переписывает пейзажные зарисовки, изменяет или убирает приметы времени года, заменяя конкретные детали пейзажа на нейтральные или на философские образы (разночтения подчеркнуты).

Было: «Поля были освещены снегом, и степные подлунные ландшафты просились в душу. <...>

В жалобах и мечтах ехали люди зимней ночью...»

Стало: «Поля были освещены утренним небом, и степные грустные виды природы просились в душу. <...>

В жалобах и мечтах ехали люди в то позабытое утро...» (Архив, 2. С. 167).

Было: «Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю теплоту, начинался мороз. Балки ночлежной хаты изредка потрескивали. Окна зарисовывались растениями фантастической страны, будто рощи лунных долин».

Стало: «Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю дневную теплоту, начиналась предрассветная тяга воздуха в высоту. В окна была видна росистая, изменившаяся трава, будто рощи лунных долин» (Там же. С. 168).

Было: «Он схватил Гратова поперек, как сноп, и выволоч его на мороз».

Стало: «Он схватил Дванова поперек, как павший ствол, и выволоч его наружу» (Там же. С. 169).

Было: «Пролетарская Сила начал осиливать великие снега, лежавшие до самого Ледовитого Океана».

Стало: «Пролетарская Сила начала осиливать почву дальше» (Там же. С. 187).

Было: «По снегу лезла женщина в сытой шубке и в полушалке».

Стало: «По лопухам лезла женщина в сытой шубке и в полушалке» (Там же. С. 188).

Было: «Эта рубашка сохла на русском морозе...»

Стало: «Эта рубашка сохла на русском ветру...» (Там же. С. 193).

Было: «На улице шуршали по снегу люди <...> Иногда они волокли тяжести и скребли снег до почвы».

Стало: «На улице шуршали по земле люди <...> Иногда они волокли тяжести и спаживали траву до почвы» (Там же. С. 194).

Было: «Потом открылась на высоком месте пышная белая усадьба, засыпанная снегом до бесприютного вида».

Стало: «Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдешая до бесприютного вида» (Там же. С. 515).

Было: «Нечеловеческие следы уходили туда; даже заметно, что они топтались у двери, роя снег до прошлогодней травки».

Стало: «Нечеловеческие следы уходили туда; даже заметно было, что истукан топтался у двери, мучая землю до оголения». (Там же. С. 516).

Было: «Никого, и снег не шуршит, а день уже меркнет».

Стало: «Никого, и трава без ветра молчит, а день уже меркнет» (Там же. С. 517).

Было: «Было воскресенье — день почти душный: тепло весеннего неба охлаждала лишь певучая снежная вода».

Стало: «Было воскресенье — день почти душный: тепло летнего неба охладил лишь бредущий ветер из дальних полей» (Там же. С. 546) и др. (подробно об этом см.: Антонова Е. Путешествия по революционной России: «Сокровенный человек» и «Чевенгур» Андрея Платонова // Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 154–159).

Однако, несмотря на всю тщательность проведенной правки, в тексте остались приметы зимнего времени, и Платонов то ли не заметил, то ли вполне сознательно (как в эпизоде с булками) сохранил в тексте лишь на первый взгляд явные противоречия (летом в деревнях топятся печки, оставшиеся в тексте от зимнего времени; см. также в приведенных фрагментах описание женщины в «сытой шубке» в летнем пейзаже).

В автографе сюжет путешествия Дванова по губернии отмечен пометами для машинистки: «Отсюда» и «до сих» (*Архив*, 2. С. 229, 248). С отмеченного фрагмента были подготовлены три машинописи, ярко демонстрирующие направления авторской работы на разных этапах бытования текста: от автографа к рассказу и затем к роману. Машинопись фрагмента, превращенного в рассказ «Путешествие в 1921-м году», сохранилась в двух экземплярах. Название рассказа имеется только в экземплярах, не использованных при формировании *СР*. Это машинопись (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 6. Ед. хр. 126а) и гранки, сделанные, скорее всего, с третьего, утраченного экземпляра машинописи (*РГАСПИ*. Ф. 142. Оп. 1. Д. 611. Л. 1–16).

В машинописи, замещающей данный фрагмент текста в *СР*, верхняя часть первой страницы с заглавием отрезана и вместо него вписано: «Новая глава». Правка в обоих экземплярах на этапе бытования текста как рассказа не идентична. При этом машинописи вычитывались не одновременно, что проявилось в том, что в экземплярах машинописи исправлены разные ошибки машинистки. Так в описании колонны в усадьбе Пашинцева («В одну колонну была втравлена медная гравюра с именем помещика-архитектора...») машинистка заменила «медную гравюру» на «белую гравюру»; эта ошибка была исправлена Платоновым только в машинописи рассказа «Путешествие в 1921 году». (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 6. Ед. хр. 126а. С. 10; *Архив*, 2. С. 515), однако не была замечена при редактировании данного фрагмента в *СР* и на следующих этапах работы с машинописями всего романа. При этом ни в одном из экземпляров писатель не замечает исправления машинистки, касающегося общего культурного смысла колонн, радикально меняющего смысл высказывания. В предложении «Перед бесцельным же, как эта колоннада, он стоял с жалостью к себе...» машинистка вместо «бесцельным» напечатала «бессмысленным».

Безусловно, в работе над машинописью данного фрагмента на этапе его включения в состав *СР* Платонов будет занят прежде всего большими исправлениями, связанными в переплавкой в реальность нового произведения текста центрального эпизода повести — путешествия Дванова по губернии, представляющего панораму разоренной революцией провинции с очагами братоубий-

ственной гражданской войны и черного передела при решении аграрного крестьянского вопроса, с правительственными заградотрядами, способными «жечь целый уезд артиллерией» (наст. изд., с. 394), и с не менее жестокими местными бандитскими отрядами, с многообразными формами десакрализации прежних идеологических и государственных институтов и поиском новой идеологии власти и т. п.

Большие сокращения текста связаны с исчезающими из нового текста образами Гратова и Геннадия. Также сокращаются лирические, философские и исторические размышления Дванова о религии и большевиках, о причинах введения Лениным нэпа, о «загадке одинокого рыцаря коммунизма» Копенкина и последовательного защитника завоеваний революции «снизу» Пашинцева, развивающего идеи «анархического коммунизма» (определение П. Кропоткина) в разоренном войной уезде.

В *СП* Платонов заменяет упоминание Пашинцевым конкретного события Гражданской войны — жестокое подавление крестьянских восстаний 1918 г. в Вольском уезде Саратовской губернии («Вольское дело, небось забыл...») на обобщенную формулу новой государственности («Мне коменданты революции не товарищи»). Эту замену позволяет прояснить развитие образа ревзаповедника 1919 года в творчестве Платонова лета–зимы 1927 г. Кроме «Строителей страны» (написание этого эпизода датируется летом 1927 г.), этот образ появляется в октябре 1927 г. в рассказе «Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине)» (авторская датировка — 16 октября 1927 г.), а также в одноименном незавершенном либретто киносценария. Последний текст имеет подзаголовок «Социальная сатира наших дней» и может, исходя из политических аллюзий, датироваться осенью–зимой 1927 г.

Мы имеем произведения, как бы входящие в авантест эпизода ревзаповедника в «Строителях страны» и в «Чевенгуре» (примечательно, что ни рассказ, ни сценарий не были переведены Платоновым в машинопись) и его комментирующие в политических контекстах не только и столько зимы и весны 1921-го (время событий в «Строителях страны» и в «Чевенгуре»), сколько 1927-го (время работы над «Строителями страны»), года десятилетия революции, широко отмечаемого масштабными мероприятиями в октябре–ноябре 1927 г., совпавшими с кульминацией борьбы с «левой», троцкистской оппозицией.

В юбилейном рассказе аллегорический ревзаповедник Пашинцева обретает топографическую определенность:

«...Особым торжественным законодательным актом организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих событий — для вечного показа потомкам и поучения их. Следовало бы открыть такие ревзаповедники на Перекопе, в Самаре, Ярославле, в Донских пунктах, в Ленинграде и прочих местах обширного соотечества. Атрибуты и живые участники должны состоять в нетронutom и естественно-героическом покое...» (*Сочинения*, 2. С. 286).

В рассказе названы некоторые конкретные города и регионы, с которыми напрямую ассоциируются завоевания революции 1917 г.: штурм Перекопа и захват Крыма (1920); подавление ярославского восстания (1918); свержение с участием Чехословацкого корпуса советской власти в Самаре летом 1918 г. и

объявление Самары столицей Российской республики; Верхнедонское восстание (1919), тогда же названное «казачьей Вандеей»; «колыбель революции» Петроград (переименован в Ленинград в 1924 г.) и Кронштадтский мятеж (1921). К «прочим местам обширного соотечества» можно отнести и Вольск, сохранившийся только в тексте «Строителей страны».

В одноименном сценарии из «Революционного заповедника имени 1919 г.» — «далекой коммуны» — в Москву 1927 г. прибывает участник Гражданской войны Чалый, с бутылкой самогона и с той же, что у Пашинцева, наклейкой на ней — «Смерть буржуйам», он открывает в квартире своего сподвижника по Гражданской войне «Общество любителей военного коммунизма» и начинает бороться с бюрократами, узурпировавшими завоевания революции (одна из актуальных государственно-политических и партийных тем 1927 г.).

Сюжет ревзаповедника 1921 г. развивается летом—зимой 1927 г. в разных текстах, являясь масштабным откликом на самую кампанию празднования десятилетия революции во всем разнообразии ее мероприятий, порой фантастических реалий и связанных с ней политических событий (подробно см. примеч. к рассказу «Надлежащие мероприятия»: *Сочинения*, 2. С. 717–726). Произведения, создаваемые в орбите работы над сюжетом ревзаповедника Пашинцева и тесно с ним связанные, прямо или косвенно проецируются на 1927 г. и комментируют из современности этот сюжет 1921 г. (см. далее примеч. к тексту романа, наст. изд., с. 650–653).

Подобные тематические и текстуальные переключки мы находим практически со всеми текстами, созданными в период работы Платонова над романом.

Со многими героями повести «Строители страны» Платонов расстанется после работы над эпизодом губернского партийного собрания, посвященного введению нэпа (март 1921 г.). Этот эпизод завершает ту «первую треть новой повести», которую осенью 1927 г. читал Литвин-Молотов. Именно с новой редакцией сюжета возвращения Дванова в родной город и партийного собрания происходит кардинальное изменение замысла всего романа.

Перед написанием второй редакции партийного собрания у Платонова была большая остановка в работе над рукописью, во время которой и была написана первая часть романа («Преходящие годы»). Об этом свидетельствуют пометы в автографе. На последней странице (с. 292 авт.) первой редакции партийного собрания есть весьма примечательные записи:

276

80

356 (*Архив*, 2. С. 278)

Цифра 80 отсылает к автографу первой части («Преходящие годы»). Примечательно, что Платонов плюсует эти 80 страниц (он округлил количество страниц, на самом деле их 79) не к 292-й, где он остановился, а к 276-й странице, тем самым отменяя страницу с описанием возвращения Дванова в родной дом (с. 277 авт.) и все страницы (с. 279–292) с эпизодом партийного собрания. То есть ко второй редакции партийного собрания Платонов приступает, написав во время остановки в работе над рукописью «Строителей страны» своеобразный

пролог будущего романа и другую предысторию Саши Дванова, как то советова- л сделать Литвин-Молотов.

Вторую редакцию партийного собрания Платонов начинает писать со стра- ницы 293, делая специальную помету на странице: «Партсобрание» (*Архив*, 2. С. 278). Тема собрания остается прежней — введение нэпа.

Вторая редакция эпизода, как и первая, писалась трудно, о чем свиде- тельствует большая правка. Возможно, Платонов поначалу просто не хотел писать дискуссию на партийном собрании 1921 г., как того требовала совре- менная политическая ситуация. Последняя оставалась крайне противоречивой как в конце 1927, так и в 1928 г. С одной стороны, идеи перманентной револю- ции официально осуждены как троцкистские, объявлен курс на строительство социализма в отдельно взятой стране (СССР), при этом в центральных газетах в качестве редакционной шапки можно прочитать «Революция завершилась», и одновременно тема «мирового пожара» революции является одним из офи- циальных лозунгов ЦИК к 10-летию революции. Несмотря на то что во всех официальных документах конца 1927 г. говорилось о «мирной» смычке города и деревни, развитии кооперации, государственной поддержке землеустрой- ства в деревне, бюджетной поддержке рабочего жилищного строительства, школьного строительства в деревне («Манифест ЦИК», декабрь 1927 г.), нерешенными оставались базовые социальные и продовольственные вопросы, началось сворачивание нэпа, а в массовом сознании рубеж 1927–1928 гг. на- прямую ассоциировался с «настоящим 1920-м годом»: массовая безработица и забастовки в городах; провал хлебозаготовительной кампании и карательные отряды по изъятию хлеба; антисоветский характер выступлений в деревне против самообложения хозяйств и призывы к восстанию; бедственное положе- ние с землеустройством; полный крах школьного образования и здравоохране- ния (см.: «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 5. 1927 г. М., 2003; см. также примеч. к рассказу «Областные организационно-философские очерки», написанному летом 1928 г.: *Сочине- ния*, 4(2). С. 483–487).

Напряженный политический контекст рубежа 1927–1928 гг., когда заканчи- вался период «перепутья» (определение А. Воронского) — нэп, не мог не найти отражения в текстах Платонова, стремившегося в эти годы «быть политическим писателем», при этом, признавался он тогда же: «Моя художественная идеоло- гия с 1927 года — это идеология беспартийного отсталого рабочего...» (выска- зывание А. Платонова на его творческом вечере в феврале 1932 г.: *Воспamina- ния*. С. 295, 300). «Идеология беспартийного отсталого рабочего» проявит себя как в первой, так и во второй редакции эпизода партийного собрания.

Платонов пишет эпизод партийного собрания 1921 г. в политическом кон- тексте 1927 (первая редакция, «Строители страны») и начала 1928 г. (роман «Че- венгур»), когда многое переменялось в политическом руководстве и в стратегии развития страны. Так, скажем, Н. Бухарин, в 1923–1927 гг. один из главных тео- ретиков борьбы с Троцким и «левой» оппозицией, в 1920 и 1921 гг. выступал как представитель крайне левого крыла партии, а его работа «Экономика переход- ного периода» (1920) являлась апологией политики военного коммунизма. Мож- но сказать, что фаза «военно-коммунистического» (термин Бухарина) развития

города Чевенгур написана в строгом соответствии с бухаринской философией «Экономики переходного периода».

В этом смысле появление имени Бухарина в устах партийцев, выступающих у Платонова на партийном собрании (первая редакция) против нэпа, верно фактически. В 1927 г., когда писались эти страницы повести, Бухарин занимал прямо противоположную позицию, являясь одной из ключевых фигур в борьбе с «левым уклоном» и троцкизмом. А в начале 1928 г., когда Платонов писал вторую редакцию партийного собрания, политическая ситуация была уже другой: в стране разразился масштабный кризис хлебозаготовительной кампании, начала внедряться репрессивная стратегия курса на коллективизацию, в партии формируется новая оппозиция, получившая название «правого уклона», идеологом которой выступит все тот же Бухарин, и т. п.

Первая редакция партийного собрания представляет свод очевидных опусов и противоречий. Так, дважды делегаты почему-то неверно указывают съезд (9-й, а не 10-й съезд партии), на котором принята воистину историческая программа перехода к нэпу. Шумилин говорит на собрании прямо противоположное тому, что он раньше исповедовал, а «партийцами», защищающим «левое» крыло партии, становятся герои, менее всего замеченные в любви к идеям перманентной революции; рабочие же вовсе отказываются говорить прямо и изъясняются притчами и т. п. Подчеркнутое противопоставление в данном эпизоде рабочих и партийцев-интеллигентов взято из политического языка лета–осени 1927 г.; см.: «Партия рабочего — в оппозиции почти нет. Там исключительно находятся интеллигенты и молодые члены партии» (XI Выборгская райпартконференция // Ленинградская правда. 1927. 2 ноября. С. 3).

Не без иронического раздражения Платонов начинает писать вторую редакцию партийного собрания. Яркое свидетельство осуждаемой Литвиным «градовской» традиции — это исполнение после доклада секретаря губкома о введении нэпа знаменитой песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», более известной как революционный похоронный текст. Перед нами чисто сатирический — градовский — прием толкования описываемого события, семантический код прочтения всего эпизода (Платонов игнорирует очевидное: подобные мероприятия всегда открывались и сопровождалась исполнением гимна СССР — «Интернационала»).

Во второй редакции эпизода возвращения Дванова в родной город герой обретет новую формулу жизни и судьбы: сирота. Если в «Строителях страны» Саша возвращался в родительский дом, то во второй редакции родительский дом заменяется домом приемного отца Захара Павловича, происходит радикальное исправление формулы героя.

Платонову в работе над *СП* предстоит еще ввести данное изменение в историю Саши Дванова, как она писалась в «Строителях страны», однако не все исправления биографии героя будут внесены в написанные ранее страницы путешествия Дванова. Так, например, в эпизоде встречи Саши с отрядом анархистов в ответе героя на вопрос Мрачинского «Родители-то у тебя останутся?» сохраняется прежний текст: «Останутся, — ответил Дванов» (*Архив*, 2. С. 153–154).

Появившийся во второй редакции партийного собрания Чепурный по-своему помогает завершить так и не написанную политико-экономическую дискус-

сию 1921–1927 гг. и продолжить ее уже в другом ареале — в уездном городе Чевенгур. Первая новая часть романа получит лаконичное название во фрагменте машинописи, снятом с автографа: «Путь в Чевенгур» (возвращение в Чевенгур Чепурного, встреча на пути домой с Копенкиным).

Несколько раз приступает Платонов к описанию города Чевенгур. Первый вариант рассказа Полюбезьева о городе Чевенгур во многом развивает тему пути в современный Чевенгур, но Платонов от него отказывается и переписывает заново, делая акцент на воссоздании психологического портрета жителей провинциального уездного городка и философии жизни чевенгурцев. Об этом свидетельствуют и предвещающие пометы на новых страницах, которые представляют своеобразные опорные понятия для описания Чевенгура: «Описание» города. <5–6 нрзб>», «Город. Средства / Неустойчивость; Японец <2 нрзб>» (*Архив*, 2. С. 306, 309). После рассказа о встрече Полюбезьева и Чепурного (японца) Платонов переходит к воссозданию истории деятельности «Совета социального человечества Чевенгурского освобожденного района» и устройству коммунизма в старом городе. Пишутся и сокращаются большие самостоятельные фрагменты, никак не связанные с революционным Чевенгуром: рассказ об истории жизни пешехода Ливанова (в машинописи герой получает новое имя — Луй), история сокращения в губернском городе «штатов военного коммунизма», которым занимается Саша Дванов, и др.

Фрагмент автографа, центром которого является уничтожение старого города и старых чевенгурцев, получит в машинописи название «Сочельник коммунизма» (по аналогии с Рождественским сочельником — названием дня, предвещающего один из главных христианских праздников, своеобразная дверь в празднование Рождества Христова).

В автографе образ «сочельника коммунизма» возникает в описании состояния Чепурного после первого расстрела буржуазии. Описанию предшествует запись: «Зак<опали> <всех> Чеп<урный> плачет». Уточняя символический смысл события, Платонов в предложении «...мне ведь скучно и страшно быть одному накануне коммунизма» заменяет сначала «скучно и страшно» на «жутко», а затем «накануне» на «сочельник» (*Архив*, 2. С. 357).

Работая над описанием «пустого, страшного Чевенгура», в котором осталось одиннадцать человек, Платонов усиливает характеристики печати смерти на идеологах нового города, подчеркивая его мертворожденность. Так, над фразой «...жизнь отрешилась от этого места» появляется запись, представляющая своеобразный авторский комментарий: «ушли плохие, но живые и т. д.» (*Архив*, 2. С. 364).

Перед описанием второго уничтожения «полубуржуев» старого города, проведенного Пикусей «ради первого дня коммунизма», Платонов записывает на полях с. 426 автографа «Помоги мне, мама, вспомнить и прожить» (*Архив*, 2. С. 366). Предстояло вспомнить не столько реальное историческое событие (на карте не только Воронежской губернии мы все-таки не найдем полностью уничтоженного уездного города), сколько «вспомнить и прожить», т. е. изобразить, подвергнуть новой рефлексии ту часть собственной биографии, которая находится в своих особых связях с историей, — а это прежде всего те представления о пути к коммунизму России («всероссийской колымаги»), которые пропа-

гандировались рабочим-философом Платоновым в 1921 г.: «Нельзя переделать землю, нельзя родить нового человека, нельзя прийти к коммунизму вместе с буржуазной ордой. Для осуществления коммунизма необходимо полное, поголовное истребление живой базы капитализма — буржуазии как суммы живых личностей. <...> Только класс, способный на великую ненависть, на великое зло, на преступление перед прошлым, только такой класс способен победить и способен к счастью и добру. Великие бушующие силы зла, работы и борьбы стоит только поворотить немного, и она станет светом и счастьем» (статья «Коммунизм в сердце человека»; опубл. 6 января 1922 г. // Антонова. С. 601, 603).

Однако от эстетической позиции «вспоминателя» Платонов откажется, через редукцию «отстранив собственную биографию» (Вьюгин. С. 206) в новой стилиевой форме. Если первое уничтожение чевенгурцев представлено мельчайшими, порой натуралистическими деталями убийства тела и души, то второе — ночной расстрел Киреем и Пиусей последних «полубуржуев», «вчерашнего народа» — дается языком предельно простой и краткой военной хроники, лишенной всякой патетики.

Наступивший первый день коммунизма является кульминацией деятельности чевенгурских коммунистов и неким финалом. На странице 430, где описывается утро 1-го дня коммунизма в Чевенгуре —

«Солнце уже высоко взошло, а в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм.

В комнату вошел Кирей и поставил на пол ведро с пустыми лентами.

— В чулан тащи! — говорил Пиуся, закатывавший в сени пулемет. — Чего ты там греметь пошел, людей будить!

— Да оно же теперь легкое стало, товарищ Пиуся! — сказал Кирей и унес ведро на постоянное место — в чулан» (Архив, 2. С. 369) — Платонов делает большую остановку в работе над романом.

Картина мирного утра, венчающая уничтожение «вчерашнего народа», вполне могла быть финалом, как и сцена партийного собрания. Написав ее, Платонов останавливается и начинает вновь подсчитывать количество написанных страниц. Делает это три раза. К номеру со страницей 430 плюсятся все те же страницы первой части («Преходящие годы») романа, что и раньше (430+79), на верхнем поле страницы повтор записи с добавлением: 430+79+60 = 569 стр., на нижнем поле — повтор предыдущих и подытоживание: «Всего страниц 430+79+60» (Архив, 2. С. 369). Точно не определяется, что стоит за новыми 60 страницами.

Очевидно, что после завершения эпизода уничтожения последних «буржуев» — старых жителей города, Платонов делает большую остановку в работе. На новой странице (с. 431 авт.) появляются пометы о начале новой главы — главной теме будущих новых страниц, а также об актуальности и современности темы «прочих», в том числе для времени работы над романом:

«Заселение Чевенгура / Вп<исать>!!! / Чевенгур / экс<плю>атирует отходников <?> / поныне <?>» — основ<ное> занят<ие> буржуазии»;

«сказать неск<олько> сл<ов> <3–4 нрзб>»;

«Зови бе<дных>» (Архив, 2. С. 369).

На трех страницах, от которых Платонов откажется, он набрасывает подробную историю города Чевенгур (дается верхний слой правки):

«Чевенгур существовал в стороне от колесных трактов и железных дорог. В этих равнинах люди рождались, а затем исходили отсюда, но обратно не возвращались и сквозь Чевенгур тоже не было битой дороги. Вокруг Чевенгура жили деревни — родина нищеты, откуда лишний народ уже целый век направлялся в отход — на рудники и в города. Сам Чевенгур стоял на проходе меж размножающимися гольми деревнями и странами заработка — Доном и Москвою. У лишних людей, которые шли со двора вдаль, на этом месте, где лежит Чевенгур, кончались домашние харчи и истощались пешие силы; поэтому отходники издавна останавливались здесь для приработка, чтобы возможно было двигаться дальше, и они за низкую цену, а больше — за натуральную пищу, отстроили город в последние шестьдесят лет. Чевенгур созданс прохожими рабочими — на их пути из степей в города — за счет дорожных недостатков бредущих, отныне бесприютных людей, а чевенгурская буржуазия до самой войны и революции жила на их трудовое воспомоществование.

Из густоты деревенских дворов круглый год шли люди медленным шагом. На околице Чевенгура они ложились в траву и спали по суткам, облепленные мухами, не чувствуя солнечной жары, с открытыми посиневшими ртами. После сна они сразу хотели есть и доедали горстью хлебные крошки из сумок, если они там оставались, а потом шли по чевенгурским дворам наниматься.

Верст за сто, за полтораста на восток от Чевенгура лежали сухие высокие степи — с редкими многодворными селами. Земли было много, но каждый новый ребенок выселял в отход старшего сына, либо отца, потому что земля была дальняя, безводная и непосильная для обработки. Высокую безводную степь могли обжить только крепкие крестьяне, с надежным и многочисленным имуществом — они туда и спасались на хутора, а простые люди, не сходя с места, делили дворы с сыновьями, множили чересполосицу и до того увеличивали дальхоземелье, что наделы в окраинной степи становились бросовыми землями, куда крестьянин приезжал лишь в гости, раз в год, — посмотреть на свою землю — цела ли она, и погоревать над нею. В засушливые годы из сел выходили и матери и дети — они шли в Чевенгур работать и побираться: больше некуда было идти, а далеко уходить — дети не вытерпят дороги. В тех селах и деревнях дети жили всегда сиротами, а их матери — вдовами, потому что отцы и мужья искали хлеба вдалеке от родины.

Всякий уходящий из дома крестьянин знал, что он найдет себе в Чевенгуре путевое довольствие, и заранее отдыхал на околице города.

Чевенгурский домовладелец выходил на крыльцо и обращался к босым людям: “Что-то вас нынче много ходить стало, неужели у вас земля поужела, что места вам нет?”

Прохожие молчали: они искали не решения вопросов, а заработка. “Что ж вы делать-то можете? — с сомнением спрашивал оседлый чевенгурец. — Мне б амбар для зерна был нужон, так его ж в елку надо тесать, а вы народ не мастеровой!”

Прохожие рабочие, однако, оставались строить амбар с затеской венцов в елку, потому что от нужды можно тесать и в елку, и в любую фигуру. В руках у

прохожих обнаруживалась неожиданная умелость, потому что пешие люди при-
выкли к трудному хлебу и на любом месте работали сердечно; что кому было не-
вдогад, тому вспоминались жена и дети, оставшиеся на деревне с единственным
вождедением на него, и прохожий догадывался, обращая свое горе в мастерство
и в прочность чужого амбара. Но оседлые чевенгурцы все время следили за ра-
бочими с домового крыльца, чтобы щепки остались целыми, и никогда не хва-
лили работу прохожих крестьян: “Разве ж это работа? — удивлялся чевенгурец
на собственный свежий амбар. — Вам надо было тесать, а вы рубили! Вон дед у
меня был — тот был тесака! Он сто один год жил, насилу умер в позапрошлом
году... На короновании царя тоже, говорят, сто один выстрел дают. Тот как сте-
шет чего, то свой дом бросай, а его амбар бери! До того туго делал старик: где
надобно жердь положить, он бревно, где без старика держится — он стяжку
положит. Надежный был мастер — старинный человек! Зато и сделал четыре
постройки в жизнь... А вы работаете зря — вы мне материал испортили: все
равно придется в разбор пускать, как старинных мастеров найду”.

Отходники стояли, дышали и удивлялись такой серьезности городского
труда и заранее были виноваты. Чевенгурец уходил в дом сердчать, пропускал
там время, томил свою душу сожалением о загубленном лесном матерьяле, а
рабочие-крестьяне сидели на дворе и пугались умственной жизни и уличного
шума в Чевенгуре. Хозяин в то время мучился с женой: что им делать, раз му-
жики амбар сделали. “Пускай заодно хоть деревья в саду окопают, — указывала
хозяйка, — что ж ты им задаром хлеб будешь давать!”

Отходники заодно окапывали сад, подметали двор и приносили по ведру
воды на кухню. Тогда им хозяин определял по ковриге хлеба на двоих и по гри-
веннику серебра на каждого. “Слава богу, что хоть хлеб растет, — вздыхал хозя-
ин, — есть что подать прохожему человеку”.

На обратной дороге — из богатых мест в деревни — отходники опять оста-
навливались в Чевенгуре, чтобы кое-что поделать, похарчиться и не проесть да-
лекого заработка на ходу. И постепенно среди порожнего степного места, близ
следов дороги отходников, отстроились собственные дома и службы чевенгур-
цев.

И город получился вековой прочности, полный медленной и серьезной
жизни, существовавший с надежностью природы» (*Архив*, 2. С. 369–372).

Из сокращенного фрагмента с описанием истории города Чевенгура выво-
дится своеобразная формула города, над уточнением которой Платонов продол-
жает работать, переписывая ее несколько раз.

Первый вариант своеобразно заключает историю города Чевенгура: «И го-
род получился вековой прочности, полный медленной и серьезной жизни, суще-
ствовавший с надежностью природы» (*Архив*, 2. С. 372).

Второй вариант пишется уже после сокращения истории города и вбирает
ее в свое содержание: «Постройки в Чевенгуре получились вековой прочности,
под стать жизни тамошнего человека, который был верен своим чувствам и ин-
тересам, как солнце верно своей ежедневной дороге» (Там же). Здесь проявляет
себя характерный для работы Платонова принцип «редукции формы», когда при
«сокращении художественного текста... главный его смысл не утрачивается, а
как бы стягивается в одну точку...» (*Вьюгин*. С. 200).

Третий и четвертый варианты создаются на этапах работы с машинописью данного фрагмента: сначала при подготовке рассказа «Прочие в Чевенгуре», затем — при его включении в состав *СР*.

Машинопись сохранила два этапа правки фрагмента. Сначала Платонов заменил своеобразные вечные знаки города и его жителей на временные: вместо «как солнце верно своей ежедневной дороге» вписывается, акцентируя («настолько верен»): «что переутомлялся от служения им и старился от накопления имущества». В окончательном тексте Платонов устраняет синтаксическо-смысловую связь с сокращенной еще в автографе частью текста, заменяя «получились» на «имели» (*Архив*, 2. С. 591).

Запись в автографе на полях третьей страницы (с. 434 авт.) сокращенной истории заселения Чевенгура — «Кто такие чевенгурцы? / Это отходники тоже: два потока» (*Архив*, 2. С. 371) — свидетельствовала об оформлении исторической темы отходничества в истории русского крестьянства. Исправление в сокращенной истории города его возраста с первоначального «50» на «60» — отсылает к 1861 г., времени освобождения крестьянства и первому массовому исходу из деревни. Второй «поток» освобожденных крестьян — это столыпинская реформа, также предложившая радикальное решение аграрного крестьянского вопроса. О ней Платонов выскажется летом 1928 г. в «Областных организационно-философских очерках» вполне определенно, своеобразно откомментировав исторический генезис героев-идеологов города Чевенгур: «Столыпин дал исход деревенской верхушке на хутора, а остальное крестьянство нашло себе выход в революции» (*Сочинения*, 4(2). С. 14. С небольшим изменением этот фрагмент сохранится и во второй редакции — в «Че-Че-О». См.: Там же. С. 332).

Платонов вновь возвращается к заявленной в сокращенном фрагменте исторической теме крестьянского отхода и крестьянской революции, когда пишет уже освобожденный от буржуев город, заселяемый «прочими», обиженными и униженными с рождения, — по сути дела, детьми отходников, «безотцовщиной», и делает на странице 479 важную запись: «(Раньше — все: Чепурн<ый>, Пиюся и пр<очие> ч<евенгур>цы это отходники, построив<шие> Ч<евенгу>р)» (*Архив*, 2. С. 397). Получилось, что они строили «вековечные» дома Чевенгура, и они же их разрушают и оказываются в исполненном апокалиптических мотивов городе — «пустом страшном Чевенгуре».

Среди идеологов нового Чевенгура мы встречаем представителей разных исторических потоков отходников. Пашка Пиюся, бывший «председатель чрезвычайки» Бригадный (имя героя изменено на этапе подготовки рассказа «Сочельник коммунизма»), когда-то был «терпеливым» каменщиком; Петр Варфоломеевич Вековой — пастухом; «крестьянским отходником» представляется Гопнеру Луй, исповедующий идею коммунизма как вечного движения; из «мужиков», которых «царский строй не лечил» от дурной болезни, Пашинцев. Да и Копенкин тоже вернулся из странствий по полям Гражданской войны на историческую родину; в «Строителях страны» — из далекой Сибири, куда ушли за лучшей долей и вольной землей его предки; исторические крестьянские корни Копенкина сохранила сокращенная часть автографа:

«Дванов знал, что Копенкин родился в Сибири, в деревне Дрищевке и был шахтером. Жил и действовал он двойко, как взор Софьи Александровны: иногда

так разумно, что в нем, казалось, чувственно оживал весь тяжкий опыт его предков, некогда бродивших между Днепром и Амуром, а иногда так нелепо, что его спасали только материнские крест да пуговица, хранимые Копенкиным в знак # памяти о безвестной старушке» (*Архив*, 2. С. 203; знаком # обозначен стык московской и петербургской частей одной разрезанной страницы автографа — с. 171). Отказываясь от сибирской части биографии героя, Платонов сохраняет в романе его деревенские корни, правда, уже не сибирские, а скорее воронежские: в воспоминании Копенкина о детстве возникает образ бредущих в Киев странников.

В ближайшей к роману повести «Ямская слобода» мы встречаем «крестьянских отходников» Свата и Мишу; тема «отхода» входит в экспозицию «Происхождения мастера»; вслед за другими уходит в город из голодной слободы Захар Павлович, Саша Дванов, а затем и Прошка.

Примером прямой контаминации современных (революция и Гражданская война) и исторических аспектов темы «крестьянских отходников» является у Платонова рассказ «Иван Жох» (1927). По сути дела, этот рассказ вырос из написанного фрагмента романа о Пугачеве, который Платонов хотел писать «долго и старательно», о чем он признавался 28 января 1927 г. в письме Марии Александровне из Тамбова: «Я хочу в Пугачеве работать для себя, а не для рынка. Будь он проклят!» (*Письма*. С. 204; *Сочинения*, 1(1). С. 512–513). Документальных подтверждений работы Платонова в 1927 г. (после возвращения из Тамбова) над романом о Пугачеве мы не имеем, однако следы интереса к эпохе Екатерины II, прежде всего к происходящим в XVIII в. миграционным процессам мы находим в экспозиции повести «Ямская слобода», а также в «Чевенгуре» — в описаниях революционных преобразований в уездном городе Чевенгур и символа нового города.

Тема крестьянского отхода относится к большим общим темам русской прозы первых десятилетий XX в., она остается одной из центральных и в советской литературе 1920-х гг., «засеянной» темами деревни и крестьянскими писателями — «справа налево» (*Лежнев А. Художественная литература // Печать и революция*. 1927. № 7. С. 83). В «Чевенгуре» тема крестьянских отходников, т. е. по социально-экономическим причинам оторванных от родных мест — деревни, «родины нищеты» (*Архив*, 2. С. 369), в соединении с темой русского странничества и бродяжничества, обретает многоаспектное и полифоническое звучание.

Образ отходника вбирает у Платонова несколько пластов содержания этого национального явления, включая зафиксированные в словаре В.И. Даля: 1) «отшельник, затворник, пустынный»; 2) «золотарь, парашник, занимающийся чисткой отхожих мест». Кроме этих значений образа отходника, которые мы встречаем в «Ямской слободе», «Чевенгуре», а затем и в «Счастливой Москве», Платонов в 1926–1928 гг. погружен в исторический (освобождение крестьян в 1860-е гг.) и современный политический контекст социально-экономических вопросов явления отходничества в русской истории. Тем более, что для Воронежской губернии отходничество с конца 1880-х гг. являлось едва ли не главной экономической проблемой. В Воронежской губернии массовое движение на от-

хожие промыслы охватило в 1891–1892 гг. почти 2/3 всего населения губернии. Земледельческий отход направлялся из местностей, менее обеспеченных землей (главным образом из губерний средней черноземной полосы), в местности, более обеспеченные ею (Заволжье, Северный Кавказ, Дон); из средней черноземной полосы России уходили также в Сибирь, на Дальний Восток, в Новороссию, в степи юго-востока и Заволжья. На заработки отправлялись на север (в Москву) и на Дон (крупное наделение землей казаков, а также государственных крестьян). Причины отхода — недостаточная обеспеченность крестьян землей, постоянные засухи, крупные неурожаи и голод. Отход продолжался от 2 до 6 месяцев. Заработки были небольшие, а потому в целях экономии отходники покрывали огромные расстояния чаще всего пешком, только подсаживаясь в вагоны на короткое расстояние. Нищенство среди отхожих было довольно частым явлением. Гонимые нуждой на дальние заработки, они бывали принуждены иногда харчиться на обратном пути «Христовым именем»; тяжелый отход развивал эпидемические болезни (дизентерия, малярия, сифилис) и т. п. (см. далее примеч. к с. 8, 16; наст. изд., с. 602–606).

Так что географические параметры Чевенгура — между «Доном и Москвой», обозначенные в сокращенной части истории города, — точны реалистически и наполнены глубинным историческим и метафизическим содержанием. Здесь разворачивается русская народная драма XX века — с поисками правды, социальной справедливости, свободы от государства и трагическими тупиками на этом пути. Платонов знал об отходничестве не только по историческим материалам того же Воронежского земства конца XIX — начала XX в. Засуха и голод 1921 г. вытолкнули из деревень тысячи — уходили, как прежде на сытный юг (Дон), в Сибирь, в центральные города — об этом, будучи губернским мелиоратором, Платонов не раз сообщал в Москву. К 1927–1928 гг. отходничество в СССР приобрело угрожающие масштабы: биржи центральных городов были переполнены безработными сезонными рабочими. Это явление объяснялось по-разному, с неизменной отсылкой к «проклятому» царскому времени: «рассасывание *избыточного* населения деревни» (Безработица и оппозиция // *Раб. газ.* 1927. 4 окт. С. 2. Подпись: *Е.Л.*); «проклятое наследие бывшего господства помещиков и капиталистов в нашей стране. Они умышленно задерживали рост культурного развития деревенского населения» (*Куйбышев В.* Хозяйственное развитие СССР. [Доклад на юбилейной сессии ЦИК СССР] // Там же. 1927. 20 окт. С. 8); «...безработица наша имеет основным источником перенаселение деревни и только побочным своим источником — некоторую ненасыщенность нашей промышленности известным минимальным составом индустриальных рабочих» (*Сталин И.* Политический отчет Центрального Комитета. XV съезд ВКП(б). 3 декабря 1927 г. // *Сталин И.* Сочинения. Т. 10. М., 1949. С. 315). «Избыточное население» также имело свой взгляд на сложившуюся ситуацию и оценивало ее противоположно власти: «Нам коммунизма не нужно, он ведет нас к гибели...»; «беднота, как была беднота, так в нищете ей придется и подыхать, и вам таковая нужна, и чем больше будет босячества, тем больше будет для вас опоры...»; «от вас, чертей, нет спасения в тундрах...» («Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934). Т. 6: 1928 г. М., 2002. С. 243–244).

Платонову также были близки культурно-философские размышления О. Шпенглера об идеологии «четвертого сословия» — пролетариата. В 1920-е гг. полемика о книге О. Шпенглера «Закат Европы» являлась важной составляющей культурно-исторического контекста жизни советской России и «постепенно превращалась в факт *собственно русской* духовной и идеологической жизни» (подробно см.: *Тиме Г.А. Закат Европы как «центральная мысль русской философии»* (О мировоззренческой самоидентификации России в начале 1920-х гг.) // XX век. Двадцатые годы: Из истории международных связей русской литературы. СПб.: Наука, 2006. С. 65). Шпенглер занимает важное место в философских поисках Платонова начала 1920-х гг.: в 1923 г. он пишет посвященное «Закату Европы» философское эссе «Симфония сознания», подключается к развернувшемуся в философии и литературе обсуждению коллективного труда русских философов «Освальд Шпенглер и Закат Европы»; в 1926–1927 гг. возвращается к тексту «Симфонии сознания» в повести «Эфирный тракт»; в библиотеке писателя хранятся редкие издания Шпенглера (подробно о шпенглеровском контексте высказываний Платонова см. примеч. к статье «Симфония сознания»: *Сочинения*, 1(2). С. 399–406). Оценка идеологии пролетариата (в интерпретации К. Маркса) дается Шпенглером через призму его концепции заката Европы как глобального культурно-философского, мировоззренческого кризиса; получилась апокалиптическая картина мировой культурной катастрофы: «Лишенный душевных корней народ очень поздних эпох, наподобие кочевников, перекачивает волны своей бесформенной и враждебной форме массы через эти каменные лабиринты, всасывает остаток живой человечности вокруг себя, безродный, озлобленный и нищий, полный ненависти к развитой ступенчатости старой культуры, для которой он умер, ждущий освобождения из этого невозможного существования»; «...в его мышлении отсутствует государство» (*Шпенглер О. Пруссачество и социализм*. Пг., 1922. С. 63).

Шпенглеровский философский контекст придает теме русского отходничества, как к ней подошел Платонов, всемирное звучание.

Полифоническое звучание тема русских крестьянских отходников обретает в романе также через литературный и исторический контекст, в который она погружена. В тексте имеются прямые отсылки к Ф.М. Достоевскому, с именем которого связан поиск уездным Достоевским «советского смысла жизни» (в рассказе «Областные организационно-философские очерки» Достоевский упоминается как ученик свт. Тихона Задонского, «сокровища души Достоевского»; *Сочинения*, 4(2). С. 13), и к Г. Успенскому, одному из признанных авторитетов в исследовании пореформенной русской деревни, первого исторического крестьянского отхода и «крестьянских пролетариев» (циклы очерков «Крестьянин и крестьянский труд», 1880; «Власть земли», 1882). Успенский упоминается в московском сюжете романа, посвященном рассказу о деятельности Сербинова («Сербинов сидел в уиках ~ читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях. Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше...», наст. изд., с. 296), однако опытом Успенского наиболее отчетливо отмечены начальные страницы первой части романа Платонова — описание разоряемой засухами и голодом деревни конца XIX — начала XX в. с символической для нее фигурой бобыля; у Успенского смерть деревенского бобыля дается как типичный «образ жизни», когда

человек ничего лишнего не взял «для жизненного своего пути», уничтожив «даже возможность воспоминания об умершем»: «Жизнь и смерть для человека, имеющего дело непосредственно с природой, слиты почти воедино» (цит. по: Успенский Г. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 69).

Уже в «Ямской слободе» Платонов несколько раз подчеркивает, что слобожане не занимаются «святным хлебопашеством»; не занимаются им и старые чевенгурцы. Почти по Успенскому «забыли» свое крестьянство и все представители масштабной галереи крестьянских отходников, воссозданных в романе. Если «забыли», то тогда, по Успенскому, «нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, “полная воля”, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное “иди, куда хошь”...» (Там же. С. 116).

Особое место в литературном контексте чевенгурских событий романа принадлежит пушкинским и есенинским «пугачевским» текстам, с которыми Платонов, конечно, ознакомился в период замысла романа о Пугачеве. Пушкинскому Пугачеву близки чевенгурские отходники Чепурный и Пиюся. У Пушкина в «Истории Пугачева» «бродяга» Пугачев — тот же отходник (в рабочих), раскольник, «прошлец, дерзкий и решительный»; самозванец и творец «вертепа убийства и разврата». В «окаянстве» Копенкина (сон Копенкина, где ему является мать) прочитывается отсылка к покаянию Пугачева перед казнью: «Богу было угодно, — сказал он, — наказать Россию через мое окаянство» (цит. по: Пушкин А. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 8. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 157, 261).

Очевиден и есенинский контекст в теме чевенгурских отходников, прежде всего это поэма «Пугачев» (1920). Так, к примеру, вопрос есенинского Пугачева «Кто ты, странник?» (*Есенин С.* Полн. собр. соч.: в 7 т. Т. 3. М., 1998. С. 8. Далее указываются страницы по данному изданию) является едва ли не главным для Копенкина и Чепурного. Подобно тому, как Пугачев, бродя по России, усвоил и присвоил слухи о Петре III, отходники-чевенгурцы на уровне слухов знают о Марксе и Ленине, приспособивая их идеи к окружающей действительности. Только в есенинском портрете Пугачева имелся знак каторжничества «рваные ноздри» (С. 533. Комментарий Н.И. Гусевой-Шубниковой к поэме «Пугачев»). Эту мету (с иной, правда, историей) в «Строителях страны» имеет главный исторический двойник Пугачева и одновременно своеобразный лирический массовый двойник Есенина — Пашинцев, «бурого цвета человек тридцати семи лет и без одной ноздри» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 503). Он единственный в романе Платонова выступает в облике поэта-песенника, а его своеобразные «тексты» выполнены в традиции есенинских представлений об «иной стране» — Инонии («Инония», 1918), о которой у Есенина вслед за его революционными поэмами 1918 г. грезит Пугачев. Пугачевско-есенинский комплекс идей, заключенных в этом персонаже, прозревает в повести Александр Дванов (этот фрагмент не войдет в основной текст романа и будет сокращен наряду с другими философскими размышлениями Дванова):

«Дванов знал, что революция борется не только с классовым противником, но и внутри себя, сама с собой, — одновременно превозмогает себя и внешнего врага. Он понял Пашинцева и его искреннее отчаяние, — он увидел, что Пашин-

цев обречен. Дванов представил себе время, которым однажды и навсегда был очарован Пашинцев. Это первые месяцы после октября семнадцатого года — месяцы особого энтузиастического страстного коммунизма, охватившего отчаянные умиравшие массы солдатского и рабочего народа. Тогда верилось, что близок теплый день всемирной дружной жизни. Но скоро эта вера превратилась лишь в поверье, а в Пашинцеве она стала алчным суеверием. Годы гражданской войны спрессовали революцию и сделали ее беспощадной военной силой. В революции осталось больше стойких сухожилий и меньше испаряющейся влаги вдохновения.

Революция идет, как комета, накаляясь о сопротивление будущего, а позади оставляет гаснущий хвост шлама из побежденных событий и отработанных людей. Но Пашинцев — не шлам революции: что-то непрерывно горит в нем, но горит мучительно, отдельно от общего костра.

Дванов не все понимал. Пашинцев же почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 504–505).

В портрете Пиюси узнаваем есенинский Хлопуша, тот же отходник, «золотарь», «мстью вскормленный бунтовщик», по-своему выражающий и воплощающий в жизнь «благовест бунта» с его социальной мстью и ненавистью к «оседлому» мужику (С. 32, 26). Почти как есенинский «император» Пугачев ведет себя Прошка, вознамерившийся «присвоить» весь город с его имуществом, т. е. стать «императором» Чевенгура.

Чевенгурские революционеры-отходники могут сказать вслед за есенинским современным двойником Пугачева — Номахом: «Мой бандитизм особой марки. / Он сознание, а не профессия» («Страна негодяев») (С. 108). В «Строителях страны» была намечена линия связи образа анархиста Мрачинского с легендарным историческим анархистом Нестором Махно: «В Харькове фантастические интеллигенты, бывшие сотрудники мистических журналов, обслуживали штаб Махно — универсальный особняк ~ но страна разлюбила гимназиста Керенского...» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 451). Данный фрагмент, насыщенный различными отсылками к политическому, литературному и философскому контексту начала XX в., Платонов сократит на этапе превращения «Строителей страны» в роман «Чевенгур».

Нет сомнения, что Платонов был знаком с оценками есенинского Пугачева, звучавшими в те годы: «Емелька Пугачев, его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты. <...> Есенинский Пугачев сентиментальный романтик» (Л. Троцкий, 1922); «психобандитизм»; «есенинский Пугачев — не исторический Пугачев», «это Пугачев — Антонов-Тамбовский»; «Пугачев-Есенин, родившийся в начале НЭПа, синоним оппозиции по отношению к пролетарскому государству уже не за “левизну”, а за “правизну” его политики» (Г. Устинов, 1923). Отметим, что «Чевенгур» пишется, когда только что отзвучала кампания разгрома «есенинщины» (1926–1927). Отмеченная Л. Троцким имажинистская составляющая образа есенинского Пугачева весьма точно характеризует природу лиричности чевенгурских отходников-революционеров. Их тоже можно назвать «сентиментальными романтиками» и «интимнейшими лириками» (Л. Троцкий о Есенине в статье «Памяти поэта», опубликованной в газете «Правда» 20 января 1927 г.), потому что главным «проклятым вопросом», на который они нигде не находят

ответа, является вопрос о главном сокровенном «слове», о котором они лишь смутно догадываются своим «крестьянским остатком души»¹. Поэтическими средствами развивается в романе и выводится Платоновым на новый содержательный уровень и главная проективная идея есенинского Пугачева-царя: «Мы придумали кой-что похлеще» (С. 24). В выдумках чевенгурцам не откажешь.

С особой тщательностью работал Платонов над эпизодом с символом нового Чевенгура, который пишет отходник Жеев, «усердно пробираясь сквозь собственную память». Символ нового города, рожденный из глубин родовой крестьянской прапамяти, напоминает не о марковом, а о пугачевском «Манифесте». Особенно в первом варианте этого фрагмента:

«Товарищи горюющие, которым нету дома, покоя и отцов! Входите в города и места, уничтожайте буржуазию и ее имущество оружием. Дайте солнцу гореть, земле погреться, а себе чувствовать товарищество!» (А2. С. 442; *Архив*, 2. С. 376).

В манифестах Пугачева в сжатом виде имеются своеобразные формулы будущей деятельности чевенгурских идеологов, ср.:

«И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалые бедствия. <...> По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет»» (*Чистов*. С. 192–193).

Пугачевская «формула пожалования» включает вольность с конкретным очертанием будущего государства, как «отмену всех бед и угнетений, как решительную приостановку действия феодальных законов и закономерностей», «поэтому будущее рисовалось как тишина и покой, т. е. лишенным какой бы то ни было исторической динамики» (Там же. С. 192).

Однако текст одобренного Чепурным символа Чевенгура не во всем удовлетворял Платонова, о чем свидетельствует его запись на полях все той же с. 442. Запись относится к «символу» нового города: «Все перед<елать>» (А2. С. 442; *Архив*, 2. С. 376). Эта помета, кажется, появилась после пометы на с. 468 автографа, где воссоздается исторический и философско-психологический портрет «родителей прочих», написанный во многом по контрасту с историей заселения Чевенгура и его старых жителей, «действительных людей, которые числятся в государственном населении и ночуют на собственных дворах». На верхнем поле в левом углу с. 468 вписано и подчеркнуто слово: «нерусское». Оно затем передается Чепурному, которому приведенные Прошкой «прочие» кажутся непохожими на русских, а далее входит в авторское определение «безотцовщины». И тут же запись на полях: «Выше: пересос<авить> фразу символа, чтобы выходила она из “Пр<олетариям> нечего терять<”> и т. д.»².

¹ См. запись А. Платонова начала 1930-х гг.: «“В Задонск” — лозунг отца, крестьянский остаток души: на родину, в поле, из мастерских, где 40 лет у масла и машин прошла жизнь» (*Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии*. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 111).

² Отсылка к знаменитой фразе из «Манифеста Коммунистической партии» (1848), написанного К. Марксом и Ф. Энгельсом: «Пролетариям нечего в ней [революции] терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».

Чевенгурский символ будет «пересоставлен» сначала при подготовке рассказа:

«Товарищи! Нам нечего терять — мы не дороги. Но гораздо лучше потерять все имущество в мире, дабы взамен приобрести друг друга» (*Архив*, 2. С. 595).

Затем — при правке этой же машинописи, но уже в составе *СР* романа:

«Товарищи бедные. Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего — друг друга, ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог» (Там же).

В работе над символом нового Чевенгура Платонов добивается его согласования не столько с «Манифестом» Маркса, сколько с изображением мирных дней города, в сюжетах которого (искусство и женщины в городе; глиняные памятники любимым товарищам, первые семьи, забота о другом товарище и о будущей жизни города и т. п.) обнаруживаются глубинные связи с пугачевской формулой «пожалования» и заключенными в ней элементами карнавальности и народно-праздничного утопизма. Страницы с описанием мирного творчества чевенгурцев написаны с незначительной правкой.

Новый Чевенгур погибает в тот момент, когда он только начинает налаживать мирную жизнь и «ко двору» возвращается целое историческое поколение народа. Но его путь оказывается столь же трагическим, как и у старых чевенгурцев, уже ушедшей в вечность по «адовому дну коммунизма» русской цивилизации. Эта очевидная параллель вынесена за пределы текста романа и отрефлектирована в рассказе «Областные организационно-философские очерки», герой-рассказчик которого летом 1928 г. думает «о том немощном адовом дне, по которому сейчас, босая и шагом, идет революция» и подтверждает высокий статус мирных дней Чевенгура: «Первостепенным остается изготовление вещей, ослабление губительных действий природы и поиски путей друг к другу; в последнем — в дружестве — и заключается коммунизм: он есть как бы напряженное сочувствие между людьми» (*Сочинения*, 4(2). С. 17).

Тема крестьянского отхода, оформившись в повестях 1927 г. и в романе «Чевенгур», остается среди важнейших тематических узлов содержания в «Котловане» (1930), а затем в «Джан» (1935), где собраны те же чевенгурские прочие — дети «отходников» народов бывшей империи. Самые разные модификации оппозиции «от двора» / «ко двору» мы встречаем в рассказах Платонова 1930–1940-х гг.

В 1928 г., в ходе работы над собственно чевенгурской частью романа, будет еще не одна остановка, ведь предстояло собрать в город Чевенгур всех героев, встреченных Двановым в его путешествии по губернии, провести согласования и необходимые обоснования того или иного поворота сюжета и пути героев именно в город Чевенгур.

Следы различных по времени остановок в работе над романом подтверждают не только автограф и сводная рукопись, но и написанные в период работы над романом произведения. С весны 1928 г. Платонов сотрудничает с «Крестьянской газетой по радио», пишет рассказы для воскресного приложения к газете «Деревенский утренник» (см. примеч. к заметке «Круговорот. Как

делается “Крестьянская Радиогазета”»: *Сочинения*, 4(2). С. 584–585). Осенью 1928 г. в доме Б. Пильняка создаются произведения, пронизанные отсылками к «Чевенгуру», работа над которым еще не была завершена: рассказ «Областные организационно-философские очерки» (вторая редакция — «Че-Че-О») и пьеса «Дураки на периферии» (см. примеч.: *Сочинения*, 4(2). 472–474, 614–619).

Во время остановок в работе над рукописью Платонов в 1928 г. готовит к публикации фрагменты первой части («Происхождение мастера», «Потомок рыбака»), второй («Любовь Дванова», «Приключение», «Путешествие в 1921-м году») и третьей («Сочельник коммунизма», «Прочие в Чевенгуре», «Двое людей»). Сохранившиеся машинописи фрагментов-рассказов сохранили следы их путешествия по редакциям московских журналов (не исключено, что какие-то машинописи предлагались Платоновым и в ленинградские журналы).

В конце января — начале февраля 1928 г. в редакции «Красной нови» был передан рассказ «Путешествие в 1921-м году», о чем свидетельствуют записи на первой странице. Первая сделана заведующим отделом прозы Вс. Ивановым: «Ф. Раскольникову. По-моему — интересно». Вторая запись: «т. Герасимовой. Ф. Раскольников» может свидетельствовать, что рассказ был передан на заключение прозаику В. Герасимовой. И третья запись — решение главного редактора журнала: «Я против печатания. Ф. Раскольников». Скорее всего, после этого решения рассказ оказался в «Новом мире», где уже был принят к публикации рассказ «Приключение» (это сюжет о встрече Дванова с отрядом анархистов; в автографе он отмечен пометами для машинистки; машинописями этого фрагмента в настоящее время не располагаем).

Рассказ «Приключение» был опубликован в шестом номере журнала «Новый мир» в сильно сокращенном и отредактированном виде. 11 июня Платонов отправит в «Новый мир» гневное письмо, обвинив редакцию в крайне небрежном отношении к представленному им тексту и требуя опубликовать его возражение: «В №-ре шестом напечатан мой рассказ “Приключение”. Я за него несу только часть ответственности, потому что он значительно изменен редакцией — в отношении размеров и внутреннего чувственного строя» (*Письма*. С. 259). Письмо редакция не опубликует. В «Новом мире» Платонова ценили. И как извинение редакции можно прочесть факт появления двух рассказов Платонова в рекламной афише журнала «Новый мир», публикуемой 15 июня 1928 г. в «Правде», а 16 июня и 20 июля — в «Известиях»: рассказ «Приключение» стоит в разделе публикаций первого полугодия, рассказ «Двадцать первый год» — в ближайших номерах второго полугодия (разыскание Е. Антоновой). Объявленная публикация рассказа «Двадцать первый год» (сохранился под названием «Путешествие в 1921-м году») не состоится.

Летом 1928 г. публикацию повести «Чевенгур» анонсирует журнал «Молодая гвардия» (№ 6, 7, задняя обложка), однако она также не состоится. Фрагменты «из повести “Чевенгур”»: «Путь в Чевенгур», «Сочельник коммунизма» и «Прочие в Чевенгуре» читают в редакциях «Красной нови» и «Нового мира». 11 июня датируется запись неуставленного редактора на первой странице рассказа «Путь в Чевенгур» (с авторской сноской: «Из повести “Чевенгур” (По желанию редакции можно примечание расширить)»): «Просить у автора другие отрывки — этот не самостоятелен и может быть понят <1 нрзб> со

всем романом (непонятна, например, любовь одного из героев к Р. Люксембург и пр.). 20 сентября редколлегия «Красной нови» принимает решение отклонить рассказ «Сочельник коммунизма» (РГАЛИ. Ф. 3256. Оп. 1. Ед. хр. 417. Л. 25–26).

На обороте последнего листа машинописи рассказа «Прочие в Чевенгуре» кто-то из читавших редакторов оставил своеобразную аннотацию-отзыв на рассказ: «Чевенгурцы — живут в степи. Голый человек на голой земле. / Без мысли. Блаженное неведение. Святая простота райских людей. Без имущих <sic!> / мужское братство в чистом виде. / Сильнее Щедрина / Воспоминания Чепурного при виде пролетариата / не бурчал — <1 нрзб> грустью / первобытства / Без труда природа будет кормить / <3–4 нрзб>, гипербола и великая правда. / Доведение до абсурда понятия товарищ / люди без родства и племени / Безотцовщина — своего рода Эдипов комплекс / и матер <нрзб> — Интернационал / Заседание ревкома растянуто в слишком <1 нрзб> / Сцена со смертью ребенка — / миф о воскресении / Смятение души людей нашедших / счастье и не успокоившихся / Националистический <2 нрзб>» (Архив, 2. С. 590–591. Вступит. статья Е. Антоновой).

Машинопись, сделанная в 1928 г. с московского эпизода, в настоящее время не выявлена (указание для машинистки напечатать данный фрагмент и его название — «Двое людей» имеются в автографе). В состав *СР* была вложена другая машинопись, о чем свидетельствуют исправления, внесенные в текст. О том, что в 1928 г. рассказ «Двое людей» находился в «Новом мире», свидетельствует один из отзывов, отложившихся в фонде журнала (РГАЛИ). Отзыв составлен секретарем редакции, критиком Н. Замошкиным. Отзыв положительный и написан не без восхищения: «Рассказ совершенно особенный по неподражаемой грусти и иронии. Глубокий психологизм его подается в новом обрамлении: в какой-то непринужденной интимной форме. Проблема одиночества, тоски по людям, любви. Все это завершается половым сближением на могиле матери, как актом соучастия человека в судьбе живого человека. Вот эти “Двое людей” — и весь рассказ, трагический по своей сути»; «Без всякого увлечения я склонен считать этот рассказ большим произведением советской литературы». Критик указал и на очевидный идеологический просчет: «... зачем автор взял героем одиночества партийца», правда, тут же попытался это решение оправдать: «Но к самой теме рассказа эта паспортная характеристика человека относится мало. Можно назвать героя просто иксом, и ничего не изменится, ибо рассказ касается самых корней одиночества», а в конце рецензии сделал еще одно замечание: «В рассказе все интроспективно, люди взяты как бы в изоляции от всего (словечки о соц<иалистическом> стр<оительстве> и пр. не в счет). Второй отзыв на рассказ принадлежит уже другому времени – сентябрю 1929 г. и написан новым членом редколлегии (с весны 1929 г.) прозаиком В. Соловьевым; отзыв выдержан в иной, чем у Замошкина, стилистике и никакой рефлексии о содержании рассказа не содержал: «Копаете не ко двору и не ко времени. Механический Сербинов (“механически ехал в трамвае”) и “странно-счастливая” женщина даны вне времени. Словечки о социалистическом строительстве и советской стране пристегнуты искусственно. Никчемный рассказ...» (Воспоминания. С. 217. Публикация Е. Шубиной).

Более удачной оказалась история публикаций в 1928 г. фрагментов первой части романа, имеющей свою отдельную и особую историю, как при ее написании, так и при включении в состав *СР*.

Первая часть романа имела заглавие «Преходящие годы» и создавалась как экспозиция уже частично написанного текста. В процессе работы, внося в текст правку, Платонов будет учитывать иной, чем в «Строителях страны», характер повествования: новая повесть в значительно меньшей степени сохраняет автобиографическую основу. Так, из описания опустевшей деревни, где живут Захар Павлович и семья Прохора Абрамовича Дванова, Платонов убирает деталь, относящуюся к истории его собственной семьи — смерть младшего брата и сестры, отравившихся грибами. В процессе работы над автографом (А1) Платонов сокращает большие фрагменты текста. Так, в два этапа были сокращены фрагменты, посвященные размышлениям Захара Павловича о времени. Первый фрагмент вычеркивается на этапе процессуальной правки: «Чем больше жил и понимал Захар Павлович, тем обширней ему представлялось прошедшее и будущее время. Прошлое росло от прожитых годов, как мертвая свалка» (*Архив*, 2. С. 40). Затем, при перенесении в автограф исправлений из сделанной с него машинописи (М4а), будет сокращен еще один фрагмент:

«В том чувстве времени, какое жило у Захара Павловича, была полная неутешимость. Лишь одно его обнадеживало, что в голосе льющейся реки было свое стенание и тоска, а стало быть, невозвратимость. Захару Павловичу казалось, будто река ровна оттого, что ежеминутно меняется от своего течения и горюет о проходимых неподвижных берегах. Наверное, каждой реке хочется стать озером, как ветру — тишиной. В конце концов, Захар Павлович снова возвратился к покою от своих сомнений. Он решил, что время выдуманно после будильника, и притом теми людьми, которые не знают механики. В одни сутки может случиться полное светопреставление. Солнце может утром и не взойти или догореть в полдень у всех на глазах, как солома, и пропасть без следа и памяти. Постоянство — это обман привычки: на самом же деле все обстоит рискованно, непрочно и случайно, потому что мир — не изделие человека, где все точно, четко и надежно.

Поэтому Захар Павлович спешил работать в депо, чтобы как можно больше мертвых природных вещей превратить в изделия и через это сделать куски вещества живыми телами — похожими на человека, и даже лучше его. Больше всего ему нравились инструменты и станки — родоначальники всех механизмов.

К ним он имел прекрасное уважение и касался их бережными почитающими руками» (*Архив*, 2. С. 40–41).

В значительно меньшей степени Платонов правит повествовательную часть текста и диалоги.

С автографа в начале 1928 г. было сделано два экземпляра машинописи, один из которых (М4а) предназначался для редакции журнала «Красная новь». Печатали, судя по тексту, одновременно несколько машинисток, о чем свидетельствует нумерация страниц: 1–15, 1–10, 1–11, 1–9, 1–7 и 1–10; сквозная нумерация была выполнена позднее вручную. Учитывая наличие помет Литвина-Молотова на полях одного из экземпляров машинописи, можно предположить, что перепечатка осуществлялась в издательстве «Молодая гвардия». На каждом экземпляре писатель вписывает свое имя: «Андрей Платонов» и пишет адрес: «Москва, Покровское-Стрешнево, Щукинская ул., 13». Не позд-

нее 3 марта 1928 г. Платонов передает в «Красную новь» одну из машинописей (*М4а*), вписав заглавие — «Происхождение мастера / (Рассказ)». На первой странице рассказа «Потомок рыбака» имеется авторское примечание — «Продолжение повести “Путешествие с пустым сердцем”. Начало ее было помещено в апрельской книге “Кр. Нови”. — “Происхождение мастера”» (*РГАЛИ*. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 1405. Л. 2). В журнальной публикации, однако, подзаголовок автора будет сокращен и останется просто: «Из повести». Заглавие «Путешествие с пустым сердцем / Повесть» Платонов впишет чернилами на первой странице второй машинописи (*М4б*); позднее М.Ал. Платоновой оно будет изменено на «Путешествие с открытым сердцем».

В машинопись Платонов чернилами вносит правку: первоначально в экземпляре *М4а*, а затем переносит ее в *М4б* и одновременно в автограф, причем только в пределах рассказа «Происхождение мастера» и не в полном объеме. В первую очередь Платонов исправляет многочисленные опечатки и ошибки машинистки: набранное «от безделья тоже зацвели» правит на «от безлюдья тоже зацвели», «разговорился в капле» — на «разочаровался в капле», «ломая горб» — на «лаская горб» и др.; заново прописывает не понятые и не набранные машинисткой слова, ставит в нужных местах ударения. Помимо этого в текст вносится небольшая смысловая и стилистическая правка: «жадные бродяги» становятся «жадными странниками», «забвенное состояние» меняется на «самозабвенное состояние», к словосочетанию «теплый туман» добавляется «теплый туман любви к машинам» и т. п.

В двух экземплярах машинописи и в автографе авторская правка иногда различается. Например, в эпизоде, где описан странный смех столяра. Вариант автографа: «Столяр рассмеялся, и в голосе его...» — Платонов в *М4а* исправляет сначала на: «Столяр не рассмеялся, а хотел это сделать, — он как-то похрипел горлом; и в голосе его...»; этот вариант переносится в автограф. Но Платонов продолжает в *М4а* работу с текстом, зачеркивая этот вариант и вписывая другой: «Столяр похрипел горлом, как бы желая смеяться», — и он уже не попадает в автограф, а вписывается только в *М4б*.

Пометы редакторов на отложившейся в фонде журнала машинописи отражали разные этапы прохождения текста. На первой странице стоит виза главного редактора журнала Ф.Ф. Раскольников: «Прекрасный рассказ. За печатание в № 4. / Ф. Раскольников / 3/III 28», в верхнем левом углу помета: «Набор / № 4 / Вас<ильевский>». Второй рассказ, «Потомок рыбака», рассматривался в редакции «Красной нови» позднее: на первой странице его имеется запись Вс. Иванова, редактора отдела прозы: «За печатание в “Кр. Нови”. Если возможно — в майской книжке. Автор очень талантлив и его надо двигать, он тогда будет писать нам больше, чаще и лучше. / Вс. Ив.»; там же — виза главного редактора: «За печатание в № 6 или 7 / <4-5 нрзб> / Ф. Раскольников / 16/IV-28». Судя по письму Марии Александровне от июня 1928 г., Платонов был обнадешен первой осуществившейся публикацией фрагментов будущего романа: «“Кр<асная> новь” еще не вышла (судьба меня жмет нарочно тогда, когда я ее уже не боюсь)» (*Письма*. С. 255).

М4а сохранила и редакторские исправления текста. Более всего они касались орфографических и пунктуационных норм: проставлены недостающие

знаки препинания в предложениях с прямой речью, выделены вводные слова и т. п. Имелась и смысловая правка: слово «священник» повсеместно было заменено на «поп», снята прописная буква в предложении: «Слава тебе, Господи»; был исключен фрагмент текста, который следовал за предложением: «...перед Захаром Павловичем открылась беззащитная одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин», — вычеркнуто было его продолжение: «и погибавших на опасной охоте за смыслом своей судьбы вроде робкого рыбака с озера Мутево. Теперь Захар Павлович даже позавидовал доле того рыбака: может он и на самом деле узнал что-нибудь важное и неизвестное, с чем можно справедливо жить: но нет смысла, ввиду его ясности специально возвращаться из смерти и повторять жизнь».

Другой экземпляр той же машинописи (*M46*), судя по пометам в тексте, Платонов передал Литвину-Молотову. Редактор отмечает на полях страниц вопросами ряд эпизодов текста: интерес рыбака к смерти, сравнение машины с барышней, сон Саши, ощущение наставником смерти как погружения в озеро, слово «империализм» в реплике Захара Павловича: «У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит» и др.; делает пометы: «Разрыв. / Быстрый / переход» и «Быстрый переход». Он же первый обращает внимание на неувязку с возрастом Прошки, на левом поле с. 19, где описывается «пятилетний Прошка», синими чернилами вписывая: «? / См. / пред. / стр. / 11 лет». Платонов учел некоторые замечания редактора: добавил фрагмент «...он видел смерть как другую губернию, — которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, — и она его влекла»; увеличил на два года возраст Прошки — «семилетний». Пометы, касающиеся быстрого перехода, остались без внимания.

Кому предназначался этот второй экземпляр машинописи (*M46*), неясно, он так и остался в архиве Платонова. Анализ более поздней машинописи первой части романа свидетельствует о том, что в нее перешли исправления из другого экземпляра — (*M4a*). Однако делалась эта новая машинопись не с *M4a*, а, очевидно, с гранок рассказов «Происхождение мастера» и «Потомок рыбака» или с номеров журнала «Красная новь». Уже на последнем этапе гранок редакторы вычеркнули фразу: «“А может, что-нибудь лучшее было бы”, — подумал Захар Павлович, но что — сам себе не мог доказать», — и она не попала ни в «Красную новь», ни в новую машинопись, сделанную в начале 1929 г. с этого неизвестного на сегодняшний день источника.

Первый экземпляр этой машинописи (*M46*) послужил основой для публикации повести «Происхождение мастера»: в июне издательство «Федерация» принимает к изданию книгу «Русские повести» (см.: В издательстве «Федерация» // ЛГ. 1929. 8 июля. С. 3), которая выйдет в самом конце 1929 г. (на издании стоит 1930 г.) под измененным названием — «Происхождение мастера». Верхняя часть листа, где напечатано заглавие «Чевенгур», в машинописи срезана, и Платоновым от руки вписано: «Происхождение мастера». В конце текста поставлена дата — «1927». Именно в этом экземпляре машинописи реальный «городок Новохоперск» превращается в вымышленный «Урочев». На то, что именно *M46* была передана в издательство, указывает помета Платонова простым карандашом на полях первой страницы: «Не выправлена после машинистки. Будет выправлена в корректуре». Сопоставление текста повести «Происхождение

мастера» в издании с машинописью всего романа (*М1*) свидетельствует о том, что в корректуру, кроме исправления опечаток, Платонов внес еще дополнительную смысловую и стилистическую правку. Часть ее стала возвращением к автографу: так, в соответствии с ним вернулась в текст издания повести вычеркнутая в машинописи (*М4а*) характеристика бобыля: после «что же выйдет, в конце концов, из общего беспокойства» вновь добавлено: «чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира». Наконец, уже присутствующий в тексте вместо реального «Новохоперска» вымышленный «Урочев» увеличивается в размерах: Платонов меняет «городок» на «город». Помимо авторской, в текст повести внесена смысловая редакторская правка. Очевидно, посчитав неуместными физиологические подробности, редакторы последовательно убрали их из текста. Так, были сокращены слова Захара Павловича: «холостый человек у девки за пазухой тоже большого добра ищет, а женится — одни сиськи находит». При правке *М1*, однако, Платонов не вернул их, заменив на: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Вовсе исчезли из текста публикации рассуждения Прошки о том, «как сделаться отцом», и т. п.

Особая роль была предназначена второму экземпляру (*М4г*). Именно эта машинопись, как и остальные пять машинописей рассказов-фрагментов (см.: *Архив*, 2. С. 507–636), была вложена в сводную рукопись в первой половине 1929 г., когда набиралась единственная прижизненная машинопись всего романа (в РО ИРЛИ в настоящий момент эта машинопись в составе *СР* отсутствует, и там находится автограф первой части; см. об этом выше, с. 547 наст. изд.). О том, что *М4г* должна была быть вложена в сводную рукопись, свидетельствует запись на с. 16 этой машинописи: после части «Происхождение мастера» и перед частью «Потомок рыбака» Платонов вписывает «Новая глава», а на левом поле дает указание машинистке: «Для машинистки: здесь и всюду дальше, где написано “Новая глава”, никакой цифры порядковой не писать, а оставлять разрыв — пропуск в 6–8 строк, при этом надо, чтобы пропуск приходился на середину страницы». Пометы «Новая глава» имеются по всему тексту сводной рукописи. Только в машинопись *М4г* Платонов внес две достаточно объемные смысловые вставки и несколько одиночных исправлений, которые без изменений вошли в машинопись всего романа. К вставкам относятся фрагменты: «А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет нетронутым руками» (вписано на левом поле с. 1) и «Мальчик вспомнил про удочку ~ и не пустила руку мальчика» (вписано на левом поле с. 7). На с. 59 данной машинописи «городок Новохоперск» Платонов, как и в гранках издания «Происхождение мастера», меняет на «город Урочев».

Летом 1929 г. со сводной рукописи романа были сделаны три экземпляра машинописи. Начинается следующий этап работы над текстом и публичной жизни романа.

Тремя экземплярами машинописи Платонов распоряжается так.

Один экземпляр (*М3*) он отдает читать Литвину-Молотову, как человеку, знающему всю творческую историю романа, и сопровождает текст записью на первой странице машинописи: «Георгию Захаровичу Литвину-Молотову. Экземпляр после маш-ки не выверенный. Имеет достаточно много опечаток и

моих ошибок; все это устранено из экземпляров, переданных в издательство». Имеется в виду, видимо, издательство «Федерация».

Два других экземпляра (*M1* и *M2*) тщательно выверяются. Машинистка, набравшая роман «Чевенгур» со сводной рукописи, была достаточно опытной: она смогла разобраться в сложных авторских обозначениях внутри текста, составленного из рукописных и машинописных частей. Однако не обошлось без опечаток. Это пропущенные или измененные знаки препинания, слова и обозначения абзацев и т. п. Имелись и стилистические замены: «поднимались» на «подымались», «вправду» на «взаправду», «голодать» на «голодовать» и др., и смысловые ошибки: вместо «южного хлеба» набрано «южного неба», вместо «гул эшелонов» — «шум эшелонов». Большая часть этих опечаток и ошибок была исправлена в первом экземпляре машинописи романа (*M1*), а затем, частично, во втором (*M2*) и третьем (*M3*). Несколько исправлений машинистки, однако, Платонов принял, например «голодовать» и «шум эшелонов». Какие-то опечатки и исправления машинистки остались при сверке без внимания и даже попали в посмертные издания романа.

Помимо исправлений опечаток машинистки, проводится сверка машинописи со сводной рукописью. Установить, кто, видимо по просьбе Платонова, сверял тексты, в настоящее время не представляется возможным. Человек, исправлявший красным карандашом первый экземпляр машинописи романа (*M1*) по автографу (*A1*) и *CP*, а затем переносивший эти исправления в другой экземпляр (*M2*), судя по всему, выполнял свою работу чисто механически, не осмысливая процесса правки и внося даже имеющиеся описки. Так, на с. 136 в предложении: «...жалость к неизвестному одинокому поселению и он хотел свернуть в него, чтобы...» — местоимение «него» исправлено красным карандашом на «нее», как это было в *CP*, что, с точки зрения грамматики, является явно ошибочным, и при чтении Платонов возвращает напечатанный правильный вариант — «него».

Полученный после сверки первый экземпляр машинописи (*M1*) Платонов смотрит еще раз: что-то, исправленное по автографу, принимает, но чаще простым карандашом восстанавливает напечатанный вариант, указывая на полях: «Оставить по машинке» или «Оставить текст по машинке». Так, в характеристику сироты Саши после «поел хлеба с молоком» была добавлена из автографа часть фразы «и заболтал ногами», но Платонов пишет на полях: «оставить текст по машинке», — утверждая тем самым вариант машинописи: «потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей». Вновь исправлен по автографу был возраст Прошки на «пятилетний», но Платонов сохраняет напечатанное на машинке — «семилетний». В эпизоде смерти наставника часть предложения после «...прошептал он опухшими детскими губами»: «ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится» — сначала вычеркнута в соответствии с автографом, а затем восстановлена. То же самое произошло с предложением «и он горевал о наставнике всю остальную жизнь»: оно было добавлено Платоновым на этапе машинописи (*M4a*), вычеркнута по автографу и снова восстановлено. Из двух предложений: «Александр не мог почувствовать империализма в своем теле. Он вообразил, что это что-то особое и странное» — Платонов в машинописи (*M4a*) сделал одно, вторую часть которого изменил на: «...теле, хотя нарочно вообра-

зил себя голым»; вариант был отменен по автографу и вновь восстановлен по машинке.

Одновременно писатель правит текст: в фразу о тетке Марье, которая «стыдилась своего положения», вписывает дополнительное слово «холостого»; фрагмент «...а в исполнении исторических законов» сначала исправлен по автографу на «а в исторических законах», затем Платонов вписывает новый вариант: «...а в усердном исполнении исторических законов» и др. Дважды проставляет «ё» вместо «е» в фамилии героя «Копёнкин».

При внесении правки по автографу обращалось внимание и на фрагменты, вычеркнутые из текста редакторами журнала «Красная новь» и не попавшие в следующие машинописи первой части. Так, на полях двух экземпляров машинописи (*M1* и *M2*) появляется знак вопроса рядом с вычеркнутым фрагментом: «...и погибавшем на опасной охоте за смыслом своей судьбы ~ и повторять жизнь». Вопрос о том, вернуть ли этот фрагмент, Платонов решил не в его пользу.

Исправления в двух экземплярах машинописи не везде совпадают. Так, «город Урочев» в первом экземпляре сначала исправлен по автографу на «городок Новохоперск», а затем восстановлен, в отличие от второго экземпляра, где «Урочев» остался без изменений.

После с. 60, где заканчивается повесть «Происхождение мастера», исправлений по сводной рукописи становится гораздо меньше, и они делаются не только красным, но и другими карандашами. Большую часть этих исправлений Платонов принимает и оставляет. Например, вставлена из сводной рукописи целая пропущенная фраза: «Станцию Разгуляй Дванов обошел, чтобы его не остановили там проверки, и скрылся в безлюдьи, где люди живут без помощи», при этом в сделанное синим карандашом исправление Платонов вносит утерянный предлог «для проверки»; часть предложения «Особо читатели интересовались письмами...» исправлена по сводной рукописи на «Больше всего читатели поучались письмами...»; восстанавливаются из сводной рукописи эпитеты, и вместо «...желая помочь его открытому сердцу» появляется «...скрытому одинокому сердцу»; вносится утерянная фраза, и непонятное «...даже пыль можно отправлять и песок... там есть просос...» становится понятным: «...отправлять и песок... Гопнер сейчас сидит на плотине опять, наверное, там есть просос...».

В отличие от первого и второго экземпляров машинописи (*M1* и *M2*), которые имеют два слоя правки: нижний слой — по автографу (*A1*) и *CP*, выполненный неустановленным лицом, и верхний — исправления самого Платонова, третий экземпляр (*M3*) имеет правку только нижнего слоя.

Трудно сказать, на каком этапе, до сверки со сводной рукописью или после, проводится еще одна правка машинописи романа, она в основном касается установления фабульных связей. Платонов составляет для себя записку:

«Правка набело (по рукописи напечатан).

1) Где Коп<енкин> (во время смерти ребенка в Ч<евенгу>ре) видит: “и ветер дует к<a>к при империализме” — изменить, похоже п<очему>-то на Чехова. так же волнуется погода

2) Поглядеть — с кем уехал Прокофий за женщ<инами> — один или с Пиюсей?

Дальше он приезжает один, лишь с нов<ым> гармонистом.

3) Клавдюша является вместе с женщ<инами> и Прокоф<ием>, выручив деньги.

Когда она ушла?

(Она должна уйти раньше, чем Прокофия послали за женами.

4) Клавдюша ходит в другой уезд — не в губ<ернию> и не в центр
“в волость к тетке”

5) Где Чеп<урный> уезжает в губ<ернский> город на партсобр<ание> —
конец главы.

Затем Копенкин “как в сон погружался в коммунизм”.

Там в конце главы поставить простое сцепление, т. е. фразу: “А возвратился Чепурный уже с Копенкиным” вроде этого, просто» (ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 2–2об. Оригинал см. наст. изд., с. 192).

Два решения, к пунктам 1 и 5, Платонов находит сразу. «Чеховская» фраза «...и ветры дуют, и темно и одинаково скучно и не видно коммунизма» замечается на том же листе на «так же волнуется погода, и не видно...», вносится в машинопись (М1) на с. 309 красным карандашом и дублируется Платоновым простым карандашом; затем вписывается в другие экземпляры (М2 и М3). Вариант «сцепления» к пункту 5 Платонов тоже набрасывает на листе записки: «На обратном пути из губернского города Пашинцева [настиг] застал в степи Копенкин, и они [они вместе] прибыли в Чевенгур [верхом] рядом на конях» (Там же), — при этом вместо фамилии «Чепурный» по ошибке пишет «Пашинцев». В два экземпляра машинописи (М1 и М2) фраза, правда, ее черновой вариант: «На обратном пути из губернского города Пашинцева настиг Копенкин...», вписывается на с. 301 тем же неустановленным лицом, в третий (М3), судя по почерку, М.Ал. Платоновой. В соответствии с пунктами 3 и 4 на с. 338 машинописи расширяется диалог Прокофия и Чепурного: после «И мне, Прощ, привези: чего-то прелести захотелось! Я забыл, что я тоже пролетарий» дописываются слова Чепурного: «Клавдюши ведь не вижу» и две новых реплики:

«— Она к тетке в волость пошла, — сообщил Прокофий, — я ее доставлю обратным концом.

— А я того не знал, — произнес Чепурный, и засунул в нос понюшку, чтобы чувствовать табак, вместо горя разлуки с Клавдюшей».

На каком-то этапе работы с машинописью Платонов учтет и замечания Литвина-Молотова, сделанные им в третьем экземпляре (М3). При чтении машинописи Литвин-Молотов в основном отмечал подчеркиванием места, по тем или иным причинам вызывавшие у него сомнения и вопросы, в редких случаях писал эти вопросы на полях. В первой части им отмечены фразы и словосочетания, носящие, на взгляд редактора, излишне физиологический характер, например, описание любви Кондаева к Насте: «Он любил ее тем местом ~ коренным сломом своего горба», «слюной любовной сладости». Но основные пометы редактора относятся к фразам, спорным в политическом отношении: отмечены размышления Захара Павловича об «умнейшей власти» и большевиках, слова о власти кузнеца Сотых («Все чудачки к власти отойдут, а народ сам по себе заживет...»); слова рябого мужика об отмене продрозверстки («К Ленину в кремлевскую башню мужики ходили ~ выдумали послабление»); слова приказчика о нэпе («Ленин взял, Ленин и дал»); предложение Прокофия об организации

«второго пришествия» для буржуев и др. После появления в тексте Чепурного, рассказывающего о коммунизме в Чевенгуре, последовательно помечаются все упоминания слова «коммунизм» («коммунизм не был записан понятной песней», «летом 5 комм.», «и не видно коммунизма» и т. п.) и однокоренных («была коммунисткой будущего», «подкоммунивать пришел» и т. п.). Литвин-Молотов фиксирует и неточности текста, не замеченные Платоновым. Например, рядом с описанием того, как Дванов «побежал через деревню в свою даль», он замечает простым карандашом: «А рана?» Другое уточнение имеется на странице, где упоминается «масса сытных булок»: «Когда? / Во сне? / болезнь?» Из всех вопросов и замечаний Литвина-Молотова Платонов примет только одно: на левом поле с. 323 рядом с фразой «хотел видеть рыбак Дванов» редактор справедливо укажет: «Рыбак не Дванов». Платонов примет замечание и во все экземпляры машинописи впишет: «рыбак с озера Мутево».

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые места в третьем экземпляре машинописи, отмеченные подчеркиванием Литвина-Молотова, вновь подчеркнуты. Видимо, это сделано на следующем этапе работы. Можно предположить, что с машинописи (М3) была сделана поздняя машинописная копия, по которой роман готовился к печати в 1980-е гг.

Первый экземпляр машинописи романа «Чевенгур» (М1), с пометой Платонова «Правленный экземпляр», летом 1929 г. читают в издательстве «Федерация». Следы этого чтения машинопись не сохранила: пометы простым карандашом на полях (например, там, где рассказано, как Захар Павлович ищет «самую серьезную партию» и беседует с «партийным человеком») стерты, а верхняя часть первой страницы с заглавием и нижняя часть последней страницы срезаны: видимо, там помещались отрицательные отзывы читавших роман. Этап прохождения романа в издательстве «Федерация» документирован крайне мало: ни планов, ни внутренних рецензий за середину 1929 г. не сохранилось. Из сообщений «Литературной газеты» конца сентября — начала октября 1929 г. (см.: *Леонтьев Б.* Новый дом на старом болоте (об издательстве «Федерация») // *ЛГ.* 1929. 30 сент. С. 2) известно, что с осени развернулась широкая критика издательской политики «Федерации» после публикации за границей романов Б. Пильняка «Красное дерево» и Е. Замятина «Мы».

О содержании рецензий редакторов «Федерации» можно судить по письму Платонова А.М. Горькому от 19 августа 1929 г., в котором писатель сообщает о судьбе рукописи: «Ее не печатают (в “Федерации” отказали), говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное» (*Письма.* С. 264). Платонов просит Горького прочитать роман и поддержать его публикацию. Однако в августе Горький романа не читает: он уезжает в поездку по стране. Вторично с просьбой «прочитать рукопись и помочь тому, чтобы она была напечатана», Платонов обращается к Горькому 12 сентября 1929 г. (Там же. С. 266).

Судя по пометам на полях, Горький читал второй экземпляр машинописи романа (М2). Пометы сделаны красным карандашом: это отчеркивания на левом поле страницы одной или двумя линиями, вопросы на полях, подчеркивание слова. Другие пометы сделаны простым карандашом и наполовину стерты. Типичными для Горького, судя по его работе с присланными рукописями других писа-

телей, являются пометы красным карандашом. В тексте машинописи их немного, всего 11. Большая часть помет касается «неправильностей» языка романа, к чему Горький, как известно, всегда относился строго, считая недопустимыми в литературе грамматически неправильные формы, даже если они являются диалектными вариантами в речи персонажей. За эту особенность современной литературы Горький в 1921–1923 гг. очень ругал «серапионовых братьев» Н. Никитина и Вс. Иванова. Последнему он писал в начале 1923 г.: «...Вы злоупотребляете местными речениями, в этом сказывается неправильно понятое увлечение Ремизова и его школы колдовством слова. Этот недостаток есть и у Никитина, он делает вас не переводимыми на языки Запада Европы» (*Горький А.М.* Полн. собр. соч. Письма: в 24 т. Т. 14. М., 2009. С. 129). В машинописи романа Платонова Горький отметит отчеркиванием и вопросом формы: «без делов», «красстается в прах», «намелить»; предложения: «Когда дело к рассудку пойдет, я сам буду верхом с кочережкой», «К ней уже обладал симпатией Прокофий». Знак вопроса стоит рядом с деталью портрета крестьянского бога: «психической бородкой». Помимо грамматических «погрешностей», Горький обращает внимание на фрагменты текста романа, где так или иначе говорится о смерти человека: красным карандашом отмечены эпизоды смерти машиниста-наставника: «Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму ~ ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится», слова Сони: «...они умирают, а остаются», описание умершей Розы Люксембург: «Вот она присуха твоя ~ а все одно неподъемная, аж плечи режет».

В ответном письме от 18 сентября Горький сообщает свое мнение о романе и выражает сомнение в том, что его издадут:

«Человек Вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком. Роман Ваш — чрезвычайно интересен, технический его недостаток — чрезмерная растянутость, обилие “разговора” и затушеванность, стертость “действия”. Это сильно замечаешь со второй половины романа.

Но, при неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помешает анархическое Ваше умонастроение, видимо, свойственное природе Вашего “духа”. Хотели вы этого или нет, но Вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры. При всей нежности Вашего отношения к людям они у Вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько “революционерами”, как “чужаками” и “полоумными”. Не утверждаю, что это сделано сознательно, однако это сделано, таково впечатление читателя, т. е. — мое. Возможно, что я ошибаюсь.

Добавлю: среди современных редакторов я не вижу никого, кто мог бы оценить Ваш роман по его достоинствам. Это мог бы сделать А.К. Воронский, но, как Вы знаете, он “не у дел”¹.

Это все, что я могу сказать вам, и очень сожалею, что не могу сказать ничего нового» (*Горький А.М.* Полн. собр. соч. Письма: в 24 т. Т. 19. М., 2017. С. 103).

В следующем письме Горький советует Платонову сделать из романа «Чевенгур» пьесу (Там же. С. 107).

¹ А.К. Воронский был исключен из ВКП(б) в 1927 г. за фракционную деятельность и тогда же снят с поста главного редактора журнала «Красная новь».

21 сентября Платонов отправляет Горькому еще одно письмо, с благодарностью, и просит вернуть ему рукопись (*Письма*. С. 268). Таким образом машинопись возвращается обратно к автору. Впоследствии Платонов вынет из нее три фрагмента (с. 130–147, 306–317, 415–420) для возможной публикации их в журналах в качестве рассказов.

Кроме помет красным карандашом, этот экземпляр машинописи имеет еще пометы, частью стертые, сделанные простым карандашом. Читавший «Чевенгур» неизвестный редактор отметил места, вызвавшие у него сомнения своей политической направленностью: описание китайцев в поезде на Царицын; два фрагмента, посвященные отмене продрозверстки; словосочетания «классовая скотина» и «знал буквально учение Ленина»; эпизод расстрела буржуев в Чевенгуре и т. п. На полях с. 191 напротив описания стоявшей лошади, которую видит Копенкин: «Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы ~ Копенкин крикнул: Роза!..» — простым карандашом написано «Чудесно!».

Одновременно с переговорами Платонова в «Федерации» возникает возможность публикации романа «Чевенгур» в издательстве «Молодая гвардия». Летом 1929 г., перед уходом из издательства, Г.З. Литвин-Молотов добивается включения романа в план «Молодой гвардии» на 1930 г. (см.: *Корниенко Н.В.* Путь в Чевенгур: от истории текста — к творческой истории романа // *Архив*, 2. С. 645). В июньском номере журнала «На книжном фронте» роман «Чевенгур» назван среди других «новинки молодых писателей»: «По ту сторону» В. Кина, «Комсомольский роман» М. Колосова, «Головой об стену» В. Скосырева и других, «затрагивающих бытовые темы» и «широкие темы нашей строящейся социалистической страны» (Что издает «Молодая гвардия» // *На книжном фронте*. 1929. № 20–21 (июнь). С. 1. Разыскание Е.В. Антоновой). Может возникнуть вопрос: почему Платонов в августе 1929 г. просит Горького о поддержке издания в «Федерации», хотя уже есть договоренность с издательством «Молодая гвардия»? Причиной, очевидно, послужили изменения в издательстве и прежде всего смещение с поста заведующего Г.З. Литвина-Молотова. Весной 1929 г. «Молодая гвардия» была подвергнута «обследованию» специальной комиссией ЦК ВЛКСМ. В мае был решен вопрос о снятии Литвина-Молотова. 30 мая на заседании бюро ЦК ВЛКСМ была вынесена резолюция по работе издательства: «В области художественной литературы издательство не проводит четкой линии, не имеет своего лица. Издательство выпускало и выпускает книги, чуждые по своему содержанию комсомолу (“Потомки венецианского дожа”, “Луна с правой стороны”, сочинения Глеба Алексеева и др.). <...> Политустановка в подборе авторов не всегда была четкая» (*Известия ЦК ВЛКСМ*. 1929. № 11. С. 15. Разыскание Е.В. Антоновой). Общаясь с Литвиным-Молотовым, Платонов мог знать о происходящем в издательстве и имел основания опасаться за судьбу своего романа (подробно см.: *Антонова Е.В.* Воронежцы в истории романа А. Платонова «Чевенгур» (А.И. Новиков, Г.З. Литвин-Молотов) // *Воронежская филологическая школа: юбилей, научные контакты, современная практика*. Воронеж, 2021. С. 99–105).

В «Молодую гвардию» Платонов отдает все тот же первый экземпляр (М1), возвращенный ему из «Федерации», предварительно заменив срезанный верхний край первой страницы на подклейку из листа бумаги, с вписанным названием: «Чевенгур / роман». Свою работу по правке текста начинают выполнять

редакторы. Машинопись сохранила их исправления и предложения, выполненные красными, фиолетовыми и зелеными чернилами; почти все они войдут в гранки. Однако стоит отметить, что на этом этапе редакторская правка имеет достаточно сдержанный, щадящий характер: отсутствуют сокращения текста, замены слов и словосочетаний относятся к стилю повествования, предложенные варианты соответствуют стилистическим, грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам русского языка. Например, в словосочетании «простирала юбку» глагол заменен на «посмотрела», в предложении «что-то должна прошептать ему на ухо мать» вставлено слово «была», «глаза засосались под лоб» изменено на «глаза закатились под лоб», вместо предложения «они умирают, а остаются» вписано «они умирают и все же остаются», вместо «горевала головой на ладонь» редактор предлагает вариант «горевала, положив голову на ладонь», «он дал есть траву своей лошади» меняет на «он задал травы своей лошади» и т. п. Нередко правка одного редактора отменялась другим. Например, в предложении «опять настал долгий дождь» глагол сначала заменен на «зарядил», а потом возвращен первоначальный вариант; слово «норьма» в речи Никиты исправлено по норме, затем исправление отменено; предложение «нельзя было узнать в своем слабом уме» переделано на «не мог он узнать своим слабым умом» одним редактором и отменено другим и т. п. Кроме этого, приводились к норме знаки препинания при прямой речи, вводных словах, в предложениях с однородными сказуемыми, в сложносочиненных предложениях и др. Некоторые длинные, с точки зрения редактора, предложения разделены.

С исправленной машинописи сделаны гранки (ГР1), однако до издания книги дело не доходит. В фонде Платонова ИМЛИ находится другой экземпляр гранок (ГР2), исправления в которых, очевидно, были сделаны на более позднем этапе. Теперь редакторами были введены существенные сокращения и замены, направленные прежде всего на то, чтобы снять политическую заостренность романа, его связь с конкретными реалиями революционной и пореволюционной эпохи. На шесть страниц сокращен был, например, эпизод «второго пришествия» и уничтожения буржуев в Чевенгуре. Ту же цель преследовали замены слов. Наибольшее количество нейтральных по смыслу и политически не окрашенных синонимов было дано словам «коммунизм» и «социализм»: «счастье», «справедливость», «будущее», «гармония», «товарищество», «новая жизнь», «просвет» и т. п. Эти гранки переплетены, листы их обрезаны в соответствии со стандартным форматом издания. В нижней части титульного листа указано: «Москва 1930 Ленинград / Молодая гвардия». На первой странице имеются поздние записи Платонова простым карандашом и синими чернилами: «Экземпляр автора, сделан из гранок!», «Жене и сыну — на вечную память. М., 7/Х1 42 г. Автор» (см. с. 329 наст. изд.). На обороте титульного листа запись: «Тираж 1 экз.». На с. 332 синими чернилами (теми же, которыми внесена правка) написано: «1926–1928 г.». На первом форзаце надпись внизу простым карандашом рукой М.Ал. Платоновой: «До 47 стр. напечатано как в “Происхождении мастера”. 1927 г.», чуть ниже: «Чевенгур».

Из издательского процесса роман был изъят только летом 1930 г. решением специальной комиссии, проверившей работу издательства; газета «Комсомольская правда» сообщала: «Раз навсегда отказаться от доведения до верстки таких книг, как “Чевенгур” Платонова...» (Черная доска издательства // К. нр. 1930.

10 июля. С. 3); «Для издательства “Молодая гвардия” это пройденный этап, от которого новое руководство решительно отошло. <...> Перестройка работы должна была начаться в первую голову с санитарно-профилактических мероприятий, очищения редакционного портфеля и изъятия из производства ряда изданий. Всего было изъято 30 названий, в том числе: Акульшина — “Деревенские очерки” (воспевавшие кулацкую идеологию), Платонова — “Чевенгур”...» (Цванкин Я. На крутом подъеме. Плюсы и минусы издательства «Молодая гвардия» // Там же. 8 авг. С. 3. Разыскания Н.В. Корниенко).

В дневнике К.И. Чуковского имеется запись от 27 ноября 1931 г., рассказывающая о его встрече с Платоновым у Пильняка и передающая настроение писателя после событий 1930 г.: «Платонов рассказал, что у него есть роман “Чевенгур” — о том, как образовалась где-то коммуна из 14 подлинных коммунистов, которые всех некоммунистов, нереволюционеров изгнали из города — и как эта коммуна процвела, — и хотя он писал этот роман с большим пиететом к революции, роман этот (в 25 листов) запрещен. Его даже набрали в изд-ве “Молодая гвардия” — и вот он лежит без движения. 25 печатных листов!» (Чуковский К.И. Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 36).

Следы последней попытки Платонова напечатать роман, которая приходится на время после лета 1930 г., сохранила все та же машинопись М1. На левом поле первой страницы Платонов простым карандашом делает запись для редакторов неизвестного издательства: «Вниманию редактора: рукопись подвергалась многочисленным поправкам слов и фраз руками редакторов и корректоров <?>, за что я <чрзб> эти дефекты мною будут устранены, кроме того будет устроена общая правка сочинения. А. Платонов». Эта запись стерта, и в правом верхнем углу химическим карандашом сделана другая: «Не обращать внимания на правку красными и синими чернилами, — это трудились редакторы в тщете своего глубокомыслия». Для кого предназначалась эта запись, в какое издательство Платонов предлагал роман, в настоящий момент неизвестно. К новому слою правки, выполненной уже на этом этапе, относится, например, отсутствующая в гранках вставка простым карандашом: после предложения «Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками» вместо «с общими приусадебными наделами» Платонов вписывает: «на бедняцкой безымянной земле. Но и оттуда люди разбредутся куда-то странниками и воинами, и станет человек как редкость», а также вычеркнутое простым или химическим карандашом предложение: «На обратном пути из губернского города Пашинцева настиг Копенкин, и они прибыли в Чевенгур рядом на конях».

На этом этапе была внесена и авторская правка на с. 12–16. Смысловый фрагмент, рассказывающий о начале жизни Захара Павловича в городе, его знакомстве с машинистом-наставником и стремлении «навекι удержаться» в «новом искусном мире», очевидно, предназначался для какого-то издания. На с. 12 Платонов пишет простым карандашом первые фразы очередного рассказа-фрагмента, действие которого перенесено с начала 1910-х гг. в пореволюционную эпоху: «Бедняк Захар Павлович явился из своей деревни в город и поселился на житье у знакомого столяра. [Целые дни он проводил в томительном ожидании труда.] Был 1921-й голодный год [, и деревни], когда целые деревни разбрелись пешком по нашей стране, желая хлеба и труда. Целые дни просиживал Захар Павлович

в томительном ожидании труда». Платонов также уточняет детали, непонятные без чтения начала романа: после части предложения «как тут ему справиться после деревянных сковородок» вписывает: «, которые он делал в деревне». Химическим карандашом вычеркивает фрагмент о женщинах: «Машинист понес в даль отвлеченных слов ~ не уважал таких разговоров», а часть предложения «дрожу весь от страдания» исправляет на: «...дрожу весь и скучаю». В конце фрагмента «...и он решил навеки удержаться в нем» Платонов простым карандашом записывает для машинистки: «до сих». Однако Платонов отказывается от идеи опубликовать данный фрагмент, тем более что он уже в 1928 г. был напечатан в составе рассказа «Происхождение мастера»: химическим карандашом вычеркиваются названные выше вставки в текст, на левом поле дважды пишется указание: «Нужно все по машинке». Из всей внесенной в этот фрагмент правки в машинописи осталось только «и скучаю».

В 1929 г., после подготовки машинописи романа, Платонов планирует фрагменты ее к публикации в качестве рассказов или отрывков повести. Известно, что в 12 ноября Платонов читал «отрывок из романа» (под названием «Ревзаповедник») в журнале «Новый мир» (см.: Литературные собрания. «Новый мир» // ЛГ. 1929. 16 дек. С. 3).

В отличие от фрагментов из автографа, с которых делались отдельные машинописи, в случае с машинописью романа Платонов просто изымал из нее фрагмент, давал ему заглавие и пытался опубликовать. Именно с этой целью были вынуты страницы из второго экземпляра машинописи (М2), после того как она вернулась к автору от Горького, т. е. не позднее сентября 1929 г. Первый фрагмент, где повествуется о посещении Двановым и Копенкиным коммуны «Дружбы бедняка» и ревзаповедника тов. Пашинцева, на настоящий момент не выявлен. Предположительно этот текст был отдан Я.З. Черняку, в 1929 г. — редактору отдела русской литературы издательства «Земля и фабрика», которое с 1925 г. выпускало литературно-художественный ежемесячник «30 дней» и журнал путешествий, приключений и научной фантастики «Всемирный следопыт», с 1927 г. — художественный альманах «Земля и фабрика», а с 1928 г. — журнал «Земля Советская». Возможно, фрагмент предназначался для одного из этих изданий. В фонде Черняка находится оставшаяся неопубликованной статья «Сатирический реализм Андрея Платонова» (РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1–34). Датировать статью можно по ее первой фразе: «Не столь давно, не более двух месяцев тому назад, молодой и талантливый писатель Андрей Платонов вынужден был протестовать против необоснованной и недостойной критики, которой подвергся в одной из московских популярных газет сборник его произведений “Епифанские шлюзы”» (Там же. Л. 27). Речь идет об ответе Платонова на статью В. Стрельниковой, напечатанную 28 сентября 1929 г. в газете «Вечерняя Москва». Ответ Платонова «Против халтурных судей» был опубликован в «Литературной газете» 14 октября 1929 г., следовательно, Черняк пишет свою статью примерно в декабре 1929 г. В статье Черняк дает характеристику фрагменту, предназначенному, вероятно, сначала для альманаха, а потом для журнала: «В печатаемом в настоящ[ей]ем [книге] номере отрывке из новой

книги А. Платонова с громадной силой сказались все сильные и слабые стороны этого художника». По мнению Черняка, Платонов поставил себе задачей «в осколке странного зеркала показать нам волну океана»: «Удалось ли это хоть отчасти осуществить Платонову в его отрывке, изображающем путешествие в “давно прошедшие” времена нашей борьбы — во времена двадцатого года?.. Да, но, конечно, отчасти. Потому что с удивительной зоркостью, рассмотрев социальную заряженность, подлинный романтизм целого ряда персонажей, строителей его деревенской коммуны, он очудачил их, он деформировал их и в то же время в своей верности действительности оснастил литературное их плавание комическими чертами. Его перо проводит острые линии, оно иной раз соскакивает с бумаги. Но не осмысливает ли он для вас все великолепие противоречий и внутреннюю силу нового, хоть и наивного, даже в заколдованных, почти сатирических, напоминающих бессмертную ткань Сервантеса, образах своей “непашущей коммуны” и того средневекового подземелья в разрушенной помещицкой усадьбе, где на разряженных бомбах, в “латах”, отлеживается от романтики гражданской войны — настоящий строитель коммуны, ее неизбежный создатель... Лирический переход от комических сцен к гротеску средней части, раскрытие пейзажей и даже психологические характеристики, которыми смыкает автор малый и большой планы своего произведения в отрывке, конечно, только намечены. (Это дело всей повести.) Но то, что сделано, сделано сильно и искренне и позволяет надеяться, что автор со своим замыслом справится. Даже комическое, даже “злое” в его повести звучит только под куполом нашей эпохи, только в круге наших идей и чаяний» (Там же. Л. 31–34).

Два других фрагмента: «Ребенок в Чевенгуре» и «Кончина Копенкина» — Платонов тогда же, в конце декабря, отдает в журнал «Красная новь». На первой странице делает запись для редакции: «Два рассказа / из жизни города Чевенгура: / 1. Ребенок в Чевенгуре. / 2. Кончина Копенкина. / В случае пригодности, печатать в одном №-ре журнала, сразу оба. / Андрей Платонов». Там же помещаются визы членов редколлегии. Первая — недатированная запись Вс. Иванова: «За печатание в янв. №-ре “Кр. Нови”». Вторая запись датирована 27 декабря 1929 г. и принадлежит члену редколлегии В.Н. Васильевскому: «В первом рассказе заменить везде “коммунизм” словом “свободная страна” (или просто вычеркнуть), сделать ряд купюр — тогда получится правда, парадоксальная, но возможная, <1 нрзб> то же во втором рассказе». В соответствии с пожеланием Васильевского редактор начинает править фрагмент, на полях красным карандашом отчеркивает вызывающие возражения места и возвращает машинопись Платонову. Простым карандашом Платонов вычеркивает фрагменты, преимущественно со словом «коммунизм»: «...и у вас нету коммунизма!..»; «Какой же это коммунизм? ~ Тут зараза, а не коммунизм»; «Ночами Копенкин ~ а к рассвету объявить коммунизм»; «и заметить в них, что такое коммунизм, которого Копенкин никак не чувствовал» и т. п. Тогда же лишает имени «Пролетарскую Силу», а вместо «какого-то прочего» пишет «кого-то». Имеется в машинописи еще небольшая редакторская правка чернилами, например, в первое предложение: «Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих» добавлено слово «трудящихся». В рассказе «Кончина Копенкина» правка также проведена простым карандашом и чернилами: отмечены и вычеркнуты упоминания о Розе

Люксембург, коммунизме и прочих. Все это, однако, не способствует публикации: 30 декабря 1929 г. главный редактор «Красной нови» Ф. Раскольников ставит свою визу: «Против печатания. Возврат». Отметим еще, что, в отличие от первого фрагмента, в рассказе «Кончина Копенкина» большая часть вычеркнутых слов восстановлена чернилами, а зачеркивание имени «Пролетарская сила» стерто. Может быть, Платонов предполагал после отказа «Красной нови» передать текст кому-то еще.

Откликов в печати на не опубликованный при жизни писателя роман «Чевенгур» быть не могло. Выявлены лишь несколько высказываний лиц, непосредственно общавшихся с Платоновым. 13 января 1932 г. датируется такая характеристика романа, полученная оперативными сотрудниками ОГПУ:

«Был роман в читке МТП¹, за напечатание романа выступили коммунисты — ПАРФЕНОВ, КУДАШЕВ и еще кто-то, кажется, даже Артем ВЕСЕЛЫЙ <...> Роман, надо прямо признать, отклонен беспартийными, фракция не сумела себя показать, фракция оказалась постыдно слабой для такой простой вещи, как доказать автору, что он контрреволюционер от начала до конца. Роман “ЧИВИНГУР” <sic> настолько характерен, что его надлежало бы напечатать на ротаторе в 100 экземплярах и дать почитать нашим вождям — может быть, вплоть до т. Сталина и других. Это вещь редчайше острая и редчайше вредная. И мне почему-то кажется, что эта вещь еще может наделать скандалов. Лучше было бы купить эту вещь у автора и законсервировать ее лет на десять. ПЛАТОНОВ, повторяю, неисправимо консервативен и человек чужой» (Андрей Платонов в документах ОГПУ — НКВД — НКГБ. 1930–1945 // *Страна философов, 2000*. С. 851–852).

Еще один отзыв принадлежит Н.И. Замошкину, который на творческом вечере А. Платонова 2 февраля 1932 г. поделился воспоминаниями: «Когда я читал его вещи — роман “Чевенгур” и рассказ “Сокровенный человек” в 1926 году², все эти вещи во мне вызывали двойственное отношение. <...> Читателя Платонов мог сбить с толку вот какой стороной. С одной стороны, мы видим этих рабочих, “святых людей”, мечтающих о социализме как о рае, необыкновенно честных людей. Это поражало какой-то чистотой, верой. С другой стороны — совершенно отсталые люди, показанные в виде этих честных ребят. Отсталость их заключалась в непонимании Октябрьской революции, принципов революции, в явной оппозиции к организационным принципам революции. Это, несомненно, была правая сторона, которая не могла не действовать определенным образом на читателя в сторону отрицательную». В свою оценку Замошкин вносит четкие классовые характеристики: «Его творчество надо понимать как творчество с явно кулацким уклоном, с явно резким оппозиционным уклоном. <...> Много Платонов говорил об отсталых рабочих — полукрестьянах, полурабочих. <...> Нам здесь раскрыты карты: есть два лагеря — пролетариат и остатки буржуа-

¹ Московское товарищество писателей, существовало с 1924 по 1934 г. Платонов являлся членом группомы с 1928 г.

² Ошибка памяти: в 1926 г. Замошкин не мог читать ни роман «Чевенгур», ни повесть «Сокровенный человек».

зии, а тогда нэпа. На многих интеллигентов и отсталых рабочих нэповская действительность действовала каким-то странным образом. У многих голова была запутана, и эта запутанность перешла к Платонову» (*Воспоминания*. С. 306).

В советской печати конца 1920-х — 1930-х гг. выявлено несколько откликов на напечатанные фрагменты романа. Отмечена рецензентами была публикация в «Красной нови»: «...небольшой, но свежий рассказ Андрея Платонова “Происхождение мастера”. Лирически, в стиле горьковских очерков “По Руси”, повествует Платонов о влюбленности в машины и механизмы чудака-мастера, “который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно”» (*Казанский М.* // *Вечерняя красная газета*. Л., 1928. 18 мая. С. 4. Рубрика «Новые журналы»); «“Происхождение мастера” А. Платонова говорит о росте этого молодого писателя» (*Лежнев А.* Литературные заметки: О «толстых» журналах // *Правда*. 1928. 10 июня. С. 7. Разыскания Е.В. Антоновой).

Заглавие книги «Происхождение мастера» побудило критика Л. Левина задать ряд «чрезвычайно важных» вопросов о «“происхождении мастера”, создавшего те произведения, которые составили сборник»: «Каковы связи писателя с революционной эпохой, как он подходит к творческому воспроизведению революции и движущих ее людей?» — а анализ «открывающей сборник повести “Происхождение мастера”, посвященной восприятию революции индивидуалистом и перерождению этого индивидуалиста в революции», а также повестей «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек» и «Город Градов» привел к выводу, «что в книге Андрея Платонова мы имеем художника, выражающего мелкобуржуазные настроения тех групп, которые не способны творчески осмыслить значение русской революции и ее великий социальный смысл» (*Левин Л.* // *Реф. Л.*, 1930. Февр. № 7. Обложка 2. Разыскания Е.В. Антоновой).

Развернутые отзывы на фрагмент романа, опубликованный как повесть «Происхождение мастера», дали весной 1930 г. критика ленинградского журнала «Звезда», М. Майзель и Р. Мессер. Появление их статей в одном номере журнала подчеркивало невозможность «пройти мимо новой книги А. Платонова по двум причинам: во-первых, она бесспорно очень талантлива, а во-вторых, ошибки Платонова имеют тенденцию к более широкому распространению в известной части нашей литературы» (*Майзель М.* Ошибки мастера // *Звезда*. Л., 1930. № 4. С. 195). Первоначально заглавие статьи Майзеля носило еще более жесткий характер — «Опасный мастер» (см. анонс 4-го номера журнала; «Звезда». 1930. № 3. Обложка 4. Разыскания Е.В. Антоновой); «формулировка, возможно, была смягчена после знакомства критика с рассказом “Первый Иван”, о котором говорится в постскрипуме статьи» (*Антонова Е.В.* Книги Андрея Платонова в критике 1927–1930 гг. // *Страна философов*, 2005. С. 528). В повести «Происхождение мастера» критик усматривает прежде всего «рабов машинного мира», каковы Захар Павлович и машинист-наставник: «Самодовлеющий предмет, машина наполняет священным восторгом души его героев». «Преклонение перед мертвой материей», «фетишизация машины», «своеобразный антропоморфизм» — «все это мешает автору рассмотреть человека во взаимодействии с природой, а ведь только так возможно художнику отразить общие, а не единичные явления бытия». Другой тип героя, к которому принадлежат Саша Дванов и Филат из повести «Ямская слобода», это — «великий простец, инстинктив-

но и, что особенно важно, совершенно пассивно приходящий к социальному самосознанию». Сашу и Филата, утверждает критик, «сближает между собой одинаковое люмпен-юродствующее положение в жизни, которая обрушивается на них со всей беспощадностью». В этих людях тоже «есть что-то рабье, глубоко противное здоровой человеческой натуре». Анализ характеров героев, на которых давит традиционный «идиотизм деревенской жизни», помогает критику раскрыть «внутреннюю природу художественного замысла Платонова: «...в вечной борьбе “добра и зла” в конечном счете торжествует “добро”. В наши дни проповедь нравственного самоусовершенствования, которой *практически* оборачивается вся *творческая концепция* Платонова, объективно реакционна». Все это, однако, не мешает критику в финале статьи отнести Платонова, как и Никифорова, и Ляшко, к «рабочим писателям»: «Но это рабочий, в котором окурковский одиночка-правдоискатель не преодолен классовым пролетарским сознанием. <...> он не спаян с коллективом, любовно конструирует собственную доморощенную философию, любит праздное мудрствование, индивидуалистичен и склонен к анархизму» (Звезда. 1930. № 4. С. 195–201).

В помещенной в том же номере журнала статье «Попутчики второго призыва» критик Р. Мессер видит иные истоки творчества Платонова, сближая его с писателями-попутчиками 1920-х гг. Отдав должное писательскому мастерству: «...бросается в глаза необычайная выразительность писательских средств Платонова. Скупое, точно и строго взвешенное им все положения, состояния и движения героев. Крайнюю степень оживленности приобретают у него обычно статические элементы: пейзажи, жизнь природы, жизнь мертвых вещей», — Мессер резко критикует платоновских героев: в «Происхождении мастера» это «русский крестьянин, ушибленный хитрым, мудреным устройством мира, отдавший свою жизнь разгадыванию его тайн и чудес. Революция поражает его так же, как и паровоз, как “точное дело”. Он теряется перед ней, как прежде перед машиной. Он, в конце концов, ушиблен революцией, он — ее восхищенный и подавленный наблюдатель» (Там же). Во всех трех вошедших в книгу повестях: «Происхождение мастера», «Сокровенный человек», «Ямская слобода» — критик отмечает контраст в изображении мира природы и людей: «Природа у Платонова — мудрая и спокойная. Люди — мятущиеся, пассивные. *Люди у него пытаются понять мир, но не изменить его. Людей давит стихия, судьба. Они не могут изменять мир.* Эта подспудная творчески-философская концепция Платонова и обуславливает выбор им в качестве героев — “мелких человек революции”. Мелкий человек, неповторимая, “сокровенная” личность и ее судьба двигают все повести». Делая вывод, автор статьи, в которой, помимо книги Платонова, рассмотрены еще книга повестей Е. Тагер «Зимний берег» (1929) и рассказ И. Катаева «Молоко» (1930), пишет: «...существование всего этого слоя в целом говорит о том, что сейчас мы имеем реставрацию “попутничества” Вс. Иванова и Леонида Леонова, реставрацию “Тайного тайных” и “Вора”. Сравнение здесь — не по линии сходства стилистики. Сходство — в творческом методе». Метод же этот «есть метод нейтральный, а... в условиях реконструктивного периода — реакционный» (Звезда. 1930. № 4. С. 208–210).

О другом фрагменте романа — рассказе «Приключение» — высказался в самом начале 1929 г. в журнале «Красная новь» критик и театровед Д.З. Тальни-

ков. Его статья «Литературные заметки» посвящена писателям, «художественно познающим мир так, как они видят его, своим глазом, и встречающим поэтому, вместо осмысления этого факта критиками, одно резкое отрицание». Рассматривая современную литературу, ставящую «вопрос о деревне», критик видит «неполноту», «односторонность изображения» и в «Брусках» Ф. Панферова, которые «считаются последним достижением пролетарской литературы», и в произведениях писателей, продолжающих традицию «Деревни» И.А. Бунина, к которым и относится Платонов. Если в первом случае «образы слабы и надуманны», «банальны», то в книгах «Трансвааль» К. Федина, «Необыкновенные рассказы о мужиках» Л. Леонова, в отрывке «Приключение» Платонова, у Вс. Иванова «последнего периода», герои, как и у Бунина, «покорные, безропотные, пассивные люди во власти природы, стихийности, без своей разумной воли, игрушки в руках судьбы». В отдельной подглавке (№ VIII), посвященной Платонову, Тальников откликается и на ранее опубликованные произведения этого «пролетарского писателя»: «Платоновым написано пока немного, читателям “Красной нови” он знаком по хорошему рассказу “Происхождение мастера” и другим повестям. Творчество этого молодого писателя говорит, что мы имеем дело с подлинным художественным дарованием, требующим самого внимательного и бережного отношения к себе». Рассказ «Приключение» также «отмечен превосходной художественной силой», однако, рисуя современную деревню, автор «находится под сильным влиянием деревни Бунина, его тематики, его художественной манеры», «деревня Платонова — от “рюриковичей”, чеховских “печенегов”...». «Равнодушие», «полную неосмысленность, хаотичность, стихийность <...> первобытной психики мужика» Тальников видит у всех персонажей рассказа: «И в том-то весь ужас, что его, как ужас бессмыслия, не осознают ко всему привычные, ничему не удивляющиеся, пассивные и повинующиеся какому-то “фатуму”, “року” — обреченные и Никита, и Дванов, и вождь этих “анархистов” российских, пишущий хорошие книги и нелепо убивающий пленного коммуниста... Человека, как личности активной, разумной — нет; распоряжается слепой случай, стихия. Человек может только жалобно плакать...» Коммунист Дванов, подобно леоновскому Копылеву («Необыкновенные рассказы о мужиках»), «плоть от плоти этой же пассивной деревни, фаталист, подчиненный какой-то “извечной” бессмысленности этого дикого быта... <...> Он может быть стойким, терпеливым только в пассивном сопротивлении... <...> Это — не большевик с активной, “европейской” большевистской целеустремленностью!...». В перспективе, утверждал критик, вместо описанных Леоновым, Платоновым, Ивановым «реакционных уголков деревни», «темной, инертной силы страны», «угрозы всем нашим идеалам, цивилизации нашей», вместо «темени непроглядной неизжитой старой дореволюционной психики» писатели должны показать «деревню в ее художественно-современном, идеологически-современном постижении» (*Кр. новь*. 1929. № 1. С. 236–250).

После истории с публикацией повести «Впрок» (1931) напечатанным фрагментам романа «Чевенгур» давались все более категоричные оценки. Так, критик А. Гурвич построил свою статью «Андрей Платонов» на сопоставлении рассказов 1930-х гг. («Такыр», «Нужная родина», «Семен», «Фро», «Бессмертие») с повестью «Происхождение мастера». У Заррин-Тадж («Такыр»), Якова

Саввича («Нужная родина») и персонажей «Происхождения мастера» — Столяра и Захара Павловича — критик обнаруживает общие черты: «утрату чувства жизни, физического и духовного самосознания... <...> Для многих из них грань между жизнью и смертью стерта, неразличима». «Все эти люди Платонова мертвы, — обобщает критик. — Поэтому полная физическая смерть не страшит их. Переход от безразличия к небытию». Особое внимание Гурвич обращает на то, «как формируется у Платонова образ коммуниста», и с этой целью подробно анализирует образ Саши Дванова: «Основная и едва ли не единственная черта Саши, определяющая каждый его шаг, — жалостливость. <...> Жалостливость Саши растворяет в себе всю его личность. Она становится его болезнью, единственным источником его восприятия и познания жизни. <...> Но жалость эта, этот гуманизм бесплодны. Платонов, как и его герои, не только не питает ненависти к страданиям, а, наоборот, жадно набрасывается на них, как религиозный фанатик, одержимый идеей спасти душу тяжелыми веригами. Страдающим он предлагает не помощь, а утешение». Вывод критика категоричен. «Кроткий, нищий, освободивший свою душу от всего личного для всего чужого» — таков у Платонова образ коммуниста: «Нужно ли доказывать, что платоновский “большевик” отличается от подлинного большевика как смирение от непримиримости, как отчаяние от гнева, молитва от действия, знахарство от науки, фанатизм от общественного самосознания...» «Так воспринимают мир почти все герои Платонова», и ничего другого, по словам Гурвича, писатель сказать не может: «... в “Происхождении мастера”, так же как и в рассказе “Такыр”, лишь только перед героем возникает “прозрачный, легкий и огромный” свет новой жизни, Платонов мгновенно немеет». Главное зло, которое несет в себе творчество Платонова, резюмирует Гурвич, это попытка вернуть «религиозное чувство» человека, «убитое» революцией. И тут критик абсолютно непримирим: «Было бы и дико и смешно сейчас, на пороге двадцатилетия Великой Октябрьской революции, возвращаться к азбучным истинам и доказывать, что <...> развитие духовной деятельности человечества требует в первую голову разгрома всяческих религиозных оков, уничтожения душевного религиозного дурмана, которому так подвластны обмороки, отчаяние, смиренная косность и беспамятная жизнь платоновских героев» (*Кр. новь*. 1937. № 10. С. 193–233).

Текст романа «Чевенгур» печатается по нормам современной орфографии и пунктуации, с максимальным учетом авторского решения, зафиксированного в автографе.

Диалектные и устаревшие слова включены в «Словарь областных и устаревших слов и технических терминов» настоящего тома.

При публикации романа сохранена во многом пунктуация автора: знаки препинания (запятые, тире), определяющие членение фразы (в том числе запятая между однородными сказуемыми, соединенными союзом «и»); обособление некоторых оборотов (распространенных обстоятельств, дополнений, однородных членов с союзом «или» и т. п.); ненормативная постановка двоеточия, знаков препинания при прямой речи и другие особенности, придающие фразе Платонова дополнительные смысловые оттенки. Исправлению подверглось только то, что не входит в систему авторских знаков: знаки препинания при однородных

членах, обособление вводных слов (при этом снято обособление слов, вводными не являющихся: «примерно», «приблизительно», «небось» и др.), оборотов с союзом «как»; пунктуация при сложных временных союзах («в то время как», «после того как» и т. п.), в сложносочиненных предложениях и др.

С. 5. *Чевенгур* — авторский топоним. Возможно, образован по аналогии с реальными населенными пунктами Воронежской и Тамбовской губерний; см.: «Название романа-города <...> лепится из бесконечных раскатистых: Богучар, Карачуры, Карачан, Чагоры, Карачун, Карабут...» (*Шубина Е.* Созерцатель и деятель: 1899–1926 // *Воспоминания*. С. 150). О соотношении города Чевенгур с реальным городом Богучар Воронежской губернии, бывшим до революции одним из центров сектантского движения федоровцев, о гидромелиоративных работах А. Платонова в Богучарском уезде см.: *Романов Е.* Богучарский коммунизм Андрея Платонова. Исторические исследования и публицистика. Воронеж, 2017. С. 45–59. О соотношении воронежских топонимов и вымышленных названий населенных пунктов, в том числе и города Чевенгура, см. также: *Алейников*. С. 137–144. Подробно о вариантах «расшифровки» слова «Чевенгур», фонетических и семантических ассоциациях см.: *Яблоков*. С. 199–201.

С. 7. ...*подкидывать подметки*... — подбивать, подшивать подметки.

...*для продажи на сельских старинных ярмарках*. — Ярмарки в России начали формироваться с XVIII в. и к началу XX в. стали неотъемлемой частью каждого российского региона. Проводились в губернских городах, уездных центрах, небольших уездных городах, крупных селах, как правило, в дни храмовых праздников несколько раз в год, обычно с конца весны и до начала осени. Главную статью продажи составляли мануфактурные изделия, скот и лошади, а также съестные припасы, бакалейные товары, овощи, семена, глиняная и деревянная посуда, сапожный товар, сельские деревянные произведения (колеса, телеги, лыко, пенька) (см.: *Бочарова С.Е.* Ярмарки Тульской губернии в XIX — начале XX века. Тула, 2016. С. 59–175; *Шингарев А.И.* Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежского уезда. М., 2010. С. 22–23).

...*он ~ звонил ночью часы*. — Имеется в виду, что Захар Павлович ударял в колокол, отбивая время.

С. 8. *Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай*. — Речь идет о явлении, называемом крестьянским отходничеством, серьезной причиной которого был неурожай: «Небывалые массовые передвижения отхожих рабочих из Воронежской губернии на юг (в Донскую область и на Северный Кавказ) осенью 1891 и в 1892 г., захватившие почти полмиллиона человек, при котором масса семейств покидала свои жилища и отправлялась “с целью прокормления” в полном составе искать заработков, были одним из следствий неурожая 1891 года и весьма плохих видов на урожай 1892 г.» (*Шаховской Н.В.* Земледельческий отход крестьян. СПб., 1903. С. 47–55). Неурожайными были 1867–1868, 1873, 1880, 1891–1892, 1905 и 1906 годы (см.: *Сорокин П.* Голод как фактор: Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. Сыктывкар, 2014. С. 322–323). Данные за 1881–1900 гг. по 50 губерниям Евро-

пейской России, подсчитанные на основе оформленных крестьянами паспортов, подтверждают, что с ростом населения увеличилось количество отходников: в 1881–1890-е гг. из 49 466 100 человек в отход уходило 4 946 610 жителей деревень, а в 1891–1900 гг. на 71 366 200 человек приходилось 7 136 620 отходников (см.: *Шаховской Н.В.* Земледельческий отход крестьян. С. 13). Массовый отход сельскохозяйственных рабочих происходит почти исключительно из центральной полосы Европейской России, например, в двенадцати уездах Воронежской области из 100 мужчин рабочего возраста 62 человека уходило в отход (Там же. С. 14). По данным 1916 г., 88% населения Воронежской губернии занималось сельским хозяйством. Крестьянство из года в год беднело: если в 1905 г. на одного едока приходилось 6,5 пудов хлеба, то в 1909 — 5,9 пудов (см.: Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. Воронеж, 1927. С. 3). Среди промыслов и занятий крестьянских отходников в городах в первую очередь назывались: «Ремесленники: каменщики, столяры, плотники, кузнецы, пекаря — 46,2% мужчин. Служащие и прислуга: служащие в банке и винных складах, приказчики и разносчики, сторожа и караульщики, кучера, конюхи, коровницы, повара, кухарки, домашняя прислуга, половые в трактирах, кормилицы — 28,3%. Рабочие: чернорабочие, рабочие на железной дороге, извозчики, ломовые извозчики — 25,0%» (*Шингарев А.И.* Вымирающая деревня. С. 77–79, 93). В целом в Воронежской губернии в 1910-е гг. наиболее распространены были сельскохозяйственные промыслы: «Чернорабочие, батраки, полетчики, пастухи, овчары, бахчевники, косари отправляются весной и летом на сельскохозяйственные работы в Донскую область и на Северный Кавказ. Кроме сельскохозяйственных рабочих, весьма заметную группу составляют *рудничные рабочие*, работающие в шахтах Екатеринославской губернии и Донской области, и *ремесленники*: бондари, каменщики, колесники, кузнецы, овчинники, печники, плотники, портные, пряжи, ткачихи, сапожники, столяры, тележники, ведерники, горшечники, кровельщики, шерстобиты и проч.» В 1911 г. «всего ушло на заработки из Воронежской губернии 158 952 человека, что составляет 4,8% всего населения губернии» (Отхожие промыслы в Воронежской губернии в 1911 году. Переселенческое и богомольческое движение / сост. А.Н. Меерков. Воронеж, 1914. С. 7, 18). См. также вступ. статью, с. 571–580 наст. изд.

...*один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки...* — Киев являлся «конечным пунктом усиленного богомольческого движения» (Отхожие промыслы в Воронежской губернии в 1911 году. С. 98). Очевидно, поэтому по дороге к Киеву нищие могли рассчитывать на большую милостыню. См. в рассказе «Странники» (1920): «Ходить было далеко и жарко, а хорошо — было видно поле и дорога, и по ней шли странники. В сердце поднималось томление, хотелось ему уйти, куда уходят каждый день люди с сумками и никогда не приходят домой» (*Сочинения, 1(1)*). С. 159). Луганск — город в районе Донецкого угольного бассейна, куда большое количество отходников шло работать на шахты рудничными рабочими (см.: *Шаховской Н.В.* Земледельческий отход крестьян. С. 45). Дед Платонова по отцу, Фирс Климентов, также работал на шахте и погиб при аварии (см.: *Ласунский*. С. 18).

...*дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать.* — О ранней гибели детей в деревне в 1900-е гг. см. у Шингарева: «Воронежский уезд

занимает одно из первых мест по смертности до одного года. <...> То же и по смертности детей до пяти лет. <...> Из тысячи родившихся детей третья часть умирает до одного года и *больше половины* не доживает до пяти лет»; среди причин смерти названы заразные болезни (дифтерит, скарлатина, оспа, корь, коклюш и др.), расстройство общего питания (*Шингарев А.И.* Вымирающая деревня. С. 172, 176).

Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать. — См. об этом в книге А.Н. Энгельгардта «Из деревни» (1897), автор которой вспоминал ответ бабы из Тверской губернии на вопросы комиссии, исследующей положение в деревне: «Конечно, грудной хлеба не просит, да ведь меня тянет тоже, а с пушного хлеба какое молоко, сам знаешь. И в кусочки ходить мешал: побольшеньких пошлешь, а сама с грудным дома. Куда с ним пойдешь? — холодно, тоже пищит. Теперь, как Бог его прибрал, волнее мне стало. Сам знаешь, сколько их Панфил настругал, а кормить не умеет. Плохо — Божья воля; да Бог не без милости» (цит. по: *Энгельгардт А.Н.* Из деревни. 12 писем. 1872–1887 / подг. А.В. Тихонова. СПб., 1999. С. 73. Серия «Литературные памятники»).

...сейчас в раю ветры серебряные слушает... — См. в стихотворении «Мальчик» (1920): «Снова шепчет вечер, тихий и печальный, / Серебряные струны в небесах поют...» (*Сочинения, 1(1).* С. 382).

Бобыль — крестьянин, «не владеющий землей не потому, чтобы занимался промыслами или торговлей, а по бедности, калечеству, одиночеству, небрежению, одинокий, бездомный, бесприютный» (*Даль*); «Обычно батрак, сторож, пастух. Бобылем могли называть и одинокого крестьянина, и того, у кого не было сыновей» (*Энгельгардт А.Н.* Из деревни. 12 писем. С. 683).

С. 9. *Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела.* — См. описание подобного явления в либретто «Епифанские шлюзы» (конец 1927–1928): «Кухонные мужики варят обед рабочим артелям в железных и даже деревянных кадках. (Под деревянными кадками тоже огонь.)» (*Сочинения, 2.* С. 337). Похожий физический опыт — варка яйца в бумажной емкости — описан в популярной книге Я. Перельмана «Занимательная физика», вышедшей еще до революции и много раз переиздававшейся в Советском Союзе в 1920-е гг.: «Причина кроется в том, что вода поглощает всю теплоту бумаги и не дает ей нагреться настолько, чтобы она могла загореться» (*Перельман Я.* Занимательная физика. Кн. 1. СПб., 1913. С. 104).

С. 10. *...любил рыбу не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти.* — В русской народной культуре бытовало «представление о рыбах как душах: беззвучность, немота — признак, соотнесенный с миром мертвых, сближающий рыбу и душу человека, отошедшего в мир иной...» (*Гура А.В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 746–747).

С. 11. *...его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте. ~ Над могилой рыбака не было креста...* — Традиционно в России людей, совершивших тяжкий грех самоубийства, не хоронили по православному обычаю на освященной земле деревенских кладбищ. Существовало поверье, что это может вызвать беду — неурожай или эпидемию. Видимо, поэтому рыбак и похоронен на краю погоста, у ограды, а на могиле его нет креста.

С. 13. *Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев...* — Речь идет о паломничестве к святым местам, которое было широко распространено не только внутри Воронежской губернии: «Имеющиеся в губернии монастыри (в г. Воронеже — Митрофаниевский, в Задонске — со святителем Тихоном Задонским и в Острогожском уезде — Дивногорский) привлекают ежегодно массы богомольцев, как из местных жителей, так и из других губерний», — но и далеко за пределами ее: «Жители нашей губернии совершают паломничество в г. Белгород Курской губернии, в г. Киев, в Саровскую пустынь Нижегородской губернии, в Троицко-Сергиеву лавру, в Св. Горы Старобельского уезда Харьковской губернии, на Афон и в Иерусалим. <...> Богомольческое движение в Киев начинается с Пасхи и после Пасхи достигает своего максимума». Количество богомольцев в 1911 г. по губернии составляло «6 667 мужчин и 14 037 женщин, всего 20 704 человека» (Отхожие промыслы в Воронежской губернии в 1911 году. С. 55–58, 98). Причины такого «значительного передвижения жителей» определялись по-разному: «Богомольческое движение есть одно из самых интересных бытовых явлений нашей народной жизни. Здесь и удовлетворение религиозных потребностей, и искание “ключей от счастья женского”, и своего рода экскурсии людей, утомленных однообразной беспросветной жизнью» (Там же. С. 164). См. также в стихотворении «Богомольцы» (1920): «Шел из Киева с сумою / Дед, и слезы на глазу. / Душу, думал, успокою, / Всем дорогу укажу» (Сочинения, 1(1). С. 292) и в автобиографии в сборнике «Голубая глубина» (1922): «В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге» (Там же. С. 479).

Малый колокол-подголосок начал звонить... — Церковные колокола разделяются на три группы: большие, средние и малые, что определяется их носительными весовыми характеристиками. Малые колокола именуются зазвонными (зазвонками), подзвонными (подзвонками). Иногда малые колокола составляют как бы подголосок средним голосам, ведущим основную музыкальную мелодию.

С. 14. *Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья.* — См. о муравьях в русских загадках: «Пришли мужички без топоров, срубили избу без углов» (*Даль В.И. Пословицы русского народа*. М., 2007. С. 805).

С. 15. *...человек произошел из червя...* — См. в статье «Ответ редакции “Трудовой Армии” по поводу моего рассказа “Чульдик и Епишка”» (1920): «Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. <...> Человек вышел из червя. Гений рождается из дурачка. Все было грязно и темно — и становится ясным» (Сочинения, 1(2). С. 69).

С. 16. *...крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба.* — Крестьяне из Воронежской и некоторых других губерний «ежегодно массами направляются в южную и юго-восточную степную черноземную полосу, обильную пажитями, но бедную рабочей силой» (*Шаховской Н.В. Земледельческий отход крестьян*. С. 18, 37).

Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист. — В связи с развитием в России железнодорожной

сети в начале 1900 г. увеличилось количество крестьян, искавших заработка на железной дороге (см.: *Шаховской Н.В.* Земледельческий отход крестьян. С. 45). С 1867 г. началось движение по Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороге, а с 1891 г. — по Московско-Киево-Воронежской ж.д. Помимо большого числа служащих всякого рода, в железнодорожных мастерских уже к 1885 г. сосредоточилось 735 рабочих, происходящих из крестьянских отходников (см.: *Татарчуков А.Н.* Исторический очерк профессионального движения в Воронежской губернии. Часть 1. До октября 1917 г. Воронеж, 1921. С. 12). Имелись и значительные выгоды, дававшиеся работой на железной дороге: возможность получать для себя топливо, керосин, ездить за продуктами (Там же. С. 21).

Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценки. — В дореволюционное время отношение к «мастеровым — людям с техническими навыками и знаниями» и чернорабочим — «в большинстве — обедневшим, бегущим из деревень крестьянам» было различным, что сказывалось и в «разнице в заработке» (см.: *Платонов А.* Дайте квалифицированных мастеровых (1921) // *Сочинения, 1(2)*. С. 158).

С. 18. *...разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! — Отклик на актуализированную в 1926–1927 г. политическую дискуссию об источниках индустриализации, союзе рабочих и основной массе крестьянства; см. в повести «Сокровенный человек» (1927) разговор слесаря железнодорожных мастерских Пухова и военного комиссара: «— Там — задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет! — Ну, а кто же тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар. — А ты думал, паровоз жлоб сгондбил? — А то кто ж? — Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!» (Сочинения, 2. С. 177). См. также в наброске: «Разговор мастерового металлиста с советским интеллигентом» (1927): «С крестьянами горе: за что ни возьмется — страшно: то ногу себе отдавит, то палец пришибет. Возьмешь и сам сделаешь: ну тебя, дескать, к черту...» (Там же. С. 435; см. также примеч. на с. 846–847). Выходцы из деревни на заводах и в железнодорожных мастерских в начале XX в. считались «сырой полукрестьянской массой», крестьянин, «не знающий своих сил, не чувствующий новых потребностей, представлял из себя живую, довольно непродуктивную рабочую машину» (*Татарчуков А.Н.* Исторический очерк профессионального движения в Воронежской губернии. С. 12, 18).*

С. 19. *...товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспийские, Закавказские, Уссурийские железные дороги.* — *Закаспийская железная дорога* построена в 1880–1891 гг. в Закаспийской области; первоначально начиналась на станции Узун-Ада на побережье Каспийского моря, впоследствии стала идти от Красноводска до Самарканда. В 1913 г. вошла в состав Среднеазиатской железной дороги. *Закавказская железная дорога* начала строиться в 1865 г. как Поти-Тифлисская железная дорога; в 1899–1908 гг. была построена линия Тифлис — Александрополь — Эривань — Джульфа. *Уссурийская железная дорога* заложена в 1891 г., должна была пройти от Владивостока по р. Уссури до оз. Ханка, с 1897 г. соединяла Владивосток и Хабаровск; после 1936 г. — Дальневосточная железная дорога.

С. 20. *Паруешь, Марь Матвевна? — Паруешь — отдыхаешь; от «паровое» поле — вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным.*

С. 21. *...на лишний рот лишний хлеб растет.* — См.: «Дал Бог роток сиротинке, даст и кусочек» (*Даль В.И. Пословицы русского народа. С. 318*).

С. 22. *...хлеба со Спаса не видим!..* — *Спас* — народное название православных праздников в России. Имеется в виду Третий Спас, называемый еще Хлебным, так как в этот день принято было выпекать хлеб из собранных в этом году злаков; праздновался 16 августа.

С. 25. *Через три недели, когда приемишь выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.* — В 1900-е гг. главнейшим местом найма отхожих рабочих являлись «местные рабочие рынки», то есть ярмарки, базары в уездных городах и селах (см.: *Шаховской А.Н. Земледельческий отход крестьян. С. 227–234*).

С. 28. *Под колокол ранней обедни...* — *Обедня* — в христианской церкви служба утром или в первой половине дня, литургия.

С. 31. *...чтобы переменилась погода, и когда будет месяц обмываться.* — Народная примета, связывающая новолуние и смену погоды; см.: «Молодой месяц обмывается» (*Даль В.И. Пословицы русского народа. С. 762*).

...звона к вечерне... — *Вечерня* — одна из главных служб суточного круга христианской церкви. Обычное время ее свершения — около девятого часа дня, считая от восхода солнца, то есть примерно время заката.

С. 33. *...никак не мог почувствовать бесконечности. ~ ...он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут,— ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо,— и на этом успокоился.* — См. в статье ««По родимому краю»» (1922): «...ясно мне: пространство, время, душа — все это вопросы техники, промышленности, а не философии» (*Сочинения, 1(2). С. 231*).

С. 34. *Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну по пище, жилищу они кое-как хлопочут,— ну а где у них инструментальные изделия?* — Отсылка к Священному Писанию; см.: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить... <...> Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец Ваш Небесный питает их» (*Мф. 6: 25–26*).

...природа, не тронутая человеком, казалась малопрелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. ~ Любые же изделия — особенно металлические, — наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. — Идеи создания «второй природы» занимают особое место в идеологическом контексте 1920-х гг. и философских исканиях Платонова; см. в неоконченной статье «Железная природа» (1920): «Человек и живая, зеленая органическая, эта природа — несовместимы. Человеку нужна, чтобы уцелеть, другая природа, родная ему, покорная и мощная, как машины, как сознание. <...> Уже надвигается на нас другой мир. Машина и энергия будут полей, лесов и океанов» (*Страна философов, 2005. С. 487*); см. также в статье «Да святится имя твое» (1920): «Машина трудом создана и труд производит. Она не только брат наш — она равна человеку, она

его живой удивительный и точный образ. Часто машина даже выше человека, так как она не знает утомленности, перебоев работы» (*Сочинения*, 1(2). С. 40).

С. 35. ...*болта в три осьмушки — под резьбу.* — Имеется в виду болт в три восьмых дюйма, примерно 0,96 см.

С. 36. *Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд.* — В конце лета и осенью празднуются (указано по старому стилю): 15 августа — Успенье Божией Матери, в русском земледельческом календаре связывается с концом уборки хлеба; 16 августа — Третий Спас (см. примеч. к с. 22 наст. изд.); 1 сентября — праздник памяти Симеона Столпника, известного своими аскетическими подвигами и самоистязаниями, по русскому земледельческому календарю конец уборки ржи, встреча осени; 8 сентября — Рождество Богородицы, вторая встреча осени, пасекин день; 11 сентября — праздник в честь преподобной Федоры, время дождей; 14 сентября — Воздвижение Креста Господня (см.: *Энгельгардт А.Н.* Из деревни. 12 писем. С. 683–697).

С. 39. *Железнодорожный значок* — эмблема Главного управления путей сообщения в России, которая появилась в 1809 г. и представляла собой скрещенные топор и якорь, символизовавшие сочетание железных дорог и водных путей сообщения; использовалась, в том числе, и как кокарда на головном уборе. Эмблема просуществовала до 1934 г., когда была заменена скрещенными французским ключом и молотком.

С. 41. *Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...»* — Судя по стилистике, фраза принадлежит массовой иностранной литературе конца XIX — начала XX в. или стилизована Платоновым под нее. В начале XX в. для привлечения народа к чтению выпускались серии дешевых книг, устраивались бесплатные библиотеки в городах и селах. Однако духовно-нравственная литература, значение которой отстаивали правительственные круги и консервативная часть общества, а также популярная естественно-научная литература, которую продвигали либерально настроенные земцы, читалась народом слабо. По данным отчетов публичных библиотек за 1909–1914 гг., популярностью среди читателей из народа в основном пользовалась переводная, прежде всего французская, литература, причем не столько произведения известных писателей: Э. Золя, А. Дюма, Ж. Санд, Ги де Мопассана, Э. Сю, сколько массовая беллетристика — проза уголовного, авантюрно-приключенческого и мелодраматического характера: романы о разбойнике Рокамболе П. Понсон дю Террайля, приключенческие романы Г. Эмара, исторические любовные романы Г. Марлитт, Г. Борна, детективные и исторические романы Ф. де Буагобе, бульварные романы К. де Монтепена и др. В библиотеках, как правило, находилось до 15–20 произведений этих авторов. Расцвет массовой литературы в России приходится на период после поражения революции 1905–1907 гг., основная ее проблематика выходит за пределы политики, ведущими темами являются уголовное преступление и взаимоотношения полов (см.: *Рейтблат А.И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по истории социальной социологии русской литературы. М., 2009. С. 62–81, 276–292).

Шпалопропиточный завод — предприятие, на котором использовалась педерова на начало XX в. технология антисептирования древесины под давлением раствором хлористого цинка. Первый шпалопропиточный завод был основан в 1876 г. в Нижнем Новгороде. В Воронеже завода такого профиля не было.

С. 42. *Папиросы «Землячок»* — возможно, народное название дешевых папирос «Земляк», выпускавшихся московской фабрикой «Дукат» (основана в 1891 г.). Пачка с 20 папиросами стоила 5 коп.

С. 43. *...наступила война.* — Первая мировая война началась в июле 1914 г.; 1 августа Германия объявила войну России.

Мастеровые остались к войне равнодушны — их на войну не брали... — В годы Первой мировой войны рабочие, служащие на железной дороге, были избавлены от воинской повинности (см.: *Татарчуков А.Н.* Исторический очерк профессионального движения в Воронежской губернии. С. 52).

С. 44. *Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества.* — Во время Первой мировой войны центральные и губернские газеты печатали сводки с фронтов, статьи и обзоры, посвященные военным событиям. 1 января 1916 г. газета «Воронежский телеграф» подводила итоги ушедшего года: «Еще один год канул в вечность — кошмарный год крови и слез. Какое чувство могли порождать зрелища разрушения сел и городов, музеев и библиотек, первобытно жестокая охота за пароходами, переполненными женщинами и детьми, удушливые газы, налеты аэропланов, смертоносные стрелы, жалящие старух и детей, — все, что “наука” принесла в дар богу войны и что стало обыденным, повседневым. Страшный год... Кровавый след оставит он в книге бытия, и долго еще человечество будет чувствовать на себе его мертвящее дыхание... <...> Разрушены Польша и Бельгия, насмерть ранена Сербия — за кем теперь очередь скитальцем брести далеко от родных очагов, ограбленных и разрушенных. Все новые и новые страны Европы втягиваются в мировую войну, все громче и злобнее раздается по ратным полям “красный смех”» (На рубеже // *Вор. тел.* 1916. 1 янв. С. 1. Б.п.). Каждый номер газеты «Воронежский телеграф» содержал раздел «Война» и подразделы: «Русский фронт», «Франко-бельгийский фронт», «Итальянский фронт», «Балканский фронт», «Турецкий фронт», передавались сообщения из Англии, США. Приведем лишь некоторые факты весны 1916 г.: «28 февраля вспомогательный крейсер “Фровет” потоплен миной у восточного побережья Британии, из состава команды погибли 2 офицера и 12 матросов» (1 марта. С. 3); «Русский фронт»: «...в районе острова Далена — сильная артиллерийская перестрелка, под Двинском, в районе Иллукота и Понежской железной дороги, противник бросал ручные гранаты, начиненные особым составом» (4 марта. С. 3); «Итальянский фронт»: «...неприятель энергично обстреливал в Тироле участок Фелла у Кольди-Лана, итальянские аэропланы сбрасывали бомбы над Триестом» (Там же); «Гибель французского миноносца»: «...эскадронный миноносец “Лерендей” утром 5 марта потоплен в Адриатическом море неприятельской подводной лодкой» (8 марта. С. 2); «Балканский фронт»: «...экономическое и политическое положение сербской территории, занятой неприятелем, является отчаянным. Женщины, как христианки, так и мусульманки, подвергаются надругательствам со стороны солдат. Болгары совершили бесчисленные убийства. Жители терроризированы безнравственным и

зверским обращением» (16 марта. С. 3); «На Черном море»: «Наши миноносцы уничтожили у берегов Анатолии 10 парусных судов, разрушили два моста и сожгли склад с боеприпасами» (Там же).

Вот из власти и выходит война...А я хожу и думаю, что война — это нарочно властью выдуманно: обыкновенный человек так не может...~ Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали! — См. мысли о войне и «умнейших людях» пришедшего с фронта гостя в повести «Ямская слобода» (1927): «Я на фронте был — там народ поголовно погибает... <...> Бабы ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтобы верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культияпой голове иную выдумку — и почнет дальше народ замертво класть!» (Сочинения, 2. С. 232).

Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась! — Лекарственные свойства нефти были известны с XII в.: масло из месторождения близ города Нафталан (совр. Азербайджан) использовалось в медицине. Во время Первой мировой войны в немецкой армии применялась ранозаживляющая мазь, в основе которой была нафталанская нефть.

С. 46. *...мало продают хлеба и нет нигде говядины.* — Война обострила продовольственный вопрос в городах: «К началу 1917 г. ржаной муки при обычном расходе таковой по 100 000 пудов в месяц, оставалось на один месяц. Управа не имела твердой уверенности в том, что город будет обеспечен в достаточном количестве даже ржаным хлебом» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. Воронеж, 1927. С. 7–8). Весной 1917 г. была введена хлебная монополия. Большая часть хлеба уходила на нужды армии: «В первый год войны потребовалось заготовить для армии около 300 млн пудов, во второй — около 500 млн пудов, в третий — один миллиард 300 млн пудов хлеба» (Вор. тел. 1917. 17 мая. С. 2). «Продовольственный вопрос в городе обостряется все больше, — сообщали газеты в начале осени 1917 г. — Уличные “хвосты” на базарах и у магазинов, в особенности хвосты хлебные, становятся с каждым днем длиннее и гуще...» (Воронежские злобы. IV. Хлебные хвосты // Там же. С. 3. Б.п.).

Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни. — Практически во всех русских народных утопических легендах «о далеких землях», то есть о «странах, в которых господствуют идеальные социальные отношения» и достигнуто «освобождение от всего, что веками гнетет, унижает, разоряет» (Чистов. С. 335, 338), присутствует образ озера или другого водного пространства: Китежская легенда «связана с заволжским озером Светлояр» (Там же. С. 340); «Беловодье мыслится как страна, отделенная морем» (Там же. С. 402); на берегу моря, по легенде, возникшей в XVIII в. в среде казаков-некрасовцев, стоит и «Город Игната», где нет «ни бедных, ни сирот, ни хворых» (Там же. С. 318); в начале XIX в. в приволжских и центральных губерниях России бытовали легенды о благословенном месте на «реке Дарье» (Там же).

С. 47. *Когда Саша попустил на вечерние курсы...* — Возможно, речь идет о курсах при железнодорожном училище. В 1869 г. правительством было принято решение об открытии технических железнодорожных училищ на средства горо-

дов, общественных организаций и частных лиц. В училищах готовили средний технический персонал для железнодорожного транспорта: машинистов, техников и мастеровых по ремонту подвижного состава и пути и пр. Преподавались как специальные, так и общеобразовательные дисциплины. В 1914 г. на железнодорожном транспорте имелось 42 технических училища. С 1912 г. появились училища службы движения, в которых готовили конторщиков, весовщиков, кассиров и пр. Принимались юноши в возрасте 17–19 лет. В Воронеже в 1878 г. был открыт первый класс четырехклассного железнодорожного училища.

С. 50. *Паровоз серии Ще* — паровозы серии Щ получили название в 1912 г. по фамилии профессора Щукина, возглавившего Комиссию подвижного состава и тяги; выпускались на Харьковском заводе. По сравнению с паровозами предшествующей серии Ш эти паровозы имели больший вес, более высокое давление пара, блочные цилиндры были заменены у них привалочными; они были более приспособлены для перевозки тяжелых грузов (см.: *Хмелевский А.В., Смушков П.И.* Паровоз. М., 1979. С. 5).

...ничуть не удивился революции. — Имеется в виду Февральская революция: 23 февраля — 2 марта (отречение Николая II) по старому стилю (8–15 марта — по новому). Революционные события в Петрограде, завершившиеся сменой государственной власти в столице, начались в конце февраля 1917 г. после отъезда Николая II в ставку (22 февраля). Смена власти на территории страны проходила на протяжении всего марта. После свержения монархии в России установилась власть Временного правительства. В городах повсеместно создавались органы новой власти. В Воронеже 1 марта был образован Комитет Объединенных Общественных Организаций, включающий представителей либеральной буржуазии, интеллигенции и рабочих. 4 марта рабочие отозвали своих представителей и создали Совет рабочих депутатов. Одновременно 4 марта власть берет в руки Городская Дума, которая создает Городской исполнительный комитет. 5 марта образуется еще Губернский исполнительный комитет; губернским комиссаром назначен В.Н. Томановский, помещик Задонского уезда. К 14 марта образовались волостные комитеты, в состав которых вошли представители прежней волостной администрации, в свою очередь крестьяне требовали создания своих волостных комитетов (см.: Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 9–14).

...у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет. — См. скептическое отношение к февральской революции героя повести «Ямская слобода» Захара Васильевича: «Новая власть не дурей старой, Прохор! Ты не думай — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках зажметя! Оно и верно — ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем — как была, так и останется!» (*Сочинения*, 2. С. 237).

Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе... — Имеется в виду ночь на 30 октября 1917 г., когда в Воронеже установилась Советская власть. Точно намеченного плана захвата власти именно 30 октября 1917 г. у Воронежского военно-революционного комитета, образовавшегося после получения первых сведений о перевороте в Петрограде и существовавшего нелегально, не было, и произошедшее 30 октября вооруженное столкновение

произошло не по плану и желанию комитета, а в связи с раскрытием в ночь на 30-е число заговора офицерства и комитета эсеров, намеревавшихся арестовать большевистский комитет и обезоружить большевистски настроенный 5-й пулеметный полк. Сведения о заговоре были получены в ночь, и по поручению ревкома председатель Венно-революционного комитета А.С. Моисеев выехал в 5-й пулеметный полк, где совместно с полковым командованием арестовал и обезоружил часть командного состава. Здесь и произошло вооруженное столкновение, в результате которого единственная реальная сила, в лице офицерства, могущая противостоять надвигающемуся перевороту, после получасового боя была разгромлена (см.: История Советской власти в Воронеже // *Вор. ком.* 1920. 7 ноября. С. 3–4. Подпись: *Н.Н.*; Октябрьская революция и гражданская война в Воронеже. С. 26–39).

С. 51. *Все партии помещались в одном казенном доме...* — Имеется в виду Дом народных организаций в Воронеже — бывший дом губернатора, возведенный в 1780 г. на Большой Дворянской улице (с 1918 г. — Проспект Революции): «Бывший губернаторский дом — Дом народных организаций — превратился поистине в народный дом. Он не только дает внутри своих стен приют революционным организациям, но и служит тем центром, куда ежедневно стекаются сотни и тысячи рабочего люда, который в февральские дни пробудился от мертвого политического сна и ищет теперь ответа на множество больных вопросов, внезапно вставших перед его взором, с жадностью ловит каждое слово, надеясь найти в нем ответ» (Клуб под открытым небом // *Воронежский рабочий.* 1917. 20 мая. С. 4. Б.п.).

В начале XX в. в России существовало большое количество различных партий, почти все они были представлены в 1917 г. в Воронеже: Российская социал-демократическая рабочая партия, разделившаяся на большевиков и меньшевиков; партия социал-революционеров — эсеров, в свою очередь разделившихся на правых и левых; партия кадетов, Трудовая народно-социалистическая партия, Партия народной свободы, Еврейская социал-демократическая партия. Наибольшим влиянием среди рабочих пользовались социал-демократы, с марта издававшие газету «Воронежский рабочий». После произошедшего в мае раскола РСДРП меньшевики заявили об образовании самостоятельной Воронежской группы. Летом 1917 г. она имела влияние в типографии и на механическом заводе Столля. Меньшевики также переживали расколы, образовались такие самостоятельные группы, как, например, меньшевики-интернационалисты, меньшевики Плехановского толка и др. В отличие от большевиков, которых меньшевики обвиняли в «готовности поворота от марксистской идеологии к элементарному бунтарству» (*Воронежский рабочий.* 1917. 20 мая. С. 2), меньшевики, как и эсеры, были готовы к сотрудничеству Советов и Временного правительства. Другая партийная группа — большевики — летом 1917 г. насчитывала более 150 членов, пользовалась влиянием на заводе Иванова и новом заводе «Рихард Поле», в Воронежских железнодорожных мастерских, а также в некоторых воинских частях. Значительную роль в партийном движении играла партия социал-революционеров (эсеров), в образованном Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов правые эсеры составляли большинство. Эсеры, призывавшие к объединению в Советах всех социалистических сил и передаче им власти, пользовались популярностью на тру-

бочном заводе, старом заводе «Рихард Поле» и заводе у Курского вокзала. Правые и левые эсеры принимали участие в издании газеты «Воронежский телеграф» — голосе партий кадетов и Трудовой народно-социалистической партии, выступавших за Учредительное собрание. Эти партии носили в целом буржуазный характер и поддерживали Временное правительство (см.: Октябрьская революция и гражданская война в Воронеже. С. 41–42; *Татарчуков А.Н.* Исторический очерк профессионального движения в Воронежской губернии. С. 24).

Торжество православия... — христианский праздник торжества церкви над ересью иконоборчества. Празднуется в первое воскресенье Великого поста. Праздник установлен в IX в. в Греции.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать. — Имеется в виду Российская социал-демократическая партия большевиков. Утром 30 октября вся власть в Воронеже находилась в руках Военно-революционного комитета во главе с членом губернского комитета большевиков А.С. Моисеевым (см.: Очерки истории Воронежской организации КПСС / под ред. А.В. Лосева. Воронеж, 1967. С. 128).

Сегодня только учреждения занимаем. — О необходимости во время вооруженного восстания в первую очередь занять и «ценой каких угодно потерь удержать» главные городские учреждения: «телефон, телеграф, железнодорожные станции, мосты», — писал В.И. Ленин в работе «Советы постороннего» (1917) (*Ленин. ПСС, 34. С. 383–384*). Наиболее важные пункты Воронежа: Дом народных организаций, почта, телеграф, телефонная станция, электростанция, вокзалы, военный склад и пр. — были заняты рабочей дружиной, состоявшей из рабочих вооруженных заводов и железнодорожных мастерских 30 октября (см.: Очерки истории Воронежской организации КПСС. С. 126, 128; История Советской власти в Воронеже. С. 4).

С. 52. Рабочие патронного завода вчера забастовали... — Патроны в Воронеже выпускали построенные в 1915 г. механические заводы «Рихард Поле старый» и «Рихард Поле новый», артиллерийские снаряды делались также на трубочном заводе (см.: *Поливанов А.С.* Революционные события в Воронеже в 1917 году. Воронеж, 1967. С. 7).

...в казармах произошел бунт. — Имеется в виду восстание в 5-м пулеметном полку, организованном в августе 1917 г. и являвшемся опорой большевиков (см.: История Советской власти в Воронеже. С. 3).

А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне. — Вооруженное выступление большевиков в Москве проходило с 25 октября (7 ноября) по 2 (15) ноября.

...кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие. — Как правило, в губернии для установления Советской власти руководители направлялись из центра. Так, в Воронеже председателем Военно-революционного комитета, у которого была власть в городе, стал Алексей Сергеевич Моисеев. Он не являлся уроженцем Воронежа, а был направлен ЦК РКП(б) в губернию летом 1917 г. из Петрограда.

С. 53. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить... — 27 октября (9 ноября) 1917 г.

«Декретом о печати» закрывались «органы буржуазной прессы»: «1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов» (*Декреты Советской власти*. Т. 1. С. 25). На смену им стали издаваться центральные и местные новые газеты (газета «Беднота», с 27 марта 1918 г. и др.), продолжали также выходить уже зарекомендовавшие себя издания: «Правда» (основана в 1912 г.), «Известия» (выходили с января 1917 г.). Только в Воронеже печатались: «Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских депутатов и Городского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов» (с мая 1917 г.); «рабочая солдатская и крестьянская газета» «Воронежская правда» (с 8 декабря 1917 г., орган Воронежского губернского комитета РСДРП(б); выходила тиражом в 1500–2000 экз.); ежедневная пролетарская газета «Воронежский красный листок» (с 28 апреля 1917 г.); «Воронежская коммуна» (с апреля 1917 г., выходила под названиями: «Воронежский рабочий», «Путь жизни», «Воронежская беднота»); «Известия Совета обороны Воронежского укрепленного района» (с 16 ноября 1917 г.), с декабря 1917 — «Известия Воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов»; «Известия областного военно-революционного комитета Донской области» (со 2 января 1918 г.); «Газета рабочей и крестьянской молодежи. Орган Воронежского губкома и РК РКСМ» (с марта 1918 г.); «Листок красноармейца» (с 14 апреля 1918 г.); «Известия Воронежского губернского продовольственного комитета при Воронежском губернском исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (с 18 июля 1918 г.) (см.: *Антюхин Г.В.* Очерки истории партийно-советской печати Воронежской области. 1917–1945. Воронеж, 1976. С. 16–25).

С осени 1917 г. в Москве, Петрограде, Киеве, Туле, Ярославле, Иркутске и других крупных городах большими тиражами издаются сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса: «Коммунистический манифест», или «Манифест коммунистической партии», «Буржуазное и социалистическое государство», «Капитал: критика политической экономии», «Наемный труд и капитал», «О коммунизме» и др. Текущие работы В.И. Ленина: «К гражданам России», «Резолюция Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», «Декрет о мире», «Ответ на запросы крестьян», «К населению» и др. — сразу печатаются в газетах «Рабочий путь», «Рабочий и солдат», «Правда» и «Известия» на первых страницах. Отдельными брошюрами на протяжении 1917–1918 гг. выходят статьи и речи Л.Д. Троцкого: «Что же дальше. Перспективы русской революции», «Организация Красной Армии», «Советская власть и международный империализм», «Слово русским рабочим и крестьянам о наших друзьях и врагах и о том, как уберечь и упрочить Советскую республику», «Труд, дисциплина, порядок спасут социалистическую Советскую республику», «Наше военное строительство и наши фронты» и др.

Так это анархия! ~ Это в тебе мелкий собственник говорит. — Представлено большевистское, ленинское неприятие анархизма как «защиты мелкой собственности и мелкого хозяйства на земле», «вывороченного наизнанку буржуазного индивидуализма», который «за 35–40 лет своего существования не дал ничего, кроме общих фраз против эксплуатации» (*Ленин В.И.* Анархизм и соци-

ализм. 1901 // *Ленин. ПСС*, 5. С. 377–378). Подробно об отношении Платонова к анархизму см. примеч. к с. 79 наст. изд.

С. 54. *Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...* — «Путешествие с пустым сердцем» — один из вариантов заглавия первой части романа. См. также в статьях Платонова 1921 г.: «Лучше всего быть никем, тогда через тебя может протекать все. Пустота не имеет сопротивления, и вся вселенная — в пустоте» («Чтобы стать гением будущего...» // *Сочинения*, 1(2). С. 155); «Бессознательность — душа художника. Он должен быть пуст, чтобы смог вместить все» (Вечер Некрасова в Коммунистическом университете // Там же. С. 178).

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в Политехнику. — Об открытии железнодорожных курсов воронежский журнал «Железный путь» дал объявление: «Внешкольным подотделом Главного культурно-просветительного отдела Юго-Восточных Советских железных дорог открыты Вечерние коммерческо-технические и общеобразовательные курсы, с бесплатным обучением. Курсы имеют целью дать слушателям теоретические познания по технической и коммерческой части эксплуатации дорог, а также имеют целью общее культурное развитие слушателей». Объявлялось, что будут преподаваться следующие «предметы: техническая эксплуатация движения, сигнализация, блокировка, поездная служба, вагонное хозяйство, учет пробега поездов, обмен вагонов, передача грузов, эксплуатация службы пути, коммерческая эксплуатация, перевозка пассажиров, багажа, грузов; условия перевозки, тариф, таксировка, станционное счетоводство, актовое и претензионное производство и т. п.». Кроме специальных предметов, в программе значились «общеобразовательные знания: политическая экономия, история социализма, история культуры, русская история, естествознание (история земли и человека по Дарвину), русский язык, арифметика, геометрия, физика и гигиена». Сообщалось также о том, что на курсы «принимаются в первую очередь все железнодорожные служащие и члены их семей, а затем все желающие» (*Жел. путь*. 1919. № 5. 1 янв. С. 18–19). В этом же номере рассказывалось о будущем Железнодорожном политехникуме: «Для работ по организации дорожного политехникума образована при О.П.С. специальная комиссия из пяти лиц. В первую очередь будут открыты пять специальных факультетов. Открытие состоится не позже 20 января 1919 года. Управлением округа уже получают отклики на открытие политехникума из среды железнодорожников, прошения о зачислении в список учащихся» (Там же. С. 19). В отличие от прежнего времени, когда «русские изобретатели в области железнодорожной техники, особенно те, которые не имели вывески “Инженера”, никак не могли добиться применения своих изобретений на железной дороге», «задачей настоящего момента является необходимость открыть широкий доступ всем, кто так или иначе может быть полезен для дела», для этого и открывается “Рабочий Политехникум”» (*Кольцов*. Техническое творчество // Там же. С. 13).

Партия его командировала на фронт гражданской войны — в степной город Урочев. — В романе отражен реальный факт биографии А. Платонова — его командировка в Новохоперск, не ранее 22 июля, после освобождения города от казаков, и до начала так называемого рейда генерала К.К. Мамонтова,

когда 4-й Донской конный корпус утром 10 августа прорвал фронт советских войск в районе Новохоперска (Антонова. С. 105, 308). Воронежским уездным военкоматом А. Климентов от пребывания в рядах Красной армии был освобожден — как железнодорожник и как рабочий-специалист (см. его анкету от января 1923 г. — Ласунский. С. 76). Однако в начале июня 1919 г. было принято решение об экстренной мобилизации культурных сил Воронежа для агитационно-просветительской работы в деревнях, на заводах и в казармах. Наиболее целесообразной была признана посылка людей группами в уездные центры. Комитетом Воронежского комсожура через публикацию объявления в газете «Известия Воронежского губисполкома» Платонов был вызван в редакцию газеты для «экстренного разрешения вопросов, связанных с посылкою в уезды» (см.: Ласунский. С. 78–79; Антонова. С. 105).

С. 55. *Город Урочев, пока ехал туда Дванов, был завоеван казаками... — Урочев — авторский топоним, который заменил реальный Новохоперск; см. об этом выше, с. 585–586 наст. издания. В период Гражданской войны территория Воронежской губернии, и в частности Новохоперского уезда, была захвачена казаками области Войска Донского, которая после революции стала автономной областью, не подчиняющейся Советскому правительству. В 1919 г. Новохоперск переходил из рук в руки несколько раз, являясь ареной противостояния 8-й Красной армии и Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) под командованием А.И. Деникина, в состав которых с января 1919 г. вошла Донская армия, объединившая в это время казачьи войска Дона и Кубани. Командующим ее с февраля 1919 г. являлся генерал-лейтенант В.И. Сидорин.*

...отряд учителя Нехворайко сумел их выжить из города. Всюду вокруг Урочева было сухое место, а один подступ, что с реки, занят болотами; здесь казаки несли слабую бдительность, рассчитывая на непроходимость. Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые. — Вероятно, в романе описывается эпизод Краснянского восстания, закончившегося взятием Новохоперска 22 июля 1919 г. Восстание против казаков, объявивших мобилизацию и потребовавших обеспечения фуражом, началось 7 июля 1919 г. в слободе Красненькой, находящейся в 12 км от Новохоперска; позже к восстанию присоединились ближайшие слободы: Пыховка, Бурляевка и Подосиновка, а также села: Троицкое, Каменка-Садовки, Некрылово, Хопр, Кутково, Елань-Колено. Повстанцы создали Краснянский военно-революционный повстанческий комитет (КВРПК), членами которого стали представители разных восставших сел: Н.М. Синопальников (Троицкое), Ф.М. Худов (Каменка-Садовки), И.П. Чернов (Некрылово) и др. Первый приказ КВРПК гласил: «Сегодня свершилось дело необычайной важности. Трудовое крестьянство сл[ободы] Красненькой не смогло снести позорного “мира” с “Черной Сотней” — деникинскими палачами, наемниками международной буржуазии, подняв знамя восстания против грабителей, душителей великой Федеративной Советской Республики, не смогло безучастно смотреть на “победы” Черной Сотни и “поражения” рабочих и крестьян, на гибель Революции и торжество помещиков и капиталистов. <...> Авангард контрреволюции — карательные отряды, оставленные для восстановления законного порядка — захвачен в плен партизанами

КВРПК, а сопротивляющиеся вырезаны». Успехи восставших, которые отбивали атаки и брали в плен белых, чередовались с поражениями, когда, как, например, 14 июля, в слободе и некоторых селах были взяты в плен заложники, сожжены дома и улицы. 22 июля войска Красной армии при поддержке повстанцев заняли Новохоперск, и на некоторое время наступление белых было приостановлено; см. телеграмму преудездревкома в Воронежский губисполком: «Новохоперск занят советскими войсками при поддержке повстанцев. В наступлении участвовали до 600 вооруженных повстанцев и до 3 тысяч без винтовок. Шли все, не исключая женщин. Противник бежал в дикой панике. Восстания крестьян происходили во всех селах. Сперва восстанием пытались руководить левые эсеры. Однако крестьяне все свои симпатии сохранили на стороне советской власти. Власть в большей части уезда восстановлена. <...> По всему фронту Новохоперского участка идет наступление. Уезд почти очищен от банд» (см. об этом: Восстание в слободе Красненькой (Рассказ повстанца) // Известия. 1919. 31 июля. С. 1. Подпись: *Повстанец П. Крук; Алексеев В.* Гражданская война в ЦЧО. Воронеж, 1930. С. 192–199; *Потапенко В.* Краснянское восстание. Воронеж, 1965. С. 5–70; Документы Краснянского восстания / публ. Я.В. Леонтьева // Крестьянский фронт. 1918–1922. Сборник статей и материалов. М., 2013. С. 307–329).

Учитель Нехворайко — прототипом героя мог стать Яков Степанович Базарный (1890–1938, репрессирован, расстрелян), происходивший из крестьян, учитель начальной школы, левый эсер, уроженец и участник партизанского движения слободы Красненькой Новохоперского уезда, в 1917 г. кандидат в Учредительное собрание по Воронежской области от организации эсеров, историк, публицист. Советские историки приписывали эсеру Базарному отнюдь не главную роль в восстании, однако, судя по материалам современных публикаций, он был одним из его руководителей, а на знамени КВРПК были написаны эсеровские лозунги: «1. Земля / Воля. / 2. Вся власть Советам! / 3. III Интернационал» (Документы Краснянского восстания. С. 324). «Для успеха обороны, борьбы и нападения» был создан «конный отряд повстанцев-партизан» (Приказ КВРПК № 3 от 7 июля 1919 г. // *Алексеев В.* Гражданская война в ЦЧО. С. 196).

Дванов сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего воша кипит на людях кашей... — Вопросами обмундирования красноармейцев занималась Комиссия при Совете Обороны по военному и вещевому снабжению Красной Армии, учрежденная 25 июня 1919 г. Однако в годы Гражданской войны, когда заводы, выпускающие хлопчатобумажные и другие ткани, не работали, проблема оставалась насущной; см. публикации местных газет «о сборе для Красной Армии теплых вещей и предметов обмундирования», в качестве которых назывались «валенки, полшубки, перчатки, чулки и портянки, зипуны, армяки» (*Вор. ком.* 1919. 20 окт. С. 4).

Ровесники Дванова сидели в клубе на базарной площади и усердно читали революционные сочинения. — Печать первых пореволюционных лет много внимания уделяла необходимости революционного просвещения населения, формирования знаний о политике новой власти: «Больше читайте революционной литературы, сильнее сплавивайтесь в мощную армию труда, и тогда только “просветится ваш ум и вы познаете истину”» (*Буханцов А.* Просветится ваш ум и вы познаете истину // Рабочий и крестьянин. 1919. 27 мая. С. 1–2). Помимо названных сочине-

ний Маркса, Ленина и Троцкого (см. примеч. к с. 53 наст. изд.), к 1919 г. не только в столицах, но и в провинции, в частности в Воронежской губернии, стали выходить издания, которые разъясняли читателю смысл революции, войны, советской политики и в которых «простым, понятным языком толково подводились итоги успехов и завоеваний рабочих и крестьян за год пролетарской революции» (*Вор. бед.* 1919. 17 янв. С. 4). О новых изданиях сообщала, например, на своих страницах газета «Воронежская беднота», где в разделе «Полезные книжки» назывались: «Путеводитель по рабочим организациям» З. Миндлина, «К итогам Октябрьской революции 1917–1918 гг. Сборник газеты “Голос трудового крестьянства”», басни Демьяна Бедного «Всякий Еремей про себя разумей» и «Правда и кривда»; брошюра В. Карпинского «Как тульский мужичок уму-разуму научился»; книга «О сельских коммунах» В. Мерзляковой; «Беседы по политической экономии» В. Яковлева (*Вор. бед.* 1919. 17, 25, 30 янв. С. 4) и др. Распространялись также материалы прошедшего в марте 1919 г. VIII съезда РКП(б), которые печатались отдельными брошюрами, например «Как коммунисты-большевики относятся к среднему крестьянству», «О союзе крестьян и рабочих» и т. п. (см.: Культурное строительство в Воронежской губернии. 1918–1928. Воронеж, 1965. С. 231). Показательно, что чтение революционной литературы происходит в клубе на базарной площади — традиционном центре дореволюционных городов, где обычно стоял храм.

Вокруг читателей висели красные лозунги... — См. лозунги в газетах: «Товарищи красноармейцы! Следите сами за собой и за своими товарищами! Сурово наказывайте всех своих развинченных, расхлябанных, нарушающих дисциплину и порядок товарищей!» (Воронежский Красный листок. 1918. 28 июня. С. 2); «Мировая революция надвигается. Наступает решительный час: будьте готовы умереть за торжество мировой революции!» (*Жел. путь.* 1918. № 2. С. 4); «С буржуазией можно разговаривать только одним языком — пулей и штыком» (*Вор. бед.* 1919. 5 июля. С. 3), «Смерть казацким бандам!» (Там же. 8 июля. С. 2); «Наша героическая армия кровью своей покупает нам хлеб и свободу. Красный тыл должен отдать все красному фронту, все до последней нитки, все до последней крошки!» (Там же. 12 июля. С. 1). В мае–июле 1920 г. Платонов, сотрудничая в газете «Красная деревня», сам участвовал в сочинении лозунгов; см., напр.: «Кому дорога кровь рабочих и крестьян, тот не оставит Красную армию в трудную минуту» (*Кр. дер.* 1920. 22 мая. С. 1); «Добровольцы! Замените павших и усталых в борьбе за освобождение рабочего класса! Влейтеесь в Красную армию, помогите ей добить раненого зверя — белую Польшу» (Там же. 13 июня. С. 1); «Красный солдат, не способный стать вождем-победителем, — не красный солдат» (Там же. 16 июня. С. 4) (цит. по: Антонова. С. 310–314).

...как доехать до губернии, Дванов не знал: говорили, что казаки заняли линию. — Казацки отряды активно действовали на железной дороге, препятствуя продвижению частей Красной армии; см.: «28 июня стало известно, что между станцией Лиски и разъездом Бадеево прервано телеграфное сообщение и взорвана часть пути. <...> При отступлении казаки взорвали рельсы на Донском мосту <...> — и это делалось с целью задержать стремительный натиск наших

героев» (Налет казаков (Рассказ очевидца-железнодорожника) // *Вор. бед.* 1919. 6 июля. С. 2. Подпись: *Железнодорожник*).

...несли остывшее тело погибшего *Нехворайко*, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе *Песках*. — *Пески* — село в Поворинском районе Воронежской области. Весной 1919 г. белогвардейцы из войска генерала Деникина, поддержанные местными торговцами и кулаками, на станции Поворино, в селах *Пески*, *Рождественское* и *Калмык* расстреляли члена Новохоперского уездного комитета партии *Сергея Калдаева*, коммунистов *Алексея Шилкина*, *Гаврилу Толстых* и *Федора Шиляева* (Летопись села *Пески* // URL: virtshkola.gupubl/3-1-0-55. Дата обращения: 14 июня 2020 г.). О судьбе прототипа *Нехворайко* *Базарного* см. выше.

С. 55–56. *Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции*. — Описывается обряд «красных похорон», призванный заменить традиционную церковную службу. На страницах губернской газеты «Известия Совета обороны Воронежского укрепрайона» 15–19 сентября 1919 г. печатались хроники «Похороны героев» с детальным описанием ритуала «красных похорон» – выступлением ораторов, оркестром, пением революционных песен (подробно об историческом, общекультурном и литературном контексте данного эпизода см.: *Корниенко Н.В.* «Сказано русским языком...» *Андрей Платонов* и *Михаил Шолохов: Встречи в литературе*. М., 2003. С. 212–221).

С. 56. *Классный вагон* — пассажирский вагон.

Разгуляевский разъезд — авторский топоним, в «Алфавитном указателе населенных мест Воронежской губернии» (Воронеж, 1925) не указан.

Красноармейцы-артиллеристы ~ две недели сражались под Балашовом... — Город *Балашов* (первоначально село, с 1780 г. — город) расположен на реке *Хопер* (приток *Дона*), на пересечении железнодорожных линий *Тамбов–Камышин* и *Поворино–Пенза*; в июле 1919 г. после продолжительных боев был взят белыми: «...под давлением противника нами оставлен *Балашов*» (*Вор. бед.* 1919. 13 июля. С. 1).

Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком»... — Имеется в виду книга, написанная в 1826 г. немецким писателем и философом-романтиком *Г. Вакенродером* «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные *Л. Тиком*». На русском языке издана в Москве в 1826 г., переиздана в 1914, перевод *С. Шевырева*, *В. Титова* и *Н. Мельгунова*.

Политком — должность военно-политического комиссара — члена партии большевиков, обладавшего в армии самыми широкими полномочиями, — введена при реорганизации Красной армии; первоначально, 8 апреля 1918 г., было создано Всероссийского бюро военных комиссаров, 18 апреля 1919 г. учрежден Политотдел РВСР (см.: *Таль Б.* История Красной Армии. Краткий общедоступный очерк. М.–Л., 1928. С. 58). В брошюре «Об обязанностях политических комиссаров», со ссылкой на общие положения по военному вопросу, утвержденные на VIII съезде РКП(б), разъяснялось: необходимо, чтобы комиссары

«прежде своего были носителями духа нашей партии, ее дисциплины, ее твердости и мужества, в борьбе за осуществление поставленной цели». Л. Троцким были составлены «Положения о военных комиссарах», в соответствии с которыми разграничивались положение и задачи партийных комиссаров и беспартийных военных специалистов из «бывших»: «Военный комиссар наблюдает за тем, чтобы армия не обособлялась от всего советского строя и чтобы отдельные воинские учреждения не становились очагами заговора или орудиями борьбы против рабочих и крестьян. Комиссар участвует во всей деятельности военных спецов»; «Вся работа происходит на глазах комиссара, но руководство специально военной областью принадлежит не комиссару, а работающему с ним рука об руку военному специалисту»; «Комиссары наблюдают за тем, чтобы все работники Красной армии сверху донизу совершали свою работу добровольно и энергично, чтобы денежные средства расходовались экономно и под строжайшим контролем, чтобы воинское имущество Советской республики охранялось со всей тщательностью...» (Троцкий Л. Об обязанностях политических комиссаров. Курск, 1919. С. 7–9).

«Наша надежда стоит на якоре на дне морском», — писал неизвестный военный странник и подписывал место размышления: «Джанкой, 18 сентября, 1918». — Источником надписи, возможно, послужили слова из старообрядческого сатирического листка XVIII в. «Известия новейших времен», в котором характеризуется наступившее «царство антихриста»: «Грех — умер. / Правда — пропала. / <...> Вера — в Иерусалиме осталась. / Надежда — на дне моря с якорем. / Любовь — больна простудой. / <...> Помощь — оглохла. / Совет — с ума сошел. / Честность — умирает с голоду» (Чистов. С. 197, 265). Джанкой — поселение начала XIX в., с 1870-х гг. — станция Лозово-Севастопольской железной дороги, с июля 1917 г. — город. В январе 1918 г. в Джанкое установилась Советская власть, в апреле 1918 г. свергнутая германскими войсками; с лета 1918 г. и до апреля 1919 г., как и во всем Крыму, в Джанкое находились войска Антанты.

С. 58. *Шкарино* — для названия станции использован реальный топоним Шкарин — хутор в Бобровском районе Воронежской области.

...белый броневик с Марьинского разъезда все время шел... — В боях с бандами Мамонтова за город Воронеж 4–13 сентября 1919 г. участвовал бронепоезд белых, который обстреливал советские войска (см.: Дни грозовые: Воронежская организация КПСС в годы Гражданской войны. 1918–1920 гг. Документы и материалы. Воронеж, 1960. С. 128). Марьинский разъезд — для названия использован реальный топоним Марьино — село в Воронежском уезде, деревня в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

Поворино — поселок и железнодорожная станция в Воронежской губернии.

С. 59. *...его книжка была открыта на описании Рафаэля; Дванов посмотрел в страницу — там Рафаэль назывался живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря. — Отсылка к книге В. Вакенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком» (см. примеч. к с. 56 наст. изд.), первая часть которой «Отрывки о живописи и вообще об искусстве» начинается рассказом о Рафаэле, «как солнце блистающем между всеми живописцами»*

(Вакенродер В. Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1914. С. 4). По мнению автора, «лучезарные лики» «небесного» Рафаэля, которые появились на заре живописного искусства, в последующие периоды развития живописи уже не могли повториться (Там же. С. 85, 122).

С. 60. ...какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный... — Завалишный — авторский топоним; возможно, образован от реальных названий населенных пунктов Воронежской губернии — села Завального Усманского уезда или села Завальского Острогожского уезда.

Лиски — крупный железнодорожный узел в Воронежской области.

С. 61. ...он испугался уйти со своего паровоза, потому что его бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. — См. Постановление V Всероссийского съезда Советов об организации Красной Армии от 10 июля 1918 г.: «Рабочая и Крестьянская Красная Армия должна быть построена на основе железной революционной дисциплины. Гражданин, который получил оружие от Советской власти для защиты интересов трудящихся масс, обязан беспрекословно подчиняться требованиям и приказам <...> командиров. Хулиганские элементы, <...> шкурники, трусы и дезертиры, которые покидают боевые посты, должны караться беспощадно» (Декреты Советской власти. Т. 2. С. 543).

С. 64. В Лисках он влез в поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. ~ Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть! Мы очень ее любим!» — В истории Гражданской войны выделяется несколько военных кампаний обороны Царицына: июль–сентябрь 1918 г., сентябрь–октябрь 1918 г., январь–февраль 1919 г., май 1919 — январь 1920 г. В романе, видимо, упоминается последняя, когда в мае–июне 1919 г. в результате очередного наступления войск белой армии Красная армия оставила город, который был взят войсками П.Н. Врангеля. Царицын пал 30 июня 1919 г. 4 июля в город прибыл Деникин. В этот день газета «Воронежская беднота» открывалась сообщением: «Волга вновь в опасности. Пал Красный Волгарь — Царицын. <...> Выровняем свой Воронежский фронт. Освободим нашу губернию от разгула казацко-калмыцких кнутов. И тем поможем <...> Красному Царицыну освободиться от палача Деникина» (Вор. бед. 1919. 4 июля. С. 3. Подпись: А. Молотов). Окончательное взятие Царицына Красной армией произошло только в январе 1920 г.

Мы любим смерть! — Условия Гражданской войны не давали интернациональным частям Красной армии, сформированным по национальному принципу из латышей, китайцев, венгров, «другой участи, кроме победы или добровольно избранной смерти: их не брали в плен белогвардейцы»; см. «Обращение» генерала Деникина к «обманутым русским людям», где жирным шрифтом были набраны слова: «...нам не жалко латышей и китайцев» (Вор. тел. 1919. 20 сент. С. 1. Цит. по: Алейников. С. 109). См. также в китайском философско-культурном контексте отношение к смерти, где она рассматривалась как неизбежность, которой не следует бояться: глагол «умереть» в китайском языке описательно выражается словами *цзин мэй*, т. е. «спокойно спать», а понятие «смерть» — словами *чан-цин*, т. е. «долгий сон». После смерти душа не навсегда уходит из

тела, ее существование продолжается (см.: *Георгиевский С.* Ворование в продолжение существования души человека после его смерти // Все о Китае: в 2 т. / сост. Г.И. Царева. М., 2001. Т. 1. С. 430–432). В то же время в конфуцианстве осуждается «бравирование смертью», которое присуще «людям, посвятившим себя оружию, рано привыкшим упражнять свои силы, испытывать мужество, презирать опасность», они «считают для себя почетным в самых опасных случаях не принимать мер предосторожности и казаться бесстрашными» (*Георгиевский С.* Конфуцианство // Там же. Т. 2. С. 24–25).

Дванов заболел тифом, который повторялся, не покидая тела больного восемь месяцев... — Во время Гражданской войны особенно распространенной болезнью был тиф — сыпной, брюшной, возвратный и др.; см.: «Заболеваемость сыпным тифом в настоящее время приняла эпидемический характер на территории Советской республики. Условия времени создали благоприятную почву для развития и распространения сыпного тифа. <...> ...самый разгар эпидемии падает на март, апрель и май» (Что такое сыпной тиф и как можно уберечься от заражения им // *Жел. путь.* 1919. № 6. С. 18. Подпись: *Медик Пролетарий*); «...старший санитарный врач губздравотдела высказался по вопросу об увеличении в городе за последнее время заболеваний сыпным тифом и холерой. Опасность сыпного тифа <...> для Воронежа велика. По имеющимся в губздравотделе сведениям, за истекший год эпидемии сыпным тифом заболело до 10 000 человек...» (*С-кий И.* Опасность сыпного тифа и холеры // *Вор. ком.* 1919. 29 ноября. С. 2); «В Никольской волости Нижнедевицкого уезда население поголовно лежит в тифу; с 27 января по 29 марта с.г. умерло 251 человек, на работу по засеву полей почти некому выходить» (*Народ гибнет* // *Кр. дер.* 1920. 22 апр. С. 4. Б.п.).

С. 65. *...учусь на курсах!..* — В рамках культурно-просветительной работы в Воронеже были «образованы школьные советы и коллективы, ученические кружки и клубы. Открыты учительские курсы» (Вторая конференция коммунистов Юго-Восточной Советской железной дороги // *Жел. путь.* 1919. № 9. С. 15). Одногодичные педагогические курсы при 1-й учительской семинарии начали работу 10 мая 1919 г., принимались лица в возрасте от 17 лет. На курсах преподавались история социализма, политическая экономия, учение о праве и государстве в связи с Советской конституцией, история России и Западной Европы XIX в., история русской и западной литературы, математика, физика, химия, ботаника, астрономия, родиноведение и другие предметы (см.: *Культурное строительство в Воронежской губернии (1918–1928).* С. 197).

Эпизод имеет и автобиографический характер. Педагогическое образование получила невеста Платонова М.А. Кашинцева: в августе 1921 г. она перевелась со словесного отделения филологического факультета Воронежского университета на педагогическое отделение факультета общественных наук. В том же году она была командирована в качестве учительницы в деревню Волошино Воронежской области. Перед поездкой Мария Александровна прошла специальные трехнедельные курсы, где «обучали преподаванию звуковым методом и натаскивали по части общения с мужиками и бабами» (см.: *Ласунский.* С. 96).

С. 66. *Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сдает сладкий пирог. ~ я стану учительницей детей и они начнут с ма-*

полетства уметь. — В основу школьного образования в Советской России было положено «Положение об организации дела народного образования в РСФСР», опубликованное 23 июня 1918 г. в газете «Известия»: «Цель школы — дать гармонически развитую личность, дать человека-гражданина, что достижимо лишь при условии осуществления принципов светской, трудовой, свободной и единой Школы-Коммуны» (цит. по: *Жел. путь.* 1918. № 1. 22 сент. С. 6). На учителей новой властью возлагались большие надежды. «Граждане учителя и учительницы, сбросьте же, наконец, с себя старое, изношенное, истрепавшееся во лжи и обмане платье и наденьте новое, чистое, светлое...» (Рабочий и крестьянин. 1919. 16 мая. С. 1). См. описание коммунистической педагогики, призванной воспитать нового человека, в статье «Луначарский» (1920): «Он руководит работой перевоспитания, перераспределения буржуазной звериной, темной толпы в человеческое счастливое самосознующее общество. Трудовые школы — это могилы ветхого человека, это матеря нового, радостного, могущественного существа. Воспитание, которое теперь получает каждое дитя, это та отделка, то достижение желательной формы души, какая получается трудом учителя над туманным, колеблющимся сознанием ребенка» (Сочинения, 1(2). С. 51).

Дванов представил себе тьму над тундрой, и люди, изгнанные с теплых мест земного шара, пришли туда жить. ~ Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и вдаль терпеливо уходила пустая дорожка. — В мечтаниях Дванова нашли отражение грандиозные проекты изменения климата путем инженерно-технических мероприятий, популярные в 1920-е гг. (см. примеч. к повести «Город Градов» // Сочинения, 2. С. 597). О «решении великого вопроса об утеплении стран» см. в статье «Об улучшениях климата» (1923, 1926): «Я подсчитал (грубо, конечно), что, чтобы разморозить восточную часть Сибири, нужно два золотых миллиарда рублей. Это немного. <...> Работа заключается в канализации теплых течений в Сибирь через горные массивы и такой же канализации холодных потоков с ледяной пылью из Сибири в пустыню Гоби, где есть места, где никогда не бывает и не было осадков... <...> Размороженная Сибирь! Теплая страна на берегу Ледовитого океана! Это должно стать лозунгом Советского Союза, страны великого напора на историю и природу, страны хронических великих работ» (Сочинения, 1(2). С. 307–308). См. также фрагмент о Сибири в «Строителях страны»: «...Дванов вообразил Сибирь. Он мечтал отеплить ее климат с юга — через сквозные воздушные каналы в горах, чтобы превратить Сибирь в Советскую Америку» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 376).

С. 67. *Предгубисполкома* — председатель исполнительного комитета губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. В соответствии с Конституцией 1918 г. исполнительные комитеты считались «законодательными, распорядительными и контролирующими органами Советской власти» (Конституция. Раздел 3. Конструкция Советской власти. Глава 12. Статья 62 // *Декреты Советской власти.* Т. 2. С. 554–561).

...чертил ветряной двигатель, который будет тянуть за веревку плуг и пахать землю под хлеб. — См. упоминание о ветродвигателе, созданном рус-

ским изобретателем и авиационным конструктором А.Г. Уфимцевым, в статье «Питомник нового человека» (1927) (*Сочинения*, 2. С. 375, 802). См. также описание ветроплуга в наброске Платонова «Ветер-пахарь <2>» (1929): «...модель сложной ветряной мельницы, высотой в полметра. <...> Самое мельничное рабочее колесо имело много лопастей, такие мельницы устраиваются в Америке. От главного вала шел вниз вертикальный стоячий вал. А внизу, на площадке, устроен был барабан-лебедка. Эту лебедку мог вертеть стоячий вал. Верхний главный вал был еще сцеплен со стоячим валом коническими шестернями, и такими же шестернями передавалось движение на лебедку. Вся ветряная машина стояла на платформе, а платформа имела, как телега, четыре колеса» (*Сочинения*, 4(2). С. 406). В рассказе «Ветер-хлебопашец» (1944) также описан пашущий ветряной двигатель: главной деталью его является веревка, накрученная одним концом на вал, который крутит жернов на ветряной мельнице, а другим — присоединенная к плугу; мельница работает и плуг пашет.

...в кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается... — Увеличение массы тела при увеличении скорости его движения — один из постулатов теории А. Эйнштейна. В архиве Платонова сохранилась книга Ш. Нордманна «Эйнштейн и Вселенная» (*ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 5. Ед. хр. 259), где, в частности, говорится: «Размеры тела, его форма, видимое пространство, занятое им, зависят от его скорости» (*Нордманн Ш. Эйнштейн и Вселенная*. М.–Пг.: Издательство А.Д. Френкель, 1923. С. 50).

С. 69. *Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится...* — См. статьи Платонова 1920–1921 гг., в которых коммунизм видится как близкое будущее: «Коммунизм из мысли, из желания коммунизма скоро станет живой видимой вещью, которая сделает самую мировую действительность коммунистической, земной шар станет коммунистом, потому что мы его изменим» (*Коммунизм в материи // Антонова*. С. 532); «Коммунизм вышел из капитализма и поэтому сохранил многие его черты и особенности. <...> С этим надо кончить. Прошлое надо отрубить от грядущего, раз навсегда забыть вчерашний день, сделать человеческий мир действительно коммунистическим» (*Воспитание коммунистов // Сочинения*, 1(2). С. 62); «Засуха ускорит пришествие коммунизма, засуха, в конечном счете, усилит и побратает людей, ибо всякая катастрофа есть причина всякой организации...» (*Новое евангелие // Там же*. С. 192).

Теоретики коммунизма подчеркивали, что высшая, коммунистическая форма организации общества сложится постепенно и не скоро, а только после победы мировой революции; см.: «1) Это должно быть общество *организованное*, оно не должно иметь анархии производства, конкуренции частных предпринимателей, войн, кризисов. 2) Это должно быть общество *бесклассовое*, оно не должно состоять из вечно враждующих друг с другом половин, оно не может быть обществом, где один класс эксплуатируется другим классом. А таким обществом, в котором нет классов и где все производство организовано, может быть *только товарищеское, трудовое коммунистическое общество*» (*Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма*. М., 1920. С. 56). В то же время печать революционной эпохи представляла коммунизм как дело ближайшего будущего; см.: «Мы подошли сейчас вплотную к вопросу о коммунизме. Насколько раньше мы

только боролись за свое существование <...>, настолько теперь нам предстоит бороться за коммунистический строй против строя буржуазного и мелкобуржуазного уклада жизни» (*Вор. ком.* 1920. 12 дек. С. 1); «Все силы, все внимание съезд отдал делу скорейшего уничтожения хозяйственной разрухи, делу закладки основы, на которой прочно установится коммунистический строй» (Что сделал 8-й Съезд // *Кр. дер.* 1921. 4 янв. С. 1. Б.п.).

Оказалось, Союзу с подругами выпускали с курсов досрочно, потому что в деревне собирались банды из неграмотных людей и туда посылались учительницы наравне с отрядами Красной Армии. — См. в печати сообщения с мест, рисующие картину растущего в Советской России бандитизма: «Шайки разбойников — десять человек, сотня, в редких случаях больше, отщепенцы крестьянской и городской среды, предавшие интересы своих братьев — рабочих и крестьян, потеряв облик человека, с печатью Каина бродят из волости в волость, из уезда в уезд и всюду несут с собой разрушения, насилие и грабежи» (*Прибытков С.* Бандитизм должен быть истреблен // *Вор. ком.* 1920. 14 окт. С. 1); «На Бобровский и Новохоперский уезды нагрянули банды убийцы и разбойника Антонова. Карающая рука Красной армии уже занесена над ними», «крестьянство должно помнить, что убийца Антонов со своими опричниками был и остается только убийцей. Других задач и целей, кроме грабежа и убийства, Антонов не ставил и не ставит себе» (К крестьянам Воронежской губернии // Там же. 17 окт. С. 1). О жизни посланных в деревни учительниц сообщала местная печать. Встретив «на вокзале знакомую учительницу, ездившую в Воронеж за партийной литературой», корреспондент газеты передавал ее рассказ: «Главное — темнота. Темнота ужасная, изумительная. Пьянство, невежество, разбои, болезни. Крестьянская беднота хорошо относится, кулачество агитирует против меня» (*Алист М.* Из городских скитаний. Деревня // Воронежский красный листок. 1918. 19 июля. С. 2). Сохранился автобиографический рассказ М.Ал. Платоновой, посвященный учительнице Варе Крашеной, которую завгубоно посылает на работу в школу в район, который «не совсем очищен от банд» (*ИМПЛ.* Ф. 629. Оп. 4. Ед. хр. 143. Л. 1–5).

С. 70. *С водоразделов Россия казалась Дванову ненаселенной, но зато в глубинах лоцин и на берегах маловодных протоков всюду жили деревни,* — было видно, что люди селились по следам воды, они существовали невольниками водоемов. — См. у Платонова об особенностях заселения Черноземной области: «Область расположена в глубине континента, она страшно бедна открытыми водоемами. Кроме Дона, главной водной артерии области, почти все реки заболочены... <...> Гидрологическая бедность обусловила собою способ заселения области. Села расположились и разрослись в древних долинах рек — у природной воды. Огромное большинство населения живет в многодворных поселениях, где число дворов достигает 1000 и выше» (Страна бедняков (Очерки Черноземной области) // *Сочинения*, 1(2). С. 286).

С. 71. *Вчера же был вечер, субъект-человек!* — «Субъект» и «объект» — базовые понятия в философии, по отношению к которым определяется любая философская система. Платонов обыгрывает частое употребление этих слов в 1920-е гг.; см., напр.: «Здесь субъект, чувствительный от природы, после легких потрясений фронтовой жизни проявляет склонность к быстрым разрядам аффек-

та» (*Бугайский Я.* Психические ненормальности и хулиганство // *Кр. новь.* 1927. № 5. С. 172); «В. Иванов отражает и организует те группы, которые обречены на то, чтобы быть объектами в истории и которым уже не суждено стать субъектами истории» (*Гроссман-Роцин И.* Без мотивов и без цели («Ночь» и «Особняк» Всеволода Иванова) // На литературном посту. 1928. № 20–21. С. 45).

В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев. — *Сельсовет* — сельский Совет рабочих и крестьянских депутатов, местная низшая власть, созданная вместо административных и земских органов самоуправления; по Конституции 1918 г. Советы депутатов образуются в селениях «по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на каждое селение. Срок полномочий депутата — 3 месяца» (Конституция. Основной закон Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Пг., 1918. Ст. 57. С. 11).

...сажать московских переселенцев. — В соответствии с декретом о земле, принятым на Втором всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г., «вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. <...> Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. Организацию переселения, равно как и расходы по переезду и снабжение инвентарем и проч., должно взять на себя государство» (*Декреты советской власти.* Т. 1. С. 19). См. также раздел «Переселение» в «Основном законе о социализации земли», принятом 27 января (9 февр.) 1918 г.: «В случае, если запасный фонд свободных земель окажется недостаточным в данном поясе для дополнительного наделения малоземельных, то часть их может быть переселена в другой пояс, где имеется достаточное количество свободных земель», «переселению из одного пояса в другой должно предшествовать расселение земледельцев внутри этого пояса» (Статьи 27, 28 // Там же. С. 414–415).

Он думал о времени, когда заблестит вода на сухих, возвышенных водо-разделах, то будет социализм. — См. в статье «Вода — основа социалистического хозяйства (Сила речного подпертого потока как основа энергетики хозяйства будущего)» (1923): «...на смену топлива идет гидравлическая энергия, которая в состоянии дать нужное силовое основание для промышленности и сельского хозяйства коммунистического общества. Вода — основа социализма» (*Сочинения, 1(2).* С. 254).

Слобода Петропавловка — на территории Воронежской губернии находилось несколько населенных пунктов с таким названием: слобода Петропавловка в Бобровском, Острогжском и Богучарском уездах, имелись также хутор Петропавловка в Россошанском уезде и деревня Петропавловка в Воронежском уезде (см.: Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 81).

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. — Имеются в виду камни-валуны, о которых, характеризуя природу Воронежского края, писал профессор А.А. Дубинский: слои меловых отложений «на большой площади губернии плащеобразно прикрыты ледниковыми наносами. Петрографически эти последние отложения выражены валунными глинами

и песчаными, так называемыми флювно-гляциальными отложениями. Основная граница ледниковых отложений, содержащих эрратические валуны и гальку, проходит по линии Старая Криуша, Павловск, Подгорная, Бирюч». Текст иллюстрировался фотографией с подписью: «Крупные округлованные ледником камни-валуны в бывш. Задонском у.» (Воронежский край. Природа. Сельское хозяйство. Промышленность. Просвещение. Здравоохранение. Воронеж, 1928. С. 13).

Надо же вас на чистую воду в степь выводить! — Игра слов: фразеологизм «*вывести на чистую воду*» означает разоблачить, выяснить истинные намерения.

С. 73. *Оказывается, этот человек считал себя богом, и все знал. По своему убеждению, он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость — надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали.* — См. в рассказе «Тютень, Витютень и Протегален» (1922): «Тютень считал себя богом и потому был покоен, доволен и благ» (Сочинения, 1(1). С. 218); см. также рассказ о «пришествии бога в слободу» Богучарского уезда Воронежской губернии в очерке «Григорий с Умственного хутора (Эпизод)» (конец 1928 — начало 1929 г.): «Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его действительно светился нимб беловатого огня» (Сочинения, 4(2). С. 26).

...раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость... — См. в статье «Хлебные богомольцы» (1922): «Глина, чернозем, гниющие стебли, галька на донском берегу — все это есть хлебушек, только молодой, не шумевший еще колосом» (Сочинения, 1(2). С. 209).

Вот объявлю в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и поверят. ~ А в другую ночь раздам обратно — и большевистская слава по чину будет моей. — Отсылка к принятому в 2 часа ночи 26 октября 1917 г. «Декрету о земле»; см.: «Помещицья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа»; «Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней» (Декреты Советской власти. Т. 1. С. 17–18).

С. 75–76. *Ей тогда удобней разверсткой крыть! ~ Да мужики тоже так говорят, — соглашался Поганкин. — Ай кто стерпит муку такую нестерпимую!* — Разверстка, то есть подразверстка, — система заготовок сельскохозяйственных продуктов, которая заключалась в обязательной сдаче государству крестьянами по конкретным ценам так называемых излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Применялась в период Гражданской войны и военного коммунизма в 1918–1920 гг. Вначале подразверстка распространялась на хлеб и зернофураж; в заготовительную кампанию 1919–1920 гг. она охватила также картофель, мясо, а к концу 1920 г. почти все сельхозпродукты. Осуществлялась органами Нар-

компрод — продотрядами, создававшимися преимущественно из рабочих. Сбор продразверстки подчас сопровождался жесткими мерами по отношению к крестьянам; см., напр.: «...выполнение продразверстки производилось так: с начала села идут продработники и весь обнаруженный хлеб до зерна забирают, не считаясь, выполнил ли крестьянин продразверстку или нет» (Так ли надо? // *Кр. деп.* 1921. 4 февр. С. 3. Б.п.). В марте 1921 г. решением X съезда РКП(б) продразверстка была заменена продналогом.

С. 76. *Слобода Каверино* — на территории Воронежского уезда имелось два села с названием Каверино, в Большой Верейской и Подгоренской волостях (см.: *Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии.* С. 39).

Но видно, что река умирала: ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотами стояла уже ночная тоска. — См. в статье «Река Воронеж, ее настоящее и будущее» (1923) описание «заболоченной (и все более заболочивающейся) поймы реки Воронеж»: «Некогда многоводная, сильная река одряхла, истощилась, сошла до поганой лужи. И в значительной степени это случилось оттого, что человек приложил к реке свою руку. У нас, заодно сказать, вообще здоровая вода не ценится, река, дескать, дело вечное, а ведь вода так же необходима и ценна, как и хлеб» (*Сочинения, 1(2).* С. 251).

С. 77. *Есть в далекой стране ~ Но досталось врагу...* — Автограф романа сохранил первые варианты текста песни: «Той порой / Золотой / Черный ворон прокричал»; «Есть в далекой стране, / На другом берегу; / Что нам снится во сне...»; «На другом берегу, / В дивной страстной стране, / Я свободу найду, / Что мне снилась во сне» (*Архив, 2.* С. 151). Фрагмент, где эту «волнующую песню» позже поет Саша Дванов, был сокращен (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 497).

С. 77–78. *Кройся, яблочко, / Спелым золотом, / Тебя срежет совет / Серпом-молотом... ~ Ни советам, ни царям, / А всему народу...* — Отряд поет популярную частушку Гражданской войны «Яблочко», исполнявшуюся как «красными», так и «белыми» и известную во множестве вариантов. Новые куплеты частушки появлялись во время Гражданской войны, рожденные каким-либо событием; см.: «Слава Богучарского полка разнеслась далеко за пределы Воронежской губернии. Его имя наводило панику на казачьи части, недаром казаки составили новый куплет к знаменитому “Яблочку”: “Эх, казак, куда котишься, / К богучарцам попадешь, / Не воротишься”» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 81). В повести «Сокровенный человек» приводится еще один вариант частушки: «Мое яблочко / Несолоное, / В море черное / Уроненное...» (*Сочинения, 2.* С. 174). В советской литературе 1920-х гг. мотив «Яблочка» являлся одним из повторяющихся элементов; политические частушки, созданные на основе плясовой «Эх, яблочко», включались в тексты практически всех повестей и романов о революции и Гражданской войне с разными эстетическими и идейными задачами (подробно об этом см.: *Корниенко Н.В.* «Сказано русским языком...») Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. С. 130–147).

С. 78. *Выезжайте сами сюда ~ кулацкая гвардия!* — Организаторами крестьянских восстаний против Советской власти считались кулаки; см.: «...серед-

няки и бедняки отдают последний хлеб, лезут в долг к кулакам. А потом ропщут на Советскую власть, а она-то в этом совсем не виновата. Кулаки же, пользуясь недовольством середняков и бедняков, толкают их на восстания» (*Олегов Ник.* О кулацком хлебе // *Кр. деп.* 1921. 4 янв. С. 3).

С. 79. *Одежда твоя.* — См.: «Я был ранен и от потери крови потерял сознание. <...> подошедшие два казака принялись раздевать меня, причем сняли все, и даже нижнее белье. После этого один из них выхватил шашку, с ругательством ударил меня два раза, разрубив мне плечо и кисть руки» (Звери (рассказ раненого красноармейца) // *Вор. бед.* 1919. 10 июля. С. 2. Подпись: *М.И.*).

Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия! — *Мать жизни, свободы и порядка!* — 18 апреля 1918 г. по докладу Всероссийской чрезвычайной комиссии была принята резолюция ВЦИК «О борьбе с бандитизмом, действовавшим под флагом анархизма», признающая верными действия Чрезвычайной комиссии при «ликвидации преступных элементов, действовавших под флагом анархизма» (*Декреты Советской власти.* Т. 2. С. 129–130). См. в статье «Анархисты и коммунисты» (1920): «Мы будем рассуждать не о тех людях, которые бродят по деревням и лесам, режут и грабят и называют себя анархистами. Они — не анархисты, им имя дает их дело. Настоящий же анархизм есть учение о ненужности и вредности всякой власти на земле, учение о безначалии» (*Сочинения, 1(2).* С. 117). Анархизм как философское и общественно-политическое движение, развивающее и пропагандирующее бесклассовые, безгосударственные теории развития общества, занимал особое место в русском идеологическом контексте конца XIX — начала XX в., а также в 1920-е гг. (см.: Анархизм: pro et contra. Антология /сост., вступит. статья, коммент. П.И. Талерова. СПб.: РХГА, 2015). Об интересе Платонова к идеям анархизма свидетельствуют его публикации 1919 г. (стихотворение и статья) в московском журнале «Жизнь и творчество русской молодежи», официальном органе Всероссийской федерации анархистской молодежи, а также галерея воссозданных писателем персонажей, развивающих безвластные, антигосударственные теории, живущих мечтой об уничтожении иерархического и насильственного государства, о таком устройстве жизни общества, где отсутствует власть, нет никакого принуждения и никакого контроля власти, утверждаются свобода и равенство всех и т. п. Сопоставление взглядов Платонова «с индивидуалистическим анархизмом (условно говоря, анархизмом штирнеровского толка) и анархизмом коммунистическим (кропоткинским)» см.: *Вьюгин В.Ю.* Платонов и анархизм (к постановке проблемы) // *Страна философов, 2000.* С. 101–113; Он же. *Я, Мы и свобода* (Платонов и анархизм) // *Вьюгин.* С. 326–344).

...анархия! — *Мать жизни, свободы и порядка!* — Известный лозунг анархистов восходит к высказыванию французского теоретика революции и анархизма Пьера Жозефа Прудона (1809–1865) и является неточной цитатой из его работы «Решение социального вопроса» (1848): «Республика есть позитивная анархия... <...> Это взаимная свобода <...>; свобода не дочь, а мать порядка!»

Как ваша фамилия? ~ Мрачинский! — Возможно, прототипом персонажа романа был реальный человек, известный революционер С.В. Мрачковский, на что указывает описка Г.З. Литвина-Молотова в его письме Платонову по поводу повести «Строители страны», где вместо фамилии «Мрачинский» указана фа-

милля «Мрачковский»: «В ней даны два резко отрицательных типа — Геннадий и Мрачковский (оба анархисты или анархистски настроенные). И тот и другой резко критикуют и революцию, и революционные идеи. Причем их критика заострена на таких пунктах, которые или больше всего непонятны массе, или демагогически используют ее недовольство, недоедание, голод, бедность, словом, *убогость* страны, в которой в силу этого кажется невозможным не только *строить* социализм, но даже просто уничтожить нищету, невежество, грязь и хамство» (*Архив*, 2. С. 637–638). Осенью 1927 г., когда писалось письмо, имя Сергея Витальевича Мрачковского (1888–1936) было на слуху: постановлением Президиума ЦКК ВКП(б) «О нелегальной антипартийной типографии троцкистской оппозиции» от 29 сентября 1927 г. Мрачковский в числе 14 других участников оппозиции был исключен из партии; см.: «Мрачковский Сергей Витальевич, член ВКП(б) с 1905 г., из рабочих, бывший военный, ныне председатель треста “Госшвеймашина”, руководил работой нелегальной типографии, снабжая работающих в ней беспартийных буржуазных интеллигентов секретными партийными и антипартийными документами для их размножения, использовал беспартийных технических служащих треста в борьбе против партии, давал им размножать антипартийные документы» (*Раб. газ.* 1927. 29 сент. С. 1).

Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского. — Агасфер — «Вечный жид», согласно легенде, во время мученического пути Иисуса Христа на Голгофу оскорбительно отказал ему в кратком отдыхе; за это ему самому отказано в покое могилы, он обречен из века в век безостановочно скитаться, дожидаясь второго пришествия Христа. В начале XX в. вышло несколько книг, так или иначе представляющих средневековую легенду об Агасфере. Наиболее известным было издание «Легенда об Агасфере — “вечном жиде”» (Пг., 1919), куда вошли произведения об Агасфере XIX в. В предисловии к изданию А.М. Горький писал, объясняя интерес писателей к «красивой и жуткой легенде о человеке, который извечно ходит по земле, бессмертно живет среди людей, являясь свидетелем их заблуждений и ошибок, радостей и горя, глупостей и зверства»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни... <...> На тему о странствовании Агасфера создано множество романов и поэм, причем некоторые из них изображают в лице Агасфера уже не еврея, а вообще человечество, бессмертное, на протяжении тысячелетий идущее к какой-то неведомой цели сквозь великие страдания» (Легенда об Агасфере — «вечном жиде». Поэмы Шубарта, Ленау и Беранже. Пг., 1919. С. 39).

Тема Агасфера развивается Платоновым в ряде произведений 1920-х гг., символизируя образ человека нового безрелигиозного века. См. в рассказе «Невозможное» (1921): «Вот, недавно, на дорогах нашего мира появился этот неумирающий Агасфер и пропал навсегда, ничего не сделав, присланный сделать все, зажечь или взорвать эту окаменевшую громаду — Вселенную, отворить тяжкие двери тайн к вольным пространствам силы и чуда. <...> Печальный и ласковый странник — Агасфер прошел и показал дорогу, ничего не показывая и ничего не говоря. Мы должны увидеть мир его мутными тоскующими глазами» (*Сочинения*, 1(1). С. 193); в статье «Горький и его “На дне”» (1921): «...если бы мы завоевали вселенную, я бы сказал ей песней Агасфера Беранже...» (*Сочине-*

ния, 1(2). С. 200); в «Областных организационно-философских очерках» (1928): «...тем глубже трогала их какая-то нежная и энергичная тоска шимми, грусть безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей, холодных, как сооружения. И вот мечется человек — в пиджаке, в кепке, взволнованный и хороший — новый Каин буржуазии, Агасфер земного шара, интернациональный пролетарий» (*Сочинения*, 4(2). С. 19). В «Строителях страны» слова «современный Агасфер» Мрачинский использует по отношению к Копенкину: «Я как-то назвал Копенкина современным Агасфером...» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 441). Мрачинский не просто пишет роман об Агасфере, но, как человек русской культуры начала XX в., выстраивает свою жизнь по законам искусства: «Оказалось, что Мрачинский пятнадцать лет писал книжки и статьи, а потом влюбился в одного своего героя — именно, современного Агасфера — и пустился повторить его судьбу. <...> ...Мрачинский решил, что исполнить мечту Агасфера — найти божий дом — лишь немного труднее, чем писать об этом же» (Там же. С. 450–451).

С. 80. *Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло для чтения хорошо.* — Источником слов Дванова, возможно, послужило «Сентиментальное путешествие» В.Б. Шкловского: «Я, если бы попал на необитаемый остров, стал бы не Робинзоном, а обезьяной» (*Шкловский В.Б. Еще ничего не кончилось...* М., 2002. С. 174. Отмечено Е.А. Яблоковым).

С. 81. *Лиманный хутор* — отсылка к реальным топонимам: в Воронежской губернии было два хутора с названием Лиман: в Богучарском и Россошанском уездах (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 54).

С. 81–82. *София Мандрова приехала на подводе в деревню Волошино и стала жить в школе учительницей. Ее звали также принимать рождающихся детей, сидеть на посиделках, лечить раны, и она делала это, как умела, не обижая никого.* — В романе нашла отражение работа М.А. Кашиной весной 1921 г. в качестве учительницы в школе села Верхнее Волошино (Семеновка) Верхне-Хавской волости. Работа по ликвидации неграмотности была организована Губграмчека (Губернской чрезвычайной комиссией по ликвидации неграмотности), привлекавшей людей с высшим или средним образованием. В Верхнем Волошино находилась «старая земская школа — одноэтажный кирпичный домик с классной комнатой и помещением для “учительки”» (см.: *Ласунский*. С. 95–96).

С. 82. *Библиотеки тогда не работали...* — Существовавшие в дореволюционной России библиотеки в это время находились в стадии реорганизации: 21 июня 1918 г. за подписью В.И. Ленина вышел декрет Совнаркома «Об охране библиотек и книгохранилищ», которым «все библиотеки ликвидируемых и эвакуируемых государственных учреждений, а также отдельных обществ и лиц, поступившие в полном составе или частью в распоряжение правительственных учреждений, общественных организаций и т. д.», передавались под контроль возглавляемого Н.К. Крупской «Отдела библиотек при Наркомпросе РСФСР». Все вопросы «дальнейшего назначения этих библиотек, распределения их, предоставления их в пользование населения, пополнения их, равно как и создание новых библиотек», передавались теперь в ведение этого отдела. 4 января 1919 г. выходит постановление Совнаркома, требующее от Наркомпроса «немедленно принять самые энергичные меры для централизации библиотечного дела в

РСФСР, соответствующий декрет опубликован 4 ноября 1920 г. (см.: *Добренко Е.* Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. М., 1997. С. 168–169).

О положении с библиотеками в Воронежской губернии см.: «В настоящее время библиотечное дело в губернии можно охарактеризовать следующими чертами: а) несмотря на три с половиной года напряженной революционной борьбы, библиотечное дело в губернии осталось в своей внутренней жизни в дореволюционном состоянии; б) отсутствие подготовленных работников, могущих при полном напряжении сил и знаний вывести это дело из спячки; в) отсутствие самых необходимых технических принадлежностей, как бумаги, картона, карточек и т. д. <...> г) отсутствие плана сети библиотек, разнообразия их типов и полная разрозненность и разбросанность сил и средств» (Отчет о работе 1-го Съезда политпросветов Воронежской губернии (6–21 июля 1921 г.). Воронеж, 1921. С. 45). Если в городах библиотечное дело после 1921 г. потихоньку налаживалось, то деревни отнюдь не могли похвастаться библиотеками. «Немедленно должны быть организованы во всех селах и деревушках библиотеки и избы-читальни, которые должны стать в центре крестьянской жизни, особенно в зимнюю пору. Необходимо последовать благому примеру Воронежа и организовать сбор книг по уездным городам», — призывала «Красная деревня» (Несите свет в деревню // *Кр. дер.* 1920. 6 окт. С. 2. Подпись: СТ).

Особо интересные письма адресату совсем не шли, а оставались для перечитывания и постоянного удовольствия. — Возможно, аллюзия к словам персонажа комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» почтмейстера Шпекина, который отличался тем, что вскрывал и читал чужие письма: «...это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение». В свою очередь Городничий рекомендует почтмейстеру «всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, так немножко распечатать и прочитывать...» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. Т. 4. М., 2003. С. 15). См. также решения о контроле почтовой корреспонденции в пореволюционной России: несмотря на то что 4 апреля 1918 г. был принят декрет Совнаркома «О тайне почтовой переписки», подписанный В.И. Лениным, уже 13 сентября того же года коллегия Наркомпочтеля дала право исполкомам губернских советов «принимать решение о контроле всякого рода корреспонденции, адресованной частным лицам и общественным и частным учреждениям и организациям». В декабре 1918 г. руководство Наркомата напомнило своим подчиненным о необходимости исполнять требования ЧК о контроле корреспонденции (см.: *Извозник В.С.* Глаза и уши режима: Государственный политический контроль за населением Советской России. СПб., 1995. С. 26).

С. 84. *Он командир полевых большевиков...* — Слово «полевой» употреблено по аналогии с понятием «полевой командир», т. е. действующий в боевых условиях, походный.

Их Копенкин отпустил к женам на двое суток, он считает, что военные поражения происходят от потери солдатами жен. Он хочет завести семейные армии. — См. постановку проблемы в рассказе «Антисексус» (1925–1926): «Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск. Вынужден-

ное целомудрие порождает излишнюю нервозность. Первое же войско — есть поражение» (*Сочинения*, 1(1). С. 131). Реальным примером семейной армии во время Гражданской войны был Богучарский полк под командованием Малаховского, численностью в 3500 человек: «...Богучарский полк имел огромнейший обоз, в котором ездили жены и дети. <...> полк, влившийся в состав действовавшей тогда в Воронежской губернии восьмой армии, принимал участие почти во всех боях с казаками, заражая своим примером другие части. В июльских боях под Бобровом (1918) и в атаках на этот город участвовали не только богучарцы, но и их жены. Наблюдались и такие случаи, когда во время перерыва боев сын являлся сменить отца, племянник — дядю, брат — брата. Всюду, где только воевал богучарский полк, он поражал красноармейские части своим бодрым настроением, которое не покидало богучарцев и тогда, когда они несли потери» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 82).

...в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей! — Роза Люксембург (наст. имя Розалия Люксембург; 1871–1919) — партийный деятель, одна из наиболее известных вождей немецкой и европейской социал-демократии, немецкий теоретик марксизма, экономист, публицист. Трагически погибла 15 января 1919 г. в Берлине. Увековечение памяти о Розе Люксембург в Советской России началось уже в январе 1919 г. 18 января в газетах «Правда» и «Известия» было опубликовано «Обращение ЦК РКП(б) и ВЦИК ко всем комитетам и организациям РКП(б) и Советам по поводу убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта» с призывом «организовать повсеместно демонстрации, митинги протеста и проклятия предателям рабочего класса, убивающим представителей передовых борцов за торжество коммунистической революции» (*Декреты Советской власти*. Т. 4. С. 298), что положило начало масштабной кампании. 19 января в Москве прошла манифестация под лозунгами: «Смерть палачам, убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!»; «Слава мученикам за интернациональный коммунизм!»; «Мы отомстим за вашу смерть!» (*Известия*. 1919. 19 янв. С. 3). Весь январь 1919 г. в центральной и региональной периодике печатались отклики на гибель известной революционерки и ее сподвижника; см.: «Карл Либкнехт и Роза Люксембург расстреляны белыми палачами рабочей Германии. Месть беспощадная черным убийцам! Рабочие всех стран, на улицу! Почтите память героев красного восстания и разнесите в волнах своего гнева проклятый строй убийц и душителей» (*Вор. бед.* 1919. 19 янв. С. 1); 20 января в Воронеже прошла «демонстрация в память погибших вождей», в которой приняли участие «рабочие всех фабрик и мастерских и до 10 тысяч красноармейцев» (Красный Воронеж — красным вождям! // Там же. 22 янв. С. 1); «Общее собрание граждан села Олень-Колодезя Коротоянского уезда Воронежской губернии вынесло резолюцию: "...мы, олень-колодезские рабочие и трудовые крестьяне, призываем рабочих и трудовых крестьян всего мира встать на защиту великих вождей международной Революции и клянемся мстить врагам и убийцам. Проклятие и смерть предателям и паразитам всего мира. Да здравствует мировая революция!"» (Крестьяне об убийстве товарищей Либкнехта и Люксембург // Там же. 25 янв. С. 2); «Если рабочие Германии потеряли в этой борьбе своих любимых вождей, Карла Либкнехта и Розу Люксембург, то это только придаст

им бодрости в будущей борьбе» (*Жел. путь*. 1919. № 6. 31 янв. С. 8). Среди стихотворных откликов: «На смерть вождей» (*Вор. бед*. 1919. 21 янв. С. 2. Подпись: *Татьяна П.*), «Павшим вождям» (Там же. Подпись: *С. Князев*) и др., можно отметить и стихотворение Платонова «Памяти Карла Либкнехта» (Там же. 15 янв. С. 1). Тело Розы Люксембург было найдено лишь в конце мая 1919 г., захоронено 13 июня в Берлине на кладбище Фридрихсфельд рядом с Карлом Либкнехтом и сотнями товарищей по борьбе. Этот день был объявлен «днем траура», который «да будет днем мощного призыва на баррикады, в наступление на капиталистические твердыни» (*Молотов А.* День траура // Там же. 13 июня. С. 3).

Об историко-культурных и литературных контекстах, связанных с именем Розы, см.: *Яблоков, С.* 170–178.

С. 85. *Он неутомимо шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты.* — Ненависть к мировой буржуазии, вызванная смертью Розы Люксембург, находила отражение в периодике и после января 1919 г.: «Вечная память Розе Люксембург, которую отняли палачи у пролетария, мы с грустью и болью вспоминаем об этой неустранимой святой женщине, борющейся за идеалы социализма. Пусть же знает буржуазия, что Роза растерзана, но кровь ее вселяет в нас негодование, ненависть к буржуазии. Долой всемирную буржуазию! Да здравствует Красная Армия, которая зареет буржуазию в ту могилу, которую она рыла для пролетариата. СМЕРТЬ БУРЖУЯМ...» (Клич бедноты. 1919. 21 апр. С. 2). Об участии Англии в гибели Розы Люксембург в 1919 г. газеты не упоминали, однако о враждебной позиции Великобритании по отношению к Советской России сообщали постоянно; см.: «Нет вероломства, перед которым англичане остановились бы» (Памятка для кое-каких новоиспеченных англофилов) // *Известия*. 1919. 5 янв. С. 1. Подпись: *Т.* В мае 1927 г. Великобритания начала новую широкую кампанию, имевшую целью дипломатическую и экономическую изоляцию СССР (Там же. 1927. 20 мая. С. 1), завершившуюся под давлением кабинета министров разрывом дипломатических и экономических отношений с Советской Россией, воспринятым в СССР как провоцирование войны. Отношения СССР с Англией 1926–1927 гг. нашли отражение в произведениях Платонова 1927 г. — повестях «Город Градов» и «Сокровенный человек», рассказе «Война» (см. примеч.: *Сочинения*, 2. С. 607–608, 662, 707–709).

Нам же полагается походная норма. ~ Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене! Больше нормы не бери! — В Красной армии специальные продовольственные пайки появились лишь в 1921 г., до этого нормы продснабжения устанавливались отдельными приказами Реввоенсовета республики, Народного комиссариата по военным и морским делам, частными распоряжениями Главснабпродарма, а иногда и указаниями местных органов власти. О норме красноармейского фронтового пайка периода Гражданской войны см.: *Гражданская война и военная интервенция в СССР*. Энциклопедия. М., 1983. С. 401).

С. 86. ... *маленький плакат ~ «Советский транспорт — это путь для паровоза истории».* — С первых месяцев революции в качестве средства наглядной агитации стали создаваться и печататься плакаты с яркими рисунками

и текстами, которые могли быть и краткими, и достаточно развернутыми, см., напр., плакат В. Спасского: «Грядет великая битва. Надвигается решающее сражение. Вся Европа полна гула от голосов негодующих и рвущихся к борьбе пролетариев. Подземные толчки доносятся с различных точек нашей планеты. В грозе и буре, в крови и слезах, в голоде и бесконечных страданиях рождается новый мир, светлый мир коммунизма, всеобщего братства трудящихся» (М., 1919) (*Бутник-Северский Б.С.* Советский плакат эпохи гражданской войны. 1918–1921. М., 1980. С. 589). Плакаты были посвящены отдельным сферам жизни и промышленности, транспорту, см.: «Железные дороги — рычаг революции. Крепче держите его, работники и работницы транспорта» (М., 1920), «Железнодорожник, стой на страже красного пути» (Пг., 1920) (Там же. С. 360. Б.п.). Метафоры «паровоз революции», «паровоз истории», «путь паровоза истории» были достаточно распространены в пореволюционные годы и могли встречаться на плакатах и листовках; см., напр.: «Известный большевик-коммунист тов. Зиновьев говорит, что революция движется вперед с быстротой, напоминающей движение паровоза пассажирского поезда» (Отчет о работе 1-го съезда политпросветов Воронежской губернии (6–21 июля 1921 г.). Воронеж, 1921. С. 3); см. также стихотворение Н.С. Тихомирова «Железный путь»: «Ты скрестил стальные руки / Рельс, распластанных вокруг, / Мчишь по свету радость, муки, / Замыкая землю в круг. // <...> Путь железный, путь свободы, / Обойми весь мир земной, / Слей в одну семью народы, / Мрак развей огнем-грозой» (*Жел. путь.* 1919. № 9. Апрель. С. 13). См. также в повести «Сокровенный человек»: «...и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности» (*Сочинения*, 2. С. 168).

С. 87. Там скоро будет престольный праздник и всех мешочников обязательно угостят. — Мешочники — люди, занимающиеся незаконной скупкой, перевозкой и продажей каких-либо, в основном продовольственных, товаров. Во время Гражданской войны мешочники на железной дороге были обычным явлением, и с ними велась борьба со стороны государства; см.: «За последнее время на железной дороге снова установлены заградительные отряды, снова отбирают продукты, если их везут слишком много. И снова раздаются подпольные шипенья, что большевики хотят с голоду народ уморить, что за свои деньги купить ничего нельзя и т. д. Сейчас у нас всего не хватает: хлеба, сахара, соли, мыла, подсолнечного масла — всего. <...> И вот на Украину уже устремляется масса спекулянтов, мешочников, а часто и просто голодного люда. Всем не хватит, не достанется и для Красной Армии. А возьмет все продукты в свои руки рабоче-крестьянское государство, получится совсем другое дело. Справедливо, по справедливым ценам. Нужна самая отчаянная борьба с мешочничеством» (*Попов В.* Долой мешочничество // *Вор. бед.* 1919. 24 янв. С. 3).

С. 92. Однако, чтобы достаточно наестся, конь съедал по осмьюшке делянки молодого леса, а запивал небольшим трудом в степи. — Конь Копенкина Пролетарская Сила представлен в романе в традиции русских былин; см., напр., описание богатырского коня в былинке «Исцеление Ильи Муромца»: «Тут скакал-то ёго всё как доброй конь, / Он повыше-то выскакивал лесу стоячего, /

Он пониже-то облака ходёчего, / Через стены, через башни перескакивал; / Он ведь речки-ти, озера небольши-ти промеж ног скакал, / Ай больши-ти таки реки перескакивал» (Былины: Русский героический эпос. Л., 1938. С. 106). Подробно о фольклорных образцах см.: Кулагина А. Тема смерти в фольклоре и прозе А. Платонова» (*Страна философов*, 2000. С. 351).

Река Битюг — левый приток Дона, протекает через Тамбовскую и Воронежскую губернии.

С. 93. ...плакат с изображением Розы Люксембург. — В Советской России в память трагически погибшей Розы Люксембург были выпущены плакаты или листовки с ее изображением; см., напр., плакат 1920 г. с поясным портретом Розы Люксембург и надписями: «Роза Люксембург. Участница революции 1918–19 гг. в Германии. Своими трудами заложила прочный фундамент революционного движения в Польше. Убита социал-предателями 15 января 1919 г. в Германии» (Хранится в Красноярском краевом художественном музее. Сообщено М.В. Скороходовым). См. также сообщение в газете «Беднота»: день похорон революционерки, 13 июня, ЦК РКП(б) предлагал отметить статьями в местных газетах, массовыми митингами, лекциями, собеседованиями в клубах и расклейкой листовок, афиш и плакатов (Беднота. 1919. 12 июня. С. 3).

С. 95. *Поселок Средние Болтаи* — авторский топоним, образован по аналогии с реальными названиями населенных пунктов: Средние Выселки Воронежского уезда, Средний Карачан Новохоперского уезда и т. п. (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 98).

С. 95–96. ...висели приказы военкомата о возвращении найденного воинского снаряжения: орудия войны разымались по деталям и превращались в механизмы мирных занятий — к пулемету с водяным охлаждением приставивался чугуи, и получалась самогонная система, походные кухни вмазывались в деревенские бани, некоторые части трехдюймовок или шерстобитам, а из замков пушек делали палубицы для мельничных поставов. — В годы Гражданской войны и после принимались специальные постановления, декреты о сдаче населением оружия: 28 мая 1918 г. начальником Главного артиллерийского управления было дано предписание № 33192, в соответствии с которым предлагалось всем домовладельцам, домовым комитетам и железнодорожной милиции обнаружить и выявить во дворах и по железнодорожной линии разного рода артиллерийское имущество: «полевую, легкую, глубинную артиллерию, пулеметное имущество и ручное оружие, огнестрельное и холодное, а также и обозное имущество: повозки, двуколки и фургоны с точным указанием местонахождения таковых». Лица, скрывающие от армии указанное имущество, должны быть преданы Революционному трибуналу (Воронежский красный листок. 1918. 5 июля. С. 4); см. также «Декрет СНК о сдаче населением оружия» от 10 декабря 1918 г., где постановлялось «обязать все население в недельный срок сдать имеющиеся у него на руках пулеметы, винтовки, револьверы всех систем, патроны к ним и шашки всякого образца» (*Декреты Советской власти*. Т. 4. С. 197–198) и др.

Дванов видел на одном дворе женскую рубашку, сшитую из английского флага. — Англия, как и Франция, США и Япония, во время Гражданской войны оказывала поддержку белым правительствам. 5–6 апреля 1918 г. английские

и японские воинские части высадились во Владивостоке, началась открытая военная интервенция. Главой британской миссии на востоке России во время Гражданской войны был британский генерал-майор А.-У. Нокс, военный атташе Великобритании в России в период 1911–1918 гг. Он ведал поступающим из Великобритании военным снабжением для Восточного фронта Русской (колчаковской) армии, создал школу с британскими инструкторами для подготовки офицерского состава. «Мы послали офицеров, сотни тысяч винтовок, тысячи пулеметов», — говорил генерал об участии Англии в войне (Нокс про русских // Наша газета. Омск, 1919. 9 окт. С. 1). Осенью 1919 г., когда обнаружилось крупные неудачи на Восточном фронте, глава правительства Великобритании Ллойд-Джордж стал готовить общественное мнение к повороту политического курса и заявлял: «Я не жаалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне» (цит. по: Деникин А.И. Вооруженные силы Юга России. М., 2013. С. 91). Однако, как вспоминал генерал Деникин, «военное снабжение продолжало поступать», нередко «английское командование допускало участие англичан и в боевых действиях. Так, Черноморская британская эскадра оказывала нашим войскам серьезную поддержку в операциях на побережье Азовского и Черного морей; английские авиационные отряды вели самоотверженную разведку и бои в рядах наших армий» (Там же. С. 92–93).

С. 99. *...белые буржуи сигналы по радио дают.* — Радиоразведка оформилась в России организационно и получила развитие в годы Первой мировой войны. Во время Гражданской войны в правительстве А.В. Колчака были созданы политические органы, общее руководство которыми осуществлял Осведомительный отдел штаба Верховного главнокомандующего (Осведверх), призванные вести идеологическую и осведомительную работу, содействовать подъему духа среди белогвардейских войск и населения, организовывать пропаганду и агитацию, направленные на подрыв советского тыла и дискредитацию Красной армии. В их распоряжении имелись достаточно мощные радиостанции и радиотелеграф, которые использовали для передачи и приема информации, перехвата и обработки советских радиосообщений. Радиостанции были установлены в Омске, Чите, Хабаровске, Екатеринбурге. По линиям связи Омск — Таганрог и Тифлис — Баку осуществлялась связь с армией Деникина. На юге России радиотелеграф был установлен в Гурьеве, Новороссийске, Николаеве, Севастополе, новости, услышанные по радио, передавались в другие места; см., напр.: «Рано утром село облетела новость, что радио из ставки Деникина сообщает о снятии контрибуции, о “прощении”, дарованном ставкой повстанческим селам» (Потапенко В. Краснянское восстание. С. 75).

А то просто вооруженной рукой проведем трудгужповинность на перевозку построек... — *Трудгужповинность* — форма обязательного участия населения, прежде всего крестьянства, в заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива, а также в подвозе топливных, продовольственных и иных грузов к железным дорогам, пристаням и приемным пунктам; при этом население должно было использовать собственных лошадей, телеги и повозки. Введена постановлением СТО от 19 ноября 1919 г. в условиях острого недостатка топлива и транспортной разрухи. Крестьяне нередко возражали против форм «проведения

гужевой повинности»: «...по-прежнему не соблюдаются очереди, как между деревнями, так и в самих деревнях, между отдельными домохозяевами; продолжает процветать, при выполнении нарядов, кумовство и сватовство» (Кое-что о гужевой повинности // *Кр. дер.* 1920. 15 окт. С. 2. Подпись: *М-ский*). В период нэпа была регламентирована: постановлением Совнаркома от 12 апреля 1921 была установлена норма привлечения к трудгужповинности (Трудовой клич. 1921. 22 апр. С. 2).

С. 100. *Ханские Дворики* — авторский топоним, образован по аналогии с реальным топонимом Чудаковы Дворики — названием поселка Бобровского уезда Панинской волости (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 110).

В Ханских Двориках пахло щей, но это курили из хлеба самогон. В связи с этим тайным производством ~ лили в огонь воду — из изб полз чад; самогонное месиво наспех выносили в свиные корыта... — Сразу после революции Советская власть стала бороться с пьянством и самогонварением. Нарушители строго карались: дела об использовании перегонного аппарата для выделки спирта рассматривались Ревтрибуналом (Воронежский красный листок. 1918. 1 мая. С. 4). Однако в деревнях самогон продолжали варить: «В Нижнедевицком уезде процветает варка самогона. Борьба с этим не только не ведется, но кой-где варение самогона даже поощряется» (*Кр. дер.* 1920. 14 марта. С. 2. Подпись: *Дед Лахомыч*). 19 декабря 1919 г. был принят декрет «О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ».

С. 101. *Боятся товарищей-гостей встречать, лучше в лопухи добро прольют и государственной беднотой притворяются.* — Беднота пользовалась в Советском государстве определенными привилегиями, см., напр., «Декрет об организации и снабжении деревенской бедноты», принятый 11 июля 1918 г. (*Известия*. 1918. 16 июля. С. 1), в соответствии с которым «учреждались волостные и сельские комбеды», в чьи обязанности входило «распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий» среди бедноты, причем «круг лиц определяли комбеды» (*Декреты Советской власти*. Т. 2. С. 416–419). Льготы беднякам, существовавшие в первые пореволюционные годы, во второй половине 1920-х гг. сохранились: «Читаешь газету — там пишут: чуть ли не по головке каждого гладят, а на деле ты кулак, ты середняк, ты бедняк. Почему у нас такое разделение, неужели государство до сих пор заинтересовано в том, чтобы у нас существовало три класса, неужели нельзя так, чтобы были все равны?! Я думаю, можно, но государство этого не делает, оно больше любит бедняка, чем зажиточного... <...> бедняк я, мне и право везде есть, а зажиточный — долой...» (Письмо в «Крестьянскую газету» от 22 февраля 1927 г. // *Голос народа*. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. М., 1997. С. 245).

С. 101–102. *Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе... ~ Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозвонит Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно.*

Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Черчер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом: по-уличному Мерин. — «Декретом о праве граждан изменять свои фамилии и прозвища» от 3 марта 1918 г. утверждалось: «Каждому гражданину Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по достижении им восемнадцатилетнего возраста предоставляется право изменить фамильное или родовое прозвище свободно, по его желанию, поскольку этим не затрагиваются права третьих лиц, обеспеченные специальными узаконениями» (*Декреты Советской власти*. Т. 1. С. 520–521). Центральные и губернские газеты регулярно сообщали о смене имен; см.: «Еще недавно рабочая молодежь на улицах и площадях сжигала изображения и куклы богов: святая всех святых и народов. Теперь, перейдя к более углубленным методам антирелигиозной пропаганды, она сжигает свое религиозное прошлое. И вот каким образом: например, в Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться: Степанова Нина — Нинель, Широкая Мария — Октябрина, Демидов Петр — Лев Троцкий, Марков Федор — Ким, Смолин Николай — Марат Тендро, Гусев Павел — Лев Красный, Клубышев Николай — Рим Пролетарский, Уваров Федор — Виль Радек, Чельшев Иван — Лев Красный. Не только комсомольцы и партийцы перекрещиваются, но нет отбоя и от беспартийных» (Комсомольское Рождество // *Известия*. 1924. 8 янв. Цит. по: *Флоренский П.* Имена. М., 1993. С. 81). Новые фамилии детей в Воронежской губернии упоминаются в книге В. Шкловского «Третья фабрика» (1926): «Видали детский дом. 400 подкидышей. <...> Фамилии у этих детей новые: Тургенев, Достоевский...» (*Шкловский В.Б.* Третья фабрика. М., 1926. С. 130).

Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт (1871–1919) — деятель немецкого и международного социалистического рабочего движения, один из основателей Коммунистической партии Германии (1918). В Советской России после трагической гибели Р. Люксембург и К. Либкнехта их память свято чтити. См., напр.: «15 января исполняется два года со дня мученической смерти Карла Либкнехта. В этот день молодежь должна ознакомиться с тем, чему учил нас Либкнехт» (*Страничка юного пахаря* // *Кр. дер.* 1921. 19 янв. С. 4. Б.п.).

Христофор Колумб (1451–1506) — испанский мореплаватель, открывший для европейцев Саргассово и Карибское моря, Антильские и Багамские острова, а также американский континент, первым из известных путешественников переплывший Атлантический океан.

Карл Франц Меринг (1894–1919) — немецкий философ, историк, публицист и политик. Член социал-демократической партии Германии (с 1891 г.), главный редактор социал-демократической «Лейпцигской народной газеты» (1902–1907), соиздатель газеты «Интернационал» (1915). Вместе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург являлся лидером «Союза Спартака» (1916), который в 1917 г. вошел в Независимую социал-демократическую партию Германии, выступавшую за прекращение войны. В конце 1918 г. участвовал в подготовке учредительного съезда Коммунистической партии Германии. Судя по воронежской печати, Меринг был достойным человеком, хотя и ошибался, высказываясь «о преждевременности социалистической революции в России» (*Воронежский красный листок*. 1918. 28 июня. С. 3).

О полемическом характере образа Достоевского у Платонова в контексте критики социального утопизма в произведениях Ф.М. Достоевского см. в книге Х. Гюнтера «По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова» (М., 2012. С. 22–23).

С. 102. ...завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным. — После окончания Гражданской войны Ленин действительно утверждал, что вслед за первой «задачей свержения эксплуататоров революционными силами» должна быть решена «задача созидательная — построить новые экономические отношения», и, «хотя переход здесь чрезвычайно трудный», она должна быть решена незамедлительно, иначе «возврат к старому остается неизбежным» (*Ленин В.И. Очередные задачи текущей работы партии (1920) // Ленин. ПСС, 42. С. 27*). В то же время Ленин неоднократно подчеркивал, что выражение «скачок из царства необходимости в царство свободы», в «царство социализма», которое ввели Маркс и Энгельс, «обнимает периоды лет по 10», что «никакого резкого движения вперед быть не может» (*Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти // Ленин. ПСС, 36. С. 206*), что такая задача, как, например, план ГОЭЛРО — «это задача чрезвычайно длительная, не менее, как на десять лет» (*Ленин В.И. Очередные задачи текущей работы партии // Там же. С. 27*).

Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма. — Он даже привел газетный лозунг: / Гони березку в рост, / Иначе съест ее коза Европы! — См. в неоконченном стихотворении Платонова «Вождю оппозиции» (<1926>), адресованном Л. Троцкому: «Ты помнишь сказку про березу и кору / И про козу про злую капитала? / Ты говорил: гони березку в рост, / Иначе съест ее коза Европы!..» (*Сочинения, 1(1). С. 428*).

С. 103. *Объяви немедленно трудовинность...* — Трудовая повинность была введена «Кодексом законов ВЦИК о труде», принятым в декабре 1918 г. (Известия. 1918. 26 дек., 28 дек., 31 дек.). В соответствии со статьей 1 раздела 1, «для всех граждан Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, за изъятиями, указанными в статьях 2 и 3, устанавливается трудовая повинность». Не подлежали трудовой повинности «а) лица, не достигшие 16-летнего возраста; б) все лица старше 50 лет; в) лица, навсегда утратившие трудоспособность вследствие увечья или болезни». Временно освобождались от трудовой повинности «а) лица, вследствие увечья или болезни временно утратившие работоспособность; б) беременные женщины на период времени за 8 недель до разрешения от бремени и 8 недель после родов» (*Декреты Советской власти. Т. 4. С. 168*).

...он окончательно увидел социализм. ~ Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что — бесиумна. — Представления о социализме Достоевского соответствуют крестьянскому идеалу; см., напр., в статье С. Есенина «Ключи Марии» (1918): «...некий вселенский ветроград, где люди блаженно и мудро будут хоровадно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего дерева, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужичком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где

“избы новые, кипарисовым тесом крытые”, где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золоченый ковш, сыченою брагой» (Есенин С. Полн. собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М., 1993. С. 202).

С. 104. *...выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался...* — В годы Гражданской войны скот, особенно лошадей, в деревнях забирали представители как Красной, так и белой армии. Кроме того, отбирались лошади, которые были брошены отступающими военными частями; см., напр., протокол заседания Новохоперского уездного комитета от 16 мая 1919 г. «Об отобрании у граждан уезда лошадей, брошенных красноармейцами и кулаками при прохождении частей по уезду»; в то же время весной 1919 г., когда из-за безлошадья под угрозой оказался срыв посевной, возбуждались ходатайства «о необходимости оставить у крестьян лошадей до окончания полевых весенних работ» (Рабочий и крестьянин. 1919. 30 мая. С. 4).

С. 106. *Кому ж охота маток телить для соседа?* — Новая власть в деревнях решала этот вопрос, создавая «специальные советские хозяйства»; см.: «Советская власть, где только возможно, устраивает случные пункты, снабжает общественные стада племенными быками, раздает коммуна и артелям племенных животных, чтобы те разрешали бесплатно пользоваться ими на предмет случки» (Константинович Н. Общее крестьянское достояние // Беднота. 1920. 17 февр. С. 2).

С. 107. *Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся!* — См.: «Ставшая у власти партия коммунистов, как партия реального марксизма, взяла на себя священную обязанность осуществления идеи социализма на безграничном, заросшем густым дурманом буржуазно-бюрократического порядка русском государственном поле» (В партию // Жел. путь. 1918. № 2. С. 11. Подпись: Г.Е.). См. также в стихотворении «Вождю оппозиции»: «Какие тут в траве социализмы?!» (Сочинения, 1(1). С. 428).

С. 108. *Лесной надзиратель, хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи.* — В 1919–1920 гг. лесной надзиратель все еще хранил леса по должности, т. к. в соответствии с постановлениями Советской власти все прежние лесные служащие сохраняли свои места; см. «Предписание всем Советам о недопустимости увольнения лесных агентов» от 5 апреля 1918 г. (Декреты Советской власти. Т. 2. С. 54).

С. 108–109. *Лесной надзиратель читал сегодня произведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второстепенные люди»... ~ Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему — он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше. ~ Надобно помнить, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия.* — Историко-культурные контексты этого эпизода романа включают разные источники.

Воззрения Н. Арсакова возводятся к роману Ф.М. Достоевского «Бесы», работу над которым писатель начал сразу после 1868 г.; ср.: «Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы» («Бесы», ч. 2, гл. 8) (подробно см.: *Золотонос М.* Ложное солнце («Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 1920-х гг.) // Андрей Платонов. Мир творчества. М., 1994. С. 254). Теория Арсакова перекликается с «теорией частичных, дробных, дефектных идеалов, особенно опасных и губительных при своей реализации», развивавшейся в 1920-е гг. последователем Н.Ф. Федорова Н.А. Сетницким (см.: *Семенова С.Г.* Юродство проповеди: Метафизика и поэтика А.П. Платонова. М., 2020. С. 113–114).

Возможно, в образе мыслей Николая Арсакова также отразились исторические взгляды К.С. Аксакова (1817–1860) — писателя и историка, одного из идеологов славянофильства. В 1861 г. вышел первый том его Полного собрания сочинений, «Сочинения исторические», в который вошли статьи «Об основных началах русской истории», «О том же», «О русской истории» и другие, раскрывающие исторические воззрения Аксакова: «История представляет нам сии многообразные пути, сии многотрудные борьбы противоречащих стремлений, верований, убеждений нравственных... <...> Нравственное дело должно совершаться нравственным путем, без помощи внешней принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, путь мира, который открыл нам Божественный Спаситель» (*Аксаков К.С.* Полн. собр. соч. Т. 1. Сочинения исторические. М., 1861. С. 1–2). Аксаков выделяет два пути исторического развития. Первый, русский путь: «Не силою принуждения, но силою жизни самой истребляется все противоречащее истине, даются мера и строй всему». Во втором случае «внутренний строй переносится вовне, и дух свободы понимается только как *устройство, порядок* (наряд); основы, начала жизни понимаются как правила и предписания. <...> Это путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а принудительного закона. <...> Этим путем двинулось Западное человечество» (Там же. С. 23). Своим путем Русь шла «до той минуты, когда страшно и насильственно встречаются они, когда Русь дает страшный крик, кидает родную дорогу и примыкает к Западной» (Там же. С. 7). Это произошло в эпоху Петра I: «Великое дело Петра, как исключительное поклонение Западу, как исключительное отрицание всего русского, <...> как резкое насильственное, поспешное и подражательное преобразование, <...> не принадлежит к тем мирным изменениям, которые совершаются легко и незаметно» (Там же. С. 43).

С. 109. *Тогда лес надо сразу сносить и отдать землю под пахоту! Эти деревья только у озимого хлеба место отнимают...* — 27 мая 1918 г. был принят «Основной закон о лесах», в специальном разделе которого — «Обращение лесов в земельный фонд» (раздел 7) — утверждалось: «Расчистка лесной площади в защищаемых лесах не может быть разрешена ни при каких условиях» (статья 106). Решение об обращении леса в земельный фонд принималось не местными органами, а «Центральным управлением лесов Республики» и определялось «потребностями натурального хозяйства в древесине, переселенческой политикой и другими условиями» (*Декреты Советской власти.* Т. 2. С. 312–327).

С. 110. *Я хотел вам сказать, что самовольные порубки и так сильно развились в последнее время и не надо больше рубить такие твердые растения.* — См. сообщение Богучарского Земельного уездного отдела о том, что жители селений Ново-Калитвенской волости Острогужского уезда производят хищнические порубки леса в лесных участках бывшей землевладелицы О.М. Ивановой: уездный земельный отдел «просит распоряжения Губернского земельного отдела о принятии строжайших мер к прекращению порубок» (Воронежский красный листок. 1918. 4 июля. С. 4). См. также: «Село Козловка Бобровского уезда. <...> Рубят крестьяне молодняк сплошными полями» (Леса истребляют // *Кр. дер.* 1920. 25 ноября. С. 3. Подпись: *Крестьянин Б.*); «Для предупреждения непланового хищения леса Задонский уисполком вменяет в обязанность всем лесничествам, милиции, волисполкомам и волсоветам принятие мер к прекращению самовольных порубок леса...» (Охраняйте леса // Там же. 1921. 17 янв. С. 3).

Дванов написал длинный приказ-обращение для всех крестьян-бедняков Верхне-Мотнинской волости. В приказе, от имени губисполкома, предлагалось взять справки о бедняцком состоянии и срочно вырубить лес Биттермановского лесничества. — *Верхне-Мотнинская волость* — авторский топоним, образован по аналогии с реальным названием: Верхне-Матренская волость Усманского уезда (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 117).

Биттермановское лесничество — название лесничества дается по аналогии с известным в Воронежской губернии Теллермановским лесом — одним из древнейших лесных массивов в России, расположенным на территории Воронежской губернии. Ко второй половине 1920-х гг. Теллермановский лес уже сильно пострадал от порубок; см.: «Иногда дубравы вблизи рек занимают большие площади также и на водоразделах, изрезанных оврагами. Таковы знаменитый Шипов лес и Теллермановская роща, служившие в свое время Петру 1 в качестве корабельных лесов. Теперь от прежних дубов-великанов сохранились, большей частью, одни воспоминания. По рассказам своих дедов старожилы передают, что в Теллермановской роще были раньше 300-летние дубы с клеймами, наложенными еще Петром 1» (Воронежский край. С. 38).

С. 111. *...приехали на заседание правления коммуны «Дружба бедняка», что живет на юге Новоселовского уезда.* — Создаваемым в 1918–1921 гг. коммуна посвящены страницы повести «Город Градов» (1927) и рассказа «Областные организационно-философские очерки» (1928) (подробно см. примеч.: *Сочинения*, 2. С. 565–567; *Сочинения*, 4(2). С. 497–498).

Название коммуны образовано по аналогии с реально существовавшими в начале 1920-х гг. в Воронежской губернии коммунами: «Братский труд», «Новая жизнь», «Пробуждение пахаря» (Валуйский уезд), «Путь социализма» (Россошанский уезд), «Корабль Невидимый» (Усманский уезд); коммуна также давались названия в честь деятелей революции: «Коммуна Карла Маркса» и «Коммуна имени Троцкого» (Россошанский уезд) (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 46).

Новоселовский уезд на территории Воронежской губернии отсутствует, имеются деревня Новоселки Нижнедевицкого уезда, деревня Новоселка Воронежского уезда, село Новоселовка Валуйского уезда и два хутора Новоселов-

ка — Россошанского уезда (Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. С. 74).

В 1920 г. Народный комиссариат земледелия обнародовал собранные им данные об организации в деревне общественных хозяйств в 31 губернии Советской России: «1900 коммун с количеством около 100 000 едоков; артелей, товариществ и общественных обработок земли 4364 — с общим количеством едоков около 300 000». В «Воронежской губернии — 36 коммун с 2800 едоками и 58 артелей с 7200 едоками» (Коммунизм в сельском хозяйстве // *Кр. деп.* 1920. 4 марта. С. 4. Б.п.). К моменту создания романа, согласно переписи 1928 г., коммуны составляли менее 5% всех коллективных хозяйств в ЦЧО (Социалистический сектор сельского хозяйства ЦЧО в 1928–1929 гг. Совхозы и колхозы. Воронеж, 1929. С. 33). О повседневной жизни коммун рассказывала периодика; см., напр., описание Коммуны имени Карла Маркса при селе Дроздове Юрьевского уезда Владимирской губернии; коммуна была создана «в марте 1920 г. в имени бывшей Лелиной» и объединила «семь беднейших семейств»: «С первого дня переезда была организована коммунальная столовая, общежитие. Все предметы домашнего обихода были переданы в общее пользование, даже некоторые члены отдали свою одежду. <...> Отношение местного крестьянства, вначале враждебное и недовольное, постепенно сглаживалось и за последнее время стало вполне дружелюбным. Коммунары предоставили крестьянам возможность пользоваться бесплатно своими машинами и племенным быком. Организовали школу. Зал общежития коммуны был предоставлен для местного Народного дома, проводились концерты, митинги, спектакли. <...> Организовали детский сад, библиотеку. <...> Все в коммуне считается общим. <...> Продукты не делятся между членами коммуны, а поступают в общую столовую. Денег на руках никто не имеет, существует общая коммунальная касса» (Образцовая коммуна // *Беднота.* 1920. 29 апр. С. 2. Б.п.).

Все взрослые члены коммуны — семь мужчин, пять женщин и четыре девки — занимали в коммуне определенные должности... ~ ...была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер — он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее — в одной и той же личности), заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения — и другие обслуживающие должности. — В пореволюционные годы принималось большое количество регламентирующих документов разного типа; см., напр., «Положение ВЦИК о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» (Известия. 1919. 14 февр.), где в главах 5–7: «О сельскохозяйственных производительных коммунах», «О советских хозяйствах» и «Об общественной обработке земли» названы «Заведующий отдельным хозяйством», «Контрольный рабочий комитет», в обязанности которого входит «наблюдение за современным состоянием сметы и отчетов по хозяйству», «наблюдение за условиями быта и труда», «контроль над выдачей продовольственных пайков», «участие в учете производимых продуктов», «наблюдение за сохранностью и исправным состоянием государственного имущества»; «Комитет общественной обработки», задачами которого являются «принятие

мер по обеспечению товарищества семенами, инвентарем, скотом и проч.), «определение порядка удобрения полей», «заведование инвентарным фондом и запасом семян» и т. п. (*Декреты Советской власти*. Т. 4. С. 361–388). См. также «Примерный устав трудовой земледельческой коммуны», где названы «техники и организаторы по всем отраслям коммунальной жизни», в том числе и «организаторы общественного питания в коммунальных столовых», «члены коммунального совета и ревизионной комиссии»; на общих собраниях «утверждались инструкции о порядке удовлетворения всех жизненных потребностей участников коммуны» (*Суматохин М.* Давайте жить коммуной. М., 1919. С. 20–24); упоминаются в газетах «председательница коммунального совета» и «заведующая хутором» (*Евстигнеев А.* В Спасо-Бородинской коммуне (Впечатления) // *Беднота*. 1921. 24 июня. С. 2).

С. 113. ...*обычное общее собрание коммуны. ~ В повестку дня вносилось два пункта: «текущий момент» и «текущие дела».* — Характерные для пореволюционных лет обозначения пунктов повестки дня собрания или заседания: «текущий момент» предполагал анализ внешнего и внутреннего положения Советского государства, «текущими делами» назывались реальные проблемы и задачи той или иной организации; см., напр., как решался вопрос повестки дня VIII губернского съезда Советов Воронежской губернии, открывшегося 8 октября 1920 г.: «Целиком принимается следующий порядок работы съезда: 1) Текущий момент». Пункты 2, 3, 4 включали слушание докладов Президиума Губисполкома и его отделов. «В конце порядка дня стоят текущие дела» (*Вор. ком.* 1920. 9 окт. С. 2).

С. 115. ...*выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни сутки...* — Имеются в виду продуктовые рабочие карточки, или талоны, на хлеб, крупы, сахар, подсолнечное масло и другие продукты. До конца 1919 г. принимались различные постановления и декреты о нормах продуктового пайка по разным отраслям хозяйства, что приводило к «неравномерному распределению продуктов между трудящимися»; см.: «Постановление Совета Обороны о нормах продуктового пайка рабочим и работницам, занятым добычей и сушкой торфа» от 20 мая 1919 г.; «Предписание Совета обороны Реввоенсовету Южного фронта выдавать тыловой паек» от 19 июля 1919 г. и т. п. Постановлением VII Всероссийского съезда Советов об организации продовольственного дела в РСФСР от 9 декабря 1919 г. был введен единый рабочий паек (*Декреты Советской власти*. Т. 5. С. 352).

Прочий — слово употреблялось в 1920-е гг. для обозначения беспартийных, не относящихся к рабочему классу, крестьянству и служащим представителей населения; см., напр.: «Активность рабочих падает. Служащие и “прочие” вытесняют рабочих» (Из доклада тов. Молотова на июльском пленуме ЦК и ЦКК // *Раб. газ.* 1926. 21 авг. С. 5); «В Обществе Друзей Радио: рабочих — 20%, крестьян — 13%, служащих — 49%, потом 18% прочих» (*Троцкий Л.Д.* Радио, наука, техника и общество // *Кр. новь*. 1927. № 1. С. 142).

Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше — в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно

убивая членов советской власти по всему району. — В основе данного сюжета лежат реальные события — восстание крестьян во главе с местным уроженцем Иваном Сергеевичем Колесниковым (1894–1921?), которое началось в ноябре 1920 г. и было направлено, главным образом, против продразверстки. В августе 1920 г. в слободе Старая Калитва дезертиры Григорий Колесников и Марко Гончаренко организовали отряд из 15 человек под названием «Шмагай». В это же время в слободе действовала другая группа дезертиров из 10 человек во главе с зажиточным крестьянином Тимофеем Кунаковым. В октябре 1920 г. обе группы объединились для противодействия продотрядам. 12 октября произошло нападение на продотряд на хуторе Н. Мельница, был убит продагент, восемь бойцов продотряда избиты. Для борьбы с восставшими на объединенном заседании Воронежского губкома и губисполкома по борьбе с бандитизмом 22 октября был создан совет-штаб в составе губернского военного комиссара, председателя Губчека, начальника губернской милиции. Руководил штабом Ф.М. Мордовцев — военком, коммунист с дореволюционным стажем. При каждом уездном военном комиссариате предлагалось сформировать кавалерийские отряды численностью в 30–50 человек. Вторая слобода, упомянутая в романе, — это, вероятно, село Новая Калитва, где в октябре работал продотряд под руководством Михаила Колесникова, брата Григория. В начале ноября отряд Григория Колесникова в Старой Калитве, насчитывавший уже около 150 человек, напал на продотрядовцев, требовавших сдачи хлеба и силой отбиравших его, и разоружил их. После разгона продотрядов на сходе в Старой Калитве был избран военным командиром уроженец слободы Иван Сергеевич Колесников, однофамилец организатора восстания, участник Первой мировой войны, бывший красноармеец, а в начале 1920 г. — командир 3-го батальона 357 стрелкового полка 40-й Богучарской стрелковой дивизии. Точные обстоятельства его перехода к восставшим неизвестны. Благодаря мобилизации крестьян к середине ноября отряд Колесникова насчитывал уже свыше тысячи бойцов, успешно разгонял продотряды и возвращал хлеб крестьянам, восстание перекинулось на слободы Дерезоватая и Криничная. К концу ноября восстание охватывало весь юг губернии от линии Павловск — Калач и насчитывало 10 тысяч участников. Восставшие действовали под красными знаменами и лозунгами «Да здравствует солнце правды!», «Да здравствуют Советы без коммунистов!» В декабре повстанцы в Воронежской губернии были разбиты, а И. Колесников уехал в Старобельский уезд Харьковской губернии и организовал восстание там. 28 января его отряд вернулся к юго-восточной границе Воронежской губернии, начался второй этап борьбы (см.: Воронежские чекисты рассказывают / под ред. ген.-майора Н.Г. Минаева. Воронеж, 1976. С. 29–33; *Борисов Д.* Колесниковщина. Антисоветское восстание воронежского крестьянства в 1920–1921 гг. М., 2012. С. 5–36; *Разинков А.* Страницы истории Воронежского края. Легенды и были Старой Калитвы (по документам Воронежского государственного архива военно-политической истории) // Воронежская неделя. 2013. 24 апр. № 17. С. 9).

О политическом настрое восставших 19 ноября 1920 г. писал со станции Евстратовка председатель губчека Воронежской губернии Н.Е. Алексеевский, отправившийся в глубь губернии на борьбу с бандами Колесникова, секретарю президиума губисполкома В.В. Дьякову: «С бандитами у нас дело немного зятя-

нулось, ибо эта публика проявляет порядочную организованность и выдержку. В боевом отношении они крепки, а в политическом это любопытнейшая банда. По всей вероятности, во главе их стоят каутскианцы из числа сторонников чистой демократии и врагов террора. Расстрел пленных, даже комсостава, не практикуется. Имея полную возможность портить связь, рвать полотно, они не делают этого, не желая портить “общегосударственного” достоинства и мешать “борьбе с Врангелем” (это заявил, правда, один). Около штаба — красный флаг, “правление народное” — в общем каутскианско-черновская идиллия. “Долой грабителей” (деятелей Наркомпрода), “Вся власть — всему трудовому народу” — вот их лозунги. Но несмотря на их симпатичные качества, на днях им будет устроена кровавая баня и материалистическое понимание истории будет внушено». О ходе военных действий против отряда Колесникова Алексеевский сообщал жене тяжело больного Дьякова Н.Н. Кардашевой 25 ноября: «Вообще борьба с бандитами не такая простая штука, как это может показаться. <...> у нас не совсем хорошие вещи. Восстало поголовно все население. По занятии отрядом того или другого села, ночью население изнутри, а бандитские части извне делают внезапные нападения. Все население выскакивает на улицу с криком “ура”, беглый огонь из каждого окна и подворотни. Извне кавалерия. Мрак, растерянность, паника, и в результате отряд в плену. Я имел удовольствие испытать это в Терновке. Наш штаб 2-х захватил <sic!>, а через 5 минут после первого выстрела банда захватила изнутри село. Чистая случайность избавила меня и нашего комполка от переселения в лучший край. В благодарность за это, отбив нападение, Терновка сокращена по размерам так же, как и ее население. Восстание разрастается. Но все же очень скоро ему будет нанесен сокрушительный удар». Дополнительную информацию содержит письмо Дьякову от 26 ноября: «Дело затягивается, оказывается, кулачки не особенно интересуются материализмом, а предпочитают сберечь свой хлеб. Восстание захватило уже и Богучарский уезд. В назидание бандитам сожжена Терновка. Впечатление порядочное» («...на днях им будет устроена кровавая баня»). Три письма с Черной Калитвы / публ., предисловие и коммент. Е.В. Антоновой // Из истории Воронежского края. Сборник статей. Вып. 24. Воронеж, 2017. С. 220–223). В декабре 1920 г. Алексеевский и семеро его спутников: губвоенком Ф.М. Мордовцев, начальник штаба особого отдела Бабкин, комендант губернской чрезвычайной комиссии Б.П. Бахарев, председатель Богучарского уездного ревкома К.Н. Авдеев, следователи М.Л. Розен, Б.Л. Поляков, В.Н. Перекоресов, которые были вызваны в Воронеж для участия в Губернском съезде советов, открывавшемся 12 декабря, трагически погибли при столкновении с отрядом Колесникова (см.: Там же. С. 219–220). Платонов мог хорошо знать о восстании от Г.З. Литвина-Молотова, состоявшего, через жену, в родстве с В.В. Дьяковым; цитируемые выше письма хранились у Литвина-Молотова (Там же. С. 17).

В текущей периодике «красные флаги» бандитов трактовались как обман народа: «В Новохоперском уезде бандитами разграблено несколько совхозов, в числе которых уничтожен до основания лучший из всех имеющихся в губернии <...>. Шайка Колесникова и Варавы <...> совершает налеты определенно с красными флагами и революционными песнями, т. е. работает под “советскую власть”» (Трудовой клич. 1921. 20 апр. С. 2); какая-либо политическая програм-

ма у них отрицалась: «...желают лишь пьяной разгульной жизни за счет тяжелого труда землепашцев и рабочих» (Смерть бандитам // *Кр. дер.* 1920. 17 окт. С. 2. Подпись: *Воронежский Губисполком*). В более поздней советской историографии, напротив, утверждалось, что «банда» Колесникова «имела свою политическую программу и стройную военную организацию. По данным нашей разведки, во главе полков стояли эсеры» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 85–86).

Судьба Колесникова, по поздним советским источникам, сложилась так: «...около 10 апреля 1921 г. Колесников вынужден принять бой с кавалерийским отрядом т. Семенова, в котором теряет более 200 человек. Сам Колесников, раненый, выбывает из строя. Остатки банды делятся на две части: одна уходит в Харьковщину, другая оперирует некоторое время в Павловском уезде. Здесь вспыхивает бунт. Часть банды, пожелавшая вернуться к мирной жизни, поручила своих соратников и явилась с повинной в Павловск, выдав Колесникова» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 87). По другим источникам, Колесников был убит в конце апреля 1921 г. у станции Криничной (Воронежские чекисты рассказывают. С. 39).

...вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции... — Отсылка к возникшему после Февральской и получившему свое развитие после Октябрьской революции масштабному проекту, в соответствии с которым с улиц и площадей удалялись знаки царского режима и возводились монументы, отражающие идеи революции. Еще в апреле 1917 г. Временным правительством был объявлен конкурс на «Памятник жертвам революции 1905 г.», который предполагалось установить на Марсовом поле. Проект осуществлен не был. 12 апреля 1918 г. был принят «Декрет СНК о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции» (опубл.: *Известия. Правда.* 1918. 15 апр.), в соответствии с которым создавалась «особая комиссия», призванная решить, «какие памятники подлежат снятию». Этой же комиссии «поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской Социалистической Революции» (*Декреты Советской власти.* Т. 3. С. 117–118). В основу декрета была положена идея монументальной пропаганды, высказанная В.И. Лениным в беседе с А.В. Луначарским в марте 1918 г. (*Художественная жизнь Советской России. 1917–1932.* События, факты, комментарии. Сборник материалов и документов / под ред. В.П. Толстого, сост. И.М. Бибикова. М., 2010. С. 41–42). См. отклики в печати: «Памятник героям революции 1917–18 года будет хорош. Между прочим, у него будет восемь огромных плит с надписями монументального характера, кроме общей надписи исторической: “Не зная имен всех героев в борьбе за свободу, кто кровь свою отдал, — род человеческий чтит безымянных. Всем им в память и честь этот камень на долгие годы поставлен”» (Памятники революции // *Искусство.* 1918. № 3(7). С. 24. Б.п.). См. также в повести А. Чапанова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» описание «Памятника деятелям великой революции»: «...возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спира-

люю поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта...<...> на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков. <...> Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур — Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу около наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом...» (*Кремнев И.* Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. М., 1920. С. 13–14).

С. 116. *Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства.* — Абстрактность фигуры, предложенной Двановым, соответствовала установкам эпохи, художники которой «очищают себя от накопления форм, принадлежащих прошлым векам, так как должны поместить новый ритм времени» (*Малевич К.* К новому лику // Анархия. 1918. 27 марта. С. 3. Цит. по: *Художественная жизнь Советской России.* С. 37). На языке нового искусства были выполнены, например, А.А. Весниным «Эскиз эмблемы для ВХУТЕМАСа» (начало 1920-х гг.), представляющий собой круг, в который вписаны прямоугольный треугольник, две полуокружности и трапеция (Там же. С. 123); Г.Г. Клуцисом «Конструкция» (1921), включающая шар, установленный на трех полых трубах, в который вписаны геометрические фигуры (Там же. С. 131); В.Е. Татлиным макет «Проекта памятника III Интернационалу» (1919), состоящий из объемных геометрических фигур (Там же).

...какое хорошее и неясное слово: усложнение, как — текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя. — См. в пьесе «Дураки на периферии»: «И как теперь выражаются: вы не знаете, Иван Иванович, как, например, моменты могут течь» (*Сочинения, 4(2).* С. 156).

...ветер войны... — См. резолюцию «О грядущей империалистической войне», принятую в марте 1921 г.: «Десятый съезд РКП(б) обращается к Исполкому III Интернационала с предложением выпустить манифест к пролетариям всего мира по поводу подготавливаемой империалистами в течение последних лет и грозящей разразиться в ближайшее время войны из-за берегов Великого океана» (Протоколы X съезда РКП(б). Март 1921. М., 1933. С. 568–569). В 1927–1928 гг., во время работы Платонова над романом, печать СССР также полна сообщений о возможной войне. Уже в январе 1927 г. на XV Московской губернской конференции ВКП(б) Н.И. Бухарин выступил с предупреждением: «Войну готовят», рассказывал о стремлении стран Западной Европы во главе с Англией «окружить нас кольцом враждебных сил» (Правда. 1927. 13 янв. С. 2–3). См. также примеч. к повести «Город Градов» (*Сочинения, 2.* С. 607–608), рассказу «Война» (Там же. С. 714–715).

С. 117. *...мужики распоролли агенту по продразверстке живот и набили туда проса.* — 27 февраля 1919 г. было принято постановление СНК о рабочих продовольственных отрядах, в задачи которых входило собирать в деревнях продразверстку (*Декреты Советской власти.* Т. 4. С. 446–447). Крестьяне, как правило, относились к продовольственным агентам враждебно, чему немало способствовало их поведение; см.: «В Тешевской волости Задонского уезда имеется чуть ли не пять продовольственных агентов, которыми крестьяне недовольны, так как прежде чем выполнить честно свой долг, они нюхают, где пахнет самогоном, или, производя поверку скота, делают обыски даже в сундуках

крестьян» (*Кр. дер.* 1920. 9 апр. С. 2). Об отношении крестьян к продотрядам и продагентам см. выше примеч. к с. 115.

С. 118. ...*аллея шла из имени, расположенного в стороне от дороги. ~ «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам».* — Образ ревзаповедника появляется в 1927 г. в рассказе «Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине)» и одноименном сценарии (см. примеч.: *Сочинения*, 2. С. 725, 829–830. См. также вступит. статью, наст. изд., с. 565–566).

Газета называлась «Бедняцкое Благо», будучи органом Великоместного сельсовета и уполрайревкома по обеспечению безопасности в юго-восточной зоне Посошанской волости. — Газета с названием «Бедняцкое благо» неизвестна, в пореволюционные годы существовало немало названий органов печати, производных от слова «бедный»: «Беднота» (общероссийская газета, см. далее примеч. к с. 167 наст. изд.), «Воронежская беднота» (см. примеч. к с. 53 наст. изд.), «Бедняк» (в городах Борисове, Казани, Минске, Смоленске, Костромской области), «Бедняцкая правда» (в г. Владимире, с 1928 г.).

Посошанская волость — авторский топоним, образован по аналогии с реальным топонимом — Россошанская волость Воронежской губернии.

В газете осталась лишь статья о «Задачах Всемирной Революции» и половина заметки «Храните снег на полях — поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в середине сошла со своего смысла: «Пашите снег, — говорилось там, — и нам не будут страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтов». — *Всемирная Революция* — Доктрина мировой пролетарской революции, в основе которой лежала концепция К. Маркса о непримиримой классовый борьбе эксплуатируемых и эксплуататоров, являлась важной составляющей официальной идеологии Советской России в пореволюционные годы и практически всю первую половину 1920-х гг. В 1918 г. Н. Бухарин писал: «Чем лучше мы будем организованы, чем сильнее будут вооруженные отряды рабочих и крестьян, чем крепче будет пролетарская революция в России, тем быстрее будет идти вперед и дело международной революции. Эта революция наступит неизбежно, как ни задерживают ее ход немецкие, австрийские, французские и английские меньшевики. <...> Рано или поздно у нас будет *Международная республика советов*» (*Бухарин Н.* Программа коммунистов (большевиков). М., 1918. С. 61). В 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Интернационал, ставший на долгие годы «штабом мировой революции». В «Манифесте I Конгресса Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира», подготовленном Л. Троцким, указывалось: «Наша задача состоит в том, чтобы <...> объединить усилия всех истинно революционных партий мирового пролетариата и тем ускорить победу коммунистической революции во всем мире» (цит. по: Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М., 1998. С. 105). Вопрос о всемирной революции, или международной революции, не раз ставился в работах В.И. Ленина: «Странное и чудовищное» (1918), «К истории вопроса о несчастном мире» (1918), «О революционной фразе» (1918), «Главная задача наших дней» (1918) и др.

Центральные и местные газеты в 1919–1921 гг. информировали о ходе революционной борьбы в других странах, которая неминуемо приведет к мировой

революции; см.: «В Голландии происходит серьезное движение в сторону создания Советской республики», «В Мюнхене центральный совет издал приказ, предписывающий буржуазии сдать все имеющееся у них оружие в 24 часа», «В Сербии — диктатура пролетариата» (Клич бедноты. 1919. 21 апр. С. 2); «Вся Европа с нами. <...> ожидается однодневная забастовка в знак сочувствия Советской России 25 сентября. В этот день повсюду (исключая некоторые области Германии) будут проходить манифестации с требованием признания Советского строя» (*Кр. дер.* 1920. 24 сент. С. 1). К моменту написания романа мировую революцию ждали уже несколько раз: в Германии в 1923 г., в Англии в 1926 г., в Китае в 1927 г.

Храните снег на полях ~ пашите снег... — Речь идет о снегопахании — создании снежных валов, гребней путем вспахивания снежного поля, эти валы и гребни служат средством снегозадержания, которое необходимо для увеличения влажности почвы и утепления растений; о снегоборных полосах см.: *Данилов Е.* Как побеждать засуху (Беднота. 1921. 17 мая. С. 1); *Он же.* Еще о снегоборных полосах (Там же. 18 мая. С. 2).

...тысячи зарвавшихся Кронштадтов. — Речь идет о Кронштадтском восстании — вооруженном выступлении гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кораблей Балтийского флота и жителей города против диктатуры большевиков и проводимой ими политики военного коммунизма (середина февраля — 18 марта 1921 г.). Волнения, вызванные голодом, топливным и энергетическим кризисом, недовольством политикой коммунистов, начались в 20-х числах февраля 1921 г. в Петрограде; 24 февраля прошла демонстрация на Васильевском острове; началось брожение в войсках. 24 февраля в Петрограде введено военное положение. О волнениях в Петрограде стало известно в Кронштадте. Начался первый период восстания — период политического противостояния (с 1 по 7 марта), когда действия еще не приобрели вооруженного характера. На митинге, устроенном командованием Балтфлота, кронштадтцы предъявили Председателю ВЦИК свои требования, зафиксированные в резолюции: немедленно провести выборы в Советы, так как старые Советы уже не отражали настроений народа, объявить амнистию арестованным по политическим мотивам рабочим, крестьянам, представителям социалистических партий, упразднить политотделы в армии и на флоте. Экономическая часть резолюции включала требования отмены продразверстки, введения продналога, разрешение свободной торговли. 2 марта был избран орган городского самоуправления — Временный революционный комитет матросов, красноармейцев и рабочих г. Кронштадта, во главе с С. Петриченко, он должен был провести выборы в Кронштадтский Совет. В Петроград была направлена делегация для переговоров, которая была арестована и расстреляна. 3 марта 1921 г. принято Постановление СТО под председательством В.И. Ленина: «Петроградский комитет обороны в области всех мероприятий и действий, связанных с ликвидацией эсеровско-белогвардейского вооруженного мятежа, всецело подчиняется Реввоенсовету Республики, который осуществляет свое руководство в установленном порядке». В тот же день в газетах «Известия» и «Петроградская правда» напечатано «Правительственное сообщение об эсеровско-белогвардейском мятеже в Кронштадте», в котором речь шла о «мятеже бывшего генерала Козловского и корабля “Петропавловск”», аресте комиссаров

Балтфлота т. Кузьмина, Председателя Кронштадтского Совета тов. Васильева и др., резолюция Кронштадтского Ревкома характеризовалась как «черносотенно-эсеровская». Второй, вооруженный период восстания начался 6 марта с обстрела крепости. 8 марта был опубликован приказ Л. Троцкого, в котором «обманутым кронштадтцам» было предложено сдаться, одновременно сообщалось о распоряжениях «подготовить все для разгрома мятежа» (Известия. 8 марта. С. 2). С 8 до 18 марта шла оборона города. Ликвидация мятежа совпала с открытием 8 марта X съезда РКП(б). На втором заседании съезда выступил В.И. Ленин; он отметил, что «восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы». От имени делегатов съезда печатались листовки, раскрывающие кронштадтцам цель организаторов восстания — восстановить власть буржуазии. В подавлении мятежа были задействованы части Красной Армии под командованием М.Н. Тухачевского и отряд делегатов X съезда во главе с К.Е. Ворошиловым. 5 апреля 1921 г. особо уполномоченный ВЧК Я.С. Агранов представил в Президиум ВЧК «Доклад о результатах расследования по делу мятежа в городе Кронштадте», где сообщалось: «...восстание возникло стихийным путем и вовлекло в свой водоворот почти все население и гарнизон крепости. Кронштадтское восстание вообще является заключительным аккордом данного этапа развития мелкобуржуазной стихии, представляющей собой реакцию против диктатуры пролетариата и коммунистического режима, недовольство крестьянства и отсталых слоев рабочего класса продовольственной политикой Советской власти и явное стремление к преодолению оков, наложенных последней на свободный оборот мелкого собственника». Именно во время Кронштадтского восстания появился лозунг «Советы без коммунистов» (подробно см.: *Пухов А.* Кронштадтский мятеж в 1921 году. Л., 1931; *Щетинов Ю.* Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России (конец 1920–1921 г.). М., 1984; *Семанов С.* Кронштадтский мятеж. М., 2003. С. 48–243).

См. также в «Строителях страны» размышления Саши Дванова о причинах Кронштадтского восстания: «Если бы Кронштадт был обыкновенное белогвардейское дело, Ленин и не ввел бы этой новой политики... Я слышал в поезде разговоры — не всему верил, а теперь сам догадался. И в деревнях я видел многое — еще бы полгода, и мы бы погибли: нас бы начали душить самые кроткие люди, а мы бы их сдуру называли белогвардейцами...» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 531).

С. 119. *Ниже гравюры был латинский стих, данный рельефом по колонне: Вселенная — бегущая женщина ~ А в глазах начинаются звезды.* — Автор стихов, вероятно, сам Платонов; ср. близкие образы в его лирике: «Лицо вселенной так прекрасно, / Ее смертельна красота. / Звезда упала, летит и гаснет — / Над нею выше высота» («Когда я думаю, я слышу музыку...» // *Сочинения*, 1(1). С. 319); «Вселенная! Ты горишь от любви, / Мы сегодня целуем тебя. / Все одежды для нас в первый раз сорви, / Покажись — и погибшие встанут в гробах» (Вселенной // Там же. С. 402).

С. 120. ...*факт и лозунг...* — По наблюдению А.М. Селищева, «от периода войны и военного коммунизма идет тенденция к частому употреблению категорически утверждающих слов: *определенно, ясно, факт, ничего подобного*» (Се-

лицев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком. 1917–1926. М., 2012. С. 95).

Детонация — процесс химического превращения взрывчатого вещества, сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по веществу в виде волны от одного слоя к другому со сверхзвуковой скоростью. В данном контексте — взрыв.

С. 121. *Ну, тогда выйди и прими пакет от товарища Троцкого ~ Да какой он мне товарищ, раз надо всеми командует! Мне коменданты революции не товарищи.* — *Троцкий* Лев Давидович (наст. имя — Лейба Бронштейн, 1879–1940) — один из признанных вождей революции, член Политбюро ВКП (б); с марта 1918 г. по январь 1925 г. нарком по военным делам, Председатель Высшего военного совета (Реввоенсовета) Советской России. Троцкому посвящены возвышенные строки в статье «Луначарский» (1920): «... Троцкий — революционер-артист, гордый, острый дух революции, страсть восстания и ненависти, воин чести и справедливости — вождь победы...» (*Сочинения*, 1(2). С. 50); в стихотворении «Вождю оппозиции» (конец 1926 — начало 1927) — отклик на дискуссию о троцкизме: «Ты удручен — и речью пышной / Исходит сердце страстное твое... / Не надобно кричать — и так все слышно, / Тебя любили мы, / Теперь — огнем единства бьем!...» (*Сочинения*, 1(1). С. 428). Четыре раза Троцкий упоминается в повести «Сокровенный человек» (см. примеч.: *Сочинения*, 2. С. 624–625, 641).

С. 122. *К бутылке хлебом была приклеена бумага с надписью чернильным карандашом лозунга: «Смерть буржуям».* — После покушения на Ленина 30 августа 1918 г. и введения затем 5 сентября 1918 г. постановления «О красном терроре», где утверждалось, что «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам» (*Декреты Советской власти*. Т. 3. С. 292), подобного рода лозунги-призывы получили распространение; см., напр., статью, посвященную гибели Розы Люксембург: «СМЕРТЬ БУРЖУАМ!» (Клич бедноты. 1919. 21 апр. С. 2); плакат Д. Моора «Смерть мировому империализму!» (1919), плакаты «Смерть Врангелю!» (Ярославль, 1920. Б.п.), «Смерть душителям и угнетателям рабочих и крестьян!» (1920) (*Бутник-Северский Б. С.* Советский плакат эпохи Гражданской войны. С. 313). См. также в неоконченном сценарии «Надлежащие мероприятия (Социальн<ая> сатира наших дней)» (1927) аналогичную этикетку на «бутылке мутной жидкости», с которой тов. Чалый прибывает из далекой коммуны «Революционный заповедник имени 1919 г.» (*Сочинения*, 2. С. 421).

С. 122–123. *Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошли армия, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника... ~ Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека... —* Имеются в виду решения VIII съезда РКП(б), проходившего с 18 по 23 марта 1919 г. Обсудив вопросы о необходимых реформах в области взаимоотношений между партией и Советами, съезд постановил: «Коммунистическая партия ставит себе задачей завоевать решающее влияние и полное руководство во всех организациях трудящихся: в профессиональных союзах, кооперативах, сельских коммунах и т. д. Коммунистическая партия особенно добивается проведения своей программы и своего полного господства в современных государственных организациях,

какими являются Советы» (Восьмой Всероссийский съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Протоколы заседаний и резолюции. Казань, 1919. С. 131). Реформы коснулись и социального состава партии: «Все партийные организации обязаны вести полный учет своему составу и сообщать его периодически в ЦК партии. При приеме в партию нерабочих и некрестьянских элементов следует относиться с большим разбором» (Там же. С. 126), и Красной Армии, которую нельзя строить на «внеклассовой или общенациональной основе»: «Красная Армия, как орудие пролетарской диктатуры, должна по необходимости иметь открыто классовый характер, т. е. формироваться исключительно из пролетариата и близких ему полупролетарских слоев крестьянства» (Там же. С. 19). «Тезисы по военному вопросу», принятые на съезде, закрепляли роль комиссаров, коммунистических ячеек и партийной организации в Красной Армии. В 1917 — начале 1918 г. красноармейские части строились из добровольцев, командный состав был выборным, в частях имелись, помимо командиров, красноармейские комитеты, обладающие большими правами. Однако такая структура армии была временной: 9 марта 1918 г. был создан Высший военный совет, который объединил всю работу по строительству Красной Армии; 17 марта во главе его был поставлен Л.Д. Троцкий. С этого момента началась фактическая работа по реорганизации Красной Армии: 8 апреля 1918 г. был «принят Декрет об учреждении, вместо прежних разрозненных отделов местных Советов, Военных комиссариатов, пронизывающих всю страну от волости до центра»; 29 апреля 1918 г. — «Декрет ВЦИК о новом порядке замещения военных должностей в Красной Армии», что означало «конец выборности» (Таль Б. История Красной Армии. Краткий общедоступный очерк. М.—Л., 1928. С. 29–52). На VIII съезде РКП(б) были отменены принцип добровольчества в армии и выборность командного состава, утвержден принудительный набор в армию «только трудовых элементов, с тщательным выделением в особые рабочие батальоны (роты) кулацких и паразитарных элементов» (Восьмой Всероссийский съезд... С. 9). Было переработано положение о комиссарах и Реввоенсоветах, определены права и обязанности командиров и комиссаров: командирам предоставлялось «решение хозяйственно-административных вопросов», комиссарам — «право налагать дисциплинарные взыскания (в том числе и право ареста) и предания суду» (Там же. С. 10).

С. 123. ...*упродком хлеб в животе ищет...* — *Упродком* — уездный продовольственный комитет. Продовольственные комитеты были созданы еще Временным правительством в марте 1917 г. и занимались учетом, заготовкой и распределением хлеба. После Октябрьской революции был создан Наркомат продовольствия, а 31 мая 1918 г. декретом ВЦИК были учреждены губернские, уездные и городские продовольственные комитеты в составе комиссаров продовольствия, коллегий при них и представителей потребляющих губерний. Продкомы подчинялись Наркомпроду и действовали под контролем местных Советов. В функции продкомов входили: заготовка хлеба и других продуктов, распределение их, снабжение сельского населения промышленными товарами первой необходимости. Продкомы были основными проводниками продовольственной политики Советской власти на основе продрозверстки.

С. 124. *Буржуя нету, так будет труд...* ~ *Долой земные бедные труды...* — О связи идеи отказа от труда с народными сказочными представлениями об иде-

альном устройстве в «нездешнем царстве» см.: *Золотоносов М.* «Ложное солнце» («Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 1920-х годов). С. 249.

С. 127. *Обдумываю, как бы Ленина вызвать сюда — все ж таки вождь!* — Отсылка к представлению о главе Советского государства как о человеке, которого отличают простота, внимание к людям, доступность. В пореволюционные годы В.И. Ленин иногда действительно выезжал на какие-то особенно торжественные массовые мероприятия, но преимущественно недалеко от Москвы; см., напр.: «14 ноября в Волоколамском уезде Московской губернии, в деревне Кашино, состоялось торжественное открытие электростанции. Крестьяне пригласили тов. Ленина и тов. Крупскую». Приехавший Ленин выступал на прошедшем митинге в Кашино и в ближайшем селе Ярополец, «произнес речь в Народном доме». В селе «один из местных граждан обратился к тов. Ленину с просьбой об удовлетворении местных нужд. Тов. Ленин предложил избрать делегата и послать его к нему в Кремль» (*Кр. дер.* 1920. 30 ноября. С. 1).

С. 128. *Он оглядел Копенкина, ехавшего со спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург.* — Проективные идеи «Философии общего дела» (1907) Н.Ф. Федорова – регуляции природы, воскрешения умерших, «супраморализма», «оздоровления земли», преодоления «ненавистной раздельности мира» — занимали особое место в интеллектуальном поиске Платонова. См. в рассказе «Жажда нищего» (1920): «Человечество давно (и тогда уже) перестало спать и было почти бессмертным: смерть стала редким случайным явлением, и ей удивлялись, а умерших немедленно воскресали» (*Сочинения*, 1(1). С. 168); в статье «Культура пролетариата» (1920): «Новая опасность человека — смерть. Против нее он направил свои удары... <...> Мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической работой-наукой» (*Сочинения*, 1(2). С. 98); в повести «Сокровенный человек»: Пухов «находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость» (*Сочинения* 2. С. 181); в редакции «Строители страны»: «Гратов и Дванов давно сговорились, что они будут работать, учиться и изобретать с таким усердием, чтобы к концу своей жизни сделать всю природу совершенно пластичной и покорной резцу разума человека. Тогда мертвые будут воскрешены — не из необходимости, а для доказательства творческой силы и вечной памяти человечества» (см. раздел «Планы. Редакции», наст. изд., с. 436). Подробно о «трассирующем мотиве» «воскрешения мертвых самими людьми, мощью науки, силой любви» в творчестве Платонова, о связях его с традицией активно-эволюционной, космической мысли, и прежде всего с «Философией общего дела» Н.Ф. Федорова см. в работах С.Г. Семеновой (*Семенова С.Г.* Юродство проповеди: Метафизика и поэтика Андрея Платонова. М., 2020. С. 114–116, 248–284, 332–349; *Метафизические мотивы творчества Андрея Платонова // Андрей Платонов. Философское дело: сборник научных статей.* Воронеж, 2014. С. 316–349).

С. 129. *У нас Тимофей Плотников гостит...* — В образе Тимофея Плотникова нашли отражение черты Ивана Колесникова — руководителя крестьянского восстания; см. примеч. к с. 115 наст. изд.

С. 131. *...Калитва селилась семейными кустами четыреста лет...* — Под общим названием «Калитва» объединены два села — Старая Калитва и Новая

Калитва. Село Старая Калитва Россошанского района Воронежской области образовалось в 712 г. и имело богатую историю: «Это село возникло как слобода на реке Черная Калитва. Первыми его жителями стали украинские казаки из Землянска, Талицы, Чернавска. В прошлом село было административным центром комиссарства (с 1765 г.), Калитвянского уезда (1779–1802), входило в состав Острогожского, Россошанского (1923–1928) уездов. В 1779–1802 гг. обрело статус города. В 1920 г. в слободе было около одной тысячи дворов и около восьми тысяч жителей. Расположена она на правом берегу Дона, на возвышенном месте. Вблизи находится устье реки Черная Калитва. Жители слободы — украинцы, потомки казаков, награжденных Петром Первым этой землей за несение военной службы. Старая Калитва всегда была относительно богатым селом. Ежегодно здесь проходили шумные ярмарки, на которых продавалось большое количество пшеницы и скота, а также меда. Относительно высокой была культура земледелия. К 1920 году, в результате Первой мировой и Гражданской войн, а также засушливого лета, Старо-Калитвянская волость сильно пострадала. Например, количество лошадей на одно хозяйство по сравнению с данными за 1916 год, сократилось в два раза, а скота — в четыре» (Разинков А. Страницы истории Воронежского края. Легенды и были Старой Калитвы. С. 9). В устье той же реки, Черной Калитвы, на правом берегу Дона расположено село Новая Калитва, основанное в XVII в. переселенцами из Старой Калитвы. Жители этого села в ноябре-декабре 1920 г. присоединились к восстанию Колесникова.

...у кирпичного грязного дома, в каких помещались раньше казенные винные лавки. — Государственная монополия на производство и продажу вина существовала в России с XV в. Перед Первой мировой войной по инициативе министра финансов С.Ю. Витте была введена очередная винная монополия, действовавшая с 1894 по 1913 г. Винная монополия распространялась на очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные заводы могли принадлежать частным лицам, но производимый ими спирт покупался казной, получал чистку на государственных складах и продавался в государственных (казенных) винных лавках. В 1913 г. общая выручка от винной монополии составила 26% доходов бюджета России.

С. 132–133. *Дванов удивился, что он не похож на бандита, а был обыкновенным мужиком и едва ли богатым. ~ Были у вас белые офицеры? Кто такой Плотников? ~ Не, никого не было,— боясь солгать, тихо отвечал крестьянин. — Каюсь тебе, милый человек: никого... Плотников — с наших присёлков мужик...* — Среди организаторов восстания Колесникова (см. примеч. к с. 115 наст. изд.) действительно не было кулаков и белых офицеров; см.: «Официальной причиной восстания считается нежелание населения выполнять продовольственную разверстку. Письменная и устная агитация в войсках и среди населения, прилегающего к восставшему району, всю вину относил на кулака и его союзника — белогвардейца, обманом и насилием привлечших на свою сторону и середняка, и даже бедняка деревни. <...> Сущность восстания в действительности покоилась, видимо, на причинах более глубоких. Мятежи, вспыхнувшие на продовольственной почве в центральных губерниях в 18-м и 19-м годах, участие в которых кулацкого элемента не подлежало никакому сомнению, по своим формам не имеют ничего общего с восстанием здесь. Там бунтовало исключи-

тельно мужское население, начинавшее действия с разгона Советов и избития советских работников, здесь — совершенно другое. Прежде всего активное участие в мятеже принимает все население, начиная от стариков и кончая женщинами с детьми. Советы не разгоняются, а привлекаются на сторону восставших. Внешняя форма Советов сохраняется даже тогда, когда работники последних или бежали, или разогнаны повстанцами. <...> Сам лозунг повстанцев — “против грабежей и голода” — говорит за то, что восстание получило свое начало в самой гуще деревни, будучи чуждо какого бы то ни было стороннего влияния» (Рапорт от 6 декабря 1920 г. комиссара вооруженных сил Евстратовско-Богучарского района Воднева на имя командующего 2-й особой армией. Цит. по: *Разинков А.* Из истории Воронежского края. С. 9). В советской историографии 1960-х гг. утверждалось обратное; см.: «...Иван Колесников — эсер, сын богатого кулака, офицер в царской армии...» (Воронежские чекисты рассказывают. С. 32).

С. 133. *Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. ~ Дванов заслушался, забывая значение набата.* — *Набат* — сигнал к сбору людей в случае пожара или другого бедствия, подаваемый ударом колокола. В первые пореволюционные годы появилось выражение «красный набат»; см.: «Эх, / Вскочил, / Взметнулся ввысь, / Над городом, селом, деревней / Кликнул клич — / Могучий — / Набатный звон: / — Вставайте все! / На братский пир, / На дружный труд / И на борьбу!..» (Красный набат. Плакат 1920 г. Подпись: *Стихи Книжного дяди // Бутник-Северский Б.С.* Советский плакат эпохи Гражданской войны. С. 168).

С. 134. *Мудренное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! ~ Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется? — Декретом о земле, принятым на Втором всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г., помещичья собственность на землю «отменялась немедленно», все земли, помещичьи и церковные, переходили в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов впредь до Учредительного собрания (Правда. 1917. 28 окт. (8 ноября). С. 1). См. также примеч. к с. 73 наст. изд. В период военного коммунизма так называемые излишки хлеба отбирались в пользу государства; см.: «На днях будет объявлено населению города, чтобы к определенному сроку были доставлены точные сведения об имеющихся у него хлебных запасах, из этих запасов будут оставлены для пользования не более 2-х месячной нормы, а излишки будут отобраны и отданы в ведение города. Укрыватели излишков будут преданы суду» (Воронежский красный листок. 1918. 28 июня. С. 4); «Видя тяжелое продовольственное положение в стране, Съезд обещает приложить все усилия к изытанию излишков хлеба у населения и отдаче его Красной Армии, Москве и голодному Северу. <...> не сдавших — к ответственности по всей строгости закона революционно-го времени» (На помощь нуждающимся // *Вор. бед.* 1919. 31 янв. С. 4. Подпись: *Петрович*). Реально в деревнях отбирались не излишки, а практически весь хлеб; см.: «Губпродком приступил к выполнению государственной разверстки. На Воронежскую губернию приходится 6 000 000 пудов. <...> В этом году мы уже не будем кричать крестьянам о сдаче излишков, мы говорим просто: “сда-*

вайте хлеб”» (*Киров А.* Не излишки, хлеб сдавайте // *Вор. ком.* 1920. 23 сент. С. 1); «...неправильно думают те, кто говорят, что хлеб, посеянный мною, принадлежит только мне, т. к. я над ним трудился. Нет, из него должно принадлежать тебе столько, сколько тебе может остаться при наделении хлебом поровну всех, у кого хлеб не уродился и кто хлеба не сеял, но занимался другим делом на общее благо» (Там же. 24 сент. С. 2).

...мужики уже приучились хлеб хоронить... — О спрятанном и найденном хлебе постоянно сообщали газеты, приписывая эти действия исключительно кулакам; см.: «Местный кулак Федор Давыдов долгими ночами вырыл в овчарне глубокую яму, насыпал в нее на полтора аршина хлеба, засыпал и замаскировал навозом. На беду гнусного укрывателя наехали агенты Упродкома, добрались до кулака, сделали обыск и, раскопав яму, обнаружили 113 пудов хлеба» (*М-в В.* На черную доску // *Вор. ком.* 1920. 24 сент. С. 2); «У одного местного кулака в замаскированной яме обнаружено около 135 пудов зерна. Хлеб этот лежал в земле, очевидно, уже несколько лет, так как часть успела уже сгнить» (По нашему краю // Там же. 15 окт. С. 3. Б. п.); «Разрывайте же кулацкие ямы, ищите их хлеб...» (*Олегов Ник.* О кулацком хлебе // *Кр. дер.* 1921. 4 янв. С. 3).

С. 135. *У нас людей пять тысяч, и малых и больших.* — Платонов приводит данные, которые он мог почерпнуть из источника 1927 г.: «Отряд быстро вырос до 5000 чел.» (Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. С. 86). По современным данным, в ноябре 1920 г. отряды восставших по губернии насчитывали до 10 тысяч человек, в повстанческой дивизии Колесникова имелось 5500 штыков и 1250 сабель; в начале 1921 г. численность отряда Колесникова — 1000 человек (*Борисов Д.* Колесниковщина. С. 27, 57).

...в Калитве Плотников хотел объявить мобилизацию, но у него ничего не вышло; тогда два дня или сходы, где Плотников уговаривал всех идти добровольцами. — После X съезда РКП(б), 22 марта 1921 г., было принято обращение Полномочного комитета ВЦИК «Ко всем участникам бандитских шаек», обещающее помилование всем явившимся с повинной добровольно, в результате которого в течение трех недель таковых оказалось около семи тысяч человек, в основном мобилизованные крестьяне. Выходили также местные документы сходного содержания; см., напр., «Обращение к колесниковцам, антоновцам, махновцам и другим Острогожского уездного исполкома и комитета партии»: «Вы жалуетесь на нищету и голод, а сами пускаете по миру десятки крестьянских семей. Вы жалуетесь на продрозверстку, а сами отбираете последнее у голодных. Вы говорите, что хотите народу добра, а сами сеете повсюду зло. Теперь, когда отменена разверстка и новый закон о натуральном налоге дал возможность каждому крестьянину заниматься мирным трудом, вы уведите у него последнюю лошадь, отбираете последний кусок хлеба». Обращение обещало помилование пришедшим с повинной. Помимо этого шла большая работа по укреплению частей Красной армии, направленных на борьбу с бандитизмом; 9 апреля 1921 г. президиум Воронежского губисполкома, рассмотрев вопрос «О мерах по борьбе с бандитизмом», принял решение кончить с контрреволюционным восстанием: были укреплены войсковые части Воронежской губернии, они стали координировать с действиями войсковых соединений в Тамбовской, Харьковской губерниях и в области Войска Донского. К лету поражение вос-

ставших стало очевидным, крестьяне отказывались продолжать борьбу, бывшие бандиты приходили с повинной: «9 июня Ревтрибунал в особой сессии публично судил добровольно перешедших на сторону Советской власти 10 бандитов шайки Колесникова. Подсудимые — крестьяне с. Калитвы Острогожского уезда» (см.: Воронежские чекисты рассказывают. С. 34; *Разинков А.* Легенды и были Старой Калитвы. С. 9).

...на деревню Черновку... — Имеется в виду деревня Терновка, расположенная рядом с Новой Калитвой.

С. 135–136. *Сама же долина реки Черной Калитвы представляла сплошную чащу болотных зарослей. ~ Мертвое руно долины ныне слушало лишь безучастные песни ветра.* — Об изменении природных условий в 1901 г. см. в докладе Воронежского уездного комитета по выяснению нужд сельскохозяйственной промышленности: перемены явились результатами «усильной распашки земель по причине малоземелья населения»; в короткий пореформенный период местность уезда изменилась до неузнаваемости: «Леса поредели и сократились в площади, реки обмелели или местами совершенно исчезли, летучие пески надвинулись на поля, сенокосы и другие уголья, поля поползли в овраги, и на месте когда-то удобных земель появились рытвины, водомоины, рвы, обвалы и даже зияющие пропасти; земля обессилела, производительность ее понизилась, — короче, — количество неудобь увеличилось, природа попорчена, естественные богатства истощены, а естественные условия обезображены. Вместе с тем в самой жизни населения проявились скудость, обеднение, вопиющая нужда» (*Шингарев А.И.* Вымирающая деревня. С. 1–2).

См. также в статье «Мелиоративные работы в нашей губернии» (1924) об открытии на реках Черной Калитве, Осереде и Тихой Сосне работ «с целью осушения общей сложностью 4500 десятин заболоченных площадей и улучшения санитарных условий прилегающих населенных районов», о строительстве на Черной Калитве «канала длиной в 120 сажней» (*Сочинения, 1(2).* С. 274).

С. 137. *Черновцы ездили в Калитву, чтобы привезти в председатели незнакомого человека, которого поэтому все бы уважали. Но и так не вышло: в Калитве сказали, что нет инструкций на переселение председателей из чужих мест — выбирайте достойных из своего общества.* — См.: «В Каланчевском уезде среди населения наблюдается горячее желание организовать в коллективы и артели, но нет человека, который бы взялся за это дело. Деревня не знает, с какого конца подойти, чтобы создать коллектив...» (*Кр. дер.* 1921. 11 февр. С. 3. Подпись: *Скиталец*).

По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся... — Игра слов; имеется в виду «восполнение культурного пробела» — культурно-просветительская работа, составная часть большой программы культурной революции партии, о необходимости которой много писала пореволюционная печать; см. хроника такой работы по городам и деревням Советской России: «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. При фабрике Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры в память годовщины октябрьской революции открывается театр и библиотека-читальня. <...> ОРЕЛ. Гор. театр национализирован. Главным режиссером на зиму приглашен П.Я. Алексеев, в настоящее время формирующий труппу. Советская театральная коллегия устраивает драматиче-

скую, оперную и художественную студии в зимнем помещении быв. Купеческого Собрания. ВОРОНЕЖ. Из губернии поступают сведения, что всюду по деревням началась огромная организационно-культурная работа. Устраиваются спектакли, концерты, лекции, открываются народные дома, клубы. Культурным начинаниям в деревне охотно идут навстречу кооперативы, кассы мелкого кредита и потребительские общества, которые ассигновывают крупные суммы на просветительскую деятельность в деревне. СМОЛЕНСК. В Смоленске открылась выставка работ пролетарской студии изобразительных искусств. <...> ПАВЛОВСКАЯ вол. В Павловской волости Звенигородского уезда, при селе Рождественском, в бывшем имении Толстой архитектором Мотылевым открываются бесплатные курсы черчения и рисования для местных жителей. Ему же обществом окрестных деревень поручена организация культурно-просветительного кружка. <...> Следующие спектакли пройдут в исполнении членов кружка. Главным образом намечены к постановке: “Не в свои сани не садись”, “Грех да беда на кого не живет”, “Трудовой хлеб” и др. В. ВОЛОЧОК. 13 октября пьесой “Труд и капитал” открылся народный театр Вышне-Волоцкого Совета» (Провинция // Искусство. 1919. № 6 (10). С. 27).

С. 138. *Сказывают, разверстку теперь не берут, а мы все сеять боимся... И прочие легкости народу пошли — разберут по ртам, а нам не достанется!* — Постановление Президиума ВЦИК «О замене разверстки натуральным налогом» было принято 15 марта 1921 г., опубликовано в газетах «Известия» и «Правда» 17 марта. Размер продналога был существенно меньше; см.: «СНК объявил размер продовольственного материального налога на 1921–22 гг. в сумме не выше 240 млн пудов зерновых продуктов во всей территории Республики. <...> продовольственный налог гораздо меньше намечавшейся до сего времени продразверстки. На 1920–21 годы разверстка была определена в 423 млн пудов. <...> Советская власть очень хорошо знает, как разрушены крестьянские хозяйства, и она не налагает поэтому больших обязательств на крестьян. Она хочет помочь крестьянам укрепить, поднять свои хозяйства, а это сделать могут сами крестьяне, если будут свободно распоряжаться излишками» (240 миллионов // Трудовой клич. 1921. 1 апр. С. 1. Б.п.). После отмены продразверстки Советская власть стремилась преодолеть возникшие в период «военного коммунизма» недоверие и прямую враждебность крестьян, разъясняя свою изменившуюся политику. 26 марта в газетах было напечатано «Циркулярное письмо Президиума ВЦИК всем губпродкомам», подписанное председателем ВЦИК М.И. Калининым: «До настоящего времени Советская власть шла в деревню, главным образом, с разверстками, проводившимися для удовлетворения нужд всего государства. Теперь она идет в деревню с мероприятиями, имеющими целью укрепление крестьянского хозяйства и оказание помощи сельскому населению. Должны быть приняты все меры, чтобы крестьяне дали себе полный отчет в отличии подхода Советской власти к деревне прежде и теперь». В документе четко разъяснялись причины крестьянского отношения к власти, сформировавшегося в результате политики продразверсток: «...имеется много фактов применения принуждения в недопустимых и незаконных формах (произвольные аресты, содержание заключенных в холодных помещениях, рукоприкладство, ни на чем не основанные угрозы оружием, брань и т. п.). Эти формы не могут не вызывать

раздражения и порою возмущения крестьянских масс, что играет на руку только усилению организующейся контрреволюции. <...> Все изложенное требует от нас самого усиленного внимания и соответствующих мер и действий без всякого отлагательства» (Рабочий и крестьянин. 1921. 26 марта. С. 2).

Дванов вскинулся: как разверстку не берут — кто сказал? Но рябой и сам не знал: не то он действительно это слышал, не то от своего сердца нечаянно выдумал. Объяснил только вообще — проходил дезертир без документов и, поев каши у рябого, сообщил, что нет теперь никакой разверстки — к Ленину в кремлевскую башню мужики ходили: три ночи сидели и выдумали послабление. — Речь идет о встречах В.И. Ленина с крестьянами, о которых сообщала текущая периодика. В начале февраля 1921 г. крестьянин из Сибири О.И. Чернов встретился в Москве с В.И. Лениным и имел с ним разговор о замене разверстки налогом; см.: «Взгляды на сибирское крестьянство как на социальный элемент» (Правда. 1921. 11 февр. Цит. по: Чернов О.И. Как я, беспартийный крестьянин из Сибири, был у Владимира Ильича Ленина и что из этого получилось // Воспоминания о В.И. Ленине: в 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 300). См. также беседу с Лениным тов. Чекунова и других крестьян, в ходе которой Ленин «сообщил делегатам о предстоящей замене хлебной разверстки натуральным хлебным налогом с тем, чтобы процент хлеба, идущий государству, был строго определенным. Этот вопрос, как сообщил тов. Ленин, будет разрешен на Всероссийском партийном съезде, который откроется на днях» (Крестьяне у тов. Ленина // Беднота. 1921. 1 марта. С. 1. Подпись: М.Г.); «В “Уфимских известиях” напечатано следующее сообщение ездивших в Москву крестьян Кондорова и Шапошникова: “Мы были вызваны телеграммой для личных переговоров с товарищем Лениным. Ленин спрашивал: «Какова жизнь на местах?» Мы ответили, что жизнь на местах стала тяжелой. <...> разверстка и трудовые повинности стали очень трудны для крестьянства. <...> Товарищ Ленин все выслушал, что мы ему говорили, и спрашивает: ‘Как же с этим быть и как <...> изменить хлебную разверстку, чтобы не в тяготу она крестьянам была?’ Мы отвечали, что нельзя ли разверстку отменить совсем, чтобы Советская власть покупала у крестьян по-вольному, иначе у крестьян отбивает всякую охоту обрабатывать землю. Товарищ Ленин говорит, что <...> Советская власть заменяет хлебную разверстку натуральным налогом, который будет накладываться на крестьян, считаясь с урожаем, и каждый крестьянин, который выполнит налог, может распоряжаться хлебом и другими продуктами, как ему угодно... <...> Мы на это ему отвечаем, что это для крестьян будет большое облегчение. <...> Такую замену разверстки налогом крестьянство всецело поддержит”» (Беседа уфимских мужиков с т. Лениным // Вор. ком. 1921. 7 июля. С. 1; 8 июля С. 2. Б.п.).

С. 142. *Кто-то тебя вспоминался так?* — См. приметы: «Икается — на помин (поминается)»; «Икнулось — помянулось»; «Икнулось — по добру ли вспоминалось?» (Даль В.И. Пословицы русского народа. Т. 1. С. 469).

Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы; ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным по-

селением, освещенным летним светом. — Декретом СНК от 28 марта 1921 г. «О свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших разверстку» (опубликован в «Известиях» 29 марта) были разрешены «свободный обмен, продажа и покупка хлеба и хлебофуражных продуктов, картофеля и сена в ряде губерний РСФСР» (*Декреты Советской власти*. Т. 13. С. 283–284). См. зарисовки первых месяцев нэпа в воронежских газетах: «Пройдите по проспекту Революции, загляните в окна кофеен и разных лавчонок. Прилавки и окна усеяны: вафлями, пирожными, помадками, сладкими кренделями и другими кондитерскими изделиями. Прогуляйтесь по базару — картина та же: сладкие белые булочки, конфеты и т. п. И откуда взялось?! Казалось, ничего не было: ни муки, ни масла, ни сахара... Но издан декрет о свободном товарообмене и... <...> Свободное мародерство налицо! <...> Для кого продаются все эти пышечки, булочки, кренделечки?.. Рабочий и крестьянин, вообще труженик, их не купит, средств таких нет. Кто же покупатель этих прелестей? Тот, у кого есть деньги. А есть они у спекулянта. Значит, сахаром, белой мукой, маслом, яйцами и другими продуктами, нужными для детей и больных, подкрепляются спекулянты — самые опасные враги Рабоче-Крестьянского государства» (Свободный товарообмен или свободное мародерство // Трудовой клич. 1921. 20 апр. С. 2. Подпись: *Глаз*); «Давно уже уразовцы не видели ничего подобного. Хоть и не так давно, года четыре тому назад, а все же это время казалось теперь тысячам уразовцев таким долгим...<...> Маковые бублики... Чай... Куда ни глянь, все продают. Покупающих почти нет...» (*Олегов Ник*. Картинки с натуры. Уразовские базары // *Вор. ком*. 1921. 20 апр. С. 2).

С. 144. *Его друзья любовались такой заботой. Это были родоначальники улучшателей государственных служб, опередившие свое время.* — Отклик на выступление Н.И. Бухарина: «...мы должны быть проводниками наилучшей техники, наилучших способов обработки почвы, наилучших методов организации труда», «носителями всяческих хозяйственных улучшений» (*Бухарин Н.* О новейшей экономической политике и наших задачах. Доклад на собрании Московской организации ВКП(б) 17 апреля 1925 г. (цит. по: *Бухарин Н.* Избранные произведения. М., 1988. С. 168).

Дождались: Ленин взял, Ленин и дал. — По аналогии со словами Библии; ср.: «Бог дал, Бог взял» (Иов. 1: 21). См. отклики на решения X съезда в газетах: «Хороший, по нас <sic!> декрет, — заявляют крестьяне. — Теперича повздохнем, послободнее заживем. <...> Ну, а как такой декрет вышел от ЛЕНИНА, чтоб, значит, государству отчислять норму, а мужику все излишки, тут сомнений быть не должно» (Что говорят крестьяне о налоге // Трудовой клич. 1921. 20 апр. С. 2. Подпись: *Бобыль*); «...все убедились, что Советская власть не только берет, но и дает» (Весеннее (Письмо из Богучарского у.) // Там же. С. 3. Подпись: *Д.К.*).

Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма. — Военный коммунизм — внутренняя политика СССР, проводившаяся в 1918–1921 гг., в условиях Гражданской войны, которая предопределяла: централизованное управление всей экономической, монополизируя внешнюю торговлю, национализацию всей промышленности; сведение к минимуму частной торговли, ограничение товарно-денежного оборота, закры-

тие частных банков и конфискацию вкладов. В продовольственной политике власть была вынуждена продолжить хлебную монополию, введенную Временным правительством, и установить продовольственную разверстку. Политика военного коммунизма закреплялась следующими документами: декретом ВЦИК от 26 марта 1918 г. «Об организации товарообмена», декретом ВЦИК от 13 мая 1918 г. «О чрезвычайных полномочиях», постановлением Совнаркома от 21 ноября 1918 г. «Об организации снабжения», декретом от 11 января 1919 г. «О введении продразверстки на хлеб», декретом от 29 января 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности» и др. Политика отличалась применением жестких мер и была непопулярна в стране. Особенно ненавистна была крестьянам продразверстка (см. примеч. к с. 75–76 наст. изд.).

С. 145. *А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубать Биттермановское лесничество, сукин ты сын!* — Речь идет о Теллермановской роще (см. примеч. к с. 110 наст. изд.). После Гражданской войны Центральным управлением лесами был выработан ряд программных мероприятий «по восстановлению лесного хозяйства Воронежской губернии, находящегося, как и все леса Республики, в состоянии глубокого расстройтва». Мероприятия являлись обязательными для исполнения Гублесотделами (Доклад о деятельности Воронежского губземуправления в 1922 г. Воронеж, 1922. С. 95).

С. 146. *...дали два ордена Красного Знамени.* — Орден Красного Знамени («Красное Знамя») был учрежден декретом ВЦИК 16 сентября 1918 г. для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества, и стал первым советским орденом.

С. 147. *Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи больным красноармейцам.* — Имеются в виду «больные и раненые красноармейцы», вопрос о помощи которым решался в период Гражданской войны местными партийными организациями. В 1919 г. был создан Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам и его комиссия на местах; см. отчет о проведенной в Воронеже «неделе больного и раненого красноармейца» (Вор. ком. 1920. 6 окт. С. 1); использовалось также упомянутое в романе сокращение: «Больраненые, находящиеся на излечении в 757 хирургическом госпитале, приносят благодарность медперсоналу» (Письма читателей // Там же. 1921. 28 июня. С. 4).

...вольная торговля тебе не нравится? — О дискуссии на X съезде РКП(б) о вольной торговле см. далее примеч. к с. 149 наст. изд.

С. 148. *А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде.* — См. в статье «Новое евангелие» (1921): «...коммунизм в сердце человека посеять сможет только великая беда, ибо, когда я счастлив, мне не нужен никто, когда несчастлив и близок к смерти, мне нужны все» (Сочинения, 1(2). С. 193).

В повестке дня стоял единственный вопрос — новая экономическая политика. — *Новая экономическая политика (нэп)* — экономическая политика, сменившая политику военного коммунизма и проводившаяся с 1921 по 1928 г. Принята на X съезде РКП(б) 14 марта 1921 г. Обеспечивалась декретами «О свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших разверстку» от 28 марта 1921 г.; «О потребительской кооперации» от 7 апреля; «О руководящих указаниях органам власти в отноше-

нии мелкой и кустарной промышленности и кустарной кооперации» от 17 мая; «О порядке использования и распределения сельскохозяйственных машин и орудий» от 24 мая и др. После введения нэпа на местах активно проводились партийные собрания, разъяснявшие новую политику партии: «С середины марта до 6 апреля — до 2-й городской партконференции шло усиленное ознакомление организации с постановлениями X съезда. Райком ставил на повестку каждого очередного районного собрания тот или иной вопрос повестки съезда на обсуждение. К открытию 2-й партконференции почти все делегаты <...> были знакомы в общих чертах с работой съезда» (Отчет 3-го районного комитета РКП Воронежской городской организации за февраль, март и апрель 1921 года. Воронеж, 1921. С. 4).

Нам важно знать, — уже сердито отчеканивал секретарь, — что нам делать по выходе отсюда из дверей. А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях. А я говорю — когда революция, тогда нет объективных условий... — См. в статье «Всероссийская колыхага» (1921): «...чем дальше мировая (или хотя европейская, это почти одно и то же) революция, тем ниже качество русской революции. И каждый день отсрочки пролетарского восстания есть понижение на градус революционной температуры русского пролетариата. <...> Чем короче социальная классовая революция, тем она победоноснее. Растянутая на необозримо долгий срок — она может свестись к нулю, т. е. революция может стать силой, которая якобы по объективным условиям, а на самом деле по собственному бессилию возрождает капитализм в еще более нестерпимых, безумных формах, чем он был до революции» (*Сочинения*, 1(2). С. 187). В.И. Ленин в прочитанном 15 марта 1921 г. на X съезде РКП(б) «Докладе о замене разверстки налогом» (опубликован в «Правде» и «Известиях» 16 марта 1921 г.) поднимал вопрос об «объективной обстановке», препятствующей скорому построению социализма: «...социалистическую революцию в стране, где громадное большинство населения принадлежит к мелким землевладельцам-производителям, возможно осуществить лишь путем целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма, где наемные рабочие в промышленности и земледелии составляют громадное большинство. <...> Социалистическая революция в такой стране может иметь окончательный успех лишь при двух условиях. Во-первых, при условии поддержки ее своевременно социалистической революцией в одной или нескольких передовых странах. <...> Другое условие — это соглашение между осуществляющим свою диктатуру или держащим в своих руках государственную власть пролетариатом и большинством крестьянского населения. <...> Если кто-либо из коммунистов мечтал, что в три года можно переделать эту базу, экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер. <...> Решить этот вопрос <...> может только материальная база, техника, применение тракторов и машин, электрификация в массовом масштабе. <...> ...такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее чем десятилетиями. Вот какова объективная обстановка» (*Ленин. ПСС*, 43. С. 57–61). В своем выступлении Ленин отметил, что «новый курс» партии уже «вызвал некоторые насмешки», люди «начали потешаться: “Вот так коммунизм вышел!”». Большевики «предполагали одну политическую линию, а в реальности вышло иначе». Ленин отмечал, что со-

циализм не наступит сразу, потребуются «переходные ступени», «переходные меры», кроме этого, надо учитывать «объективные факты»: «переутомление и изнеможение масс» за «семь лет войны», необходимость «экономической передышки» (Там же. С. 65, 69).

С. 148–149. *...секретарь губкома сидел с печальным лицом; он был уже пожилым человеком и тайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой-читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря...* — Объем партийной документации в пореволюционные годы рос с необычайной быстротой; см., напр., отчет за февраль–апрель 1921 г. по Общему отделу Воронежского райкома о количестве входящих и исходящих бумаг, которое последовательно увеличивалось: в феврале «входящих 257, исходящих 277; средние в день 10 входящих и 11 исходящих бумаг; во втором месяце деятельность увеличивается, входящих бумаг было получено 407, исходящих 471, средние в день входящих 16 и исходящих 19 бумаг; в третьем месяце входящих 609 и исходящих 590, ежедневно 24 входящих и 23 исходящих» (Отчет 3-го районного комитета РКП Воронежской городской организации... С. 7–8).

Изба-читальня — место проведения культурной революции в деревне; в ее задачи входило осуществление культурно-просветительной и агитационной работы среди населения; в избе-читальне должны были быть свежие газеты, политическая литература, радиоустановка.

Сегодня секретарь губкома был отчасти доволен: новую экономическую политику он представлял как революцию, пущенную вперед самотеком — за счет желания самого пролетариата. А раньше революция шла на тяговых усилиях аппаратов и учреждений, точно госаппарат на самом деле есть машина для постройки социализма. — См. в статье «Всероссийская колмага»: «На пути к коммунизму Советская власть только этап. Скоро власть перейдет непосредственно к самим массам, минуя представителей. Представителей, членов массы не может быть — тогда масса не целое, не организм, тогда она не масса. <...> Мы накануне наступления масс, самих масс, без представителей, без партий, без лозунгов» (Сочинения, 1(2). С. 191).

С. 151. *Когда-то они много беседовали о шлюзовании реки Польного Айдар, на которой стоял их город...* — Автобиографическая деталь: о «работах по шлюзованию р. Воронеж», на которой стоит город Воронеж, речь идет в статьях Платонова «Река Воронеж, ее настоящее и будущее» (1923) (Сочинения, 1(2). С. 251–252); «О Воронежской гидроэлектрической станции» (1923) (Антонова. С. 644).

Название реки в романе представляет собой соединение двух гидронимов: *Польный Воронеж* — река в Тамбовской и Воронежской областях, один из истоков реки Воронеж; *Айдар* — река в Белгородской и Луганской областях, левый приток Северского Донца.

Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота — о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Готнер тоже не знал... — Вопрос о необходимости товарообмена с крестьянами в пределах местного оборота несколько раз поднимался В.И. Лениным в

работах 1921 г. Впервые об этом было сказано в «Докладе о замене разверстки налогом». Признавая, что в настоящий момент «крестьяне не удовлетворены» политикой государства и партии, Ленин предлагал решение проблемы: «Во-первых, нужна известная свобода оборота, свобода для частного, мелкого хозяина, а во-вторых, нужно достать товары и продукты. <...> Свобода оборота и свобода торговли — это значит товарный обмен между отдельными мелкими хозяевами». Предвидя неизбежный вопрос: «...как же так, может ли коммунистическая партия признать свободу торговли, к ней перейти?» — Ленин подчеркивал, что ответ для партии пока не ясен: «Ответ на этот вопрос мы получим от нашего законодательства, наша задача установить только принципиальную линию, выставить лозунг». Нужно также скорее «оповестить об этом крестьянство, потому что посев на носу». Необходимость введения известной свободы торговли вызвана, по словам Ленина, в том числе и ошибками партии: «...громадная земледельческая страна с плохими путями сообщения, с необъятными пространствами, различным климатом, различными сельскохозяйственными условиями и прочим неизбежно предполагает известную свободу оборота местного земледелия и местной промышленности в местном масштабе. Мы в этом отношении очень много погрешили <...>, мы слишком далеко зашли по пути национализации торговли и промышленности, по пути закрытия местного оборота. Было ли это ошибкой? Несомненно» (*Ленин. ПСС, 43. С. 61–63*). См. также статью «Наказ от СТО»: «Во-первых, без полного и правильного снабжения продовольствием армии и городских рабочих государство не может вести хозяйственного строительства вообще, а товарообмен должен стать главным средством сбора продовольствия. Во-вторых, товарообмен есть проверка правильного взаимоотношения промышленности и земледелия, а равно фундамент всей работы по созданию сколько-нибудь правильно действующей денежной системы» (Там же. С. 275–276. В 1921 г. статья издана отдельной брошюрой).

С. 152. *...напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба...* — Заградительные реквизиционные продовольственные отряды созданы декретом Совета Народных Комиссаров «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию» (9 мая 1918 г.) и декретом ВЦИК о Продотрядах (27 мая 1918 г.). В задачи заградительных отрядов входила борьба с незаконной продажей хлеба населению, однако вплоть до начала августа она была не слишком успешной; см. информацию в газете: «...хлеба в Воронеже всего на два дня, а также есть по пути в Воронеж 2500 пудов хлеба, доставке которого препятствуют железные дороги» (Воронежский красный листок. 1918. 29 июня. С. 2); «В реквизиционный отдел поступил ряд телеграмм из Поворина, Боброва, Евстратовки, ст. Анна и Графской о провозе мешочниками хлеба и об отсутствии заградительных отрядов по реквизиции. Станционная администрация просит выслать реквизиционные отряды для борьбы с мешочничеством» (Там же. 12 июля. С. 4). С начала августа 1918 г. при подвозе продовольствия к городу по железной дороге начало действовать «Положение о заградительных реквизиционных продовольственных отрядах», подписанное В.И. Лениным и наркомом продовольствия А.Д. Цурюпой (*Декреты Советской власти. Т. 3. С. 170–171*): предполагался «осмотр привозимых пассажирами багажа и грузов, служебных вагонов, паровозов, не исключая вагоны Государственного банка и

почтовые. В случае крайней необходимости поезда и пароходы могут быть задержаны на один час, не более». Из продовольственных продуктов по норме полагалось: «на одного человека не более 30 фунтов в общем разных продуктов, в число коих не может входить мука и зерно, в каком бы то ни было количестве, масло в количестве до трех фунтов, а мясные продукты — не более пяти фунтов. <...> Все же излишки сверх указанной нормы подлежат реквизиции» (*Жел. путь*. 1918. № 1. 22 сент. С. 3–4).

Пожарный недослышал и запел свою песню: / Лапти по полю шагали, / Люди их пустыми провожали... — Слова песни принадлежат самому Платонову; автограф сохранил работу автора над текстом: «Лапти по полю шагали, / [Золото на свете] / Люди их пустыми провожали... / [А в одном лапте кусок золота] / [А в другом лапте]» (*Архив*, 2. С. 286).

С. 153. *И я по-улицному японцем называюсь ~ Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, — шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, — со слабым носом на японском лице.* — Прозвище Чепурного может иметь несколько источников. Возникновению такого прозвища могла, например, способствовать внешность героя: «маленький рост», «японское лицо» (см. с. 153 наст. изд.), «монголец на лицо» (см. с. 319 наст. изд.). Работая над портретом, Платонов перебирает варианты, среди которых встречается «раздавленный нос» на «японском лице» (см.: *Архив*, 2. С. 287). Ср. в рассказе А. Веселого «Филькина карьера» (1926): «Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке его прозвали Японцем» (*Веселый А.* Россия, кровью умытая. М., 2011. С. 350). Упоминание о «дезертире царской войны», возможно, отсылает не только к Первой мировой, но и к Русско-японской войне 1904–1905 гг.: герой в романе говорит Копенкину, что он не молод, в таком случае он вполне мог быть ее участником и, вернувшись с войны, получить в городе такое прозвище. Историко-культурные контексты прозвища «японец»: связь образа Чепурного и чевенгурской утопии с солнцем, изображенным на флаге Японии, с концепцией евразийства и др. — представлены в работе Е. Яблокова (см.: *Яблоков*. С. 123–124).

Из коммунизма. Слышал такой пункт? — О коммунизме в пределах одного небольшого пространства см. статью Литвина-Молотова, посвященную мятежу М.М. Сахарова в конце 1918 — начале 1919 г. в Валуйском уезде Воронежской губернии: характеризую «сахаровщину» как «опасный для Коммунистической революции призрак», автор статьи указал на характерный признак ее — «так называемый “разделенный коммунизм” (республика в республике — без центра)» (*Молотов А.* Сахаровщина // *Вор. бед*. 1919. 11 янв. С. 3).

С. 154. *Чевенгур от Новоселовска недалеко? ~Только там гамаи живут и к нам не ходят...* — Новоселовск — см. примеч. к с. 111 наст. изд. *Гамаи* — «люди, получившие прозвище от диалектных слов *гамить*, *гаманить* (по словарию Даля: говорить громко, шумно, кричать). В воронежском мешанском говоре *гамай* — грубый, дикий, невоспитанный человек» (*Алейников*. С. 138).

...а у нас всему конец. ~ Да всей всемирной истории — на что она нам нужна? — Слова (размышления, сны) о конце (катастрофе) истории в русской истории и культуре всегда были ориентированы на текст Апокалипсиса. См. в Священном Писании: у Господа «тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как *стража* в ночи (Пс., 89: 5), «один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»

(2 Петр., 3: 8). У Платонова желанием конца истории в целом наделено интеллектуальное сознание нового века. Апокалиптические настроения переживают пролетарский инженер Вогулов («Сатана мысли», 1921), европейский инженер Крейцкопф («Лунные изыскания», 1926), русский инженер-эмигрант («Война», 1927), интеллигент Маевский («Сокровенный человек», 1927). Философия истории чевенгурских большевиков также имеет источником Апокалипсис, который они поняли буквально (подробно см.: *Корниенко Н.В.* «Философские эксперименты» А. Платонова: чевенгурские мечтания о новом человеке // Андрей Платонов. Философское дело: сборник научных статей. Воронеж, 2014. С. 214–224). Об «общеполитическом фундаменте марксистской идеи “выхода из истории”», его истоках в европейских религиозных и философских учениях (иудейском хилиазме, гуманизме эпохи Возрождения и антропотеизме Л. Фейербаха) см. в статье С.Г. Семеновой «Религиозно-философский контекст и подтекст “Чевенгура”» (*Семенова С.Г.* Юродство проповеди: Метафизика и поэтика Андрея Платонова. С. 104).

Пойдете на месяц на принудительные работы... ~ Мне безразлично: паек там одинаковый, а работают по кодексу. — В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК «Об организации лагерей принудительных работ» от 11 апреля 1919 г. и Инструкцией Президиума ВЦИК «О лагерях принудительных работ», для заключенных устанавливался 8-часовой рабочий день. Сверхурочные и ночные работы могли быть введены с соблюдением Кодекса законов о труде, принятого в декабре 1918 г. Продовольственный паек для заключенных должен был соответствовать размерам нормы питания для лиц, занятых физическим трудом (см.: *Декреты Советской власти.* Т. 5. С. 69).

С. 156. *Александр рассказал ему про новую экономическую политику. ~ Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают...* — См. примеч. к с. 148 наст. изд.

С. 157. *Товарищ Ленин, пишут в газетах, учет полюбил...* — Вопрос о «всенародном учете и контроле» как «главном, что требуется для “налажения”, для правильного функционирования *первой фазы* коммунистического общества» (*Ленин. ПСС, 33.* С. 101), был поставлен Лениным в работе «Государство и революция» (1917), а также в статьях: «Как организовать соревнование» (1917), «Очередные задачи Советской власти» (1918) и др. и широко обсуждался в печати; см. в брошюре «О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия)» (1921): «Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если сорганизуем бедноту, т. е. большинство населения или полупролетариев, вокруг сознательного пролетарского авангарда), либо он скинет нашу, рабочую, власть неизбежно и неминуемо... <...> Наша сила — полная ясность и трезвость учета *всех* наличных классовых величин, и русских, и международных...» (*Ленин. ПСС, 43.* С. 208, 240). См. также «Постановление СТО об учете и мобилизации инженерных сил» (Известия. 1921. 23 апр.); «Постановление СТО об учете и мобилизации строительных рабочих» (Там же. 17 мая).

Иногда, когда он, бывало, сидел в канцелярии, ему приходила в голову жалостная мысль, что в деревнях живут люди, сплошь похожие друг на друга, которые сами не знают, как им продолжать жизнь, и если не трогать их, то они

вымрут; поэтому весь уезд будто бы нуждался в его умных заботах. Объезжая же площадь уезда, японец убедился в личном уме каждого гражданина и давно упразднил административную помощь населению. — См. в статье «Электрификация деревень» (1921): «Коммунистическое правительство только улавливает волю пролетариата и крестьянства и стремится осуществить ее. В этом его главная и единственная роль» (*Сочинения, 1(2). С. 159*).

Отдать за постой японец было нечем. ~ А сколько по таксе с него полагаются? — спросил он. — Миллион, если в горнице не спал, — определил сподручный. — В 1918 — начале 1920-х гг. советские денежные знаки быстро обесценивались, неоднократно проводилась их деноминация; напр., один рубль совзнаками 1918 г. в 1924 г. стоил во время деноминации одну пятидесяти миллиардную часть одного рубля советскими червонцами, т. е. один червонец стоил пятьсот миллионов рублей 1918 г. Эмиссия денег в 1921 г. достигла таких чрезмерных размеров, что рынок отвечал на это авансовым повышением цен. Денежный счет велся на миллионы. См., напр., в письме Вс. Иванова А.Н. Толстому от 23 июля 1922 г.: «Я очень люблю пиво, а стоит оно 2 мил<лиона> бутылка, а за лист плотят 50 мил<лионов> — в Москве, а <в> Петербурге продавать некому и нет денег» (Всеволод Иванов и Алексей Толстой в 1920 г. / публикация Е.А. Папковой, Е.И. Погорельской // Алексей Толстой: диалоги со временем. М., 2019. С. 457).

С. 160. *Ну, и конь у тебя, Степан Ефимыч! Цены ему нет — это Драбан Иванов!* — Вероятно, от драбант — человек высокого роста и крепкого телосложения. См. в стихотворении «Рассказ о Непачовке» (1923): «Вон ползет мощью Драбан Иванов, / Тощ (как будто он опоросился)...» (*Сочинения, 1(1). С. 422*).

У Копенкина по должности председельсовета прямых обязанностей не встретилось. — Об обязанностях сельского Совета и его председателя в 1920 г. см.: «Сельские Советы обязаны оказывать всяческое содействие высшим органам Советской власти и их представителям в исполнении данных им поручений. Сельские Советы должны всемерно содействовать охране порядка, улучшению хозяйственной жизни и народного образования в данной местности и привлекать трудящихся к ближайшему участию в строительстве новой жизни». Сельские Советы должны: 1) По части управления: Охранять революционный порядок и бороться с преступлениями. Разъяснять населению все постановления Советской власти. Производить учет населения. Выдавать удостоверения личности и вести запись рождений и смерти. 2) По части просвещения: Организовать культурно-просветительные кружки, клубы, народные дома, избы-читальни и т. п. Распространять книги, газеты, устраивать общие чтения и беседы. Заботиться о местных школах. 3) По части сельского хозяйства: Производить учет земли, запашек, посевов, семян, живого и мертвого инвентаря. 4) По части хозяйственной: Наблюдать за исправным состоянием дорог. Бороться с сельскими пожарами. <...> Содействовать развитию кустарных промыслов. 5) По части военной, продовольственной и санитарной: Проводить мобилизацию. Бороться с дезертизмом. Производить учет урожая, посевов и изъятия продуктов, подлежащих сдаче по разверстке. 6) По части социального обеспечения и трудовой повинности: Производить учет всех нуждающихся трудящихся и организовать им помощь. Всемерно оказывать помощь семьям красноармейцев и инвалидам, возвращающимся с фронта» (Сельские Советы // Беднота. 1920. 17 февр. С. 3).

Теперь власть на любом месте может организоваться, и никто ей не упрек... ~ Самим Лениным объявлен, как же! Власть теперь местная сила, а не верхняя! — В соответствии с подписанным В.И. Лениным «Положением об областных хозяйственных органах», которое было принято 25 марта 1921 г. и опубликовано в газете «Известия» 30 марта, «в целях уменьшения бюрократизма, более быстрого проведения на местах мер, которые могут и должны быть осуществлены местными решениями, а также в целях согласования и усиления деятельности всех местных хозяйственных органов и губернских экономических совещаний образуются областные экономические советы», в задачи которых входит «рассмотрение, согласование и представление в СТО хозяйственно-го плана области, плана снабжения, перевозок, учета местных условий и пр.» (Декреты Советской власти. Т. 13. С. 279–281).

С. 163. *Копенкин вял со свящего шатку и поглядел ей вовнутрь — там имелась засаленная потом старинная нашивка: «Г.-Г. Бреийер, Лодзь».* — В конце XIX — начале XX в. город Лодзь считался текстильной столицей Российской империи, наиболее известными владельцами фабрик были И. Познаньский и К. Шейблер.

С. 164. *Есть там памятник товарищу Розе Люксембург? ~ в одном сельском населенном пункте из самородного камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам... Их-то вне очереди выдумали: если еще кто помрет — тоже не упустим...* — Создание памятника мученикам революции Розе Люксембург и Карлу Либкнехту должно было стать составной частью большого плана монументальной пропаганды, разрабатывавшегося с лета 1918 г. (см. примеч. к с. 115 наст. изд.). 17 июля 1918 г. принято «Постановление СНК о постановке в Москве памятников великим людям», а 24 июля «Условия конкурса-заказа на памятники Московскому профсоюзу скульпторов-художников» (Известия. 1918. 24 июля). Конкурс-заказ объявлялся «на пятьдесят памятников-портретов великих людей революции, общественных деятелей, философов, писателей, художников, музыкантов, артистов, ученых» (Художественная жизнь Советской России. 1917–1932. События, факты, комментарии. С. 52). В комиссариате просвещения разрабатывались детали плана монументальной агитации: «...в садах и других удобных пунктах столиц будут поставлены памятники великим, поработавшим для революции людям России и мира. <...> На пьедесталах памятников будут высечены краткие биографии и изречения изображенных лиц. Памятники будут открываться по воскресеньям и сопровождаться речью о значении данного лица, чтением отрывков из его произведений, музыкой. Вечером того же дня в одном из центральных театров будет дан спектакль или концерт, посвященный чествуемому лицу» (Монументальная агитация // Искусство. Театр. Живопись. Музыка. Скульптура. 1918. № 1 (5). Июль. С. 19. Б.п.). Утвержденный Совнаркомом «Список предполагаемых к постановке памятников выдающимся деятелям в области общественной и культурной жизни» был опубликован в газете «Известия» 2 августа и включал 50 имен, среди которых были названы революционеры и общественные деятели: Спартак, Тиберий Гракх, Маркс, Энгельс, Бебель, Лафарг, Марат, Робеспьер, Дантон, Степан Разин, Пестель, Рылеев и др.; писатели и поэты: Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Радищев, Белинский, Чернышевский и др.; философы и ученые: Сковорода, Ломоносов, Менделеев; художники: Рублев, Кипренский, А. Иванов, Врубель и др.; компози-

торы: Мусоргский, Скрябин и др.; артисты: Мочалов, Комиссаржевская (Искусство. 1918. № 2 (6). Август. С. 16–17). К первой годовщине революции в Москве были открыты «обелиск в честь Советской власти, памятники Каляеву, Дантону, Жоресу, Халтурину, Софье Перовской, Марксу и Энгельсу, Салтыкову-Щедрину, Верхарну, Достоевскому, Гейне» (Новые памятники // Известия. 1918. 2 ноября. Цит. по: Художественная жизнь Советской России. С. 84).

Спустя два месяца после трагической гибели Розы Люксембург, 13 марта 1919 г., Отделом ИЗО Наркомпроса было направлено письмо за подписью В. Таплина в Совет Комиссаров Союза коммун Северной области о финансировании конкурса на очередной памятник: «Согласно заявлению народного комиссара просвещения А.В. Луначарского о необходимости поставить в Петрограде один общий памятник К. Либкнехту и Р. Люксембург, отдел изобразительных искусств объявил конкурс на составление проектов памятника, дабы привлечь к участию в составлении этих проектов лучшие скульпторские силы» (цит. по: Художественная жизнь Советской России. С. 104). 16 марта 1919 г. в газете «Искусство коммуны» были опубликованы «Условия конкурса на проект памятника К. Либкнехту и Р. Люксембург в Петрограде», предполагалось поставить «общий постоянный памятник вождям всемирного пролетариата и мученикам Германской революции <...>, который будет сооружен на одной из площадей или улиц Петрограда» (Там же. С. 110). Поставить памятник К. Либкнехту планировалось и в Москве: 17 марта 1919 г. в «Известиях» появилась заметка о том, что «секция изобразительных искусств Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов объявила конкурс на памятник Карлу Либкнехту для Замоскворецкого района Москвы, который предполагалось сделать с трибуной для ораторов». Место установки памятника — площадь Либкнехта (ныне — Серпуховская пл.) (Там же. С. 111). К десятилетию Октября памятник был поставлен; см. фото в журнале «Прожектор» (1928. № 3. С. 1–3). Сведениями о том, был ли в итоге сделан макет памятника Розе Люксембург и сам памятник, не располагаем. Из воспоминаний Я.К. Тильберга известно, что в 1919 г. «над памятником Розе Люксембург работал итальянский скульптор Гризелли» (Художественная жизнь Советской России. С. 65).

Самородный камень — самородок, сформировавшийся естественным образом природный камень (изумруд, графит и т. п.) или металл (золото, медь, серебро и т. п.) различной формы и размера; в природе встречается нечасто.

С. 165. ...он в Чевенгуре демобилизовал общество, одновременно с царской армией... — Демобилизация действующей армии в России началась еще во время Первой мировой войны, даже до заключения перемирия с противником. В послеоктябрьский период обстановка Гражданской войны в действующей армии не только усилила массовое дезертирство, но и породила процесс самочинной демобилизации. Немалую роль сыграла радиogramма В.И. Ленина от 9 ноября 1918 г. «Всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота» с призывом выбирать «тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем» (Ленин. ПСС, 35. С. 82). В создавшейся обстановке Совнарком 10 ноября 1917 г. принял декрет «О постепенном сокращении численности армии», согласно которому в бессрочный запас увольнялись солдаты призыва 1899 г. С 15 декабря 1917 до 3 января 1918 г. в Петрограде прошел Об-

щепармейский съезд по демобилизации армии, основной задачей которого стала выработка мер по внесению организованности и порядка в демобилизационный процесс в армии, а также обсуждение проблем создания новых вооруженных сил. 21 декабря было принято решение о порядке демобилизации, впоследствии были опубликованы сроки демобилизации отдельных возрастов призыва. В итоге около половины действующей армии было демобилизовано еще до заключения Брестского мира (3 марта 1918 г.), а в целом за период с ноября 1917 по апрель 1918 г. было демобилизовано около 7 млн фронтовиков (*Базанов С.Н.* Великая война: как погибала русская армия. М., 2014. С. 300–324).

Соскучился я по своей Клабздюше! — См. примечание Платонова к рассказу-фрагменту «Путь в Чевенгур»: «Для редактора: другой вариант этого слова — “Клавдюша”, но лучше оставить мое — “Клабздюша” — в нем ничего такого нет — это местный любовный диалект» (*Архив*, 2. С. 556).

С. 166. *...шел нищий Фирс...* — В автографе романа эпизод с нищим Фирсом более развернут, у героя есть конкретная цель: он идет «в Чевенгур к японцу, обещавшему привезти ему из губернии науку и технику» (*Архив*, 2. С. 300–303).

До революции Алексей Алексеевич состоял членом правления кредитного товарищества и гласным городской думы в своем заштатном городе... — *Кредитное товарищество* — вид кооперативного учреждения мелкого кредита, существовавший в Российской империи. Кредитные товарищества введены Положением об учреждении мелкого кредита, принятым 1 (13) июня 1895 г. Источниками средств для открытия кредитных товариществ могли служить кредиты Государственного банка, выдаваемые под ручательство участников товарищества на срок до 12 месяцев, пожертвования земских, общественных, частных учреждений и лиц. *Гласный* — член думы с решающим голосом.

С. 167. *...в городе шевелились дома — их, наверное, волокли куда-то невидимые отсюда люди.* — См. описание городского строительства в Воронеже в первые пореволюционные годы: «В ноябре 1918-го две запущенные улицы на окраине города были объединены в одну», получившую название — улица Бедноты; в 1919 г. работы по перепланировке были продолжены: «Особо выделяются работы по планировке улицы Бедноты. До этого времени это место представляло собой какой-то овраг, какую-то яму, в которую сбрасывались все нечистоты. <...> ...чтобы привести эту улицу в надлежащий вид, приходилось снести два здания, принадлежащих более имущим. Маленький же домик, принадлежащий бедному труженику, был целиком перенесен, по просьбе его владельца, на другое, более удобное место» (Благоустройство города // *Вор. бед.* 1919. 27 февр. С. 4. Цит. по: *Алейников*. С. 121). Перевозили «на катках (американским способом)» не один дом, а «несколько строений», что для провинциального Воронежа было, конечно же, в диковинку и широко обсуждалось жителями города (см.: *Попов П.А.* Воронеж. История города в названиях улиц. Воронеж, 2003. С. 158. Цит. по: *Алейников*. С. 122).

Небольшой сад на глазах Алексея Алексеевича вдруг наклонился и стройно пошел вдаль — его тоже переселяли с корнем в лучшее место. — Необходимость улучшения городских садов была вызвана их современным плачевным состоянием; см., напр., описание «садов различных рабочих организаций»: В саду химиков «услышите монолог развращенной гимназистки, мечтающей о

семейном буржуазном телятнике... <...> Цыганщина, пошлость, грязь. Нет рабочих. Для кого и для чего нужно содержать эти сады?» (Пантохов М. Остатки буржуазного искусства (О воронежских садах) // *Вор. бед.* 1919. 4 июля. С. 4). В 1920 г. Землянский уисполком издал обязательное постановление «Об охране садов», имевшее целью «предохранение садов от порубок и поломок со стороны несознательных элементов населения», а также «проведение в садах весенних работ — окопку, обмазку глиной, обвязку молодняка от зайцев и пр.». Считая вышеперечисленные меры охраны садов правильными, Губземотдел постановил распространить постановление Землянского уисполкома на всю губернию (Охрана садов (Землянский уезд) // *Вор. ком.* 1920. 17 ноября. С. 3. Б.п.).

Он не понимал науки советской жизни, его влекла лишь одна отрасль — кооперация, о которой он прочитал в газете «Беднота». ~ Прочитав о кооперации, Алексей Алексеевич подошел к иконе Николая Мирликийского и зажег лампаду своими ласковыми пиеничными руками. Отныне он нашел свое святое дело и чистый путь дальнейшей жизни. Он почувствовал Ленина как своего умершего отца... — Кооперация — форма организации совместного труда значительного числа людей: рабочих, ремесленников, крестьян, служащая для достижения общих целей в различных областях экономической деятельности. В России кооперативное движение возникло в 60-е гг. XIX в. в виде производственных (в том числе земледельческих) артелей, потребительских обществ, ссудно-сберегательных товариществ и т. п. Накануне революции 1917 г. число всех видов кооперативов достигло 63 тысяч и объединяло 24 миллиона человек. Вопрос о кооперации в новом государстве в разные годы решался по-разному. В 1917–1919 гг. Советская власть поддерживала кооперацию, о чем свидетельствуют, например, плакаты этого времени: «Кооперация — это союз народов для осмысленного и радостного труда» (Пг., 1917); «Кооперация открыта для всех» (М., 1918); «Кооперация — дочь нужды, но мать благосостояния» (Киев, 1919) (Бутник-Северский Б.С. Советский плакат эпохи Гражданской войны. С. 405). В 1918 г. В.И. Лениным был выдвинут план социалистического переустройства мелкотоварного, прежде всего крестьянского, хозяйства через кооперацию (статья «Очередные задачи Советской власти», 1918). Тогда же возникло около 1,5 тысячи сельскохозяйственных производственных кооперативов — коммун, артелей, товариществ по совместной обработке земли и др. Весной 1920 г. на IX съезде РКП(б) была принята резолюция, «в соответствии с которой вся кооперация должна была быть подчинена компроду», т. е. произошло ее огосударствление. Спустя год, на X съезде РКП(б), В.И. Ленин, коснувшись вопроса о кооперации, был вынужден признать необходимость сохранения и развития кооперации: «...при местном хозяйственном обороте кооперация, которая у нас в состоянии чрезмерного задушения, нам нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший аппарат для распределения есть оставшаяся от капитализма кооперация, что этот аппарат нужно сохранить». Проект новой резолюции, предложенной Лениным вместо резолюции 1920 г., был принят 15 марта 1921 г. на X съезде РКП(б): «Ввиду того, что резолюция IX съезда РКП об отношении к кооперации вся построена на признании принципа разверстки, которая теперь заменяется натуральным налогом, X съезд РКП постановляет: Указанную резолюцию отменить. Съезд поручает Центральному Комитету выработать и провести в партийном и советском порядке постановле-

ния, которые бы улучшили и развили строение и деятельность кооперативов в согласии с программой РКП и применительно к замене разверстки натуральным налогом» (*Ленин. ПСС*, 43. С. 64–65). Таким образом, введение нэпа предоставило кооперации определенную свободу действий; см., напр., декрет СНК от 7 апреля 1921 г. «О потребительской кооперации».

С принятием курса коллективизации идея кооперации как пути к социализму для власти перестала быть актуальной: «Ложью <...> является утверждение многих кооператоров Европы, что от эксплуатации, нищеты и разорения можно избавиться, не свергая капиталистического строя, а постепенно заменяя его кооперацией» (Международный день кооперации (Статья секретаря ЦК ВКП(б) и председателя Центрального кооперативного совета тов. Кубяк) // *К. пр.* 1927. 2 июля. С. 1). В крестьянской среде надежды на кооперацию сохранялись, но высказывались предложения об ее усовершенствовании; см. письмо в «Крестьянскую газету» от 30 мая 1928 г.: «В поднятении нашей страны, как то: промышленности и сельского хозяйства самую большую роль должна сыграть кооперация <...>, но ее нужно перестроить на новый лад» (Голос народа. С. 238). Среди рабочих идея кооперации также не потеряла своей значимости. Показательно предложение «Рабочей газеты» вспомнить и обсудить среди рабочих высказывание В.И. Ленина: «При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве» (Рабочая кооперация к десятилетию Октября // *Раб. газ.* 1927. 4 ноября. С. 5. Б.п.).

«Беднота» — ежедневная газета для крестьян, выходила в Москве с 27 марта 1918 г. Создана по постановлению ЦК РКП(б) вместо газет «Деревенская беднота», «Деревенская правда» и «Солдатская правда». Газета вела активную борьбу за укрепление союза рабочего класса и крестьянства, за организацию и сплочение бедняцко-средняцких масс деревни вокруг Коммунистической партии и Советской власти. С 1 февраля 1931 г. слилась с газетой «Социалистическое земледелие».

После X съезда РКП(б) газета «Беднота» постоянно печатала материалы, посвященные кооперации: декрет «О потребительской кооперации», в соответствии с которым «все граждане РСФСР объединялись в потребительские общества», которым предоставлялось «право обмена и скупки излишков сельскохозяйственного производства, а равно кустарных и ремесленных изделий и сбыт их», «право закупать у самостоятельных сельских и городских производителей, крестьян, кустарей, ремесленников и кооперативов произведения их хозяйства» (Беднота. 1921. 10 апр. С. 1); выступление М.И. Калинина, придававшего декрету о кооперации «огромное значение», т. к. он дает возможность крестьянину «использовать часть своих продуктов на вольном рынке, распоряжаться своими излишками по своему усмотрению» (*Калинин М.* Обмен и кооперация // Там же. 19 апр. С. 1); резолюцию Всероссийского производственного совещания: без кооперации «невозможен был бы постепенный переход к будущему правильному социалистическому продуктовому обмену между городом и деревней. Но от этой конечной цели нас отделяет еще долгий ряд лет...» (*Грандов М.* Новый путь продовольственных органов, новая роль кооперации // Там же. 29 июня. С. 1); постановление СНК «О мелкой и кустарной промышленности и сельскохозяйственной кооперации», подписанное В.И. Лениным, и др.

Николай Мирликийский — Архиепископ Мирликийский, великий христианский святой (?–342). Прославился чудотворениями при жизни и после смерти. Святой Николай чтится повсеместно в христианской церкви, западной и восточной, часто даже между мусульман, живущих на Востоке. В русской традиции Николай Чудотворец, Николай Угодник — народный, крестьянский святой. Он часто представляется тихим и кротким странником, заступником бедных и страждущих, целителем, кормильцем. Память 22 мая и 19 декабря.

Кооперативный устав — систематизированный свод правил, регламентирующих основные вопросы деятельности потребительской кооперации.

С. 169. ...*как же им жить, когда ежеминутно может наступить второе пришествие и люди будут разбиты на два разряда и обращены в голые, немощные души.* — О связях этого эпизода романа «Чевенгур» с хилиастическими направлениями позднего европейского Средневековья, параллелях с мюнстерскими событиями времен господства анабаптистов (1534–1535 гг.), с историей божемских таборитов XV в. см.: *Гюнтер Х.* По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова. М., 2012. С. 14–18, 190–191, 201).

Певчий Лобочихин — персонаж носит фамилию матери Платонова — Марии Васильевны Лобочихиной, предки которой были выходцами из деревни Ольшаный Колодезь Ксизовской волости, Задонского уезда. Написание фамилии в разных документах имеет различные варианты чередования о/а в первых двух слогах: Лабачихин / Лобочихин / Лобачихин / Лобочихин (подробно об истории рода Лобочихиных см.: *Антонова Е.В.* Лобачихины из Ольшаного Колодезя (Родственные связи Андрея Платонова) // Из истории Воронежского края. Сборник статей. Вып. 24. С. 78–88).

...*вовремя вспомнил лозунг Ленина: «Дьявольски трудное дело управлять государством»...* — Об управлении государством В.И. Ленин писал в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» (1917): «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. <...> Но мы <...> требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники» (*Ленин. ПСС, 34.* С. 315). В статье «Обучение управлению», ставя в качестве эпиграфа перефразированное высказывание Ленина: «Наша задача в том, чтобы обучить управлению государством каждую кухарку», Платонов писал: «На самом деле управление государством есть обыкновенное обязательное дело каждого гражданина, которому он должен обучиться и которое должен знать, как знает другие свои обязанности члена организованного человеческого общества. <...> Сейчас, когда общественное пролетарское сознание в массах еще не достигло необходимой высоты для полной общественной жизни, нам все еще приходится управлять через особо избранных людей. И, конечно, очень часто в наши Советы попадают не лучшие, а худшие люди, которые и баламутят нашу жизнь... <...> Когда <...> мы будем действительно равными и честными во всех областях жизни, <...> тогда не будут управлять государством одни “лучшие”, избранные, а все мы по очереди, по порядку» (*Сочинения, 1(2).* С. 85–86).

С. 170. ...*мелкая буржуазия после второго пришествия подлежит изъятию...* — В революционные годы существовали понятия «крупная буржуазия»,

к которой относились прежде всего помещики и банкиры, подлежащие уничтожению, и «мелкая буржуазия», в круг которой входили «крупные ремесленники, чиновники, крупные служащие фабрик и заводов, управляющие именными, большинство адвокатов, врачей и, наконец, зажиточная часть крестьянства». Мелкая буржуазия, занимая «сложное положение в классовой борьбе», «мечется»: «Будучи распыленной, вкрапленной и в ряды буржуазии крупной, и в ряды крестьян, она, неспособная к самостоятельному открытому выступлению, старается путем влияния на борющихся остановить революцию там, где начинается покушение на ее привилегии» (*Прибытков С.* Простые слова о больших делах (Азбука продовольственника) // *Вор. ком.* 1920. 27 окт. С. 2).

...*мая фамилия — Полубезьев.* — Достаточно распространенная фамилия, встречается в Воронежской губернии; фамилию Полубезьев носил рабочий Острогских железнодорожных мастерских, один из организаторов забастовки 11 (24) января 1917 г. (см.: *Поливанов А.С.* Революционные события в Воронеже в 1917 году. С. 11).

С. 172. *Мне о кооперации хочется вкратце сказать... Читали, товарищ Четурный, про нравственный путь к социализму в газете обездоленных под тем же названием, а именно «Беднота»? —* В статьях, опубликованных в газете «Беднота» и посвященных кооперации, речь шла исключительно об экономическом развитии; см. примеч. к с. 167 наст. изд. Возможно, отклик на идеи экономиста, социолога и писателя А.В. Чаянова, последовательного пропагандиста кооперативных идей, автора небольшой книги «Краткий курс кооперации» (М.: «Кооперативное издательство»), выдержавшей в 1920-е гг. несколько многотысячных изданий. Герой романа Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» Алексей Александрович Минин рассказывает о крестьянской кооперации как об основе власти в социалистическом государстве. Это государство базируется не на «каких-либо новых началах», а сохраняет «старые вековые начала, испокон веков бывшие основой крестьянского хозяйства». Уже в начале XX в. крестьянство «возвело на степень крупного кооперативного предприятия» все необходимые отрасли производства, и теперь «наш товароборот в подавляющей части находится в руках кооперации». В результате народное хозяйство в стране «представляет организм наиболее устойчивый и технически совершенный». «Коллективистический идеал немецких социалистов», то есть марксизм, представлялся создателям крестьянского государства «с социальной точки зрения чрезвычайно мало совершенным по сравнению со строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива дает возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития...» (*Кремнев И.* Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. М., 1920. С. 28–32).

С. 172–173. *Читал Карла Маркса? ~ А вот надо читать, дорогой товарищ... ~ Да и не нужно читать: это, знаешь, раньше люди читали да писали, а жить — ни черта не жили, все для других людей пути искали... —* См. в статье «Почему мы, городские рабочие, коммунисты?» (1920): «Те люди, которые умели наблюдать жизнь и правильно поэтому думали, только написали, как идет человеческая жизнь и до чего она дойдет. Написали и показали всем. Их назвали коммунистами, но коммунистами были не только одни они, а все мы, все люди,

ибо к этому привела нас не хитрая мысль, а весь порядок жизни» (*Антонова*. С. 512–513). О необходимости читать произведения немецкого экономиста, философа и политического мыслителя Карла Маркса (1818–1883), давшего верные ответы на все вопросы истории, не уставала напоминать пореволюционная печать: «...учение Маркса, строго научное, оказалось истинно социалистическое и справедливое в отношении классов, революций и т. д. — в отношении ко всему историческому ходу вещей... <...> Ясно, что такое учение должно <...> найти целую и многомиллионную массу последователей» (*Учение Карла Маркса и партия коммунистов // Жел. путь*. 1919. № 6. 31 янв. С. 7–8. Подпись: *Воцвет*). В то же время Л. Троцкий, выступая 30 декабря 1918 г. на Третьей Воронежской губернской конференции РКП(б), говорил: «Может быть, это смешно, но я считаю, что теперь хороший коммунист не тот, кто хорошо изучил Маркса, а кто расчищает железнодорожный путь от снежных заносов» (*Вор. бед*. 1919. 1 янв. С. 4).

С. 173. *Субботник* — коммунистические субботники, то есть бесплатный организованный труд, проводились в Советской республике с 1919 г. «в целях поднятия нашего народного хозяйства и приобщения к нему и к коллективному (коммунистическому) труду рабоче-крестьянских масс». В них сначала принимали участие одни коммунисты, позднее «пример коммунистического труда, поданный нашей партией, оказал должное воздействие и на широкие беспартийные массы рабочих, красноармейцев и крестьян». Помимо «помощи в восстановлении народного хозяйства», в партийных документах и советской печати всячески подчеркивалось их «идейно-моральное и воспитательное значение» (*Известия губкома РКП(б) Воронежской губернии*. 1920. 7 июля. Цит. по: *Сборник циркуляров, инструкций и положений о постановке партийной работы в Воронежской губернии (Партийный справочник)*. Воронеж, 1921. С. 130). Первый массовый субботник состоялся 10 мая 1919 г. на Московско-Казанской железной дороге; работе на субботнике посвящена статья В.И. Ленина «*Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу “коммунистических субботников”*)» (1919). По постановлению Президиума ВЦИК 1 мая 1920 г., в день Международного праздника труда, был проведен Всероссийский субботник; «в этот день все население должно работать не менее шести часов» (*Кр. деп*. 1920. 16 апр. С. 1). Тем не менее на местах, в губерниях и уездах, субботники нелегко входили в практику; см.: «В московских газетах — целые страницы о работах субботников в разных краях Советской Республики. Но не так дело обстоит у нас в Воронеже и губернии с субботниками, ибо они здесь находятся только в стадии развития». Прежде проведению субботников мешали «военные обстоятельства», и лишь сейчас, «когда жизнь входит в нормальные условия, долг каждого гражданина употребить несколько времени в рядах рабочих субботников» (*Полозов В. Субботники // Там же*. 21 марта. С. 3). Участие в субботниках всячески приветствовалось и поощрялось; см.: «Гражданин! Коль ты работник / Для родной своей земли, / То в один сплошной субботник / Всю неделю преврати» (Там же. 10 мая. С. 2. Б.п.). О субботниках на местах регулярно сообщали газеты: «В январе Сухо-Хавской организацией РКСМ Верхне-Хавской волости был устроен субботник по погрузке хлеба; работали пять часов, нагрузили два вагона» (Там же. 1921. 9 февр. С. 4. Подпись: *ППП*).

У нас в Чевенгуре хорошо — мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда! — Мысль о солнце как труженике и союзнике пролетариата в пореволюционные годы раскрывалась как в образном (см., напр., «Гимн солнцу» М. Пантюхова: «Солнцу Великому, солнцу свободному / Гимн я победный пою. / Солнцу тому, что народу голодному / Отдало ласку свою. // <...> Ярко гори же, заката не зная, / Тьму вековую развей, / Светочем ярким сердца озаряя, / Счастье неси для людей» — *Жел. путь*. 1919. № 6. С. 10), так и в практическом плане — в стремлении использовать энергию солнца в промышленности. Много внимания уделял этой идее Платонов; см., напр.: «Мы здесь остановимся на техническом эквиваленте социализму. <...> Имя этой силы — свет, обыкновенный солнечный дневной рассеянный свет, но также и свет луны и звезд. Эту силу мы и хотим запречь в станки. Ее во вселенной столько, сколько пространства. <...> Светотехника должна сконструировать тот механизм, который превращает свет солнца в обыкновенный рабочий электрический ток, годный для наших электромоторов. Этот механизм уже наполовину сконструирован. Называется он фотоэлектромагнитный регулятор-трансформатор. Его назначение — свет, этот небесный ток, переделывать в земной, человеческий ток...» (Свет и социализм // *Сочинения*, 1(2). С. 218–220), «За счет солнца же должно происходить восстановление потерь от трансформаций почвенных элементарных производительных сил. <...> Земля должна быть цела и девственна, а вся пышная жизнь человечества пусть идет целиком за счет солнца» (Борьба с пустыней // Там же. С. 276). Во второй половине 1920-х гг. идеи не потеряли своей актуальности; см., напр.: «Промелькнувшая в газетах телеграмма о проектирующейся в Ташкенте первой в СССР солнечной силовой станции говорит о факте большого значения. Непосредственное использование солнечных лучей в качестве источника механической энергии — один из путей, по которому неизбежно должна направиться техника будущего в тех странах, где много солнца и мало топлива» (Солнечные двигатели // Тамбовская правда. 1926. 26 сент. С. 4. Подпись: Я.П.). См. также примеч. к повести «Впрок» (*Сочинения*, 4(1). С. 432–436).

С. 174. *Был просто внезапный случай, по распоряженью обычайки. — Чрезвычайки?* — Имеется в виду ЧК, точнее — ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (до 1918 г. — по борьбе с контрреволюцией и саботажем), созданная 7 (20) декабря 1917 г. при Совете Народных Комиссаров РСФСР. В задачи ВЧК входило пресечение и ликвидация контрреволюционных выступлений и саботажа, проведение предварительного расследования и предания виновных суду военно-революционного трибунала, борьба с заговорами, мятежами, антисоветской пропагандой и агитацией, шпионажем и диверсиями и др. Работа ВЧК подкреплялась принятым 17 августа 1918 г. постановлением «О красном терроре» (Правда. 1918. 7 сент.; Известия. 1918. 8, 10 сент.): в условиях разворачивающейся Гражданской войны «обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью, <...> необходимо оградить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; <...> подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам...» (*Декреты Советской власти*. Т. 3. С. 291–292).

С. 175. *Сам же совет помещался в церкви.* — Находящийся в церкви Совет не редкость для пореволюционной России: после утверждения 23 января (2 февраля) 1918 г. «Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви», лишившего церковные организации каких-либо прав собственности, церковное имущество, включая помещения, было передано народу. Газеты призывали относиться к церкви просто как к большому зданию; см., напр.: «Я глубоко убежден, что крестьяне во всех селах используют церковь как удобное помещение для митингов и собраний, — утверждал корреспондент и рассказывал о митинге 16 января 1921 г. в селе Банном Новохоперского уезда: — Я попросил батюшку указать то место, которое он запрещает, после чего я стал рядом со “святым” местом, откуда и вел беседу...» (*Буханцов А.* Митинг в церкви // *Кр. дер.* 1921. 25 янв. С. 2).

С. 176. *Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз упокою вы.* — Неточная цитата из Священного Писания; правильно: «...и Аз упокою вы», в переводе с церковнославянского: «... и Я успокою вас» (Мф. 11: 28).

Нынче б ты эсером был, а я б тебя расходовал. — Отклик на тему судебного процесса над эсерами, проходившего в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 г. Верховным трибуналом 12 подсудимых были приговорены к высшей мере наказания (исполнение приговора было отложено Президиумом ВЦИК и превратило смертников в заложников), остальные обвиняемые получили различные сроки заключения. В начале 1920-х гг. против эсеров в печати все чаще стали выдвигаться обвинения в обмане и предательстве интересов народа; см.: эсеры, «как только белогвардейщину разгромляли на фронтах, готовили взрыв Советской России изнутри. <...> ...вся работа по подготовке “взрыва изнутри” союзниками была сосредоточена на тех, кто здесь менее заметен, кто может еще обманывать темную массу своими старыми притягательными лозунгами. *Таковыми лицами оказались эсеры*». Эсеры, как отмечается в газете, раскрыли свое истинное лицо: раньше они «заявляли, что не шли в союзе с помещиками и генералами, но теперь уже эсеры и сами этого не скрывают». Теперь «они прямо заявляют, что и Колчака, и Деникина, и Юденича, и Врангеля, и еще раньше Корнилова, Каледина и других генералов они поддерживали <...>, с оружием в руках сражались в генеральских рядах против рабочих и крестьян». Эсеры обвинялись и в подготовке антисоветских восстаний: «Обманывая народ своими старыми лозунгами и особенно лозунгом Учредительного собрания, они <...> старались сыграть свою подленькую песенку на нашей разрухе, на голоде, на продовольственной политике и прочих недостатках, призывая кулачье деревень и несознательные массы к восстаниям. <...> Эсеры в героической борьбе трудящихся за свое полное освобождение *сыграли лишь позорную и предательскую роль*» (Срыватели строительства // *Вор. ком.* 1920. 20 ноября. С. 1. Б.п.); «Была когда-то партия социалистов-революционеров. Но сейчас от нее остались только подлецы различных рангов, находящиеся на побегушках у буржуазной нечисти — это за границей, а внутри России — жалкие идиоты с кулацкой идеологией и бесстыдством продажной твари, которая, однако, приносит ужасные муки пролетариату. Партия эсеров превратилась в кулаков и душителей рабочих» (Выродки // Там же. 16 дек. С. 1. Цит. по: *Антонова.* С. 732–733).

...женщина — с веселым внимательным лицом, словно она была коммунисткой будущего. — Отсылка к идее новой роли женщины в социалистическом

обществе. В Конституции РСФСР 1918 г. было закреплено право женщин, наряду с мужчинами, избираться и быть избранными в Советы (статья 64). В 1919 г. по решению VIII съезда РКП(б) на базе Комиссий агитации и пропаганды среди рабочих и крестьянок РКП(б) при ЦК и местных комитетах партии были созданы Отделы по работе среди женщин, Отделы работниц и крестьянок, в задачи которых входило воспитание женщин в духе социализма и привлечение их к хозяйственному строительству и государственному управлению. Выступая на съезде, А.М. Коллонтай отмечала: «...мы должны подойти к работнице с точки зрения раскрепощения ее от современных темных условий жизни, от той закабаленности в семье и хозяйстве, в которой она находится. Нам нужно повести борьбу с этими условиями, угнетающими женщин. Надо воспитать из работниц активных коммунисток и практических работников в строительной работе Советов»; Ленин сказал, что наша революция укрепит и упрочится только тогда, когда она будет опираться и на женщин рабочего класса» (Восьмой Всероссийский съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Протоколы заседаний и резолюции. С. 106). В 1920–1921 гг. вышел еще ряд документов, расширяющих права женщин; см.: положение «О рабоче-крестьянской инспекции» от 7 февраля 1920 г., которое зафиксировало, что «особое внимание должно быть обращено на привлечение к рабоче-крестьянской инспекции женщин» (*Декреты Советской власти*. Т. 7. С. 213); принятая 28 декабря 1920 г. резолюция VIII Всероссийского съезда Советов «О привлечении женщин к хозяйственному строительству» (Правда. 1921. 1 янв.), в которой отмечалась необходимость «привлечь работниц и крестьянок во все экономические органы, разрабатывающие и осуществляющие общехозяйственный план, вовлекать их в заводоуправления, в фабрично-заводские комитеты и в правления профсоюзов» (*Декреты Советской власти*. Т. 12. С. 88).

*Молодой человек доказывал Чепурному, имея на столе для справок задачник Евтушевского, что силы солнца определено хватит на всех... — «Сборник арифметических задач и численных примеров для приготовительного и систематического курса» (1872) выдающегося педагога и общественного деятеля Василия Адриановича Евтушевского (1836–1888) выдержал в начале XX в. несколько переизданий. Состоял из двух частей: часть 1 — «Целые числа», часть 2 — «Дробь». Действующими лицами задач сборника были люди конкретного рода деятельности: работник, купец, подрядчик, чиновник, путешественник, торговец, кузнец и т. п. Солнце упоминается в сборнике один раз в разделе «Таблица русских мер»: «Земля обращается вокруг Солнца в 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд» (*Евтушевский В.А. Сборник арифметических задач и численных примеров для приготовительного и систематического курса*. Ч. 1. Пг., 1916. С. 44).*

С. 178. *Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего... — Отсылка к работам В.И. Ленина «Государство и революция» (1917), «Очередные задачи Советской власти» (1918) и др. В своей речи на Всероссийском продовольственном совещании в 1921 г. Ленин подчеркивал необходимость «наладить и организовать» работу продовольственного аппарата в новых условиях (Известия. 1921. 22 июня. С. 1).*

С. 180. *Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевен-*

гуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были не обязательными, — по наущению японца Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки... — См. в статье «Свет и социализм»: «В случае удачного разрешения этой технической задачи <...> свет, а с ним вся вселенная, станет “пролетарием” человечества на многие неисчерпаемые века...» (Сочинения, 1(2). С. 218–220). Роль труда в социалистическом и коммунистическом обществе была обоснована В.И. Лениным в работе «Государство и революция»: если для первой фазы коммунистического общества основополагающим является принцип «Кто не работает, тот не должен есть» и распределение продуктов и труда между членами общества регулируется государством, то на высшей стадии коммунистического общества «труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни» (Ленин. ПСС, 33. С. 94–95).

С. 182. ...гармонии же знал только двухрядки. — Имеются в виду двухрядные гармоники, кнопки на клавиатуре которых расположены в два ряда; при смене движения меха звуки обеих клавиатур были разные. В России немецкие, а затем венские двухрядные гармоники получили большое распространение с 1880-х гг., впоследствии стали делаться русскими мастерами.

...пока же коммунизм следует ограничивать завоеванной у буржуазии площадью, чтоб нам было чем управлять. — Речь идет о теории построения социализма в одной стране; см. работу И.В. Сталина «Об основах ленинизма» (1924): «Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большинства таких стран. <...> Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира — все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. История революции в России является прямым тому доказательством». Таким образом, «победа социализма в одной стране» может осуществиться, хотя «окончательная» его победа невозможна, пока есть капиталистическое окружение (Сталин И.В. Сочинения. Т. 8. М., 1948. С. 60–61. Впервые: Правда. 1924. 26 и 30 апр., 9, 11, 14, 15 и 18 мая.). Новая формулировка легла в основу резолюции XIV партконференции «О задачах Коминтерна и РКП(б)» (1925), «рассматривающей вопрос о победе социализма в одной стране в связи со стабилизацией капитализма и считающей построение социализма силами нашей страны возможным и необходимым» (Там же. С. 63). В брошюре Сталина «К итогам работы XIV конференции РКП(б)» разъяснялось: «Окончательная победа социализма есть полная гарантия от попыток интервенции, а значит, и реставрации, ибо сколько-нибудь серьезная попытка реставрации может иметь место лишь при серьезной поддержке извне... <...> Поэтому поддержка нашей революции со стороны рабочих всех стран, а тем более победа этих рабочих хотя бы в нескольких странах,

является <...> необходимым условием окончательной победы социализма» (Там же. С. 64). В Политическом отчете ЦК XV съезду (декабрь 1927 г.) Сталин отметил: «Мы живем накануне нового революционного подъема в капиталистических странах и в колониях». Теперешнее состояние «стабилизации» там чревато «неизбежностью новых империалистических войн». В условиях «нарастающего кризиса мирового капитализма» задача партии — «двигать дальше развитие народного хозяйства нашей страны по всем отраслям производства» (К. пр. 1927. 6 дек. С. 1); «...мы сделали все, что только может сделать одна страна, для развития и ускорения мирового революционного движения. <...> Двигаясь по этому пути, мы придем наверняка к победе социализма в нашей стране, к победе социализма во всех странах. <...> Трудности будут. Но мы их преодолеем. <...> Товарищи! К победе коммунизма в нашей стране, к победе коммунизма во всем мире — вперед» (Общий итог доклада И.В. Сталина // Там же. 7 дек. С. 1).

С. 184. *Река Чевенгурка* — название вымышленное, образованное по реально существовавшей модели: город Богучар — река Богучарка.

С. 188–189. *Близ кладбища, где помещался ревок, находился длинный провал осевшей земли. ~ ...надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад...* — Возможно, в этом фрагменте нашли отражение впечатления Платонова о событиях 1919 г. в Воронеже; см. описание окрестностей дома купца Нечаева на Воскресенской улице (ул. Орджоникидзе), где в 1918–1919 гг. помещалась Воронежская Губчека: «...Но самое страшное в саду. Еще густая, позолоченная осенью листва, беспечное чириканье воробьев, притоптанная зеленая травка, — а кругом бугры, бугры, могилы, свежеизрытая земля... У кирпичной стены столпилась кучка народа, что-то рассматривают. Кое-как засыпанная яма; у края еще воткнут забытый заступ. Из земли торчит большой лоскуток темной материи. “Ряса... — шепчут в толпе. — Тут священник расстрелян...” Дальше еще могила, и еще, и еще... Одни совсем свежие, другие уже поросли травой. Кирпичи стены все избиты пулями, некоторые ямки так глубоки, что можно вложить палец» (*Вор. тел.* 1919. 6 окт. Цит. по: Политические репрессии в Воронеже. Путеводитель / А.Н. Акиньшин, В.И. Битюцкий, О.Г. Ласунский, К.Б. Николаев. Красноярск, 2011. С. 62).

С. 189. *Нынче же, когда в Чевенгуре имелось окончательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению японца, закрыта навсегда...* — См. постановление ВЦИК от 20 января 1919 г. об упразднении уездных чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, преступлениями по должности (Правда. Известия. 1919. 16, 24 янв.). Все дела этих комиссий передавались в губернские комиссии ВЧК (*Декреты Советской власти*. Т. 4. С. 301–302). В печати постановление комментировалось так: «В свое время чрезвычайки были <...> очень необходимы. Теперь надобность в них уже исчезает. Опыт убедил нас, что там, где еще происходят восстания против Советов, они часто вызываются неосторожным и грубым отношением к населению со стороны строптивых агентов рабоче-крестьянской власти. Таких особенно много в уездных чрезвычайках. Часто они по горячности обижают средних крестьян, мещан и тех, кто хотя и не целиком с нами, но нам не враг» (*Ермак С. Нет уездных чрезвычайок // Вор. бед.* 1919. 26 янв. С. 2).

С. 190. ...в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательно наступательных переходных ступеней... — О «переходных ступенях» см. примеч. к с. 148 наст. изд.

...ясно представлял себе наружность каждого домовладельца: Щекотова, Комягина, Пихлера, Знобилина, Щапова, Завын-Дувайло, Перекрутченко, Сюсюкалова и всех их соседей. — См. некоторые из фамилий в других произведениях Платонова: Комягин — в романе «Счастливая Москва», Завын-Дувайло — в рассказе «Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине)».

С. 195. ...почему кадеты нас за горло вешают. — *Кадеты* — младшие сыновья дворянских фамилий во Франции; молодые дворяне во Франции и Пруссии на военной службе в солдатских чинах до производства их в офицеры; в некоторых государствах, в том числе с 29 июля 1731 г. в России, звание воспитанников кадетских корпусов — средних военных учебных заведений для детей дворян и офицеров. Другое значение слова «кадеты» — краткое наименование (по первым буквам) конституционно-демократической партии России, партии, которую В.И. Ленин считал главным оплотом, выразителем и защитником буржуазии и мещанства; см.: «Кадеты — могильные черви революции», «Кадеты — партия мечтаний о беленьком, чистеньком, упорядоченном, “идеальном” буржуазном обществе» (Ленин. ПСС, 12. С. 292, 294). Одно из принятых у красноармейцев на юге России в годы Гражданской войны наименований белогвардейцев. См. примеч. к повести «Ямская слобода» (Сочинения, 2. С. 681): «Кадеты — в речи Миши-солдата, вероятно, соединяются два значения слова “кадеты”. Современник-лингвист писал: “...мы сами были свидетелями того, как большевистские солдаты в октябре 1917 года отождествляли ‘кадетов’ (конституционных демократов) с ‘юнкерами’ и с учениками кадетских корпусов” (Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923. С. 21)».

С. 198. Это умно, будь я проклят, но только не прочно: сделано без всякого запаса сечения! — *Запас сечения* — имеется в виду запас прочности — термин в теории сопротивления материалов, который определяет соотношение между расчетной нагрузкой, обеспечивающей безопасную эксплуатацию конструкции или сооружения, и максимальной нагрузкой, которая теоретически допустима.

С. 199. ...там жил одинокий комсомолец, работавший истопником в железнодорожном депо — без всякого продвижения к высшим должностям. ~ Завтра же пойду в райком — пускай и меня в контору берут: я всю политграмоту знаю, я могу цельным масштабом руководить! А они меня истопником сделали, да еще четвертый разряд положили... Человека, сволочи, не видать... — В середине 1920-х гг. газеты постоянно сообщали о проблемах в среде молодежи и ее авангарде — РЛКСМ (с марта 1926 г. — ВЛКСМ). См., напр., доклад Н.И. Бухарина на XIV съезде партии «О работе комсомола», где в отдельный раздел выделены «Болезни РЛКСМ»: рост хулиганства, асоциальность, мещанство, «упадочные тенденции» (К. пр. 1926. 3 янв. С. 2–3); материалы пленума московского комитета ВЛКСМ, назвавшего среди недостатков в работе комсомола «притупление остроты политической активности» молодежи, казенщину, рост хулиганства (Там же. 18 сент. С. 1); статью главного редактора «Комсомольской правды» Т. Кострова «Новый фронт (О хулиганах и хулиганстве)», в которой

отмечалось, что в основе «упадочных настроений и хулиганства» лежит «ослабление связи с коллективом, с обществом, <...> неумение удовлетворять свои интересы общественным путем» (Там же. 19 сент. С. 2) (подробно см.: *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной критики. М., 2010. С. 217–274). С конца 1925 г. в СССР утверждается программа построения социализма в одной стране, и в связи со «стабилизацией капитализма» откладывается мировая революция. Закономерно, что часть молодого поколения, выросшего на этой идее и романтизовавшего ее, испытала чувство растерянности и разочарования. См.: в докладе А.В. Луначарского «Об упадничестве и “есенинщине”», сделанном в Комакадемии: «В нашей молодой революционной стране ничто не может внушать пессимистических настроений... <...> Нужно иметь терпение, нужна известная выдержка. Революционные бури нас порадовали бы, но и создало бы очень рискованное положение и никто не может сказать, к чему оно могло бы привести. <...>...мы завоевали шестую часть мира, растет наше хозяйственное строительство, а в это время говорят об упадничестве нашей молодежи» (На литературном посту. 1927. № 5–6. С. 106).

С. 200–201. ...*воспоминание о сказке про пузырь, соломинку и лапоть, которые некогда втроем благополучно одолели такую же ненадежную, такую же непроходимую природу.* — Речь идет о русской народной сказке «Пузырь, соломинка и лапоть», герои которой, напротив, не смогли переправиться через реку.

С. 204. ...*Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу: думал — громадная книга, в ней все написано...* — Имеется в виду «Капитал. Критика политической экономии» — фундаментальный научный труд К. Маркса по политической экономии, в котором содержится критический анализ капиталистического строя. Впервые полностью все четыре тома были опубликованы уже после смерти Маркса, в 1905–1910 гг. Неоднократно переиздавался и накануне революции, и в Советской России.

С. 205. *Всем устраняемым с базы коммунизма выдается вперед недельный паек...~ Прощается под знаком вечного изгнания из Чевенгура и с прочих баз коммунизма. Если же остатки появятся в Чевенгуре, то смертная казнь на них возвращается в двадцать четыре часа.* — Одной из мер борьбы с буржуазными классами была высылка их за пределы места жительства, будь то город или страна в целом; см., напр., решение собрания членов Соляевского волысполкома Землянского уезда: «...объявить беспощадную борьбу кулакам, укрывателям хлеба, путем конфискации у них всего имущества и хлебных запасов, а также высылки их семейств за пределы уезда» (*Кр. дер.* 1921. 17 янв. С. 4). Возможно, в эпизоде отразились реальные события, которые Платонов мог видеть в Воронеже; см. «Обязательное постановление», объявленное в Воронеже 15 сентября 1918 г., через десять дней после принятия постановления СНК «О красном терроре»: «От Президиума исполнительного комитета совета рабочих и красноармейских депутатов обязательное постановление. Во исполнение постановления Исполнительного Комитета Совета рабочих и красноармейских депутатов от 7 сентября с.г., президиум горисполкома настоящим объявляет во всеобщее сведение, что в течение недельного срока со дня опубликования сего подлежат выселению из гор. Воронежа и всех его пригородов следующие категории лиц: 1) безработные, не зарегистрированные на бирже труда до 15 августа 1918 г. и

не имеющие удостоверений фабрично-заводских комитетов о месте службы до 15 августа с.г.; 2) юристы, учителя, инженеры и техники, не служащие в учреждениях; 3) торговцы, не имеющие торговли и не выбравшие торговых документов до марта 1918 г.; 4) все вообще лица, не имеющие определенных занятий и 5) учащиеся, не имеющие удостоверений, выданных из учебных заведений до 15 августа с.г. Лица всех указанных выше категорий должны в недельный срок выехать из Воронежа и из всех пригородных слобод: Ямской, Троицкой, Чижовки, Привокзального поселка и Придачи. <...> Лица перечисленных выше категорий, не покинувшие в недельный срок пределов гор. Воронежа и всех его пригородов, будут судимы со всей строгостью революционного времени» (Воронежский красный листок. 1918. 15 сент. С. 4. Цит. по: *Алейников*. С. 122–123). Через несколько дней после постановления городских властей был напечатан другой документ, в соответствии с которым «отдельным категориям лиц» «прощалось» неисполнение предыдущего постановления» от 15 сентября: «В дополнение к разъяснению обязательного постановления Президиума горисполкома о выселении в 7-ми дневный срок из пределов гор. Воронежа и его пригородов некоторых категорий лиц, настоящим доводится до всеобщего сведения, что выселению подлежат граждане <...> обоого пола, мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, а женщины от 20 до 40 лет. Обязательное постановление не распространяется: 1) на учащихся, окончивших учебные заведения и подавших прошение в местный университет до 1 сентября 1918 г., 2) на торговцев, не взявших торговых свидетельств до марта 1918 г., 3) на жен, мужа которых выселению не подлежат, 4) на беженцев <...>, 5) на больных тяжелыми болезнями, не имеющих возможности самостоятельно существовать, 6) на учителей, подавших заявление в отдел народного образования до 1 сентября 1918 г. о зачислении в кандидатские списки...» (К выселению из города // Там же. 20 сент. С. 4. Цит. по: *Алейников*. С. 124).

*На всех воротах почти круглый год оставались нарисованные мелом надмогильные кресты, ежегодно изображаемые в ночь под крещение... — По русской православной традиции накануне Крещения, чтобы уберечь свой дом от зла, в доме над всеми окнами и дверьми, а также на воротах мелом рисовали кресты, сопровождая это действие словами праздничного тропаря: «Во Иордане крещающуюся Тебе, Господи, глас свидетельствовавшее Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествовавше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе». Подробно см.: *Корниенко Н.В.* «Философские эксперименты» А. Платонова: чевенгурские мечтания о новом человеке. С. 218–221; О европейских историко-культурных контекстах данного эпизода см.: *Яблоков*. С. 309.*

...мне ведь жутко быть одному в сочельник коммунизма! — Сочельник — канун Рождества или Крещения.

С. 208. *...такие беседы были необходимы, чтобы кротно пройти по адову дну коммунизма... — См. в повести «Эфирный тракт» название «ученого сочинения» доктора физики Попова — «Сокрушение адова дна» (Сочинения, 2. С. 10); описание плаката в повести «Сокровенный человек» (1927) — «Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змия, воюя на адовом дне» (Там же. С. 158).*

...московские и губернские плакаты изображали гидру контрреволюции и поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни... — Гидра контрреволюции — фразеологизм, возникший в эпоху Великой французской революции (как и «гидра революции») и часто употреблявшийся в России в период Гражданской войны; см., напр., «Обращение к трудящимся» от 3 сентября в связи с покушением на В.И. Ленина, где ВЧК призывала «раздавить гидру контрреволюции» (Правда. 1918. 4 сент. С. 1). О том, что были плакаты с изображением гидры контрреволюции, свидетельствуют строки поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «Историки / с гидрой плакаты выдерут / — чи эта гидра была, / чи нет? — / а мы знавали / вот эту гидру / в ее натуральной величине» (Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 6. М., 1957. С. 287).

...поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни... — Отсылка к серии плакатов и других средств наглядной агитации, посвященных кооперации, внутренней и внешней торговле, товарообмену; см., напр., в рассказе М. Бахметьева «Рубаха синяя с горохом» (1921) радость крестьян от привезенной в деревню мануфактуры: в потребиловку, украшенную вывеской «РСФСР. Пролетария всех стран, пожалуйста за ситчиком! Вы городу — хлеба, а он вам — ситчику! С почтением Трифоныч и Емелька», торопится толпа, желая получить «аршины радости» (Кр. дер. 1920. 23 ноября. С. 2–3. Цит. по: Антонова. С. 753–754).

С. 214. ...бутылка церковного вина — висанта. — «Висант» — одна из марок французского кагора, завозившегося в Россию в XIX — начале XX в. Вино, отличавшееся глубоким красным цветом, употребляли обычно во время таинства причастия.

Несмотря на пустые обставленные дома, никто из десяти человек чевенгурских большевиков не пошел искать себе приятного ночлега... — См.: «... рабочий люд <...> вместе со своими семьями переселяется в <...> просторные, сухие, светлые, созданные его же собственными руками и по праву ему принадлежащие дворцы-квартиры буржуазии, не колеблясь лишая ее этих блестящих жилищных условий, как негодный, вредный эксплуататорский элемент, которому не должно быть места в социалистической России...» (Жел. путь. 1918. № 2. С. 2). «Смелей входи в этот дворец! — приглашал тов. Петро, один из авторов московского журнала «Творчество» (1918. № 3). — Пусть не смущает тебя окружающая красота убранства. <...> Ты здесь не раб, а властелин, не гость, а хозяин, не наследник, а собственник. <...> Долгие годы клал ты, камень за камнем, этот дворец. <...> Ты воздвиг его. Смелей входи в этот дворец» (цит. по: Г-ов М. Литература и жизнь // Жел. путь. 1918. № 1. С. 8). «С июля по сентябрь месяц в Москве переселено в буржуазные дома 7700 рабочих» (Кр. дер. 1920. 19 ноября. С. 1. Б.п.).

С. 219. Зови всяких прочих... — см. примеч. к с. 115 наст. изд.

Карта генерального размежевания — карта с указанием точных границ земельных наделов.

С. 220. Но Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность жещицины для первоначального социализма, раз жещицина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к жещицине и размножение от нее, но это было чужое и природное дело, а не людское и

коммунистическое... — Вопросы «пола» оставались актуальными и в 1920-е гг., в связи с выработкой основ коммунистической морали, новых отношений к женщине, семье и браку. В 1920 г. в статье «Душа мира» Платонов откликнулся на идущую от начала века полемику вокруг популярной в России книги О. Вейнингера «Пол и характер» (1903; русский перевод и издание 1907), в которой утверждался взгляд на женщину как на существо плотское, сексуальное, лишённое творческих начал и души. См. у Платонова: «Нас эта книга интересует только как вопль погибающего, ибо, вынув душу из мира — женщину, Вейнингер зашатался и исчез в вихре безумия... <...> Революция отдала в руки женщины все силы жизни, главенство над ее ростом и расцветом. Нет ничего в мире выше женщины, кроме ее ребенка» (*Сочинения*, 1(2). С. 49. Подробно см. там же примеч. на с. 328–330).

С. 224. *Ведь пролетарий чтение любит, партийная твоя душа, а ты керосин его пожже!* — Отклик на масштабную кампанию 1927–1928 гг. по проведению в городах читательских съездов и конференций рабочих, дискуссий на тему «Читатель и писатель», широко освещаемых центральными газетами и журналами. Подробно об этом см. рассказ «Московское общество потребителей литературы (МОПЛ)» (1927) и примеч. к нему (*Сочинения*, 2. С. 261–266, 691–697).

С. 225. *Чего звезда: горит и горит? Ей-то чего надо? Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там наука вместо бога держит...* — См. в неоконченной статье «О любви» (1927): «Если мы хотим разрушить религию и сознаем, что это сделать надо непременно, так как религия и коммунизм несовместимы, то народу надо дать вместо религии не меньшее, а большее, чем религия. <...> Вы скажете, но мы дадим народу взамен религии науку. Этот подарок народ не утешит» (*Сочинения*, 2. С. 432; см. также примеч. на с. 839–846).

С. 226. *А может, это какая-нибудь помощь или машина Интернационала,* — проговорил Кеша. — *Интернационал* — международная политическая организация, которая представляет интересы трудящихся всех стран и призвана бороться против эксплуатации рабочего класса капиталистами. 1-й Интернационал возник в 1864 г. в Лондоне, объединял партии из 13 европейских стран и США. Здесь речь идет о Третьем Коммунистическом интернационале (Коминтерне), объединявшем коммунистические партии разных стран в 1919–1945 гг. Коминтерн был основан 4 марта 1919 г. по инициативе РКП(б) и ее руководителя В.И. Ленина. Вопрос о том, «что есть интернационал», — понятным для рабочего и крестьянина языком разъяснял Платонов в одноименной статье: «Интернационал — слово иностранное, значит: “Международное товарищество”. Так назвал себя около 60 лет тому назад союз сознательных рабочих разных стран, составленный для того, чтобы революцией, т. е. полным переворотом, силой вырвать власть у своих угнетателей — капиталистов, бар и царей. <...> ...международному союзу буржуазного класса необходимо было противопоставить международное товарищество революционных пролетариев (рабочих и трудовых крестьян). И это товарищество, существуя 50 лет, сплотило всюду массы трудящихся от холодной Сибири до жаркой Африки, от Англии до Японии. Из страха-то перед этим рабочим интернационалом и бросилась отчасти буржуазия во всесветную войну» (Что есть интернационал? // Антонова. С. 696).

Не иначе это бак с сахарного завода... — Накануне Первой мировой войны, в 1913 г., в Воронежской губернии функционировало шесть сахарных за-

водов (Памятная книжка Воронежской губернии на 1913 год. Воронеж, 1913. С. 31). В период революции и Гражданской войны заводы постепенно прекращали свою работу: «большинство хозяйств заводов, а также и сами заводы находились в весьма плачевном состоянии после повторных прохождений белых банд и военных действий, проходивших на территории некоторых заводов» (К 8 губернскому съезду Советов // *Вор. ком.* 1920. 6 окт. С. 2).

С. 230. *А я инструктор птицеводства из Почепского уез. Мы в Почепском уезде хотим развести плимутроков... ~ Без яйца наш уезд не подымется...* — Воронежская печать в 1921 г. неоднократно сообщала о проблемах и успехах куроводства в губернии. В конце августа 1920 г. «заготовка домашней птицы была передана Губпродкомом автономной секции Губсовхоза, его яично-птичному подотделу», был создан «Центр откармливания кур», где находилось весной 1921 г. «30 000 пар кур». Возникшие «трудности: неорганизованность на местах, отсутствие там нужного количества специалистов и еще целый ряд объективных условий» — были успешно преодолены (*Н. С-кий.* Заготовка домашней птицы // *Вор. ком.* 1921. 14 апр. С. 2). «В Воронеже находился (и сейчас находится), — сообщалось там же 26 мая, — единственный в России завод по изготовлению сухого яичного порошка “Эгго”. <...> мы не можем жаловаться на тяжесть налога на яйца, а должны принять меры, чтобы куроводство губернии, если оно упало за последние годы, было бы вновь поднято, как и прежде, на первое место в России» (Там же. 26 мая. С. 1).

Почеп — город в Почепском районе Брянской губернии.

Плимутроки — порода кур, выведенная американскими селекционерами в середине XIX в., отличается большими размерами тела, ярким декоративным оперением и высокой яйценосностью.

С. 232. *Кирей говорил мне — коммунизм был на одном острове в море, а Кеша — что будто коммунизм умные люди выдумали... — ...на одном острове в море...* — Отсылка к книге английского философа и писателя Т. Мора «Утопия» (1516 г.; в первом переводе на русский язык — «Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», СПб., 1789). В пореволюционные годы сочинение упоминалось в непосредственной связи с новой властью в России; см.: «400 лет тому назад Томас Мор изобразил под именем “Утопии” остров, на котором царит коммунистический строй и который окружен государствами, где сохраняется еще частная собственность. Своеобразное воплощение моровской “Утопии” представляет собой Советская Россия — этот пролетарский остров, уже пятый год отражающий набегающие на него волны капиталистического мира» (Коминтерн и Советская Россия // *Петроградская правда.* 1921. 22 ноября. С. 1. Б.п.). См. также в романе А. Чапанова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1921): «Итак, свершилось, — подумал Алексей, взглядывая в ночную Москву. — Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорд и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания — официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара» (*Кремнев И.* Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской

утопии. С. 5). Можно также предположить, что в памяти Кирея отложились какие-то другие утопические легенды, например о Беловодье, обитатели которого живут «на семидесяти больших островах» (см.: *Чистов*. С. 402), или другие: «Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, известен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлению об острове, на который переселяются души умерших предков» (Там же. С. 334). Подробно о русской народной утопической традиции в романе «Чевенгур» см.: *Гюнтер Х.* Жанровые проблемы утопии. «Чевенгур» А. Платонова // Утопия и утопическое мышление / сост. В.Я. Чаликова. М., 1991. С. 252–276, см. также в книге Х. Гюнтера «По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова» (М., 2012).

...коммунизм умные люди выдумали... — Слово «коммунизм» употреблялось в Древней Греции. Самая полная теоретическая разработка коммунизма принадлежит Платону. В диалоге «О государстве» Платон рисует идеальный, по его мнению, общественный строй, в котором два высших класса: воинов (или стражей) и правителей (или философов) ведут коммунистический образ жизни и не имеют собственности. Коммунистические идеи Платона нашли себе поздних последователей в лице Аполлония Тианского и Плотина (см.: *Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.* Энциклопедический словарь: в 86 т. Т. 30. М., 1993. С. 880–886).

С. 233. *Шумит волна на озере ~ Сирота во сне...* — Автограф романа сохранил варианты текста песни: строфа должна была первоначально начинаться со слова «плывет», в последней строке слова имели другой порядок — «шагом слабым» (*Архив*, 2. С. 385).

Фэтон — рессорный экипаж с откидным верхом, четырехколесная большая телега.

С. 236. *Город, мол, ваш и прибран по-хозяйски, а у плетня стоит авангард и желает пролетариату счастья и — этого...скажи: всего мира, все равно он ихний.* — Отсылка к известным словам из «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса: «Пусть господствующие классы содрогнутся перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд-е 2-е. Т. 4. М., 1955. С. 459).

С. 238. *Теперь мы неизбежно братья и семейство... ~ ...лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга, — а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь скорее всего! — ...лучше будет разрушить весь благоустроенный мир...* — Описание восходит к словам гимна международного коммунистического движения, с 1918 по 1943 г. — гимна СССР — «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим...» (текст написан французским поэтом Э. Потье в дни разгрома Парижской коммуны в 1871 г.; музыка П. Дегейтера (1888). Перевод на русский язык А.Я. Коца (1902 г., полный текст — 1931 г.). Подробно о тексте «Интернационала» в русской литературе 1920–1930-х гг. см.: *Корниенко Н.В.* «Весь мир насилья мы разроем до основанья...» (Новый гимн страны в интерпретации русского романа первых советских десятилетий) // Русская революция 1917 г. в литературных источниках и документах. М., 2017. С. 11–32). ...*пролетарии всех стран, соединяйтесь...* — Знаменитая строка, завершающая «Манифест коммунистической

партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса: «Пролетарии всех стран, соединитесь!»). См. также популярную пореволюционную фразеологию, представляющую будущую жизнь как единую «трудовую семью»: «Братья, все то, что давно вы искали, / Ныне свершилось, как в сказке...» (Торжество коммунизма // Голос трудового крестьянства. 1919. 12 янв. С. 2. Подпись: *В. Б-в*); «...будет день и установится Интернационал — борьба классов уничтожится, а трудящиеся всех стран соединятся в одну товарищескую трудовую семью, о чем Маркс предсказывал и пытался осуществить» (Учение Карла Маркса и партия коммунистов // *Жел. путь*. 1919. № 6. 31 янв. С. 7. Подпись: *Воцвет*).

С. 241. *Прокофий взял знамя из рук Чепурного и прочел про себя стих Карла Маркса на нем.* — Возможно, имеется в виду строка «Пролетарии всех стран, соединитесь!», см. примеч. к с. 238 наст. изд.

Нам нужна железная поступь пролетарских батальонов... — Неточная цитата, отсылающая к работе В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» (1918): «Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может только класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата» (*Ленин. ПСС, 36. С. 208*).

С. 242. *О предоставлении сводных сведений, — начал Прокофий, — по особой форме, приложенной к нашему циркуляру номер 438101, буква А, буква Сэ и еще Ч, о развитии нэпа по уезду и о степени, темпе и проявлении развязывания сил противоположных классов в связи с нэпом, а также о мерах против них и о внедрении нэпа в жесткое русло...* — После утверждения нэпа на X съезде ЦК партии направил в местные партийные организации, в том числе и в Воронежскую губернию, ряд важнейших директив о правильном проведении продовольственной политики и сборе продналога; см., напр., «Сборник циркуляров, инструкций и положений о постановке партийной работы в Воронежской губернии (Партийный справочник)». Воронеж: Издание Воронежского губкома РКП, 1921). В главу 1 вошли материалы X съезда РКП(б), главу II составили документы с мая 1920 до июня 1921 г. Разделы этой главы в сборнике обозначены буквами алфавита: А — организационно-партийная работа, Б — агитация и пропаганда, Г — учет и распределение работников, Д — о воспитательной работе членов партии и рабочих среди беспартийных масс, Е — о партийных взысканиях. Периоду нэпа в сборнике посвящен раздел IV главы 1 — «Новый период, его задачи и партийное строительство»: этот период («характеризуется, с одной стороны, почти полной ликвидацией внешних военных фронтов, с другой — крайним обострением противоречий внутри страны. Новая форма иностранного вмешательства, проявляющаяся в организации заговоров и восстаний, тяжелый экономический кризис и связанный с ним кризис продовольственный, резкое обострение отношений между рабочим классом и крестьянством, усиленное неурожаем прошлого года, усталость широких пролетарских масс, истощенных невиданной борьбой против бесчисленных врагов, — все эти явления получили в период демобилизации свое наиболее яркое выражение и сделали вновь чрезвычайно трудным положение Советской России»; переход на мирное положение «при данных исторических условиях приводит к новым формам борьбы на вну-

треннем фронте» (Сборник циркуляров, инструкций и положений о постановке партийной работы в Воронежской губернии (Партийный справочник). Воронеж, 1921. С. 3–4).

Дальше Прокофий прочитал директиву о срочной организации потребительской кооперации, взамен усиления частной торговли, поскольку кооперация является добровольной открытой дорогой масс в социализм и далее. — Речь идет об обращении «Всем организациям РКП», напечатанном в газете «Правда» 13 мая 1921 г. и включенном в сборники циркуляров; см.: «...в связи с декретом о натуральном налоге, роль кооперации, в значительной степени, возрастает». Помимо ее чисто экономической роли, речь в обращении шла о «политической роли», которая «должна выразиться не только в самом объединении и организации миллионных масс населения, но и главным образом в борьбе со спекуляцией, с анархическими противогосударственными стремлениями отдельных мелких производителей путем противопоставления им общественных форм учета, контроля и ответственности. Еще значительнее роль рабочей кооперации, являющейся формально частью общей потребительской кооперации, но по существу призванной быть авангардом ее, и вместе с тем могучим средством экономического вооружения пролетариата. <...> ...кооперация не только будет энергично способствовать подъему мелкого производства России, т. е. борьбе с хозяйственной разрухой, но и превращать мелкие хозяйства в крупные коллективные предприятия, пользующиеся машинами, основанные на электрификации, т. е. подводить технический базис под коммунизм» (Сборник циркуляров, инструкций и положений... С. 101). См. также примеч. к с. 167 наст. изд.

С. 243. *Следующим пунктом у нас идет циркуляр о профсоюзах — о содействии своевременным членским взносам...* — Отклик на идущую в 1920 — начале 1921 г. дискуссию о профсоюзах, их экономической и политической роли в жизни страны. На X съезде РКП(б) вопрос о членских взносах в профсоюзы не ставился, не было и соответствующего циркуляра, обсуждались другие, более серьезные вопросы: роль профсоюзов в эпоху диктатуры пролетариата, воспитательные задачи профсоюзов, состояние профсоюзов после трех лет Гражданской войны и др. В принятой съездом резолюции «О роли и задачах профсоюзов», по сути, ограничивалась роль профсоюзов в руководстве народным хозяйством, они становились подчиненными руководящей роли РКП; см.: свои хозяйственные задачи «профсоюзы должны выполнять не в качестве самодовлеющей организационно-изолированной силы, а в качестве одного из основных аппаратов советского государства, руководимого коммунистической партией» (Протоколы X съезда РКП(б). Март 1921. М., 1933. С. 590–605).

Написано — «потребности, затраты, возможности и дотации на весь восстановительный период до его конца». — Восстановительный период — период развития Советской России с 1921 по 1926 г. В это время, после Гражданской войны, советское народное хозяйство восстанавливалось и развивалось в плановом порядке, на новой экономической основе, при ведущей и преобразующей роли социалистического уклада. В резолюции XV конференции ВКП(б) «О хозяйственном положении страны и задачах партии», принятой 3 ноября 1926 г., отмечалось: «Под руководством ВКП(б) завершена в общем и целом огромная работа по восстановлению народного хозяйства. Восстановительный

период может считаться в общих чертах законченным» (КПСС в резолюциях. Т. 4. Ч. II. М., 1954. С. 293).

С. 245. *Через восемь дней в губернии состоится партконференция, и туда зовут от нас делегата, который должен быть председателем местной власти...* — По итогам X съезда в Воронеже 15–18 сентября 1921 г. состоялась X губернская партийная конференция, посвященная деятельности партийных органов в связи с новой экономической политикой. На конференции были заслушаны доклады Губкома РКП(б) и губернской контрольной комиссии о продовольственном вопросе, о роли и задачах потребительской кооперации. В принятой конференцией резолюции было указано, что формы и методы партийной работы должны определяться новыми задачами, которые стоят «в плоскости проведения новой экономической политики, упорядочения и укрепления классовых взаимоотношений между пролетариатом и крестьянством, усиления влияния партии в окружающей беспартийной среде» (Очерки истории Воронежской организации КПСС. С. 203, 504).

Мы — ревком, высший орган революции в уезде ~ мы здесь всем городом и уездом непрерывно руководим, вся забота за охрану революции возложена на нас. ~ Ты только слушайся наших распоряжений, тогда — жив будешь и тебе будет отлично. — Озвучено утверждавшееся с пореволюционных лет в Советской России представление о партии: «Партия коммунистов взяла ответственность за разрешение проблем социализма, за сохранение и углубление революции. <...> Из партии исходит все, все нити начинаний пролетарского правительства ведут к партии. Партия прежде всего, выше всего и необъятней всего» (В партию // *Жел. путь*. 1918. № 2. С. 11. Подпись: Г.Е.). Об отсылке данного эпизода к идеям Розы Люксембург, для которой масса — «настоящая личность истории», а «роль революционных лидеров, следовательно, ограничена», к ее спору с «русским центризмом», против «подчиненности одной, строго организованной власти, “которая сама за всех думает и решает” (определение Люксембург)», см. в статье Р. Ходела «Чевенгур и Роза Люксембург» (*Страна философов*, 2000. С. 535–538).

С. 245–246. *Я стою и гляжу, — сообщил старик, что видел. — Заняты у вас слабое, а людям вы говорите важно, будто сидите на бугре, а прочие — в логу. ~ Люди живут, а иные работают в своей нужде, а ты сидишь и думаешь в комнате, будто они тебе известные и будто у них своего чувства нету в голове.* — Отклик на идеи, выдвинутые «рабочей оппозицией» в 1920 г. На X съезде РКП «рабочая оппозиция» выступила с развернутой программой. Обращаясь к В.И. Ленину, один из ее лидеров, А.Г. Шляпников, сформулировал принципиальные расхождения между партией и «рабочей оппозицией»: «У нас нет расхождений в основных вопросах нашей внутренней и международной политики. <...> Но у нас много расхождений в тактических вопросах, в способах осуществления нашей общеполитической линии. На этой почве замечается поворот широких трудящихся масс города и деревни часто против нас. Увоенные за время гражданской войны приемы работы не только не позволяют нам осуществить программное требование о вовлечении в советское строительство широких групп пролетариата, но определенно отталкивают их от нас и от нашей партии. Это побуждает нас, стоящих очень близко к широким кругам пролета-

риев фабрик и заводов, громко заявить о грозящей нам опасности отрыва от масс» (Рабочая оппозиция. Материалы и документы. 1920–1926. М.–Л., 1926. С. 23). См. также предложенную «рабочей оппозицией» X съезду РКП(б) «Резолюцию по партийному строительству»: «...4. Каждый член партии обязан ежегодно не менее трех месяцев заниматься физическим трудом на фабриках, заводах, рудниках, шахтах, железных дорогах, сельскохозяйственных и т. п. работах. Каждый член партии обязан изучить ту или иную простейшую профессию фабрично-заводскую или другую <...> работу по своей склонности или по указанию хозяйственных органов и по санкции партийных организаций. Члены партии, выполняющие партийный долг на физическом труде, обязаны жить на общих условиях со всеми рабочими данной области труда. Ни один член партии не может быть избран ни на какую партийную и советскую должность раньше выполнения партийного долга — физического труда. <...> 7. Для оздоровления верхов нашей партии, для усиления связи с массами и для вовлечения широких слоев пролетариата в строительство партии и руководство политикой в выдержанном классовом духе, съезд предлагает орабочение и освежение всех руководящих партийных органов, регулярную смену большинства их состава, введение во все эти руководящие органы в преобладающем количестве пролетарских элементов, не порывающих с производственным трудом и связанных с широкими партийными и беспартийными массами (Там же. С. 248–249). Ленин в заключительном докладе на X съезде 16 марта 1921 г. назвал выступление «рабочей оппозиции» «уклоном», который «еще можно поправить» (*Ленин В.И. Доклад и заключительное слово на X съезде РКП (б) о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне // Ленин. ПСС, 43. С. 107–111*). К середине 1920-х гг. негативное отношение к «рабочей оппозиции» усилилось. Если применительно к началу 1920-х гг. идеи ее объяснялись историческими условиями, трудностями переходного периода: «...в то время “рабочая оппозиция” отражала, несомненно, настроение и некоторой части рабочих. Каких? Наиболее деклассированных, наиболее подверженных влиянию мелкобуржуазной стихии, *части рабочих, связанных с крестьянством и переживавших настроения недовольного тяготами военного коммунизма крестьянства*» (Рабочая оппозиция. Материалы и документы. С. 6), то теперь «рабочая оппозиция» напрямую связывалась с оппозицией в партии — «новой оппозицией» Троцкого–Зиновьева–Каменева: «...новая оппозиция 1926 года вынуждена брать оружие для борьбы с партией <...> из арсенала прежних оппозиционных группировок, осужденных партией» (*Зоркий М. От составителя // Там же. С. 3*); «В вопросе о нэпе, о крестьянстве, о положении рабочего класса в СССР, о борьбе с бюрократизмом, в вопросах партийного строительства — объединенная оппозиция 1926 года немало позаимствовала из арсенала Шляпникова — Медведева — Коллонтай» (Там же. С. 11).

Идеи рабочей оппозиции не потеряли своей актуальности к моменту работы Платонова над романом. Примеры, подтверждающие нежелание представителей власти учитывать мнение рабочих, дать им возможность самим решать важные для них проблемы, Платонов мог видеть на страницах «Рабочей газеты», которая входила в круг чтения писателя. В декабре 1926 г. газета печатала «Дневник колдоговорной кампании», где приводились следующие факты: «На Вышне-Волоцкой мануфактуре обсуждение колдоговора происходит без

участия рабочих»; на кожевенном заводе «Красный поставщик» 5–6 месяцев работают «временные рабочие», они «не пользуются преимуществами постоянных рабочих: не получают кредиты, им не дают мест в вечерние школы»; на Гжельском заводе «Изолятор» «обсуждение колдоговора цеховыми делегатами хотят обойти»; «на Астраханской электростанции вовсе не существует колдоговора» и т. п. (*Раб. газ.* 1926. 9 дек. С. 4). Один из авторов писем в газету, токарь Тейтельман, рассказывая о «невнимании хозяйственников к предложениям рабочих», цитировал письмо ВЦСПС и ВСНХ «за подписями гг. Томского и Дзержинского»: «Хозяйственники должны знать, что ни одно мероприятие, ни один сколько-нибудь крупный вопрос не может быть проведен в жизнь, <...> если он проводится через голову рабочей массы, или если он не понят рабочей массой» (Там же. 1927. 12 янв. С. 2). Безымянный автор другого письма в газету ссылался на Ленина: «Тов. Ленин неоднократно говорил: “Одни коммунисты социализма не построят! Беда, если коммунисты будут думать, что они и только они своими руками построят социализм”» (Там же. 12 февр. С. 1).

См. также в статье «Мастер-коммунист» (1920): коммунистическая партия «должна из политической передовой силы превратиться в *организационно-производственную*, в техническую. Коммунисты из политиков, агитаторов, ораторов должны превратиться в техников-специалистов, мастеров производства, руководителей и обновителей труда. <...> Как осуществить это практически? Ввести в существующие партийные курсы, школы, институты преподавание организационно-технических знаний и подготовить из коммунистов не только агитаторов, но и слесарей, механиков, электромонтеров и организаторов технического коллективного труда <...> Для этого коммунисты должны уйти в мастерские, на заводы <...> Значит, если мы хотим сделать мир коммунистическим, немедленно нужно переорганизовать коммунистическую партию на производственную ногу...» (*Сочинения*, 1(2). С. 111–112).

С. 247. *Впредь назначать заседания ревкома по ночам...* — Вопрос о времени проведения заседаний, конкретно — профсоюзных, перенесении их, по предложению хозяйственников, на вечернее, нерабочее время, обсуждался на страницах «Рабочей газеты» осенью 1927 г. (см.: *Раб. газ.* 1927. 29 сент. С. 6).

Кооптировать — дополнительно вводить, включать в состав выборного органа новых членов собственным решением данного органа, без проведения дополнительных выборов.

С. 254–256. *Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих, сидела в темных сенях, держала коленями и руками своего ребенка ~ Мальчик сначала забылся в прохладе покойного сна, а потом сразу вскрикнул, открыл глаза и увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам. ~ Копенкин догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма — женщина только что принесла ребенка, а он умер.* — Реальный контекст этого эпизода — голод 1921 г., когда в результате засухи и неурожая, охвативших около 40% посевных площадей, особенно район Поволжья, голодало более 33% населения. См. в статьях Платонова 1921 г.: «Мы живем в дни нестерпимых страданий, массовых смертей и величайших надежд. <...> 20–30 миллионов крестьян и

рабочих Поволжья в голоде и тоске бегут по выжженным полям. В самодельных тележках везут они умирающих детей. И на всех нас глядят их испуганные потемневшие глаза. В них животная тихая кротость, они ранены природой» (Хлебстанок // *Сочинения*, 1(2). С. 201); «Вот был и есть голод, это безумие кишок, эта веселая пляска изнемогающей крови, когда каждый атом живого мяса делается нищим, попрошайкой и бандитом ко всему большому, скудеющему от внутренней борьбы телу» (Равенство в страдании // *Сочинения*. 1(2). С. 203). См. также сообщения воронежской печати: «Из одиннадцати выжженных солнцем поволжских губерний несутся к нам жалобные стоны гибнущих от голода девяти миллионов детей» (*Вор. ком.* 1921. 26 авг. С. 1), в том числе и о голоде в Воронежской губернии: «...население побирается; одно село ищет хлеба в другом, но напрасно — его нет и, проехав в поисках кусочков несколько дней, люди возвращаются с пустыми сумками. Такие села, как Нельжа Усманского уезда, и Пчелиное за Рамонью, а также и другие наполовину опустели, и избы стоят заколоченные. Население бежит или на юг, или переселяется в Сибирь. Сваленное голодом в кучи, лежит оно на вокзалах, ожидая движения, цепляется на подножки буферов, срывается и давится колесами...» (*Милицина Е.* На помощь деревне! // *Трудовой клич*. 1921. 22 апр. С. 4).

...увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздаёт отваливающимися кусками его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам. — Ср. сон Москвы Честновой из романа «Счастливая Москва»: «Она бежала по улице, где жили животные и люди, — животные отрывали от нее куски тела и съедали их <...> туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости, — тогда и эти кости начали обламывать попутные дети. <...> Она упала на жесткие камни, и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью» (*Платонов А.* Счастливая Москва // *НМ*. 1991. № 9. С. 42. Отмечено Е.А. Яблоковым; см.: *Яблоков*. С. 318).

Возможно, связь с голодом и людоедством в Советской России; см. сообщения о Богучарском уезде: «В уезде участились случаи людоедства. Так, в селе Бычок умер в одной семье мальчик. Его родные отрезали часть еще не остывшего трупа и утолили голод» (*Вор. ком.* 1922. Июнь. Цит. по: *Романов Е.* Богучарский коммунизм Андрея Платонова. С. 39–40).

С. 264. *Другой прочий приходил интересоваться советской звездой: почему она теперь главный знак на человеке, а не крест и не кружок? Такого Четурный отсылал за справкой к Прокофию, а тот объяснял, что красная звезда обозначает пять материков земли, соединенных в одно руководство и окрашенных кровью жизни.* — Красная звезда — один из первых советских символов, возникший в период весны–осени 1918 г. как эмблема регулярной Красной армии. Впервые о красной звезде упоминалось в газете «Известия» от 19 апреля 1918 г. В разделе «Хроника» сообщалось, что Комиссариатом по военным делам утверждён чертеж нагрудного знака для воинов Красной армии в виде красной звезды с золотистым изображением плуга и молота в центре. Знак имел символический смысл: конфигурация его, пентаграмма, воплощала в себе древнейший символ защиты; плуг и молот читались как союз рабочих и крестьян; красный цвет олицетворял революцию и бога войны Марса. При официальном утверждении приказом Наркомвоена

Республики № 321 от 7 мая 1918 г. эмблема получила наименование «марсова звезда с плугом и молотом», было объявлено, что данный знак «есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии».

Точно назвать имя автора символа сложно. По воспоминаниям Е.М. Ярославского, первоначально один из комиссаров Московского военного округа, Н.А. Полянский, предложил «кидею пятиконечной звезды с помещенными на ней изображениями молота, плуга и книги как символов труда, деревни и интеллигенции». Рисунок получился перегруженным и плохо читался. Другие источники автором символа называют члена Всероссийской коллегии по организации и управлению РККА К.С. Еремеева.

Многие символические детали эмблемы вызывали в первые пореволюционные годы естественные вопросы. Первоначально звезда изображалась одним лучом вниз и двумя лучами вверх; см., напр., изображение звезды художником В.В. Денисовым на ордене «Красное Знамя» РСФСР, учрежденном 16 сентября 1918 г. декретом ВЦИК; плакат Д.С. Моора «Советская Россия — осажденный лагерь. Все на оборону» (1919) и др. Два луча вверх вызывали у людей ассоциацию с рогами дьявола, и звезду стали называть «знак антихриста». Для разъяснения символики красной звезды военный отдел ВЦИК в конце 1918 г. выпустил массовым тиражом специальную листовку «Смотри, Товарищ! Вот Красная Звезда», где звезда была изображена двумя лучами вниз и одним вверх и давалось объяснение: «...на красноармейской звезде изображены серп и молот. <...> Это значит, что Красная армия борется за то, чтобы звезда правды светила пахарю-мужику и молотобойцу-рабочему, чтобы для них была воля и доля, отдых и хлеб, а не одна только нужда, нищета и непрерывная работа»; «...пять лучей, стянутые воедино, — это символ союза трудящихся всех пяти континентов Земли в борьбе против капитала. <...> ...сами лучи над земным шаром — это символ коммунизма, светлого будущего человечества». На листовке также помещалась «Приitchа о Правде и Кривде»: «...жили когда-то две сестры — Правда и Кривда. <...> И пока во лбу у Правды горела красная звезда, всем людям светло было на Земле. Но Кривда украла звезду и решила ее разбить. <...> Да ничего не вышло! Большая звезда Правды разлетелась на маленькие звезды, и каждому, кто боролся за правду, досталась одна». Завершалась листовка призывом: «Все под Красную Звезду, товарищи!» Не всем понятен был и образ Марса. Д. Бедный в стихотворении «Под Самарой» (1918), как бы разъясняя, писал: «Не Марс нам светит с вышины, / Не кровожадный бог войны, — / Не ради подлых барышей / Попов, дворян и торгашей, / Сомкнув ряды, мы в бой идем: / Мы бой с насилем ведем! // Как в чистом поле алый мак, / Наш боевой сверкает знак, / Свидетель связи вековой / Семьи всемирной, трудовой, / Символ победного труда — Красноармейская звезда!» К концу 1918 г. приказом по флоту и морскому ведомству № 773 от 18 ноября, подписанным членом коллегии Народного комиссариата по морским делам РСФСР и членом РВСР Ф.Ф. Раскольниковым, обязательное ношение значка-кокарды было распространено и на Военно-морской флот (информация дается по следующим изданиям: *Ляшенко М.* Рассказы о Советском гербе. М., 1967. С. 55–58; *Черников Н.* Наша красная звезда. М., 1987. С. 5–11; *Борисов В.А.* Нагрудные знаки Советских Вооруженных Сил. 1918–1991. СПб., 1994. С. 14).

Благовест — церковный звон одним большим колоколом, извещающий православных христиан о начале богослужения. Благовест «не только оповещает о времени службы, но и подготавливает христиан к ней: общепризнано то благодатное действие, которое он оказывает на душу. <...> Он собственно есть уже самое богослужение, совершаемое звуками музыки. <...> Церковный устав знает следующие виды благовеста: праздничный, воскресный, будничный трех степеней торжественности, постный и похоронный» (*Скабалланович М. Толковый типикон. Вып. 2. Киев, 1913. С. 6, 10*).

С. 265. *Звонарь заиграл на колоколах чевенгурской церкви пасхальную заутреню, — «Интернационала» он сыграть не мог, хотя и был по роду пролетарием, а звонарем — лишь по одной из прошлых профессий.* — По типу колокольного звона (благовест, праздничный трезвон, погребальный перезвон) речь идет о праздничном трезвоне (наименование от трех ударов при участии нескольких колоколов). В Пасху, в знак особого величия праздника, трезвон (выражение ликования, радости) продолжается целый день; пасхальный звон называется красным звоном. В своей основе и пафосе не только слова, но и мелодия «Интернационала» противоположны «пасхальной заутрене». Не исключено, что Платонов слышал об опыте сделать исполнение гимна страны «Интернационала», если не подобием «пасхальной заутрени», то неким ее аналогом. В 1926 г. в печати сообщалось, что знаменитые куранты Петропавловской крепости, ранее исполнявшие «Коль славен наш Господь в Сионе»» (гимн императорской России конца XVIII — начала XIX в., до 1830-х гг., когда был принят новый гимн, «Боже царя храни»), освоили мелодию «Интернационала». Рассказывалось, что для колокольни Петропавловской крепости Петром I «были выписаны из Голландии знаменитые куранты (часы с музыкой)», которые «раньше ежечасно выбивали “Коль славен”. <...> И вот на днях, в 12 часов дня, эти старые куранты впервые запели новую песнь — пролетарский гимн — “Интернационал”» (Интернационал на Петропавловских курантах // *Экран. 1926. № 26. 11 июня. С. 11. Б.п.*). Подробно об общекультурном и литературном контексте темы колокольного звона в романе «Чевенгур» см.: *Корниенко Н.В. «Сказано русским языком...» Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. С. 110–120.*

С. 266. *...нашел в шкафу просвирни сосуд с кутьей... — Просвирня — женщина, занимающаяся выпечкой просвир. Кутья — кушанье, представляющее собой сладкую кашу из риса, пшеницы или другой крупы с медом и с изюмом, которую по обычаю едят на похоронах или поминках.*

С. 269. *Саша, — сказал Гонпер, — здесь я никакого ремесла не вижу, рабочему человеку нет смысла тут жить.* — См. в статье «Будущий Октябрь» (1920): «Производство — вот истинное тело коммунистического общества, и организация производства есть организация коммунистического общества. Производство же основано на труде всех. Значит, труд — главный, решающий, универсальный момент жизни коммунистического общества и производство — основная цель этого общества» (*Сочинения, 1(2). С. 107*).

С. 276–278. *Отчего нам так хорошо, а неудобно? ~ И голоса двоих людей смолкли... —* Диалог Прокофия и Саши отсылает к мировоззренческому спору Ивана и Алеши Карамазовых и ключевому философскому эпизоду романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» — легенде-притче о Великом инкви-

зитор; см.: «Разговор между двумя братьями, между апостолом и реалистом, ищущим возможность пожать плоды новой религии, повторяет мысли, изложенные в поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе». Исследователь подчеркивает, что слова Великого инквизитора о свободе и счастье людей в романе «Чевенгур» почти дословно повторяет Прокофий («Они будут довольны. Они привыкли к горю, оно им легко, дадим пока им мало, и они будут любить нас»). Философия героя основана на убеждении в необходимости «уменьшить постепенно человека» (*Геллер М.* Андрей Платонов в поисках счастья. М., 1999. С. 243–244). См. в статье «Пушкин и Горький» (1937): «...словно народ, по мнению Инквизитора из легенды Достоевского — нуждается, как животное, лишь в покое и хлебе насущном; точно одним хлебным клейстером элементарной нужды можно склеить всемирное счастье...»

С. 279. *Когда-то, в молодости лет, Гопнер работал на ремонте магистралей англо-индийского телеграфа...* — Речь идет о телеграфной линии Лондон — Калькутта, протяженностью 11 тыс. км, которая была введена в действие в 1870 г. и проработала до 1931 г. Линия проходила по территории Российской империи, через города: Варшава — Одесса — Симферополь — Керчь — Краснодар — Сочи — Сухуми — Тбилиси — Ереван.

У Дванова заболел живот: с ним всегда это повторялось, когда он думал о дальних, недостижимых краях, прозванных влекущими певучими именами — Индия, Океания, Таити и острова Уединения, что стоят среди синего океана, опираясь на его коралловое дно. — Океания — крупнейшее в мире скопление островов (около 10 тыс.) в центральной и южной части Тихого океана. Общая площадь — 1,26 млн км². Самые крупные острова: Новая Гвинея, остров Южный и остров Северный Новой Зеландии. Название вошло в обиход в 1830-е гг. В начале XX в. острова Океании, населенные папуасами и малайским племенем, считались владениями Великобритании, Франции, Германии и США.

Таити — вулканический остров в Тихом океане, самый крупный в группе островов Товарищества, площадь — 1042 км². Владения Франции.

Остров Уединения — небольшой остров в Карском море, между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей. Открыт и назван в 1878 г. норвежским капитаном-зверобоем Э. Йоганнесеном. С 1915 г. входил в состав Российской империи.

С. 282. *В старое время через Чевенгур проходили цыгане и какие-то уроды и арапы...* — *Арапы* — в дореволюционной России выделяли «черных арапов» — негров и «белых арапов» — белокожих представителей Аравии.

С. 283. *Чохом* — целиком.

С. 285. *Самосуйка* — см. в рассказе Платонова «Сампо» (1943), герой которого «устроил от электричества маленькую машину-самосуйку, чтобы она качала потихоньку колыбель ребенка, а мать не трудилась и дремала возле него».

С. 293. *...он решил устроить в долине балки искусственное орошение, чтобы будущим летом, по мере засухи и надобности, покрывать влагой долину и помогать расти питательным злакам и травам.* ~ Дванов и Пиюся принесли лопаты и начали рыть канаву для отвода воды из ручья, чтобы можно было строчить плотину на сухом месте. — Автобиографическая деталь, см. статьи 1921–1922 гг.: «Гидрофикация (Система орошения полей посредством рек)» (*Антонова*. С. 562–569), «Жизнь до конца» (*Сочинения*, 1(2). С. 180–183),

«Еще о гидрофикации (Ответ А.С.А. и на безымянное письмо)» (Антонова. С. 570–571).

С. 296. *Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом. ~ Он любил женщин и будущее и не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти.* — Об индивидуализме как одном из проявлений буржуазных настроений в среде коммунистов см. в статье «Коммунист принадлежит будущему» (1921), ставшей откликом Платонова на события в партийной жизни Воронежа конца июня — июля 1921 г., когда некоторые из коммунистов, мобилизованных для проведения в уездах «продразверстки по-мирному», категорически отказались подчиниться распоряжению партии (см. примеч. к статье: *Сочинения*, 1(2). С. 373–376): «И ради чего? Ради сегодня — или материального, или интеллектуального мещанского сегодня. <...> Это не коммунист, а мещанин, индивидуалист. <...> Настоящий случай лишний раз говорит нам, что в нашей партии есть не только слабые, усталые товарищи, это было бы полбеды, это было бы естественно в той тяжелой обстановке, в которой мы живем, но это говорит нам за то, что в наших рядах есть достаточное количество чистокровных лавочников. <...>...испытания для наших членов для очищения и для поднятия морального их уровня в настоящей обстановке крайне необходимы <...> Для этой цели на очереди должна стать и переброска по возможности всех оторвавшихся от непосредственной связи с рабочим коллективом в мастерские и заводы и, в первую очередь, конечно тех, кто наиболее подозрителен по индивидуализму, по отрыву от пролетарской психологии (у некоторых ее и следов нет)» (Там же. С. 174–175).

Недавно Сербинов возвратился с обследования социалистического строительства в далеких открытых равнинах советской страны. Четыре месяца он медленно ездил в глубокой, природной тишине провинции. Сербинов сидел в уиках, помогая тамошним большевикам стронуть жизнь мужика с ее дворового корня, и читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях. Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше в глубь советов... — Результатом критики, звучавшей со стороны «рабочей оппозиции» в адрес партии, оторвавшейся от масс, стал ряд решений и резолюций X съезда РКП(б). В частности, решение «центральных работников обязать не менее двух раз в год выезжать на места». «Особое внимание» обращалось на «положение московской организации. Ввиду наличия большого количества ответственных как советских, так и партийных работников в Москве», ЦК совместно с МК РКП(б) поручалось «сделать переброску этих работников в провинцию» (Очередные задачи партийного строительства. Резолюция Воронежской конференции РКП. Воронеж, 1921. С. 9–10).

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — писатель, публицист. Крестьянской жизни посвящены циклы очерков Успенского 1870 – начала 1880-х гг.: «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли». Наибольшую известность имела книга Успенского «Власть земли» (1882), где автор раскрывал крестьянскую психологию и показывал народный деревенский быт; см. вступ. статью, с. 576–577 наст. изд. Большевики рассматривали эту книгу как средство агитации крестьян против подчинения «власти земли», переиздавая ее с соответствующими разъяснениями: «“Власть земли” Глеба Успенского в значительной степени является произведением, ценным и теперь,

поскольку крестьянство еще не располагает достаточными производительными силами и высокой техникой. <...> Нет своей воли, а есть веление земли — вот то начало, которое открыл Г. Успенский. <...> Случайности в действиях природы не создают уверенности в результатах своего труда, а эта неуверенность толкает его в церковь поклониться небесному богу. <...> Но этот стихийный быт крестьянина меняется по мере того, как создается смычка города с деревней <...> Применение высокой техники в крестьянском труде освобождает крестьянина из-под власти стихийных сил природы. <...> Писатель Успенский не сделал из своих положений всех тех выводов, которые впоследствии сделала революционная партия пролетариата. <...> Диктатура пролетариата уже сейчас значительно перевоспитала крестьянские массы. Современное крестьянство — это уже не то загнанное крестьянство, над которым тяготеет власть земли. Это новый класс, свободный и активный, проникнутый духом советской общественности» (Предисловие // *Успенский Г. Власть земли*. М., 1926. Библиотечка революционных приключений. № 24. С. 3–4. Подпись: З.А.). В 1927 г. отмечалось 25-летие со дня смерти Г. Успенского, посвященные писателю материалы периодики раскрывали его близость революции; см.: Успенский «не чистый народник-идеалист. <...> Свое философское мировоззрение Глеб Успенский усвоил от Чернышевского», который, в свою очередь, «удивительно близко подходил к доктрине Маркса. <...> Чернышевский тотчас же отказался от своей крестьянской утопии и славянофильских тенденций, как только обнаружилось, что и России не избежать “купонного строя”» (*Войтоловский Л. Трагедия Глеба Успенского* (к 25-летию со дня смерти) // *Звезда*. 1927. № 9. С. 148–149).

С. 297. *Вчера Сербинов был на симфоническом концерте; музыка пела о прекрасном человеке...* — В начале 1920-х гг. идеологами новой власти приветствовалась и рекомендовалась к исполнению музыка революционная, героическая, музыка борьбы. В очерке «В.И. Ленин» (1924) А.М. Горький приводит известное высказывание вождя о сонате Л. ван Бетховена: «Ничего не знаю лучше “Apassionata”, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди» (*Горький А.М. Полн. собр. соч.* Т. 20. М., 1974. С. 42). Возможно, и Сербинов слушает Бетховена, музыка которого повсеместно исполнялась на симфонических концертах в Советской России. О бетховенском контексте данного эпизода 1921 г., когда широко отмечался 150-летний юбилей композитора, см.: «Признание этого имени было абсолютным с первых дней революции. Концерты музыки Бетховена в Москве 1921 г. были одним из главных музыкальных событий этого года: “Республика чтит Бетховена. Невиданные и неслыханные прежде циклы симфоний, хотя бы далеко не всегда в нужном стиле переданные, обильное количество разнообразнейших „бетховенских” концертов. Как же иначе? Кто же из современных композиторов чистой музыки более современен, чем Бетховен?» (*Красный труд*. 1921. 27 апр. С. 4). <...> Музыка Бетховена сопровождается у Платонова всех его “новых людей” — Валю, невесту Егора Кирпичникова (“Эфирный тракт”), Николая Вермо (“Ювенильное море”), Москву Честнову (“Счастливая Москва”)) (*Корниенко Н.В. Песенно-музыкальные сюжеты у Платонова* (Литературные и иные контексты) // *Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы*. СПб., 2004. С. 115–116)

Симфоническую музыку создавали и советские композиторы; см., напр.: «Москва. <...> Мясковский работает в настоящее время над своей шестой симфонией. <...> Евсеев закончил свою симфонию, Гедике написал третью симфонию» (Хроника // Искусство. Киев, 1922. № 9–10. Июнь. С. 11). Продолжателем Бетховена, своего «симфонического предка» (Нотографические заметки // Советская музыка. 1925. № 8. С. 45), и «крупнейшим симфонистом нашей современности» (Там же. С. 36) считался в начале 1920-х гг. композитор Н.Я. Мясковский (1881–1950). В 1918 г. он приезжает в Москву, активно участвует в городской музыкальной жизни, в 1919 г. становится членом правления «Коллектива московских композиторов», в 1921 г. — заместителем Заведующего Музыкальным отделом Наркомпроса. Пятая симфония Мясковского была впервые исполнена в 1920 г. и с этого времени включалась в программы концертов. Сербинов мог слушать и эту музыку, о которой писали: «В ощущении пафоса музыки Мясковского мы нашли путь к пониманию его творчества; в понимании жизненности его истоков мы найдем возможность проникновения в его глубинную сущность, которая может быть выражена в одном слове: *человечность*. Никто, как Мясковский, не выражает сейчас в своем творчестве так глубоко этой идеи и никто, как он, так мучительно ее не переживает. Быть человеком можно только через *самопознание* и через *познание*. Нужно познать человека в себе и нужно научиться познавать его в других. <...> ...в этом стремлении залог его [творчества] жизненности и значимости» (Беляев В. Мясковский, Гедике, Александров // Там же. 1925. № 8. С. 23).

С. 300. *...еле зацветишие растения они от сомнения вырвали прочь и засеяли почву мелкими злаками бюрократизма; сад требует заботы и долгого ожидания плодов, а злак поспевает враз, и на его ращение не нужно ни труда, ни затраты души на терпение. И после снесенного сада революции его поляны были отданы под сплошной саморастущий злак, чтобы кормиться всем без мучения труда.* — Отклик на одну из масштабных кампаний 1926–1927 гг. по борьбе с бюрократизмом; подробно см. примеч. к повести «Город Градов» (Сочинения, 2. С. 574–575), наброску «Административное естествознание» (Там же. С. 817–819), сценарию «Надлежащие мероприятия» (Там же. С. 826–828).

См. также в статье «О бюрократизме» (1920): «Бюрократизм — язва на здоровом теле нашей республики и ее нужно вскрыть, чтобы дать выход дряни, которая может отравить весь организм, вызвать в нем новые разрушительные процессы. Недаром на повестку дня VIII Всероссийского съезда Советов поставлен вопрос о борьбе с бюрократизмом и волокитой в связи с вопросами о восстановлении транспорта, промышленности и хозяйства страны, — одним словом — экономического возрождения Советской России. И кажется, так во время поднимался этот вопрос: пора отказаться от наследия злых, старых времен, проветрить нашу огромную советскую канцелярию, вымести из нее съедающий всякую инициативу сор. <...> Соответствующие декреты относительно борьбы за упрощение нашего канцелярского аппарата, переписки, отношения учреждений друг к другу были изданы, но не были восприняты нами, не были всосаны в кровь. Теперь дело дошло до авторитетнейшего органа советской власти — съезда Советов» (О бюрократизме // *Вор. ком.* 1920. 5 ноября. С. 1. Б.п. По предположению Е.В. Антоновой, статья написана Платоновым; см. *Антонова*. С. 719). Мысли Платонова об истоках советского бюрократизма, о том, что в

его появлении повинны не люди труда, отчасти созвучны здесь размышлениям Ленина «о возрождении бюрократизма в нашем советском государстве», о «корнях, его питающих»: «Раньше всего должны быть улучшены условия жизни, <...> чтобы сотни тысяч и миллионы трудящихся прошли школу Рабоче-крестьянской инспекции и научились управлять государством (ведь нас этому никто не учил), чтобы они могли заменить сотни тысяч буржуазных бюрократов. <...> Вопрос о борьбе с бюрократизмом особенно остро стоит именно в Москве. <...> Бюрократизм советского аппарата не мог не проникнуть в аппарат партийный. <...> Борьбу с этим злом в настоящее время можно и должно ставить в порядок дня...» (Ленин В.И. Доклад на общем собрании коммунистов Замошворечья 29 ноября 1920 г. Краткий газетный отчет // Ленин. ПСС, 42. С. 48).

Утром он сходил в комитет партии и получил командировку в далекую губернию, чтобы исследовать там факт сокращения посевной площади на 20 процентов... — После окончания Гражданской войны начинается кампания по учету посевных площадей, которые за период военного коммунизма сильно сократились. 30 декабря 1920 г. принимается постановление СНК «Об увеличении посевной площади» (*Декреты Советской власти*. Т. 8. С. 62–64). Власти регионов принимали в это время соответствующие резолюции; см., напр., пункт 3 в резолюции майского Пленума Губисполкома Воронежской губернии: «Организовать точный учет посевной площади» (*Трудовой клич*. 1921. 13 мая. С. 2).

С. 300–306. *Сербинов попал на усадьбу, застроенную старыми домами пополам с новыми. ~ В окно виднелась все та же оплывшая Москва-река... ~ Внизу ехали телеги и автомобили и, притаившись, тихо благовестила осиротевшая церквушка.* — Отклик на тему «старой» и «новой» Москвы, представленную в 1910–1920-е гг. в поэзии М. Цветаевой («Стихи о Москве», «Лебединый стан»), С. Есенина («Москва кабацкая»), В. Маяковского («Две Москвы», «Хорошо»), прозе А. Ремизова («Взвихренная Русь»), А. Белого («Крещеный Китаец», «Москва»), Б. Пильняка («Повесть непогашенной луны»), Л. Леонова («Барсуки», «Вор»), А. Мариенгофа («Циники»); во многих произведениях московские сюжеты тесно связаны с петербургским мифом русской литературы (подробно см.: *Корниенко Н.В.* Москва во времени (Имя Петербурга и Москвы в русской литературе 10–30-х гг. XX в.) // Москва в русской и мировой литературе. Сборник статей. М., 2000. С. 225–231). Ср., напр., описание окраины Москвы — Благуши в романе Л. Леонова «Вор»: «Москва тишала тут, как-то смиренно оседала, а в этот предполдненный час окраины усугублялись еще и сосредоточенностью труда. <...> Гражданин <...> обозревал кладбищенскую соседнюю церквушку, пузатую до величественности, и приземистые людские постройки. <...> В окно к нему заглядывал несуразный какой-то клочок Москвы» (*Кр. новь*. 1927. № 1. С. 4–8).

С. 301. *...там посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверно, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии, по законам диалектического развития души, прийти к богохульству.* — Параллель отсылает к кризису новой идеологии, особенно отчетливо обозначившемуся в середине 1920-х гг. в комсомольско-молодежной среде; подробно см.: *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной критики. М., 2010. С. 217–274). См. также примеч. к с. 199 наст. изд.

Рабфаковец — учащийся рабочего факультета — учебного заведения для подготовки рабочей и крестьянской молодежи к обучению в высших учебных заведениях. 2 августа 1918 г. Лениным был подписан «Декрет о правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР», который давал возможность трудящимся поступать в вузы без экзаменов и отменил плату за обучение: «На первое место, безусловно, должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии» (*Декреты Советской власти*. Т. 3. С. 140). Однако первый же год обучения показал многочисленным красноармейцам и рабочим, что обучаться в вузах без подготовки не просто. В результате 11 сентября 1919 г. было принято постановление коллегии отдела высшей школы «Об организации рабочих факультетов при университетах». Так как «препятствием для учебы в университете служит недостаточная подготовленность пролетарских масс к занятиям в стенах высшей школы, особенно по предметам точного знания (физике, математике, химии)», было постановлено «открыть при университетах подготовительные курсы, как автономные учебно-вспомогательные учреждения, имеющие целью подготовить в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшую школу». Слушатели рабфаков «пользовались всеми правами студентов высшего учебного заведения и пользовались социальным обеспечением». Учиться на рабфаке могли «рабочие и крестьяне, представившие удостоверение от фабричного комитета или от коммунистической ячейки, что принадлежат к классу рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда, и что стоят на платформе Советской власти» (*Известия*. 1919. 11 сент. С. 3).

Догматы вселенских соборов — признанные непогрешимыми решения Вселенских соборов — собраний епископов, созванных от лица всей церкви для разрешения вопросов об истинах вероучения и признанные всей церковью в качестве источников. Догматы принимаются по вопросам вероучения, законодательства и церковной дисциплины. Традиция обсуждать важнейшие вопросы на принципах соборности была заложена апостолами в ранней церкви (Деян. 15: 28).

С. 302–303. ...*Софья Александровна была чистильщицей машин на Трехгорной мануфактуре...* — *Трехгорная мануфактура* — старейшее текстильное предприятие в Москве, ситценабивная фабрика, созданная в 1799 г. купцами В.И. Прохоровым и Ф.И. Резановым, с 1874 г. — «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры». После революции фабрика была национализирована, возобновила производство в 1920 г.

С. 306. *В шесть часов утра к ней заходил мальчик-газетчик, просовывал под дверь «Рабочую газету»...* — «*Рабочая газета*» — ежедневная массовая газета, орган ЦК ВКП(б). В 1921 г. Софья Александровна не могла читать «Рабочую газету», которая выходила с 1922 по 1932 г. в Москве.

С. 312. *Гоннер и Дванов обещали вскоре сделать в Чевенгуре электричество...* — Автобиографическая деталь, подробно о работе Платонова по электрификации Воронежской губернии в первой половине 1920-х гг. см.: *Антонова*. С. 368–454. Вопросам электрификации посвящены статьи: «Электрификация» (1920), «Электрификация деревень» (1921), «Электрические воздушные линии» (1922), «О работе по электрификации сельского хозяйства в Воронежской губернии» (1924) и др.

С. 314. ...*тройка лошадей вывезла наружу экипаж и уездной рысью затороплась в Чевенгур*. — Отсылка к знаменитому эпизоду поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». См. также в эссе «Душа человека — неприличное животное» (1921): «Мертвые души в советской бричке. Едет советская бричка. В ней солидный мужчина, разбрюзгшая на вороватых харчах барыня, кучер и кобелек. Это едут по всем мостовым, улицам и переулкам мертвые души в советских бричках. Едут и едут, никак не доедут. А ведь доедут — придет время. Доедут до рабочего ада, и им там воткнут железный шток сквозь пупок. Мечутся мертвые тени в живых городах, и ждут они страшного суда, рабочей расправы» (*Сочинения*, 1(2). С. 169).

С. 318. *Два товарища сошлись в кузнице...* — После окончания Гражданской войны закрытые кузницы открывались вновь; см., напр.: «Епифанским Совнархозом начато оборудование в уезде 16 слесарных мастерских и кузниц. Спешно разосланы по уезду организаторы дела, берется на учет весь имеющийся на местах слесарный и кузнечный инвентарь, а также все специалисты в этой области. Частные мастерские и кузницы будут открыты» (*Красные кузницы // Кр. дер.* 1921. 27 янв. С. 1. Б.п.).

Дванов выдумал изобретение: обращать солнечный свет в электричество. ~ Прибор уже был готов два дня назад, но электричества из него не произошло. — Речь идет о приборе, над изобретением которого работал сам Платонов, — фотоэлектромагнитном резонаторе-трансформаторе. Прибор упоминается в рассказах «Невозможное» (1921), «Сатана мысли» (1921), «Приключения Баклажанова» (1922), «Потомки солнца» (1922), в статьях; подробно см. примеч. к рассказу «Невозможное» (*Сочинения*, 1(1). С. 581–582).

С. 321. ...*вдалеке заиграла гармоника веселую и боевую песню, судя по мелодии — вроде «Яблочка», но — гораздо искуснее и ощутительнее, какой-то неизвестный Сербинову большевистский фокстрот*. ~ гармоника, находясь в надежных руках, тоже не уменьшала звуков, а нагнетала их все чаще и призывала население к жизни в одно место. — Отклик на широкое обсуждение в периодике 1926–1928-х гг. места и роли народной гармоники в идущей в стране культурной революции. В середине 1920-х гг. было принято решение использовать гармонию «как мощное средство воздействия в культурной работе среди широких масс» (Прожектор. 1926. № 26. С. 23); на повестку дня стал вопрос о старом и новом репертуаре для гармоники, по всей стране организовывались конкурсы гармонистов, газеты и тонкие журналы сообщали, что новые гармонисты исполняют не только старые, привычные для гармоники мелодии (страдания, плясовые, частушки, знаменитое «Яблочко», старые деревенские песни), но революционную и классическую музыку. Подробно о литературных и культурных контекстах данного эпизода и образа гармоники в романе «Чевенгур» см.: *Корниенко Н.В.* Песенно-музыкальные сюжеты у Платонова // *Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы*. Кн. 3. СПб., 2004. С. 107–118).

Яблочко — см. примеч. к с. 77 наст. изд. *Большевистский фокстрот* — оксюморон: фокстрот в 1920-е гг. считался буржуазным танцем. В журнале «Жизнь искусства» сообщение о том, что «Париж увлекается “фокс-тротом”», было снабжено карикатурой на танцующих (Жизнь искусства. 1920. 18 июня. № 481. С. 1). «Новым видом порнографии» фокстрот был назван через несколько лет: «Европейская буржуазия выдумала новый вид порнографии — это

нынешний танец “фокстрот”. Фокстрот пользуется колоссальным успехом на сценах европейских театров, шансонов, кабаре и ресторанов...» В Советской России «вначале танец фокстрот и различные танго исполнялись лишь в стенах наших ресторанов, теперь они проникли в театры <...> ...эти никому не нужные танцы у нас не только заражают молодежь, но они приносят колоссальный вред нашему театральному делу и культурно-просветительным организациям». Нужно «воспретить исполнение этих безобразных танцев» (*Адонц Г.* Новый вид порнографии. Танец фокстрот // Там же. 1923. 18 сент. № 37. С. 1–2).

С. 322. ...они революцией не кормятся, у них сорганизовалась контрреволюция, и над степью дуют уже вихри враждебные, одни мы остались с честью... — ...вихри враждебные... — Слова из известной революционной песни «Варшавянка»: «Вихри враждебные веют над нами...» (музыка народная, слова В. Свенцицкого, русский текст Г. Кржижановского). Название «Варшавянка» закрепилось за песней после первомайской демонстрации 1905 г. в Варшаве.

С. 328. ...смуглая, как дочь печенега. — Печенеги — союз кочевых племен, сложившийся предположительно в VIII–IX вв.

С. 331. ...стоял на земле глиняный памятник Прокофию... — Отсылка к плану монументальной пропаганды, см. примеч. к с. 115, 164 наст. изд. Новые памятники революционным деятелям первоначально делались из глины и других легких материалов, в случае если памятник был удачным, его затем предполагалось отлить из бронзы.

Памятник Прокофию был похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофия, и Чепурного одинаково хорошо. — Далеко не все новые памятники были удачными, очень часто сходство с оригиналом в них ставилось под сомнение; см., напр., описание новых памятников в Москве: «...плохим с точки зрения монументальной пропаганды мы считаем бюст Радищева на Триумфальной площади. Большой сатиры на первого республиканца и пламенного врага “крещеной собственности”, чем изобразить его в виде жеманного маркиза XVIII столетия, мы не можем и представить. И недаром простодушный московский обыватель окрестил его Екатериной III. Гейне, — мы вспоминаем, что великий автор “Книги песен” был другом нашего учителя Маркса и одним из наиболее крупных представителей “Молодой Германии”. Сатирик, едкий сатирик Гейне был всегда созвучен нашим мыслям и чувствам. А что же мы видим в Нарышкинском сквере? Какой-то расслабленный, у которого головка виснет, что по идее должно было изобразить, очевидно, грезы. Нет, не такого Гейне любит пролетарий! Кольцов и Никитин — первые народные поэты, оба воронежцы и оба прасолы, их статуи стоят в сквере у Китай-города. По замыслу, — передать непосредственную наивность Кольцова и задавленность раздвоенной личности Никитина — недурны, но исполнение детское, особенно Никитина. <...> ...ужасающ Маркс у Первого Дома Советов, которого, точно елочного деда, еще покрыли золотой краской, — Маркс и золото — странное сочетание» (*Кривцов Ст.* Новые памятники // Искусство. 1919. № 6 (10). С. 8). На этом фоне удачных было немного: «Вот “батько” Тарас, которому Советская Россия ставит памятник, хотя и воюет с немецкими и прочими самостийниками... <...> Удачно передано настроение этого крепостного певца, украинского крестьянина, с его грустью о настоящем и идеализацией прошлой воли...» (Там же).

С. 335. *Копенкин подходил издали с бревном поперек плеча, а зади бревно поддерживал Сербинов — неумело и на восьмую веса, как интеллигент.* — Возможно, ироническая отсылка к картине М. Соколова «В.И. Ленин на субботнике в Кремле 1 мая 1920 г.» (1927), запечатлевшей участие Ленина во Всероссийском субботнике.

С. 337. *Казаки! Кадеты на лошадях!* — Названы две силы, наиболее враждебные чевенгурцам и в целом идеологии пролетарского государства; в советской пропаганде 1920-х гг. утверждалось, что те и другие являются оплотом монархии, орудием контрреволюции и защитниками старых порядков. О казаках см. примеч. к с. 55, о кадетах — примеч. к с. 195 наст. изд. Ср. с финалом повести «Ямская слобода»: «...Игнат Порфирыч меня дожидается... Кадеты поперли насмерть — насилиу допросился в губернии подмоги. <...> Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали» (*Сочинения*, 2. С. 250–251).

ПЛАНЫ. РЕДАКЦИИ

КРАТКИЙ ПЛАН РОМАНА «ЗРЕЮЩАЯ ЗВЕЗДА» (с. 345). — Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1995. С. 241–243. Публикация Е.И. Колесниковой.

Датируется июнем 1927 г.

Печатается по автографу (*ИРЛИ*. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1–2).

СТРОИТЕЛИ СТРАНЫ (с. 348). — *Архив*, 2. С. 72–278 (в составе динамической транскрипции рукописи романа «Чевенгур»). Подготовка текста Н.В. Корниенко.

Датируется июнем — сентябрем 1927 г.

Печатается по автографу (*ИРЛИ*. Ф. 780. Ед. хр. 34. Л. 41–157а; *ИМЛИ*. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 4–109 об.).

Автограф первой редакции сохранился в составе *СР* (*ИРЛИ*) и отдельными листами, не вошедшими в *СР* (подробно об истории текста см. вступит. статью, с. 550–562 наст. изд.).

В ходе работы над новой редакцией были утрачены полностью или частично деформированы первые шесть страниц первой редакции; первые две страницы замещаются текстом, известным как письмо Марии Александровне 1922 г., остальные — сохранившимися фрагментами страниц 3–6. С учетом того что страницы «письма» не принадлежат автографу, они выделяются как внешняя вставка и заключены в рамку. Так же оформляется отсутствующая в автографе вставка, о которой имеется помета в автографе.

В постраничных примечаниях даются различные пояснения к автографу, приводятся предваряющие текст авторские записи и пометы на полях.

Неразборчивые места автографа в несколько слов обозначаются в тексте записями <1–2 сл. нрзб>, утраченные слова — записью <утрач.>. Предлагаемые варианты частей слова или пропущенного слова (это чаще всего относится к деформированным страницам) даются в угловых (<>) скобках. Сомнительные случаи прочтения отмечаются в тексте вопросом в скобках <?>.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ПЛАТОНОВА

- «Административное естествознание» — 701
 «Антисексус» — 632
- «Бессмертие» — 600
 «Богомольцы» — 605
 «Борьба с пустыней» — 678
 «Будущий Октябрь» — 697
- «<В окрестностях одной тюрьмы...>» — 547
 «В стране полнокровия» — см.
 «Строители страны»
 «Ветер-пахарь <2>» — 624
 «Ветер-хлебопашец» — 624
 «Вечер Некрасова в Коммунистическом университете» — 615
 «Вода — основа социалистического хозяйства (Сила речного подпертого потока как основа энергетики хозяйства будущего)» — 626
 «Вождю оппозиции» — 640, 653
 «Война» — 649
 «Воспитание коммунистов» — 624
 «Впрок (Бедняцкая хроника)» — 600, 678
 «Вселенной» — 652
 «Всероссийская колымага» — 664, 665
 «Выродки» — 679
- «Гидрофикация (Система орошения полей посредством рек)» — 698
 «Город Градов» — 558, 562, 623, 643, 649, 683
 «Город Градов (Заметки командированного)» — 558
 «Горький и его “На дне”» — 630
 «Григорий с Умственного хутора (Эпизод)» — 627
- «Да святится имя твое» — 607
 «Дайте квалифицированных мастеровых» — 606
 «Двое людей» — 547, 581, 582
 «Джан» — 580, 649
 «Дураки на периферии» — 562, 581
 «Душа мира» — 687
 «Душа человека — неприличное животное» — 704
- «Елифанские шлюзы (повесть)» — 554, 598
- «Елифанские шлюзы (либретто)» — 604
 «Еще о гидрофикации (Ответ А.С.А. и на безымянное письмо)» — 698
- «Жажда нищего (Видения истории)» — 655
 «Железная природа» — 607
 «Жизнь до конца» — 698
- «Зреющая звезда» — 29, 549, 706, 716
- «Иван Жох» — 574
- «Когда я думаю, я слышу музыку...» — 652
 «Коммунизм в материи» — 624
 «Коммунизм в сердце человека» — 570
 «Коммунист принадлежит будущему» — 698
 «Кончина Копенкина» — 546, 596
 «Котлован» — 580
 «Круговорот. Как делается “Крестьянская Радиогазета”» — 580, 581
 «Культура пролетариата» — 655
- «Луначарский» — 623, 653
 «Любовь Дванова» — 546, 581
- «Мальчик» — 604
 «Мастер-коммунист» — 694
 «Мелиоративные работы в нашей губернии» — 659
 «Московское общество потребителей литературы (МОПЛ)» — 687
- «Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине)» — 565, 566, 650, 683
 «Надлежащие мероприятия (Социальн<ая> сатира наших дней)» — 561, 565, 566, 653, 701
 «Невозможное» — 630, 704
 «Новое евангелие» — 624, 663
 «Нужная родина» — 600, 601
- «О бюрократизме» — 701
 «О Воронежской гидроэлектрической станции» — 665
 «О любви» — 550, 687

- «О работе по электрификации сельского хозяйства в Воронежской губернии» — 703
- «Областные организационно-философские очерки» — 573, 580
- «Обучение управлению» — 675
- «Общество хороших людей» — см.
- «Строители страны»
- «Однажды любившие» — 551
- «Ответ редакции “Трудовой армии” по поводу моего рассказа “Чульдик и Епишка”» — 605
- «Памяти Карла Либкнехта» — 634
- «Память» — 547
- «Первый Иван» — 598
- «Песчаная учительница (сценарий)» — 547
- «Питомник нового человека» — 550, 624
- «<По родимому краю>» — 607
- «Потомки солнца» — 704
- «Потомок рыбака» — 545, 546, 547, 581, 584, 585, 586
- «Почему мы, городские рабочие, коммунисты» — 676
- «Преходящие годы» — см.
- «Происхождение мастера (повесть)»
- «Приключение» — 546, 581, 599, 600
- «Приключения Баклажанова (Бесконечная повесть)» — 704
- «Происхождение мастера (повесть)» — 49, 545, 546, 547, 559, 561, 566, 570, 574, 583, 585, 586, 593, 598, 599, 600, 601, 716
- «Происхождение мастера (рассказ)» — 545, 547, 581, 584, 585, 595, 598, 600
- «Против халтурных судей» — 595
- «Прочие в Чевенгуре» — 547, 573, 581, 582
- «Путешествие в 1921-м году» — 546, 547, 564
- «Путь в Чевенгур» — 547, 569, 581, 672
- «Равенство в страдании» — 695
- «Разговор мастерового-металлиста с советским интеллигентом» — 606
- «Рассказ о Непачовке» — 669
- «Ребенок в Чевенгуре» — 546, 596
- «Река Воронеж, ее настоящее и будущее» — 628, 665
- «Сампо» — 698
- «Сатана мысли» — 704
- «Свет и социализм» — 678, 681
- «Семен» — 600
- «Симфония сознания (Этюды о духовной культуре современной Западной Европы)» — 576
- «Сокровенный человек» — 554, 556, 564, 597, 599, 606, 635, 655, 685
- «Сочельник коммунизма (Из повести “Чевенгур”)» — 547, 548, 569, 573, 581
- «Страна бедняков (Очерки Черноземной области)» — 625
- «Странники» — 603
- «Строители страны» — 72, 91, 545, 547, 548, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 578, 583, 623, 629, 631, 652, 655, 706, 716
- «Счастливая Москва» — 554, 564, 574, 683, 695, 700
- «Такыр» — 600, 601
- «Технический роман» — 554, 562
- «Тютень, Витютень и Протегален» — 627
- «Фро» — 600
- «Хлебные богомольцы» — 627
- «Хлебстанок» — 695
- «Че-Че-О (Областные организационно-философские очерки)» — 573, 581
- «<Чтобы стать гением будущего>» — 615
- «Электрификация» — 703
- «Электрификация деревень» — 668, 703
- «Электрические воздушные линии» — 703
- «Эфирный тракт» — 554, 576, 685, 700
- «Ювенильное море» — 700
- «Ямская слобода» — 554, 556, 557, 574, 577, 598, 599, 610, 611, 683, 706

СЛОВАРЬ ОБЛАСТНЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м, применявшаяся до введения метрической системы мер.

Атмосфера — единица измерения давления, используется в различных областях техники.

Бандаж — насадка из твердой стали (съёмное стальное кольцо) на колесную пару, основной элемент ходовой части подвижного состава.

Верста — русская единица измерения расстояния, равная 1,06 км, применявшаяся до введения метрической системы.

Втугачку — вплотную, тесно.

Вымазживать — докучливо выпрашивать, канючить, неотступно просить, вымогать.

Гуж — кожаная петля, часть конской упряжи.

Гуля — старая, изношенная верхняя одежда.

Двоешки — двойня.

Динамо — динамо-машина, посредством которой при пользовании механической работой получается электрический ток.

Досужест — умение, ловкость, способность к делу; проворство, расторопность; праздность.

Дышла — стержень прямоугольного, часто двутаврового сечения с головками для подшипников на концах, служащий для передачи усилия от паровой машины непосредственно к ведущей колесной паре паровоза, а от нее к сцепным дышлам.

Дюйм — единица измерения расстояния и длины, равная 2,54 см. В России слово было введено Петром I в начале XVIII в. Наиболее известны были английские дюймы, применяемые в науке и технике.

Жамка — скатанный, сжатый кусок чего-либо съедобного; пряник, пышка; небольшой ломтик хлеба.

Жилить — колоть, жалить, язвить.

Занетка — угол, углубление в углу русской печи, куда сгребали горячие угли, золу.

Законуть — затвердеть.

Закленки — детали, служащие для скрепления стальных листов и игольников буферного бруса, который скрепляет передние концы рамы паровоза.

Залежь — пашня, не обрабатываемая длительный период.

Калорифер — прибор для нагревания помещения горячим воздухом.

Карогод — хоровод.

Картуз — мужской головной убор с козырьком, фуражка.

Колодки — элемент тормозной системы поезда.

Колосники — колосниковая решетка, элемент топки паровоза, где лежит горящее топливо.

Колчушка — головня, головешка; обрубок дерева, деревяшка.

Контргайка — вторая гайка, навинчиваемая рядом с основной на тот же болт и препятствующая ее самоотвинчиванию.

Контрольные пробки — легкоплавкие пробки в верхней части топки (в потолке огневой коробки), которая окружена водой, служат для предохранения от перегрева: при критически низком уровне воды над потолком пробки плавятся, и через образовавшиеся отверстия вода из котла заливает топку.

Контрпар — струя пара, выпускаемая в цилиндр паровоза навстречу движущимся поршням; применяется для экстренной остановки паровоза.

Корчажка — от «корчага» — глиняный горшок, крынка.

Котма (*котьма, катма*) — быстро; катя, перекатывая, перемещать что-либо.

Коцать — бить, избивать.

Кочережка — от *кочерга* — толстый железный прут с прямо загнутым концом, служащий для перемешивания топлива в печи.

Крестовина — элемент стрелочного перевода на железной дороге, специальная желобчатая конструкция, предназначенная для безопасного пропуска гребней колес подвижного состава в местах пересечения внутренних рельсовых нитей двух путей, сходящихся на стрелочном переводе.

Кронциркуль — разновидность циркуля, измерительный чертежный прибор с двумя ножками, угол между которыми фиксируется винтом; с середины XIX в. использовался для измерения внешних размеров и деталей предметов.

Кронштейн — металлическая опорная конструкция, предназначенная для крепления на вертикальной плоскости выступающих частей сооружений.

Кутьрь — дягиль, морковник; стебли его могут использоваться в

пищу.

Курень — у казаков и в некоторых областях Украины — жилище, дом; казачий курень обычно двухэтажного типа: первый этаж, как правило хозяйственный, кирпичный, второй — деревянный, состоящий из нескольких жилых комнат и кухни.

Летось — в прошлом году, прошлым летом.

Летошний — прошлогодний.

Лодка-душегубка — узкая неустойчивая лодка.

Лупач — от *лупать глазами* — смотреть с недоумением, моргая глазами; или от *вылупиться* — уставиться на кого-то широко открытыми глазами.

Лыдки — ноги.

Межевая яма — примета на меже, знак грани между полями, разделенными по душам.

Мочажина — влажное, заболоченное, топкое место между кочек на болоте.

Мошонка — от *мошна* — большой мешок для хранения денег.

Обтирочные концы — то же, что обтирочные материалы — тряпье, ветошь, используемые для чистки.

Обтирищик — рабочий, который занимается чисткой топки, парового котла и механизмов.

Огороджа — изгородь, забор.

Окладной (дождь) — обложной, затяжной дождь, во время которого все небо обложено тучами.

Олеонафт — смазочное масло, получаемое из нефти.

Оторки — отатки стоптанной и изодранной обуви.

Отсталец — что-либо отсталое, последнее, отсталый человек, кото-

рый тащится позади последним; сирота, сиротка.

Отава — трава, отрастающая на сенокосах после первого покоса; кормовое значение отавы крестьянами обычно недооценивалось, и отава не использовалась.

Отжог — след от удара плетью, кнутом.

Отрез — то же, что обрез — винтовка с обрезанным, укороченным дулом.

Палбрица — металлическая деталь, с помощью которой мельничный жернов соединяется с вертикальным валом.

Парить — пропускать пар наружу, протекать.

Повитель — растение семейства бьюнковых.

Подхлосток — возможно, от «подхалюза» — зад человека или животного; неопрятный, неряшливый человек; лстец, подхалим; или от «подхлопать», «подхлостать» — испачкаться грязью, затаскать в грязь.

Политура — жидкость, представляющая собой 10–20%-ный раствор шеллака — природной смолы — и применяемая для отделки (полирования) изделий из дерева.

Полосовое железо — железная полоса, в поперечном сечении имеет вид прямоугольника; разновидность фасонного железа.

Поршневая скалка — часть движущего механизма паровоза; на стальную поршневую скалку насаживается диск поршня.

Приводной ремень — элемент ременной передачи, рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки и плавное соединение шкивов — колес с обо-

дом или канавкой по окружности, передающих движение приводному ремню.

Присёлок — небольшое село, расположенное возле большого села.

Пристяжка — запряжка лошадей сбоку от оглобелей для помощи коренной.

Присуха — любимый человек, зазноба; по народным поверьям, колдовство, которое привораживает через любовное зелье.

Пришабривать — от *шабрение* — технология высокоточного выравнивания поверхности изделия из металла специальным режущим инструментом (шабером).

Провянуть — просушиться, обсохнуть.

Просос — скважина, проточенная водой.

Пуд — русская мера веса, равная 16,38 кг. Употреблялась до метрической системы мер, которая была введена в качестве обязательной декретом Временного правительства от 30 апреля 1917 г.

Разновески — торговые мелкие гири для весов.

Реверсивная муфта — приспособление, позволяющее изменять направление вращения ведомого вала.

Рессорное железо — конструкционное, качественное железо или сталь, применяется для изготовления упругих элементов: пружин, рессор, мембран и др.

Рогач — ухват.

Рядно — толстый холст из конопляной или грубой льняной пряжи; мешковина, полученная из распоротого мешка.

Ряшка — лицо (*прост.*, *вульг.*).

Сажень — русская мера длины, равная 2,134 м, применявшаяся до введения метрической системы мер.

Сальник — деталь, которая плотно закрывает зазоры вокруг движущихся частей механизма и препятствует просачиванию жидкости, пара или газа.

Сатаноид — злой человек, самодур (*бран.*).

Сивальник — длинная узкая полоса ткани для обвивания младенца поверх пеленок.

Ситный хлеб — испеченный из муки, преимущественно пшеничной, просеянной через сито.

Сифонить — использовать с целью увеличения тяги в топке паровоза сифон — паровой прибор для создания разрежения в дымовой коробке.

Скат — комплект всех колесных пар на паровозе.

Спрыхвала — исподволь, потихоньку, не вдруг.

Ссыпки — сыпной пункт; устройство для сыпания зерна на мельнице; разные, сборные остатки хлеба, сыпанные вместе.

Сцепщик — железнодорожный рабочий по сцепке вагонов.

Таган — круглый железный обрuch на ножках, под которым разводят огонь, ставя на него вареву.

Тендер — вагон специальной конструкции, сцепленный с паровозом и предназначенный для хранения запасов воды, топлива и размещения вспомогательного устройства.

Тонить — истончать, делать тонким, становиться тонким.

Топыриться — стоять дыбом, ерошиться, торчать; упорствовать, упрямиться.

Тормоз Вестингауза — первая надежная автоматическая система

тормозов в железнодорожном транспорте, которая использует в работе сжатый воздух; изобретена американским инженером и промышленником Дж. Вестингаузом в 1872 г.

Угол опережения — момент воспламенения топливно-воздушной смеси внутри камер сгорания, когда поршень приближается к своей верхней мертвой точке.

Узловая станция — пункт пересечения нескольких железнодорожных линий.

Урез воды — береговая линия, линия пересечения водной поверхности водоема с поверхностью суши.

Усадистый — плотный, крепкий.

Фасонное железо — металл, оформленный в виде прямых полос с фигурным поперечным сечением, одинаковым по всей длине полосы; применялось в строительном и инженерном деле, на транспорте: из фасонного железа изготовлялись рельсы, бандажи, балки и пр.; производилось на рельсопрокатных заводах.

Фланец — деталь с отверстиями для болтов, которая служит для соединения поверхностей друг с другом.

Фураж — растительный корм для скота.

Цилиндр — компонент тормозной системы паровоза, силовой орган, преобразующий давление сжатого воздуха в механическую энергию, которая передается через тормозную рычажную передачу на тормозные колодки, прижимая их к ободу колеса или тормозным дискам.

Цопенький — от *цопкий* — цепкий, расторопный.

Чека — стержень в виде клина, вставляемый в специальное отверстие на концах осей, болтов и т. п. для удержания на них каких-либо деталей.

Червячный вал — деталь, используемая в механической червячной, или зубчато-винтовой передаче, применяющейся на грузоподъемных установках и транспорте.

Чохом — целиком.

Шайба — крепежная деталь, которая уменьшает опасность самоотвинчивания винтов или гаек.

Шелюга — листовенное кустарниковое растение из рода ивовых.

Шерстобит — в кустарном производстве работник, который особым смывком пушит, взбивает шерсть перед прядением или валянием.

Шкалик — старая русская мера вина, равная 1/200 ведра, винная посуда такой меры.

Шкрыкнуть — стукнуть, шибануть, ударить.

Шпунт — в столярном деле — продольный гребень на ребре доски, соответствующий пазу (длинной и узкой борозде) на ребре другой доски, а также способ такого соединения.

Шрапнель — тип артиллерийского снаряда.

Шток — цилиндрический стержень, верхним концом прикрепленный к поршню паровоза.

Штырь — гладкий цилиндрический стержень с коническим концом.

Шушунка — шубейка, телогрейка, женская рубаха.

СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР

Больраненые — больные и раненые.

Волревком — волостной революционный комитет.

Госаппарат — государственный аппарат.

Горсовет — городской совет.

Губбюро — губернское бюро (партии).

Губгазета — губернская газета.

Губземотдел — губернский земельный отдел.

Губисполком — губернский исполнительный комитет.

Губком — губернский комитет (партии).

Губкомцик — член губернской партийной организации.

Губнаробраз, губоно — губернский отдел народного образования.

Губпродком — губернский продовольственный комитет.

Губпродкомиссар — губернский комиссар продовольственного комитета.

Губпрофсовет — губернский профсоюзный совет.

Губраспред — губернский отдел по распределению продуктов.

Губсовпартикола — губернская советская партийная школа.

Губтеатр — губернский театр.

Губутиль — губернский отдел утилизации.

Губчека — губернская чрезвычайная комиссия.

Завгубземотделом — заведующий губернским земельным отделом.

Завгубнаробразом — заведующий губернским отделом народного образования.

Завгубутилем — заведующий губернским отделом утилизации.

Заградотряд — заградительный отряд.

Земчека — земельная чрезвычайная комиссия.

Исполком — исполнительный комитет.

Ликвидком — ликвидационный комитет.

Нэп — новая экономическая политика.

Орготдел — организационный отдел.

Партсобрание — партийное собрание.

Предгубпрофсовет — председатель губернского совета профессиональных союзов.

Предгубчека — председатель губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Предревкома — председатель революционного комитета.
Продбаза — продовольственная база.
Продразверстка — продовольственная разверстка.
Профсоюз — профессиональный союз.
Политграмота — политическая грамота.
Политком — политический комиссар.
Предгубисполкома — председатель губернского исполнительного комитета.
Продотряд — продовольственный отряд.
Продработа — продовольственная работа.

Райком — районный комитет (партии).
Ревком — революционный комитет.

Страхкасса — касса социального страхования.
Собес — социальное обеспечение.
Совнарком, СНК — Совет народных комиссаров.

Трудгужповинность — трудовая и гужева повинность.
Трудповинность — трудовая повинность.

УЗО — уездный земельный отдел.
Уик, уисполком — уездный исполнительный комитет.
Уком — уездный комитет (партии).
Уплан — уездная плановая комиссия.
Уполрайревкома — уполномоченный районного революционного комитета.
Упродком — уездный продовольственный комитет.

ЧК, чека — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

ЦК, цека — центральный комитет.
ЦКК — центральная контрольная комиссия.

Эвакопункт — эвакуационный пункт.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

План романа «Зреющая звезда». Автограф. <i>ИРЛИ</i>	29
Повесть «Преходящие годы». Первая страница будущего романа. Автограф. <i>ИРЛИ</i>	49
Первая редакция романа («Строители страны») Автограф. <i>ИМЛИ</i>	72
Первая редакция романа («Строители страны») Автограф. <i>ИРЛИ</i>	91
Сводная рукопись романа. <i>ИРЛИ</i>	112
Сводная рукопись романа. <i>ИРЛИ</i>	130
Сводная рукопись романа. <i>ИРЛИ</i>	150
Сводная рукопись романа. <i>ИРЛИ</i>	171
Записка А.П. Платонова. Автограф. <i>ИМЛИ</i>	192
Лист-обложка рукописи романа с записью А.П. Платонова. <i>ИМЛИ</i>	210
Машинопись романа с авторской правкой. <i>ИМЛИ</i>	231
Машинопись романа с авторской правкой. <i>ИМЛИ</i>	250
Письма Платонова А.М. Горькому от 12 и 21 сентября 1929 г. Автограф. <i>Архив А.М. Горького. ИМЛИ</i>	271
Типографский набор текста романа с редакторской правкой. <i>ИМЛИ</i>	290
Типографский набор текста романа с редакторской правкой <i>ИМЛИ</i>	309
Титульный лист несостоявшегося издания романа с записями А.П. Платонова. <i>ИМЛИ</i>	329

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
3-го ТОМА**

Текст и комментарии к роману «Чевенгур» подготовила Е.А. Папкина.

Вступительная статья к комментариям написана Н.В. Корниенко (с. 546–582), Е.А. Папкиной (с. 583–602).

Тексты и комментарии раздела «Планы. Редакции» подготовила Н.В. Корниенко.

Словарь областных и устаревших слов и технических терминов и Словарь аббревиатур составлены Е.А. Папкиной.

Иллюстрации подготовлены Е.В. Антоновой.

Техническая подготовка тома проведена Р.Е. Клементьевым.

Рецензенты тома: И.Н. Арзамасцева, Г.Н. Воронцова.

СОДЕРЖАНИЕ

Чевенгур. Роман5
---------------------------	----

ПЛАНЫ. РЕДАКЦИИ

Краткий план романа «Зреющая звезда»345
Строители страны348

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения543
Чевенгур545
Планы. Редакции706
Указатель произведений А.П. Платонова707
Словарь областных и устаревших слов и технических терминов709
Словарь аббревиатур714
Список иллюстраций716
Исследовательский коллектив 3-го тома717

УДК 821.161.1 (Платонов А.)

ББК 83.3

П 37

Платонов А.П.

П 37 Сочинения / А.П. Платонов; [гл. ред. Н.В. Корниенко]. —

М.: ИМЛИ РАН, 2004— .

ISBN 978-5-9208-0660-4

<https://doi.org/10.22455/Platonov>

ISBN 978-5-9208-0146-8 (т. 1, кн. 1)

Т. 3: 1927–1929. Чевенгур. Роман / А.П. Платонов; [ред. Н.В. Корниенко; подгот. текста и коммент. Н.В. Корниенко, Е.А. Папковой]. — 2021. — 720 с.

ISBN 978-5-9208-0648-2 (т. 3)

<https://doi.org/10.22455/Platonov-2021-3>

Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Андрей Платонович Платонов
СОЧИНЕНИЯ

Научное издание

Том третий

1927–1929

ЧЕВЕНГУР
Роман

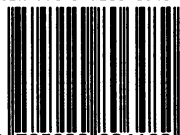
Технический редактор А.З. Бернштейн
Корректор И.Н. Панкова

Подписано в печать 04.04.2021. Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура Таймс
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 45,0. Тираж 300 экз. Заказ 471.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
тел. (495) 691-23-01, 690-05-61

Отпечатано в ФГУП Издательство «Наука» (Типография «Наука»)
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6

ISBN 978-5-9208-0648-2



9 785920 806482

